

М. Горький

М. ГОРЬКИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

14

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

**ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО**



М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

ПОВЕСТЬ.
РАССКАЗЫ

1912—1917

МОСКВА • 1972

7-3-1

Подписное



А. М. ГОРЬКИЙ
Капри, 1913 г.

ХОЗЯИН

СТРАНИЦА АВТОБИОГРАФИИ

...Играл ветер-повёмок, вздымая сухой серый снег, по двору метались клочья сена, ленты мочала, среди двора стоял круглый, пухлый человек в длинной — до пят — холщовой татарской рубахе и в глубоких резиновых галошах на босую ногу. Сложив руки на вздутом животе, он быстро вертел короткие большие пальцы, — один вокруг другого, — щупал меня маленькими разноцветными глазами, — правый — зеленый, а левый — серый, — и высоким голосом говорил:

— Ступай, ступай — нет работы! Какая зимой работа?

Его опухшее безбородое лицо презрительно надулось; на тонкой губе шевелились редкие белесые усы, нижняя губа брезгливо отвисла, обнажив плотный ряд мелких зубов. Злой ноябрьский ветер, налетая на него, трепал жидкие волосы большелобой головы, поднимал до колен рубаху, открывая ноги, толстые и гладкие, как бутылки, обросшие желтоватым пухом, и показывал, что на этом человеке нет штанов. Он возбуждал острое любопытство своим безобразием и еще чем-то, что обидно играло в его живом зеленом глазу, — торопиться мне некуда было, захотелось поболтать с ним, я спросил:

— Ты — дворник, что ли?

— Иди знай, это не твое дело...

— Простудишься ты, брат, без штанов-то...

Красные пятна на месте бровей всползли вверх, разрозненные глаза странно забегали, человек — точно падая — покачнулся вперед:

— Еще что скажешь?

— Простудишься — умрешь.

— Ну?

— Больше ничего.

— Чего больше! — глуховато сказал он, перестав крутить пальцами. Рознял руки и, любовно погладив жирные бока, спросил, надвигаясь на меня: — Ты зачем это говоришь?

— Так... А нельзя мне повидать самого хозяина Василия Семенова?

Вздохнув и внимательно присматриваясь ко мне зеленым оком, человек сказал:

— Это я самый и есть...

Мои надежды на работу рухнули. Ветер сразу стал холодней, а человек еще более неприятен.

— Что?! — воскликнул он, усмехаясь. — Вот те и дворник!

Теперь, когда он стоял почти вплоть ко мне, я видел, что он в тяжком похмелье. Красные бугры над глазами его поросли едва заметным желтым пухом, и весь он странно напоминал огромного, уродливого цыпленка.

— Айда прочь! — сказал он веселым голосом, дохнув на меня густою струей перегара и размахивая короткой ручкой, — эта рука со сжатым кулаком тоже напоминала шампанскую бутылку с пробкой в горле. Я повернулся спиной к нему и не торопясь пошел к воротам.

— Эй! Три целковых в месяц — хошь?

Я был здоров, мне семнадцать лет, я грамотен и — работать на этого жирного пьяницу за гривенник в день! Но — зима не шутит, делать было нечего; скрепя сердце я сказал:

— Ладно.

— Пачпорт есть?

Я сунул руку за пазуху, но хозяин отмахнулся брезгливым жестом:

— Не надо! Приказчику отдай. Иди вон туда... Сашку спроси...

Войдя в открытую, висевшую на одной петле дверь щелявой пристройки, расслабленно прильнувшей к желтой облупленной стене двухэтажного дома, я направился между мешками муки в тесный угол, откуда на меня плыл кисловатый, теплый, сытный пар, но — вдруг на дворе раздались страшные звуки: что-то зашлепало, зафыркало. Прильнув лицом к щели в стене сеней,

я обомлел в удивлении: хозяин, прижав локти к бокам, мелкими прыжками бегал по двору, точно его, как лошадь, кто-то гонял на невидимой корде. Сверкали голые икры, толстые, круглые колени, трясся живот и дряблые щеки; округлив свой сомовый рот, человек вытянул губы трубою и пыхтел:

— Фух, фух...

Двор был тесный; всюду, наваливаясь друг на друга, торчали вкривь и вкось ветхие службы, на дверях висели — как собачьи головы — большие замки; с выгоревшего на солнце, вымытого дождями дерева десятками мертвых глаз смотрели сучки. Один угол двора был до крыш завален бочками из-под сахара, из их круглых пастей торчала солома — двор был точно яма, куда сбросили обломки отжившего, разрушенного.

Кружится солома, мочало, катаются колесики стружек, и в кругу хлама, как бы играя с ним, грузно прыгал, шлепая галошами по мелкому булыжнику, толстый странный человек, — прыгал, хлябая сырым, жирным телом, и фыркал:

— Фух, фух, фух...

Откуда-то из угла ему отзывались свиньи сердитым визгом и хрюканьем, где-то вздыхала и топала лошадь, а из форточки окна во втором этаже дома грустно истекал девичий голос, распевая:

Что ты, суженец, не весел,
Беззаботный сорванец?

Ветер, заглядывая в жерла бочек, шуршит соломой; торопливо барабанит какая-то щепка, на коньке крыши амбара забко жмутся друг к другу сизые голуби и жалобно воркуют...

Всё — живет странной, запутанной жизнью, а в центре всего носится, потая и хрипя, необычный, невиданный мною человек.

«Это куда же я втряпался?» — жутко подумалось мне.

В подвале с маленькими окнами, закрытыми снаружи частой проволочной сеткой, под сводчатым потолком

стоит облако пара, смешанное с дымом махорки. Сумрачно, стекла окон побиты, замазаны тестом, снаружи обрызганы грязью. В углах, как старое тряпье, висят клочья паутины, покрытые мучной пылью, и даже черный квадрат какой-то иконы весь оброс серыми пленками.

В огромной печи с низким сводом жарко пылает золотой огонь, а перед ним чѣртом извивается, шаркая длинной лопатой, пекарь Пашка Цыган, душа и голова мастерской, — человек маленький, черноволосый, с раздвоенной бородкой и ослепительно белыми зубами. В кумачной, без пояса, рубахе, с голой грудью, красиво поросшей узором курчавых волос, он, поджарый и вертлявый, напоминает трактирного танцора, и жалко видеть на его стройных ногах тяжелые, точно из чугуна литые опорки. От него по подвалу разбегаются бодрые, звонкие крики.

— Жарь да вари! — смахивая ладонью пот с красивого лба в черных кудрях, кричит он и матерно ругается.

У стены, под окнами, за длинным столом сидят, мерно и однообразно покачиваясь, восемнадцать человек рабочих, делая маленькие крендели в форме буквы «в» по шестнадцати штук на фунт; на одном конце стола двое режут серое упругое тесто на длинные полосы, привычными пальцами щиплют его на равномерные куски и разбрасывают вдоль стола под руки мастеров, — быстрота движений этих рук почти неуловима. Рассучив кусок теста, связав его кренделем, каждый пристукивает фигуру ладонью, — в мастерской непрерывно звучат мягкие шлепки. Стоя у другого конца стола, я укладываю готовые крендели на лубки, мальчишки берут у меня полный лубок и бегут к варщику, он сбрасывает сырое тесто в кипящий котел, через минуту вычерпывает их оттуда медным ковшом в длинное медное же и луженое корыто, снова укладывает на лубки скользкие жгучие кусочки теста, пекарь сушит их, ставя на шесток, складывает на лопату, ловко швыряет в печь, а оттуда они являются уже румяными, — готовы!

Если я не успею вовремя разложить все подбросанные ко мне крендели — они тотчас слежятся, слепаются,

работа испорчена, и люди за столом, ругая меня, швыряют в лицо мне шматки теста.

Ко мне все относятся недружелюбно, подозрительно, точно ожидая чего-то дурного от меня.

Восемнадцать носов сонно и уныло качаются над столом, лица людей мало отличны одно от другого, на всех лежит одинаковое выражение сердитой усталости. Тяжко бухает железный рычаг мялки, — мой сменщик мнет тесто. Это очень тяжелая работа — вымесить семипудовую массу так, чтоб она стала крутой и упругой, подобно резине, и чтоб в ней не было ни одного катышка сухой, непромешанной муки. А сделать это нужно быстро, самое большое — в полчаса.

Потрескивают дрова в печи, бурлит вода в котле, шаркают и шлепают руки по столу — всё сливается в непрерывный однотонный звук, редкие сердитые возгласы людей не оживляют его. Только на полу среди мальчиков-низальщиков ясно звучит тонкий, свежий голосок одиннадцатилетнего Яшки Артюхова, человека курного и шепелявого; всё время он, то хмурясь и делая страшное лицо, то смеясь, возбужденно рассказывает какие-то невероятные истории о попадье, которая из ревности облила свою дочь-невесту керосином и зажгла ее, о том, как ловят и бьют конокрадов, о домовых и колдунах, ведьмах и русалках. За этот неугомонно звенящий голос мальчика прозвали Бубенцом.

Я уже знаю, что Василий Семенов еще недавно — шесть лет тому назад — был тоже рабочим, пекарем, сошелся с женою своего хозяина, старухой, научил ее извести пьяницу-мужа мышьяком и забрал всё дело его в свои руки, а ее — бьет и до того запугал, что она готова, как мышь, жить под полом, лишь бы не попадаться на глаза ему. Мне рассказали эту историю просто, как нечто очень обычное, — даже зависти к удачнику я не уловил в рассказе.

— Почему это он у вас без штанов гуляет?

Кривой старик Кузин с темным и злым лицом объяснил внушительно:

— Похмелье выхаживает, у него только третьеводни запой миновал.

— А он не полуумный?

Несколько пар глаз взглянуло на меня насмешливо и сердито, а Цыган многообещающе вскричал:

— Погоди, он те развернет мозги!

Все — от шестидесятилетнего Кузина до Яшки, который нанизывает крендели на мочало за два рубля от Покрова до Пасхи, — все говорят о хозяине с чувством, почти близким к хвастовству: вот-де какой человек Василий Семенов, найди-ко другого такого же! Он развратник, у него три любовницы, двух он сам мучает, а третья — его бьет. Он жаден, харчи дает скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни — требуха; в среду и пятницу — горох да просяная каша с конопляным маслом. А работы требует семь мешков каждый день — в тесте это сорок девять пудов, и на обработку мешка уходит два с половиной часа.

— Удивительно говорите вы о нем, — сказал я.

Пекарь, сверкая белками умных глаз, спросил:

— Чего — удивительно?

— Словно хвалитесь...

— Есть чем хвалиться! Ты раскуси: был он простой рабочий человечшко, а теперь перед ним квартальный шапку ломит! Он вон грамоты вовсе не знает — кроме счета — а держит дело на сорок человек — всё в уме!

Кузин, благочестиво вздохнув, подтвердил:

— Разума дал ему Христос достаточно.

А Пашка, разгораясь, кричит:

— Крендельная, хлебопекарня, булочная, сушечная — оборотись-ка с этим без записи! Одного кренделя мордве да татарам в уезд за зиму он продает боле пяти тысяч пуд, да семеро разносчиков в городе обязаны им каждый день продать по два пуда кренделей и сушек первого сорта — видал?

Воодушевление пекаря было непонятно мне и раздражало меня — я уже имел достаточно оснований думать и говорить о хозяевах иначе.

А старый Кузин, прикрыв вороватый глаз седой бровью, как будто дразнит:

— Это, братец ты мой, не прост человек.

— Видно — не прост, коли вы сами говорите, что он хозяина отравил...

Пекарь, нахмурия черные брови, неохотно проговорил:

— Свидетелей этому нет. Бывает, что со зла да по зависти про человека говорят — убил, отравил, ограбил,— не любят, когда нашему брату удача приходит...

— Какой же он тебе брат?

Цыган не ответил, а Кузин, взглянув в угол, сердито сказал мальчишкам:

— Дьяволята,— вам бы освободить образ-то божий от грязи! Экая татарва...

Все остальные молчат, точно их нет на земле...

Когда наступала моя очередь укладывать крендели,— стоя у стола, я рассказывал ребятам всё, что знал и что — на мой взгляд — они тоже должны были знать. Чтобы заглушить ворчливый шум работы, нужно было говорить громко, а когда меня слушали хорошо, я, увлекаясь, повышал голос и, будучи застигнут хозяином в такой момент «подъема духа», получил от него прозвище и наказание.

Он бесшумно явился за спиною у меня в каменной арке, отделявшей мастерскую от хлебопекарни; пол хлебопекарни был на три ступеньки выше пола нашей мастерской,— хозяин встал в арке, точно в раме, сложив руки на животе, крутя пальцами, одетый — как всегда — в длинную рубаху, завязанную тесьмой на жирной шее, тяжелый и неуклюжий, точно куль муки.

Стоял и с высоты смотрел на всех разными глазами, причем зеленый зрачок, правильно круглый, играл и сокращался, точно у kota, а серый — овальный — смотрел неподвижно и тускло, как у мертвого.

Я продолжал говорить до поры, пока не заметил, что все звуки в мастерской стали тише, хотя работа пошла быстрее, и в то же время за плечом у меня раздался насмешливый голос:

— Про што грохаеть, Грохало?

Я обернулся и сконфуженно замолчал, а он прошел мимо меня, смерив фигуру мою острым взглядом зеленого глаза, и спросил пекаря:

— Как работает?

Павел одобрил:

— Ничего! Здоров...

Не торопясь, точно мяч, хозяин перекатился наискось мастерской и, поднявшись на ступени к двери в сени, сказал Цыгану лениво, тихо:

— Поставь его тесто набивать без смены неделю...

И скрылся за дверью, впустив в мастерскую белое облако холода.

— Здо-орово! — протянул Ванок Уланов, хилый, колченогий парень с наглым лицом, поразительно бесстыдный в словах и движениях.

Кто-то насмешливо свистнул, — пекарь окинул всех сердитым взглядом:

— Шевели руками! — и матерно выругался.

С пола из угла, где сидели мальчики, раздался сердитый, укоряющий голос Яшки:

— Сто з вы, челти, — с клаю стола котолые? Толкнули бы человека, когда видите — хозяин идет...

— Да-а, — сипло протянул его брат Артем, парень лет шестнадцати, взъерошенный, точно петух после драки, — это не шуточка — неделю без смены тесто набивать, — косточки-то взноют!

С краю стола сидел старик Кузин и солдат Милов, добродушный мужик, зараженный сифилисом; Кузин, спрятав глаз, промолчал, а солдат виновато проговорил:

— Не догадался я...

Пекарь, ухмыляясь до ушей, сказал:

— Теперь имя тебе — Грохало!

Человека три неохотно засмеялись, и наступило неловкое, тягостное молчание. На меня старались не смотреть.

— А Яшка всегда первый правду чувствует, — неожиданно воскликнул густым басом Осип Шатунов, кособокий мужик с калмыцким лицом и невидными глазами. — Не жилец он на земле, Яшка этот.

— Посол к чёлту! — крикнул мальчик звонко и весело.

— Язык ему надо отрезать, — предложил Кузин; Артем сердито крикнул ему:

— Тебе, ябеда, надо язык с корнем выдрать!

— Цыц! — раздалось от печки.

Артем встал и, не торопясь, пошел в сени, — маленький брат строго говорит:

— Куда посол босиком, чёлт? Надень ополки, —
плостудисса — подохнес!

Все, видимо, привыкли к этим замечаниям, все молчат. Артем смотрит на брата ласково разбегающимися глазами и — надевает опорки, подмигивая ему.

Мне грустно, чувство одиночества и отчужденности от этих людей скипается в груди тяжким комом. В грязные окна бьется выюга — холодно на улице! Я уже видал таких людей, как эти, и немного понимаю их; знаю я, что почти каждый переживает мучительный и неизбежный перелом души: родилась она и тихо выросла в деревне, а теперь город сотнями маленьких молоточков ковал на свой лад эту мягкую, податливую душу, расширяя и суживая ее.

Особенно ясно чувствовалась жестокая и безжалостная работа города, когда безглагольные люди начинали петь свои деревенские песни, влагая в их слова и звуки немотные недоумения и боли свои.

Разнесча-астная девица-а,

— неожиданно запевал Уланов высоким, почти женским голосом, — тотчас же кто-нибудь как бы невольно продолжал:

Выступала ночью в поле...

Медленно пропетое слово «поле» будило еще двоих-троих; наклонив головы пониже, спрятав лица, они вспоминали:

В поле светел месяц светит,
В поле веет тихий ветерок...

Раньше, чем они допоют последнюю строчку, Ванок рыдающим звуком продолжает:

Разнесчастная девица-а...

Дружней и громче разыгрывается песня:

Ветру речи говорила:
— Ветер тихий, друг сердечный,
Вынь ты сердце-душу из меня!

Поют, и — в мастерской как будто веет свежий ветер широкого поля; думается о чем-то хорошем, что делает людей ласковее и краше душою. И вдруг кто-нибудь, точно устыдясь печали ласковых слов, пробормочет:

— Ага, шкуреха, заплакала...

Покраснев от напряжения, Уланов еще выше и грустней зачинает:

Разнесчастная девица-а...

Задушевные голоса поют убийственно тоскливо:

Ветер жалостно просила:

— Отнеси ты мое сердце

Во дремучие, во темные леса!..

— А сама, небойсь, — и песню разрывают похабные, грязно догадливые слова. В запахи поля вторгается гнилой запах темного подвала, тесного двора.

— Э-эх, мать честная! — вздохнет кто-нибудь.

Ванок и лучшие голоса всё более напрягаются, как бы желая погасить синие огни гниения, чадные слова, а люди все больше стыдятся повести о любовной тоске, — они знают, что любовь в городе продается по цене от гривенника, они покупают ее, болеют и гниют от нее, — у них уже твердо сложилось иное отношение к ней.

Разнесчастлива я, девица!

Эх, никто меня не любит...

— Не кобенься, полюбят хоть десятеро...

Ты зарой-ка мое сердце

Под коренья, под осенние листья.

— Им бы, подлым, всё замуж, да мужику на шею...

— Само собой...

Хорошие песни Уланов поет, крепко зажмурив глаза, и в эти минуты его бесстыдное, измятое, старческое лицо покрывается какими-то милыми морщинками, светит застенчивой улыбкой.

Но циничные выкрики всё чаще брызгают на песню, точно грязь улицы на праздничное платье, и Ванок чувствует себя побежденным. Вот он открыл мутные глаза, наглая улыбка кривит изношенные щеки, что-то

злое дрожит на тонких губах. Ему необходимо сохранить за собою славу хорошего запевалы,— этой славой он — лентяй, человек, не любимый товарищами,— держится в мастерской.

Встряхнув угловатой головою в рыжих редких волосах, он взвизгивает:

Ка-ак на улице Проломной

Да — там лежит студент огромный...

Со свистом, воем, с каким-то особенным сладостным цинизмом, как будто испытывая мстительное наслаждение петь гнусные слова,— вся мастерская дружно гремит:

Лежит — усмешается...

Точно стадо свиней ворвалось в красивый сад и топчет цветы. Уланов противен и страшен: бешено возбужденный, он весь горит, серое лицо в красных пятнах, глаза выкатились, тело развратно извивается в бесстыдных движениях, и невероятно высокий голос его приобрел какую-то силу, режущую сердце яростной тоскою:

Идут девки, идут дамы,

— выводит он, размахивая руками, и все так же возбужденно орут:

Прямо... о-ох, ты!..

Прямо!

Прямо...

Бурно кипит грязь, сочная, жирная, липкая, и в ней варятся человечьи души,— стонут, почти рыдают. Видеть это безумие так мучительно, что хочется с разбега удариться головой о стену. Но вместо этого, закрыв глаза, сам начинаешь петь похабную песню, да еще громче других,— до смерти жалко человека, и ведь не всегда приятно чувствовать себя лучше других.

Порою бесшумно является хозяин или вбегает рыжий, кудрявый приказчик Сашка:

— Веселитесь, ребята? — слащаво-ядовитым голоском спрашивал Семенов, а Сашка просто кричал:

— Тише, сволочь!

И всё тотчас гасло, а от быстроты, с которой эти люди подчинялись властному окрику, — на душе становилось еще темнее, еще тяжелее.

Однажды я спросил:

— Братцы, зачем вы портите хорошие песни?

Уланов взглянул на меня с удивлением:

— Али мы плохо поем?

А Осип Шатунов сказал своим низким, всегда как бы равнодушным голосом:

— Песня — ей ничего нельзя сделать плохого, чем бы ее испортить. Она — как душа, мы все порем, а песня останется... Навсегда!

Говоря, Осип опускал глаза, точно монашенка, сброщица на монастырь, а когда он молчал, его широкие калмыцкие скулы почти непрерывно шевелились, как будто этот тяжелый человек всегда лениво жуёт что-то...

Я устроил из лучины нечто вроде пюпитра и, когда — отбив тесто — становился к столу укладывать крендели, — ставил этот пюпитр перед собою, раскладывал на нем книжку и так — читал. Руки мои не могли ни на минуту оторваться от работы, и обязанность перевертывать страницы лежала на Милове, — он исполнял это благоговейно, каждый раз неестественно напрягаясь и жирно смачивая палец слюною. Он же должен был предупреждать меня пинком ноги в ногу о выходе хозяина из своей комнаты в хлебопекарню.

Но солдат был порядочный ротозей, и однажды, когда я читал «Сказку о трех братьях» Толстого, за плечом у меня раздалось лошадиное фырканье Семенова, протянулась его маленькая пухлая рука, схватила книжку, и — не успел я опомниться — как он, помахивая ею, пошел к печи, говоря на ходу:

— Чего придумал, а? Ловок...

Я настиг его, схватил за руку:

— Жечь книгу — нельзя!

— Как так?

— Так. Нельзя!

В мастерской стало очень тихо. Я видел нахмурен-

ное лицо пекаря, его белые оскаленные зубы, и ждал, что он крикнет:

«Бей!»

Зеленело в глазах, и тряслись ноги. Ребята работали во всю силу, как будто торопясь окончить одно и приняться за другое дело.

— Нельзя? — спокойно переспросил хозяин, не глядя на меня, склонив голову набок и точно прислушиваясь к чему-то.

— Дайте-ка сюда.

— Ну... на!

Я взял измятую книжку, выпустил руку хозяина и отошел на свое место, а он, наклоня голову, прошел, как всегда, молча на двор. В мастерской долго молчали, потом пекарь резким движением отер пот с лица и, топнув ногою, сказал:

— Ух, даже сердце заохолонуло, ну вас к чёрту! Так и ждал — сейчас схлестнется он с тобой...

— И я, — радостно подтвердил Милов.

— Мо-огла быть драка! — с сожалением воскликнул Цыган. — Ну, теперь, Грохало, держись. Начнет он тебя покорять — ух ты!

Кузин ворчал, покачивая седую головой:

— Не ко двору ты нам, парень! Скандалы нам не надобны. Разбередишь хозяина ты один, а он на нас станет сердце срывать — да!

Артюшка пониженным голосом ругал солдата:

— Растяпа! Что ж ты — не видал?

— Стало быть, не видал.

— А тебе не наказывали — гляди?!

— А я вот не доглядел...

Большинство равнодушно молчало, слушая сердитую воркотню. Я не мог понять, как относятся ко мне эти люди, чувствовал себя нехорошо и думал, что, пожалуй, лучше мне уйти отсюда. И, как будто поняв мои думы, Цыган сердито заговорил:

— Ты, Грохало, бери-ка расчет, — всё равно теперь тебе житья не будет! Натравит он на тебя Егорку, и — кончено дело!

Но тут с пола встал Яшка, сидевший на рогоже, скрестив ноги, как портной, — встал, выпучил живот

и, покачиваясь на кривых ногах рахитика, очень страшно выкатив молочносиние глаза, крикнул, подняв кулачок:

— Сасем уходить? Дай ему в молду! А будет длатся — я заступлюсь.

Секунда молчания, и — все захохотали тем освежающим, здоровым смехом, который, точно летний ливень, смывает с души человека грязь, пыль и всякие наросты, обнажая доброе и ясное, сталкивает людей в тесную массу одиночувствующих, в одно целостное, человечесь тело.

Бросив работать, все качались, хватаясь за бока, выли, взвизгивали и, задыхаясь смехом, обливались слезами, а Яшка — тоже сконфуженно посмеиваясь — одергивал рубаху:

— А — сто? Вот ессе!.. Я возьму гилю в тли фунта, а то — полено...

Первый кончил смеяться Шатунов, вытер лицо ладонью и, ни на кого не глядя, заговорил:

— Опять Яшка верно говорит, младенец! Зря пугаете человека. Он — добро сказывает, а вы ему — уходи...

— Упредить надо же! — сказал Пашка, отдыхая от смеха. — Али мы — собаки?

И все дружно заговорили о том, как бы предохранить меня от Егора:

— Ему — что убить человека, что изувечить, — всё едино — просто!

Больше всех старался Артюшка, быстро создавая различные нелепые планы обороны и наступления, а старый Кузин, воткнув глаз в угол, ворчал сердито:

— Который раз говорю я вам, мальчишки, — почистили бы образ-то божий...

Цыган, шаркая лопатой, убеждал как бы сам себя:

— Надо быть готову ко всякому греху... У нас озорство — нипочем товар...

Мимо окон по двору кто-то прошел, тяжело топая ногами, — всезнающий Яшка оживленно сказал:

— Егол идет волота затволять, — свиней глядеть будут...

Кто-то пробормотал;

— Не уморили его в больнице...

Стало тихо и скучно. Через минуту пекарь предложил мне:

— Хоть семеновский парад поглядеть?

...Я стою в сенях и, сквозь щель, смотрю во двор: среди двора на ящике сидит, оголив ноги, мой хозяин, у него в подоле рубахи десятка два булок. Четыре огромных йоркширских борова, хрюкая, трутся около него, тычут мордами в колени ему, — он сует булки в красные пасти, хлопает свиней по жирным розовым бокам и отечески ласково ворчит пониженным, незнакомым мне голосом:

— У-у, кушать хочется зверям, булочки звери хотят? На, на, на...

Его толстое лицо расплылось в мягкой, полусонной улыбке, серый глаз ожил, смотрит блажелательно, и весь он какой-то новый. За ним стоит широкоплечий мужик, рябой, с большими усами, обритой досиня бородою и серебряной серьгой в левом ухе. Сдвинув набекрень шапку, он круглыми, точно пуговицы, оловянными глазами смотрит, как свиньи толкают хозяина, и руки его, засунутые в карманы поддевки, шевелятся там тихонько, встряхивая полы.

— Продавать пора, — сипло сказал он; его тупое, как обух топора, лицо не дрогнуло.

— Успею, — недовольно и громко отозвался хозяин. — Когда еще таких наживу.

Боров ткнул его рылом в бок — Семенов покачнулся на ящике и сладостно захохотал, встряхивая рыхлое тело и сморщив лицо так, что его разные глаза утонули в толстых складках кожи.

— Отшельнички-шельмочки! — взвизгивал он сквозь смех. — В темноте... во тьме живут, а — вот они — чхо, чхо! Во-от они — а! Затворнички, угоднички мои-и...

Свиньи отвратительно похожи одна на другую, — на дворе мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный с насмешливой, оскорбляющей точностью. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли

голыми животами, они наскакивают на человека, сердито взмахивая седыми ресницами маленьких ненужных глаз,— я смотрю на них, и точно кошмар давит меня.

Подвизгивая, хрюкая и чавкая, йоркширы суют тупые жадные морды в колени хозяина, трутся о его ноги, о бока,— он, тоже взвизгивая, отпихивает их одною рукой, а в другой у него булка, и он дразнит ею боровов, то — поднося ее близко к пастям, то — отнимая, и трясется в ласковом смехе, почти совершенно похожий на них, но еще более жуткий, противный и — любопытный.

Лениво приподняв голову, Егор долго смотрит в небо, по-зимнему тусклое и холодное, как его глаза; над плечом его тихо качается выветленная серьга.

— Сиделка в больнице,— неестественно громко заговорил он,— сказывала мне секретно, будто светупредставления не буде...

Пытаясь схватить борова за ухо, Семенов переспросил:

— Не будет?

— Нет.

— Врет, поди, дура...

— Может, и врет.

Хозяин всё ласкает набалованных, чистых и гладких свиней, но движения рук его становятся ленивее — он, видимо, устал.

— Грудастая такая баба, пучеглазая,— вздохнув, вспоминает Егор.

— Сиделка?

— Ну да! Свету — говорит — представления не надо ждать, а солнце — затмится в августе месяце совсем...

Семенов снова и недоверчиво переспрашивает:

— Ну? Совсем?

— Совсем. Только-де это ненадолго, просто тень пройдет.

— Откуда — тень?

— Не знаю. От бога, верно...

Встав на ноги, хозяин строго и решительно сказал:

— Дура! Противу солнца тени быть не может, оно всякую тень прободет. Раз! А бог — утверждается —

светлый,— какая от него тень? Два! Кроме того — в небе везде пустота одна,— откуда в пустоте тень появится? Три. Дура она неповитая...

— Конечно, как баба...

— То-то и есть... Загоняй-ко ребятишек в хлевушок...

— Позову кого-нибудь из тех.

— Позови. Да — гляди — не били бы зверей, а коли кто решится — бей его сам в мою голову...

— Знаю...

Хозяин идет по двору, йоркширы катятся вслед за ним, как поросята за маткой...

На другой день рано утром хозяин широко распахнул дверь из сеней в мастерскую, встал на пороге и сказал с ядовитой сладостью:

— Господин Грохало, подь-ка перетаскай мучку со двора в сенцы...

В дверь белыми клубами врывается холод, окутывая варщика Никиту,— оглянувшись на хозяина, Никита попросил:

— Притвори дверь-то, Василий Семеныч, дует больно мне...

— Что-о? Дует? — взвизгнул Семенов и, ткнув его в затылок маленьким тугим кулачком, исчез, оставив дверь открытой. Никите было около тридцати лет, но он казался подростком — маленький, пугливый, с желтым лицом в кустиках бесцветных волос, с большими, всегда широко открытыми глазами, в которых замерло выражение неизбежной боли и страха. Шесть лет — с пяти часов утра и до восьми вечера — торчит он у котла, непрерывно купая руки в кипятке, правый бок ему палило огнем, а за спиной у него дверь на двор, и несколько сот раз в день его обдавало холодом. Пальцы у него были искривлены ревматизмом, легкие воспалились, а на ногах натянулись синие узлы вен.

Надев на голову пустой мешок, я пошел на двор, и когда поравнялся с Никитой — он сказал мне тихо, сквозь зубы:

— Это всё из-за тебя, черти бы те взяли...

Из больших его глаз лились мутные, как пот, слезы.
Я вышел на двор, убито думая:

«Надо уходить отсюда...»

Хозяин в женской лисьей шубке стоял около мешков муки, их было сотни полторы, даже треть не убралась бы в тесные сени. Я сказал ему это,— он издевательски усмехнулся, отвечая:

— Не уберется — назад перетаскать заставлю...
Ничего, ты здоров...

Сдернув мешок с головы, я заявил Семенову, что не позволю ему издеваться надо мной и пусть он даст мне расчет.

— Таскай, таскай знай! — снова усмехнувшись, сказал он.— Куда пойдешь зимой-то? С голоду подохнешь...

— Расчет!

Его серый глаз налился кровью, зеленый злобно забегал, он сжал кулак и, сунув им в воздух, спросил всхлипнувшим голосом:

— А в рожу — хочешь?

Меня взорвало. Отбив его протянутую руку, я схватил его за ухо и стал молча трепать, а он толкал меня левой рукой в грудь и негромко, удивленно вскрикивал:

— Постой! Что ты? Хозяина-то? Пусти, чёрт...

Потом, то взвешивая на левой руке отшибленную правую, то потирая красное ухо и глядя мне в лицо остановившимися, нелепо вытаращенными глазами, он стал бормотать:

— Хозяина? Ты? Ты — кто такой, а? Да я... я — полицию вскричу! Я тебя...

И вдруг, обиженно сложив губы трубочкой, он протяжно, уныло свистнул и пошел прочь, моргая правым глазом.

Мое бешенство сторело, точно солома,— было смешно смотреть, как он тихонько катится в угол и под короткой шубенкой вздрагивает, точно обиженный, его жирный зад.

Стало холодно, а в мастерскую идти не хотелось, и, чтоб согреться, я решил носить мешки в сени, но, вбежав туда с первым же мешком, увидел Шатунова:

он сидел на корточках перед щелью в стене, похожий на филина. Его прямые волосы были перевязаны лентой мочала, концы ее опустились на лоб и шевелятся вместе с бровями.

— Видел я, как ты его, — тихонько заговорил он, тяжело двигая лошадиными челюстями.

— Ну, — так что?

Монгольские глазки, расширившись, смотрели непонятым взглядом, смущая меня.

— Слушай! — сказал он, встав и подходя ко мне вплоть. — Я про это никому не скажу, и ты — не говори никому...

— Я и не собираюсь.

— То-то! Все-таки хозяин! Верно?

— Ну?

— Надо кого-нибудь слушать, а то — передеремся все!

Он говорил внушительно и очень тихо, почти шёпотом:

— Надобно, чтобы уважение было...

Не понимая его, я рассердился:

— Поди-ка ты к чёрту...

Шатунов схватил меня за руку, безобидно говоря таинственным шёпотом:

— Егорки — не бойся! Ты какой-нибудь заговор против страха ночного знаешь? Егорка ночному страху предан, он смерти боится. У него на душе грех велик лежит... Я иду раз ночью мимо конюшни, а он стоит на коленках — воет: «Пресвятая матушка владычица Варвара, спаси нечаянную смерти», — понимаешь?

— Ничего не понимаю!

— Вот этим ты на него и надави!

— Чем?

— Страхом. А на силу свою не полагайся, он те впятеро сильнее...

Чувствуя, что этот человек искренно желает мне добра, я сказал ему спасибо, протянул руку. Он дал свою не сразу, а когда я пожал его твердую ладонь, он чмокнул сожалительно и, опустив глаза, что-то невнятно промычал.

— Ты — что?

— Всё равно уж,— сказал он, отмахнувшись от меня, и ушел в мастерскую, а я стал носить мешки, раздумывая о случившемся.

Я кое-что читал о русском народе, о его артельности, социальности, о мягкой, широкой, отзывчивой на добро его душе, но гораздо больше я знал народ непосредственно, с десяти лет живя за свой страх, вне внушений семьи и школы. Большею частью мои личные впечатления как будто хорошо сливались с прочитанным: да, люди любят добро, ценят его, мечтают о нем и всегда ждут, что вот оно явится откуда-то и обласкает, осветит суровую, темную жизнь.

Но мне всё чаще думалось, что, любя доброе, как дети сказку, удивляясь его красоте и редкости, ожидая как праздника,— почти все люди не верят в его силу и редкие заботятся о том, чтоб оберечь и охранить его рост. Всё какие-то невспаханные души: густо и обильно поросли они сорной травой, а занесет случайно ветер пшеничное зерно — росток его хиреет, пропадает.

Шатунов сильно заинтересовал меня,— в нем почувдилось мне что-то необычное...

С неделю хозяин не показывался в мастерскую и расчета мне не давал, а я не настаивал на нем,— идти было некуда, а здесь жизнь становилась с каждым днем всё интереснее.

Шатунов явно сторонился от меня, попытки разговаривать с ним «по душе» не имели успеха,— на мои вопросы он — потупив глаза, двигая скулами — отвечал что-то непонятное:

— Конечно, если бы знать верные слова! Однако же у каждого — своя душа...

Было в нем что-то густо-темное, отшельничье: говорил он вообще мало, не ругался по-матерному, но и не молился, ложась спать или вставая, а только, садясь за стол обедать или ужинать, молча осенял крестом широкую грудь. В свободные минуты он незаметно удалялся куда-нибудь в угол, где потемнее, и там или чинил свою одежду или, сняв рубаху, бил — на ощупь — паразитов в ней. И всегда тихонько мурлыкал низким

басом, почти октавой, какие-то странные, неслыханные мною песни:

Ой — да что-й-то мне сегодня белый свет не по душе...

Шутливо спросишь его:

— Сегодня только? А вчера по душе был?

Не ответив, не взглянув — он тянет:

Выпил бы я браги, да — не хочется...

— Да и нет ее про тебя, браги-то...

Точно глухой — он и бровью не поведет, продолжая уныло:

К милой бы пошел, — к милой ноги не ведут,

Ой, ноги не ведут, да и сердце не зовет...

Пашка Цыган не любит скучных песен.

— Эй, волк! — сердито кричит он, оскалив зубы. — Опять завыл?

А из темного угла ползут одно за другим панихидные слова:

Душенька моя не гораздо болит,

Ой, не гораздо болит — ночью спать не велит...

— Ванок! — командует пекарь. — Гаси его, чего чадит? Валяй «Козла»!

Поют похабную плясовую песню, и Шатунов умело, но равнодушно пускает густые, охающие ноты, — они как-то особенно ловко ложатся под все слова и звуки крикливо развратной песни, а порою она вся тонет в голосе Шатунова, пропадая, как бойкий ручей в темной стоячей воде илистого пруда.

Пекарь и Артюшка относятся ко мне заметно лучше, — это новое отношение неуловимо словами, но я хорошо чувствую его. А Яшка Бубенчик, в первую же ночь после моего столкновения с хозяином, притащил в угол, где я спал, мешок, набитый соломой, и объявил:

— Ну, я лядом с тобой тепель буду!

— Ладно.

— Давай — подлужимся!

— Давай!

Он тотчас подкатился под бок ко мне и секретно зашептал:

— Мысы талаканов не едят?

— Нет, а что?

— Так я и знал!

И всё так же тихо, но очень торопливо ворочая толстым языком, он стал рассказывать, поблескивая милыми глазами:

— Знаес,— видел я, как одна мыса с талаканом лазговаливала,— убей глом — видел! Плоснулся ночью лаз,— а на свету месяца, неподалечку от меня, она сталается около кленделя — глызет и глызет, а я лезу тихонечко. Тут подполз талакап и еще два, а она — пелестала да усишками седыми шевелит, и они тоже водят усами,— вот как немой Никандла,— так и говорят... узнать бы — пло что они? Чай — интелесно? Спишь?

— Нет! Говори, пожалуйста...

— Она, будто, сплашивает талаканов! «Вы отколь?» — «Мы — делевенские»... ведь они из делевень в голод наползают, опосля пожалов... они еще до пожала из избы бегут, они уж знают, когда пожалу быть. Дед-домовик скажет им: «Беги, лебята», они и — айда! Ты домовика — видал?

— Нет еще...

— А я — видал-ал...

Но тут он неожиданно всхрапнул, точно задохнувшись, и — замолк до утра Бубенчик!

Хозяин почти каждый день стал приходиться в мастерскую, словно нарочно выбирая то время, когда я что-нибудь рассказывал или читал. Входя бесшумно, он усаживался под окном, в углу слева от меня, на ящик с гилями, и если я, заметив его, останавливался,— он с угрюмой насмешливостью говорил:

— Болтай, болтай, профессор, ничего не будет, мели знай!

И долго сидел, молча раздувая щеки так, что под жидкими волосами шевелились его маленькие уши, плотно прилаженные к черепу, какие-то невидные. Порою он спрашивал жабьим звуком:

— Как, как?

А однажды, когда я излагал строение вселенной, он визгливо крикнул:

— Стой! А где — бог?

— Тут же...

— Врешь! Где?

— Библию знаете?

— Ты мне зубов не заговаривай — где?

— «Земля же невидима и неустроена, и тьма верху бездны, и дух божий ношашеся верху воды...»

— Во-оды! — торжествуя, крикнул он. — А ты внушаешь — огонь был! Вот я еще спрошу попа, так ли это написано...

Встал и, уходя, добавил угрюмо:

— Больно ты, Грохало, много знаешь, гляди — хорошо ли это будет тебе!..

Качая головою, Пашка озабоченно сказал:

— Поставит он тебе капкан!

Два дня спустя после этого в мастерскую вбежал Сашка и строго крикнул мне:

— К хозяину!

Бубенчик поднял вверх курносое, обрызганное веснушками лицо и серьезно посоветовал:

— Возьми гиллю фунта в тли!

Я ушел под тихий смех мастерской.

В тесной комнате полуподвального этажа, за столом у самовара сидели, кроме моего, еще двое хозяев-крендельщиков — Донов и Кувшинов. Я встал у двери; мой ласково-ехидным голосом приказал:

— А ну-ка, профессор Грохалейший, расскажи-ка ты нам насчет звезд и солнышка и как всё это случилось.

Лицо у него было красное, серый глаз прищурен, а зеленый пылал веселым изумрудом. Рядом с ним лоснились, улыбаясь, еще две рожи, одна — багровая, в рыжей щетине, другая — темная и как бы поросшая плесенью. Лениво пыхтел самовар, осеняя паром страшные головы. У стены, на широкой двуспальной кровати сидела серая, как летучая мышь, старуха-хозяйка, упираясь руками в измятую постель, отвесив нижнюю губу; покачивалась и громко икала. В углу забыто дрожал, точно озябший, розовый огонек лампы; в простенке между окон висела олеография: по пояс

голая баба с жирным, как сама она, котом на руках. В комнате стоял тяжелый запах водки, соленых грибов, копченой рыбы, а мимо окон, точно огромные ножницы, молча стригущие что-то, мелькали ноги прохожих.

Я подвинулся вперед, — хозяин, схватив со стола вилку, привстал и, постукивая ею о край стола, сказал мне:

— Нет, ты стой там... Стой и рассказывай, а после я тебя угощу...

Я решил, что тоже угощу его потом, и начал рассказывать.

На земле жилось нелегко, и поэтому я очень любил небо. Бывало, летом, ночами, я уходил в поле, ложился на землю вверх лицом, и казалось мне, что от каждой звезды до меня, до сердца моего — спускается золотой луч, связанный множеством их со вселенной, я плаваю вместе с землей между звезд, как между струн огромной арфы, а тихий шум ночной жизни земли пел для меня песню о великом счастье жить. Эти благотворные часы слияния души с миром чудесно очищали сердце от злых впечатлений будничного бытия.

И здесь, в этой грязненькой комнате, пред лицом трех хозяев и пьяной бабы, бессмысленно вытаращившей на меня мертвые глаза, я тоже увлекся, забыв обо всем, что оскорбительно окружало меня. Я видел, что две рожи обидно ухмыляются, а мой хозяин, сложив губы трубочкой, тихонько посвистывает и зеленый глаз его бегаёт по лицу моему с каким-то особенным, острым вниманием; слышал, как Донов сипло и устало сказал:

— Ну и звонит, дьявол!

А Кувшинов сердито воскликнул:

— Чумовой он, что ли?

Но мне это не мешало: мне хотелось заставить их слушать мой рассказ и казалось, что они уже поддаются моим словам...

Вдруг хозяин, не шевелясь, выговорил медленно, тоненьким голосом и в нос:

— Ну, — будет, Грохало! Спасибо, брат! Очепь всё хорошо. Теперича, расставив звезды по своим местам, поди-ка ты покорми свинок, свинушечек моих...

Теперь об этом смешно вспоминать, но в тот час мне

было невесело, и я не помню, как победил бешенство, охватившее меня.

Помню, что, когда я вбежал в мастерскую, Шатунов и Артюшка схватили меня, вывели в сени и там отпавали водой. Яшка Бубенчик убедительно говорил:

— Сто-о? Ага-а, не послушал меня?

А Цыган, нахмуренный и сердитый, ворчал, похлопывая меня по спине:

— Охота связываться... Ежели у него селезенка разыгралась, — ему сам архиерей нипочем...

Кормление свиней считалось обидным и тяжелым наказанием: йоркширы помещались в темном, тесном хлеве, и когда человек вносил к ним ведра корма, они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами, редко кто выдерживал эти тяжелые любезности, не падая в грязь хлева.

Войдя в хлев, нужно было тотчас же прислониться спиною к стене его, разогнать зверей пинками и, быстро вылив пойло в корыто, скорее уходить, потому что рассерженные ударами свиньи кусались. Но было гораздо хуже, когда Егорка, отворив дверь в мастерскую, возглашал загробным голосом:

— Эй, кацапы, гайда свиней загонять!

Это значило, что выпущенные на двор животные разыгрались и не хотят идти в хлев. Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих, и начиналась — к великому наслаждению хозяина — веселая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро уже задыхались со зла и усталости; упрямые свиньи, катаясь по двору, как бочки, то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел и, впадая в охотничье возбуждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал:

— Ванькí! Не поддавайсь! Сковыривай болячки!

Когда человек валился на землю — хозяин визжал особенно громко и радостно, хлопая себя руками по толстым, как у женщины, бедрам, захлебываясь смехом.

И действительно смешно, должно быть, было смотреть, как по двору быстро мечутся туши розового

жира, а вслед им бегают, орут, размахивая руками, тощие двуногие, напудренные мучной пылью, в грязных лохмотьях, в опорках на босую ногу,— бегают и падают или, ухватив борова за ногу,— влчаться по двору.

А однажды боров вырвался на улицу и мы, шестеро парней, два часа бегали за ним по городу, пока проходивший татарин не подбил свинье передние ноги палкой, после чего мы должны были тащить животное домой на рогоже, к великой забаве жителей. Татары, покачивая головами, презрительно отплевывались, русские живо образовывали вокруг нас толпу провожатых,— черненький, ловкий студентик, сняв фуражку, сочувственно и громко спросил Артема, указывая глазами на верещавшую свинью:

— Мамаша или сестрица?

— Хозяин! — ответил усталый и злой Артем.

Ненавидели мы свиней; живя лучше нас, они служили для всех, кроме хозяина, источником великих обид и грязных забот о их здоровье и сытости.

Когда в мастерской узнали, что я назначен ухаживать за свиньями целую неделю,— кое-кто пожалел меня этой противной русской жалостью, которая липнет к сердцу, как смола, и обессиливает его; большинство равнодушно молчало, а Кузин поучительно и гнусаво сказал:

— Ничего-о! Хозяин велел — надобно стараться... Чей хлеб едим?

Артюшка закричал:

— Старый дьявол! Ябедник кривой...

— Ну, — а еще что? — спросил старик.

— Прихвостень! Поди скажи ему, хозяину...

Кузин прервал его речь, спокойно заявив:

— Я — скажу! Я, милый, всё скажу! Я живу по правде...

А Цыган крепко выругался и несвойственно ему угрюмо замолчал.

Ночью, в тяжелый час, когда я, лежа в углу, слушал в каменном ужасе сонный храп изработавшихся людей и расставлял пред собою так и эдак немые, непонятные слова: жизнь, люди, правда, душа,— пекарь тихо подполз ко мне и лег рядом;

— Не спишь?

— Нет.

— Тяжело тебе, брат...

Он свернул папиросу, закурил. Красный огонек ее освещал шелковинки его бороды и конец носа. Сдувая нагоревший пепел, Цыган зашептал:

— Вот что; отрави свиней! Это дело простое — надо соли им дать в горячей воде, вздуются у них от этого желваки в кадыках и — подохнут звери...

— Зачем это нужно?

— Первое, — облегчить всех нас, и хозяину — удар! А сам ты — уйди! Я попрошу Сашку паспорт твой выкрасть у хозяина, — вот; крещусь! Идет?

— Не хочу.

— Напрасно. Всё едино — долго не вытерпишь, — он тебя сломит... — Обняв колени руками, он дремотно закачался, продолжая чуть слышно и медленно: — Это я тебе хорошо говорю — от души! Уходи, право... При тебе — хуже стало, больно сердись ты Семенова, а он на всех лезет. Гляди, — очень недовольны тобой, как бы не избили...

— А ты — как?

— Что?

— Тоже недоволен?

Он помолчал, не отводя глаз от бледного огня папиросы, потом — неохотно — сказал:

— По-моему — на болоте горох не сеют.

— А верно я говорю?

— Верно-то — верно, да ведь — какой толк? Мышь гору не источит. Хошь говори, хошь нет — всё едино. Больно ты, брат, доверчив. Верить людям опасно, гляди!

— И тебе тоже?

— А — и мне. Что я? Разве я чему защитник? Сегодня я — такой, завтра — другой... И все эдак...

Было холодно, пьяный запах перекисшего теста бил в нос. Вокруг — серыми буграми лежали люди, сопя и тяжело вздыхая; кто-то бредил во сне:

— Наташ... На-ата... ох...

Кто-то мычал и горько всхлипывал, — должно быть, снилось, что его бьют. С грязной стены слепо смотрели три черные окна — точно глубокие подкопы куда-то

в ночь. Капала вода с подоконников; из пекарни доносились мягкие шлепки и тихий писк: подручный пекаря, глухонемой Никандр, месил тесто.

Цыган шептал задумчиво и мягко:

— Ты бы шел в учителя, в деревню, — во-от! Хорошая жизнь, чисто! И дело законное, верное, — достойно души! Кабы я грамотен был, — я бы сейчас — в учителя! Очень ребятишек люблю. И баб. Баба — это просто несчастье мне! Как увижу мало-мало красивую — так и кончено: прямо — тянет за нею, будто на веревке. Кабы у меня иной характер, пожелаю я крестьянствовать, — я бы, может, остановился на какой-нибудь хорошей... Ребят народили бы мы с нею штук десять, ей-богу! А здесь бабы — и та хороша, и другая, и все доступны, так и живешь... не знаю как! Будто грибы собираешь, такая жадность, — уж полно лукошко, а — вот еще один, и опять наклонишься...

Он потянулся, развел широко руки, точно собираясь обнять кого-то, и вдруг строго деловито спросил:

— Как же насчет свиной?

— Это не пойдет.

— Ей-богу, напрасно! Что тебе?

— Нет.

Цыган, согнувшись, вором пошел в свой угол, к печи.

Тихо. Мне показалось, что под столом, где спал Кузин, тускло светился его иезуитский глаз.

Фантазия мечется по грязному полу среди мертво спящих людей, как испуганная мышь, бьется о сырые темные стены, о грязный свод потолка и, бессильная, умирает.

— Эй, — бредит кто-то, — дай сюда... топор дай...

Свиной отравили.

На третий день, утром, когда я вошел в хлев, они не бросились — как всегда было — под ноги мне, а, сбившись кучей в темном углу, встретили меня незнакомым, сирым хрюканьем. Осветив их огнем фонаря, я увидал, что глаза животных как будто выросли за ночь, выкатились из-под седых ресниц и смотрят на меня жалобно, с великим страхом и точно упрекая.

Тяжелое дыхание колебало зловонную тьму, и плавал в ней охающий, точно человеческий, стон.

«Готово!» — подумал я. Сердце неприятно ёкнуло.

Пошел в мастерскую, вызвал Цыгана в сени, — он вышел, ухмыляясь, расправляя усы и бороду.

— Ты велел отравить свиной?

Переступив с ноги на погу, он с любопытством спросил:

— Подошли? Ну-ка, иди, взглянем.

А на дворе насмешливо спросил:

— Скажешь хозяину?

Я промолчал; он, покручивая бородку, заговорил извиняющимся голосом:

— Это — Яшка, дьяволенок. Слышал он, как мы с тобой болтали, а вчера и говорит: «Я, дядя Павел, изделаю это, насыплю соли!» — «Не моги», — говорю...

Но, остановясь пред дверью хлева и заглядывая прищуренными глазами в темноту, где кипело и булькало хрипкое дыхание животных, он, почесывая подбородок, сморщив лицо болезненной гримасой, сказал недовольно:

— Какое дело, пес те загрызи! Врать — я очень умею и даже люблю соврать, а иной раз не могу! Совсем не могу...

Шагая обратно, поживаясь от холода и крикая, он заглянул в глаза мне и нараспев произнес:

— Что теперь буде-ет, у-ух ты, мать честная! Сбесятся у нас хозяин! Сорвет он Яшке голову...

— При чем тут Яшка?

— Это уж так положено, — подмигнув, объявил Цыган, — всегда в артели за больших маленькие отвечают...

Но тотчас же нахмурился, окинул меня острым взглядом и быстро побежал в сени, проворчав:

— Иди, жалуйся...

Я пошел к хозяину: он только что проснулся, толстое лицо было измято и серо, мокрые волосы гладко прилизаны к буграм неправильного черепа; он сидел за столом, широко расставив ноги, длинная розовая рубаха натянулась на коленях, и в ней, как в люльке, лежал дымчатый кот.

Хозяйка ставила на стол чайную посуду, двигаясь с тихим шелестом, точно куча тряпья, которую возила по полу чья-то невидимая рука.

— Что надо? — чуть заметно улыбнувшись, спросил он.

— Свиньи захворали.

Он швырнул кота к моим ногам и, сжав кулаки, быком пошел на меня, его правый глаз разгорался, а левый, покраснев, полно налился слезою.

— Кто? Кто? — бухал он, задыхаясь.

— Ветеринара надо скорее позвать...

Подойдя вплоть ко мне, он смешно хлопнул себя ладонями по ушам, сразу как-то вспух весь, посинел и дико, жалобно завыл:

— Дья-аволы-и, всё знаю я...

Подползла хозяйка, и я впервые услышал ее голос, дрожащий и как бы простуженный:

— За полицией пошли, Вася, скореечко, за полицией...

Изношенные, тряпичные щеки ее тряслись, большой рот испуганно открылся, обнажив неровные, черные зубы, — хозяин резко толкнул ее прочь, схватил со стены какую-то одежду и, держа ее колом под мышкой, бросился в дверь.

Но на дворе, заглянув во тьму хлева, прислушавшись к тяжелому хрипу животных, он спокойно сказал:

— Позови троих.

А когда из мастерской вышли Шатунов, Артюшка и солдат, он крикнул, не глядя на нас:

— Вынесите!

Мы вытащили четыре грязные туши, положили их среди двора. Чуть брезжило; фонарь, поставленный на землю, освещал тихо падавшие снежинки и тяжелые головы свиней с открытыми пастьями, — у одной из них глаз выкатился, точно у пойманной рыбы.

Накинув на плечи лисью шубу, хозяин стоял над издыхавшими животными молча и неподвижно, опустив голову.

— Пошли, работай!.. Егора позвать! — глухо сказал он.

— Забрало! — шепнул Артюшка, когда мы толка-

лись в узких сенях, заваленных мешками муки.— До того ушибло, что и не сердится...

— Погоди,— буркнул Шатунов,— сырое дерево не сразу горит...

Я остался в сенях, глядя в щель на двор: в сумраке утра натужно горел огонь фонаря, едва освещая четыре серых мешка, они вздувались и опадали со свистом и хрипом; хозяин — без шапки — наклонился над ними, волосы свесились на лицо ему, он долго стоял, не двигаясь, в этой позе, накрытый шубой, точно колоколом... Потом я услышал сопенье и тихий человеческий шёпот:

— Что, милые? Больно? Милые... Чхо, чхо...

Животные захрапели как будто сильнее.

Он поднял голову, оглянулся, и мне ясно видно стало, что лицо у него в слезах. Вот он вытер их обеими руками, — жестом обиженного ребенка, — отошел прочь, выдернул из бочки клок соломы, воротился, присел на корточки и стал отирать соломой грязное рыло борова, но тотчас же швырнул солому прочь, встал и начал медленно ходить вокруг свиней.

Раз и два обошел их, всё ускоряя шаги, и вдруг как-то сорвался с места, побежал кругами, подскакивая, сжав кулаки, тыкая ими в воздух. Полы шубы били его по ногам, он спотыкался, чуть не падал, останавливаясь, встряхивал головою и тихонько выл. Наконец он, — тоже как-то сразу, точно у него подломилась нога, — опустился на корточки и, точно татарин на молитве, стал отирать ладонями лицо.

— Чхо, чхо, дружочки мои... чхо-о!

Из сумрака, из угла откуда-то лениво выплыл Егор, с трубкой в зубах; вспыхивая, огонь освещал его темное лицо, наскоро вытесанное из щелявой и суковатой доски; блестела серьга в толстой мочке красного уха.

— Егораша,— тихо позвал хозяин.

— Ай?

— Отравили родимых...

— Этот?

— Нет.

— А кто?

— Пашка да Артюшка. Мне Кузин донес...

— Вздуть, что ли?

Поднявшись на ноги, хозяин устало сказал:

— Погоди.

— Сволочь — народ, — глухо выговорил Егор.

— Да-а. Нет, — в чем повинны скоты, а?

Егор плюнул, попал на сапог себе, поднял ногу и вытер сапог полою поддевки.

Серое, промерзлое небо тяжело накрыло тесный двор, неохотно разыгрывался тусклый, зимний день.

Егор подошел к издыхающим животным.

— Надобно прирезать.

— Зачем? — отозвался хозяин, мотнув головой. —

Пускай поживут, сколько дано...

— Прирежу, — колбаснику продадим. А дохлые — куда они?

— Не возьмет колбасник, — сказал Семенов, снова присев на корточки и поглаживая рукой вздувшуюся шею борова.

— Как не возьмет? Скажу — рассердился ты на них и велел приколоть. Скажу — здоровые были...

Хозяин промолчал.

— Ну, как же? — настойчиво спросил Егор.

— Как?

Хозяин поднялся и снова тихо пошел вокруг свиней, напевая вполголоса:

— Отшельнички мои, шельмочки...

Остановился, оглянулся и сердито бросил:

— Режь!

Ждали грозы — расчетов, думали, что хозяин в наказание прибавит еще мешок работы; Цыган, видимо, чувствовал себя скверно, но — храбрился и фальшиво-беззаботно покрикивал:

— Жарь да вари!

Мастерская угрюмо молчала, на меня смотрели злобно, а Кузин бормотал:

— Он всем наложит — и правым и виноватым...

Настроение становилось всё гуще, мрачнее; то и дело вспыхивали ссоры, и наконец, когда сажались обедать,

солдат Милов, разинув пасть до ушей, нелепо захохотал и звонко ударил Кузина ложкой по лбу.

Старик охнул, схватился рукою за голову, изумленно выпучил злой, одинокий глаз и заныл:

— Братцыньки, — за что-о?

Раздался общий гул, ругань, на солдата свирепо двинулись человека три, помахивая руками, — он прислонился спиной к стене и, давясь смехом, объяснил:

— Это — за хитрость! Мне Егорка сказал... хозяин-то всё знает, кто свиней отравил...

Цыган, бледный и странно вытянувшийся, стрелой отскочил от печи и схватил Кузина за шиворот:

— Опять? Мало тебя, гнилая язва, били за проклятый твой язык?!

— Али — не правда? — закрыв руками маленькое, сморщенное лицо, старчески плаксиво выкрикивал Кузин. — Не ты заводчик? Слышал я, как ты Грохалу уговаривал...

Цыган крикнул, размахнулся — Артюшка повис у него на плече:

— Не тронь, Паша, стой...

Началась возня, — Павел бился в руках Шатунова и Артема и рычал, лягаясь, дико вращая белками сумасшедших глаз:

— Пустите... я его кончу...

А правдивый старичок, оставив ворот грязной рубахи в руках Цыгана, кричал, брызгая слюной:

— Ничего нет — я ничего не скажу, а коли что есть худое — я скажу! Душеньку выньте, подлецы, — скажу!

И вдруг бросился на Яшку, ударил его по голове, сшиб на пол и, пиная ногами, заплясал над ним, точно молодой, легко и ловко:

— Это ты, ты, ты, стервец, соли намешал, ты-и...

Артем прыгнул, ударил старика головой в грудь, — тот охнул и свалился, хрипя:

— У-у-у...

Озверевший Яшка, безобразно ругаясь и рыдая, набросился на него злой собакой, рвал рубаху, молотил кулаками, я старался оттащить его, а вокруг тяжело топали и шаркали ноги, поднимая с пола густую пыль,

рычали звериные пасти, истерично кричал Цыган — начиналась общая драка, сзади меня уж хлестались по щекам, ляскали зубы. Кучерявый, косоглазый, угрюмый мужик Лещов дергал меня за плечо, вызывая:

— Выходи один на один, ну! Выходи, вставай, что ли-ча!

Дурная, застоявшаяся кровь, отравленная гнилой пищей, гнилым воздухом, насыщенная ядами обид, бросилась в головы, — лица посинели, побагровели, уши налились кровью, красные глаза смотрели слепо, и крепко сжатые челюсти сделали все рожи людей собачьими, угловатыми.

Подбежал Артем и крикнул в дикое лицо Лещова:
— Хозяин!

Точно всех ветром раздуло, — каждый вдруг легко отпрыгнул на свое место, сразу стало тихо, слышалось только усталое, злое сопение да дрожали руки, схватившиеся за ложки.

В арке хлебопекарни стояли двое пекарей — булочник Яков Вишневский, щеголь-чистяк, и хлебник Башкин, жирный, страдавший одышкой человек с багровым лицом, совиными глазами.

— Не будет драки? — разочарованно и уныло спросил он.

Вишневский, покручивая тонкие усики маленькой и ловкой рукою, сплошь покрытой рубцами ожогов, проблеял козлиным голосом:

— Э, лайдаки, череи мучные...

На них и обрушился неизрасходованный гнев — вся мастерская начала дико ругаться; этих пекарей не любили: их труд был легче нашего, заработок выше. Они отвечали на ругань руганью, и, может быть, драка снова вспыхнула бы, но вдруг растрепанный, заплаканный Яшка поднялся из-за стола, шатаясь пошел куда-то и, вскинув руки ко груди, — упал лицом на пол.

Я отнес его в хлебопекарню, где было чище и больше воздуха, положил на старый ларь, — он лежал желтый, точно кость, и неподвижен, как мертвый. Буйство прекратилось, повеяло предчувствием беды, все струсили и вполголоса стали ругать Кузину;

— Это ты его, кривой чёрт!

— Острог тебе, подлецу...

Старик сердито оправдывался:

— Я — что? Это черная немочь у него, а то — припадок какой...

Артем и я привели мальчика в сознание, он медленно поднял длинные веки веселых умненьких глаз, вяло спросив:

— Приехали уж?..

— Куда, к чертям! — тоскливо воскликнул его брат. — Лезешь ты во всё, вот как дам трепку... Ты что это упал?

— Откуда? — удивленно пошевелив бровями, спросил он. — Упал я?.. Забыл... Мне плиснилось — едем в лодке — ты да я — лаков ловить... лашни с нами... водки бутылка, тоже...

Закрыв глаза, усталый, и, помолчав, забормотал слабеньким полущёпотом:

— Теперь помню — сердце мне отбили... Кузин это! Ненавистник он мой. Дышать трудненько... старый дурак! Знаю я его... жену забил! Снохач. Мы ведь из одной деревни, я всё знаю...

— А ты — молчи! — сердито сказал Артем. — Ты лучше спи.

— Деревня наша — Егильдеево... Трудненько говорить мне, а то бы я...

Он говорил, как будто засыпая, и всё время облизывал языком потемневшие, сухие губы.

Кто-то пробежал по пекарне, радостно воя:

— Гуляй наши! Запил хозяин.

Мастерская загоготала, засвистала, все взглянули друг на друга ласково, ясными, довольными глазами: отодвигалась куда-то месть хозяина за свиней, и во время его запоя можно было меньше работать.

Хитренький и незаметный в минуты опасных возбуждений, Ванок Уланов выскочил на середину мастерской и крикнул:

— Играй!

Цыган, закрыв глаза, выпятил кадык и высочайшим тенором запел:

Эй, вот по улице козел идет...

Двадцать человек, приударив ладонями по столу, подхватили:

По широкой молодой идет!
Он бородушкой помахивает

— выводил Цыган, притопывая, а хор дружно досказывал зазорные слова:

... потряхивает!

На маленьком клочке грязного пола, вздымая пыль, червем извивался, как обожженный, в бесстыдных судорогах маленький мягкий человек.

— Дел-лай! — кричали ему, и внезапно вспыхнувшее веселье было таким же тяжелым и жутким, как недавний припадок озлобления.

К ночи Бубенчику стало хуже: он лежал в жару и дышал неестественно — наберет в грудь много кислого, спиртного воздуха и, сложив губы трубкой, выпускает его тонкой струей, точно желая свистнуть и не имея сил. Часто требовал пить, но, глотнув воды, отрицательно качал головою и, улыбаясь помутившимися глазками, шептал:

— Омманулся, не хочу...

Я растер его водкой с уксусом, он заснул с неясной улыбкой на лице, оклеенном мучной пылью, курчавые волосы прилипли к вискам, весь он как будто таял, и грудь его едва вздымалась под рубахой, грязной, полуистлевшей, испачканной комьями присохшего теста.

На меня ворчали:

— А ты перестал бы там лекаря играть! Лодарить мы все тут умеем...

На душе у меня было плохо, я чувствовал себя всё более чужим зверем среди этих людей, только Артем да Пашка, видимо, понимали мое настроение, — Цыган ухарски покрикивал мне:

— Эй, не робей! Меси тесто, девушка, — ждут ребята хлебушка!

Артем кружился около меня, стараясь весело шу-

тить, но сегодня это не выходило у него, он вздыхал печально и раза два спросил:

— Ты думаешь — больно зашибли Яшку-то?

Шатунов, громче, чем всегда, тянул свою любимую песню:

Стать бы перекрест двух проезжих дорог,
Стать бы, поглядеть, куда долюшка прошла...

Ночью я лег на полу около Бубенчика, и, когда возился, расстилая мешки, он, проснувшись, пугливо спросил:

— Это кто ползает? Ты-и, Глохал?

Хотел подняться, сесть и — не мог: голова грузно упала на черное тряпье под нею.

Уже все спали, шелестело тяжелое дыхание, влажный кашель колебал спертый, пахучий воздух. Синяя, звездная ночь холодно смотрела в замазанные стекла окна: звезды были обидно мелки и далеки. В углу пекарни, на стене, горела маленькая жестяная лампа, освещающая полки с хлебными чашками, — чашки напоминали лысые, срубленные черепа. На ларе с тестом спал, свернувшись комом, глуховатый Никандр, из-под стола, на котором развешивали и катали хлебы, торчала голая, желтая нога пекаря, вся в язвах.

Яшка тихо позвал:

— Глохал...

— Ой?

— Скушно мне...

— А ты говори, — рассказывай мне что-нибудь...

— Не знаю, про что... Про домовика?

— Ну, про него...

Он помолчал, потом спустился с ларя, лег, положил горячую голову на грудь ко мне и заговорил тихонько, как сквозь сон:

— Это перед тем, как отца в острог увели; лето было тогда, а я еще — маленький. Сплю под поветью, в тепле, на сене, — хорошо это! И проснулся, а он с крыльца по ступенькам — прыг-прыг! Маненький, с кулак ростом, и мохнатый, будто варежка, — серый весь и зеленый. Безглазый. Ка-ак я крикну! Мамка сейчас бить меня, — это я зря кричал, его нельзя пугать, а то

он осердится и навек уйдет из дома,— это уж беда! У кого домовичок не живет, тому и бог не радуется; домо-вой-то, он — знаешь кто?

— Нет. А — кто?

— Он богу докладчик через ангелей,— ангели спустятся наземь с небеси, а человеческого языка им не велено понимать, чтобы не опаскудились, и людям ангелову речь нельзя слушать...

— Почему?

— Та-ак. Заказано. Это, по-моему, напрасно всё — ведь как это отодвигает людей от бога-то, поди-ка!

Он оживился, сел и заговорил быстрее, почти как здоровый:

— Каждый бы прямо сказал богу, что надо, а тут — домовичок! А он, иной раз, и сердит на людей — не угодили ему — да и наплетет ангелям, чего не надо,— понял? Они его спрашивают: «Какой это мужик?» А он, в сердцах, скажет: «Мужик этот плохой человек». И — пошла на двор беда за бедой — вот оно! Люди кричат-кричат: господи — помилуй! А уж ему и невесть что насаказано про них, он и слушать не хочет,— тоже осердился...

Лицо мальчика было хмуро и серьезно, прищурив глаза, он смотрел в потолок, серый, как зимнее небо, с пятнами сырости, похожими на облака.

— От чего у тебя отец помер?

— Силой хвастался. Это в остроге он... Сказал, что поднимет пятерых живых людей, велел им обняться крепко и стал поднимать, а сердце у него и лопнуло. Изошел кровью.

Бубенчик тяжело вздохнул и снова прилег рядом со мною; терся горячей щекой о мою руку и говорил:

— Силища у него была — беда, какая! Двупудовой гирей два десятка раз без передыху крестился. А дела — нету, земли — маленько, вовсе мало... и не знай сколько! Просто — жрать нечего, ходи в кусочки. Я, маленький, и ходил по татарам, у нас там всё татары живут, добрые татары, такие, что — на! Они все такие. А отцу — чего делать? Вот и начал он лошадей воровать... жалко ему было нас...

Его тонкий, но уже сильный голосок звучал всё

более утомленно, всё чаще прерывался; мальчик старчески покашливал и вздыхал:

— Украдет хорошо — все сыты, и весело таково жить станет... Мамка, бывало, ревмя ревет... а то — напьется, песни играть станет... маненькая она была, складная... кричит тятке-то: «Душенька ты моя милая, погибшая душа...» Мужики его — кольями... он ничего! Артюшке бы в солдаты идти... надеялись, человеком будет... а он — не годен...

Мальчик замолчал, испугав меня громким храпом, я наклонился над ним, прислушался, как бьется сердце. Сердце билось слабо и торопливо, но жар стал как будто меньше.

Из окна на грязный пол падал жиденький лунный свет. Тихо и ясно было за окном, — я пошел на двор взглянуть на чистое небо, подышать морозным воздухом.

А воротясь в пекарню, освеженный и озябший, — испугался: в темном углу около печи шевелилось что-то серое, почти бесформенная куча живого, тихо сопевшая.

— Кто это? — спросил я, вздрогнув.

Знакомый голос хозяина сипло отозвался:

— Не ори.

По обыкновению он был одет в татарскую рубаху, и она делала его похожим на старую бабу. Стоял он как бы прячась за угол печи, в одной руке — бутылка водки, в другой — чайный стакан, руки у него, должно быть, дрожали — стекло звенело, слышалось бульканье наливаемой влаги.

— Иди сюда! — позвал он и, когда я подошел, — сунул мне стакан, расплескивая водку. — Пей!

— Не хочу.

— Отчего?

— Не время.

— Кто пьет — во всякий час пьет. Пей!

— Я не пью.

Он тяжело мотнул головой.

— Говорили — пьешь.

— Рюмку, две, с устатка...

Поглядев правым глазом в стакан, он вздохнул шумно и выплеснул водку в приямок, перед печью, потом шагнул туда сам и сел на пол, свесив ноги в приямок.

— Садись. Желая беседовать с тобой.

В темноте мне не видно было выражения его круглого, как блин, лица, но голос хозяина звучал незнакомо. Я сел рядом с ним, очень заинтересованный; опустив голову, он дробно барабанил пальцами по стакану, стекло тихонько звенело.

— Ну, говори чего-нибудь...

— Якова надо в больницу отвести...

— А что?

— Захворал. Кузин избил его опасно...

— Кузин — сволочь. Он всё передает... про всех. Ты думаешь — я ему мирволю за это? Подкупаю? Пыли горсть в кривую рожу не швырну ему, не то что пятак дать...

Говорил он лениво, но внятно, и, хотя слова его пахли водкой, пьяным он не казался.

— Знаю я всё! Почему ты не хотел свинок извести? Говори прямо! Ты мной обижен, я понимаю. И я тобой обижен. Ну?

Я сказал.

— Та-ак! — заговорил он, помолчав. — Значит, я — хуже свишьи? И меня надо отравить, а?

Он как будто усмехнулся, а я снова сказал:

— Так я отведу Якова-то в больницу?

— Хоть на живодерню. Мне что?

— За ваш счет.

— Нельзя, — равнодушно бросил он. — Никогда этого не было. Эдак-то все захотят в больницах лежать!.. Вот что — скажи мне, почему ты меня тогда... за ухо трепал?

— Рассердился.

— Это я понимаю, я не про то! Ну — ударил бы по уху, в зубы дал, что ли, а почему ты трепал, — как будто я мальчишка перед тобой?..

— Не люблю я людей бить...

Он долго молчал, посапывая, как бы задремав, потом твердо и внятно сказал мне:

— Дикой ты, парень! И всё у тебя — не так... в самой в башке у тебя — не так всё...

Он сказал это безобидно, но — с явной досадой.

— Скажи... ну, плохой я человек?

— А вы как думаете?

— Я? Врешь, я человек хороший. Я, брат, умный человек. Вот — ты и грамотный и речистый, говоришь то и се, про звезды, про француза, про дворян... я признаю: это хорошо, занятно! Я тебя очень заметил сразу, — как тогда ты мне, впервой видя меня, сказал, что могу я, простудившись, умереть... я всегда сразу вижу, кто чего стоит!

Ткнул себя коротким, толстым пальцем в лоб и, вздохнув, объяснил:

— Тут, брат, сидит самая проклятущая память... Сколько у деда волос в бороде было, и то — помню! Давай спорить! Ну?

— О чем?

— А что я тебя умнее. Ты — сообрази: я неграмотный, никаких букв не знаю, только цифирь, а вот — у меня на плечах дело большое, сорок три рабочих, магазин, три отделения. Ты — грамотный, а работаешь на меня. Захочу — настоящего студента найму, а тебя — прогоню. Захочу — всех прогоню, дело продам, деньги пропью. Верно?

— Ума я тут особого не вижу...

— Врешь! А в чем он, ум? Ежели у меня ума нет — вовсе нет нигде ума! Ты думаешь — в слове ум? Нет, ум в деле прячется, а больше нигде...

Он негромко, но победно засмеялся, встряхивая свое большое, рыхлое тело, и продолжал снисходительно, вязким голосом, всё более пьянея:

— Ты — одного человека не покормишь, а я кормлю — сорок! Захочу — сотню буду кормить! Вот — ум!

И перешел в тон строгий, поучительный, всё с большим усилием ворочая языком:

— Почто ты фордыбачишь против меня? Это всё — глупость! Это никому не надобно, а для тебя — вредно. Ты старайся, чтобы я тебя признал...

— Вы уж признали.

— Признал?

Он подумал несколько секунд и согласился, толкнув меня плечом.

— Верно! Признал. Только — нужно, чтобы я дал тебе дорогу, а я могу не дать... Хотя я — всё вижу, всё знаю! Гараська у меня — вор. Ну, он тоже умный и, ежели не оступится, в острог не попадет, — быть ему хозяином! Живодер будет людям! Тут все воры и хуже скота... просто — пададь! А ты к ним ластишься... Это даже понять нельзя, такая это глупость у тебя.

Меня одолевал сон; мускулы и кости, уставшие за день, — ныли, голова наливалась тяжкой мутью. Скучный, вязкий голос хозяина точно оклеивает мысли:

— Про хозяев ты говоришь опасно, и всё это — глупое у тебя, от молодости лет. Другой бы сейчас позвал околодочного, целковый ему в зубы, а тебя — в полицию.

Он хлопал меня по колену тяжелой мягкой рукой:

— Умный человек должен целить в хозяева, а не мимо! Народицу — множество, а хозяев — мало, и оттого всё нехорошо... фальшиво всё и непрочно! Вот будешь смотреть, увидишь больше, — тогда отвердеет сердчишко, поймешь сам, что вредный самый народ — это которые не заняты в деле. И надо весь лишний народ в дело пустить, чтобы зря не шлялся. Дерево гниет и то — жалко, сожги его — тепло будет, — так и человек. Понял ли?

Застонал Яков, я встал и пошел посмотреть на него: он лежал вверх грудью, нахмуря брови, открыв рот, руки его вытянуты вдоль тела, что-то прямое, воинственное было в этом мальчике.

С ларя вскочил Никандр, подбежал к печи, наткнулся на хозяина и обомлел с испуга на минуту, а потом, широко открыв рот, виновато мигая рыбьими глазами, замычал, чертя в воздухе быстрыми пальцами запутанные фигуры.

— Му-у, — передразнил его хозяин, встав и уходя. — Дура каменная...

Когда он исчез за дверью, — глухонемой подмигнул мне и, взяв себя двумя пальцами за кадык, сделал горлом:

— Хох, хох...

Утром мы с Яшуткой пошли в больницу, — денег на извозчика не было, мальчик едва шагал, слабо покашливая, и говорил, мужественно перемогаясь:

— Плосто — дышать нечем, все дыхалки сбиты... Черти какие...

На улице, в ослепляющем сиянии серебряного солнца, среди грузных, тепло одетых людей, он, в темных лохмотьях, казался еще меньше и костлявее, чем был. Его небесные глаза, привыкшие к сумраку мастерской, обильно слезились.

— Ежели я помру — пропал Артюшка, сопьется, дурак! И ни в чем не бережет он себя. Ты, Глохал, прикрикивай на него... скажи — я велел...

Темные, сухие губенки болезненно кривились, детский подбородок дрожал, — я вел его за руку и боялся, что вот он сейчас заплачет, а я начну бить встречных людей, стекла в окнах, буду безобразно орать и ругаться.

Бубенчик остановился, передохнул и старчески внушительно выговорил:

— Так и скажи — велел я ему слушаться тебя...

...Возвратясь в мастерскую, я узнал, что случилось еще несчастье: утром, когда Никандр нес крендели в отделение, его сшибли лошади пожарной команды и он тоже отправлен в больницу.

— Теперь, — уверенно говорил Шатунов, глядя на меня узенькими глазками, — жди чего-нибудь третьего — беда ходит тройней: от Христа беда, от Николе, от Егория. А после матерь божья скажет им: «Будет, детки!» Тут они опомнятся...

О Никандре — не говорили, он был человек чужой, не нашей мастерской, но много рассказывалось о быстром беге, силе и выносливости пожарных лошадей.

В обед являлся Гараська — ловкое, красивое животное, парень с наглыми глазами распутника и вора, фальшиво ласковый со всеми, кого боялся; он торжественно объявил мне, что я перевожусь в подручные пекаря на место Никандра — жалованье шесть рублей.

— С возвышением! — весело крикнул Пашка, но тотчас же нахмурился и спросил:

— Это — кто распорядился?

— Хозяин.

— Да ведь у него — запой?

— Нисколько даже! — усмехаясь, сказал Гараська. — Вчерась он действительно помянул души усопших, а сегодня — в полном своем достоинстве и во всей красоте, — поехал муку покупать...

— Стало быть, — со свиньями дела не кончены, — сердито и медленно выговорил Цыган.

На меня смотрели злобно, с завистью, с нехорошими усмешками, по мастерской плавали тяжелые, обидные слова:

— Пошла битка в кон...

— Чужая птица — всегда чужая...

Шатунов медленно жевал свои особливые слова:

— Крапиве свое место, маку — свое...

А Кузин прятал свои мысли за словами, которые он говорил, когда думал что-либо дурное:

— Который раз я вам, дьяволятки, указываю — икону-то божью почистили бы!

Только Артем громко крикнул:

— Ну, залаяли! Завизжали!

...Первой же ночью работы в хлебной, когда я, замесив одно тесто и поставив опару для другого, сел с книгой под лампу, — явился хозяин, сонно щуря глаза и чмокая губами.

— Читаешь? Это — хорошо. Это лучше, чем спал бы, — тесто не перестоится, не проспидь...

Он говорил тихонько, потом, кинув осторожный взгляд под стол, где храпел пекарь, сел рядом со мною, на мешок муки, взял книгу из рук у меня, закрыл ее и, положив на толстое колено свое, прижал ладонью.

— Про что книжка?

— Про народ русский.

— Какой?

— Русский, говорю.

Он искоса взглянул на меня и поучительно сказал:

— И мы — казанские — окромя татар — русские, и симбирские — русские. А это про кого написано?

— А про всех и написано...

Он развернул книгу, отнес ее от лица на расстояние

руки, кивая головой, прощупал страницы зеленым глазом и уверенно заметил:

— Видно, что не понимаешь ты книгу.

— Почему — видно?

— Так уж. Картинок нет? Ты бы читал которые с картинками, забавнее, поди-ка! Что же тут про народ написано?

— Во что он верует, какие обычаи у него, какие песни поет...

Хозяин закрыл книгу, сунул ее под себя и протяжно зевнул. Рта не перекрестил — рот у него был широкий, точно у жабы.

— Это всё очень известно, — сказал он. — Верует народ в бога, песни у него есть и плохие и хорошие, а обычаи — подлые! Насчет этого — ты у меня спроси, я тебе лучше всякой книги обычаи покажу. Это не по книгам надо узнавать, а — выдь на улицу, на базар поди, в трактир или — в деревню, на праздник, — вот и будут тебе показаны обычаи. А то — к мировому судье ступай... в окружный суд тоже...

— Вы не про то говорите.

Он угрюмо взглянул на меня и сказал:

— Мне лучше знать, про что я говорю! А книжки — сказки да басни... просто небылицы! Разве можно про народ рассказать в одной книжке?

— Их — не одна.

— Ну, так что? А народу — тысячи миллионные. Про каждого книжку не напишешь.

Голос его звучал недовольно, желтый пух над глазами сердито отвердел, оцетинился. Эта беседа казалась мне неприятным сном, нагоняла скуку.

— Чудак ты, путаная твоя голова! — вздыхая и посапывая, говорил он. — Ты пойми — ерунда всё это, фальша! Книги — про кого? Про людей? А — разве люди про себя правду скажут? Ты — скажешь, ну? И я — не скажу. Хошь шкуру дери с меня, — не скажу! Я, может, перед богом молчать буду. Спросит он: «Ну, Василий, говори, в чем грешен?» А я скажу: «Ты, господи, сам должен всё это знать, твоя душа, не моя!»

И, толкнув меня локтем в бок, усмехаясь, подмигивая, он продолжал потише:

— Могу сказать это! Душа — чья? Его! Его душа, он ее из меня изнял, ну и — кончен разговор деловой!

Он сердито хрюкнул и, точно умываясь, провел ладонями по лицу, не переставая настойчиво говорить:

— Ты мне, скажу, душу дал? Дал! А после — взял? Взял! Значит, и в расчете мы. Квит!

Мне стало не по себе. Лампа висела сзади нас и выше, тени наши лежали на полу, у ног. Иногда хозяин вскидывал голову вверх, желтый свет обливал ему лицо, нос удлинялся тенью, под глаза ложились черные пятна, — толстое лицо становилось кошмарным. Справа от нас, в стене, почти в уровень с нашими головами было окно — сквозь пыльные стекла я видел только синее небо и кучку желтых звезд, мелких, как горох. Храпел пекарь, человек ленивый и тупой, шуршали тараканы, скреблись мыши.

— Да вы верите в бога-то? — спросил я хозяина; он искоса взглянул на меня мертвым глазом и долго молчал.

— Ты меня об этом спрашивать не можешь. Ты вовсе не смеешь спрашивать меня ни про что, кроме твоего дела. Я тебя — обо всем могу спросить, и ты мне на всё должен ответить. Ты — чего добиваешься?

— Это мое дело.

Он — подумал, посопел:

— Какой это ответ? Дерзкая ты башка...

Вынув книгу из-под себя, шлепнул ею по колену, бросил на пол.

— История! Кто мою историю может знать? А у тебя — совсем еще нет истории... да и не будет никакой!

Он вдруг засмеялся самодовольным смехом, — этот странный, всхлипывающий звук, такой тихонький и жидкий, вызвал у меня тоскливое чувство сострадания к хозяину, а он, покачивая свое большое тело, говорил насмешливо и мстительно:

— Знаю я! Видел я такого гуся. У меня любовница приказницей в отделении сидит, так у нее племянник, студент скотских наук, — лошадей, коров лечить учился, — теперь пьяница, вовсе спойл я его! Галкин — фамилия. Иной раз заходит гривенник получить на водку, золотая рота он нынче. А тоже вот добивался!

«Должна,— кричал,— быть правда где ни то, в народе,— в моей душе алчба этой самой правды живет,— стало быть — есть правда и снаружи души!» А я его — накачиваю. Спился, подлец. Бывало, выкатит на меня зенки — они у него ласковые были, бабьи, ну, не скажу, чтобы фальшивые... Так он — тихосумасшедший был. Кричит; «Василий Семенов, ты — мороз, ты ужасной человек в жизни...»

Мне пора было топить печь, я встал и сказал об этом хозяину, — он тоже поднялся, открыл ларь, похлопал ладонью по тесту и сказал:

— Верно, пора...

Ушел, не спеша и не взглянув на меня.

Мне было приятно, что иссяк его хвастливый жирный голос, выползли из пекарни наглые слова.

В крендельной зашлепали по полу босые ноги; спотыкаясь во тьме, на меня наткнулся Артем, встрепанный, широко, точно лунатик, открывший свои хорошие невеселые глаза.

— Как он тебя охаживает!

— Ты что не спишь?

— Не знай. Сердце мозжит, будто... Ка-ак он тебя-а!

— Тяжело с ним.

— Еще бы! Свинцовый... И собака же!

Парень прислонился плечом к стенке печи и вдруг другим голосом сказал, как будто равнодушно:

— Забили у меня братика... Думаешь — выйдет он из больницы али вынесут?

— Ну, что ты? Бог даст...

Он оттолкнулся от печи и, покачиваясь, снова пошел в крендельную, скучно и тихо говоря на ходу:

— Нам бог ничего не даст...

Кошмарной полосой потянулись ночные беседы с хозяином: почти каждую ночь он являлся в пекарню после первых петухов, когда черти проваливаются в ад, а я, затопив печь, устраивался перед нею с книгой в руках.

Выкатившись из двери своей комнаты, круглый и ленивый, он, покрывая, садился на пол, на край

прямка, спуская в него голые ноги, как в могилу; вытягивал перед лицом короткие лапы, рассматривал их на огонь прищуренным зеленым глазом и, любуясь густой кровью, видной сквозь желтую кожу, заводил часа на два странный разговор, угнетавший меня.

Обыкновенно он начинал с того, что хвастался своим умом, силою которого безграмотный мужик создал и ведет большое дело с глухими и вороватыми людьми под рукою, — об этом он говорил пространно, но как-то вяло, с большими паузами и часто вздыхая присвистывающим звуком. Иногда казалось, что ему скучно исчислять свои деловые успехи, он напрягается и заставляет себя говорить о них.

Я уже давно устал удивляться его поистине редким способностям — уменью хорошо купить партию подмоченной, засолодевшей муки, продать мордвину-торговцу сотню пудов загнивших кренделей, — эти торговые подвиги надоедали своим жульническим однообразием и стыдной простотою, которая с жестокой ясностью подчеркивала человечью жадность и глупость.

Жарко пылают дрова в печи, я сижу пред нею рядом с хозяином, его толстый живот обвис и лежит на коленях, по скучному лицу мелькают розовые отблески пламени, серый глаз — точно бляха на сбруе лошади, он неподвижен и слезится, как у дряхлого нищего, а зеленый зрачок всё время бодро играет, точно у кошки, живет особенной, подстерегающей жизнью. Станный голос, то — высокий по-женски и ласковый, то — сиплый, сердито присвистывающий, сеет спокойно-наглые слова:

— Доверчив ты — зря, и говоришь много лишнего! Люди — жулики, ими надо управлять молча; гляди на человека строго и — помалкивай — молчи! Ему тебя понимать не след, пусть он боится тебя и сам догадается, чего ты хочешь...

— Я не собираюсь людьми управлять.

— Врешь! Без этого — нельзя.

И объясняет: одни люди должны работать, другим дано руководить ими, а начальство должно заботиться, чтоб первые покорно подчинялись вторым.

— Лишних — вон! Которые ни в тех, ни в сех, ни в третьих — прочь!

— Куда?

— Это дело не мое. Вот начальство и содержится для бездельников, для воров — для негодного народа. Дельному человеку — воевод не надо, он сам воевода... Губернатор не может знать, какая мука мне подходяща, какая — нет, он должен знать одно: какой человек полезный, который вредный.

Иногда мне чудится, что в голосе его звучит сердечная усталость. Может быть, это печаль о чем-то другом, чего он — не зная — ищет? И я слушаю его речь с напряженным вниманием, с живой готовностью понять его, жду каких-то иных мыслей и слов.

Из-под печки пахнет мышами, горелым мочалом, сухой пылью. Грязные стены дышат на нас теплой сыростью, грязный, истоптанный пол прогнил, лежат на нем полосы лунного света, освещая черные щели. Стекла окон густо засижены мухами, но кажется, что мухи засидели самое небо. Душно, тесно и несмываемо грязно всё.

Разве достойно человека жить такой жизнью?

Хозяин медленно нижеет слово за словом, напоминая слепого нищего, который дрожащими пальцами щупает поданные ему копейки.

— Ну,— ладно — наука... Тогда пусть меня научат из пыли, из глины муку молоты! А то: стоит огромный домище, называется ниверситет, ученики — молодые парни, по трактирам пьянствуют, скандалят на улицах, про святого Варламия зазорно поют, ходят на Пески, к девкам, живут, вообще, как приказчики, что ли бы... И вдруг, после всего,— доктор, судья, учитель, адвокат! Стану я верить им? Да они еще, может, поганей меня! Не могу я верить никому...

И, сладостно причмокивая, он рассказывает отвратительные подробности о том, как студенты ведут себя с девицами.

О женщинах он говорит много, со спокойным цинизмом, без возбуждения, с какою-то странной ищущей задумчивостью и понижая голос почти до шёпота. И никогда он не описывает лица женщины, а только груди, бедра, ноги; слушать эти рассказы очень противно.

— Ты вот всё говоришь — совесть, прямота, а я тебя — прямее! Ты, при грубом твоём характере, очень не прямо ведешь себя, я зна-аю! Намедни сказал ты в трактире газетчику, что у меня лари гнилые, тесто из них на пол текет, тараканов много, работники в си-филисе и грязь везде...

— Об этом я и вам говорил...

— Верно, говорил! А что в газету можешь передать — этого не сказал. Ну, написали в газете; пришла полиция, санитарный,— дал я им всем вместе двадцать пять целкачей, и вот тебе,— он обвел рукою круг в воздухе над головой своей,— видал? Всё — как было. Все тараканы целы. Вот тебе и газета, и наука, и совесть. И всё это может обернуться против тебя, чудак сундырский! Тут во всем квартале полиция в моих калошах ходит, всё начальство моими подачками питается — куда тебе! А ты — лезешь, таракан супротив собаки. Эх, даже и говорить с тобой скушно...

И — правда — ему, должно быть, скучно: лицо его скисло и оплыло, он утомленно закрыл глаза и с воем позевнул, широко открыв красную пасть с тонким, собачьим языком в ней.

До встречи с ним я уже много видел грязи душевной, жестокости, глупости,— видел не мало и хорошего, настояще человеческого. Мною были прочитаны кое-какие славные книги, я знал, что люди давно и везде мечтают о другом ладе жизни, что кое-где они пробовали и неутомимо пробуют осуществить свои мечты,— в душе моей давно прорезались молочные зубы недовольства существующим, и до встречи с хозяином мне казалось, что это — достаточно крепкие зубы.

Но теперь, после каждой беседы, я всё более ясно и горестно чувствовал, как непрочны, бессвязны мои мысли и мечты, как основательно разрывает их в клочья хозяин, показывая мне темные пустоты между ними, наполняя душу мою тоскливой тревогой. Я знал, чувствовал, что он — неправ в спокойном отрицании всего, во что я уже верил, я ни на минуту не сомневался в своей правде, но мне трудно было оберечь мою правду от его плевков; дело шло уже не о том, чтобы опровергнуть его, а чтоб защитить свой внутренний мир, куда про-

сачивался яд сознания моего бессилия пред цинизмом хозяина.

Ум его, тяжелый и грубый, как топор, обрубил всю жизнь, расколол ее на правильные куски и уложил их предо мною плотной поленницей.

И он нестерпимо разжег мое юношеское любопытство словами о боге, о душе. Я всегда старался свести беседу к этим темам, а хозяин, как будто не замечая моих попыток, доказывал мне, как я мало знаю тайны и хитрости жизни.

— Жить надо — опасно! Жизнь от тебя всего хочет, вроде как любовница, примерно, а тебе от нее — много ли надо? Одного — удовольствия! И надо жить уклончиво: где лаской, где — таской, а где прямо подошел да и ударил — раз! И — твое!

Если я, раздраженный его речами, ставил прямые вопросы, — он отвечал:

— А это тебя не касаемое. Верую или не верую я — за это мне отвечать, не тебе...

Когда же я начинал говорить о любимом мною, он, помотава головой, как бы ища для нее удобное положение, наставлял маленькое ухо на голос мой и слушал мою речь терпеливо, молча, но — всегда с выражением глубокого равнодушия на плоском, курносом лице, напоминавшем медную крышку с шишечкой посередине.

Едкое чувство обиды втекало в душу, — не за себя, за себя-то я уже устал обижаться, относясь к ударам жизни довольно спокойно, обороняясь от них презрением, — было нестерпимо обидно за ту правду, которая жила и росла в моей душе.

Самый тяжкий стыд и великое мучение — это когда не умеешь достойно защищать то, что любишь, чем жив; нет для человека более острой муки, как немота его сердца...

То, что хозяин беседует со мною по ночам, придало мне в глазах крендельщиков особое значение: на меня перестали смотреть одни — как на человека беспокойного и опасного, другие — как на блаженного и чудака; теперь большинство, неумело скрывая чувство зависти

и вражды к моему благополучию, явно считало меня хитрецом и пройдохой, который сумел ловко добиться своей цели.

Поглаживая серенькую, пыльную бородку, загоня куда-то в сторону свой фальшивый глаз, Кузин почти-точно говорил мне:

— Тепериче, браток, скоро ты и до приказчика воздымешься...

Кто-то тихонько закончил:

— Хвосты нам ломать...

За спиною у меня то и дело раздавались колкие словечки:

— Видно, язык-от доводит не токмо до Киева...

— Купи его...

И многие уже смотрели в глаза мне покорно, с обидной готовностью услужить.

Артем, Пашка и еще человека два внесли в зародившееся у них дружеское чувство ко мне неприятный оттенок подчеркнутого внимания ко всему, что бы я ни говорил, — однажды я, не стерпев, сердито заметил Цыгану, что это — лишнее и очень плохо!

— А ты — молчи знай! — сказал он, поняв меня и весело поблескивая подсиненными белками вороватых глаз. — Ежели хозяин, будучи поумнее всех тут, с тобою спорит — стало быть, в твоих речах есть гвозди!..

А молчаливый, замкнутый Осип Шатунов подходил ко мне всё ближе, смелее. При встречах один на один его невидные угрюмые глазки мягко вспыхивали, толстые губы медленно растягивались в широкую улыбку, преображая скуластое, каменное лицо.

— Ну, как — легче тебе работать?

— Не легче, а — чище...

— Чище, — стало быть — легче! — поучительно говорил он и, отводя взгляд куда-нибудь в угол, спрашивал будто бы безразлично:

— А что такое значит — бахтырман-пурана?

— Не знаю.

Он, видимо, не веря мне, смущенно крякал и отходил прочь, покачиваясь на кривых ленивых ногах, и вскоре спрашивал снова:

— А — саварсан-само, — что бы это такое?

У него был большой запас подобных слов, и когда он четко выговаривал их своим низким могильным голосом — они звучали странно, чувствовалось в них что-то сказочно древнее.

— Откуда ты берешь эти слова? — недоумеая, заинтересованный, спрашивал я его.

Он отвечал осторожным вопросом:

— А на что тебе знать — откуда?

И опять, как будто стараясь застичь меня врасплох, неожиданно и намекаяще вопрошал:

— Что это значит — харна?

Иногда вечерами, кончив работу, или в канун праздника, после бани, ко мне в пекарню приходили Цыган, Артем и за ними — как-то боком, незаметно подваливался Осип. Усаживались вокруг прямка перед печью, в темном углу, — я вычистил его от пыли, грязи, он стал уютен. По стенам сзади и справа от нас стояли полки с хлебными чашками, а из чашек, всходя, поднималось тесто — точно лысые головы, прячась, смотрели на нас со стен. Мы пили густой кирпичный чай из большого жестяного чайника, — Пашка предлагал:

— Ну-ка, расскажи чего-нибудь, а то — стихов почитай!

У меня в сундуке на печи лежали Пушкин, Щербина, Суриков — потрепанные томики, купленные у букиниста, и я с наслаждением, нараспев читал:

Как высоко твое, о человек, призванье,
От лика божия на землю павший свет!
Есть всё в твоей душе, чем полно мирозданье,
В ней всё нашло себе созвучье и ответ...

Слепо мигая, Пашка заглядывал сбоку на страницы книги и удивленно бормотал:

— Скажи, пожалуйста! Совсем ведь священнописание! Это хоть бы и в церкви петь, ей-бо-о...

Стихи — всегда почти — особенно возбуждали его и настраивали на покаянный лад; иногда, повторяя строки стиха, взявшие его за сердце, он размахивал руками и хватался за курчавые волосы, жестоко ругаясь:

— Верно!

Мне жизнь в удел дала нужду,—
Чего же я от жизни жду?

— Верно, мать честная! Господи,— иной раз, братцы, так жалко душеньку свою,— пропадает! Зальется сердце тоскою, зальется горькой... э-эхма! В разбойники бы, что ли, пойти?!. Малым камнем — воробья не убьешь,— а ты вот всё толкуешь: ребята, дружно! Что — ребята? Где там!

Артюшка, слушая стихи, всхлипывал и облизывался, точно глотая что-то горячее, вкусное. Его всегда страшно удивляли описания природы:

Деревья, в золотом уборе,
Стоят понуро над прудом

— читал я.

— Стой! — схватив меня за плечо, воскликнул он негромко, радостно и удивленно, весь сияя.— Это я — видел! Это — около Арска, в усадьбе в одной, ей-богу!

— Ну, так что,— что видел? — сердито спрашивал Пашка.

— Да — как же! И я видел, и написано...

— А ты — не мешай! Чума ветлянская.

Однажды Артему очень понравилось суриковское стихотворение «За городом», и дня три, всем надоев, всеми изруганный, он распевал на лад солдатской песни «Было дело под Полтавой»:

Я иду, куда — не знаю,
Всё равно,— куда-нибудь!
Что мне в том, к какому краю
Приведет меня мой путь...

А Шатунова стихи не трогали, он слушал их совершенно равнодушно, но цепко хватался за отдельные слова, настойчиво добываясь их смысла:

— Погоди, погоди,— что это — урна?

Его странная погоня за словами не давала мне покоя, я хотел понять — чего он ищет?

Как-то раз, после долгой осады просьбами и вопросами, Осип сдался,— милостиво усмехнувшись, он спросил:

— Что — забрало-таки тебя?

И, таинственно оглядываясь, шёпотом, объяснил мне:

— Есть такой стих секретный, — кто его знает, тот всё может сделать, — это стих на счастье! Только — весь его никому, покамест, не надо знать — все слова розданы по отдельным, разным лицам, рассеяны, до срока, по всей земле. Так — понимаешь — надобно слова эти все собрать, составить весь стих...

Он еще понизил голос и наклонился ко мне.

— Он, стих этот, кругом читается, с начала и с конца, — всё едино! Я уж некакие слова знаю, мне их один странствующий человек сказал пред кончиной своей в больнице. Ходят, брат, по земле неприятные люди и собирают, всё собирают эти тайные слова! Когда соберут — это станет всем известно...

— Почему?

Он недоверчиво оглянул меня с ног до головы и сказал сердито:

— Ну, почему! Сам знаешь...

— Честное слово — не знаю ничего!

— Ладно, — проворчал он, отходя прочь, — притворяйся...

...А однажды утром ко мне прибежал радостно взволнованный Артем и, захлебываясь словами, объявил:

— Грохало! А я ведь сам песню сочинил, право-тко!

— Ну?

— Вот — ей-ей! Во сне, видно, приснилась, — проснулся, а она в голове и вертится, чисто — колесо! Ты — гляди-ко.

Весь как-то потянувшись вверх, он выпрямился, вполголоса и нараспев говоря:

Вот — уходит солнце за реку —

Скоро солнышко в лесу потонет.

Вот пастух стадо гонит,

А... в деревне...

— Как это?

Беспомощно взглянув на потолок, он побледнел и долго молчал, закусив губу, мигая испуганными

глазами. Потом узкие плечи его опустились, он сконфуженно махнул рукою:

— Забыл, фу ты, господи! Рассыпалось!..

И — заплакал, бедняга,— на его большие глаза обильно выкатились слезы, сухонькое, угловатое лицо сморщилось, растерянно ощупывая грудь около сердца, он говорил голосом виноватого:

— Вот те и раз... А какая ведь штука была... даже сердце замирало... Эх ты... Думаешь — вру?

Отошел в угол, убито опустив голову, долго торчал там, поводя плечами, выгнув спину, и наконец тихо ушел к работе. Весь день он был рассеян и зол, вечером — безобразно напился, лез на всех с кулаками и кричал:

— Где Яшка-а? Братик мой — куда делся? Будь вы трижды прокляты...

Его хотели избить, но Цыган заступился, и мы, крепко опутав пьяного мешками, связав его веревкой, уложили спать Артема.

А песню, сложенную во сне, он так уж и не вспомнил...

Комната хозяина отделялась от хлебопекарни тонкой, оклеенной бумагой переборкой, и часто бывало, что, когда, увлекаясь, я поднимал голос,— хозяин стучал в переборку кулаком, пугая тараканов и нас. Мои товарищи тихонько уходили спать, клочья бумаги на стене шуршали от беготни тараканов, я оставался один.

Но случалось, что хозяин вдруг бесшумно, как темное облако, выплывал из двери, внезапно являлся среди нас и говорил сверлящим голосом:

— Полуношничаете, черти, а утром подрыхаете бог зна до какой поры.

Это относилось к Пашке с товарищами, а на меня он ворчал:

— Ты, псалтырник, завел эту ночную моду, ты всё! Гляди, насосутся они ума-разума из книжек твоих да тебе же первому ребра и разворотят...

Но всё это говорилось равнодушно и — больше для порядка, чем из желания разогнать нас; он грузно

опускался на пол рядом с нами, благосклонно разрешая:

— Ну, читай, читай! И я прислушаю, авось умный буду... Павелка,— налей-ка чаю мне!

Цыган шутил:

— Мы тебя, Василий Семеныч, чайком попоим, а ты нас — водчонкой!

Хозяин молча показывал ему тупой, мягкий кукиш.

Но иногда, выходя к нам, он объявлял каким-то особливым, жалобным голосом:

— Не спится, ребятишки... Мыши проклятые скребут, на улице снег скрипит,— студенткишки шляются, в магазин — девки заходят часто, это они — греться, курвы! Купит плюшку за три копейки, а сама норовит полчаса в тепле простоять...

И начиналась хозяйская философия.

— Так и все: не дать, абы взять! Тоже и вы — где бы сработать больше да чище, вы одно знаете, скорее бы шабаш да к безделью...

Пашка, как глава мастерской, обижался и вступал в бесполезный спор:

— Еще тебе мало, Василий Семенов! И так уж ломим работу, чертям в аду подобно! Небойсь, когда сам ты работником был...

Таких напоминаний хозяин не любил: поджав губы, он с минуту слушал пекаря молча, строго озирая его зеленым глазом, потом открывал жабий рот и тонким голосом внушал:

— Что было — сплыло, а что есть, то — здесь! А здесь я — хозяин и могу говорить всё, тебе же законом указано слушать меня — понял? Читай, Грохало!

Однажды я прочитал «Братьев-разбойников», — это очень понравилось всем, и даже хозяин сказал, задумчиво кивая головою:

— Это могло случиться... отчего нет? Могло. С человеком всё может быть... всё!

Цыган, угрюмо нахмурясь, вертел папиросу между пальцев и ожесточенно дул на нее, Артюшка, неопределенно усмехаясь, вспоминал отдельные стихи:

Нас было двое: брат и я...

Нам, детям, жизнь была не в радость...

А Шатунов, глядя в подпечек и не поднимая головы, буркнул:

— Я знаю стих лучше...

— Ну,— скажи,— предложил хозяин, насмешливо оглядывая его длиннорукое, неуклюжее тело. Осип сконфузился так, что у него даже шея кровью налилась и зашевелились уши.

— Кажись,— забыл я...

— Не ломайся,— сердито крикнул Цыган.— Тянули тебя за язык?

Артюшка подзадоривал Осипа:

— Лучше? Ну-ка, ахни! Мешок...

Шатунов беспомощно и виновато взглянул на меня, на хозяина и вздохнул.

— Что ж... Слушайте!

Как раньше, глядя в подпечек, откуда торчали поломанные хлебные чашки, дрова, мочало помела,— точно непрожеванная пища в черной, устало открытой пасти,— он глухо заговорил:

Ой, во кустах, по-над Волгой, над рекой,
Вора-молодца смертный час его настиг.
Как прижал вор руки к пораженной груди,—
Стал на коленки — богу молится.
— Господи! Приими ты злую душеньку мою,
Злую, окалпную, невольничью!
Было бы мне, молодцу, в монахи идти,—
Сделался, мальчонко, разбойником!

Он говорил нараспев и прятал лицо, всё круче выгибая спину, держа себя рукою за пальцы ноги и для чего-то дергая ее вверх. Казалось — он колдует, говорит заклинание на кровь.

Жил для удалства я, не ради хвастовства,—
Жил я — для души испытания,
Силушку мотал да всё душеньку пытал:
Что в тебя, душа, богом вложено,
Что тебе, душа, дано доброго
От пресвятыя богородицы?
Кое семя в душеньку посеяно
Деймоновой силою нечистою?

— Дурак ты, Оська,— вдруг встряхнув плечами, сказал хозяин злым высоким голосом,— и стих твой дурацкий, и ничем он на книжный не похож,— соврал ты! Пентюх...

— Погоди, Василий Семенов,— грубовато вступился Цыган,— дай ему кончить!

Но хозяин возбужденно продолжал:

— Всё это — подлость! Туда же: душенька, душа... напакостил, испугался да и завыл; господи, господи! А чего — господи? Сам — во грехе, сам и в ответе...

Он нарочито — как показалось мне — зевнул и с хрипотцой в горле добавил:

— Душа, душа, а и нет ни шиша!

По стеклам окна мохнатыми лапами шаркала вьюга,— хозяин, сморщившись, взглянул на окно, скучно и лениво выговаривая:

— По-моему — про душу тот болтает, у кого ума ни зерна нет! Ему говорят: вот как делай! А он: душа не позволяет или там — совесть... Это всё едино — совесть али душа, лишь бы от дела отвертеться! Один верит, что ему всё запрещено,— в монахи идёт, другой — видит, что всё можно,— разбойничает! Это — два человека, а не один! И нечего путать их. А чему быть, то — будет сделано... надо сделать — так и совесть под печку спрячется и душа в соседи уйдет.

Он тяжело поднялся на ноги и, ни на кого не глядя, пошел в свою комнату.

— Ложились бы спать... Сидят, соображают. Туда же... душа!.. Богу молиться — очень просто, да и разбойничать — не велик труд, нет,— вы, сволочь, поработайте! Ага?

Когда он скрылся за дверью, шумно прихлопнув ее,— Цыган попросил Шатунова, толкнув его:

— Ну, говори!

Осип поднял голову, осмотрел всех и тихо сказал:

— Врет он.

— Кто — хозяин?

— Он. Есть в нем душа, и беспокойно ей. Я — знаю!

— Это дело не наше... Ты знай говори свое-то!

Осип вздрогнул, вылез из прямка и, встряхнув большой своей башкой, не спеша пошел прочь.

— Запомню я...

— Ври!

— Право. Спать иду.

— Эх ты... Ты — вспомни!

— Нет, спать надо...

Расплываясь во тьме, Осип тихо сказал:

— А плохая наша жизнь, братцы...

— Неужто? — ворчливо отозвался Артем. — А мы и не знали, — спасибо, что сказал!

Аккуратно скручивая папиросу, Цыган, взглянув вслед Осипа, шепнул:

— Ненадежного разума парень...

Выла и стонала февральская вьюга, торкалась в окна, зловеще гудела в трубе; сумрак пекарни, едва освещенной маленькой лампой, тихо колебался, откуда-то втекали струи холода, крепко обнимая ноги; я месил тесто, а хозяин, присев на мешок муки около ларя, говорил:

— Покуда ты молодой — думай обо всем, что есть; покуда не прилепился к одному какому делу — сообрази обо всех делах, — нет ли чего как раз в меру твоей силе-охоте... Соображай не торопясь...

Сидел он, широко расставив колена, и на одном держал графин кваса, на другом — стакан, до половины налитый рыжею влагой. Я с досадой поглядывал на его бесформенное лицо, склоненное к черному, как земля, полу, и думал:

«Угостил бы ты меня квасом-то...»

Он приподнял голову, прислушался к стонам за окном и спросил, понизив голос:

— Ты — сирота?

— Вы уже спрашивали об этом...

— Экой у тебя голос грубый, — вздохнув и мотая головой, заметил он. — И голос и самые слова...

Я, кончив работу, чистил руки, обирая присохшее тесто; он выпил квас, причмокивая, налил полный стакан и протянул мне:

— Пей!

— Спасибо.

— Да. Вот — пей. Я, брат, сразу вижу, кто умеет работать, такому я всегда готов уважить. Примерно — Пашка: фальшивый мужик, вор, а я его — уважаю, — он работу любит, лучше его нет в городе пекаря! Кто работу любит — тому надо оказать всякое внимание в жизни, а по смерти — честь. Обязательно!

Закрыв ларь, я пошел топить печь, — хозяин, крикнув, поднялся и бесшумно, серым комом покатился за мною, говоря:

— Кто делает нужное дело — тому многое можно простить... Плохое его — с ним и подохнет, а хорошее — останется...

Спустив ноги в приямок, он грузно шлепнулся на пол, поставил графин рядом с собою и наклонился, заглядывая в печь.

— Дров мало положено, гляди!

— Хватит — сухие и половина березовых...

— Мм-а? Угу...

Тоненько засмеявшись, он ударил меня по плечу:

— Вот, — ты всё соображаешь, это я очень замечаю! Это — много! Всё падо беречь — и дрова и муку...

— А человека?

— Дойдем и до человека. Ты слушай меня, я худу не научу.

И, глядя себя по груди, такой же вышуклой и жирной, как его живот, он сказал:

— Я, изнутри, хороший человек, — с сердцем. Ты, по молодой твоей глупости, этого еще не можешь понять, ну, однако, пора те знать, — человек... это, брат, не пуговица солдатская, он блестит разно... Чего морщишься?

— Да — вот: мне спать надобно, а вы мешаете, слушать вас интересно...

— А коли интересно — не спи! Хозяином будешь — выспишься...

Вздыхнув, он добавил:

— Нет, хозяином тебе не быть; никогда ты никакого дела не устроишь... Больно уж ты словесный... изойдешь, истратишься на слова, и разнесет тебя ветром зря... никому... без пользы...

Он вдруг длинно, с присвистом выругался отборно

скверными словами. Лицо его вздрогнуло, как овсяный кисель от внезапного толчка, и по всему телу прошла судорога гнева; шея и лицо налились кровью, глаз дико выкатился. Василий Семенов, хозяин, завизжал тихо и странно, точно подражая вою вьюги за окном, где — как будто вся земля обиженно плакала:

— Э-эх, ма-а, кабы мне — людей хороших, крепких бы людей! Показал бы я дело — на всю губернию, на всю Волгу... Ну, — пет же народу! Все — пьяны от нищеты и слабости своей... А управители эти, чиновнички...

Он совал ко мне кулаки коротких рук, разжимал пальцы и, хватая ими воздух, точно за волосы ловил кого-то, тряс, рвал и всё говорил, жадно присвистывая, брызгая слюною:

— Смолоду, смолоду надо глядеть, к чему в человеке охота есть, — а не гнать всех без разбору во всякое дело. Оттого и выходит: сегодня — купец, завтра — нищий; сегодня — пекарь, а через неделю, гляди, дрова пилить пошел... Училищи открыли и всех загоняют насильно — учись! И стригут, как овец, всех одними ножницами... А надо дать человеку найти свое пристрастие — свое!

Схватив меня за руку, он привлек к себе, продолжая злым, шипящим голосом:

— Ты вот про что думай-говори, что всех заставляют жить против воли, не по своим средствам, а как начальство распорядится... Распоряжаться — кто может? Кто дело делает, — я могу распоряжаться, я вижу, кому где быть!

И, оттолкнув меня, он безнадежно махнул рукой:

— А так, с чиновниками, под чужой рукой, — ничего не будет, никакого дела. Бросить всё и — бежать в лес. Бежать!

Качая свое круглое тело, он тихо протянул:

— Никаких нет людей, всё исполнители! Ступай! Идет. Стой! Стоит. Вроде рекрутов. И озорство — рекрутское. И всё — никуда, ни к чему... Смотрит, подика, бог с небеси на эту нашу канитель и думает: а, ну вас, болвалы... никчемный народ...

— Себя-то вы пикчемным не считаете?

Он, всё покачиваясь, ответил не сразу.

— Себя-то, себя-то... Не от всякой искры пожар может быть, иная и так, зря сгорит. Себя-то... Мне — всего сорок с годом, а я скоро помру от пьянства, а пьянство — от беспокойства жизни, а беспокойство... Разве я для такого дела? Я — для дела в десять тысяч человек! Я могу так ворочать — губернаторы ахнут!

Он хвастливо посверкал зеленым глазом, а серый глядел в огонь уныло; потом он широко развел руки:

— Что это для меня? Мышеловка. Дай мне пяток понимающих да честных, — ну, хоть не честных, а просто умных воров! — я те покажу это... Работу! Огромное дело, на удивление всем и на пользу...

Усталый, он лег, распустился по грязному полу и засопел, а ноги его висели в приямке, красные в отсветах веселого огня.

— Бабы, тоже, — вдруг проворчал он.

— Что — бабы?

Посмотрев с минуту в потолок, хозяин приподнялся и сел, говоря тоскливо:

— Ежели бы женщина понимала, до чего без нее нельзя жить, — как она в деле велика... ну, этого оне не понимают! Получается — один человек... Волчья жизнь! Зима и темная ночь. Лес да снег. Овцу задрал — сыт, а — скушно! Сидит и воет...

Он вздрогнул, торопливо заглянул в печь, строго — на меня и тотчас сурово, хозяйски заворчал:

— Загребай жар, чего глядишь? Развесил уши...

Тяжело вылез из приямка, остановился, почесывая бок, долго смотрел в окно. За стеклами мелькало, стоная, белое. На стене тихо липел и потрескивал желтый огонек лампы, закопченное стекло почти совсем прятало его.

— О господи, господи, — пробормотал хозяин, пошел куда-то в крендельную, тяжело шаркая валяными гуфлями, и потонул в черной дыре арки, а я, проводив его, стал сажать хлебы в печь; посадил и задремал.

— Гляди, не проспи, — раздался над головою знакомый голос.

Хозяин стоял, заложив руки за спину, лицо у него было мокрое, рубаха сырая.

— Снегу нанесло — горы, весь двор завалило...

Он широко растянул губы и несколько секунд смотрел на меня гримасничая, потом медленно проговорил:

— Вот, единожды, пойдет эдак-то снег неделю, месяц, всю зиму, лето, и — тогда задохнутся все на земле... Тут уж никакие лопаты не помогут... Да. И — хорошо бы! Сразу всем дуракам — конец...

Переваливаясь с бока на бок, точно потревоженная двупудовая гиря, он, серый, откатился к стене и влез в нее, пропал...

Каждый день — на рассвете — я должен был тащить в одно из отделений магазина корзину свежих булок, и все три наложницы хозяина были знакомы мне.

Одна — молоденькая швейка, кудрявая, пышная, плотно обтянутая скромным серым платьем; ее пустые, водянистые глаза смотрели на всё утомленно, на белом лице лежало что-то горестное, вдовье. Даже и за глаза она говорила о хозяине робко, пониженным голосом, величая его по имени-отчеству, а товар принимала с какой-то смешной суетливостью, точно краденое...

— Ах, — булочки, плюшечки, милочки, — говорила она паточным голосом.

Другая — высокая, аккуратная женщина, лет тридцати; лицо у нее сытое, благочестивое, острые глазки покорно опущены, голос тоже покорно спокойный. Принимая товар, она старалась обсчитать меня, и я был уверен, что — рано или поздно — эта женщина неизбежно наденет на свое стройное и, должно быть, холодное тело полосатое платье арестантки, серый тюремный халат, а голову повяжет белым платочком.

Обе вызывали у меня непобедимую антипатию, и я всегда старался носить товар к третьей; ее отделение было дальше других, и мне охотно уступали удовольствие посещать эту странную девицу.

Звали ее Софья Плахина, была она толстая, краснощекая и вся какая-то сборная — как будто ее наскоро слепили из разных, не идущих друг ко другу частей.

На голове у нее — копна волнистых волос, досиня черных, точно у еврейки, и всегда они причесаны плохо;

между вспухших, красных щек — чужой горбатый нос, а глаза — редкие: в больших и хрустально-прозрачных белках странно плавают темно-карие зрачки и светятся по-детски весело. Рот у нее тоже детский: маленький и пухлый, а расплывшийся, жирный подбородок упирается в мощную, уродливо приподнятую грудь ожиревшей женщины. Неряшливая, всегда растрепанная и замазанная, с оборванными пуговицами на кофте, в туфлях на босую ногу, она производила впечатление тридцатилетней, а лет ей было:

— Усыначать, — как говорила она ломаным языком. Сирота, она была привезена из Баронска, хозяин нашел ее в публичном доме, куда она попала, по ее словам:

— Так! Мамаша, которая родила меня, — умерла, а папаша женился на немке, и тоже помер, а немка вышла замуж за немца — вот у меня еще и папаша и мамаша, а оба — не мои! И оба они пьяные, а мне уже тринадцать лет, и немец стал приставать, потому что я всегда была толстая. Они меня очень колотили по затылку и по спине. Потом он жил со мной, и случился ребенок, тогда все испугались и стали бежать из дома, всё провалилось, и дом продали за долги, а я поехала с одной дамой на пароходе сюда делать выкидыш, а потом выздоровела и меня отдали в заведение. Такое всё свинство... Хорошо было только ехать на пароходе...

Это она рассказала мне, когда мы были уже друзьями, а дружба завязалась у нас очень странно.

Мне не нравилось ее нелепое лицо, неправильная речь, ленивые движения и шумная, навязчивая болтовня. Уже во второй раз, когда я принес товар, она объявила со смехом:

— Вчера я прогнала хозяина и морду нацарапала ему — видел?

Видел, — на одной щеке — три рубца, на другой — два, но мне не хотелось говорить с нею, я промолчал.

— Ты — глухой? — спросила она. — Немой?

Я не ответил. Тогда она дунула в лицо мне и сказала:

— Глупый!

На том и кончили в этот раз. А на другой день, когда я, сидя на корточках, складывал в корзину не-

проданный, засохший, покрытый мшистой плесенью товар — она павалилась на спину мне, крепко обняла за шею мягкими короткими руками и кричит:

— Неси меня!

Я рассердился, предложил ей оставить меня, но она, всё тяжелее наваливаясь, попукала:

— Ну-у, неси-и...

— Оставьте, а то я вас перекину через голову...

— Нет,— убежденно сказала она,— это нельзя, я — дама! Нужно делать, как хочет дама,— ну-у!

От ее жирных волос истекал удушливый запах помады, и вся она была пропитана каким-то тяжелым масляным запахом, точно старая типографская машина.

Я перекинул ее через себя так, что она ударилась в стену ступнями ног и тихонько, по-детски обиженно, заплакала, охая.

Мне стало и жалко ее и стыдно пред нею. Сидя на полу, спиной ко мне, она качалась, прикрывая вскинувшимися юбками белые, шлифованные ноги, и было в наготе ее что-то трогательно беспомощное — особенно в том, как она шевелила пальцами босых маленьких ног,— туфли слетели с них.

— Я ведь говорил вам,— смущенно бормотал я, приподнимая ее, а она, морщась, охала:

— Ой, ой... мальчишка...

И вдруг, притопывая ногами о пол, беззлобно расхоталась, закричала:

— Уйди к быкам, волкам,— уйди!

Я поскорее вышел на улицу, очень скопфуженный, крепко ругая себя. Над крышами домов таяли серые остатки зимней ночи, туманное утро входило в город, но желтые огни фонарей еще не погасли, оберегая тишину.

— Слушай,— открыв дверь на улицу, крикнула девица вслед мне,— ты не бойся, я хозяйну пичего не скажу!..

Дня через два снова пришлось мне нести к ней товар,— она встретила меня, весело улыбаясь, но вдруг задумалась и спросила:

— Ты умеешь читать?

И, вынув из ящика конторки красивый бумажник, достала кусок бумаги:

— Прочитай!

Я прочитал написанные четким почерком две начальные строки стихотворения:

Папаша мой, известный казнокрад,
Украл не менее пятидесяти тысяч.

— Ах, какой подлый! — вскричала она, вырвав бумагу из рук у меня, потом торопливо и возмущенно стала говорить:

— Это написал мне подлый дурачок, тоже мальчишка, только студент. Я очень люблю — студенты, они как военные офицеры, а он за мной ухаживает. Это он про отца так! Отец у него важный, седая борода, с крестом на груди и гуляет с собакой. Ой, я очень не люблю, когда старик с собакой, — разве нет никого больше? А сын — ругает его: вор! И вот — написал даже!

— Да вам какое дело до них?

— О! — сказала она, испуганно округлив глаза. — Разве можно ругать отца? Сам ходит пить чай к распутной девке...

— Это — к кому?

— Ко мне же! — с удивлением и досадой воскликнула она. — Вот бестолковый!

У меня с нею образовались странные отношения какой-то особой и, так сказать, словесной близости: мы говорили обо всем, но, кажется, ничего не понимали друг в друге. Порою она пресерьезно и подробно рассказывала мне такие женские и девичьи истории, что я, невольно опуская глаза, думал:

«Что она — женщиной меня считает, что ли?»

Это было неверно; с той поры, как мы подружились, она уже не выходила ко мне распустехой, — кофта застегнута, дыры под мышками зашиты, и даже — чулки на ногах; выйдет и, ласково улыбаясь, объявляет:

— А у меня уже самовар готов!

Пили чай за шкафами, где у нее стояла узенькая кровать, два стула, стол и старый, смешно надутый комод с незадвигавшимся нижним ящиком, — об угол этого ящика Софья постоянно ушибала то одну, то другую ногу и всегда, ударив рукою по крышке, поджав ногу, морщилась, ругаясь:

— Пузатый дурак! Совсем как Семенов,— толстый злой и глупый!

— Разве хозяин — глупый?

Она удивленно приподнимала плечи,— большие уши ее тоже шевелились, приподнимаясь.

— Конечно же!

— Почему?

— Так уж. По всему.

— Ну, а все-таки — почему же?

Не умея ответить, она сердилась:

— Все-таки, все-таки!.. И все-таки — дурак... весь — дурак!

Но однажды она, почти возмущенно, объяснила мне:

— Ты думаешь — он живет со мной? Это было всего два раза, еще в заведении, а здесь — не бывает. Я раньше даже на колени к нему садилась, а он — щеко-тит и говорит: «Слезь!» Он с теми живет с двумя, а я и не знаю, зачем я ему? Отделение это дохода не дает, торговать я не умею, не люблю. Зачем всё это? Я спрашиваю, а он визжит: «Не твое дело!» Такие глупости везде...

Качая головою, она закрывает глаза, и лицо ее становится тупым, как у мертвой.

— А ты знаешь тех двух?

— Ну да. Он, когда пьет, привозит ко мне то одну, то другую и кричит, как сумасшедший: «Бей ее по харе!» Молоденькую я не трогала, ее — жалко, она всегда дрожит; а ту, барыню,— один раз ударила, тоже пьяная была и — ударила ее. Я ее — не люблю. А потом стало мне нехорошо, так я ему рожу поцарапала...

Задумавшись, она вся как-то подобралась и сказала тихо:

— Его — не жалко, свинью, а — так как-то... Богатый... Лучше бы стал нищим, больным. Я ему говорю: «Это ты как живешь, дурак? Ведь нужно как-нибудь хорошо жить... Ну, женился бы на хорошей, дети будут...»

— Да ведь он женат...

Пожав плечами, Софья простодушно сказала:

— Отравил же он кого-то... и жену отравил бы... старуха какая-то! Просто он — сумасшедший... И ничего не хочет...

Я пытался доказывать, что травить людей — не следует, но она спокойно заметила:

— Травят же...

На подоконнике у нее стоял бальзамин в цвету, — однажды она хвастливо спросила:

— Хорош светок?

— Ничего. Только надо говорить — цветок.

Она отрицательно качнула головою.

— Нет, это не подходит: цветок — на ситце, а светок, светик — это от бога, от солнышка. Одно — цвет, другое — свет... Я знаю, как говорить: розовый, голубой, сиреневый — это цвет...

...Всё труднее становилось с этими как будто несложными, а на самом деле странно и жутко запутанными людьми. Действительность превращалась в тяжкий сон и бред, а то, о чем говорили книги, горело всё ярче, красивей и отходило всё дальше, дальше, как зимние звезды.

Однажды хозяин, глядя прямо в лицо мне зеленым глазом, тусклым на этот раз, точно окисшая медь, спросил угрюмо:

— Ты, слышь, там в отделении чаи распиваешь?

— Пью.

— То-то — пью! Гляди...

Сел рядом, тяжело толкнув меня, и, с чувством, близким восхищению, заговорил, жмурясь, точно кот, чмокая и обсасывая слова:

— Хороша девка-то, а? Это — я тебе скажу... не нашего бога бес! Что она мне говорит... никакой поп, никто не скажет мне эдак! Да-а. Стращаю я ее — для пробы: «Вот я тебя, дура, избыю и выгоню!» Никаких не боится... Любит правду сказать, любит, шельма...

— А зачем вам правда?

— Без правды — скушно, — сказал он удивительно просто.

Потом, вздохнув, уколол меня острым, неприязненным взглядом и ворчливо — точно я его обидел чем-то — продолжал:

— Ты думаешь, жизнь-то — весела?..

— Где уж там! Особенно — около вас...

— Около вас! — передразнил он и долго молчал, раскисая: щеки отвисли, как у старого цепного пса в жаркий день, уши опустились, и нижняя губа тоже отвисла тряпкой. Огонь отражался на его зубах, и они казались красноватыми.

— Это дуракам жизнь весела, а умному... умный водку пьет, умный озорничает... он — со всей жизнью в споре... Вот я — иной раз — лежу-лежу ночью да и пожалею: хоть бы вошь укусила! Когда я работником был — любила вошь меня... это к деньгам, всегда! А стал чисто жить — отошла... Всё отходит прочь. Остается самое дешевое — бабы... самое павязчивое, трудное...

— Вы у них правды ищите?

Он сердито воскликнул:

— А ты думаешь — оне меньше тебя знают дело? Оне? Вон — Кузин: он бога боится и правду любит донести... думает, я ее покупать буду у него. Я и сам люблю гниль продать по хорошей цене, — на-ко вот!

Хозяин показал огню печи кукиш.

— Егорка — топор. Глуп, как гиря. Ты — тоже: каркаешь — кра, кра, правда, а сам норовишь на шею сесть. Тебе надо, чтобы все жили, как тобой указывается, а я этого не хочу! Меня сам господь без внимания оставил, — живи, дескать, Василь Семенов, как хошь, а я тебе не указчик... пошел ты ко всем чертям!

Его розовато-желтое лицо, облизанное огнем, лоснилось и потело, глаза остановились, уснули, и язык ворочался тяжело.

— А Совка мне прямо говорит: «Плохо живешь!» — «Плохо?» — «Ну да: ни волк, ни свинья...» — «А — как надо жить, дура?» — «Не знаю, говорит, сам догадайся! Ты — умный, ты напрасно притворяешься, можешь догадаться...» Вот это — правда. Не так — правда, не знаю как — правда!.. А вы...

Матерно выругавшись, он заговорил более оживленно:

— Я ее зову — Сова. Днем она вовсе слепая дура... положим, и ночью тоже дура... только ночью у нее... смелость есть...

Он засмеялся тихонько, в этом смехе мне почудилась ласковость, с которой он говорил свиньям: «Отшельнички мои, шельмочки...»

— Держу трех,— продолжал он,— одна для плотской забавы — Надька кудрявая. Распутная — без меры! Будто бы всего боится, а ничего не боится,—нет в ней ни страха, ни совести, одна жадность. Пиявка. Святого с толку собьет. Курочкина у меня — для ума. Ее иначе и назвать нельзя, имя ей — Глашка, Глафира, а надо звать — Курочкина... не подходит иначе! Я ее дразнить люблю: «Сколько, говорю, ни молись, и ни жги лампад, а черти тебя ожидают!» Боится она чертей, смерти боится! Промышляет осторожно фальшивой деньгой — намедни сдала мне трешницу слепую, а еще раньше — пятерку. «Откуда?» Говорит — подсунули. Врет — просто она сдатчица в шайке какой-нибудь, менялой служит, за процент. Умная баба, хитрая. Скушно с ней, если не взворошить ее... ну, тогда она так взовьется, что и мне бывает страшновато... Она — человека удушить может. Подушкой. Обязательно — подушкой! А удушив, помолится: «Господи, прости, помилуй!» Это — верно!

Чем-то едко раздражающим веяло от всей его безобразной фигуры, щедро освещенной огнем, лизавшим ее всё бойчее и жарче. Он повертывался от жары, потел, и от него исходили душные, жирные запахи, как от помойной ямы в знойный день. Хотелось крепко обругать его, ударить, рассердить этого человека, чтоб он заговорил иначе, но в то же время он заставлял внимательно слушать именно эти терпкие, пряные речи,— они сочились бесстыдством, но была в них тоска о чем-то...

— Все врут: дураки — по глупости, умные — из хитрости, а Совка говорит правду... Она ее говорит... не для пользы своей... и не для души... какая там душа? Просто — хочет и говорит. Слышал я — студенты правду любят... ходил по трактирам, где они пьянствуют... ничего нет, враки это... просто — пьяницы — пьют... да...

Он бормотал, уже не обращая на меня внимания, как будто забыв, что я сижу бок о бок с ним:

— Иному человеку правда... вроде бы он в барыню влюбился самого высокого происхождения... всего один раз и видел, а влюбился на всю жизнь... и никак до нее не достичь... словно во сне привиделось...

Было трудно понять: пьян хозяин или трезв, но — болен? Он тяжело шевелил языком и губами, точно не мог размять надуманные им жесткие слова. В этот раз он был особенно неприятен, и, сквозь дрему глядя в печь, я перестал слушать его мурлыкающий голос.

Дрова были сырые, горели натужно, шипя и выпуская кишучую слюну, обильный, сизый дым. Желто-красный огонь трепетно обнимал толстые плахи и злился, змеиными языками лизал кирпич низкого свода, изгибаясь, тянулся к челу, а дым гасил его, — такой густой, тяжелый дым...

— Грохало!

— Что?

— Знаешь, чем ты меня удивил?

— Говорили вы.

— Да...

Он помолчал и нищенским голосом вытянул:

— Ка-а-кое же тебе дело, что я простужусь, помру! Это ты... не подумав, сказал, для шутки!

— Шли бы вы спать...

Он захихикал, покачивая головою, и тем же плачущим голосом выговорил:

— Я ему добра хочу, а он меня — гонит...

Впервые слышал я из его уст слово — добро, мне захотелось испытать искренность настроения хозяина, и я предложил:

— Вы бы вот Яшутке добра пожелали.

Хозяин замолчал, тяжело приподняв плечи.

Дня за два перед этой беседой в крендельную явился Бубенчик, гладко остриженный, чистенький, весь прозрачный, как его глаза, еще более прояснившиеся в больнице. Пестрое личико похудело, нос вздернулся еще выше, мальчик мечтательно улыбался и ходил по мастерским какими-то особенными шагами, точно собираясь соскочить с земли. Боялся испачкать новую рубашу и, видимо, конфузясь своих чистых рук, всё прятал их в карманы штанов из чёртовой кожи — новых же.

— Кто это тебя женихом таким нарядил? — спрашивали крендельщики.

— Июлия Иванна, — слабым, милым голосом отвечал он, останавливаясь там, где застиг его вопрос, вынимал из кармана левую руку и, помахивая ею, рассказывал:

— Доктолиха, полковникова дочь; отцу ейному тулки ногу отлублили, аж до колена, видел я и его, так он — лысый совсем и ко всему говолит — пустяки.

И восторженно восклицал:

— Вот так холошо, блатцы, в больнице-то, ай-ай! Чистота-а!

— А что у тебя в правой руке?

— Ничего! — испуганно округляя глаза, ответил он.

— Врешь! Показывай!

Он сконфузился, искривился весь, засунув руку еще глубже в карман и опустив плечо; это заинтересовало ребят, и они решили обыскать его; схватили, смяли и вытащили из кармана новенький двугривенный и финифтяный маленький образок — богородица с младенцем. Монету тотчас же отдали Якову, а образ стал переходить из рук в руки, — сначала мальчик, напряженно улыбаясь, всё протягивал за ним маленькую ручонку, потом нахмурился, завял, а когда солдат Милов протянул ему образок, — Яшутка небрежно сунул его в карман и куда-то исчез. После ужина он пришел ко мне унылый, измятый, уже запачканный тестом, осыпанный мукою, но — непохожий на прежнего сельчака.

— Ну, покажи мне подарок-то!

Он отвел в сторону синие глаза:

— Нет его у меня...

— А где?

— Потелял...

— Да ну?

Яков вздохнул.

— Как это?

— Блосил я его, — тихо сказал он.

Я не поверил, но он, заметив это, перекрестился, говоря:

— Вот — ей-богу! Я тебе не совлу. В печку блосил... он закипел-закипел, как смола, и сголел!

Мальчик вдруг вскрикнул и ткнулся головою в бок мне, говоря сквозь слезы:

— Сволочи... хватают все, тоже... Солдат ее пальцем ковылял... отколупнул с боку кусочек... чёлт поганый. Июлия Иванна дала мне ее, так — поцеловала спелва... и меня... «Вот тебе, говолит,— на! Это... тебе... годится...»

Он так разрыдался, что я долго не мог успокоить его, а не хотелось, чтоб крендельщики видели эти слезы и поняли их обидный смысл...

— А что — Яшка? — неожиданно спросил хозяин.

— Слаб он очень и в крендельной не работник. Вы бы вот — в мальчики его, в магазин.

Хозяин подумал, пожевал губами и равнодушно сказал:

— Ежели слаб — не годится в магазин. Холодно там, простудится... да и Гараська забьет. Его надо к Совке в отделение... неряха она, пыль у нее, грязь, вот и пускай он там порадеет... Не трудно...

Заглянув в печь на золотую кучу углей, он стал вылезать из приямка.

— Загребай жар, пора!

Я засунул в печь длинную кочергу, а сверху, на голову мне, упали лениво и скучно сказанные хозяйские слова:

— Глупцовый ты человек! Около тебя счастье ходит, а ты... Эх, черти, черти!.. Куда вас?

В грязные улицы, прикрытые густыми тенями старых, облезлых домов, осторожно, точно боясь испачкаться, заглядывало мартовское солнце; мы, с утра до вечера запертые в сумрачном подвале центра города, чувствовали приближение весны по сырости, всё более обильной с каждым днем.

В крайнее окно мастерской после полудня минут двадцать смотрит солнечный луч, стекло, радужное от старости, становится красивым и веселым. В открытую форточку слышно, как взвизгивает железо полозьев,

попадая на оголенный камень мостовой, и все звуки улицы стали голее, звончей.

В крендельной непрерывно поют песни, но в них нет зимней дружности, хоровое пенье не налаживается, каждый, кто умеет, поет для себя, часто меняя песни, точно в этот весенний день ему трудно найти подходящую к строю души.

Коль скоро ты мне изменила,

— выводит Цыган у печки,— Ванок с напряжением подхватывает:

Навек я погублен тобой...

И неожиданно обрывает песню, говоря тем же высоким голосом, как пел:

— Еще дён десять — начнут пахать у нас.

Шатунов только что набил тесто и без рубахи, лоснясь от пота, повязывает разбившиеся волосы лентой мочала, дремотно глядя в окно.

Гудит тихонько его темный голос:

Стра-аннички божии мимо-тко идут,

Страпнички молчат, на меня не глядят...

Артюшка, сидя в углу, чинит рваные мешки и, покашливая, напевает девичьим голосом заученные стихи Сурикова:

Ты л-лежишь... в гробу тесовом,

Дыруг наш дорогой...

Д-до лица-а... закрыт покровом...

Желтый и худой...

— Тьфу,— плюет в его сторону Кузин.— Нашел, дурак, слова для песни... Дьяволята, я ли вам не говорил сто раз...

— Эх, мама милая! — оборвав песню, возбужденно кричит Цыган.— Хорошо на земле будет скоро!

И орет, притопывая ловкими ногами:

Идет баба пьяная,

Издаля смеется,—

Это она самая,

По ком сердце бьется!..

Уланов подхватывает:

Марья Васильева
Всех парней осилила —
Ей в апреле месяце
Просто хоть повеситься!..

В разноголосом пении, отрывистом говоре чувствуется могучий зов весны, напряженная дума о ней, которая всегда вызывает надежду пожить заново. Непрерывно звучит сложная музыка, точно эти люди разучивают новую хоровую песню, — ко мне в пекарню течет возбуждающий поток пестрых звуков, и разных и единых в хмельной прелести своей.

И, тоже думая о весне, видя ее женщиною, не щадя себя возлюбившей всё на земле, я кричу Павлу:

Марья Васильева
Всех людей осилила!..

Шатунов отвернул от радужного окна широкое свое лицо и, заглушая ответ Цыгана, урчит:

И эта дорога чижолая-о,
И эта тропина не для грешника.

А сквозь тонкую переборку, в щели ее, из комнаты хозяина достигает до слуха нищенское нытье старухи хозяйки:

— Ва-ась, родименький!..

Вторую неделю хозяин пьет, — запой настиг его и неотступно мает. Он допился уже до того, что не может говорить и только рычит, глаза его выкатились, погасли и, должно быть, ничего не видят — ходит он прямо, как слепой. Весь опух, посинел, точно утопленник, уши у него выросли, оттопырились, губа отвисла и обнаженные зубы кажутся лишними на его и без них страшном лице. Иногда он выходит из комнаты, переставляя короткие поги медленно, стуча о пол пятками излишне тяжело и твердо, — идет прямо на человека, отталкивая его в сторону жутким взглядом невидящих глаз. За ним, с графином водки и стаканом в огромных лапах, двигается так же мертво пьяный Егор, — рябое лицо его

всё в красных и желтых крапинах, тупые глаза полузакрыты, а рот — разинут, словно человек ожегся и не может вздохнуть.

Не двигая губами, он бормочет:

— Прочь... хозяин идет...

Их сопровождает серая хозяйка, голова у нее опущена, и глаза, слезясь, кажется, вот-вот вытекут на поднос в ее руках, обольют соленую рыбу, грибы, закуску, разбросанную на синих тарелках.

В мастерской становится тихо, как в погребу, что-то душное, ночное наполняет ее. Острые, раздражающие запахи текут вслед этой троице тихо обезумевших людей; они возбуждают страх и зависть, и когда они скроются за дверь в сени, — вся мастерская две-три минуты подавленно молчит.

Потом раздаются негромкие, осторожные замечания:

— Обопьется...

— Он? Ни в жизнь!

— Закусок-то сколько, робя!

— Душисты...

— Пропадает Василь Семенов...

— Сосчитать бы, сколько он выглохтит!

— Тебе этого в месяц не одолеть.

— Почему ты знаешь? — со скромностью, не лишенной веры в себя, говорил солдат Милов. — Ты попробуй, попой меня месяц-то!

— Сгорить...

— Зато — в удовольствии...

Несколько раз я выходил в сени смотреть на хозяина: среди раскисшего двора на припеке солнца Егор поставил вверх дном старый гнилой ларь, похожий на гроб; хозяин, без шапки, сидел среди ларя, поднос закусок ставили справа от него, графин — слева. Хозяйка осторожно присаживалась на край ларя, Егор стоял за спиною хозяина, поддерживая его под мышки и подпирая в поясницу коленями, а он, запрокинув назад всё свое тело, долго смотрел в бледное, вымороженное небо.

— Игор... дыш-шь?

— Дышу...

— Всякое дыхание хвалит господу? Всякое?

— Всякое...

— На-алей...

Хозяйка, суетясь, точно испуганная курица, совала в руку мужа стакан водки, он прижимал стакан ко рту, и, не торопясь, сосал, а она торопливо крестилась мелкими крестами и вытягивала губы, точно для поцелуя, — это было жалобно и смешно.

Потом она тихонько ныла:

— Егорушко... умрет он эдак-то...

— Мамаша... не терзайся... бе-ез воли божией — ничего не допущено, — говорил Егор, точно бредил.

А на дворе, отражаясь в лужицах между камней, блестит радостно весеннее солнце.

Однажды хозяин, осмотрев небо и крыши, покачнулся вперед и, едва не упав лицом на камни, спросил:

— Чей день?

— Божий, — с натугой ответил Егор, еле успевший подхватить хозяина, а Семенов, вытянув ногу, снова спросил:

— Чья нога?

— Ваша.

— Врешь! Я — чей?

— Семенов...

— Врешь!

— Божий.

— Ага-а!

Хозяин приподнял ногу и, топнув по луже, обрызгал себе грязью и грудь и лицо.

— Егорушка, — заныла старуха; грозя пальцем, Егор сказал:

— Мамаша, — я против хозяина не могу-у...

А хозяин, мигая глазами и не стирая грязь с лица, спрашивал:

— Егор! Волос — не упадет?..

— Не может... без воли божией...

— Дай сюда...

Егор наклонил под руки ему свою большую лохматую голову, а хозяин, вцепившись в кудрявые пасмы казака, выдернул из них несколько волос, посмотрел их на свет и протянул руку Егору:

— Спрячь... Чтобы не упали...

Счистив осторожно вырванные волосы с толстых пальцев хозяина, Егор скатал их ладонями в шарик и спрятал в карман цветистого жилета. Как всегда, лицо его деревянно и глаза мертвы, только осторожные и все-таки неверные движения давали понять, что он сильно пьян.

— Береги,— бормотал хозяин, помахивая рукою.— За всё — спросится... за каждый волос...

Должно быть, всё это они уже не однажды делали — было в их движениях что-то заученное. Хозяйка смотрела равнодушно, только губы ее, черные и сухие, всё время шевелились.

— Пой! — вдруг взвизгнул хозяин.

Егор заломил шапку на затылок, сделал страшное лицо и, плотно усевшись рядом с хозяином, засипел пропитым басом:

Вота донские...

Хозяин вытянул руку вперед, сложив пальцы горстью, точно милостыню прося.

Эх и гребенские, ой да молодые казаки...

Хозяин завыл, вскинув голову, и его слепое, дикое лицо облилось обильными слезами, точно начало таять.

Во время одного из таких концертов Осип, стоявший в сенях рядом со мною, спросил тихонько:

— Видал?

— Ну?

Он смотрел на меня и жалобно улыбался неясной, дрожащей улыбкой,— за последнее время он сильно похудел и монгольские глаза его как будто выросли.

— Что ты?

Осип навалился на меня и прошептал в ухо мне:

— Богатый, а? Счастье? Вот те и счастье! Помни...

Пока хозяин пил, Сашка метался по мастерским, тоже как охмеленный: глаза беспокойно сверкают, руки болтаются, точно сломанные, и над потным лбом дрожат рыжие кудри. Все в мастерских открыто говорят

о Сашкином воровстве и встречают его одобрительными улыбками.

Кузин нараспев выхваливает приказчика сладкими словами:

— Ох, да и орел же у нас Александра Петров, ой, да и высоко ему летать назначено...

Воруют все, кому сподручно, и делается это играючи, — всё уворованное немедля идет на пропой, все три мастерские живут во хмелю. Мальчишки, бегая в кабак за водкой, набивают пазухи кренделями и где-то выменивают их на леденцы.

— А скоро вы эдак-то разорите Семенова, — говорю я Цыгану; он отрицательно мотает красивой головой:

— Ему, брат, каждый рубль, обернувшись раз, тридцать шесть копеек барыша дает...

Он говорит это так, как будто ему совершенно точно известен оборот хозяйского капитала.

Я — смеюсь. Пашка неодобрительно морщится:

— Всего тебе жалко... как это ты можешь?

— Не то что жалко мне, а плохо понимаю я путаницу эту...

— Путаницу и нельзя понять, — вставляет Шатунов; вся мастерская внимательно прислушивается к разговору.

— Хвалите вы хозяина за ловкость, с которой он — вашей же работой — поставил заведение, и сами же зорите дело во всю мочь...

Несколько голосов сразу отвечают:

— Разоришь его, как же!

— Лежит каравай, — кусай, не зевай!

— Нам только и вздохнуть, поколе он пьянствует...

Мои речи тотчас становятся известны Сашке, он вылетает в пекарню, стройный, тонкий, в сером пиджаке и, оскалив зубы, орет:

— На мое место метишь? Нет, погоди, хитер, да молод...

Все жадно смотрят, ожидая драки, но хотя Сашка и резв, — он осторожен, да мы с ним уже «схлеснулись» однажды: надоел он мне мелкими придирками, укусами комариными, и однажды я заявил ему, что побью, если он не оставит меня в покое. Дело было в праздник,

вечером, на дворе, все ребята разошлись кто куда, и мы с ним — одни.

— Давай! — сказал он, сбрасывая пиджак на снег и закатывая рукава рубахи. — Господи благослови! Только — по бокам! По роже — ни-ни! Рожа мне необходима для магазина, ты сам понимаешь...

Будучи побежден, Сашка попросил меня:

— Ты, милейший человек, не говори никому, что сильнее меня, — уж я тебя прошу о том! Ты здесь лицо временное, мимо проходящее, а мне с людьми этими жить! Понял? Ну вот! За это — спасибо! Пойдем ко мне, чайку попить...

За чаем в его каморке он воодушевленно говорил хорошо подобранными словами:

— Милейший человек, — конечно, это совершенно так, что на руку я будто бы не чист — если рассуждать просто, но — ежели взойти внутрь всех обстоятельств? — И, наклоняясь ко мне через стол, сверкая обиженными глазами, он доказывал, точно песню пел:

— Хуже я Семенова, глупее его? Я ж его моложе, я ж красивый, я ж ловкий... Да вы дайте мне за что ухватиться зубом, дайте ж мне хоша бы малое дело в руки, я тотчас всплыву наверх, я так крылья разверну — ахнешь, залюбуешься! При моей красоте лица и корпуса — могу я жениться на вдове с капиталом, а? И даже на девице с приданым, — отчего это недостойно меня? Я могу сотни народа кормить, а — что такое Семенов? Даже противно смотреть... некоторый сухопутный сом: ему бы жить в омуте, а он — в комнате! Чудище!

Он тоненько свистнул, сложив трубочкой красные, жадные губы.

— Эх, милачок! Архерей живет честно, так ведь всем известно — ему и нудно, и скушно, и плоть непослушна... Ты — Ложкина, писаря из полиции, — знаешь? Это его сочинение: «Рацея про архерея», — поучительный человек, хотя и безумный пьяница. Там, в рацее у него, дьячок прямо говорит:

Нет, владыко, ты не прав,
Нельзя прожить, не управ!..

Это ловкое, стройное тело с рыжей головой напоминало мне древние стрелы, — обмотанная смоляной паклей и зажженная, летит в темной ночи стрела на чье-то горе и разор.

Теперь, во дни хозяйского запоя, Сашка особенно разгорелся, — противно, но и любопытно наблюдать, как он летает, ловя рубли, точно ястреб мелких пташек.

— Осторожные дела пошли, — гудел в ухо мне Шатунов, — держись подале, абы не затянуло как...

Он относился ко мне всё более внимательно и, можно сказать, даже ухаживал за мною, словно за слабосильным, — то принесет мне муки или дров, то предложит замесить тесто.

— Это — зачем?

Не глядя на меня, он бормотал:

— Помалкивай! Твоя сила для других делов хороша будет... ее беречь надо, сила — раз на всю жизнь дана...

И, конечно, тихонько спрашивал:

— А что значит — фраза?

Или внезапно сообщал мне нечто странное:

— Хлысты верно понимают, что богородица — не одна...

— Что это значит?

— Ничего не значит.

— Ты же сам говоришь, что бог для всех один?

— Ну да! Только — люди разные и подправляют его к своим надобностям... татаре, напримерно, мордва... Вот он где, грех-то!

Как-то ночью, сидя со мною у печи, он сказал:

— Руку бы мне сломать, а то — ногу... али заболеть чем-нибудь видимым!..

— Что такое?

— Уродство бы мне явное какое...

— Да ты — в уме?

— Очень.

И, оглянувшись, он объяснил:

— Видишь ты: думал я, что быть мне колдуном, очень душа моя тянулась к этому. У меня и дед с материнной стороны колдун был и дядя отцов — тоже. Дядя этот — в нашей стороне — знаменитейший ведун и знахарь, пчеляк тоже редкий, — по всей губернии его слава

известна, его даже и татары, и черемисы, чувашаи — все признают. Ему уж далеко за сто лет, а он годов семь тому назад взял девку, сироту-татарку, — дети пошли. Жениться ему нельзя уж — трижды венчался.

Тяжело вздохнув, он продолжал медленно и задумчиво:

— Вот ты говоришь — обман! До ста лет обманом не прожить! Обманывать все умеют, это душу не утешает...

— Погоди! Уродство-то зачем тебе?

— А — пошатнулась душа в другую сторону... хочется мне пройти по земле возможно дальше... наскрозь бы! Поглядеть, — как оно всё стоит... как живет, на что надеется? Вот. Однако — с моей рожей — нет у меня причины идти. Спросят люди — чего ты ходишь? Нечем оправдаться. Вот я и думаю, — кабы рука отсохла, а то — язвы бы явились какие... С язвами — хуже, бояться будут люди...

Замолчал, пристально глядя в огонь разбегающимися глазами.

— Это у тебя -- решено?

— О нерешенном и говорить не надо, — сказал он, отдуваясь. — О нерешенном говорить — только людей пугать, а и так уж...

Он безнадежно махнул рукою.

Сонно улыбаясь, потирая голову, тихонько подошел встрепанный Артюшка.

— Приснилось мне — будто купаюсь и надобно нырять, разбежался я — бултых! — да как ахнусь башкой о стену! Аж золотые слезы потекли из глаз...

И действительно его хорошие глаза были полны слез.

Дня через два, ночью, посадив хлеб в печь, я заснул и был разбужен диким визгом: в арке, на пороге крендельной, стоял хозяин, истекая скверной руганью, — как горох из лопнувшего мешка, сыпались из него слова одно другого грязнее.

В ту же секунду с треском отлетела дверь из комнаты хозяина, и на порог, вскрикивая, выполз Сашка, а хозяин, вцепившись руками в косяки, сосредоточенно пинал его в грудь, в бока.

— Ой... убьешь... — вздыхал парень.

— Ать, ать,— спокойно выговаривал Семенов с каждым ударом и катил пред собою скрюченное тело, ловко сбивая Сашку с ног каждый раз, когда он пытался вскочить с пола.

Из крендельной выскакивали рабочие, молча сбиваясь в тесную кучу,— в сумраке утра лиц не видно было, но чувствовалось, что все испуганы. Сашка катился к их ногам, вздыхая:

— Братцы... убьет...

Они подавались назад, заваливаясь, точно сгнивший плетень под ветром, но вдруг откуда-то выскочил Артюшка и крикнул прямо в лицо хозяина:

— Будет!

Семенов отшатнулся. Сашка, как рыба, нырнул в толпу и — исчез.

Стало очень тихо, и несколько секунд длилось это мучительное молчание, когда не знаешь, что победит — человек или животное.

— Это кто? — хрипло спросил хозяин, из-под руки присматриваясь к Артему и другую руку поднимая в уровень с его головой.

— Я! — слишком громко крикнул Артем, отступая; хозяин покачнулся к нему, но вперед вышел Осип и получил удар кулаком по лицу.

— Вот что, — мотнув головою и сплюнув, спокойно заговорил он, — ты — погоди, не дерись!

И тотчас на хозяина — пряча руки за спину, в карманы, за гашники — полезли Пашка, солдат, тихий мужик Лаптев, варщик Никита, все они высовывали головы вперед, точно собираясь бодаться, и все, впереводку, неестественно громко кричали:

— Будет! Купил ты нас? Ага-а?! Не хотим!

Хозяин стоял неподвижно, точно он врос в гнилой, щелявый пол. Руки он сложил на животе, голову склонил немножко набок, и словно прислушивался к непонятным ему крикам. Всё шумнее накатывалась на него темная, едва освещенная желтым огоньком стеной лампы толпа людей, в полосе света иногда мелькала — точно оторванная — голова с оскаленными зубами, все кричали, жаловались, и выше всех поднимался голос варщика Никиты:

— Всю мою силушку съел ты! Чем перед богом похвалишься? Э-эх,— отец!

Грязной пеной вскипала ругань, кое-кто уже размахивал кулаками под носом Семенова, а он точно заснул стоя.

— Кто тебя обогатил? Мы! — кричал Артем, а Цыган точно по книге читал:

— И так ты и знай, что семи мешков работать мы не согласны...

Опустив руки, хозяин повернулся направо и молча ушел прочь, странно покачивая головою с боку на бок.

...Крендельная мирно и оживленно ликовала. Все настроились деловито, взялись за работу дружно, все смотрели друг на друга как бы новыми глазами — доверчиво, ласково и смущенно, а Цыган пел петухом:

— Пошевеливайся, ребятки, скрипи костями! Эхма... честно, чтобы всё, аккуратно! Мы ему, милому, покажем работу! Валяй на совесть,— свободно-о!

Лаптев с мешком муки на плече, стоя среди мастерской, говорил, облизываясь и чмокая:

— Вот оно что... вот как бывает, ежели дружно, артельно...

Шатунов вешает соль и гудит:

— Артелью и отца бить сподручней.

Все стали точно пчелы весною, и особенно радостен Артем, только старик Кузин гнусаво поет свои обычные слова:

— Мальчишки, дьяволята, что же вы, дуй вас горой...

Свинцовый холодный туман окутал колокольни, минареты и крыши домов, город точно обезглавлен, да и люди — издали — кажутся безголовыми. Мокрая изморозь стоит в воздухе, мешая дышать, всё вокруг тускло-серебряное и — жемчужное там, где еще не погасли ночные огни.

На камень панелей тяжело падают с крыш капли воды, звонко бьет подкова о булыжник мостовой, и где-то высоко в тумане плачет, заунывно зовет к утренней молитве невидимый муэдзин.

Я несу на спине короб с булками, и мне хочется

идти бесконечно, миновать туман, выбраться в поле на широкую дорогу и по ней — вдаль, где, наверное, уже восходит весеннее солнце.

Высоко вскидывая передние ноги, круто согнув шею, мимо меня плывет лошадь — большая, серая в темных пятнах; сверкает злой, налитый кровью глаз. На козлах, туго натянув вожжи, сидит Егор, прямой, точно вырезанный из дерева; в пролетке развалился хозяин, одетый в тяжелую лисью шубу, хотя и тепло.

Не однажды эта серая норовистая лошадь вдребезги разбивала экипаж; осенью хозяина и Егора принесли домой в грязи и крови, с помятыми ребрами, но они оба любят и холят жирное, раскормленное животное с неприятным и неумным взглядом налитых кровью мутных глаз.

Однажды, когда Егор чистил лошадь, незадолго перед тем укусившую ему плечо, я сказал, что хорошо бы этого злого зверя продать татарам на живодерню, — Егор выпрямился и, прицеливаясь в голову мне тяжелой скребницей, зарычал:

— Уди-и!

Никогда этот человек не говорил со мною, если же я пытался вызвать его на беседу, он, наклоня голову, быком шел прочь и только однажды неожиданно схватил меня сзади за плечо, встряхнул и пробормотал:

— Я тебя, кацап, намного здоровше, я троих таких уберу, а тебя — на одну руку! Понял? Кабы хозяин...

Эта речь, сказанная с большим чувством, так взволновала его, что он даже не нашел силы окончить ее, а на висках у него надулись синие жилы и выступил пот.

Дерзкий Яшутка сказал про него:

— Тли кулака, а баски — нет!

Улица становилась тесней, воздух — еще более сырым, муэдзин кончил петь, замерло вдали цоканье подков о камни, — стало ожидающе тихо.

Чистенький Яшка, в розовой рубахе и белом фартухе, отворил мне дверь и, помогая внести корзину, предупредительно шепнул:

— Хозяин...

— Знаю.

— Селдитый...

И тотчас же из-за шкафа раздался ворчливый зов:
— Грохало, поди сюда...

Он сидел на постели, занимая почти треть ее. Полуодетая Софья лежала на боку, щекою на сложенных ладонях; подогнув одну ногу, другую — голую — она вытянула на колени хозяина и смотрела встречу мне, улыбаясь, странно прозрачным глазом. Хозяин, очевидно, не мешал ей, — половина ее густых волос была заплетена в косу, другая рассыпалась по красной измятой подушке. Держа одною рукой маленькую ногу девицы около щиколотки, пальцами другой хозяин тихонько щелкал по ногтям ее пальцев, желтым, точно яштарь.

— Садись. Н-ну... давай толковать сурьезно...

И, поглаживая подъем Софьиной ноги, крикнул:
— Яшка, — самовар! Вставай, Сова...

Она сказала лениво и тихо:

— Не хочется...

— Ну, ну — вставай-ко!

Столкнув ногу ее со своих колен и покашливая, с хрипом, медленно выговорил:

— Мало ли кому чего не хочется, а — надо! Поживешь и нехотя...

Софья неуклюже сползла с постели на пол, обнажив ноги выше колен, — хозяин укоризненно сказал:

— Совсем у тебя, Совка, стыда нет...

Заплетая косу, она спросила, позевнув:

— А тебе на что стыд мой?

— Али я один тут? Вон — парень молодой...

— Он меня знает...

Сердито нахмурив брови, надув щеки, Яшка внес самовар, очень похожий на него, — такой же маленький, аккуратный и хвастливо чистый.

— А, чёрт, — выругалась Софья, резким движением распустила заплетенную косу и, закинув волнистые волосы за плечи, села к столу.

— Н-ну, — начал хозяин, задумчиво прищулив умный зеленый глаз и совсем закрыв мертвый, — это ты, что ли, научил их скандалить?

— Вы знаете...

— Конечно. Зачем это тебе понадобилось?

— Тяжело им.

— Скажи на милость! А кому — легко?

— Вам легче.

— Ам, ам! — передразнил он меня. — Много ты понимаешь! Наливай ему, Совка. Лимон — есть? Лимону мне...

В окошке над столом тихонько пел ржавый вертун жестяной форточки, и самовар тоже напевал, — речь хозяина не мешала слушать эти звуки.

— Будем говорить коротко. Ежели ты привел людей к беспорядку, значит ты должен и в порядок привести их. А то как же? Иначе тебе никакой цены нет. Верно я говорю, Сова?

— Не знаю. Мне это не интересно, — спокойно сказала она.

Хозяин вдруг повеселел:

— Ничего тебе не интересно, дуреха! И как ты будешь жить?

— У тебя не поучусь...

Сидела она, откинувшись на спинку стула, помешивая ложкой чай в маленькой синей чашке, куда насыпала кусков пять сахара. Белая кофта раскрылась, показывая большую, добротную грудь в синих жилках, туго налитых кровью. Сборное лицо ее было сонно или задумчиво, губы по-детски распушены.

— Так вот, — окинув меня прояснившимся взглядом, продолжал хозяин, — хочу я тебя на место Сашки, а?

— Спасибо. Я не пойду.

— Отчего?

— Это мне не с руки...

— Как — не с руки?

— Ну, — не по душе.

— Опять душа! — вздохнул он и, обложив душу сквернейшими словами, со злой насмешкой, пискливо заговорил:

— Показали бы мне ее хоть раз один, я бы ногтем попробовал — что такое? Диковина же: все говорят, а нигде не видать! Ничего и нигде не видать, окромя одной глупости, как смола вязкой, — ах вы... Как маломале честен человек — обязательно дурак...

Софья медленно подняла ресницы, — причем и брови ее тоже приподнялись, — усмехнулась и спросила весело:

— Да ты честных-то видал?

— Я сам, смолоду, честен был! — воскликнул он незнакомым мне голосом, ударив себя ладонью в грудь, потом — ткнул рукою в плечо девицы:

— Ну, вот — ты честная, а — что толку? Дура же! Ну?

Она засмеялась — как будто немножко фальшиво:

— Вот... вот ты и видал таких, как я... Тоже — честная... нашел!

А он, горячась и сверкая глазами, кричал:

— Я, бывало, работаю — всякому готов помочь, — на! Я это любил — помогать, любил, чтобы вокруг меня приятно было... ну, я же не слепой! Ежели все — как виши на тебя...

Становилось тяжело, хоть — плачь. Что-то нелепое, — сырое и мутное, как туман за окном, — втекало в грудь. С этими людьми и жить? В них чувствовалось неразрешимое, на всю жизнь данное несчастье, какое-то органическое уродство сердца и ума. Было мучительно жалко их, подавляло ощущение бессилия помочь им, и они заражали своей, неведомой мне, болезнью.

— Двадцать рублей до Троицы — хошь?

— Нет.

— Двадцать пять? Ну? Будут деньги — будут девки... всё будет!

Хотелось что-то сказать ему, чтоб он понял, как невозможно нам жить рядом, в одном деле, но я не находил нужных слов и смущался под его тяжелым, ожидающим и неверящим взглядом.

— Оставь человека, — сказала Софья, накладывая в чашку сахар; хозяин качнул головою:

— Что ты это сколько сахару жрешь?

— Тебе — жалко?

— Вредно для здоровья, лошадь! И так вон пухнешь вся... Ну что ж? Стало быть, не сошлись мы. Окончательно ты против меня?

— Я хочу расчет просить...

— Н-да... уж, конечно! — задумчиво барабанил

пальцами, сказал он. — Так... так! Честь — предложена, от убытка бог избавил. Ты — пей чай-то, пей... Сошлись без радости, разошлись без драки...

Долго и молча пили чай. Сытым голубем курлыкал самовар, а форточка ныла, точно старуха нищая. Софья, глядя в чашку, задумчиво улыбалась.

Неожиданно и снова веселым голосом хозяин спросил ее:

— О чем думаешь, Совка? Ну, ври сразу!

Она испуганно вздрогнула, потом, вздохнув и выговаривая слова, точно тяжело больная — вяло, бесцветно и с трудом, — сказала что-то странное, на всю жизнь гвоздем вошедшее в память мне:

— А вот думаю — надобно бы после венца жениха с невестой на ночь в церковь запирать одних-одиношеньких, вот бы...

— Тьфу! — сердито плюнул хозяин. — Ну — и вывезет же...

— Да-а, — протянула она, сдвигая брови. — Не бойсь, тогда бы крепче было... тогда бы вы, подлецы...

Хозяин приподнялся, сильно толкнув стол:

— Перестань! Опять ты про это...

Она замолчала, поправляя сдвинутую толчком посуду.

Я встал.

— Ну, иди! — хмуро сказал хозяин. — Иди. Что ж!

На улице, всё еще окутанной туманом, стены домов сочились мутными слезами. Не спеша, одиноко плутали в сырой мгле темные фигуры людей. Где-то работают кузнецы, — мерно стучат два молота, точно спрашивая: «Это — люди? Это — жизнь?»

Расчет я взял в субботу, а утром воскресенья ребята устроили мне проводы: в грязеньком, но уютном трактире собрались Шатунов, Артем, Цыган, тихий Лаптев, солдат, варщик Никита и Ванок Уланов в люстриновых — на выпуск — брюках за девять гривен и в отчаянно пестром жилете со стеклянными пуговицами поверх новой рубахи розового ситца. Новизна и пестрота костюма погасила наглый блеск его бесстыжих глаз,

маленькое старческое личико сделалось ничтожным, в движениях явилась пугливая осторожность, как будто он всё время боялся, что костюм у него лопнет или кто-нибудь подойдет и снимет жилет с его узкой груди.

Накануне все мылись в бане, а сегодня смазали волосы маслом, и это придало им праздничный блеск.

Цыган распорядился угощением, купечески покрывавая:

— Услужаяющий, — кипяточку!

Пили чай и, одновременно, водку, отчего все быстро, но мягко и не шумно пьянели, — Лаптев прижимался ко мне плечом и, прижимая меня к стене, уговаривал:

— Ты нам — ахни, напоследях, слово... очень пуждаемся мы в слове, видишь ты... прямое, верное слово!..

А Шатунов, сидя против меня, опустил глаза под стол и объяснял Никите:

— Человек — вещь проходящая...

— Где идти, — печально вздыхал варщик, — как идти...

На меня смотрели так, что я смущался и мне было очень грустно — точно я уезжал далеко куда-то и никогда уже не увижу этих людей, сегодня странно близких мне и приятных.

— Ведь я — здесь, в городе остаюсь, — неоднократно напоминал я им, — видаться будем...

Но Цыган, встряхивая черными кудрями и заботливо следя, чтоб чай, разливаемый им, был у всех одной крепости, — говорил, понижая звонкий голос:

— Хоша и остаешься ты в городе, а все-таки теперь не наших клопов кормить будешь.

Тихоенько и ласково усмехаясь, Артюшка пояснил:

— Теперь ты не нашей песни слово...

В трактире было тепло, вкусно щекотал ноздри сытный запах, дымок махорки колебался тонким синим облаком. В углу открыто окно, и, покачивая лиловые сережки фуксии, шевеля остренькие листья растения, с улицы свободно втекал хмельной шум ясного весеннего дня.

На стене, против меня, висели стенные часы, устало опустив неподвижный маятник, их темный циферблат —

без стрелок — был похож на широкое лицо Шатунова, сегодня — напряженное более, чем всегда.

— Человек, говорю, — дело проходящее, — настойчиво повторял он. — Идет человек и — проходит...

Лицо у него побурело, и глаза, улыбнувшись остро, — ласково прикрылись:

— Люблю я, у ворот вечером сидя, на людей глядеть: идут, идут неизвестные люди неизвестно куда... а может, который... хорошую душу питает в себе. Дай им, господи, — всего!

Из-под ресниц его выступили пьяные маленькие слезы и тотчас исчезли, точно сразу высохли на разгоревшемся лице, — глухим голосом он повторил:

— Всего им, от всех щедрот, подай господи! А мы теперь выпьем за дружбу, за любовь-знакомство!

Выпили и все смачно перецеловались, едва не свалив стол с посудой. У меня в груди — соловьи пели, и любил я всех этих людей до боли в сердце. Цыган поправил усы — кстати стер с губ остренькую усмешку — и тоже сказал речь:

— Мать честная, до чего иной раз, братцы, славно душа играет, чисто — гусли мордовские! Намедни, когда все столь дружно взялись против Семенова, и сегодня, вот — сейчас... Что можно сделать, а? Прямо — вижу я себя благородным человеком и — шабаш! Барин-господин, ей-богу! И не могу никому вершка уступить! Говори мне что хошь, какую хошь правду, — нисколько не обижусь. Ругай: «Пашка — вор, подлец!» Не приму... не поверю! Оттого и не осержусь, что не поверю! И — знаю способ жизни... Осип — про людей — это верно! Я, брат, так про тебя думал, что ты — темного ума человек, а ты — нет! Ты — верно сказал: мы все — люди достойные...

Варщик Никита тихонько и грустно сказал первые слова свои в это утро:

— Все — очень несчастные...

Но в общем говоре, веселом и дружном, эти слова остались незамеченными, как незаметен был среди людей и сам человек, сказавший их: уже пьяненький, он сидел в полудремоте, глаза его погасли, большое, угловатое лицо напоминало увядший лист клена.

— Сила — в дружбе, — говорил Лаптев Артему.

Шатунов говорил мне:

— И слушай слова, подбирай — не сойдутся ли в стих?

— А как я узнаю, что сошлись?

— Узнаешь!

— А ежели сложатся, да не в тот стих?

— Не в тот?

Осип подозрительно оглянул меня, подумал и сказал:

— Иного — не может быть! На счастье для всех — стих один, другого нет!

— Да я-то как узнаю, что это он?

Опустив глаза, он таинственно шепнул:

— Увидишь! Это — все увидят, сразу!

Ванок вертелся на стуле и, обегая разгоревшимися глазами трактир, уже тесно и шумно набитый людьми, — стонал:

— Эх, и запеть бы теперь... запеть!

И вдруг, схватившись руками за сидение стула, согнулся, сжался и испуганно зашептал:

— Шш... х-хозяин!..

Цыган схватил полную бутылку водки, быстро опустил ее под стол, но сейчас же снова твердо поставил ее на место, сердито сказав:

— Здесь — трактир...

— Ну да! — громко отозвался Артем, и все замолчали, притворяясь, будто не видят, как между столами медленно и важно катится, приближаясь к ним, круглая туша хозяина.

Первый заметил его и весело поздоровался, привстав со стула, Артем:

— Василь Семеныч — с праздником!

Остановясь в двух шагах, Семенов молча стал присматриваться ко всем зеленым глазом, — ребята кланялись ему тоже молча.

— Стул, — сказал он негромко.

Солдат вскочил и подставил свой.

— Водку пьете? — усаживаясь и тяжело вздохнув, спросил он.

— Чаевичаем, — сказал Пашка, усмехаясь.

— Из бутылок...

Казалось — весь трактир замолчал и напряженно ждет скандала, но Осип Шатунов встал, налил водки в свою рюмку и, протягивая ее хозяину, предложил мягко:

— Выпей, Василь Семеныч, с нами за наше здорье...

Противная тяжесть легла на сердце — хозяин как будто рассчитанно медленно поднимал свою короткую, тяжелую руку, и нельзя было понять — вышибет он рюмку или примет?

— Можно, — сказал он наконец, сжимая пальцами ножку рюмки.

— А мы — за твое выпьем!

Пожевав губами, глядя зеленым глазом в рюмку, хозяин повторил:

— Можно... Н-ну... здравствуйте, что ли!

И выплеснул водку в свой жабий рот. Смуглое лицо Пашки покрылось пятнами, быстро наливая рюмки неверной рукою, он заговорил звенящим голосом:

— Ты, Василий Семенов, не сердись на меня, мы — тоже люди! Ты сам работал, знаешь...

— Ну, ну, не лиси, не надо, — тихо и угрюмо остановил его хозяин, поглядел на всех поочередно припоминающим взглядом, остановил глаз на моем лице и — усмехнулся, говоря:

— Люди... Арестанты вы, а не люди... Пьем, давайте...

Русское благодушие, всегда не лишнее хитрости, сверкнуло тихой искрой в его глазу, и эта искра тотчас зажгла пожар во всех сердцах, — на лицах ребят явились мягкие усмешки, что-то смущенное, как бы виноватое замелькало в глазах.

Чокнулись, выпили, и Цыган снова заорал:

— Желаю я сказать правду...

— Не ори! — сморщившись и отмахиваясь от него, сказал хозяин. — Что ты — прямо в ухо? И — на кой она, твоя правда? Работа нужна...

— погоди! Показал я тебе работу в эти три дня?

— Ты бы вот чужого ума не слушал...

— Нет, ты скажи: показал я...

— Так и надо.

— Так и будет!

Хозяин окинул всех единым взглядом, качнул головою и снова повторил:

— Так и надо. Что хорошо — я не поспорю — хорошо! Ну-ка, солдат, спроси дюжину пива...

Эта команда прозвучала победительно и еще более увеличила добродушное настроение, а хозяин, прикрыв глаза, добавил:

— С чужими людьми — озеро водки выпил я, а со своими — давно не приходилось...

И тут окончательно размякли, растаяли жадные на ласку, обворованные жизнью человечьи сердца, — все сдвинулись плотнее, а Шатунов, вздохнув, сказал как бы за всех:

— Мы тебя обидеть нисколько не хотели, а — тяжело нам, измотались за зиму, вот и всё дело.

Я чувствовал себя лишним на этом празднике примирения, он становился всё менее приятен, — пиво быстро опьяняло людей, уже хорошо выпивших водки, они всё более восторженно смотрели собачьими глазами в медное лицо хозяина, — оно и мне казалось в этот час необычным: зеленый глаз смотрел мягко, доверчиво и грустно.

Тихо и небрежно, как человек, уверенный, что его поймут с полуслова, хозяин говорил, наматывая на пальцы серебряную цепочку часов:

— Мы — свои люди... Мы тут, почитай, все — одной земли, одной волости...

— Милый — верно! Одной земли, — умиленно зывал пьяненький Лаптев.

— К чему это собаке волчьих повадки? Такая собака — дому не сторож...

Солдат громко кричал:

— Смир-рно! Слушай...

Цыган, воровато заглядывая в умный хозяйский глаз, лаял лисьим лаем:

— Ты думаешь — я ничего не понимаю?

Становилось всё веселее — спросили еще дюжину пива, и Осип, наваливаясь на меня, сказал тяжелым языком:

— Хозяин... всё одно — как алхирей... алхимандрит в монастыре — хозяин!..

— Чёрт его принес,— тихо добавил Артем.

Хозяин молча, механически пил стакан за стаканом пиво и внушительно покашливал, точно собираясь что-то сказать. Меня он не замечал, лишь иногда взгляд его останавливался на моем лице, ничего не выражая и как бы не видя ничего.

Я незаметно встал и пошел на улицу, но Артем догнал меня и, пьяненький, заплакал, говоря сквозь рыдания:

— Эх, брат... остался я теперь... остался — один!..

Несколько раз я встречал хозяина на улице; раскладывались,— солидно приподняв пухлой рукою теплый картуз, он спрашивал:

— Живешь?

— Живу.

— Ну, живи,— разрешал он и, критически осмотрев мою одежду, важно нес дальше свое круглое тело.

Одна из таких встреч случилась против двери в пивную,— хозяин предложил:

— Хошь — пивка выпьем?

Сошли по четырем ступеням в маленькую комнату полуподвального этажа, хозяин пробрался в угол потемнее, плотно сел на толстоногий табурет, оглянулся, как бы считая столики: их было пять, кроме нашего, все покрыты розово-серыми тряпочками. За стойкой, дремотно покачивая седою головой в темном платке, вязала чулок маленькая старушка.

Серые, каменные, несокрушимо крепкие стены были украшены квадратами картин: одна изображала охоту на волков, другая — генерала Лорис-Меликова с оторванным ухом, третья — Иерусалим, а четвертая — гологрудых девиц, у одной на широкой груди было четко написано печатными буквами: «Верочка Галанова, любима студентами, цена 3 коп.», у другой — выколоты глаза. Эти нелепые, ничем не связанные пятна возбуждали тоску.

Сквозь стекла двери было видно над зеленой крышей нового дома красное вечернее небо, и высоко в нем несчетной стаей летали галки.

Посапывая, хозяин внимательно осмотрел эту скучную яму, лениво спрашивая, сколько я зарабатываю, доволен ли местом, — чувствовалось, что говорить ему не хочется и давит его неумемная русская тоска. Медленно высосав пиво, он поставил пустой стакан на стол и щелкнул его пальцем по краю, — стакан опрокинулся, покотился, я удержал его.

— На что? — тихо сказал хозяин. — Пускай бы падал... разобьется — заплатим...

Торопливо благовестили к вечерне, пугая галок, метавшихся в небе.

— Люблю я вот эдакие помещения, — заговорил Семенов, ткнув рукою в угол. — Тихо, и мух нет. Муха — солнышко любит, тепло...

Он вдруг улыбнулся насмешливо и добродушно:

— Совка-то, дура, связалась с дьяконом! Лысый, чахлый и, конечно, — безмерный пьяница. Вдовый. Он ей — канты поет духовные, а она, дитё, плачет... Ор-рет на меня... а я — мне что ж? Мне — забавно...

Поперхнувшись каким-то несказанным словом, он шутливо продолжал:

— Была у меня думка — женить тебя на ней, на Софье... Поглядел бы я, как бы вы жить стали!..

Мне тоже стало смешно, и мой смех вызвал у него ответный — тихий, плачущий.

— Черти! — встряхивая плечами, подвывал он. — Эдакие черти не нашего бога... ох...

И выжимал пальцами из разноцветных глаз мелкие слезинки.

— А — Оська-то, — знаешь? Ушел, баран, от работы...

— Куда?

— На богомолье, что ли то... Ему — по возрасту его, по навыку — в пекаря давно пора бы, работник же он хороший, мастер, да...

Покачал головою, выпил пива и, глядя в небо из-под руки, заметил:

— Галок-то сколько! Свадьба... Вот, брат Грохало:

что есть — лишнее и что — нужное? Никто, брат, этого не знает точно... Дьякон говорил: «Нужное для людей — лишнее для бога...» Это он, конечно, спьяна. Всякому хочется оправдать свое безобразие... Сколько лишнего народа в городах — страсть! Все пьют, едят, а — чье пошло, чей хлеб? Да... И как это всё, откуда явилось?

Он вдруг поднялся, опустив одну руку в карман, другую протянув мне. Лицо его задумчиво расплылось, глаз внимательно прищурился:

— Надо идти, прощай...

Вынул тяжелый потертый кошелек и, роясь в нем пальцами, он тихонько сказал:

— Намедни спрашивал про тебя околодочный в трактире...

— Что — спрашивал?

Хозяин исподлобья взглянул на меня, равнодушно говоря:

— Про характер, про язык... Я сказал: характер, мол, плохой, а язык — длинный. Ну, прощай!

И, широко растворив дверь, он, твердо упираясь короткими ногами в истертые ступени, медленно поднял свой тяжелый живот на улицу.

С той поры я не видал его больше, но лет через десять мне пришлось случайно узнать конец его хозяйской жизни: тюремный надзиратель припес мне колбасу, завернутую в обрывок газетной бумаги, и на этом обрывке я прочитал корреспонденцию, в которой рассказывалось:

«В страстную субботу наш город был свидетелем довольно любопытного зрелища: по улицам разъезжал, обливаясь слезами, известный в торговом мире булочник и крендельщик Василий Семенович Семенов, он ездил по домам своих кредиторов, рыдая, убеждал их, что совершенно разорен, и просил немедленно посадить его в тюрьму. Зная блестящее состояние его дел, никто не поверил ему; к его настоятельному желанию провести день великого праздника непременно в тюрьме — отнеслись со смехом, — чудачества этого своеобразного человека были всем известны. Но каково было горестное изумление торгового мира, когда через несколько дней оказа-

лось, что Семенов без вести пропал, оставив за собою долгов около пятидесяти тысяч рублей и продав всё, что только можно было продать! Злостный характер этого банкротства — несомненен».

Далее шла речь о безуспешных поисках бежавшего банкрота, о раздражении кредиторов, приводились разные выходы Семенова. Прочитал я эту грязную, в жирных пятнах бумажку и задумался, стоя у окна, — эти случаи злостных, неосторожных и несчастных банкротств, эти случаи воровского, трусливого, бессильного бегства от жизни — слишком часты у нас, на Руси.

Что это за болезнь, что за несчастье?

Живет некто, пытается что-то создать, стягивает в русло своих намерений множество чужих сил, умов и волей, пожирает массу человеческого труда и вдруг — капризно бросает всё недоделанным, недостроенным, да часто и самого себя выбрасывает вон из жизни. И бесследно погибает тяжкий труд людей, ничем разрешается напряженная, порою мучительная работа.

...Стена тюрьмы стара, низка и не страшна; тотчас же за нею поднимается в ласковое весеннее небо тяжелое краснокирпичное здание винной монополии, а рядом с ним в серой паутине лесов стоит — строится «народный дом».

Дальше — изрезанное глубокими оврагами, покрытое зеленым дерном бесплодное поле, а там, влево, на краю оврага, печально темная купа деревьев — под ними еврейское кладбище. Золотистые лютики качаются в поле, — о грязное стекло окна нелепо бьется тяжелая черная муха, — я вспоминаю тихие слова хозяина:

«Муха — солнышко любит, тепло...»

Вдруг встает пред глазами темная яма пивной и, лишенные всякой внутренней связи, пестрые картинки на ее сырых стенах: охота на волков, град Иерусалим, Верочка Галанова, «цена 3 коп.», Лорис-Меликов, лишенный уха.

«Люблю я вот эдакие помещения», — говорит хозяин человеческим голосом.

Не хочется думать о нем, — я смотрю в поле: на краю его синий лес, а за ним, под горою, течет Волга, могучая

река,— точно она сквозь душу твою широко течет, спокойно смывая отжившее.

«Что есть — лишнее и что — нужное?» — скрипят в памяти хозяйские слова.

Я вижу, как он, развалив свое большое тело по сиденью пролетки, колыхается в ней, остро поглядывая на всё мимо бегущее зеленым глазом. Деревянный Егор торчит на козлах, вытянув руки, как струны, серая злая лошадь вымахивает крепкие ноги, звучно цокая подковами о холодный камень мостовой.

«Егор... я — чей? Овцу задрал — сыт, а — скушно!»

В груди что-то растет и душит, как будто сердце пухнет, наливаясь нестерпимой жалостью к человеку, который не знает, куда себя девать, не находит себе дела на земле — может быть, от избытка сил, а не только от лени и «рекрутского», рабьего озорства?

Жалко его до боли,— всё равно, кто б он ни был, жалко бесплодно погибающую силу, и возбуждает он странное, противоречивое чувство; как ребенок-озорник в сердце матери: ударить его надо, а — приласкать хочется...

По осыпанным известью доскам лесов, обнявших красную громаду строящегося дома, бойко ползают фигурки каменщиков. Они лепятся на вершине здания, маленькие, как пчелы, и возводят его всё выше, выше с каждым днем.

Глядя на это движение-деяние, я вспоминаю, что где-то, по запутанным дорогам великой неустроенной земли, не спеша, одиноко шагает «проходящий» человек Осип Шатунов и, присматриваясь ко всему недоверчивыми глазами, чутко слушает разные слова — не сойдутся ли они в «стих на всеобщее счастье»?

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МАКАРА

...Макар решил застрелиться.

Незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл.

Ежедневно, с утра до ночи, тянулись они одно за другим, как разнообразно кованые звенья бесконечной цепи; глупое сменялось жестоким, наивное — хитрым, было много скотского, немало звериного, и — вдруг трогательно вспыхнет солнечной улыбкой что-то глубоко человеческое — «наше», как называл Макар эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигают в нем жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его область неизведанных радостей.

Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья черных облаков, рисуя взору странные фигуры, а внезапно между ними в мягкой глубокой синеве проблеснут ясные звезды, обещая на завтра светлый, солнечный день.

Был Макар здоров и, как всякий здоровый юноша, любил мечтать о хорошем, — жило в нем крепкое чувство единства и родства с людьми.

В каждом человеке он хотел вызвать веселую улыбку, бодрое настроение, это ему часто удавалось и, в свою очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающими.

Он много работал и немало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природою к физическому труду, он любил его, и когда работа шла дружно, удачно — Макар как будто пьянел от радости,

наполняясь веселым сознанием своей надобности в жизни, с гордостью любясь результатами труда.

Он умел и других зажечь таким же отношением к работе, и когда усталые люди говорили ему: «Ну, чего бесишься? Ведь хоть надвое переломись — всего не сделаешь!» — он горячо возражал: «Сделаем, а там — гуляй свободно!»

И верил, что, если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения, — они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону всё тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нем, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь!

Чем больше он читал книг и внимательнее смотрел на всё, медленно и грязно кипевшее вокруг, — тем ощутимее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления.

Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра, завтра, уходя всё выше, становилось еще более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей.

Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шёпот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли.

Уходя всё глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилom его отношений к людям и как бы пожирало в нем чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, — таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара.

Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его, и, в то же время, в нем явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом, каждый раз, когда его мнения оспаривались

или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое обиде на людей. Его мысли дорого стоили ему: он собирал и копил их в тяжелых условиях, бессонными ночами, за счет отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг больше усилий, чем это нужно для человека, чей ум приспособлен к работе с детства, школой.

Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошел к людям другого круга, но в их среде,— еще более и даже органически чуждой ему,— он не встретил того, что искал, да он и не мог бы с достаточной ясностью определить — чего именно ищет?

Он просто чувствовал, что в груди у него образовалось темное, холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми.

Люди нового круга были еще более книжны, чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой, книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие.

У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу, они обыкновенно вполголоса или шёпотом, а иногда и громко добавляли:

— Самоучка... Из народа...

Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особенное место. Однажды он спросил знакомого студента:

— Зачем вы всегда говорите, что я самоучка, из народа и подобное?

— Да ведь это же, батя, факт!

Как бы там ни было, в этой среде Макар не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошел прочь, без обиды, с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни он ощутил эту ненужность, было ново и больно.

Случай изъ жизни Макара.

... Макарь рѣшилъ застрѣлиться.

Незадолго передъ этимъ онъ чувствовалъ жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытнаго и важнаго; ему казалось, что всѣ явленія жизни манятъ его разгадать ихъ скрытый смыслъ, ~~пробудить, чтобы онъ~~ ~~некоторые вѣдети изъ нихъ, внести внутрь~~ въ сердце ~~каждого изъ нихъ~~ — свѣтъ своего ума, кровь своего сердца.

Ежедневно, съ утра до ночи тянулись они одно за другимъ, какъ разнообразно-новаторныя звенья безконечной цѣпи; глупое смѣнялось жестокимъ, наивное — хитрымъ, было много скотскаго, не мало вѣринаго, и — вдругъ трогательно, ~~какъ~~ вспыхнетъ солнечной улыбкой что-то глубоко человѣчное — «наше», какъ называлъ Макарь эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигаютъ въ немъ жаркое желаніе приблизить будущее, заглянуть въ его область неизвѣданныхъ радостей.

Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда въ небѣ быстро плывутъ изорванные вѣтромъ клочья черныхъ облаковъ, рисуя взору странныя, ~~разныя~~ фигуры, а внезапно между ними въ мягкой глубокой синевѣ проблеснутъ ясныя звѣзды, обѣщая на завтра свѣтлый, солнечный день.

Былъ Макарь здоровъ и, какъ всякій здоровый юноша, любилъ мечтать о херешемъ, — ~~въ~~ жило въ немъ крѣпкое чувство единства и родства съ людьми.

Въ каждомъ человѣкѣ онъ хотѣлъ вывать веселую улыбку, бодрое настроеніе, это ему часто удавалось и, съ своею очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства съ окружающими.

«СЛУЧАЙ ИЗЪ ЖИЗНИ МАКАРА».

Страница печатного текста с правкой М. Горького,

Потом, вероятно, сказалось переутомление, отозвались ночи без сна, волнующие книги, горячие беседы, — Макар стал чувствовать себя физически вялым, а в груди всегда что-то трепетало, нервы, как будто проколов кожу, торчали поверх нее, точно иглы, и каждое прикосновение к ним болезненно раздражало.

Макару было девятнадцать лет, он считал себя неутомимо сильным, никогда не хворал, любил немножко похвастаться своею выносливостью, а теперь он стал противен сам себе, стыдился своего недомогания, стараясь скрыть его, едко осуждал сам себя, но всё это плохо помогало, и тревога, ослабляющая душу, становилась тяжелей...

В то же время он почувствовал себя влюбленным, но — не мог понять, в кого именно: в Таню или в Настю, — ему нравились обе. Полногрудая, высокая и стройная приказчица Настя только что окончила учиться в гимназии; радуясь свободе, она весело и ясно улыбалась всему миру большими, темными, как вишни, глазами и показывала белые плотные зубы, как бы заявляя о своей готовности съесть множество всяких вкусных вещей. Таня была маленькая, голубоглазая, белая, точно маргаритка; она со всеми говорила ласково, слабеньким, однообразно звеневшим голосом, мягкими, как вата, словами и смеялась тихим, тающим смехом.

Макар не скрывал своих чувств пред ними, и это одинаково смешило подруг, — они были веселые. Он же подходил к ним, как бездомный, иззябший человек подходит зимней ночью греться около костров, горящих на перекрестках улиц, ему думалось, что эти умненькие девушки могут — та или другая, всё равно — сказать ему какое-то свое, женское, ласковое слово и оно тотчас рассеет в его груди подавляющее чувство оброшенности, одиночества, тоски.

Но они шутили над ним, часто напоминая ему о его восемнадцати годах и советуя читать серьезные книги, а усталая голова Макара уже не воспринимала книжной мудрости, наполняясь всё более темными думами.

Их было бесконечно много, они как будто давно уже

прятались где-то глубоко в нем и везде вокруг него; ночами они поднимались со дна души, ползли изо всех углов, точно пауки, и, всё более отъединяя его от жизни, заставляли думать только о себе самом. Это были даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о разных обидах и царапинах, в свое время нанесенных жизнью и, казалось, так хорошо забытых, как забывают о покойниках. Теперь они воскресли, оживились, непрерывно вился их хоровод — тихая торжествующая пляска; все они были маленькие, ничтожные, но их — много, и они легко скрывали то хорошее, что было пережито среди них и вместе с ними.

Макар смотрел на себя в темном круге этих воспоминаний, поддавался внушениям и думал:

«Никуда я не гожусь. Никому не нужен».

А вспомнив горячие речи, которыми он еще недавно оглушал людей, подобных себе, внушая им бодрость и будя надежды на лучшие дни, вспомнив хорошее отношение к нему, которое вызывали эти речи, он почувствовал себя обманщиком и — тут решил застрелиться.

Это тотчас успокоило его, он почувствовал себя деловито и рачительно начал готовиться к смерти.

Пошел на базар, где торговали всяким хламом и старьем, купил там за три рубля тяжелый тульский револьвер; в ржавом барабане торчало пять крупных, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью. Ночью он тщательно вычистил оружие, смазал керосином, наутро взял у знакомого студента атлас Гиртля, внимательно рассмотрел, как помещено в груди человека сердце, запомнил это, а вечером сходил в баню и хорошо вымылся, делая всё спокойно, старательно.

Придя из бани, сел в своем углу за стол, чтобы написать записку, объясняющую его смерть, и тут пережил неприятно волнующий час: не удавалось найти нужное количество достаточно веских слов, которые бы просто и убедительно объяснили людям, почему Макар убил себя.

«Я умер, потому что перестал уважать себя», — написал он, но это показалось очень громким, неверным и обидным.

«Никто меня не любит, никому я не нужен»,— это было стыдно, он тщательно вымарал жалкие слова, заменив их другими:

«Жить стало тяжело...»

«Живут люди тяжелее, и самому тебе раньше жилось хуже»,— оборвал он себя, смяв бумажку в твердый комок.

Задумался, чувствуя себя пустым и глупым, потом снова написал:

«Я умираю оттого, что никому не нужен и мне не нужно никого».

«Вот если прибавить еще недужен — выйдут стихи, и очень глупо, и всё не то, всё неверно»,— холодно и зло подумал Макар, оглядываясь вокруг и чувствуя потребность пожалеть что-то.

Но смотреть не на что и жалеть нечего: его комната была узким пространством между шкафом магазина и стеною без окна, вход в эту длинную впадину был завешен рыжим войлоком, а сейчас же за ним, в стенке шкафа,— дверь в магазин. Вдоль шкафа — койка, на которой сидел Макар, перед ним — ящик, заменявший стол, несколько толстых книг, маленькая лампа мутно-голубого стекла; желтый свет упал на лицо Роберта Оуэна,— гравюру из книги, купленную за пятак. На стене старинная литография — Юлия Рекамье — и колючее, птичье лицо Белинского. Когда в магазине отворяют дверь с улицы — сквозь щели в стенке шкафа дует, и на Макара плывет сипло вздыхающий звук, шевеля бумагу, которой оклеен ящик. Над столом торчало маленькое тусклое зеркало в жестяной оправе.

Макар снова взялся за перо, думая:

«Напишу что-нибудь смешное...»

Но вдруг спросил сам себя:

«Да кому ты пишешь? Ведь писать-то некому!»

Это было верно, но — опять-таки обидно как-то.

Отворилась трескучая дверь из магазина, всколыхнулся рыжий войлок, из-за него высунулось розовое веселое лицо приказчицы Насти, она спросила:

— Вы что делаете?

- Пишу.
- Стихи?
- Нет.
- А что?

Макар тряхнул головою и неожиданно для себя сказал:

— Записку о своей смерти. И не могу написать...

— Ах, как остроумно! — воскликнула Настя, наморщив носик, тоже розовый. Она стояла, одной рукою держась за ручку двери, откинув другою войлок, наклонясь вперед, вытягивая белую шею, с бархоткой на ней, и покачивала темной, гладко причесанной головою. Между вытянутой рукою и стройным станом висела, покачиваясь, толстая длинная коса.

Макар смотрел на нее, чувствуя, как в нем вдруг вспыхнула, точно огонек лампады, какая-то маленькая, несмелая надежда, а девушка, помолчав и улыбаясь, говорила:

— Вы лучше почистите мне высокие ботинки — завтра Стрельский играет Гамлета, я иду посмотреть, — почистите?

— Нет, — сказал Макар, вздохнув и гася надежду. Она удивленно пошевелила тонкими бровями.

— Почему?

Тогда он тихо и убедительно сказал, как бы извиняясь:

— Честное слово, я сегодня застрелюсь — вот сейчас и пойду! Так что чистить башмаки ваши перед самой смертью — неловко как-то, не подходит...

Она откачнулась назад и исчезла, оставив в комнате недовольное восклицание:

— Фу, какой вы скучный!

Макар очень удивился, раньше ему не говорили этого, но тотчас утешил себя:

«Конечно, скучный, если уж почти покойник...»

Решительно взял перо и написал:

«Если этот случай беспокоит вас — прошу извинить. М.».

Но, прочитав, добавил, усмехнувшись:

«Больше не буду».

«Будто — глупо? Ну, ладно, всё равно уж...»

И сунул записку в щель шкафа так, чтобы она сразу бросилась в глаза. По стеклу зеркала скользнуло отражение Макарова лица, тихонько задев какую-то грустную струну в душе.

«Еще что?» — спросил он себя, невольно и осторожно одним глазом снова заглядывая в зеркало, — оттуда косо и недоверчиво смотрело угловатое лицо, его выражение показалось Макару незнакомым: серовато-голубые глаза как бы спрашивали о чем-то, растерянно мигая, а трепету длинных век непримиримо противоречили нахмуренные брови и упрямо, плотно сжатые губы.

Лицо некрасивое, грубое, но — свое, Макар знал его и вообще был доволен своим лицом, находя его значительным, но сейчас оно какое-то стертое, надутое, что-то утратившее — чужое.

«Хорошие у меня глаза», — подумал Макар.

Густые мягкие волосы обильно упали на лоб и щеки, они шевелились — это оттого, что почти ежеминутно дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и в щели шкафа дул сильными струйками воздух, насыщенный запахом печеного хлеба.

Юноша смотрел на себя и чувствовал, что ему становится жалко глаз, мускулистой шеи, сильных плеч — жалко силы, заключенной в крепком теле. Через час она бесплодно и навсегда исчезнет, и среди людей не будет больше одного из них, еще недавно умевшего внушать им интерес к важному и доброму. Эта жалость просачивалась в тело как бы извне и текла сквозь мускулы внутрь, к сердцу, переполняя его холодной тяжестью самоосуждения.

«Ну — ладно, будет! — сказал он сам себе. — Не следи с судьбой и не кобеняся... Надо идти в мастерскую прощаться, или не надо?»

Решил, что не надо: станут расспрашивать, а он не может солгать им, если же сказать правду — не поверят и осмеют, а поверив — помешают. Застегнул пиджак, сунул револьвер за пазуху, взял шапку и пошел в магазин, — там, за прилавком, под висячей лампой, сидела Настя, читая книгу, за книгой стоял черный ряд гирь, начиная с десятифунтовой, в них было что-то

похожее на старушек зимою, когда они идут за крестным ходом. Медные чашки весов, точно две луны на цепях, отражали неприятный желтый свет, отчего розовато-смуглое лицо девушки казалось красным и самодовольным.

— Куда это? — спросила она, не поднимая головы, скосив глаза и чуть-чуть улыбаясь знакомой улыбкой, после которой обыкновенно следовало шутливое словцо.

— По своему делу, — сказал Макар.

— На свиданье?

«Со смертью», — едва не выговорил Макар, но вовремя удержался.

В нем всё напряглось, натянулось, вспыхнуло яркое желание говорить, кричать о себе, но он ужасно боялся показаться смешным этой девице и, думая, что надобно скорее идти, — стоял перед нею, смущенно улыбаясь. В эту минуту он был уверен, что любит именно ее неизмеримой, бесконечной любовью, именно ее он всегда и любил, теперь это было удивительно ясно и, наполняя грудь восторгом, тоскою, подсказывало какие-то звучные, сильные слова, — их множество, как звезд на небе, и он едва сдерживал живой их трепет. А надо было сдерживать, ибо, если бы перед ним была беленькая дочь хозяина, курсистка Таня, — он, наверное, ощущал бы те же чувства и желания, какие ощущает к этой. Это он тоже знал.

Девушка, положив локти на прилавок, смотрела на него, весело улыбаясь, подняв тонкие брови почти до половины низкого лба, вытянутого к вискам, уши у нее были маленькие, а рот большой, пышный, она говорила капризно:

— Так-таки вы и не почистили мне башмаков...

Подавляя все цветущие слова, Макар сказал:

— Ведь вы на галерку пойдете, а там ног не видно...

— Как же — не видно? — с удивлением и насмешливо воскликнула она.

Громко взвизгнула уличная дверь, вошел, позванивая шпорами, огромный, серый, рыжебородый жандарм и вежливо заговорил:

— Здравствуйте! Три французских хлеба, два пеклеванных, три десятка сухарей, два пирожных...

Настя встала, спрашивая:

— Два десятка пирожных?

— Так точно, два десятка...

— Прощайте, — сказал Макар, надевая шапку.

Гремя стеклянной дверью шкафа, стоя спиной к Макару, девушка шутливо отозвалась:

— До свиданья, желаю успеха!..

Макар вышел на улицу; ноги у него словно вдруг отяжелели, поднимаясь и шагая неохотно.

Был декабрь; богатая звездами безлунная ночь накрыла город синим бархатом, густо окропленным золотом, сверкающей пылью. Против двери магазина, в театральном садике, стояли белые деревья, казалось, что они пышно цветут мелкими холодными цветами без запаха. За ними, на площади, темной горою возвышалось тяжелое здание театра, на крыше его одеялом лежал пласт синеватого снега, свешивая к земле толстые края. Было тихо, фонари горели спокойно, в их огне разноцветно вспыхивали маленькие сухие снежинки, лениво падая с крыш на утопанный тротуар.

Не спеша, часто оглядываясь назад, Макар шел за город; он заранее высмотрел себе место на высоком берегу реки, за оградой монастыря: там под гору сваливали снег, он рассчитал, что если встать спиной к обрыву и выстрелить в грудь, — скатишься вниз и, засыпанный снегом, зарытый в нем, незаметно пролежишь до весны, когда вскрыется река и вынесет труп на Волгу. Ему нравился этот план, почему-то очень хотелось, чтобы люди возможно дольше не находили и не трогали его труп.

Он шел пустынной улицей к выходу из города и уже видел перед собою синюю даль заречных лугов, с темными пятнами кустарника на них и белыми — это озера, гладко покрытые снегом.

Смотреть туда, где потерялась черта между небом и землею, было хорошо, и даль тоже смотрела в глаза человека ласково, кротко, словно она была в полном согласии с ним и, немножко жалея его, тихо манила к себе.

Левую руку Макар сунул в карман, правую держал за пазухой, сжимая в ней тяжелый теплый револьвер;

шел, ни о чем не думая, и был доволен спокойной пустотою в груди и в голове. Сердце сжалось, стало маленьким, неслышным.

Темный ночной сторож стоял у ворот, разговаривая с котенком, прижавшимся на лавочке, во впадине фальшивой калитки; в тишине ясно звучал простуженный голос, ломая слова:

— А-ах ты, кошкина кот...

Макар остановился, посмотрел и спросил:

— Подкинули?

Сторож повернул к нему мохнатое, седое от инея лицо с косыми глазами.

— Это — тута, афисершам-баринам, она — его, моя знайт... Замерзнит котенкам?

— Пожалуй, замерзнет, — согласился Макар.

Татарин, ощипывая лед с подстриженных усов, смешно морщился и, добродушно поблескивая маленькими глазами, отрывисто говорил:

— Перекину через забор — убьется?

— Снег на дворе есть?

— Не знай...

Макар подумал, оглянул маленький, сонно закрывший окна дом и спросил:

— А сад не этого дома?

— Нет! — сожалея, сказал татарин. — Я думал бросить в сад, а там — высокий забор, ему не перелести, он маленький...

Тогда Макар сказал:

— Да ты возьми его за пазуху тулупа, вот и будет ладно: и ему спасенье, и тебе теплей, веселей...

— Верна! — согласился сторож, нагибаясь к дрожавшему зверьку.

— Прощай, брат...

— Прощай...

Макар пошел дальше, всё так же не спеша, глядя в пустынное поле под горою, а оно развertyвалось шире и шире, как будто хвастаясь своей необъятностью, прикрытое синею мутью и тихое, как спокойный сон.

Встреча с татаринoм и котенком тотчас же отступила далеко назад, — тоже стала как сон или воспоминание

о давно прочитанной странице какой-то простой и милой книги.

Вот он и на избранном месте, на краю крутого ската к реке, покрытого грязным снегом с улиц и дворов. Слева — белая каменная ограда монастыря и за нею храм, поднявший к звездам свои главы, недалеко впереди, за буграми снега, вытянулся ряд церковных домов окраинной улицы; кое-где сквозь щели ставен еще тянутся в синеву ночи, падают на снег желтые ленты света. Между белыми крышами домов — белые деревья, точно облака, а ветки, с которых осыпался иней, черные и похожи на полустертую надпись в небе, освещенном невидимой луной. Очень тихо...

Он подошел к самому краю, осторожно ощупывая ногой снег, боясь оступиться и упасть под гору раньше времени; найдя твердое место, прочно встал на нем, снял шапку, бросил ее к ногам и, вынув револьвер, расстегнул не торопясь пиджак, потом выпрямился, взвел тугой курок, нащупал сердце и, приставив дуло вплоть к телу, нажал большим пальцем собачку, — щелкнуло, он вздрогнул, закрыл глаза...

И с головы до ног вспыхнул, поднял револьвер к лицу, с испугом глядя в барабан, на тусклые пульки, кукишами сидевшие в нем.

«Неужто не стреляет?»

Незаметно для себя, он снова дернул собачку, — бухнул выстрел, больно дернув за волосы, мимо уха свистнула пуля — Макар тотчас же опустил руку и выстрелил в грудь.

Этот выстрел был громче, от него всё вздрогнуло — подпрыгнули дома окраины перед глазами Макара и поплыли на него; тупой толчок пошатнул, отдался в спине, бросил лицом в снег, снова стало удивительно тихо...

Макару показалось, что он долго лежал, ничего не видя и не слыша, как будто его не было, потом он услышал, как шипит в груди, почувствовал, что рубаха становится влажной и в нос бьет какой-то особенный, неприятно сладковатый, жирный запах. Тотчас же в голове стало ясно, — он понял, что ему не удалось скатиться вниз и что он не убил себя.

«Надобно еще», — решил он и перевернулся лицом

вверх — тогда и грудь и спину ожгла острая боль, точно голое тело опоясал жестокий удар кнута, — он крикнул, перемогся, и, нащупав на снегу холодный револьвер, глядя в небо, где качались, опускаясь и поднимаясь, звезды, снова приложил дуло ко груди.

Озябший палец дрожал, приклеивался к собачке и уже не имел силы спустить курок — Макар отвел руку, разжал пальцы и подумал сквозь сон:

«Может, и так умру...»

Вытянулся, слушая шипение крови и ощущая ясный, хорошо знакомый запах горячей тряпки. Звезды скользили и прыгали в небе, как в чаше, которую кто-то опрокинул и хочет вытряхнуть из нее золотые блески. Иногда всё исчезало, точно вдруг прикрытое невидимым облаком. И внутрь, в кости ног и рук, в голову, — проникал мучительный холод, судорожно сжимая тело, как бы связывая его узлом.

Этот холод заставил Макара подняться и сесть, опираясь руками о снег, тогда он увидел, что по его рубашке бегают красные и золотые змейки, — это от них скверный запах гари и по всему телу растекается острая, жгучая боль. Он не понимал, что это, — приподнял одну руку, чтобы согнать прочь, но свалился на бок, скрипя зубами, бешено раздраженный болью, вдруг охваченный желанием подавить ее и этот невыносимый холод в голове, в костях.

Встал на колени, поднялся на ноги, задыхаясь, хрипя и капляя, пошел на темную полосу впереди себя, увидел, что толстая рубашка из мешка горит на нем, как трут, остановился и, падая, стал срывать ее с себя непослушными, злыми руками, а каждое движение их обливало его болью. Он мычал, сцепив зубы, но слышал, как в глубокой тишине вокруг и над ним плачет сторожевой колокол монастыря, режет воздух тонкий, тревожный свист.

Тяжело подкатился мохнатый круглый человек, закричал испуганным, воющим голосом и накидал на грудь Макара кучу снега, — от этого юноше стало как будто легче и понятнее. Подбежал еще человек, Макара подняли, повели; тяжелые, точно чужие ноги страшно

мешали ему, они сделались невероятно длинными, оставаясь где-то сзади,— он сказал:

— Ноги подберите...

— Биром! — крикнул кто-то прямо в ухо ему.

Его опрокинули, понесли, но каждое движение раздиргивало грудь ему рвущей болью, опустошая голову, и эта тяжелая, холодная пустота тянула к земле, вызывая желание крепко уснуть.

Что-то черное — большие кубы и полосы — двигалось мимо него, перед глазами вспыхивали желтые пятна, метались люди — тоже черные, круглые и крикливые.

Макар качался в воздухе, скрипя зубами, и чувствовал, что его охватывает мучительный страх пред этой пустотой, этот страх побеждал боль, внушая мысли, которые вдруг вспыхивали синим огнем:

«Умирает голова... схожу с ума...»

И, напрягая остатки воли, он старался побороть пустоту — перечислял про себя всё, что текло и волновалось перед глазами.

«Черное — дома, заборы, желтое — окна... Меня несет сторож, татарин, за пазухой у него котенок... Другой — полицейский...»

Он вслушивался в быстрый говор людей, метавшихся, точно вороны вокруг колокольни.

— Кто таков, кто?

Татарин упрасивал:

— Ны надыбна, ны надыбна!..

— Мы зна-аем...

— Пьяницы, черти...

— Мы ему сичас только видела, она вовсе тверезый була...

— А кто это?

— Пошли прочь!

— Мы узна-аем, небойсь...

Все звуки были странно тусклы и, в то же время, невероятно громки, они садко вlepлялись в уши и болезненно гудели в голове, но Макар напряженно хватал их и старался закрепить в памяти, заполнить ими пустоту, одолевавшую его.

— Не узнаете, — бормотал он, то проваливаясь ку-

да-то в глубокую яму, то снова с болью вылезая оттуда.

— Стой! Клади! Айда, барабус, в часть, живо, ну!

Макар ткнулся лицом в рогожу, под нею зашуршало сено, его трянуло, подбросило и закачало. Кто-то приподнял голову его большими руками, прижал щеку к мягкому и теплому и унылым голосом затянул:

— Кошкам-та, зверям — жалел, себя вовсе не жалел... ух, без ума голова...

— Я тебя знаю! — с внезапной ясной радостью сказал Макар. — Ты сторож, татарин...

— Молчай уж... такой морда!

Макар хотел глубоко вздохнуть, но сорвался и, крикнув, нырнул куда-то во тьму.

Потом, точно после падения с длинной и высокой лестницы, он лежал перед крыльцом какого-то дома, в глаза ему колко светил фонарь, и сизый высокий человек, стоя на крыльце, убедительно говорил:

— Ну — дураки же, черти, ну — куда же его?

И гаркнул — зарычал:

— В Покровскую, пр...

Широкие полозья розвальней шаркнули по снегу, снова начало встряхивать, наполняя грудь острой болью, как будто в нее вбили тяжелый гвоздь, но — не плотно, и он качался там.

По синему небу быстро убегали звезды, за белыми крышами катился, прячась, желтый круг луны, обломанный с одного края. Мягко подпрыгивая, плыли вдаль огромные дома, связанные друг с другом заборами, — всё уходило из глаз, точно проваливаясь.

— Так себе — нилза, — говорил татарин, дергаясь, словно он хотел выпрыгнуть из саней, а полицейский сердито ворчал:

— А ты из-за него мерзни...

«Это из-за меня», — сообразил Макар, чувствуя себя виноватым перед татаринном, он толкнул его рукою и сказал:

— Прости, брат...

— Молчай... Бульна убил?

— Больно...

— Сачем? Алла велил эта делать?

...Макару показалось, что он, сидя в лодке, гребет против течения так, что ноют плечи, а какие-то рыжие и густые, как масло, волны треплют лодку, заглядывая через борта, не пуская ее; потом он мчался по Моздокской степи на злой казацкой лошадке, собирая разбежавшийся табун; на краю степи лежало большое багровое солнце, мимо него мелькали эти маленькие озорные лошади, целясь, как бы укусить Макара за ногу, скаля огромные зубы и взмахивая хвостами.

Вдруг перед ним широко и бесшумно распахнулась стеклянная дверь, потом — другая, и татарин сказал: — Прощай...

Это было так грустно и хорошо сказано, что на глазах Макара выступили слезы и он тихонько засмеялся.

В теплой тишине он шагал вверх по широкой лестнице, — идти было больно, и казалось, что он идет вниз. Его поддерживал под руку человек в белом, с рыжими усами и большим красным лицом, оно кружилось, точно колесо, усы лезли к ушам, нос двигался — Макар сразу понял, что это неприятный человек.

— Позовите ординатора Плюшкова...

— Смешная фамилия, — сказал Макар, с этим рыжим необходимо было говорить о чем-нибудь.

— Не твое дело, — ответил рыжий, вводя его в маленькую комнату, где сверкало много стекла, усадил на стул и, стаскивая пиджак, потянув большим носом, спросил:

— Пьяный?

— Что?

— Стрелялся — пьяный?

— Трезвый.

— Значит — дурак.

Он сказал это до такой степени просто и уверенно, что Макар не только не обиделся, а засмеялся, но — смеяться нельзя было: хлынула горлом кровь и обрызгала белый халат рыжего.

— О, чёрт, — вскричал он, отскочив и встряхивая полу.

Ведя сам себя за бороду, в комнату вошел человек с веселым и приятным лицом.

— Ну-те-с?

— Огнестрельная рана в область сердца.

— Самоубийство?

— Да.

— Ясно. На стол!

И, пока рыжий помогал Макару укладываться на длинном столе, веселый человек, надевая халат, спрашивал:

— Это вы зачем же, юноша?

— Так.

— Однако?

Лежать на столе голому было и холодно и больно, но Макару не хотелось, чтобы эти люди знали его боль, он закрыл глаза, ослепленные светом, падавшим сверху, и сказал:

— Жить стало трудно.

— Ерунда! Это выдуманно лентяями и бездельниками.

Макар стал спускать ноги со стола, рыжий строго сказал:

— Куда это?

И схватил его за ноги железными нагретыми руками так, что Макар не успел сказать, что он не нуждается в их возне и что лучше уйдет к татарину.

Ординатор наклонился над ним, разглядывая грудь.

— Ожог! И здоровый...

— Рубаха горела...

— Вижу. Экая глупость!

Макар посмотрел на его большое красное ухо, думая:

«Укусить бы...»

Но ординатор воткнул в него зонд и, пригвоздив к столу, на минуту задавил все мысли.

— Здорово просажено! Сквозная, что ли? Ну-те-с, перевернем его!

Перевернули, внушив Макару желание лягнуть их хорошенько, но он не мог поднять тяжелые ноги. А ординатор весело бормотал:

— Во-от она, тут, под кожей... Сейчас, немножко, чуточку... готово!

Укол в спину заставил Макара вздрогнуть.

— Ничего!

И, супув к носу ему измятый кусок свинца, ордина-
тор спросил:

— Сохранить на память, а?

— Не надо.

Пуля упала во что-то металлическое.

— Такой здоровенный парень, и такую глупость
содеять! Не стыдно, нуте-с?

— Не балагурьте, — проворчал Макар.

Он сам уже давно когда-то догадался, что сделал
глупость, — это злило и угнетало его. Ему было нестер-
пимо стыдно перед рыжим и веселым ординатором,
было жалко татарина. Хотелось попросить, чтобы с ним
не говорили или говорили как-то иначе, но слова раз-
бегались, точно просыпанные бусины, собрать их в ряд
не удавалось, да и тело как будто таяло в огне, разли-
ваясь по столу. Являлись какие-то неуловимые мысли,
но тотчас, как мыльные пузыри, улетали в пустоту,
угасая там...

Эта сизая пустота, разрастаясь внутри Макара,
истекала из него через глаза, и всё вокруг заполнялось
ею как туманом, но у него открылось какое-то иное
зрение: он видел, как в облачной безбрежной реке,
которая текла медленно, большими, мягкими и душистыми
валами над ним, под ним и вокруг него, — несутся,
беспорядочно и бессвязно соединяясь, обломки и об-
рывки пережитого и знакомого, что давно уже было
забыто, а теперь воскресало в жарком течении, то пу-
гая, то удивляя, — Макар смотрел на всё жадно, ста-
рался что-то остановить, а оно ускользало, доводя его
до бешенства, заставляя кричать.

Из длинного мешка неиссякаемо сыплотся черные
угли и шуршат:

— Ныне время делательное явися, при дверех суд...

Маленькая девушка в белом слушает этот сухой
шорох и насмешливо улыбается, около ног ее гуляют
красные птицы, чопорно вытягивая лапы и кланяясь,
а откуда-то издали доносится звонкий голос, залиvisto
выпевая:

О-осподи, приими ты злую душеньку мою,

Злую, окаянную, невольничью...

— У меня душа не злая,— спорил Макар, но на белом до блеска потолке является синевато-черная муха, величиною с голубя, ее прозрачные крылья трепещут, точно марево, и радужно играет тысяча глаз,— их так много на этой черной раздвоенной голове, что, наверное, тысяча, вся голова из одних глаз; муха гудит, пухнет и обращается в маленького седого священника; в яркой праздничной ризе он стоит на амвоне и говорит, умиленно улыбаясь:

— Сей день, его же сотвори господь, воистину великий день! Но — чем велик он?..

Кто-то огромный тихонько встал сзади него, подмигнул хитро большим желтым глазом без зрачка и со скрипом задернул завесу царских врат, и — всё пропало, вспыхнув черным жгучим огнем.

Но тотчас же тьму прорвала река, через нее, взволнованную холодным ветром, гневно ошестинившуюся острыми волнами, покрытую белой пеною и водной мелкой пылью, ослепляющей глаза, стремительно плывет множество детей, они взмахивают тонкими руками, отталкивая друг друга и волны; как мячи, прыгают над водою их головы, блестят синие испуганные глаза, все лица искажены страхом и мертвенно серы, кругло открытые рты пронзительно кричат, все дети на одно лицо, и Макар во всех видит, чувствует себя, он в ужасе разрывает руками волны, а над ними со свистом реют красные птицы,— ленивые, огромные, они сливаются в пламя пожара, и неба не видно над ними...

Из лесной опушки, по-осеннему разноцветно окрашенной, на зеленый луг, покрытый скучным дерном и последними цветами, тихо выходят, точно по воздуху плывут, три молодые монашенки, все в черном, белолицые, они идут плечо в плечо и тихонько поют, чуть открывая красные, точно раны, рты:

О Спасе величный,
О сыне девичный,—
Вонми гласу люда,
Зовуща тебя, о Спасе!
Величный-и!..

— Вас обманули,— говорит Макар монахиням, сидя с ними в овраге, в густой заросли кустов,— обманули вас на всю жизнь...

— Милый братик,— отвечает одна из них, очень синеглазая, с пятнами яркого румянца на щеках,— решил господь предать человека в плен скорби вечной...

Другая, наклонив над Макаром белое злое лицо, с тонкими губами, прохладно дышит в глаза ему, приказывая:

— Ну, не кричи, открой рот...

И вылила в рот и на грудь ему целое озеро горько-соленой воды, а потом переломилась надвое, и обе половинки ушли в стену, в круглое медное пятно на ней. Это пятно — как луна, и если долго смотреть в него — желтый блеск втягивает глаза в бездонную глубину свою, и — видно: жаркий, ослепительно солнечный день над пустынным полем, серая дорога режет поле, и на ней сидит, закрывая небо, огромная женщина; лицо ее так высоко, что его не видно, она, как гора, вся черная и так же изрыта морщинами,— приподняв руками груди свои, большие, как холмы, она подает их кому-то и говорит ласково:

— Чтобы род и плод увеличился, и во имя духа святого, сына пресвятыя богородицы, и на посрамление дьяволова...

Хлынул дождь, и пьяный остробородый человек в енотовой шубе закричал:

— Кто меня знает? Никто меня не знает! А мои стихи лучше Надсона...

Под забором, в крапиве, дергаясь и жалобно мяукая, умирает ушибленная кем-то кошка, половина красного кирпича лежит рядом с нею, а на ветке качается ворона, косо, неодобрительно смотрит в глаза Макара и говорит, скучно упрекая:

— А вы всё еще не прочитали «Наши разногласия» и Циттеля, и Циттеля...

Потом она летит над озером, ее тень маленьким облачком скользит по воде, а старенький Христос, уже седой, но всё такой же ласковый, как прежде, удит рыбу, сидя в челноке, улыбается и рассказывает:

— В жарких странах люди черные, а душа у всех одинаковая, и у меня — как у них, и у тебя — как у них...

Макар не верит ему:

— Ты — бог, какая у тебя душа? У бога нет души...

Христос смеется, взмахивая удилицем.

— Ой, чудак! Ну — сказал...

И оттирает рукою мокрые, в слезах, удивительно ясные, очель печальные глаза.

А Макар сердится:

— Ты почему людей не жалеешь?

— Я — жалею, они сами себя не жалеют... — и он машет маленькой, сухою ручкой в сторону далекого синего озера.

На берегу, на сыром песке лежит бородатый утопленник в красной рубахе, лицо — огромное — распухло, глаза вытаращены, а губы надуты, над ним стоит урядник и говорит, поплеывая:

— Марина Николаевна, — тьфу, кланяется вам... — Вот дух какой! Тьфу!..

И рыжебородый священник, обмахиваясь соломенной шляпой, соглашается:

— Дух — мертвый... А Марина — дура подлая...

Он тут же, этот бескрылый, мертвый дух: он — круглый, как пузырь, глаза у него разные, это ясно видно, хотя оба они не имеют зрачков и смотрят на Макара двумя мутными пятнами, одно — зеленое, другое — серовато-желтое, смотрят долго и мучительно мешают понять что-либо...

Эти картины движутся бесконечно, бессмысленно и, оскорбляя своей навязчивостью, — бесят; Макар сердито отгоняет их, кричит, хочет бежать, но каждый раз, когда он пытался спрыгнуть с койки, боль в груди и в спине будила его.

В одну из таких минут он услышал над собою злое шепот:

— Профессор Студентский, ш-ш...

У койки встал человек с опухшим лицом, он приказал:

— Снять перевязку!

Он не понравился Макару. Люди в белых халатах обнажили грудь Макара, профессор, тыкая в нее холодным и тяжелым пальцем, стал громко говорить:

— Здесь мы видим совершенно правильную картину...

Макар слушал и злился — профессор говорил не то, неверно...

— Дня через три он должен умереть...

— А я — не умру,— сказал Макар.

— Что?

— Вы врете...

— Закройте его, сиделка...

Они все пошли прочь, тогда Макар схватил со столика драхмовую бутылку хлорал-гидрата и начал жадно пить из нее, на него бросились, вырвали бутылку, облили лицо, он бился и кричал:

— А что, а что? Ага-а...

И снова поплыл среди странных картин.

Потом бред оставил его, и он сразу почувствовал себя в обстановке отвратительной, среди людей, никогда не виданных им и до изумления, до испуга непонятных ему.

Рядом с ним медленно умирал от Брайтовой болезни синий человек, черноусый, с длинным носом и мертвыми темными глазами, он всё вздыхал:

— Господи, не попусти...

По другую сторону лежал, готовясь к операции, ширококорый учитель; непрерывно щупая толстыми пальцами раковую опухоль на щеке, он по нескольку раз в день спрашивал Макара:

— Вы отчего застрелились?

Но, быстро забыв ответ, снова спрашивал, глядя в потолок мутными глазами:

— Вы отчего...

Макар отвечал разно: от скуки, чтобы избежать надоедливых людей, от угрызений совести,— учитель спокойно выслушивал все ответы и говорил мерно, скучно:

— У вас еще бред.

— Подите к чёрту,— предлагал Макар.

Учитель крестился, вздыхая:

— Господи — помилуй! Какой вы грубый и невоспитанный человек! Я, может быть, во время операции умру под ножом, а вы... Ну — почему не сказать просто и правду? О боже!

Кроме этих двух, в палате жили еще четверо безносовых людей, ожидая, когда им сделают ринопластические носы; трое из них ходили с перевязками поперек лица, а у одного над ямой, где был нос, уже торчали стропила из золотой проволоки. Все они были здоровые ребята и казались Макару похожими друг на друга, точно братья; они играли в карты, пили водку, заедая ее сухим чаем; по ночам, лежа на койках, спокойные, точно свиньи, они говорили о женщинах, сообщая друг другу чудовищные анекдоты, и хихикали, фыркали, хрюкали.

На другую же ночь, после того как он пришел в себя, Макар сказал им невежливо:

— Эй, вы, господа, перестаньте говорить пакости...

Он ждал, что безносовые станут спорить, ругаться, но они покорно замолчали, и это очень удивило его. А утром все четверо один за другим подошли к его койке и стали удивительно глупо и скучно издеваться над ним, говоря однообразно гнусавыми голосами и однообразно хихикая:

— Ты что же, сударь, ты зачем же выздоравливаешь, ась?

— Решимшись на смерть, а теперь попятно?

— Р-ретир-руешься, молодой чавэк, э?

— Поелику — что начато, то должно быть и кончено...

Сначала Макар рассердился, стал ругаться — это их обрадовало до того, что один, упершись руками в колени, согнулся и в яростном возбуждении стал травить его, как собаку, — сжал зубы, покраснел весь и, шлепая губами, зашипел.

— Взы-я, взы...

А товарищи посильно помогали ему.

Это вызвало у Макара какое-то тупое изумление: он смотрел на них и всё более убеждался, что все четверо,

несмотря на разные лица, странно похожи друг на друга.

— Что вы делаете? — спросил он.

Один из них, более лысый, чем другие, поглядел на него, прищурив слезящиеся, красные глаза, и сказал товарищам:

— Ну его, идемте... Конечно — сумасшедший...

И все ушли в коридор, причем в двери один обернулся, чтобы показать Макару толстый сизый язык.

После Макар узнал, что двое из них — чиновники, один — офицер, а четвертый — псаломщик, и почему-то почувствовал к этим людям брезгливую жалость.

Кроме этих, было еще трое оперативных, но они, не вставая с коек, только стонали.

Одна из сиделок уже замучена работой до озлобления; серая, длинная, точно ящерица, она бегом металась между коек, всовывая термометры, пичкая лекарствами, дышала порывисто, шипя и булькая, из ее рук ничего не хотелось принимать; другая, с большими ногами и отечным лицом, вздыхала, охала, жаловалась на усталость; ее жалобы, никого не трогая, всем мешали, всех раздражали.

Макару было стыдно видеть себя среди этих изломанных, ненужных людей, он испытывал непобедимое чувство брезгливости к ним, всё вокруг казалось ему липким, пропитанным заразой, угрожающим уродством.

Желтые, окрашенные масляной краской блестящие стены с высокими окнами куда-то в бесцветную пустоту, надоевшую Макару до того, что он готов был ослепнуть, лишь бы эта пустота не давила глаза своей хвастливой ненужностью, всё, заключенное в этих стенах, неохотно освещаемое тусклым светом коротких зимних дней, стонущее, бесстыдно требовательное, трусливое, наянливо жалующееся на свои страдания и холодное друг ко другу, — всё это вызывало у Макара припадки тоски и безумного желания уйти отсюда.

Он первый раз видел людей, которые, рассказывая о своих болезнях, точно гордятся ими и, суеверно боясь смерти, относятся к жизни как-то особенно: недоверчиво, подозрительно и фальшиво; казалось, что

они нарочно смотрят вкось, в сторону, стараясь не замечать того, что им невыгодно, не нравится и непонятно.

...С наивной горячностью юности он пробовал говорить с ними о чем-то важном и видел, что это их удивляет больше, чем удивляло мастеровых, рабочих, мужиков, — эти люди отмахивались от живых вопросов, как от пчел, забывая о меде и только боясь, как бы не ужалила пчела.

Но тяжелее всех и всего — учитель: этот человек жил как будто на параде, словно за ним целый день неотступно следили чьи-то строгие глаза, а он знал это и в почтительном внимании к ним действовал с точностью маятника.

Он просыпался аккуратно в половине восьмого, ежедневно одними и теми же движениями вставал, одевался, оправлял койку, в четыре шага доходил до двери, определенное количество времени тратил на умывание, возвращаясь, садился на табурет и, взяв со столика часы, говорил Макару:

— Вчера с чаем опоздали на одиннадцать минут — посмотрим, как сегодня...

А после чая, ежеминутно дотрагиваясь до опухшей, багровой щеки, прищурив воспаленный глаз, глухо тянул:

— Да, молодой человек, вот так-то я говорю: нужно уметь хотеть только того, что доступно и по силам, и нужно уметь сдерживать себя от бесполезной траты сил, коих нам дано немного...

И в продолжение часа он бесчисленно ставил рядом друг с другом всё одни и те же глаголы: уметь, сдерживать, хотеть, сокращать...

Однажды он вполголоса, намекающим тоном сказал Макару, сидя на его койке:

— Мой приятель, человек твердой воли, влюбился в девицу, его недостойную, хотя из богатой и очень почтенной семьи. Добавлю — влюбился страстно, даже страдал бессонницею и другими явлениями нервного характера. Не допуская преувеличений, могу сказать, однако же, что он был на краю гибели. Но!

И, близко наклонясь к лицу юноши, он выдохнул в глаза ему теплые, неприятно пахучие слова:

— Он решительно сказал себе: «Не хочу хотеть!»
И — всё кончилось,— понятно?

— Уйдите,— сказал Макар, закрыв глаза, чтобы не видеть багрово-торжествующее лицо.

Он не мог представить себе этих людей в их семьях, в обществе, на службе, не понимал, о чем они могут говорить со своими женами, с детьми; они казались ему неумными, неумелыми и напоминали нищих на большой дороге, по которой крестным ходом несут чудотворную икону, несут и кричат:

— Прибавь ходу!..

А нищие, сидя под деревьями, по обе стороны дороги, стонут, показывая уродства свои, и зло ругаются друг с другом, когда люди минуют их, оставляя в пыли.

И он думал с обидой, которая всё росла:

«Вот какие живут...»

О смерти не думалось — Макар был спокойно уверен, что как только представится удобный случай — он убьет себя. Теперь это стало более неизбежным и необходимым, чем было раньше: жить больным, изуродованным, похожим на этих людей — нет смысла.

Ему казалось, что это — решение его сердца, но, в то же время, он чувствовал что-то другое, молча, но всё более настоятельно спорившее с этим решением; он не мог понять — что это? И беспокоился, стараясь незаметно подсмотреть лицо назревающего противоречия.

А откуда-то из глубины наболевшего сердца тихонько поднималось желание, чтобы пришел человек, дружески пожал руку и сказал бы, улыбаясь, что-нибудь простое, человечье, несколько слов.

Это было маленькое, робкое желание, робкое, как подснежник, первый цветок весны.

...И человек пришел,— однажды Макар услышал около своей койки тихий вопрос:

— Спит?

Чуть приоткрыв глаза, он увидел Настю — в черном платье, в черных перчатках, она, немножко наклонясь, согнув стройное тело, разглядывала его лицо хорошо знакомыми глазами, только любопытство было острее, чем прежде, в темном блеске этих глаз. В пер-

вую секунду приятно было видеть здоровое, простое лицо — захотелось со всею силою сердца сказать девушке:

«Здравствуйте!»

Но, присмотревшись сквозь ресницы, он заметил, что верхняя губка Насти приподнята и дрожит, нос болезненно сморщен, — он открыл глаза, девушка вздрогнула и, смущенно отводя взгляд в сторону, сказала:

— Закройтесь...

Он — не понял, потом быстро натянул одеяло до горла и спрятал под ним руки — лежал без рубахи, плечи и руки были голые.

Девушка несколько раз кряду коротко и сильно выдохнула воздух через нос, как бы отгоняя от себя запах больницы, потом села на табурет, спрашивая:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Спасибо.

— А у нас — всё хорошо, как было...

— Очень рад...

— Да...

Она подвинулась немножко ближе и, посмотрев, не коснулось ли ее платье серого одеяла койки, чуть улыбаясь, тихонько сказала:

— А ведь я думала — вы шутили тогда...

Не находя, чем ответить ей, Макар тоже усмехнулся. Он видел, что больные заинтересованы его гостьей: отовсюду на нее внимательно и жадно смотрят безносые, он знал, что эти люди мысленно пачкают ее, и это было больно ему. Учитель, уже оперированный, с белою головой, обмотанной бинтами, одним глазом измерял и взвешивал ее. А девушка, чувствуя возбужденный ею интерес, смущенная им, разглаживала черными лапками платье на коленях, краснела и улыбалась, сморщив гладкий лоб.

Синее ясное небо смотрело в окна.

— Холодно? — спросил Макар.

— Сегодня? Нет, всего тринадцать градусов...

И, вдруг оживясь, быстро заговорила:

— Знаете — в воскресенье я, Сыроенко и Таня, — ах, да, Таня кланяется вам, у нее кашель и насморк, она не могла прийти, — мы чудесно катались в воскре-

сенье, ездили за город, туда, за сумасшедший дом, хохотали...

Она говорила непрерывно, минут пять, и когда ей не хватало слов — прищелкнув языком, рисовала пальцем в воздухе петлю или круг. Потом, на полуслове оборвав свою речь, встала:

— Ну, мне пора! Не шевелитесь, не надо... Прощайте...

Макар точно окостенел, он чувствовал себя обиженным этим визитом и думал о том, как это ясно, что жизнь — оскорбительна и жить — не стоит.

Сидя на своей койке, учитель осторожно облизывал толстые губы большим тупым языком и медленно, шепеляво, новым голосом говорил:

— В-вот я и знаю, из-за кого вы это...

— Поздравляю, — сказал Макар.

— Девица — ничего. Но стрелялись вы — напрасно.

— Почему?

— Девиц — очень много. Стреляться же вообще бессмысленно...

— Почему?

Он опустил глаз и вздохнул.

— Я многократно объяснял вам это. Сегодня мне больно говорить.

— Я этому рад, — сказал Макар, не будучи в силах сдерживать холодного бешенства, — рад, что вам нельзя говорить, я терпеть не могу скучных глупостей...

Учитель приподнял плечи и застонал протяжно:

— Ка-ак вы невоспитанны, у-у...

В следующий день свиданий пришел знакомый студент, медик, человек с небольшой бородкой, глухим голосом и беглой, спотыкающейся речью. Он спрашивал Макара, что и как у него болит, и, выслушивая ответы, одобрительно встряхивал длинными волосами, говоря:

— Правильно! Так, так. Именно.

Удовлетворенный, он на прощанье крепко пожал руку, сказав:

— Ну, поправляйтесь!

«Зачем?» — хотел спросить Макар, но не успел, удивленный: в двери, уступая дорогу студенту, стоял,

улыбаясь, чисто одетый, пожилой татарин, забавно кивая Макару круглой головою.

Потом он сидел на койке, смеясь, рассказывал Макару, как его возили из конца в конец города и котенок тоже ездил, сидя за пазухой тулупа. Слушая ломаные, измятые слова, глядя в большое, словно плюшем оклеенное лицо с мягкими серыми глазами, Макар чувствовал себя как во сне, тоже смеялся и расспрашивал:

— Кричал я?

— Засем — кричал? Так себе, кемножкам болтал язык туды-сюды...

Потом татарин сказал, что он узнал, кто такой Макар, познакомился с его товарищами по мастерской и что они тоже собираются в больницу. А его зовут Мустафа Али Юнусов, живет он около монастыря.

— Такой изба старый, крыш — боком, на двор войдешь — помойным ямам, а за ним — дверь, ну — там я и есть. Придошь?

— Приду, — сказал Макар, — обязательно приду, брат!

— Вот — обязательным! Чай пить будем...

«Зачем он приходил, — думал Макар, когда татарин ушел. — Зачем?»

Искать ответа на этот вопрос было приятно.

Он чувствовал себя с каждым днем всё более здоровым, а в душе становилось всё темнее и запутаннее, и — как-то незаметно для него — мысль о смерти переселилась из сердца в голову. Там она легла крепко, об ее черный угол разбивались все другие мысли, ее тяжелая тень легко и просто покрывала собою все вопросы и все желания.

«Зачем жить?» — думал Макар, и она тотчас подсказывала свой простой ответ:

«Незачем».

«Что делать?»

«Нечего. Ничего не сделаешь».

Но именно эта простота вызывала неприязненное чувство, постепенно внушая к себе почти такое же отвращение, как учитель, с его тупым и ненавистно пошлым «не хочу хотеть». Тихо, но настойчиво возникало

желание сопротивляться всему, что неприятно, раздражает, и — упрощенным ответам в том числе. Враждебность простоты ощущалась особенно ясно, когда она, в ответ на мучительные, обидные раздражения Макара, говорила ему плоские и еще более обидные слова:

«Не всё ли равно?»

Нет,— было не всё равно, в палате учитель или вышел, говорит он или молчит, и было не всё равно — слушать его речи молча или возражать ему и сердить его.

Всё более волновало усвоенное больными и служащими отношение к Макару; человек с золотыми стропилами на месте носа спрашивал:

— Выздоровливаешь?

— А вам какое дело?

— Никакого дела мне нет, это верно! А только — коли живешь, так уж терпи, озорничать не к чему...

Макару же нестерпимо хотелось именно озорничать, не соглашаться, спорить, встать в тесный круг разнообразных «хочу» и «не хочу», утверждать и отрицать.

«Не всё ли равно?» — тихо спрашивало его что-то.

Нет, не всё равно, он всем телом чувствовал, что не всё равно. Ночами, когда все спали, он, открыв глаза, думал о том, как всё вокруг обидно, противно и жалко — главное же обидно, унижительно. Как хорошо было бы, если бы в жизнь явились упрямые, упругие люди и сказали бы всему этому:

«Не хотим ничего подобного. Хотим, чтоб всё было иначе...»

Он не представлял, как именно иначе, но отчетливо видел: вот сердятся, волнуются, кишат спокойные люди, решившие все вопросы, подчинившиеся своей привычке жить по правилу, избранному ими; этими правилами, как топорами, они обрубали живые ветви разнообразно цветущего древа жизни, оставляя сучковатый, изуродованный, ограбленный ствол, и он был воистину бессмыслен на земле!

Было хорошо думать об этом, но когда Макар вспоминал свое одиночество — картины желанной бурной, боевой жизни становились тусклыми, мысли о ней вяло

блекли, сердце снова наполнялось ощущением бессилия, ненужности.

Так, то поднимая себя над жизнью, то падая устало в ее грязный, торжествующий хаос, он жил день за днем, спорил и ругался с безносыми, с учителем, осуждал и высмеивал их мертвые мысли, настойчиво желая привить им свою тоску, пошатнуть их твердые решения, расплескать устоявшееся, густое самодовольство.

Потом, забитый их криками, насмешками, оскорбленный явною ложью и лицемерием их речей, он лежал, закрыв глаза, чувствуя себя мало знающим, плохо вооруженным, неспособным для борьбы — ненужным для жизни.

И, в презрении к себе самому, снова разгоралась мысль о смерти. Но теперь она уже не изнутри поднималась, а подходила извне, как будто от этих людей, которые всеми своими словами победно говорили ему:

«Ты — выдуманный человек, ты никуда не годишься, ни на что не нужен, и ты глуп, а вот мы — умные, мы — действительные, нас — множество, и это нами держится вся жизнь».

Они все дышали этою мыслью, они улыбались ею, снисходительно высмеивая Макара, она истекала из их глаз, была такая же гнилая, как их лица, грозила отравить.

Макар угрюмо замолчал...

...Но вдруг случилось что-то неожиданное и простое, что сразу поставило его на ноги: однажды в палату вошли трое знакомых людей — веселый, черный, как цыган, пекарь и еще двое: кособокий подросток, с лицом хорька, и здоровый, широкоплечий, сердито нахмурившийся парень.

Виновато улыбаясь, ласково моргая глазами, сконфуженные чистотою больницы, они остановились у двери, оглядывая койки.

— Вон он, — тихо вскричал пекарь, указывая пальцем на Макара и оскалив белые зубы.

Точно боясь проломить пол, они на цыпочках, гуськом подошли к нему, пряча за спиною темные руки с какими-то узелками в них, двое улыбались ласково, третий — сумрачно и как бы враждебно.

— Во-он он,— повторил пекарь, по-бабьи поджимая губы и дергая себя за черную бородку обожженной рукою в красных шрамах, а подросток уже совал Макару бумажный пакет и, захлебываясь словами, говорил тихонько, торопливо:

— Алимоны, отличные... с чаем будешь...

— Здорóво! — сказал широкоплечий парень, сердито встряхнув руку Макара.— Ну — как? Похудел...

— Не больно!— подхватил пекарь.— Конечно — болезнь не ласкает, а ничего! Мы — поправимся, во — еще! Накося тебе: сушки тут, чаю осьмуха, ну — сахар, конечно...

— Курить — дают? — спрашивал сердитый парень, опуская руку в карман.

— Братцы, как я рад,— бормотал Макар, взволнованный почти до слез.

— Не дают — курить? — глядя в сторону, угрюмо допрашивал парень, шевеля рукою в кармане синих пестрядинных штанов.— Ну, пес с ними! Я и табаку припас и леденцов: когда курить охота, ты — леденца пососи, всё легче будет... хоша и не то! Чистота у тебя тут, ну-ну-у!..

Макар видел, что двое отчаянно притворяются веселыми и развязными, а третий, напрягаясь до пота, хочет казаться спокойным,— и всем не удастся игра: три пары глаз жалобно мигают, мечутся, бегая из стороны в сторону, стараясь не встречаться друг с другом и не видеть Макаровы глаза.

— Ну — спасибо! — бормотал он, задыхаясь.

Они сели, двое на койку, один — на табурет, подросток превесело спросил:

— Когда на выписку?

Пекарь сказал:

— Чего спрашивать? Сам видишь — хоть сейчас! А третий деловито посоветовал:

— Ты, брат, как снимешься, к нам вались!

И заговорили вперебой все трое:

— Конечно...

— Работу выищем полегче...

— Тут — праздники, Рождество...

— Скучно лежал?

— Конечно, что спрашивать?..

— Так-то вот...

Дрожащими руками Макар хватал их жесткие руки, смеясь, всхлипывая...

— Ах, братцы... чёрт возьми...

Они вдруг замолчали, и сквозь слезы Макар видел, что нарочитое оживление их исчезло, три пары глаз покраснели, и вдруг за сердце его схватил тихий шёпот.

— Э-эх, ты! Как же это ты, а?

— Уда-арил ты на-ас...

Третий голос добавил также тихо, но внушительно:

— А еще говорил — братцы, говорил, правда, говорил...

— Разве этак можно?

— Братцы, говорил, а сам?..

Смеясь, плача, задыхаясь от радости, тиская две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, упрямую жизнь, Макар молчал.

А сердитый парень, деловито покрывая голую грудь Макара одеялом, ворчал:

— Да, брат, говорил, говорил, а сам вон что... Однако же не простудить бы тебя, мы народ с воли, холодный...

За окнами густо падал снег, хороня прошлое...

ПО РУСИ

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползны — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба

в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники, — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и всё — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!

Ну да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью, и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а — не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать запово.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечесьи голоса — это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета.

Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на всё здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А-яй... экая земляща...

— Прямо — прет из нее.

— Н-да-а... а однако — камень ведь...

— Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокреньком — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и всё памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке, — уходила за барак и, сидя там на грудке щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...

во зеленых кустах —

На песочку...

расстелю я белый плат...

Не дождусь ли...

дружка милого мово...

Придет милый...

поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво

и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой да милый...
ой, миленок дорогой...
Не судьба мне...
боле видеться с тобой...

В черной душевной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Нырять в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой серой полосе дороги, справа — качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков — белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накреньясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише — «чише» и «хыть» вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине — спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает

ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, — кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

...Тихий стон в кустах — человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянута, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней, — она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головой, хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, — это я уже видел однажды, — конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиной на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив всё, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, всё хотела запихать ее в рот себе, осыпала землю

страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка,— я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она — сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи,— хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выплывших на солнце, всё льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и всё тело ее ломается, разделяемое надвое.

— Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она всё отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... я-а...

Такой скользкий — того и гляди уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу — очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь... — тихо шепчет мать, — глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю пуговину, ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

— Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается всё ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри же...

Этот красный человечиче вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

— Я-а... я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал наслепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всё обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шёпот:

— Дай... дай его...

— Подождет.

— Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплему ее телу буйного орловца, он сразу всё понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая,— вздрагивая, вздыхала мать и перекаtywала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

— Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе...

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто — чуть заметно — румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— Отойди-ка...

— Ты очень-то не возись...

— Ну, ну... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это — вместе с немолчным плеском моря — так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей — точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

— Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

— Гляди — как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом, — какие не растут в Орловской губернии.

— Ты бы, мать, легла...

— Не-е,— сказала она, покачивая головою на развинченной шее, — мне прибираться надобно да идти в эти самые...

— В Очемчиры?

— Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

— Да разве ты можешь идти?

— А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей, — надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового

света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

— Сейчас я тебя, мать, чаем угошу...

— О? Напой-ка... сохлось всё в грудях-то у меня...

— Что ж это земляки бросили тебя?

— Они не бросили — зачем! Я сама отстала, а они — выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распроталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

— Первый у тебя?

— Первенькой... А ты — кто?

— Вроде как бы человек...

— Конечно, человек! Женатый?

— Не удостоился...

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

— А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь — совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится...

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...

Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась — дышит ли? — потом поглядела в сторону моря.

— Помыться бы мне, а вода — незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!

— Ой?

— Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь — как лед...

— Тебе — знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прыдая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом — фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

— Эки люди здесь несуразные да страховидные, — тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина, беспокойно оглядываясь, ползает на коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарюю...

— Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

— Шутишь ты, а я — боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидал, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

— Бросил учење-то?

— Бросил.

— Пропился, что ли?

— Окончательно пропился, мать!

— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме приметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалось мне — видно, мол, пропоица, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, всё косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она,

оглядывая меня. — Помог ты мне — спасибо... а хорошо ли это для него, и — не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

— Неужто — идешь?

— Иду.

— Ой, мать, гляди!

— А — богородица-то?.. Дай-ко мне его!

— Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и — пошли, плечо в плечо друг с другом.

— Кабы мне не трюхнуться, — сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, всё в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы всё — шла, всё бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок, — рос да всё бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

ЛЕДОХОД

На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году — юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден — да и то не каждый день — в небе, затканном тучами, являлось белое — по-зимнему — солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосульями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники — а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой холодный ветер.

...Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, всегда и всюду заметный, — староста Осип покрикивает:

— Шевелись поживей, курицыны дети!

И обращается ко мне, насмешливо внушая:

— Наблюдающий,— ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергича? Стало быть — подобат тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили... ты — командуй, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

— Не зевай! Лешие,— надобно сегодня конец делу положить али нет?

Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но — не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать всё ладно и гладко,— Осип заводит журчащим голоском:

— А вот, братцы мои, был случай...

Две-три минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижеет слово за словом...

— Поймал он этого линя, положил в пещер, идет лесом — думает: «А и будет же уха у меня...» Только вдруг — не знай откуда — кричит голос женской, тонкой: «Елесья-а, Елесья-а...»

Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец,— молодой парень с маленькими изумленными глазками,— опустил топор и стоит, открыв рот.

— А из пещера отвечают бацищем, густо: «Здесья-а!..» И в ту самую минуту крышка с пещера — хлопсы,

линь оттедова — прыг и пошел, пошел назад, в омут свой...

Старик-солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:

— Как это он, линь, пошел посуху, ежели он — рыба?

— А говорить рыбе назначено? — ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом — скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут, — человек молчаливый и неприметный, не торопясь, выпускает через нос три любимые свои слова:

— Это совсем верно...

Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, — он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается:

— Это совсем верно...

И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком.

Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбе и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятою речью; он — божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит, на смех всем:

— Один — чего ни ври — принимают, а как я вам — правду, — ржете, галманы, пострели вас в душу...

Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда — Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

— Будя, эй! Позвонили, отдохнули, и — ладно!

— Сам завел, — хрипит солдат, поплеывая на ладони.

Осип пристает ко мне:

— Наблюдающий-и...

Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими рассказами, имея какую-то цель, но я не понимаю — хочет ли он болтовней прикрыть свою лень или дать

Торжок

Ледоход

II 2

Ъ

На рѣкѣ противъ города семеро плотниковъ спѣшно чинили ледорѣзъ, ободранный за зиму слободскими мѣщанами на топливо.

Весна заповдала въ томъ году — юный молодецъ Мартъ смотрѣлъ Октябремъ; лишь около полуденъ — да и то не каждый день — въ небѣ, затканномъ тучами, являлось бѣлое — по зимнему — солнце и ныряло въ голубыхъ проталинахъ между тучъ, поглядывая на землю непривѣтливо и косо.

Уже была пятница Страстной недѣли, а капель къ ночи намерзала синими сосулями въ поларшина длиною; ледъ на рѣкѣ, оголенной отъ снѣга, тоже былъ синеватый, какъ зимнія облака.

Работали плотники — а въ городѣ печально и призывно пѣла мѣдь колоколовъ — головы поднимались вверхъ, голубые глаза задумчиво тонули въ сѣровой мглѣ, обнявшей городъ, и часто топоръ, занесенный для удара, нерѣшительно, на секунду останавливался въ воздухѣ, точно боясь разрубить ласковый звонъ.

Тамъ и тутъ на широкой полосѣ рѣки криво торчали темныя сосновыя вѣтви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; онѣ поднимались вверхъ, точно руки утопающаго, изломанныя судорогами.

Томительной скукой вѣетъ отъ рѣки: лустынная, прикрытая нодреватой коростой, она лежитъ безотрадно прямою дорогой во мгlistую область, откуда уныло и лѣниво дышетъ сырой, холодный вѣтеръ.

... Староста Осипъ, чистенькій и складный мужичекъ, съ правильной серебрянной бородкой, аккуратно завитой въ мелкія кольца на рововыхъ щекахъ и гибкой

15

«ЛЕДОХОД».

Первая страница рассказа с авторским заголовком.

людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится лгьливо, низкопоклонно, — «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выклянчить у него «на чайшко» для артели.

Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос — что за человек Осип, сказал, усмехаясь:

— Не знай... пес его знает... так себе — ничего...

И, подумав, добавил:

— Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, — так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подход, а хозяин — не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке»... Вот это, поди-ка, верно про него...

И еще подумав, мордвин беспокойно договорил:

— А так он ничего, добрый человек...

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком — записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лишний, неприятный. И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду — они это делают очень умело.

Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, — Осип, не торопясь, подходит и спрашивает:

— Нарисовал? Ну-козь, покажь...

Смотрит на запись прищуря глаза и говорит неопределенно:

— Мелко пишешь...

Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печатными буквами церковного устава — гражданская пропись непонятна ему.

— Это — корытцем-то — какое слово?

— Добро.

— Добро-о! Ишь петля какая... А что написано строкой этой?

— Досок вершковых, девятиаршинных, пять.

— Шесть.

— Пять.

— Как же пять? Вот, солдат перерезал одну...

— Это он напрасно, надобности не было...

— Как же не было? Он половинку в кабак снес...

Спокойно глядя в лицо мне голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкою в них, он навивает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит:

— Рисуи шесть, право! Ты гляди, кукушкино яичко, — мокро, холодно, работенка тяжелая — надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты — не строжись, бога строгостью не подкупишь...

Говорит он долго, ласково, кудревато, слова сыплются на меня, точно опилки, я как бы внутренно слепну и молча показываю ему переправленную цифру.

— Ну вот — это верно! И цифра — красивше, вон какой купчихой сидит, пузатенька, добренька...

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные, серые мысли:

«Всё это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропили доску?»

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

— Слушай, — предупредил я Осипа, — я это запишу!

— Вали! — согласился он, играя седыми бровями. — Что, в сам-деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминих детей...

И закричал ребятам:

— Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны!..

Солдат угрюмо спросил:

— Почто?

— Прощтрафились, стало быть, — спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю — так это будет хорошо.

— Уйду от подрядчика, — сказал я Осипу, — ну вас всех к чертям! С вами вором станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом и сказал тихонько:

— Это — правильно!

— Что?

— Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяиново, как свою родную шкуру, мамино наследство... А ты для этого дела — молод пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергеичу, как ты нам мирволишь, — он бы те в тую самую одну минуту по шее, — вполне решительно! Потому ты для него — не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину — понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

— Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, крандаш, не такой совкий и спорный характер был — я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну, — характер у тебя для этого не подходящий, топорный характер, неотес ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах — он наподобие галки: чье клюет — не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Всё это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим — кукушкино яичко в не ее гнезде...

Снял шапку — он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное, — поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

— Дела наши — воровские пред господом, и спасенья нам не буде от него...

— Это совсем верно, — отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

— Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон — солдат гвозди жует, прорва...

А один на один со мною он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка, и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно.

— Надо быть хорошим человеком, — сказал я однажды.

— А — конечно! — согласился он, но тотчас же, усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря: — Однако — как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошесть, на праведность твою, ежели она — не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, побалууй людей, потешь... может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конечно — споров нету — очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть... Ну, а людям — я вижу — всё едино как; жулик ты али святой — только до них будь сердечней, до них добрее будь... Вот оно — что всем надо!..

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной,

обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, немолчающий вопрос:

«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают всё, что касается их, одной своей точкой,— отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала,— это всё равно как будто нет их.

А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал,— они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа,— неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей — точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, они — скучая — сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города,— каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрее, сырые тени их становятся тяжелее, и всё потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города — точно груды грязного снега, земля под ними черная, голая, и деревья садов — как бугры земли, тусклый блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется размычивая грусть северной весны.

Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

Она пришла к нему поутру,
А он скончался в тую ночь...

— Эй, ты, курвин сын! — кричит на него солдат. — Али забыл, какой седни день?

Боев тоже сердится — грозит Дятлову кулаком и свистит:

— С-собачья душа!

— Народ у нас лесной, долголетний, жилистой,— говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос.— Выпусти конец бруса на вершок левой — так!.. А ежели просто сказать — дикой народ! Одна — едет алхирей, они — к нему, обкружили, пали на колени, плачутся: заговори-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их — «Ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам!» Очень разгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся...

Сажень на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоня железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево,— и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнуящий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую...

Кто-то орет простуженным голосом:

— Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат...

С берега откликаются:

— Где он?

— В кабаке, гляди-и...

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет в город, в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов, такой же, как брат, белобрысый, точно в щелоке вареный, но — кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

— Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, по линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Потрескивает,— говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

— Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит! Работай знай, ведьмин сын! Наблюдающий — погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но — не угодили, вышло узко — полосы не входили в дерево.

— Мордва слепокурая,— кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке.— Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл:

— По-оше-ол... о-го-го-о!

И, как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-подо льда и теперь метались взад-вперед, как галки, вспугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

— Собирай инструмент! — крикнул Осип.— Живо, так вашу... на берег!

— Вот те и светло Христово воскресенье! — горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

— Беги,— крикнул Осип, толкнув меня,— чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, как-то сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними выюгами,— там уже валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип — шагал сзади, покрикивая:

— Не лай, Народец...

— Да ведь как же, дядя Осип...

— Так же всё, как было.

— Застряли мы тут суток на двое...

— И посидишь.

— А праздник?

— Без тебя отпразднуют в сем году...

Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:

— Струсили... три пятка сажень места до берегу, а вы — бежать сломя голову...

— Ты первый побег,— сказал Мокей.

Но солдат продолжал:

— А чего испугались? Христос-батюшко и то помер...

— Чать, он воскрес опосля того,— обиженно пробормотал мордвин, а Боев заорал на него:

— Ты — молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес! Седни — пятница, а не воскресенье!

В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

— Встала... Только это — ненадолго...

— Отрезало нас от праздника,— угрюмо проговорил Сашок.

Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:

— Сиди тут... Ни хлеба, ни денег... У людей — радость, а мы... Жадностям служим, как собаки всё одно...

Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:

— Тут вовсе не жадности, а — надобности! Быкиледорезы — для чего? Охранять ото льда баржи и всё такое. Лед — глупый, он навалится на караван, и — прощай имущество...

— А — наплевать... наше оно, что ли?

— Толкуй с дураком...

— Чинили бы раньше...

Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул:

— Цыц, мордва народская!

— Встала, — повторил Осип. — М-да...

На караване орали матросы, а с реки веяло холодом и злостью, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился, и всё казалось измененным, полным напряженного ожидания.

Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:

— Дядя Осип — как же?

— Чего? — дремотно отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гнусаво заговорил:

— Отлучил господь вас, ёрников, от святого праздника своего, что-о?

Солдат поддержал товарища — вытянул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал:

— Охота в город? Идите! И лед пойдет. Авось утопнете, а то — в полицию возьмут... на праздник-то — хорошо!..

— Это совсем верно, — сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней — молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла.

Мне было скучно и тяжело, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разное и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

— Ну-козь, ребята, айда с богом...

— В город? — воскликнул Сашок, вскакивая.

Солдат, не двигаясь, уверенно заявил:

— Потонем!

— Тогда — оставайся.

И, оглянув всех, Осип крикнул:

— Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу; Боев, поправляя инструменты в пещере, заныл:

— Сказано — иди, стало быть — надо идти! Кем приказано — того и ответ...

Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая, развалистая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенно.

— Каждый бери по доске и держи ее поперек себя, — в случае — не дай бог — провалится кто, — концы доски на лед лягут — поддержка! И трещины переходить... Веревка — есть? Народец, дай-кось мне ватерпас... Готовы? Ну — я вперед, а за мной — кто всех тяжелее? Ты, солдат! Потом — Мокей, мордвин, Боев, Мишук, Сашок, — Максимыч всех легче, он позади... Сымай шапки, молись богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу нам...

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

— Айда! — сухо, новым голосом сказал Осип. — С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в сину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале — то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед и тотчас, за спиной у него, на берегу, раздался отчаянный крик:

— Ку-уда, бараны, ма-а...

— Шагай, не оглядывайсь! — звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяво-олы...

— Айда, ребята, бога помня! В гости на праздник он нас не позовет...

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои, так вашу... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию... Коли не утопнем — в часть, клопам нас... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Осипа вел людей за собою, точно на веревке:

— Гляди под ноги зорче!..

Шли наискось, против течения, и мне, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним, гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелются по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись.

Сзади кричат всё гуще — видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествие становится для меня механическим, скучной работой; я привык ходить быстро и теперь погружаюсь в то полусонное настроение, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя и в то же время всё видишь особенно четко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый, свинцовый лед, изъеденный водою, его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбился, истерт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата, — оба они — как две дудочки в одних устах.

— Я ответа не беру...

— Конечно, и я...

— Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу разов умнее...

— Разве умом живут у нас? У нас — глоткой живут все...

Осип заткнул полы полушубка за пояс, его ноги,

в серых штанах солдатского сукна, шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним всё время вертится кто-то, видимый только ему, вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто поворачивает назад и так всё время танцует, описывая по льду петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, певуче, и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов...

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда сверху реки зашуршало зловещим шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня, я покачнулся и, не устояв, припал на колено, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст — точно кто-то тяжелой ногой шел по битому стеклу.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

— Разойдись... расходишься — держись порознь, божьи дети... Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот — пошла-а...

Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

— Куда? — замахнувшись ватерпасом, крикнул он. — Стой, чёрт!

Показалось, что это не Осип, — лицо странно помолодело, всё знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

— Ты — куда?

— Потонем, — тихонько сказал я.

— Цыц! Молчи...

Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись... ты — вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег: часть его — ниже нас — неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвется.

Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землею: всё уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река, в мощном мясе земли, словно жила, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе, — на обиде, — растет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

«Стой, пока я не дойду до тебя!..»

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но — я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещаая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..

...Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичок, похожий на Николая Чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

— Не зева-ай!..

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките из «Конька-Горбунка», и всё чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки — мутная холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце. Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка...

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помога-ай! — завыл Осип. — Не толпись все, один, двое — помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил мордвину и мне: — Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхаясь, сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам-деле потопнешь...

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого смиренного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки — поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

— Сколько разов я его, чудашку, портил, прямо — счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь — схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово;

— А, б-батушки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот попал бы к чертям ко всенощной,— выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

— Не ори, Яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом.— Нашто пугаешь людей? Я те задам! Распояшься, ребята, карманы вывороти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги: казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стали скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми, двигались тяжело, медленно и покорно.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие, прочные льдины.

— Не падай духом, божьи детки, э-эй!

— Ай да дядя Осип! — тихо восторгался мордвин.— Ну — человек!.. Это действительно — человек...

Чем ближе к берегу, тем более измельчен, истерт лед и всё чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него.

— Пожалуй — потонем,— тихонько сказал мордвин, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг — точно пожалев нас — огромная чка

уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и встала.

— Беги-и! — яростно закричал Осип. — Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водой, пропустил всех мимо себя — пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я остановились, желая помочь Осипу.

— Бегите, щенки свинячьи, ну!..

Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

— Вставай, дядя...

Он опустил голову.

— Ногу я сломил будто... не встать...

Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шею нам, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы... ну, слава те богу, не попустил, батюшко... Смотрите — троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже... Бросить бы вам меня!..

Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил:

— А книжка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты, — одобрительно сказал мордвин, — поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы на берегу, в толпе слободских мещан; Боев и солдат уже ругаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит:

— Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь...

Эта книжка — точно кирпич за пазухой у меня; незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку, и она шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору — в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулаками и орут:

— Р-ря!

— Их ты-и!..

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом:

— А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, анафемов, по мордам...

Боев, переобуваясь, кричит:

— Чем мы вас потревожили?

— Христиане тонут,— ворчит солдат, еще более охрипший,— а вы что делали?

— А что нам делать?

Осип лежит на земле, вытянув ногу, и, щупая полубок дрожащими руками, жалуется тихонько:

— Ах, мать честная, как измочился... Спорчена одежда на нет... а — года не носил!..

Стал он маленький, сморщился и словно тает, лежа на земле, становясь всё меньше.

Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорил:

— Понесли вас беси, дураков,— в баню, в церковь, вишь ты! Чертогоны!.. Туда же... Не проживет бог без вас свой праздник... На смерть наткнулись было... одежду всю спортили, чтоб вас рзорвало...

Все переобувались, отжимали одежду, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал всё горячее:

— На-ко, что удумали, окаянные! Баня им надобна... вот,— полицию бы, она бы вам показала баню...

Кто-то из мещан услужливо сказал:

— За полицией послано...

— Ты — что? — закричал Боев Осипу.— Ты зачем притворяешься?

— Я?

— Ты!

— Стой! Это как же?

— Кто подбил народ, чтоб идти, а?

— Кто?

— Ты!

— Я?

Осип задержался, точно в судороге, и сорвавшимся голосом повторил:

— Я-а?

— Это совсем верно,— спокойно и внятно сказал Бударин.

Мордвин тоже подтвердил, тихонько, печально:

— Ей-богу, ты, дядя Осип!.. Ты забыл...

— Конечно, ты заводчик делу,— угрюмо и веско крикнул солдат.

— За-был он! — яростно кричал Боев.— Как же, забыл! Нет, это он пробует, нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал и, прищутив глаза, оглядел мокрых полуодетых людей...

Потом, странно всхлипнув — смеясь или плача — дергая плечами и разводя руки, стал бормотать:

— А ведь — верно... и впрямь — моя затея-то... скажи на милость!

— То-то! — победоносно крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую, как просяная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал:

— Прямо — затмение... ах ты, батюшки! И как не утонули? Даже понять нельзя... Фу ты, господи!.. Ребята... вы — того.... не сердитесь, праздника ради... простите уж!.. Помутилось в уме у меня, что ли-то... Верно: я подбил... экой старый дурак...

— Ага? — сказал Боев.— А как бы я — утоп, чего бы ты говорил?

Мне казалось, что Осип искренно поражен непужностью и безумием сделанного им,— скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головою, шаря руками по песку вокруг себя, и не своим голосом всё бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя.

Я смотрел на него, думая — где же тот воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел их за собою?

В душу наливалась неприятная пустота, я подсел к Осипу и, желая что-то сохранить, тихо сказал ему:

— Будет тебе...

Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил:

— Видал? То-то вот...

И снова заворчал громко, для всех:

— Какая штука — а?

...На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку, — чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь, — грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук — хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладко-звучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катились Дятловы, с бутылками в руках, а наперерез им — вдоль берега — шел серый околодочный и двое черных полицейских.

— Ах ты, господи! — стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидающе примолкли, а околодочный — сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку — подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

— Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие...

— Как же ты, старый чёрт, — закричал околодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов.

— Квартера у нас здесь, в городе; на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а после завтра, ваше благородие, велик Христов день,— в баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну — я и говорю: «Айдайте, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдем». И за продерзость наказан я, вот — ноженьку разбил вовсе...

— Да! — сурово крикнул околодочный. — Ну, а если б вы утопили — что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой — Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот и конец всему, слава тебе господи!..

— Стало быть,— изумленно и разочарованно загнул Боев,— стало быть, нога-то — цела? Не сломал, значит?

— А тебе надо, чтобы сломать?

— Ах,— комедьян! Петрушка ты несчастный...

— Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

...Я шел рядом с ним сзади всех; он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

— И что ни делай, как ни кружись, ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу... Ты бы на гору, а чёрт за ногу...

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря:

«Сюда идите!..»

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

— Ловко я полицию-то обошел! Вот как надобно дела делать — чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть — главная пружина, да... Пускай каждый думает, будто его душа — дело совершила...

Я слушаю его речь и — плохо понимаю ее.

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю — нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно, — хоть бы снова через реку, по льду, ускользящему из-под ног.

Гудят, поют колокола, и радостно думается:

«Еще сколько раз я встречу весну!..»

Осип говорит, вздыхая:

— А душа человечья — крылата, — во сне она летает...

Крылата? Чудесно!..

ГУБИН

...Впервые я увидел его в трактире; забившись в дымный угол и загородясь столом, он надорванным голосом кричал:

— Я вашу правду знаю... всю здешнюю правду знаю!

Перед ним полукругом стояло человек пять солидных мещан, неохотно поддразнивая его насмешливыми междометиями. Один равнодушно выговорил:

— Как те правды не знать, коли ты всех оболгал...

Изношенный, издерганный Губин напоминал бездомную собаку: забежала она в чужую улицу, окружили ее сильные псы, она боится их, присела на задние ноги, метет хвостом пыль и, оскалив зубы, визжит, лает, не то пытаясь испугать врагов, не то желая поластиться к ним. А они, видя ее бессилие и ничтожество, относятся к ней спокойно — сердиться им лень, но чтобы поддержать свое достоинство, они скучно тявкают в морду чужой собаке:

— Кому ты нужен?

Мне давно и хорошо знакомы трактирные споры о правде, споры, нередко восходившие до жестокого боя, я и сам не однажды путался в этих беседах, как слепой среди кочек болота, но, незадолго до встречи с Губиным, смутно почувствовал, что все эти разноголосые состязания до бешенства и до крови выражают собою только безысходную, бестолковую тоску русской жизни, разогнанной по глухим лесным уездам, покорно осевшей на топких берегах тусклых речек, в маленьких городах, забытых счастьем. Стало казаться, что люди ничего не ищут и не знают, чего искать, а просто — криком кричат, чтобы избыть скуку жизни.

Окна трактира открыты, а над головами людей колеблется, не исчезая, облако сизого дыма. Огни ламп — точно желтые кувшинки на мертвой воде пруда. За окнами тихо плывет августовская ночь — ни шороха, ни шёпота. Я смотрю на темное небо, на яркие звезды и, деревенея под тяжестью уныния, думаю:

«Неужели небо и звезды для того, чтоб прикрыть эту жизнь? Таковую?»

Кто-то говорит уверенно и спокойно, точно читая написанное:

— Ежели кубасовские мужики свой лес обстречь не поспеют, завтра он обязательно займется с полуденной стороны, а тогда, конечно, и Биркиных леса натло выгорят...

Спор на минуту затих, и снова, разъедаая тишину, слышен надломленный голос:

— А что значит — правило?

Тяжелые, неуклюжие слова сталкиваются одно с другим и дают мысли насмерть. Голоса звучат громче и злей, под шум их я почему-то вспоминаю нелепые стихи:

Боги дали человеку
Воду, чтоб он пил и мылся,—
Он же взял да утопился
В ней...

...Потом я сижу один на ступени крыльца трактира, глядя через площадь в тусклые пятна окон протопопова дома,— за окнами мелькают черные тени, глухо и печально звучат басы гитары и высокий, раздраженный голос время от времени вскрикивает:

— Но — позвольте! Дайте же мне сказать...

А кто-то другой мелко сыплет в тишину, как в бездонный мешок:

— Нет — постоит, нет — постоит...

Дома, прижатые тьмою, кажутся низенькими, точно холмы могил. Черные деревья над крышами — как тучи. В глубине площади одиноко горит фонарь, его свет повис в воздухе неподвижным прозрачным шаром и напоминает одуванчик.

Тоска. Ничего не хочется.

Если кто-то подойдет сквозь тьму и ударит по голове — упадешь на землю и даже не помотришь — кто убил.

Всё та же дума со мною — верная мне, как собака, она никогда не отстает от меня:

«Разве для этих людей дана прекрасная земля?»

Из двери трактира с треском и громом бежит кто-то, катится по ступеням мимо меня, падает в пыль и, быстро вскочив, исчезает во тьме, угрожая:

— Я вас — оголю... я — раздену вас, будьте прокляты!

А в двери стоят темные люди, переговариваясь:

— Это он, гляди, поджечь грозит...

— Ку-уда ему, поджигать...

— Экая вредная сволочь...

..Вскинув котомку за спину, я иду вдоль улицы из одних заборов, сухой бурьян хватает меня за ноги и сердито шуршит. Ночь теплая, не стоит платить за ночлег; около кладбища есть удобные места для спанья, лес подошел почти вплоть к ограде, выслав вперед себя тесный ряд молодых сосен. Песок там усыпан сухой рыжей хвоей.

Из тьмы вынырнула и шарахнулась в сторону длинная человечья фигура.

— Кто идет? Кто? — пугливо раздается в мертвой тишине надорванный голос Губина.

...Он шагает рядом со мною, озабоченно выспрашивая, откуда я пришел, зачем, и — просто, как старому знакомому, предлагает:

— Спать иди ко мне, я здесь — домовладелец! И насчет работы я тебе находка: как раз завтра мне человека надо, колодец чистить у Биркиных — желеешь? Ну, вот, то-то! У меня, брат, всё сразу, всегда! Я и ночью людей насквозь вижу...

Дом его оказался старой баней; одноглазая, горбатая, с выпятившейся стеною, она прилегла па глипистом спуске в овраг, точно спряталась в кустах тальника и бузины.

Не зажигая огня, Губин растянулся на слежавшемся сене в предбаннике, тесном, как собачья конура, поучительно говоря:

— Ложись головой к двери на волю, а то здесь запах тяжелый...

Да — тошнотворно пахнет ягодами бузины, мылом, гарью и гнилым листом...

В небе неподвижно торчат черные деревья, закрывая золотой Млечный Путь. За Окою кричит сова, и, точно горох, на меня непрерывно сыплются возбуждающие любопытство речи:

— Ты не гляди, что я в овраге загнан, — я противу всех здесь — первое лицо!..

Темно, мне не видать лица хозяина, но я помню освещенный желтым огнем трактирной лампы облезлый, истертый череп Губина, длинный, точно у дятла, нос и серые щеки в рыжеватой щетине. Под жесткими усами — тонкие губы, рот точно ножом прорезан, наполнен черными осколками зубов и кажется злым, уши острые, мышинные, должно быть — чуткие. Он бреет бороду, это очень не идет к его лицу и всей фигуре, но — делает его заметным: сразу видно, что это не мужик, не мещанин, а кто-то особенный. Тело у него костлявое, руки и ноги — длинные, локти, колени — острые, весь он — как сучок, — думается, что его легко изогнуть, даже завязать узлом.

Я плохо слушаю его и молчу, глядя в небо, где идут звезды, догоняя друг друга.

— Спишь?

— Нет... Зачем ты брешься?

— А что?

— В бороде лицо у тебя приятнее было бы, пожалуй...

Он коротко рассмеялся, восклицая:

— В бо-ороде... ах ты, нечисть! В бороде!

И строго заговорил:

— Петр Великий с Николай Павлычем несколько умней тебя были, так они — кто бороду носит — тому нос резать и сто целковых штрафу! Слышал?

— Нет, не слыхал...

— А между тем из этого раскол церковный вышел, из-за бороды...

Говорит он быстро, шепеляво, слова, исходя из его

уст, точно задевают за обломки зубов, рвутся, ломаются и выходят недоконченными.

— Все понимают — с бородой — легче жить, врать проще: соврал и в волосах спрятал. Значит, нужно, чтоб все жили с голым лицом, — труднее врать! Чуть сыграл фальшиво — всякий это видит...

— А — бабы?

— Что — бабы? Баба врет мужу, а не городу, не всем людям — миру. Бабье дело курье, тихое — выводы цыплят... Ежели она и ложно покудахтает — какой вред? Она — не поп, не чиновник, не градской голова... власти ей не дано, законов не уставляет... Главное — чтобы в законах не врать!.. Закон должен содержать в себе настоящую правду... Надоело мне окружающее беззаконие!

Дверь предбанника была открыта, точно в церковь: деревья во тьме стояли подобно колоннам, белые стволы берез — как серебряные подсвечники, над вершинами их мерцали тысячи огней, чьи-то сине-темные лики неясно смотрят сквозь черные ризы. Жуткая тишина в душе, хочется встать и идти во тьму, навстречу всем ночным страхам, но быстрая речь человека опутывает внимание и держит на месте.

— Отец мой был человек самоумный, характерный, и за это его терпеть не могли в городе. Лет с двадцать он добивался выбора в головы градские, и поил-кормил людей, и уговаривал — не одолел упрямства-глупости, так и скончался, не достигнув назначенного себе. Боялись его: он бы тут всё разворотил, до корней вплоть! Он знал, что закон надобно вбивать в самое нутро человеку, вроде как бы гвоздь...

Под полом пищат мыши, за Окою стонет сова, и всё гуще слышен смолистый запах гари: леса горят. В темном небе порою вспыхивают красные пятна, скрадывая неясный блеск звезд.

— Помер в одночасье. А я, о ту пору, был семнадцати годов, училище городское в Рязани только что окончил. И, конечно, всё, что отец против себя в людях накопил, на меня свалилось: весь в отца, говорят! А я — один! Мать, в уме помешавшись, тоже померла, года за два до отца. Дядя, отставной унтер-офицер,

пьяница непробудная и герой: под Плевной сражался, там ему глаз вышибли и руку повредили левую так, что отсохла. Кресты у него, медали, и он надо мной издевается — грамотей, дескать! Ученый! А что такое — «тиверсия»? Я говорю: такого слова нету, а он меня — за волосы... Совсем нелепое лицо! И все меня грамотой стыдят, по дикости своей... Стал я в городе на манер дурачка для всех и вроде блаженного...

Воспоминания приподняли его, он сел на пороге двери — черным пятном в синий квадрат, — закурил хрипучую трубку и, освещая свой длинный, смешной нос, продолжал быстро бегущими словами:

— Женился двадцати годов, на сиротке — большая попала и померла, не разродясь, — опять один я! Без поддержки, без совета, без дружков... так-то! Живу и вижу: всё не так, как надобно...

— Что — не так?

— Всё! Весь оборот жизни... глупость, дичь болотная! Даже собаки не в пору лают... Говорю: давайте, ремесленное училище откроем и для девиц что-нибудь. А они — смеются: все, говорят, ремесленники горькие пьяницы, весьма довольны их! Девицы же, дескать, без наук часто до времени родят... Затеял я спичечную фабрику — сгорела в первый год... Чего делать? Тут и настигла меня одна женщина, завертелся я около нее, как стриж вокруг колокольни, закружился и так зажил... будто не здесь! Три года не чуял себя, а когда оклемался, вижу — нищий я и всё мое — в ее руках белых! Было мне в то время двадцать восемь годов, а — нищий! Ну, — не жалею! Пожил, как редко живут... На, бери, возьми! Всё едино: я сделать не мог бы ничего с отцовым большим добром, а она — она, вон как... н-да! Может — я в ту пору и не думал так, а — это теперь, когда всё потеряно... Она говорит — ничего-де не потеряно. Ума, брат, у ней — на весь город...

— Она — кто?

— Купчиха. Бывало — распахнется и спросит: «Чего это тело стоит?» А я говорю: «Нет ему цены!» В три года — всё ушло... вроде — дым! Конечно, меня — осмеяли, заторкали... Ну, я не поддаюсь им... Знаю я тут все житейские дела, вижу — всё не так,

и не молчу об этом. Молчать я не согласен... У меня — кроме души да языка — ничего нет! За то — меня не любят и считаюсь я дурачком...

— А как надобно жить, по-твоему?

Он долго молчал, посапывая трубкой, красным пятном вспыхивал во тьме его нос.

— Этого никто не знает подробно — как надо жить, — тихо и медленно выговорил он. — Я думал, думал...

Я представил себе, как он, всем чужой, осмеянный, прожил в этом городе никому не нужную жизнь — ненужное бытие угрожало и мне, сердце щемила тоска, не давая уснуть.

...Русь избилует неудавшимися людьми, я уже не мало встречал их, и они всегда, с таинственной силой магнита, притягивали к себе мое внимание. Они казались интереснее, лучше густой массы обычных уездных людей, которые живут для работы и ради еды, отгалкивая от себя всё, что может огорчить кусок хлеба, всё, что мешает вырвать его из некрепких рук ближнего. Угрюмо замкнутые, с одеревеневшим сердцем и со взглядом, всегда обращенным в прошлое, или фальшиво добродушные, нарочито болтливые и — будто бы — веселые, но холодные изнутри, серые люди, они поражали своей жестокостью, жадностью, волчьим отношением ко всему в жизни.

Было в них что-то непобедимо зимнее — казалось, что и весною и летом они живут для зимы, с ее теснотой в домах, с ее длинными ночами и холодом, который понуждает много есть.

В плотной, скучной и жуткой массе этих зимних людей неудавшийся человек очень резко бросался в глаза: он — вдумчивей, живее, у него более острое зрение, он — умел заглянуть за скучные пределы обычного и привычного, у него емкая душа, и всегда она хочет быть полной. В нем есть стремление к простору, он любит светлое и сам как будто светится...

Да, светится, но чаще всего — обманчивым светом гнилушки: присмотревшись к нему, понимаешь — с досадой и горькой печалью, — что это лентяй, хвостун, человек мелкий, слабый, ослепленный самолюбием,

искаженный завистью, а расстояние между словом и делом у него еще глубже и шире, чем у зимнего человека, который, хотя и медленно, как улитка, но всё же ползет куда-то по земле, тогда как неудачник вертится на одном месте, точно бесплодная старая дева перед зеркалом...

Я слушаю Губина и вспоминаю подобных ему.

— Я всю жизнь насквозь просмотрел, — ворчит он, подремывая, опустив голову на грудь.

Как-то внезапно я уснул — на несколько минут, показалось мне. Губин разбудил меня, дергая за ногу.

— Ну, вставай, идем...

Он смотрит в лицо мое серыми глазами — что-то умное чудится мне в этом невеселом взгляде. На измятых щеках, сквозь давно не бритые волосы, светятся красные жилки, на висках у него тоже туго натянуты синие жилы, голые руки точно скручены из сырмятных ремней.

Мы идем по сонным улицам города, над нами мутно-желтое небо; еще заря не погасла, а воздух душен от запаха гари.

— Пятый день леса горят, — ворчит Губин, — не могут остановить... дурачьё!

Вот мы на дворе купцов Биркиных: жилище их странно — это куча разнородных пристроек к одноэтажному с мезонином дому, в четыре окна на улицу. Пристройки подпирают его со всех сторон, даже на крышу влезли. Все они имеют вид прочный, тяжелый, но — кажется, готовы разойтись по двору, за ворота, на улицу, в сад и огород. Как будто они украдены в разное время, в разных местах и сложены кое-как за высоким забором с длинными гвоздями. Окна — маленькие, стекла в них зеленые, смотрят они на свет подозрительно и пугливо. В трех окнах на двор толстые железные решетки, а на крышах, точно сторожа, грузно сидят кадки с водой — на случай пожара.

— Что глядишь? — бормочет Губин, заглядывая в колодец. — Звериное жильё, ну да... Перестроить бы надо всё, как можно шире, просторней, а они всё пристраивают.

Шевеля губами, точно заклинания нашептывая, он,

сердито прищурясь, обвел все постройки считающим взглядом и тихо сказал:

— Между прочим — дом этот мой...

— Как — твой?

— Как бывает, — сморщив лицо, точно у него зубы заболели, ответил он и тотчас начал командовать:

— Ну, я стану воду качать, а ты таскай ее на крышу, наливай кадки. Вот тебе ведра, вот лестница — действуй!

И принялся за работу, обнаруживая большую силу, а я стал, с ведрами в руках, лазить на крышу.

Кадки рассохлись, не держали воды, она стекала на двор. Губин ругался:

— Хозяева, туда же... грош берегут, а целковый беззащитен... Вдруг бы — пожар? Ду-убье...

На двор вышли хозяева: толстый лысый Петр Биркин, по глаза налитый густой кровью, так что она окрасила даже его выкатившиеся белки, а за ним тенью шел Иона, угрюмый, рыжий, с нависшими бровями и тяжелым взглядом мутных глаз.

— А-а, милостивый государь, господин Губин? — приподняв пухлой рукой суконный картуз, тонким голосом сказал Петр; Иона кивнул головой и, покосившись на меня, спросил басом:

— Чей молодец?

Оба большие, важные как павлины, они осторожно шагали по двору, залитому водой, боясь запачкать ярко начищенные сапоги; Петр говорил брату:

— Видал — как рассохлись кадки-те? Вот, Якимка твой, — давно надо было его в шею...

— Чей, говорю, парень? — строго повторил Иона.

— Своих отца-матери, — ответил Губин спокойно и не глядя на хозяев.

— А ты идем-ка, пора! Это всё едино кто — чей, — растягивая гласные, пропел Петр.

Они медленно подкатились к воротам — Губин, сморщившись, посмотрел вслед им и, раньше чем братья вышли за калитку, сказал равнодушно:

— Бараны!.. Мачехиным умом живут... кабы не она — пропали бы... Мачеха у них... даже невозможно

сказать как умна!.. Было их трое: Петр, Алексей, Иона,— Алексей в кулачном бою убит. Красавец был, весельчак... А эти — просто обжоры... Хоша и все здесь жрать мастера... Не зря в городском гербе нашем три калача... Ну-ка, начинай — давай, отдохнули!

На крыльце кухни появилась молодая, высокая, дородная женщина, в синей юбке и розовой кофтераспашонке; прикрыв ладонью голубые глаза, она осмотрела двор, крыши и несмело сказала:

— Здравствуй, Яков Васильич...

Губин открыл рот, окинул всю ее веселыми глазами и приветственно махнул рукой.

— С добрым утром, Надежда Ивановна! Как здоровыце?

Она почему-то покраснелась, прикрыв руками большую грудь, ее круглое и мягкое, очень русское лицо осветилось сконфуженной улыбкой. В этом лице не было ни одной черты, которая могла бы остаться в памяти, — пустое лицо, природа точно забыла отметить на нем свои желания. И улыбалась она неуверенно, как будто не зная — можно улыбнуться или нет.

— Как Наталья Васильевна?

— Всё так же, — негромко ответила женщина.

Потом она, покачиваясь и опустив глаза, осторожно пошла по двору, и, когда проходила мимо меня, я почувствовал, что от нее пахнет ягодами — малиной и черной смородиной.

Она скрылась за маленькой, окованной железом дверью в серой мгле, через минуту вышла оттуда с решетом в руках, села на пороге, поставив решето на колени себе, в нем шевелились и пищали золотые пуховые цыплята; женщина брала их большими ладонями, прикладывая к щекам своим, к красным губам, и певуче говорила:

— Милы мои-и... о-о, милы...

Что-то хмельное, пьяное послышалось мне в ее голосе. Через забор, нагревая длинные острые гвозди, смотрело мутное, красноватое солнце, по двору, у ног женщины, бежал тонкий ручей воды, стекавшей с крыши, солнечный луч мылся в нем и трепетал, точно желая попасть на колени женщины, в решето, к мягким

золотым цыплятам, и чтоб она тоже приласкала его белой, до плеча голой рукою.

— О-о, живенькие... деточки...

Губин, перестав вытягивать бадью, повис на веревке, вцепившись в нее поднятыми вверх руками, и торопливо говорил:

— Э-эх, Надежда Ивановна, детей бы тебе, детей... человек бы шесть!..

Она не ответила и не взглянула на него.

Солнце запуталось в серовато-желтых дымных тучах, за серебряною рекой, над тихой полосой воды сонно клубится кисейный туман; поднялся в мутное небо синий лес, весь окурен душистым едким дымом.

Тихий город Мямлин еще спит, приютясь в полукольце леса,— лес — как туча за ним; он обнял город, пододвинулся к смирной Оке и отразился в ней, отемнив и бесконечно углубляя светлую воду.

Утро, а — грустно. День ничего не обещает, лицо у него печальное и какое-то незрячее. Не родился еще, а уже будто устал.

Я лежу рядом с Губиным на куче примятой соломы, в сторожке большого плодового сада Биркиных. Сад раскинут по горе; через вершины яблонь, слив и груш, в росе, тяжелой, как ртуть, мне видно весь город, с его пестрыми церквами, желтой, недавно окрашенной тюрмой и желтым казначейством.

Эти желтые четырехугольники — как бубновые тузы на спине арестанта, серые полосы улиц — точно глубокие складки в пестрых лохмотьях изношенной, пыльной, выцветшей одежды. В это утро сравнения рождаются печальные — должно быть, потому, что всю ночь в душе моей неумно пела грусть о другой жизни.

Не с чем сравнить церкви. Их много, некоторые очень красивы, и когда смотришь на них — весь город принимает иные, более приятные и ласковые очертания. Если бы люди строили каждый дом, как церковь...

...Одна из них, старая, приземистая, со слепыми окнами в гладких стенах, называется «княжой»: в ней

лежат мощи благоверных князей города, мужа и жены; в житии сказано, что они всю жизнь прожили «в добро-сердечной, нерушимой любви».

Ночью я с Губиным видел, как рослая, белая, робкая жена Петра Биркина шла по саду в баню, на свидание со своим любовником, регентом княжой церкви. Шла она снизу вверх, по тропинке между яблонь, в одной рубахе, босая, накинув на широкие плечи что-то золотистое — кофту или шаль; шла не спеша, осторожно, точно кошка по двору после дождя, когда, попав на сырое место, она брезгливо отряхает мягкие лапки. Вероятно, сухой лист и мелкие сучья щекотали и кололи подошвы женщины — ноги ее дрожали и шаг был неуверен, нетверд.

Над садом, в теплом небе наклонилось добродушное лицо старой луны, она была уже на ущербе, но еще яркая, и когда женщина выходила из тени дерева, я хорошо видел на ее лице темные пятна глаз, приоткрытый круглый рот и толстую косу на груди. В лунном свете рубаха казалась синеватой, женщина — прозрачной. Двигалась она бесшумно, точно по воздуху, и когда вступала в тень дерева — тень светлела.

Было это около полуночи, мы еще не спали, Губин интересно рассказывал мне о городе — истории разных семей и людей; когда он увидал женщину, поднимающуюся вверх, точно облако, он смешно вскочил, сел на соломе и в судорогах, точно его огнем пекло, начал торопливо креститься:

— Господи Иисусе, господи... как это? Что это?

— Тише, — сказал я.

Он покачнулся, толкнул меня плечом.

— Ф-фу... Прямо — как сон... Ах, господи!.. Вот эдак же, этим же местом свекровь ее, Петрушкина мачеха... вот совсем так же!..

Он вдруг бессильно упал вниз лицом и залился, захлебнулся тихим злорадным смехом, хватая меня за руку, дергая и всхлипывающим голосом нашептывая:

— А Петрушка — спит... вчера надрызгался на смотринах у Базановых — спит! Ионка к Варьке Ключихе отправился — это на всю ночь, до утра... гуляй, Надежда! А?

Я слушал его и смотрел, как идет женщина к своему делу: это было красиво, точно сон, и мне чудилось, что, оглядываясь вокруг голубыми глазами, она жарко шепчет всему живому, что спит и что бодрствует в ночи:

— Милое мое-о... милое ты мое-о!..

А нескладное, изломанное живое рядом со мною, присвистывая, шепчет:

— Она — третья у Петрушки, из Мурома взята, тоже купецкой семьи. Есть в городе слушок, будто Ионка тоже владеет ею — обоим братьям, дескать, она женой служит, оттого и детей нет! А еще сказывали, что в Троицын день видели ее постыдно бабы у исправника в саду: сидела-де она на коленях у него и плакала. Я этому не верил: исправник — старичок, еле ноги передвигает... Ионка?.. Ну, Ионка, конечно, скот, однако — он мачехи боится...

Упало яблоко, подточенное червем, женщина на секунду остановилась и, наклонив голову упрямею, пошла вперед быстрее.

Губин говорил непрерывно и всё более беззлобно, точно он летопись читает и скучно ему.

— Думай: кичится богатством человек, живет в почете — князь городу Петр Биркин! А чёрт смеется за плечом у него — вот!

Он надолго замолчал, извиваясь в странных судорогах, тяжело вздыхая, потом вдруг, странным шёпотом сказал:

— Лет пятнадцать тому назад... нет — больше, — свекровь ее, Надькина, вот так же к любовнику ходила... Это был конь!..

Было грустно смотреть, как женщина крадется, точно воровать идет, и мерещилось, что со двора в сад тяжело ползут по черной земле толстые братья Биркины, с веревкой, с палками в красных, не знающих жалости руках. Я не слушал шёпот Губина, глядя вниз к стене амбара, откуда явилась женщина, и на черную дыру в стене бани, куда она, согнувшись, спряталась. Наконец он уснул, сказав сквозь сон последние слова:

— Вся жизнь — на обмане... жены — мужей, дети — отцов... лживость везде...

Небо на востоке багровое и то светлее, то темнее; порою видны черные клубы дыма, и огонь раскаленными ножами врезается в густую ткань. Лес высок и плотен, точно гора; на вершине ее, извиваясь, ползет огненный змей, машет красными крыльями и тонет, поглощенный дымом. Мне кажется, что я слышу злой, кипучий треск и шум яростной борьбы черного и красного, вижу, как белые испуганные зайцы, осыпаемые дождем искр, мечутся между корней, а в ветвях бьются, задыхаясь дымом, опаленные птицы. Всё шире и победоносней простирает крылья красный змей, пожирая тьму, истребляя смолистый лес.

...Из черной дыры в стене бани выкатилась белая фигура и быстро замелькала между деревьями, а вслед ей кто-то наказывал внятным шёпотом:

— Не забудь же! Обязательно пришли!

— Ладно...

— Утром хромая зайдет — слышишь?

Женщина исчезла, потом кто-то, не торопясь, прошёл вверх по саду и, тяжело царапая доски, перелез через забор.

Не спалось; до рассвета вплоть лежал я, глядя, как горит лес. Скатилась с неба усталая луна, а над крестами княжой церкви вспыхнула Венера, холодная и зеленая, как изумруд,— здесь ей и гореть, если князь с княгиней всю жизнь прожили «в ненарушимой любви». Одна для одного и один для одной на всю жизнь...

Роса смыла с деревьев ночную тьму, и в зелени, седой от росы, стали улыбаться розовые яблоки анис, засверкала золотом пахучая антоновка. Прилетели щеглята в алых колпаках. Осыпались, падали на землю желтые листья, похожие на птиц, и порою нельзя было понять — лист или щегленок мелькнул.

Тяжело вздохнув, проснулся Губин, продрал кривыми пальцами запухшие глаза, встал на четвереньки и — весь измятый сном — вылез из сторожки, обнюхивая воздух, как собака, смешно двигая острым носом. Встал на ноги, потряс большой сук яблони — зрелые плоды покатались по сухой земле, прячась в траву. Он поднял три, тщательно осмотрел их, вонзил

изломанные зубы в сочный плод и, чавкая, стал разгонять пинками ноги упавшие на виду яблоки.

— Зачем ты яблоки зря погубил?

— Не спишь? — оборотился он ко мне, кивнув дынной головой. — Жалеть их не к чему, много их... Яблоки эти отец мой сажал...

И, подмигивая мне зорким приятным глазом, хихикая сладко, он забормотал:

— Надёнка-то, а? Надежда Иванна — ловко! Ну, я ж им устрою праздник. Я...

— Зачем?

Он нахмурился и сказал поучительно:

— Я, брат, людям доброжелатель... ежели я вижу где промежду них злобу или лживость какую — я всегда обязан это вскрыть — наголо! Людей надобно учить: живите правдой, дряни...

Из-за облаков вознеслось солнце — лицо у него было тусклое и печальное, как у нездорового ребенка; казалось, оно чувствует себя виновато, что опоздало осветить землю, залежавшись на мягких тучах и в дыме лесного пожара. Сад облился теплыми лучами и густо вздохнул хмельным ароматом созревших плодов — дыханием осени.

Но вслед солнцу в небо поднимались тесною толпою сизые и белые, как снег, облака, их мягкие бугры отразились в тихой Оке, сотворив в ней иное небо, столь же глубокое и мягкое.

— Айда, Макар! — командует Губин.

...Я стою на дне глубокого, выше трех сажен, колодца, по пояс в жидкой, холодной грязи; удушливо пахнет гнилым деревом и еще чем-то невыносимо противным. Черпая грязь ведром, сливаю в бадью и, наполнив ее, кричу:

— Готово!

Бадья качается, толкает меня, неохотно тянется вверх, с нее на голову, на плечи мне падают жидкие комья грязи, капает вода. Темный круг ее дна закрывает выгоревшее небо и чуть видимые мною звезды; так жутко и приятно — видеть звезды, зная, что в небе горит солнце.

Всё время я смотрю вверх — ломит шею, ноют по-

звонки, затылок точно свинцом налит, а — хочется видеть эти дневные звезды, и нельзя оторвать глаз от них: они показывают всё небо новым и почему-то хорошо знать, что солнце не одиноко в нем.

Хочется думать о чем-то огромном, но мне мешает тупая, неотвязная тревога: вот проснутся Биркины, вылезут на двор, и Губин расскажет им о Надежде.

Сверху опускаются его слова, невнятные и точно распухшие от сырости:

— Еще крыса... Богатеи — х-ха! Десять лет колодец не чистили... Что пили, дьяволы! Берегись там...

Скрипит блок; толкаясь о сруб и глухо постукивая, на меня опускается бадья, снова плюет грязью на плечи и голову мне. Заставить бы самих Биркиных делать эту работу...

— Сменяй!

— Что мало?

— Холодно! Терпенья нет...

— Н-но! — кричит Губин на старую лошадь, силою которой поднимается бадья; я сажусь верхом на край бадьи и еду вверх: на земле очень светло, тепло и, по-новому, незнакомо приятно.

Теперь Губин на дне колодца. Из сырой, черной дыры вместе с запахом гнили поднимаются его ругательства, глухой плеск грязи, гулкие удары железного ведра о цепь бадьи.

— Скопидо-омы... Гляди там — еще что-то есть, не то собака, не то ребенок, что ли... Азиаты проклятые...

В бадье оказалась разбухшая шапка — Губин огорчился.

— Ребенка бы найти, да объявить полиции, да под суд, их, милых...

Пегая опоенная лошадь, с бельмом во весь глаз, шевелит лысыми ушами, стряхивая синих мух. Мерным шагом старой богомолки она ходит от колодца к воротам, вытягивая тяжелую бадью, и каждый раз, дойдя до ворот, вздыхает, низко опуская костлявую голову.

В углу двора, покрытого ковром рыжей, выгоревшей, притоптанной травы, скрипнула дверь — вышла Надежда Биркина со связкой ключей в руках, а за

нею круглая, как бочка, баба — старая, с черными усами на толстой, презрительно вздернутой губе. Они пошли к погребу — Биркина шла лениво, одетая в одну нижнюю юбку, в рубахе, съезжавшей с плеч, в туфлях на босую ногу.

— Чего глаза пялишь? — крикнула мне баба, свирепо выкатив темные, мутные, точно слепые глаза, утонувшие в багровых щеках совсем не там, где надо. «Свекровь», — подумал я.

У двери погреба Биркина отдала ей ключи и неспешно, колыхая полными грудями, оправляя рубаху, всё сползавшую с круглых и крутых плеч, подошла ко мне, говоря:

— Подворотню надо вынуть, пусть грязь на улицу текет. Весь двор залили. Запах-то какой... Крыса, никак? Ой, батюшки, сколько пакости!..

Лицо у нее было усталое, в глазницах темные пятна, а глаза горят сухо, как у человека, не спавшего всю ночь. Было еще свежо, но на висках ее блестел пот. И плечи у нее были тяжелые, сырые, как недопеченый хлеб, чуть прихваченный жаром, покрытый тонкою румяной коркою.

— Калитку отопри! Тут... нищая, старушка хромая придет... кликни меня... меня — Надежду Ивановну, слышишь?

Из колодца донеслось:

— Кто говорит?

— Хозяйка...

— Надежда — э-эх-ма! Мне бы с ней пару словечек...

— Что он кричит? — спросила женщина, с усилием приподнимая темные, чуть намеченные брови, и хотела наклониться к срубам, но я неожиданно для себя сказал:

— Видел он, как ты ночью шла...

— Что-о?

Она выпрямилась, побагровев до плеч, быстро прижав полные руки ко грудям, широко открыв потемневшие глаза, и вдруг спутанно, торопливо зашептала, бледнея и странно умаляясь, оседая к земле, точно перекисшее тесто.

— Что он видел-то, господи? Нет... Голубчик,— придет хромая — не пускай! Скажи — не надо, не могу, нельзя — я тебе целковенький... господи!

Снизу всё громче и сердитей ползли крики Губина, но я слышал только захлебывающийся шёпот женщины, видя, как ее лицо — полное и розовое — осунулось, посерело, темные губы, вздрагивая, мешают говорить, а в глазах застыл жалостный собачий страх.

Но вдруг она приподняла плечи, подобралась вся и, смигнув страх, тихо и внятно сказала:

— Ничего не надо... Пускай...

Покачнулась и пошла прочь, шагая мелко, точно ноги у нее были связаны,— шла она раздражающе тихо, покорно и точно слепая.

— Тащи! — выл Губин.

Когда я вытащил его, он — мокрый, синий от холода — стал прыгать по двору, ругаясь и размахивая руками.

— Это — как же? Я кричу, кричу...

— Сказал я Надежде, что ты видел ее.

Он подпрыгнул ко мне, злой.

— Кто тебе велел?

— Сказал, что тебе приснилось, будто она садом в баню шла...

— Что-о? Что такое?

Голоногий, тающий грязью, он смотрел на меня, хлопая глазами, его неприятное лицо стало смешно, глупо.

— Смотри — если ты мужу ее скажешь, то я так и буду говорить, что ты во сне видел всё это...

— Зачем? — растерянно воскликнул Губин, но — вдруг пришел в себя и, широко улыбаясь, тихонько спросил:

— Сколько дала?

Я стал объяснять ему, что мне жалко женщину, боюсь, что братья изувечат ее и что не следует ее выдавать,— Губин сначала не верил мне, но потом задумался и сказал:

— Неправильно всё это: лучше взять деньги за правду, чем за обман. Сбиваешь ты меня, парень... Наняли они меня колодец чистить, а я бы им в ту же цену — всё вычистил... это мне удовольствие!

Он снова разозлился, греясь, бегаёт вокруг сруба и бормочет:

— Как ты можешь мешаться в чужие дела? Али ты здешний?

Разыгрался сухой, жаркий день, но — небо мутное, точно пропылилось летней пылью до самых глубин, и на багровый, без лучей, шар солнца можно смотреть не мигая, как на луну.

— Я тебя ввел к делу, работой обрадовал, а ты мне...

За воротами, играя селезенкой, тяжело скачет лошадь, вот она поравнялась с домом Биркиных, и кто-то хрипло кричит:

— Лес занялся — эй!

Хлопнула рама окна, и тотчас же двор наполнился шумной, бестолковой суетой: из кухни выкатилась усатая баба, за нею — встрепанный, полуодетый Иона, из окна высунулась лысая, красная голова Петра.

— Запрягайте скорей, батюшки! — кричал он плачущим голосом.

Губин уже вывел на двор жирную рыжую лошадь, Иона выкатил легкую бречку, Надежда — с крыльца — говорила ему:

— Иди, оденься сперва...

Баба распахнула ворота — прихрамывая и ведя на поводу взмыленную лошадь, во двор вошел маленький мужичок, в красной рубахе, и веселым голосом заговорил:

— У двух местах зачалось, — от порубки и от могилы...

Все окружили его, охая и ахая, только Губин ловко и быстро запрягал лошадь, ни на кого не глядя, говоря мне сквозь зубы:

— Дождались... несчастный народ...

В воротах явилась нищая, воровато прищурила глаза и запела:

— Го-осподи Ису-усе...

— Бог подаст, бог подаст! — испуганно махая руками, крикнула Надежда, побледнев. — Тут — несчастье, лес загорелся... после приходи!

Вдруг Петр, стоявший в окне, заполняя его, покачнулся назад в глубь комнаты и исчез, а на месте его явилась женщина, презрительно говоря:

— Что — настиг господь? Обормоты, лентяи...

Ее волосы, седые на висках, были прикрыты шёлковой головкой, шёлк отливал на солнце, и голова казалась железной. На ее лице, иконописном и точно закопченном дымом, двумя пятнами блестели никогда не виданные мною синие глаза без зрачков.

— Али я вам не говорила, что просеку от могилы шире надо было вырубать, шайтаны...

Над маленьким острым носом женщины лежала глубокая морщина, и из нее к серебряным вискам расходились густые брови. Стало странно тихо, только лошадь шлепала копытом по грязи, а из окна непрерывно истекал густой, почти мужской голос, презрительно укоряя.

«Вот она — свекровь!» — подумал я.

Губин кончил запрягать и сказал Ионе тоном старшего:

— Ступай оденься, чучело...

Когда Биркины съехали со двора, а за ними, взвалившись на потную лошадь, ускакал верховой, — женщина исчезла, но пустое окно стало как будто чернее, чем было прежде. Шлепая по лужам босыми ногами, Губин затворил ворота, мельком взглянул на меня и сказал:

— Ну, начнем... чего там!

— Яков! — густо позвали из дома.

Он вытянулся, как солдат.

— Поди-ко сюда...

Губин пошел ко крыльцу, четко топая ногами. Надежда, стоявшая на верхней ступени, повернулась боком к нему, неприятно сморщив лицо, а потом поманила меня к себе, тихонько кивая головою:

— Что он говорит, Яков-то?

— Ругает меня.

— За что?

— За то, что я сказал тебе...

Она тяжело вздохнула.

— Ах — смутьян! И чего ему надо?

Она обиженно падула губы, и круглое пустое лицо ее стало детским.

— О господи... чего людям надо?

По небу ширилась темно-серая туча, грозя бесконечным, осенним дождем. Из окна, ближайшего ко крыльцу, густой струей изливался голос свекрови, слов не слышно было, а только звук, как будто жужжало огромное веретено.

— Это — маменька, — тихонько молвила Надежда. — Она ему задаст! Она меня бережет...

Но я не слушал ее — меня поразили слова, сказанные за окном, спокойно, громко, с тяжелой уверенностью в их правде.

— А ты полно-ка, полно... Ведь это ты от безделья в праведники лезешь...

Я подвинулся ближе к окну — Надежда беспокойно сказала:

— Ты — куда? Тебе слушать не надобно...

А из окна доносилось:

— И бунтовство твое противу людей — у безделья да со скуки, скушно тебе, ты и надумал забаву, будто богу служишь, будто правду любишь, а на деле ты — бесу работник...

Надежда дергала меня за рукав, стараясь отвести из-под окна, — я сказал ей:

— Мне надо знать, что он говорит...

Она усмехнулась, заглянув в лицо мне, и доверчиво зашептала:

— Я ей покаялась: «Маменька, говорю, дошла до меня беда!» — «У, ты, дура», — говорит, да немножечко за косу меня потрепала, только и всего — она меня жалеет!.. Ей — ничего, что я гуляю, ей ребеночка, внучка надо для имущества... наследника...

В комнате Губин крикнул:

— Если грех против закона, так...

Заглушая его, мерно потекли веские слова:

— Тут не везде грех, Яков Петрович, а иной раз просто растет человек и тесно ему в законе. Бросаться друг на друга не надо бы. Чего боимся? Все одинаково дураки перед богом...

Она говорила скучновато или устало, очень мед-

ленно и внятно — Губин иногда бормотал что-то, но его слова не проникали сквозь ее мерную речь.

— Осудить человека — не великое дело, Яков Петрович, сударь мой, это всегда успеется — осудить! А ты — дай человеку развернуться до конца — ведь и во грехе польза бывает. Почитай-ко mineю: святые угодники божии все до господа сквозь грехи дошли, а — дошли-таки! Это надобно помнить. Господь Саваоф — он ли не терпел на евреях своих? А матерью Исусовой еврейку же выбрал, и пророки и апостолы Христовы — все — евреи, так-то! А мы — торопимся осудить да наказать...

— Выбила ты меня из жизни, Наталья Васильевна, — сказал Губин. — Как столкнусь я с тобой да вспомню...

— Не надо вспоминать...

— Так и не вижу себя, и цены себе никакой не чувствую...

— Что было — прошло, а чему надо было быть — того не убежишь...

— И внутреннего состояния лишился я через тебя...

Надежда толкнула меня в бок и с веселым злорадством зашептала:

— Верно, значит, говорили — видно, был он в любовниках у нее!

Но тотчас же опомнилась, испуганно прикрыла рот ладонью и сквозь пальцы говорит:

— Ой, господи... что я? Ты — не верь... Зlobятся на нее все, очень умная она...

— Коли было злое — жалобой его не поправишь, — спокойно падают из окна слова женщины. — Кому что дадено, тот того и держись, а не удержал, значит — не по силам ноша.

— Всё я на тебе потерял, оголила ты меня...

— Тобою — потеряно, а мной приумножено. Никогда ничего, Яков Петрович, в жизни не теряется, а просто переходит из рук в руки, от неумелого к умелому. Кость, собакой оглоданная, и та в дело идет.

— Вот я — кость!..

— Зачем? Ты — человек еще...

— А что толку?

— Толк-от есть, да не втолкан весь, Яков Петрович, сударь мой! На-ко вот, возьми на гулянку себе да иди с богом... А женщину — не тронь, зря про нее не говори чего не следует... это тебе во сне приснилось...

— Эх,— подавленно вскричал Губин.— Ну — ладно! Твой верх... не желаю я, не хочу огорчать тебя... а — все-таки...

— Что — все-таки?

— А то, что умнейшей твоей душе на том свете...

— Нам бы с тобой, Яков Петрович, на этом жизнь нашу с честью окончить, а на том, бог даст, приспособимся...

— Ну... прощай!

За окном стало тихо. Потом тяжело вздохнула женщина.

— О господи...

Надежда мягко, точно кошка, отскочила ко крыльцу, а я — не успел. Губин, выйдя из двери, увидал, что я отхожу от окна. Он надул щеки, ощетинился рыжим волосом и, красный, точно после драки, закричал, неожиданно высоким, злым криком:

— Ты — ты что? Долговязый чёрт... Не желаю тебя, не хочу работать с тобой... иди прочь!

В окне явилось темное лицо с большими синими глазами,— строгий хозяйский голос спросил:

— Это что еще за шум?

— Не желаю я...

— Ты иди ругаться на улицу, а здесь нельзя!

— Да! — обиженно крикнула Надежда, топнув ногой.— Что это такое? Какие...

Выскочила кухарка, с ухватом в руках, воинственно встала рядом с Надеждой и закричала:

— Вот видите — что значит мужиков в доме нет!..

Собираясь уходить, я всматривался в лицо хозяйки: синие зрачки глаз были странно расширены, они почти прикрывали белки, оставляя вокруг себя только тонкий синеватый же ободок. Эти странные, жуткие глаза были неподвижны, казались слепыми и выкатившимися из орбит, точно женщина подавилась чем-то и задыхается. Ее кадык выдавался вперед, как зоб. Шёлк

головки металлически блестел, и снова я невольно подумал:

«Железная голова...»

Губин осел, обмяк, лениво переругивался с кухаркой и не смотрел на меня.

— Прощай, хозяйка,— сказал я, проходя мимо окна.

Женщина не сразу, но ласково откликнулась:

— Прощай, дружок, прощай...

И склонила голову, подобную молотку, высветленному многими ударами о твердое.

НИЛУШКА

Деревянный город Був, не однажды дотла выгоравший, тесно сжался на угорье, над рекой Оберихой; дома с разноцветными ставнями, прикинув друг ко другу, запутанно кружатся около церквей и строгих присутственных мест; улицы, расторгая их темные кучи, лениво расползлись во все стороны и откидывают от себя узкие, как рукава, переулки; переулки слепо натываются на заборы огородов, стены амбаров, и, когда смотришь на город сверху, с горы, кажется — кто-то помешал его палкой и всё в нем рассеял, на смех перепутал.

Только одна Большая Житная, тяжело поднимая от реки на гору каменные дома купцов, — в большинстве из немцев-колонистов, — режет, прямо и сурово, тесные груды деревянных построек, зеленые острова садов, отодвигает в сторону церкви и, проходя через Соборную площадь, тянется — всё так же неуклонно прямо — в неплодное поле, покрытое дерном, к сосновому бору Михаил-Архангельского монастыря, — монастырь почти невидно скрыт за рыжею стеной старых сосен, подпирающих небо, и только в яркий, солнечный день сквозь темную зелень хвои приветно сияют золотые кресты — желто-огненные птицы всегдо немого, сказочного леса.

Домов за десять перед тем, как выйти Житной в поле, от нее налево потянулись к оврагу и спустились в него маленькие, в одно и два окна, присевшие к земле кельи слободы Толмачихи, основанной дворовыми людьми именитого помещика Толмачева, который раскрепостил своих рабов за тринадцать лет до законной воли и за это был весьма горько обижен царем Николаем Павлови-

чем, так что, с обиды, ушел в монастырь, где десять годов молчал и помер в тихой неизвестности, потому что богомолам и странникам не показывали его, — запрещено было вышней властью.

Как построились толмачи, приписавшись в мещане, полсотни лет тому назад, так и живут в девятнадцати хижинах и даже ни однажды не горели, хотя за это время город — исключая Житную — понемногу весь выгорел, — где в нем землю ни копай, всюду найдешь неистребимый уголь.

Стоит слобода — как сказано — на краю и по склону одного из рукавов глубокого ветвистого оврага, окнами к разинутому устью его; оно открывает вид на Мокрые луга за Оберихой и болотистый еловый лес, куда опускается на ночь мутно-красное солнце.

Овраг растопырился по всему полю, обходя город со стороны заката, он вычурно изгрыз суглинистую землю и каждую весной всё больше пожирает земли, сносит ее в реку, заваливая течение Оберихи, отводит мутную воду всё дальше в луга — широкие луга становятся помаленьку болотом. Овраг зовут Великим, обрывистые бока его густо поросли тальником, раки-той и бурьяном, летом в нем прохладно, сыро, и тогда он служит уютным местом свидания влюбленных бедняков города и слободы, местом их пирушек и, нередких, смертных драк, а зажиточные горожане сваливают в него мусор, трупы издохших кошек, собак, лошадей.

По дну оврага бежит, сладко звеня, Жандармский ключ, славный во всем Буеве вкусом кристальной студеной воды, такой студеной, что от нее и в знойный летний день зубы ломит; слобожане-толмачи считают эту воду своей, целебной, гордятся ею, пьют только ее и оттого живут долго, — некоторые уже и не могут сосчитать свои года. Мужчины слободы занимаются рыбной ловлей, охотой, птицеводством, воровством; кроме сапожника Горькова — чахоточного, худого, как скелет, и прозванного Чуланом, — в слободе нет ни одного ремесленника. Бабы — зимою пьют и чинят мешки на мельницу Зиммеля, щиплют паклю, летом — ходят в монастырский бор по грибы, по ягоды и в лес, за реку, по клюкву; есть две знаменитые гадалки, две —

сводничают ловко и успешно. Город, конечно, всех мужчин-слобожан считает ворами, всех женщин и девиц — распутницами; город всячески старается стеснить, искоренить слободу, но все-таки немножко боится толмачей: подожгут, обокрадут, а могут и убить; толмачи презирают горожан за их скопидомство, черствость, жадность и болезненно завидуют их крепкой, сытой жизни.

Слобода так бедна, что и нищие не заходят в нее, — разве только в пьяном виде.

Тощие собаки, питаясь неведомо чем, воровато бродят со двора на двор, поджав хвосты в репьях, вывесив бескровные языки; завидя человека, они стремительно бегут в овраг или покорно и раболепно ложатся на брюхо, ожидая неизбежной ругани, а то — пинка.

Из каждой щели, каждого дома, сквозь радужные стекла окон, с крыш, чиненных лубками, поросших бархатистым мохом, отовсюду, безнадежно и мертво, смотрит всё подавляющая русская нищета.

На дворах толмачей растут ольха, бузина и всякие сорные травы, обильный репейник высовывается на улицу сквозь щели заборов, хватая проходящих за ноги, за подошлы, под заборами густо жметя крапива, коварно обжигая малых ребят. Все дети — худенькие, голодные, все очень раздражительны, часто дерутся, подолгу плачут. Их немного, почти каждую весну в слободе бывает дифтерит; scarлатиной и корью болеют повально, как взрослые тифом.

Из всех звуков жизни в слободе чаще всего слышен плач и дикая ругань, но вообще в ней живет тихо, уныло, и даже кошки весною мяукают негромко, подавленно.

Поет, когда она выпивши, одна Фелицата, баба озорница, хитрая и сводня; поет она каким-то особенно густым и словно шершавым голосом, с хрипотцой, с надрывом, закрыв глаза и далеко выгибая кадык.

Только бабы неугомонно суетливы, истерично шумны; целый день они, высоко подоткнув подошлы, бегают вдоль улицы, выпрашивая друг у друга щепотку соли, мучки, ложку маслица; ругаются, режут, бьют детей,

тискают во рты маленьких иссосанные груди и снова — бегают, вертятся, орут, неустанно налаживая печальную жизнь. Все они истрепаны и грязны, у них дряблые щеки и на костлявых лицах — беспокойные глаза воровок, а если женщина полна, значит — больная, глаза ее тусклы и походка тяжела. Но почти все до сорока лет каждую зиму беременеют и весной выходят на солнце с огромными животами и синевою истощения вокруг глаз, это не мешает им работать с тем же напряжением отчаяния, как работают они и порожные. Они — точно иголки и нитки: чья-то хлопотливая, упрямая рука хочет заштопать их силой гнилую ткань, а она всё расползается, рвется.

Первым человеком в слободе считается мой квартирохозяин Антипа Вологонов, маленький старичок, торговец «случайными вещами» и закладчик.

Он страдает застарелым ревматизмом, ноги в коленях выворочены у него, пальцы на руках кривые, опухли, не гнутся; он всегда держит руки в рукавах; кажется, что они не нужны ему, вынимает он их редко, осторожно, как бы боясь сломать.

Никогда не сердится, не горячится.

— Этого мне нельзя, — говорит он, — у меня сердце распухло и может лопнуть!

Скуластое лицо его, изрытое какими-то темно-красными шрамами, спокойно, как у киргиза, на подбородке висят прямые нити серых, рыжих и желтых волос, они почему-то влажны. Косоватые изменчивые глаза прищурены, от густых разноцветных бровей на глазницы падают тени, на висках, под редким волосом, бурно бьются синие жилы, и весь он вызывает впечатление чего-то пестрого, неуловимого.

Ходит раздражающе медленно, чему очень способствует странного покроя им самим придуманная одежда — смесь рясы, сарафана и поддевки, — полы ее связывают ему ноги, тогда он, остановясь, дрягает ногами, поэтому полы оборваны, обиты.

— Торопиться некуда, — объясняет он, — к своему месту на погосте всегда вовремя доспеешь!

Он говорит витиевато, очень любит церковные слова и всегда после них молчит немножко, как бы мысленно ставя за ними большую, тяжелую, черную точку; говорит он со всеми и много, явно стараясь утвердить за собою еще более крепко славу умного старика.

Хижина Вологонова, в три окна на улицу, разделена переборкой на две неравные комнаты; в большой, с русской печью, живет сам он, в маленькой — я. Сенями отделена клеть, где под тяжелым, старинным замком на двери, обитой кусками железа и жести, Антипа хранит заклады соседей: самовары, иконы, зимнюю одежду. Большой фигурный ключ от этой кладовой он носит на ремне суконных брюк за спиной, и когда приходит полиция посмотреть, нет ли у него краденых вещей, он долго, большими руками, передвигает ключ со спины на живот, долго отвязывает его и солидно говорит окологочному или помощнику пристава:

— Никогда керминальных предметов я не держу. Ваши благородия, помнится мне, неоднократно удостоверялись в этой правде обидной...

Когда он садится, ключ стучит о спинку или сиденье стула, и Вологонов, с трудом загибая руку за спину, щупает: не отвязался ли ключ? Мне, сквозь переборку, слышен каждый вздох старика, понятно каждое движение его.

Вечерами, когда мутное солнце опускается за рекою в сердитую щетину елей и даль, открытая мохнатым устьем оврага, дымитя лиловатым туманом,— Вологонов садится у окна за стол, перед кургузым самоваром, с помятыми боками и злой, зеленой окисью вокруг решетки, крана, ручек.

То и дело раздаются в тишине вечера властные вопросы, уверенно ожидающие точных ответов.

— Дарька,— куда?

— На клю-уч, по воду-у,— жалобно поет тонкий голосок.

— А как сестра?

— Мучиится всё ище...

— Ну, иди...

Старик легонько кашляет, очищая горло, и потом поет дрожащим фальцетом:

Сладкою стрелою
Быв уязвлена,
Страстью огневою
Я воспалена...

Шипит и булькает самовар; на улице — тяжелые шаги и мрачный голос говорит:

— Он думает, что ежели он городской, так непременно умный...

— Зазнаются очень люди...

— А я всем его мозгом сапога себе не помажу...

Прошли, и снова вьется фальцет старика:

— «Нищих людей озлобление»... Минька, стой! Подь сюда, сахару дам. Что отец, — пьяный?

— Отрезвел, давеча кашусты с квасом нахлебался.

— Чего делает?

— Сидит за столом, думает...

— Бил мать-то?

— Нет еще.

— А она что?

— Спряталась...

— Ну, ступай, бегай...

Под окном неслышно является Фелицата, сорокалетняя женщина, с ястребиным взглядом холодно-веселых глаз и плотно сложенными в незаметную улыбочку яркими губами красивого рта. Она тоже знаменита в слободе — сын ее, Нилушка, — блаженный; знаменита она еще знанием всяких обрядов и великим умением вопить по усопшим, по рекрутам. У нее перебито бедро, и ходит она, сильно припадая на левый бок.

Бабы говорят, что Фелицата носит в себе «барскую кровинку», — вероятно, это мнение внушено холодной ласковостью, с которой Фелицата относится ко всем людям. Но и кроме этого в ней есть что-то особенное. У нее узкие, с длинными пальцами, ладони, величавая посадка головы, и в голосе ее всегда звучит нота металлическая, хотя и ржавая, тусклая. Говорит она обо всем — и о себе самой — грубо, откровенно и в то же время так

просто, что хотя и тяжело слушать ее речи, но назвать их грязными — не решаешься.

Однажды я слышал, как Вологонов упрекал ее за то, что она не умеет жить.

— Потерпела бы немножко, ан, глядишь, и барыня! Госпожа своей жизни...

— Бывала я, друг, госпожой-то,— отвечала она,— это мною очень испытано! Животу моему такие ли орлы кланялись, бывалочка... уж и не знай, как я не ослепла от жару-полымя бесстыжих зенок ихних! А уж оцелована — как есть вся! Баба в любой раз госпожой быть может,— всего и дела только — рубаху сбросить, если господь телом одарил. Нет, друг, на своей воле — лучше! Я себя по земле несу вроде ковша браги — пей, кому хочется, покуда есть чего пить...

— Ну, и бесстыже говоришь ты,— вздохнув, сказал Вологонов.

Она засмеялась.

— Глядите-ко, непорочный какой!

Антипа говорит с нею вполголоса, осторожно, она отвечает громко и немножко вызывающе:

— Заходи чайку попить,— приглашает он, высовываясь в окно.

— Не хочу. Ой, чево я про тебя узнала...

— Не зевай! Чего это?

— Да уж узнала-таки...

— Нечего про меня узнать...

— Всё дознала!

— Всё знает токмо един господь, создавший от сущих всяческая.

Они долго шепчутся, потом Фелицата исчезает так же неслышно, как явилась, а старик долго сидит, не двигаясь, и наконец вздыхает тяжело, ворчит:

— Охо-хо! Излия Змий яд во слухи Евины... Помилуй мя, боже, помилуй мя...

Но сердечного сокрушения не слышно в этих словах; мне всегда кажется, что старик любит их не за смысл, а только за то, что они особенные — не обычные, слободские.

Иногда он стучит в переборку обмызганным аршином, в котором не более пятнадцати вершков, стучит и зовет:

— Стоялец! Чайку испить компанейски,— не хочешь ли?

В первые дни знакомства он относился ко мне очень подозрительно, видимо, считая меня полицейским сыщиком, потом стал смотреть в лицо мое с насмешливым любопытством. И всегда поучает:

— А читывал ты «Потерянный и развращенный рай»?

— Возвращенный.

Он отрицательно мотает разноцветной бороδοю:

— Рай был потерян Адамом, потому что развращен Евою, а вернуть его господь не мог,— кто достоин возвратиться в сени райские? Никто!

Спорить с ним — бесполезно: молча выслушав возражение, он никогда не пытается опровергнуть его, а просто еще раз тем же тоном и буквально повторяет свои слова:

— Рай был потерян Адамом, потому что развращен Евою...

Чаще всего он говорил мне о женщинах:

— Как ты есть молодой человек, то керминальный предмет этот стоит для тебя поперек всего, ибо «род человек порабощен мучительным грехолюбием», сиречь — Змием. Женщина — первая помеха всякому делу в жизни сей, как утверждается всеми историями; от нее же главное беспокойство: «ядом исполнена, Змий зубы в тя вонзе», — Змий же суть плотское вождение. Змием возбуждены, греки разрушали даже города целые: Трою, Картагену и Египет; из-за любовной страсти к сестре Александра Павловича Наполеон на Русь приходил. Мухамеданские нации — а также и жи-ды — понимают это издревле, они женщину держат в полном затмении, на заднем дворе. А у нас — безобразная распущенность, под руку с бабами ходим, и даже дозволено им лекарихами быть, зубы дергают и прочее, тогда как следовало бы пускать их не дале повивальных бабок. Женщина должна служить для приплода, почему и дано ей зазорное имя: «неискусобрачная невесто».

Около печи, на грязной стене, оклеенной «обязатель-

ными постановлениями» и рыжими листьями каких-то рукописей, толчется, щелкает маятник небольших часов; на одной гире привешен молоток и подкова, на другой — медный пест. Множество икон в углу, поблескивает серебро «аплике» и золоченые венчики над черными кружками лиц. Чело тяжелой печи скучно смотрит в окно на зеленые сады Житной, за оврагом, там светло и красочно, а в конуре Вологонова стоит пыльный сумрак, запах сушеных грибов, листового табаку, конопляного масла.

Спокойно помешав истертой ложечкой очень крепкий, перепаренный чай, он нюхает ложечку и говорит, вздохнув:

— Я всякую жизнь испытал, я всё знаю, меня надобно слушать со вниманием и все слушают, кто — живая душа, а о прочих сказано: «В доме Давидовом страшная совершаются: огонь бо там попяля всяк срамной ум».

Слова его — точно кирпичи и холодно возводят всё выше вокруг меня тяжкие, темные стены каких-то странных, ненужных событий, непонятных драм.

— Полуконов, Митрий Ермолаев, бымший градским головой, отчего преждевременно помер? От неподобающих затей: отправил старшего сына в Казань, якобы для науки, а тот на второе лето жидовочку кудрявую привез с собой и говорит: «Жить без нее не могу, в ней вся душа моя и вся моя сила!» Вот оно! С того и началась разруха: Яшка — пить, жидовка — плакать, а Митрий ходит по городу сам не свой и приглашает всех: «Глядите, людие и братия, до чего я дожил!» И хоша она жидовка, сделавши неправильно выкидыш, с того издохла, потеряв всю кровь, но — прежнее не выиграло: Яшка окончательно пропал — спился, а отец — «смерти преждевременно жертва ночная». Разрушилась жизнь, а причина тому «тернопоносный еврейский сонм». Но однако и еврей — своей судьбы человек, судьбу же палкой не погонись, судьба наша ленивая, идет она тихо, — тихо идет, а перегнуть нельзя!

Глаза его всё время меняют цвет: то они мутносерые, усталые, то голубеют и печальны, чаще всего в них сверкают зеленые искры равнодушного злорадства.

— И Капустины, семья крепкая, разбилась в прах, в ничтожество. Всё хотели перемен, располагались по-новому, рояль завели. Только Валентин еще на ногах, да и тот синий пьяница, хоша и доктор. Отек весь, хрипит, глаза рачьи, страшные — выворотило, а сорока годов еще не прожил! Так и Капустиных «мертвыми показа»!

Он говорит с непоколебимой уверенностью, что иначе не может, не могло быть, — бестолковые, нелепые явления жизни неизбежно законны.

— То же будет и Осьмухиным: не дружи с немцами, не заводи дела никчемного! Вона, — пивной завод строить измыслили. У нас тут всякая баба пиво может варить, а народ-то наш не пьет его, к вину привык. Народ у нас сразу хочет достичь желаемого: шкалик водки действительней пяти кружек пива ошеломит... У нас народ любит простоту во всем: родился человек слеп, а вдруг — прозрел! Это — перемена! Илья Муромской тридцать три года сиднем сидел, выждал время да и пошел! А которые не умеют ожидать в окружении скромности...

За окнами по красному небу белыми лебедями плывут в даль облака; овраг лежит на земле медвежьей шубой: кто-то сказочно огромный сбросил ее с широких плеч и, должно быть, — ушел, убежал за луга, за леса. Многое вокруг напоминает старинную, жуткую сказку, больше всего сам Антипа Вологонов, человек, который страшно много знает о неудачах жизни людской и любит рассказывать о них.

На минуту замолчит, со свистом схлебывая сложенными бантиком губами рыжий чай с блюдца, прочно поставленного на растопыренные пальцы правой руки, потом, обсосав мокрые усы, снова, ровным голосом, начинает размеренную речь, точно читая Псалтырь.

— Видал, на Житной, лавочку Асеева, старика? Было у него десятеро сыновей, шестеро до возраста примерли: старшой — певчий хороший — был сумасброд, книгочей — и, будучи в солдатах денщиком, в Ташкенте начальника своего с женою прирезал, а сам пристрелился. Есть слушок, что он с женой-то начальниковой любовь крутил, а она ему отказала,

спова к мужу прилежа. Григорий в вышних училищах учился, в Петербурге, и — с ума сошел. Лексей тоже по воинской части пошел, по коннице, а теперь в цирках ездит и — пьянствует, наверно. А самый младший, Николай, бежал из дому в молодых еще годах и, неизвестными путями, оказался в Норвежской земле, в холодных морях рыбу какую-то ловит. Извратился, забыл, что у нас своей рыбы предостаточно — довольно! А тем временем отец всё свое имение в монастырь отписал, — вот те и рыба холодных морей!

Он понижает голос и как-то по-собачьи сердито ворчит:

— Тоже вот и у меня дети были. Один убит в сражении при Кушке, — я об этом бумагу имею; другой в пьяном состоянии потонул, трое померли во младенчестве. Двое — живы: об одном знаю, что швейцарцем служит в Смоленске при гостинице, другой, Мелентий, пошел по духовной части, в семинарии учился, еще куда-то понесло и — пропал! В Сибирь заслали. Вот как. Русский человек — легкий, ежели он себя не забьет куда-нибудь в одно место по самую голову, то обязательно летит, ветром гоним, подобно куриному перу. Семиверы все мы и будоражные. Я-де рыболов, а не просто — безголов. Не понимает молодость низости своей. Ждать не умеет...

Речь старика течет, как вода из водосточной трубы в непогожий, холодный день осени; покачивая серой бородою, он говорит, говорит, и постепенно я начинаю думать, что именно он злой колдун и хозяин этой от всего далекой земли, болотистой, изгрызенной оврагами, неплодной. Это он нарочито неуютно сунул город в глинистую лощину, смешал, сбил в кучи дома, спутал улицы; он равнодушно творит непонятно грубую и жестокую, убийственно скучную жизнь; он набивает головы людей бессвязной жуткой чепухой, сушит их сердца страхом перед жизнью. В долгую, шестимесячную зиму гонит с поля на город злые вьюги, сжимает дома морозами так, что бревна трещат и жгучий холод насмерть бьет птицу; летом почти ежегодно насыляет страшные ночные пожары, и они слизывают кучи домов.

Он молчит, двигая зубастыми челюстями, борода его трясется, в глазах — синеватый, угарный огонь, кривые пальцы шевелятся, точно черви.

Теперь он и внешне похож на злого колдуна.

Однажды я спросил:

— Чего же людям ждать-то?

Он долго дергал себя за бороду, щурил глаза, приглядываясь к чему-то сзади меня, и наконец тихо, внушительно ответил:

— Придет некогда человек странный и возгласит миру собезначальное слово. Кто знает, когда придет он? Никто. Кому ведомо чудеса творящее слово его? Никому же...

Мимо окна моей комнаты плывет, подпрыгивая, прекрасная, в золотых кудрях, голова дурачка Нилушки, как будто сама земля любовно подбрасывает его. Он похож на ангела древнего письма с южных или северных врат старенькой церкви; его смуглое лицо закопчено дымом воска и масла, васильковые глаза светятся неземною, холодной улыбкой. Он в розовой — ниже колен — рубахе, ступни ног у него черные, в цыпках, тонкие икры стройны, белы, как у женщины, и покрыты золотым пухом.

Прыгая на одной ноге и улыбаясь, он взмахивает руками, — широкие рукава и полы рубахи взлетают на воздух, — Нилушка точно теплым облаком окутан и поет детским голосом, пришепетывая, заикаясь:

О-осподи, помилуй!
Во-олоки б'егут,
Шоба-баки б'егут,
Ок'отники стоят,
Волоков стелегут!..
Осподи, помилуй!..

Поет и — весь светится теплым светом всему чужого веселья, легкий такой, приятный, внутренне чистый, легко вызывающий добрые улыбки, мягкие чувства. Когда он на улице, — слобода живет тише, кажется благообразнее, люди смотрят на безумца более ласково,

чем на своих детей, кажется, что даже самым злым он близок и мил. Летя в золотисто-пыльном воздухе, его тонкая, стройная фигурка, должно быть, всем одинаково напоминает церковь, ангелов, бога, рай; все смотрят на него каким-то общим взглядом: задумчиво, немножко испытующе, немножко боязливо.

Но вот он увидал лживый блеск осколка стекла, наглое сверкание меди, отражающей солнце,— он сразу останавливается, сквозь кожу его лица проступает серый мертвый пепел, улыбка исчезла, помутившиеся глаза оступели, неестественно выкатившись. Он весь изгибается, смотрит, торопливо крестясь худенькой ручкой, ноги его мелко дрожат, а рубаха точно струится вдоль тонкого, некрепкого тела. Немой ужас делает каменным его круглое лицо. Он может стоять так час и более, полумертвый, до поры, пока кто-нибудь не отведет его домой.

Говорят, что он и родился «придурковатым», а окончательно обезумел пять лет тому назад, во время большого пожара, и с той поры всё, что похоже на огонь,— всё, кроме солнца,— вызывает у Нилушки оцепенение тихого ужаса. Слобожане часто толкуют о нем:

— Вот дурачок, а — помрет,— может, святой будет и все припадем к нему и поклонимся...

Но иногда над ним жестоко шутят: он идет, подскакивая и напевая детским голоском, а кто-нибудь скучающий вдруг крикнет из окна или в щель забора:

— Нилушка — горим!

Ангелоподобный дурачок, как подрубленный под колени, падает грудью на землю и, в судорогах, охватив золотистую голову всегда грязными руками, катится по земле к забору, к дому, в тень, обнажая и пачкая в пыли отроческое тело свое.

А испугавший, посмеиваясь, сожалительно восклицает:

— Ах ты, господи... до чего глуп парнишка!

Спросишь:

— Зачем вы его пугаете?

— Забавно все-таки! Он ведь по-человечьи не чувствует, людям же — охота попутить.

Всё понимающий Антипа Вологонов внушительно поясняет:

— И Христа пугали, и Христос был гоним. А — чего ради? Ради испытания в прямоте и силе. Людям обязательно надобно знать, что есть настоящее и что — не есть настоящее. Очень много на земле греха-горя оттого исходит, что часто за настоящее принимается предстоящее и люди торопятся поспешно, тогда как надо тихо ожидать, испытывая.

Он относится к Нилушке внимательно и часто беседует с ним.

— Богу молись, — говорит он, указывая кривым пальцем в небо, а другою рукой дергая свою трепаную, пеструю бороду.

Нилушка, боязливо глядя на темный палец, быстро тыкает себя щепотью в лоб, плечи, живот и тоненько, жалобно поет:

Оче нас неси...

Иже еси!..

Неси на небеси...

— Ну, ладно, бог поймет, он блажененьким близок.

Нилушку интересуется всё шарообразное, и он очень любит щупать черепа детей: подойдет тихонько сзади к ребятишкам и вдруг с тихой, светлой улыбкой положит на чью-нибудь гладко остриженную голову свои тонкие, костяные пальцы.

Дети не терпят этих прикосновений, пугаются их, бегут прочь и дразнят издали дурачка, показывая ему язык и натягивая нос:

— Нилка, бутылка, башка без затылка!

Он не боится их, и они его не бьют, разве иногда бросят в него стоптанным башмаком, чуркой, но и бросают, не целясь, не желая попасть.

Круглое — колеса игрушек, блюдечки — тоже возбуждает внимание Нилушки, но мячи и шары он любит, гладит, ласкает их, а круглый предмет, видимо, волнует его: он быстро вертит его в руках, щупает плоскости и бормочет:

— А — другое?

— Понять бы, что значит — другое? — озабоченно

говорит Антипа и, притягивая к себе дурачка, допытывается:

— Зачем тебе другое?

Нилушка боится, дрожит, пытается сказать что-то непослушным языком, пальцы его быстро вертят круг:

— Нету...

— Чего нет?

— Тут — нету...

— Н-да, глуп достаточно, — вздыхая, говорит Вологонов, и глаза его задумчиво синеют.

— Дурак, а позавидуешь...

— Чему?

— Вообще. Проживет без заботы, в сытости и даже в почете у всех. Понять его нельзя, и все пред ним ходят в страхе, — всем известно, что безумные да блаженные любезны господу превыше умников. Дело — премудрое, особенно ежели вспомнить, что блаженные — во святых, а дерзновенные — где? Вот оно...

И Вологонов, вдумчиво хмурия густые, с чужого лица брови, прячет руки глубоко в рукава, не отводя от Нилушки испытующего взгляда неуловимых глаз.

Фелицата нетвердо помнила, кто именно был отцом ее сына; я знал, что она называла двоих: какого-то «межевого студента» и купца Выпороткова, всему городу известного силача, буяна и гуляку. Но однажды, когда она с Антипом и со мною сидела у ворот, балагурия, и я спросил ее, жив ли Нилушкин отец, — она пренебрежительно сказала:

— Жив, да пес ли в нем!

— А кто он?

Как всегда облизывая кончиком языка сухие красивые губы, она ответила:

— Монашек один...

— Это — всего проще! — вдруг живо воскликнул Вологонов. — Это самое бы доступное уму.

Он долго, и нимало не стесняясь подробностями, объяснял, почему именно монашек мог быть родителем Нилушки предпочтительно пред купцом и «межевым», говорил и, несвойственно для него, горячился; даже всплеснул руками, но тотчас же охнул от боли, сморщился и уже с упреком сказал женщине:

— Что же это ты раньше-то болтала?.. Эх, зря! Фелицата, улыбаясь, присматривалась к старику, в карих зрачках ее горел насмешливый и наглый огонек.

— Я была тогда хорошая, всем желанная, сердца доброго, права веселого,— пела она, жмурясь и приторно вздыхая.

— Монашек — это бо-ольшое обстоятельство! — задумчиво сказал Антипа.

— Очень меня мужчины изыскивали для радостей своих,— вспоминала Фелицата.

Вологонов приподнялся, покрякивая, дернул ее за рукав сатиновой кофты цвета бордо и строго сказал:

— Пойдем-ка ко мне, дело есть некакое!

Она усмехнулась, подмигнув мне, и — пошли: старик — бережно передвигая изуродованные ноги, женщина — точно примеряясь, как бы удобнее ей свалиться на левый бок.

С этого вечера почти ежедневно Фелицата приходила к Вологонову, часа по два они пили чай, и я слышал сквозь переборку неутомимый, поучающий мерный голос старика:

— А слушочки, слушки эти надобно пускать осторожно, с сомнением: говорит-де невразумительно, а кое-какой смысл — есть, и будто — прорицает...

— Разумею...

— Потом сон какой-нибудь, к делу подходящий, надобно тебе увидеть. Например: исходит из претемного леса старец некий, глаголет: «Фелицата, раба божия, грешница душесмрадная...»

— Ну, заскрипел...

— Помолчи, неразумие! Бывает — и хула над собою выгоднее-полезней хвалы. Да, так значит, видишь-слышишь ты: «Фелицата, повелеваю тебе,— иди прямо и сделай то, о чем тебя встречный попросит!» Ну, ты и пошла бы, а он — тут и есть, монашек-то...

— А-а-а,— догадливо тянет женщина.

— То-то! Дуреха...

— Вот как, значит...

— Али я худу научил кого?

— Ну-ну-ну...

— У меня тут ума на тыщу человек да еще с
гаком...

— Это — известно, — согласилась Фелицата.

В другой раз Антипа сожалительно ворчал:

— Нехорошо, что слова у него всё простые! Не
подходят они в эдаком деле, тут нужны слова темные,
многозначные, — многозначность слов скорее внушит
людям почтение-внимание к ним.

— Это — зачем? — спросила Фелицата.

Вологонов сердито объяснил:

— Зачем, зачем! Почитать-то надо кого-нибудь али
нет? Он почету достоин, будучи вовсе безвредным для
людей, да безвредные-то незаметны. И тебе надо за-
няться этим — учить его словам иных красок, помудре-
ней, позвончей...

— Да я не знаю никаких эдаких-то...

— Я те скажу, а ты, когда он спать ложится, вну-
шай ему. Напримерно: «Адом исполнены — покайтесь!»
Слова тут нужны церковные, строгие: «Душеубийцы,
пожалейте бога, окаяньи!» Гляди, — не «окаяншые»,
а «окаяншии»! Хоша... это, пожалуй, крутенько, негод-
но... Ну, да я сам займусь этим исподволь...

— Уж ты лучше сам...

Вологонов начал всё чаще останавливать Нилушку
на улице, ласково внушая ему что-то, а иногда брал
за руку, вел к себе в комнату и там, угощая дурачка
чем-то, просил сладко:

— Ну-кося, скажи: не торопитесь, людие! Ну?

— Фонарик, — кротко говорил Нилушка.

— Фонарик, говоришь? Н-да. Ну, ладно; скажи:
фонарик я вам...

— Петь надо.

— Это ничего, пой, это очень подходяще! Однако
и говорить надо тоже. Скажи-ка: круговращение Велиа-
лово! Говори, ну?

— О-осподи, помилуй, — тихонько, задумчиво поет
дурачок и вдруг говорит ласковым голоском ребенка:

— Помирать надо...

— На-ко, вот! — огорченно восклицает Волого-
нов. — Бухнул чего! Это и без тебя, дружок, известно,
поспеем, помрем. Воистину, глуп ты свыше всякой

надобности в этом! Пустодействие выходит у нас. Ну-ко, выговори: пустодействие?

— Шобабаки...

— Собаки? Годится. Ах ты, цыпленок!

— Шобабаки цыпленками бегут туда-туда — ух! — овраг... — бормочет Нилушка, точно трехлетний.

— Это можно принять иносказательно, это ничего, многозначно! А теперь скажи: «Развернется пропасть на пути поспешающего», — ну-ко?

— Петь надо...

Тяжело и шипуче вздыхая, Вологонов говорит:

— Трудно с тобою все-таки!

Он осторожно шаркает по полу больными ногами, а тоненький голосок дурачка выводит:

— Осподи, поми-илуй...

Красавец Нилушка был необходим в грязной, нищенской и большой жизни слободы, он оттенял и завершал собою ее ненужность, бессмыслие, безобразие.

Был он подобен яблоку, забытому на старой, кривой яблоне, сплошь покрытой лишаями, — с нее уже сняты все плоды, она сбросила все листья и дрожит на осеннем ветре; был он похож на картинку, единственную в истрепанной, запачканной книге без пачала и конца, — книге, которую уже нельзя и не стоит читать — ничего не поймешь в ней.

И когда он, улыбаясь ласково, шел мимо приплюснутых, гнилых домов, мимо щелявых заборов и буйных зарослей крапивы, такой сказочный и жалобный, в памяти вставали, со страшной быстротою, сменяя друг друга, образы лучших и любимых людей русской земли: бесконечной вереницей мимо сердца шли житийные люди, в страхе за душу свою удалявшиеся из жизни в леса и трущобы, от людей к зверям. Вспоминались стихи слепых и нищих, песнь об Алексии, божьем человеке, и множество красивых, но безжизненных образов, в которые Русь вложила свою напуганную, печальную душу, свое покорное, певучее горе. Было очень тяжело, почти до безумия.

Но однажды я как будто забыл, что Нилушка —

дурачок, — непобедимо захотелось говорить с ним, читать ему хорошие стихи, рассказывать о юных надеждах мира и о своих думах.

Я сидел на обрыве оврага, свесив ноги вниз, а он, точно плывя по воздуху, шел ко мне с широким листом лопуха в тонких, как у девочки, пальцах, шел он и, весь какой-то голубой, улыбался, ясными глазами глядя на лист.

— Куда ты, Нилушка?

Он вздрогнул, поднял голову, взглянул в небо и — боязливо — в синеватый сумрак оврага, а затем уже протянул мне лопух: божия коровка ползала по морщинам лопуха.

— Букан.

— Куда ты несешь его?

— Помирать надо. Хоронить.

— Он — живой. Живых не хоронят.

Нилушка дважды медленно закрыл и открыл глаза.

— Надо петь...

— Ты скажи мне что-нибудь!

Он заглянул одним глазом в овраг, розовые поздри его вздрогнули, расширились; вздохнув, от скучно выговорил похабное слово. На шее у него, ниже правого уха, крупная родинка, густо покрытая золотисто-бархатным волосом, она похожа на пчелу; около нее слабо бьется жила и странно оживляет ее.

Божия коровка приподняла надкрылья, собираясь лететь. Нилушка хотел придержать ее пальцем и выронил лист, а пока лопух падал, насекомое отделилось от него и полетело низко над землей. Согнувшись, вытянув руки, дурачок тихо пошел вслед за ним, точно направляя ленивый его полет. Шагах в десяти от меня он остановился, поднял лицо в небо и долго стоял так, опустив руки вдоль тела, вытянув ладони горизонтально, как бы опираясь ими на что-то невидимое мне.

Из оврага тянутся к солнцу зеленые прутья вербы, какие-то скучно желтые цветы и серая полынь; сырые трещины в глине обрыва покрыты круглым листом «мать-мачехи». Перепархивают серенькие пичужки; из кустов, со дна оврага, тянет влажным запахом гнили. Небо — чисто; одинокое солнце опускается в темные

болота заречья. Над крышами Житной неохотно порхают белые голуби, под ними качается черное помело, сметая их из пустоты. Издали течет сердитая воркотня города — звук певеселый, темный.

В слободе, старчески взвизгивая, плачет ребенок, этот плач напоминает чтение дьячка за вечерней, в пустой церкви.

Не спеша, задумчиво опустив лохматую голову, мимо меня идет рыжая собака, с красными, мокрыми глазами пьяницы.

А за последним домом слободы, на краю оврага, лицом к солнцу, спиною к городу, стоит, словно собираясь улететь, стройный, тоненький мальчик, всему чужой, всё ласкающий неизменно неразумной улыбкой ангельских глаз. Мне кажется, что я вижу его золотистую родинку, так похожую на пчелу.

Через две недели после этого, в полдень воскресенья, он неожиданно и странно помер: пришел домой от поздней обедни, отдал матери поданные ему милостыней две просфоры и сказал ей:

— Постели на сундуке, помирать лягу...

Фелицату не удивили эти слова, он и раньше, ложась спать, часто говорил:

— Помирать надо.

Ложился и, до времени, пока не заснет, — пел тихонько свою песню и бесконечное, всегдашнее:

— Господи, помилуй!

Так и теперь он спокойно лег вверх лицом, сложил руки на груди, закрыл глаза, но не пел, а тотчас заснул.

Мать, пообедав, ушла к своим делам, воротилась домой перед вечером и когда, удивленная долгим сном сына, подошла к нему, то увидела, что он мертвый.

— Гляжу я, — певуче рассказывала она слобожанам, сбежавшимся к ее двору, — а и ноготки у него синие; ручки-то я ему перед обедней вымыла чистехонько, с мыльцем, так мне и видно — ноготки-то не белые! Тронула за ручку его, а ручка окостенела уж.

Лицо у нее было испуганное, побуревшее, но сквозь

слезы в ласковых глазах блестело умиление, почти радость.

— Тут я вникла, пала пред ним на колени, завопила: батюшка, куда ты? Господи, кого ты у меня отнял?

Склонив голову к левому плечу, заведя шельмоватые глаза под лоб и прижав руки ко грудям, она принялась вопить:

Ой, да погас голубой мой, ясный месяц,
Сокатилася моя тихая звездushка,
Во темное она пала оклян-море,
Сокатилась звезда, ой, да погасла,
А и до веку она, душа, не вспыхнет,
До второго-то Христовова сошествия не воспылет!

— Да постой, погоди! — с досадой кричал Вологонов.

Я только что пришел из леса и, стоя под окном Фелицатиной хижины, не узнавал озорниковатых слобожан: тихонько, подавленно гудя, перешептываясь, они приподнимались на носки, вытягивали шеи и, наваливаясь друг на друга, заглядывали в черную дыру окна, точно пчелы в леток улья, и почти на всех лицах, во всех глазах трепетало напряженное, пугливое ожидание чего-то.

Только Вологонов громко и властно говорил, толкая Фелицату плечом:

— Успеешь вопить, допрежде надо запомнить обстоятельства...

Женщина вытерла рукавом кофты мокрые глаза, облизала губы и, длительно вздохнув, уставилась в красное изжеванное лицо Антипы счастливым, сияющим взглядом хмельного человека. Из-под белого платка на виски и на правую щеку ее выбились золотистые пряди волос; она казалась в этот час моложе своих лет, вся как-то выпрямилась, выше подняла голову, и грудь ее, возбужденно напрягаясь, растягивала петли кофты. Все смотрели на нее внимательно, молча и как будто немножко завистливо.

Старик быстро и сухо спрашивал ее:

— На нездоровье не жаловался?

— Ничегошеньки не молвил, ни словечушка!

— Бит не был.

— Что ты, вековой, когда я его...

— Да — не ты!

— А этого — не ведаю. Тельце всё чистенькое, я рубашечку подняла, поглядела, — ничего нет, только на ножках царапинки, разве — со спины...

Она говорила новым, окрепшим голосом и, томно прикрывая сияющие глаза, тихонько, как-то сладостно охала, шумно и глубоко вздыхала.

Кто-то проворчал:

— Накатывает...

— Чего?

— Ярится, мол...

После десятка хорошо обдуманых вопросов Антипа с минуту внушительно помолчал и этим заставил онеметь всех людей, точно усыпил их. Потом заговорил, покашливая:

— Будемте думать, православные, что посетил нас господь велией его милостью, ибо по всему видать, что блаженный, светлый отрок наш — близок бысть преблагому устройтелю живота нашего...

Я отошел прочь; великая скорбь бешено сдавила сердце, и захотелось еще раз взглянуть на Нилушку.

Хижина Фелицаты задней половиной осела в землю, а передняя завалилась, и единственное окно ее, с подъемной рамой, смотрело холодным стеклом далеко в небо. Я влез, согнувшись, в открытую дверь: Нилушка лежал близко к порогу, у стены, на узком сундуке; темная кумачная наволока подушки хорошо выделяла его круглое, голубовато-бледное, простое лицо в золотом венце кудрей. Глаза были закрыты крепко, и губы тоже плотно сжаты, а все-таки казалось, что он тихо и радостно улыбается. Тонкие по локоть голые руки, сложенные на груди, и весь он, длинненький и тонкий, босоногий, лежа на темном войлоке, теперь напоминал не ангела, а изображение святого отрока — какую-то старинную, темную, с детства знакомую икону.

В синем сумраке совсем тихо, даже мухи не жужжали, только с улицы в стекло закрытого окна торкался сильный, шершавый голос Фелицаты, легко выводя заунывный узор необычных слов:

Сопригнуся я грудью белою да жаркою сырой земле.
Ты ль родимушка повадная, сыра земля,
Тебя просит, сердцем молит мать несчастная.
Да прими-ка ты усопшее дитя мое,
Моего ль сердца кровинушку рубинову!..

В двери встал, отирая глаза тылом ладони, Антипа Васильев и выговорил — глухо дрожащим голосом:
— Знаменито вопит, шкуреха!.. Только не того часа стих взяла, этот стих вопят на погосте, у могилы... Всё надо знать... всё надо знать!

Крестясь неверною рукой, он смерил труп Нилушки внимательным взглядом, остановил мокрые, красные собачьи глаза на милом лице и молвил угрюмо:
— Больше стал, увеличила смерть. Да... вон оно! И я скоро вот эдак же окончательно выпрямлюсь. Мне — весьма даже пора бы!

Осторожно шевеля уродливыми пальцами, он стал оправлять складки рубахи усопшего, натягивал ее на ноги Нилушки и чмокал темными губами.

Я спросил:

— Чего вы хотели от него, зачем учили разным словам?

Он разогнулся, тускло посмотрел на меня:

— Чего хотел-то?

И, смешно вздернув голову, ответил — как будто искренно:

— Не знаю, браток, чего мне хотелось, ей-богу, не знаю! Коли правду сказать перед ликом смерти, так надо бы мне сказать просто: всю долгую жизнь мою не знал я, чего хотеть лучше... Так, вообще... ожидал, что судьба подскажет. А моя судьба — безъязычна оказалась, вовсе немая. Да и глуха будто притом. Всё ждал, а вдруг что и выйдет, чудесное, неожиданное?

Усмехнувшись, он указал глазами на труп отрока и более решительно продолжал:

— А — тут хотеть мне нечего было. Хоти не хоти, всё едино, ничего не достигнешь. Как и вообще, во всем. Фелицате — бабенка хитрая, холодного сердца — ей, конечно, желается, чтобы сына блаженно-праведным признали, — это бы ей на старость — кусок!

— Да ведь это вы же сами внушали ей, ведь и вам этого хотелось!

— Мне?

Он спрятал руки в рукава и скучным голосом, отрывисто сказал:

— Ну, и мне! А — что же? Это все-таки утешеньишко людишкам-то... иной раз — жалко их, очень маотно живут, очень горько! А тут — жили-были стервы-подлецы, а нажили праведника!

За окном пылало вечернее небо и разносился скорбный вопль:

Как прикроется земля-то снегом белым,
Во чистое поле выйдут волки лютые,
Заскорбят они, завоют о весне-тепле,—
Тут и я с ними завою о милбм сынке!

Вологонов прислушался и уверенно сказал:

— Вот это уж по-настоящему, яростно накатило на нее! Это — истово-законно, да! Она ведь и в пенье, как в распутстве, — безудержная! Накатит на нее бабьего сердца грызь, и — нет Фелицатке нигде предела... Ее, однажды, молодые купцы по Житной везли в коляске вовсе голую: сидят двое, а она промежду их стоймя — стоит в неприкрытом естестве — нате-ка, извольте! После, в части, едва не убили ее до смерти...

Я вышел в темные тесные сенцы; Антипа, держась за меня, шел сзади и ворчал:

— Всё — от великой тоски.

Фелицата крепко стояла под окном, закрывая его спиною; прижав руки к грудям, она закинула в небо встрепанную голову, платок сбился, вечерний ветер тихо перебирал рыжеватые тонкие волосы, осыпавшие ее потемневшее, острое лицо, широко раскрытые глаза ее безумно выкатились, и, необычная, жуткая, почти страшная, она неистощимо выла еще более окрепшим, струнным голосом:

Ой, да ветры ледяные, злые, вьюжные!
Вы сожмите мое сердце крепко-накрепко,
Одолейте, заморозьте кровь кипучую,
Чтобы мне ее слезами всю не выплакать!..

Тесной кучей стояли пред нею бабы, жадно глядя в безумное, скорбно-окаменевшее лицо, и тихонько плакали. Через темное мохнатое устье оврага видно солнце, оно опустилось ниже слободы, как будто навсегда хочет уйти в болотный лес. В красный диск его воткнулись острые черные вершины елей, и всё вокруг красно,— словно раненое солнце истекает кровью.

КЛАДБИЩЕ

В степном городе, где мне жилось очень скучно, всего лучше и красивее было кладбище, — я часто гулял на нем и однажды заснул в ложбине между двух могил, как в люльке, на густой и сочной, сладко пахучей траве.

Меня разбудили удары о землю близко моей головы; мягко отталкивая меня, земля вздрагивала, гудела, — я вскочил, сел, сон был крепок, и глаза, ослепленные его бездонной тьмою, не сразу поняли, в чем дело: в золотистом огне июньского солнца жутко качалось темное пятно, прильнув к серому кресту, а крест тихонько скрипел.

Потом — неприятно быстро — это сверкающее пятно приняло формы человека: держась рукою за крыло креста, стоял небольшой старичок, остролицый, с густым клочком серебряных волос под нижней губою и воинственно закрученными вверх толстыми белыми усами.

Вытянув руку в воздух и покачивая ею, он сосредоточенно бил каблуком в землю, искоса бросая на меня сухие взгляды темных глаз.

— Что такое?

— Змея, — ответил он барским баском и указал длинным пальцем с перстнем на нем под ноги себе: на узкой тропе, прикрытой травою, вздрагивал маленький ужик, судорожно поводя хвостом.

— Это — уж, — сказал я сердито.

Старик отшвырнул носком сапога тускло блестящий жгут, приподнял соломенную шляпу и, шагая твердо, пошел прочь.

— Благодарю вас, — сказал я; он, не оборачиваясь, отозвался:

— Если это — уж, тогда опасности не было...

И быстро исчез среди памятников.

Я взглянул в небо, — было около пяти часов.

Вздыхал над могилами степной ветер, тихонько покачивая стебли трав; в теплом воздухе плыл шёлковый шелест берез, лип, ольхи и густых кустарников. В летнем шорохе кладбища слышна покорная грусть, — она вызывает какие-то особенно прямые и честные мысли о жизни, о людях.

Покрыв тяжелым шатром зелени холмы, белый и серый камень памятников, вытертые снегом, вымытые дождями кресты и решетки оград, — богатая растительность скрывает близость чумазого города, осыпанного черноземной пылью, жирной, как сажка, задерживает его мутный шум, пыль и злые запахи.

Шагаю по запутанным тропам среди бесчисленных могил; вижу сквозь просветы в зеленом пологе золоченый крест колокольни, высоко и серьезно поднятый в небо над всеми крестами могил. У подножий памятников в ризе кладбища пестреют скромные цветы, — над ними хлопотливо жужжат пчелы, осы; в молитвенный шорох трав победоносно вторгается песня жизни, не мешая думать о смерти. Бесшумно перепархивают темные птицы, их полет всегда заставляет, вздрогнув, недоверчиво смотреть — птица ли?..

Всюду трепещет золотой огонь солнца, тесно заселенное кладбище как будто колышется, бугры могил напоминают море после бури, когда ветер упал и зеленая равнина его покрыта гладкими, без пены, волнами.

За оградой, в голубой пустоте, торчат, дымясь, трубы маслобоек и мыловаренных заводов, пятна крыш лежат разноцветными заплатами на темном рубище города, жмурятся на солнце всевидящие очи — слуховые окна чердаков. Сейчас же по ту сторону ограды лежит зеленая полоса скудного дерна, на нем качаются какие-то бедные, сухие стебли. Дальше — пожарище, черная полоса земли, усеянной грудями закопченного мусора, рассыпавшихся печей, серой золы, угольной пыли. В небо разинулись черные вонючие ямы сгоревших погребов: мещане-домохозяева по ночам сливают в них — из экономии — содержимое выгребных ям.

Из бурьяна торчат, лоснясь, большие головни, разноцветно блестит на солнце битое стекло и точно смеется. В двух местах этой черно-бурой площади, полукольцом обнявшей кладбище, прорезались, как два зуба, новые, желтые постройки, — маленькие, жалкие среди мусора и густых зарослей лопуха, конского щавеля, свинцовой полыни.

Лениво бродят пестрые куры, похожие на торговков, а солидные рыжие петухи напоминают пожарных. В ямах подполий ютятся бездомные собаки с печальными глазами, в зарослях бурьяна чахлые, старые кошки подстерегают воробьев. Играют дети, — жалко видеть, как они прыгают по оскверненной земле и вдруг исчезают где-то в ее грязных морщинах.

А за пожарищем вытянулся длинный ряд дрянненьких, тесных домиков, они густо набиты скучными людьми, тупо и покорно вытаращили квадратные глаза на искрошенный, красный кирпич ограды кладбища и темную массу деревьев на нем. В одном из таких домиков я и живу, — моя крошечная конура пропитана запахом лампадного масла, и каждый вечер ко мне просачиваются благочестивые вздохи и возгласы домохозяина, Ираклия Вырубова, чиновника казенной палаты. Когда я смотрю из окна через мертвую полосу сожженной и загаженной земли на кладбище, оно кажется прекрасным и ласково манит к себе.

Между могил, точно следя за мною, мелькает темная фигура старика, разбудившего меня, — его соломенная шляпа, сильно отражая солнце, качается среди крестов, как цветок подсолнечника. Я тоже слезу за ним и думаю об Ираклии Вырубове: неделю тому назад жена его — женщина тощая, злая, с длинным носом и зелеными кошачьими глазами — ушла пешком в Киев, на богомолье; он тотчас же привел откуда-то косоглазую толстую девицу и назвал ее мне двоюродной племянницей.

— Святое имя — Евдокия, а я привык именовать — Диканька. Прошу любить, однако — предупреждаю — девица не допускающая...

Огромный, сутулый и бритый, как повар, Вырубов всегда озабоченно поддерживал штаны, сползающие

с его живота, набитого, должно быть, арбузами. Его толстые губы жадно приоткрыты, в бесцветных глазах замерзло выражение неутолимого голода.

По вечерам я слышу:

— Диканька, поди-ка, почеси-ка мне спину... Между крылец... О-о, во-от! Ишь ты, вырастила сколько...

Диканька визгливо хохочет, я двигаю стулом или бросаю книгу на пол, — визг и жадный шёпот гаснут, слышен тяжкий вздох:

— О-о... Преподобный отче Николае, моли бога о нас... Квасу на ночь припасла?

Они переходят тихонько в кухню и там визжат, хрюкают, как свиньи.

Седоусый старик легким прыжком молодого человека перескочил тропу, встал перед большим памятником серого гранита и внимательно читает надпись. Лицо у него не русское, одет он в темно-синюю тужурку с отложным воротником, черный галстук завязан пышным бантом и очень оттеняет серебро плотной, точно литой бородки. Между задорными усами — длинный хрящеватый нос, на серой коже щек — сеть тонких красных жилок. Руку он поднял к шляпе, точно отдавая честь усопшему, читает черные слова надписи и одним глазом смотрит на меня. Это мне неприятно, нахмурившись, я прохожу дальше, продолжая думать о своей улице.

Как всегда, между могил шляется Пимаша, тихопьяненький, разорившийся купец Пимен Кропотов; спотыкаясь и падая, он ищет могилу своей жены. Согбенный, с маленьким птичьим лицом в сером пухе, с глазами больного зайца, весь он точно изжеван острыми зубами. Третий год он ходит по кладбищу, слабые ноги едва держат его небольшое, разрушенное тело, — когда он, запнувшись, упадет, то долго не может встать, хрипит, шарит в траве руками, рвет ее, нюхает острым носом, красным, как будто кожа снята с него. Жена умерла и погребена почти за тысячу верст отсюда, в Новочеркасске, но Пимен не верит в это и, часто мигая мокрыми, погасшими глазами, бормочет, задыхаясь:

— Наташа... да, Наташа же...

Почти каждый день бывает госпожа Христофорова, высокая старуха в черных очках, в сером, простом, как саван, платье, отделанном черным бархатом, с палкой в костлявой руке, — у нее уродливо длинные пальцы. Щеки ее дряблого лица опустились, как тряпочки, из-под кружевной косынки начесаны на виски, закрывая уши, седые до зеленого волосы, — она идет очень медленно, очень уверенно и никогда никому не уступает дорогу. Где-то тут у нее лежит сын, убитый во время кутежа.

С книгой в кармане парусинного пиджака, с сачком в красной руке и жестяной коробкой на ремне через плечо, каждое воскресенье после обеда является на кладбище тонконогий, близорукий надворный советник Праотцев, бывший учитель; улыбаясь до ушей, острых и оттопыренных, точно у кролика, он прыгает между могил, машет над ними сачком, как белым флагом, — кажется, что он просит мира у смерти.

Пред вечерней он идет домой, — за оградой его поджидают мальчишки, прыгают, как щенята вокруг аиста, и весело кричат разными голосами:

— Надворный, надворный! В Сухиниху влюбился, в лужу повалился, — надворный!

Он сначала смущенно открывает большой рот и, крикнув голосом старого грача, притопывает ногою, как бы собираясь плясать под эти крики, а потом — сердится и, согнувши спину, держа сачок штыком, бегаёт за мальчишками с визгом:

— Отца-ам... матеря-ам...

Сухинина — нищая; она круглый год во всякую погоду сидит на маленькой скамейке у калитки кладбища, привалясь к ней камнем. Ее большое, кирпичное многолетне пьяное лицо, всё в темных пятнах, обморожено, вспухло от ветра и пьянства, сожжено солнцем, глаза у нее заплыли и гноятся. Когда мимо нее идут, она протягивает короткую руку с деревянной чашкой и басом возглашает, точно ругаясь:

— Христа ради... родителей поминаючи...

Однажды ветер со степи неожиданно принес сизую тучу, хлынул ливень, застиг старуху по дороге домой, сослезу она упала в лужу, Праотцев хотел помочь ей

подняться, но тоже упал рядом; с той поры мальчишки всего города дразнят его.

Мелькают и еще темные безмолвные фигуры завсегдаев кладбища, людей, видимо, на всю жизнь связанных с ним крепкими цепями каких-то нержавеющей воспоминаний; ходят они, точно непогребенные мертвецы в поисках удобных могил, жизнь оттолкнула их, смерть — не берет.

А порою из высоких трав высунется угрюмая глазастая морда бездомной собаки, пугая умным взглядом, — в нем чувствуется печаль отчуждения, и ждешь, что животное сейчас скажет человеческим голосом какой-то правдивый укор.

Иногда такая собака стоит на могиле, поджав хвост, тихонько поводя шершавой бесприютной головой, — она долго стоит так, о чем-то думая. Воет редко, а если начнет выть, — воет негромко и длительно... В густоте старых лип хлопочут грачи, галки, слышен тихий голодный писк птенцов, уговаривающее карканье.

Осенью, когда ветер, сорвав листья, обнажит сучки, — черные гнезда будут похожи на истлевшие головы в мохнатых шапках, — кто-то оторвал их и воткнул на деревья вокруг белой, сахарной церковки во имя великомученицы Варвары. Осенью на кладбище всё плачет, судорожно мечется — стонет ветер, как обезумевший, ограбленный смертью любовник...

Старик неожиданно встал у меня на дороге, поднял руку и, строго указывая на белый камень памятника, громко прочитал:

— Под сим крестом погребено тело раба божия почетного гражданина Диомида Петровича Усова. И — всё!

Он поправил шляпу, сунул руки в карманы брюк и смерил меня строгим взглядом темных, не по-стариковски ясных глаз.

— Ничего не умеют сказать о человеке, — раб божий, только! Но — почему раб удостоен гражданами почета?

— Вероятно — жертвователю какой-нибудь...

Старик топнул ногой о землю, внушительно сказав:

— Напишите-с!

— Что — написать?

— Всё! И — возможно подробней...

Шагая по-солдатски широко, он пошел вперед, в глубину кладбища, я — рядом с ним. Он был по плечо мне, шляпа совершенно скрывала его лицо, я шел наклоня голову, хотелось заглянуть в глаза ему, как в глаза женщины.

— Так — нельзя! — говорил он негромко и мягко, точно жалуясь. — Этим обнаруживается дикарство, невнимание к человеку, к жизни...

Выхватив руку из кармана, он очертил в воздухе широкий круг:

— Что знаменуется этим?

— Смерть, — ответил я, недоуменно пожав плечами.

Он взмахнул головою, показав мне тонко выточенное, острое, но приятное лицо, — усы его дрожали, когда он говорил, отчеканивая славянские слова:

— «Смертию смерть всеконечне погублена бысть», — знаете этот богородичен? То-то-с!

Шагов десять он прошел молча, быстро виляя по капризной тропе, потом вдруг остановился, приподнял шляпу и протянул мне руку.

— Будемте знакомы, молодой человек: поручик Савва Яковлев Хорват, служил по государственному коннозаводству, а также по ведомству уделов. Под судом и следствием не был. Состою в чистой отставке от всех должностей... Домовладелец. Вдов. Характера — неуживчивого.

Он подумал и добавил:

— Тамбовский вице-губернатор Хорват — брат мой. Младший. Ему пятьдесят пять, мне шестьдесят один. Ше-сть-де-сят и один! Да.

Говорил он быстро, но четко, точно мысленно представлял все знаки препинания.

— И вот, поручик Хорват, человек, выдавший всевозможные виды, я недоволен кладбищами! Недоволен всюду и везде!

Он снова задорно потряс рукою в воздухе, огибая широкую дугу над крестами.

— Сядемте. Я вам объясню...

Сели на скамью под боком белой часовенки над чьею-то могилой, — поручик Хорват снял шляпу, вытер

голубым платком лоб и густые волосы, торчавшие на шишковатом черепе серебряными иглами.

— Вслушайтесь: клад-би-ще! А?

Он толкнул меня плечом и объяснил, понизив голос:

— Клады бы искать надо здесь! Клады разума, сокровища поучений. А что я нахожу-с? Обида и позор. Всем — обида! «Все в житии крест яко ярем взявший» обижены нами, и за это будете обижены вы, буду обижен я. Поймите: «крест яко ярем» — а? Значит, признано, что жизнь — трудна и тяжела? Почтите же достойно отживших — они ради вас несли при жизни бремя и ярем, — ради вас! А эти, там, не понимают!

Он махнул шляпой, и по тропе, по кресту над могилой мелькнула, унеслась к городу маленькая, как птица, тень.

Надув красные щеки, пошевелив усами, искоса поглядывая на меня молодым глазом, поручик продолжал:

— Вы думаете: полуумный старик, не более того? Нет, молодой человек, нет-с! Пред вами человек, который оценил жизнь. Посмотрите, разве это памятники? Что они напоминают вам и мне? Ничего. Это не памятники, а — паспорта, свидетельства, выданные человеческой глупостью самой себе. Под сим крестом — Марья, под сим — Дарья, Алексей, Евсей, все — рабы божии и — никаких особых примет! Это — безобразие, здесь людей, отживших трудную жизнь, лишили прижизненного образа, а его необходимо сохранить в поучение мне и вам. Образ жизни всякого человека — поучителен; могила часто интереснее романа, да-с! Вы — понимаете меня?

— Не совсем...

Он шумно вздохнул.

— А это просто понять. Прежде всего я — не раб божий, но человек, разумно исполняющий все добрые заветы его в меру моих сил. И никто — даже сам бог — не вправе требовать от меня свыше того, что я могу дать. Так?

Я согласно наклонил голову.

— Ага? — вскричал поручик. — То-то-с!

Резким движением он, нахлобучив шляпу на ухо, стал еще более задорным, а затем развел руки и прогудел гибким баском:

— Какое же это кладбище? Это — позорище!

— Не понимаю, чего вы хотите, — осторожно сказал я.

Он живо ответил:

— Я хочу, молодой человек, чтоб ничто, достойное внимания, не исчезало из памяти людей. А в жизни — всё достойно вашего внимания. И — моего! Жизнь недостаточно уплотнена, и каждый из нас чувствует себя без опоры в ней именно потому, сударь мой, что мы невнимательны к людям...

Нервно выхватив из кармана брюк тяжелый, серебряный портсигар с желтым шнуром и обильными монограммами, он сунул его мне, приказав:

— Курите!

Я взял толстую папиросу, думая о поручике:

«А беспокойно, должно быть, людям с тобою...»

Закурили. Табак был страшно крепок, но старик затягивался глубоко и жадно, с шумом выгонял изо рта и ноздрей длинные струи дыма и пристально следил, как тихий ветер относит на могилы синеватые облака. Его глаза потускнели, углубились, красные жилки исчезли со щек, и лицо стало серым.

— Каков табак? — спросил он тихо и полусонно.

— Очень крепок!

— Да. Это меня спасает. Я человек... возбужденный и нуждаюсь...

Не кончив — он замолчал, со вкусом глотая дым и рассматривая большой янтарный мундштук. На монастырской колокольне неохотно ударили к вечерней — ноющий звук поплыл в воздухе лениво, устало, и всё вокруг сделалось серьезнее, грустней.

...Почему-то мне неотвязно вспоминался Ираклий Вырубов, в валяных туфлях на тяжелых лапах, толстогубый, с жадным ртом и лживыми глазами, — аккуратный поручик мог бы целиком войти, как в футляр, в это огромное, пустое тело.

...Воскресенье, вечер. На пожарище красно сверкает битое стекло, лоснятся головы, шумно играют дети,

бегают собаки, и ничто ничему не мешает, связанное всё поглощающей тишиною окраины города, пустотой широко развернувшейся степи, прикрытое душным, мутно-синим пологом неба. Кладбище среди этой пустыни — точно остров среди моря.

Вырубов сидит у ворот на лавочке рядом со мною, скосив похотливые глаза влево, где, под окном своего дома, на завалине, расположилась пышная волоокая кружевница Ежова, истребляя паразитов в темных кудрях восьмилетнего сына своего Петьки Кошкодава. Бойко перебирая привычными к быстрым движениям пальцами, она сочным голосом насмешливо говорит в окно невидимому мужу, торговцу старыми вещами на балчуге:

— Да-а, плешивый чёрт, как же... Взял свою цену, да-а... Тебя бы шандалом этим по калмыцкому носу твоему,— дурак! Свою цену...

Вырубов, вздыхая, лениво поучает меня:

— Воля была дана в ошибку, хотя я отечеству моему — ничтожный слуга, а это мне ясно-понятно! Надобно было бы обратить все помещичьи земли в собственность государеву,— во-от как надобно было сделать! И тогда все бы мужики, мещане — словом говоря — весь народ имел бы единохозяина. Народ не может жить добропорядочно, не зная — чей он? Народ — любовластик, он желает всегда иметь над собой единомуководящую власть. Всякий человек ищет над собою власти...

И, повысив голос, насыщая каждое слово приторной ложью, говорит в сторону соседки:

— Вот, возьмите в пример,— работающая, свободная ото всего женщина...

— Это от чего же я свободна? — отзывается Ежова, с полной готовностью на ссору.

— Я ведь говорю не в осуждение, а в почет тебе, Павушка...

— К телке своей ласкайся!

Откуда-то из-за забора звонко вылетает ядовитый вопрос Диканьки:

— Это кто же — корова?

Вырубов тяжело встает и идет на двор, договаривая:

— Все люди нуждаются в присмотре единовластного ока...

Его племянница и соседка поливают друг друга отборной, звонкой руганью. Вырубов встал в калитку, как в раму, и внимательно слушает, причмокивая, приклонив ухо в сторону Ежовой. Диканька кричит:

— А по-моему, а по-моему...

— Ты меня помоями твоими не угощай, — на всю улицу откликается зубастая Павла.

...Поручик Хорват выдул из мундштука окурок, искоса взглянул на меня и неприязненно, показалось мне, шевельнул толстыми усами:

— О чем, смею спросить, мечтаете?

— Хотелось понять вас...

— Это — нетрудно, — сказал он, сняв шляпу и помахивая ею в лицо свое. — Это — в двух словах. Всё дело в том, что у нас нет уважения ни к себе, ни к людям, — вы замечаете? Ага? То-то-с!..

Его глаза снова помолодели, прояснились, он схватил меня за руку крепкими, приятно горячими пальцами.

— А — отчего? Очень просто: как я буду уважать себя, где я научусь тому, чего нет, понимаете — нет!

Он придвинулся еще ближе ко мне и вполголоса сообщил секретно:

— У нас, на Руси, никто не знает, зачем он. Родился, жил, помер — как все! Но — зачем?

Поручик снова возбуждался: краснело лицо, и нервные движения рук стали ненужно быстры.

— Всё это потому, государь мой, что нами — частью забыта, частью не понята, в главном же — скрывается от нас работа человека, так-то-с! И у меня есть идея... то есть — проект, да — проект... это в двух словах!

— Нн-о-у... нн-о-у, — докучно растекалось над мгилами холодное пение маленького колокола.

— Представьте, что каждый город, село, каждое скопление людей ведет запись делам своим, так сказать — «Книгу живота», — не сухой перечень результатов работы, а живой рассказ о прижизненных деяниях каждого человека, а? Но — без чиповников! Пишет

городская дума, волостное правление, специальная «Управа жизни», — я не знаю кто, только — без чиновников! И — пишется всё! Всё, что необходимо знать о человеке, который жил с нами и отошел от нас!

Он протянул руки к могилам:

— Я должен знать, за что положили свою жизнь все эти люди, я живу их трудом и умом, на их костях, — вы согласны?

Я молча кивнул головою, а он торжествующе воскликнул:

— Ага, — видите? Обязательно — записывать всё, что человек сделал хорошо или поучительно плохо! Например: некто сложил печь, особенно спорую на тепло, — запишите-с! Некто убил бешеную собаку — записать! Выстроил школу, замостил грязную улицу, первый научился хорошо ковать лошадей, всю жизнь боролся словом и делом с неправдой — за-пи-ши-те! Женщина родила пятнадцать человек здоровых детей, — а! — это очень нужно записать: это великое дело — дать земле здоровых детей!

И, тыкая пальцем в серый намогильный камень со стертой надписью, он почти закричал:

— Под сим камнем погребено тело человека, всю жизнь свою любившего одну женщину — одну! — это нужно записать! Мне не нужно имен, — мне нужны дела! Я хочу, должен знать жизнь и работу людей. Когда отошел человек — напишите на кресте его могилы — «крест яко ярем», это надо помнить! — напишите для меня, для жизни подробно и ясно все его дела! Зачем он жил? Крупно напишите, понятно, — так?

— Да.

Поручик продолжал горячо, захлебываясь словами, махая рукою вдаль, на город:

— Они там — лгуны, они нарочно скрывают работу, чтоб обесценить человека, показать нам ничтожество мертвых и тем внушить живым сознание их ничтожества! Ничтожными легче править, — это придумано дьявольски умно! Да, конечно, легче! Но — вот я: попробуйте, заставьте-ка меня сделать то, чего я не хочу!

Брезгливо сморщив лицо, он точно выстрелил:

— Ап-параты!

Было странно видеть задор старика, слушать его крепкий басок, бодро нарушавший тишину кладбища. Высоко над могилами лениво таял, докучая, будничный звук:

— Нн-о-у, пн-о-у...

Маслянистый блеск сочных трав исчез, погас, и всё стало матовым; воздух густо насыщался пряным запахом намогильных цветов нарцисса, герани и левкоя...

— Нет, лжете, каждый из нас стоит своей цены,— это прекрасно видишь, прожив на земле шесть десятков лет! Нет, вы не скрывайте: всякая жизнь может и должна быть объяснена; человек — работник всему миру, он мой учитель в худом и добром. Жизнь вся, насквозь — великое дело незаметно маленьких людей, не скрывайте их работу, покажите ее! Напишите на кресте, над могилой умершего, все дела его и все заслуги, пусть они ничтожны, но — покажите себя умеющим найти хорошее и в ничтожном. Теперь вы поняли меня?

— Да,— сказал я.— Да!

— Так-то-с!

Колокол торопливо крикнул дважды и замолчал, оставив в воздухе над кладбищем печальный струнный звук, а собеседник мой снова вынул портсигар, молча протянул его мне и стал тщательно раскуривать папиросу. Руки его, маленькие и темные, как птичьи лапы, немножко дрожали, голова опущена и похожа на плюшевое пасхальное яйцо.

Курил и ворчал, недоверчиво, хмуро заглядывая в глаза мне:

— Земля сильна трудом людей... Всякий может найти себе опору на земле... нужно только хорошо знать и помнить прошлое...

Кудрявые дымы над городом покраснели, слуховые окна зарделись ярким румянцем, напоминая мне багровые щеки племянницы Вырубова,— в этой девице, как и в дяде ее, было что-то решительно «не допускающее» думать о ней хорошо и ласково.

Одна за другою в ограду кладбища вползали темные лохматые фигуры нищих; от крестов на землю ложились тени, такие же осторожные, как нищие.

Где-то далеко, в потемневшей зелени, дьячок тянул лениво и равнодушно:

— Ве-е-ечна-ая — ппа-а...

— За что? — сердито пожав плечами, спросил поручик Хорват. — За что — вечная память? Может быть, она лучше всех в городе солила огурцы, мариновала грибы... Может быть, он был лучший сапожник или однажды сказал что-то, о чем по сей день еще помнит улица, в которой он жил. Объясните мне человека!

И лицо его окуталось облаком крепко пахучего дыма, сильно кружившего голову.

Ветер тихо вздохнул, наклонил стебли трав в сторону нисходившего солнца, стало тихо, и в тишине резко прозвучал капризный женский голос:

— А я говорю — налево!

— Танечка, ну как же...

— Забыли! — выдувая дым длинной трубообразной фигурой, проворчал старик. — Забыли, где лежит родной или знакомый...

Над красным крестом колокольни плавал ястреб, а по камню памятника, против нас, ползла бледная тень птицы, то соскальзывая за угол камня, то снова являясь на нем. Следить за этой тенью было странно приятно.

— Кладбище, я говорю, должно знаменовать не силу смерти, а победу жизни, торжество разума и труда, так-то-с! Вы вот представьте себе, каким оно было бы по моей мысли! Это история всей жизни города, это было бы способно поднять чувство уважения к людям... Или кладбище — история, или — не нужно его! Не нужно прошлого, если оно ничего не дает! История — пишется? Ну да — история событий... но я хочу знать, как события творились рабами божьими.

Широким жестом, как-то удлинившим его руку, он указал на могилы.

— Хороший вы человек, — сказал я, — и хорошо, интересно жили, должно быть...

Он, не глядя на меня, ответил тихо и задумчиво:

— Человек должен быть другом людей, — он объяснил им всем, что есть у него и в нем. А жил я...

Прищурился, он посмотрел вокруг, как будто искал нужное слово. И, не найдя его, веско повторил уже сказанное им:

— Надо сдвинуть людей теснее, чтобы жизнь уплотнилась! Не забывайте ушедших! Всё поучительно, всё полно глубокого смысла в жизни рабов божиих... так-то-с!..

На белые бока памятников легли багряные жаркие отблески заката, и камень как будто налился теплой кровью; все кругом странно вспухло, расширилось, стало мягче и теплей, и хотя всё было неподвижно, но казалось насыщенным красной живой влагой, даже на остриях и метелках трав дрожала, светясь, багряная пыль. Тени становились гуще, длиннее. За оградой, пьяным голосом, жирно мычала корова и кудахтали куры, видимо ругая ее. Где-то около церкви торопливо хрипела и взвизгивала пила.

Вдруг поручик засмеялся бархатистым смехом, встряхивая плечами, поталкивая меня и ухарски передвинув шляпу на ухо.

— А ведь я, признаться, — сквозь смех говорил он, — подумал о вас печально... подумал, что вы... вижу — лежит человек — гм? — думаю, — почему, а? Потом — ходит молодой человек по кладбищу, лицо хмурое, карман брюк оттопырен, — э-э, думаю!

— Это — книга в кармане...

— Ну да, понимаю, я ошибся! Это приятная ошибка... Но — однажды я видел: лежит человек около могилы, а в виске — пуля, то есть — рана, конечно... Ну, и, знаете...

Он подмигнул мне, снова смеясь негромко и добродушно.

— Проекта у меня, разумеется, нет, это просто — так... мечта! Очень хочется, чтоб люди жили лучше...

Вздохнув, он задумался, помолчал.

— К сожалению — поздно захотелось мне этого... Лет пятнадцать тому назад, когда я был смотрителем усманской тюрьмы, и...

Старик вдруг встал, оглянулся, нахмурил брови, и сказал деловито, сухо, сильно двигая коваными усами:

— Ну-с, мне пора идти!

Я пошел с ним, хотелось, чтоб он еще и еще говорил приятным твердым баском, но — он молчал, шагая мимо могил четко и мерно, как на параде.

Когда мы шли мимо церкви, сквозь железные решетки окон в красную тишину вечера истекало, не нарушая ее, угрюмое брюзжанье, досадные возгласы; как будто спорили двое и один скороговоркою частил:

— Что-о ты сделал, что ты, что ты, что ты-и?..

А другой, изредка, устало откликался:

— Отста-ань, о-отстань...

НА ПАРОХОДЕ

Вода реки гладкая, тускло-серебристая, течение ее почти неуловимо, она как бы застыла, принакрытая мглою жаркого дня, и только непрерывное изменение берегов дает понять, как легко и спокойно сносит река старенький рыжий пароход с белой каймой на трубе, с неуклюжей баржей на буксире.

Сонно чмокают шлепки плещ, под палубой тяжело возится машина, шипит-вздыхает пар, дребезжит какой-то колокольчик, глухо ерзает рулевая цепь, но все звуки — не нужны и как будто не слышны в дремотной тишине, застывшей над рекой.

Лето — сухое, и вода — низка; на носу парохода матрос, похожий на монаха, — худощавый, чернобородый, с погашенными глазами на желтом лице, — мерно спуская за борт пеструю наметку, стонет-поет печально тающим голосом:

— Се-см... се-ем... шесть...

Словно жалуется:

«Сеем, сеем, а есть — нечего...»

Пароход не спеша поворачивает свой стерляжий нос то к одному берегу, то к другому, баржа рыскает, серый шнур буксира натягивается струною, дрожит; золотыми и серебряными искрами летят от него во все стороны брызги воды, — с капитанского мостика кричат в рупор толстые слова:

— Оол... уо...

Под носом баржи — белый крылатый вал, разрезанный надвое, он волнисто бежит к берегам.

В луговой стороне, должно быть, горят торфяники, там, над черными лесами, нависло опаловое облако, а может, его надышали болота.

С правой стороны берег высок, обрывист, голые глинистые скаты, но иногда они разрезаны оврагом, в нем — в тени — прячутся осины и березы.

Тихо, жарко, безлюдно на земле, в мутно-синем, выгоревшем небе — раскаленное добела солнце.

Без конца расплылись луга, кое-где среди них одиноко стоят, заснув, деревья, звездою дневной горит над ними крест сельской колокольни, вскинута в небо серые крылья мельницы, далеко от берега видны парчовые скатерти зреющих хлебов. Люди редко видны.

Всё вокруг немного слинявшее, спокойное и трогательно простое; всё так близко, понятно и мило душе. Смотришь на медленные, неуверенные изменения горного берега, на неизменную широту лугов, на зеленые хороводы леса, — они подходят к воде и, заглянув в зеркало ее, снова тихо уплывают в даль, — смотришь и думаешь, что не может быть на земле столь просто и ласково красивых мест, каковы эти вот — тихие берега реки.

Уже на прибрежных кустарниках виден желтый лист, но всё вокруг улыбается двойственной, задумчивой улыбкой молодухи, для которой пришла пора впервые родить, — и страшит ее это и радует.

Время — далеко за полдень. Пассажиры третьего класса, изнывая от скуки и жары, пьют чай, пиво, многие сидят у бортов, молча глядя на берега. Дрожит палуба, звенит посуда в буфете, и всё вздыхает усыпительно матрос:

— Шесь... шесь с половина-ай...

Из машины вылез копченый кочегар и, развинченно покачиваясь, тяжело шаркая босыми ногами, идет мимо каюты боцмана, а боцман, светловолосый бородатый костромич, стоя в двери и насмешливо прищурив бойкие глаза, спрашивает:

— Куда торопишься?

— Митьку дразнить.

— И то — дело!

Болтая черными руками, кочегар пошел дальше, боцман, неохотно позевнув, оглянулся. Около спуска в

машину на длинном ящике сидит маленький человечек в коричневом пиджаке, в новом теплом картузе, в сапогах, облепленных серыми комьями засохшей грязи.

От скуки боцману захотелось распорядиться, он строго окрикнул:

— Эй, земляк!

Тот, пугливо и по-волчьи, — всем туловищем, — повернулся к нему.

— Ты чего тут сел? Написано — «Осторожно», а ты сел! Али неграмотен?

Пассажир встал и, оглядывая ящик, отозвался:

— Грамотный.

— А сидишь где нельзя!

— Не видать надпись-то.

— И жарко тут; из машины масляный дух. Ты откуда?

— Кашинской.

— Давно из дома?

— Третья неделя.

— Дожди у вас были?

— Не-е. Какие тут дожди!

— А отчего сапоги у тебя эдак грязны?

Опустив голову, пассажир выдвинул вперед одну ногу, потом другую, посмотрел на них и сказал:

— Это не мои сапоги.

Боцман ухмыльнулся, его светлая борода весело оцетинилась.

— Ты — что, пьющий, что ли?

Не ответив, пассажир тихо, короткими шагами, пошел на корму. Рукава пиджака опустились ниже кистей его рук, стало ясно, что пиджак на нем с чужого плеча. Глядя, как осторожно и неуверенно он шагает, боцман нахмурился, закусил бороду, подошел к матросу, усердно оттиравшему голой ладонью медь на двери каюты капитана, и негромко сказал ему:

— Тут едет маленький, в рыжем пиджаке, сапоги грязные — видал?

— Видал будто.

— Скажи — поглядывали бы за ним.

— Жулик?

— Вроде того.

— Ладно...

За столом, около рубки первого класса, толстый человек, весь в сером, одиноко пьет пиво. Он уже осовел в тяжелом опьянении, глаза его слепо выкатились и, не мигая, смотрят в стену. Перед ним на столе, в липких лужах, копошатся мухи, они ползают по его седоватой бороде, по кирпично-красной коже неподвижного лица.

Боцман сказал, подмигнув на него:

— Всё гасит.

— Такое его дело,— отозвался, вздохнув, рябой безбровый матрос.

Пьяный чихнул, мухи тучей взвились над столом; боцман поглядел на них и, тоже вздохнув, сказал задумчиво:

— Мухами чихает...

Я облюбовал себе место на дровах, около трюма кочегарни, и, лежа, смотрю, как темнеют горы, тихо подвигаясь встречу пароходу, бросая на воду траурную пелену. В лугах еще догорает вечерняя заря, стволы берез красны, новая крыша избы у самого берега точно кумачом покрыта, там всё плавится в огне и, теряя очертания, течет широкими ручьями красного, оранжевого, синего, а на горе стоит черный ельник и напряженно приподнят, острый, точеный.

Уже рыбаки зажгли костер под горою, огонь, играя, освещает белый борт лодки, темного человека в ней, паутину сети, повешенной на кольях, и бабу в желтой кофте, присевшую у огня. Над костром и женщиной растопырилось черное ветвистое дерево, и видно, как трепещут золотисто освещенные листья нижних веток.

Примятый сумраком вечера, говор пассажиров слился в сплошной, по-пчелиному гудящий звук: не видно и непонятно, кто о чем говорит, бессвязны слова, но как будто все говорят об одном, дружески и правдиво. Слышен сдержанный смех молодой женщины, на корме ладятся петь, но не могут найти песню всем по душе и негромко, без сердца, спорят. Во всех звуках есть что-то вечернее, мирно-печальное, похожее на молитву.

За дровами, близко от меня, густой, гудящий голос, не спеша, рассказывает:

— Был он парень-удача, опрятной, гладкой, а после того — замшился, запаршивел, в сучки пошел...

Другой голос, бодрый и звонкий, восклицает:

— Не тянись к барам, не пройдет даром...

— Однако сказано, рыба ищет — иде глубже...

— А дурак — что хуже! Он тебе не родня?

— Брат родной...

— О? Ну, прости за слово.

— Ничего. Он — дурак и есть, ежели прямо-то сказать...

К отводу подошел пассажир в коричневом пиджаке; держась левою рукой за стойку, он шагнул на решетку, под которой пенно кипела вода, взбитая колесом, и долго стоял, глядя за борт, покачиваясь, напоминая летучую мышь, которая, зацепившись одним крылом за что-то, висит в воздухе. Глубоко надвинутый картуз согнул ему уши, и они смешно оттопырились.

Вот он обернулся, всматриваясь в сумрак под тенем парохода и, должно быть, не различая меня в дровах. Мне хорошо видно его лицо — острый нос, ключья рыжеватой шерсти на щеках и подбородке, маленькие, неясные глаза. Он, видимо, прислушивается к чему-то.

Вдруг он решительно шагнул на отвод, быстро отвязал от железа перил швабру, бросил ее за борт и тотчас стал отвязывать другую.

— Эй,— окликнул я его,— это зачем?

Он подпрыгнул, завертелся и, приложив руку ко лбу, отыскивая меня глазами, заговорил тихонько, быстро, заикаясь:

— К'акое дело, а? В'от ведь!..

Я подошел к нему, удивленный и заинтересованный его озорством.

— За это с матросов взыщут...

Поочередно подтягивая вверх рукава пиджака, точно собираясь драться, и тихо притопывая ногою по сольской решетке, он бормотал:

— Я вижу — отвязалась она, сейчас ее стрясет в

реку! Хотел привязать да и не сумел — ускользнула из рук.

— А мне показалось, — заметил я, — что вы ее сами отвязали да сбросили.

— Ну вот, — зачем же! Разве можно!

Легко и быстро проскользнув под рукой у меня, он пошел прочь, всё поправляя рукава. Пиджак смешно укорачивал его ноги, и снова бросилось в глаза, что походка у него какая-то виляющая, тревожная.

Ночь пришла: люди заснули, ухо привыкло к неугомонному шуму машины, к мерному хлюпанью колес по воде и уже не воспринимает этот шум. Сквозь него ясно слышен храп спящих, тихие шаги, чей-то возбужденный шёпот:

— Говорила я ему, ах говорила: «Яша, не надо, не надобно!»

Берега исчезли, о них вспоминаешь только по движению редких огней во тьме. В реке тускло блестят звезды, а за пароходом текут золотые отражения его огней, — дрожат, как будто желая оторваться и уплыть во тьму. Парчовая пена лижет темный борт; за кормою, настигая пароход, тащится баржа, на носу у нее прищурились два огня, а третий, на мачте, то заслоняет звезды, то сливается с огнями берега.

Недалеко от меня, на скамье, под фонарем, крепко спит дородная женщина, одна рука ее закинута под голову, на небольшой узел, кофта под мышкой лопнула, видно белое тело, и обильные волосы косицей высунулись наружу. Лицо у нее большое, черноброе, полные щеки оплыли к ушам, растянув толстые губы в нехорошую, мертвую улыбку.

Я лежу выше ее, поглядываю на нее сверху вниз и думаю сквозь дрему: ей лет сорок с лишним, наверное, она добрая баба, едет к дочери, к зятю или к сыну и невестке, везет им подарки и много славного, материнского в большом сердце.

Что-то вспыхнуло, точно близко спичку зажгли, я открыл глаза — пассажир в чужом пиджаке стоял около женщины, прикрывая рукавом горящую спичку, потом,

осторожно вытянув руку, он приблизил маленький огонек к волосам под мышкой женщины, я услышал тихий треск и противный запах паленой шерсти.

Вскочив, я схватил озорника за шиворот, встряхнул:

— Что ты делаешь?

Чуть слышно, противно хихикая, он вертелся в руке у меня и шептал:

— Как бы она испугалась, а?

— Ты с ума сошел, чёрт!

Он, часто моргая, заглядывал куда-то за спину мне, вертелся и шептал:

— Да —пусти! Захотелось пошутить, — беда ли? Вон она, — спит себе...

Я оттолкнул его, он бесшумно откатился на коротких, точно обрубленных ногах, оставив меня в тоскливом недоумении:

«Значит — я не ошибся, швабру он нарочно сбросил. Что за человек?»

В машине задрезжал колокольчик.

— Есть тихой! — весело крикнул кто-то.

Завыл гудок, женщина проснулась, быстро подняла голову, пощупала левой рукою под мышкой и, сморщив измятое лицо, взглянула на фонарь. Села и, заправляя под платок сбившиеся волосы, сказала тихонько:

— О матушка, пресвятая богородица...

... Пароход стоял у пристани, чуваши таскали дрова, с грохотом сбрасывая их в трюм кочегарни, а перед тем, как сбросить, сердито кричали странное слово:

— Труш-ша!

Над городком, прижатым к горе, поднялась ущербленная луна, черная река посветлела, ожила, лунный свет словно вымыл всю землю теплой водою.

Я ушел на корму и сел там среди каких-то ящиков, разглядывая город, вытянувшийся по берегу. Над одним его концом толстой палкой торчала труба завода, над другим и в середине — поднялись две колокольни, одна — с золотой главой, другая, должно быть, зеленая или синяя, теперь, при луне, она кажется черной и похожа на истертую малярную кисть.

Против пристани в широкое чело двухэтажного дома воткнут фонарь, вздрагивая, горит за грязными стеклами бескровный, тусклый огонь, и по длинной полосе изогнутой вывески ползают желтые крупные буквы: «Трактир с», дальше буквы не видны.

Еще в двух-трех местах сонного города зажжены фонари, пятна мутного света стоят в воздухе, освещая углы крыш, серые деревья и окно, нарисованное белой краской на глухой стене.

Смотреть на всё это грустно.

Пароход шипит, возится, трется о борт пристани, скрипит дерево, вздыхает вода, кто-то свирепо орет:

— Дьявол! Кранцы,— кранец на корму, чтоб те разорвало...

— Пошли, слава создателю,— говорит за ящиками уже знакомый бодрый голос и спрашивает густо:

— Ну, дак как же, поди, кричал он?

Торопливо и невнятно, причмокивая, заикаясь, кто-то отвечает:

— Кричал: родимые, кричал, не убивайте, помилуйте Христа ради! Всё, кричит, вам спишу, в крепкие ваши милые рученьки, дайте греха избыть, душеньку отмолить! На богомолье пойду, пропаду на всю жизнь, до конца даже, не увидите, не услышите,— а тут шкворнем его по виску, ажно на меня кровью брызнуло, он и покатился. А я — бежать, прибег в кабак-то, стучу-кричу: сестрица родная, убили совсем батюшку-то, а она из окошка вывесилась — так, говорит, ему, волку беспутному, и надо! Ох, как страшно было,— ночь эта,— до того ли напугался я — беда! Залез на чердак сначала, нет, думаю, найдут и прикончат, как я прямой наследник ко всему имуществу; вылез на крышу, за трубу спрятался, сажу, держусь за нее руками-ногами и онемел со страху.

— Чего же тебе-то было бояться? — перебил рассказчика бодрый голос.— Ведь ты, с дядей, тоже шел против отца?

— В этих делах расчета нету: одного убил по нужде, а другого и так можно, просто...

— Верно,— сказал густой голос тяжело и глухо,— это верно! Абы один раз кровь пролить, на другой она

сама поманит. Убивать кто начал — ему всё равно за что, хоть за то, что не стой близко.

— Однако тут — ежели он правду рассказывает — за дело! Хозяйство зорить нельзя...

— А и убивать самовольно тоже не порядок! Для неправильных людей суд есть...

— Дойди-ко до него! Вон малый-то, боле года зря в тюрьме сидел...

— Как же — зря? Он отца в избу заманивал? Ворота запер?

Снова быстрым ручьем потекли всхлипывающие, мятые слова, — я догадался, что рассказывает про убийство человек в грязных сапогах.

— Я себя не оправдываю, я ведь и на суде всё это сказал, потому и лишили меня наказания. Их — дядю с братом — в каторгу, а меня отпустили вот...

— А ты знал, что они согласились убить отца-то?

— Я думал — только пострадают. Он, батюшка-то, не признавал меня за сына, езуитом звал... Очень многие люди плакали через него...

— Мало ли через что люди плачут! Эдак-то, ежели все причины слез наших поубивать, — чего с нами будет? Ты пролей слезу, а кровь — не тронь, не твоя! Думаешь — твоя в тебе кровь-то? И в тебе она не твоя, не то что...

— Тут, главное, имущество! Жили-жили, наживали, вдруг — всё начало тлеть да пропадать. Поневоле ум потеряешь, озлобишься и на отца родного... Однако надо маленько поспать...

Мимо меня прошел высокий человек в черном чапане и картузе с большим козырьком.

За ящиками стало тихо, я встал и посмотрел туда: пассажир в коричневом пиджаке привалился, съездившись, ко гряде каната, руки он засунул в рукава и, положив на колени, оперся на них подбородком. Луна смотрела прямо в лицо ему — оно было синевато, узкие глаза спрятались под бровями.

Рядом с ним, вверх грудью, ко мне головой, лежал широкоплечий мужик в коротком полушубке, в белых валяных сапогах с мушками. Кудрявая, вся в кольцах, серая борода его жестко торчала вверх; закинув руки

под голову, он смотрел воловьими глазами в небо, где тихо блестели редкие звезды и таяла луна.

Трубным звуком, безуспешно стараясь смягчить голос, он спросил:

— Значит — дядя-то на барже едет?

— Да. И брат.

— А ты — тут? Дела!

По синевато-серебряной пенной дороге тащилась, взрывая ее, как соха, темная арестантская баржа. При луне огни ее побледнели, корпус с железной клеткой на палубе поднялся выше над водой. С правой руки плыл, волнисто изгибаясь, черный мохнатый берег.

И всё вокруг — мягкое, текучее, тающее — возбуждало тоскливое чувство неустойчивости, непрочности.

— Куда же ты едешь?

— Да вот... увидаться с ними надобно.

— По хозяйству?

— А как же...

— Я те, малой, вот что скажу: брось всё — дядю, хозяйство, всё бросай! Коли в кровь попал, да еще в родную, — удались прочь ото всего!

— А хозяйство-то как? — подняв голову, спросил парень.

— Толкуй с тобой! — сердито сказал мужик, закрыв глаза.

Рыжеватая шерсть на лице парня зашевелилась, как под ветром, он крикнул, оглянулся и, заметив меня, зло крикнул:

— Ну, — чего глядишь?

Большой мужик открыл глаза, посмотрел на него, на меня и загудел:

— А ты не ори, варежка!

Я ушел на свое место и лег спать, думая, что мужик верно сказал, — лицо парня очень похоже на шерстяную, истертую варежку.

Мне приснилось, будто я крашу колокольню, а огромные большеглазые галки, летая вокруг ее главы, бьют меня крыльями, мешают работать. Отмахиваясь от них, я сорвался, упал на землю торчмя головой и тотчас

проснулся от боли, — тошное, тупое ощущение слабости и дурноты мешало дышать, пред глазами колебался, одуряя, разноцветный туман, а из головы, за ухом, текла кровь.

С трудом поднявшись на ноги, пошел на отвод к водокачке, облил голову тяжелой струею холодной воды, крепко обвязал полотенцем и, возвратясь на свое место, стал осматривать его, соображая: как это могло случиться со мною?

Спал я на палубе, около поленницы мелких дров, приготовленных для кухни; там, где лежала моя голова, валялся березовый кругляш. Я поднял полено, посмотрел — оно чистое, всё в топких, шелковых кудрях бересты, и эти кудри тихонько шуршат. Вероятно, это полено и стрясла на голову мне непрерывная дрожь парохода.

Успокоенный, зная, как объяснить этот неприятный случай, я отправился на корму, где нет тяжелых запахов и широко видно.

Были те минуты перелома ночи, минуты крайнего напряжения ее пред пачалом рассвета, когда вся земля кажется глубоко и надолго погруженной в непробудный сон, когда полнота тишины возбуждает в душе особенную чуткость, звезды странно близки земле, а утренняя звезда ярка, точно маленькое солнце.

Но уже небо, холодно серея, незаметно теряет ночную мягкость и теплоту; лучи звезд опадают, как лепестки цветов, луна, доселе золотистая, бледнея, опыляется серебром и уходит всё дальше от земли. Вода реки неуловимо изменяет свой густой, маслянистый блеск, в ней капризно являются на миг и тотчас исчезают жемчужные отражения быстрых изменений цвета небес.

А на востоке, над черными зубцами елового леса, уже поднята — повисла тонкая, розовая пелена; она разгорается всё ярче, и ее слишком нежный, сладковатый цвет приятно густеет, становится всё более смелым и ярким, — точно шёпот робкой молитвы переходит в ликующую песнь благодарности. Еще миг, и острые вершины елей вспыхнули красным огнем, горят, как праздничные свечи во храме.

Невидимая рука бросила на воду и влачит по ней

прозрачную ткань разноцветного шёлка, предутренний ветер покрыл реку серебристой чешуей,— глаза устают следить за игрою золота и перламутра, багреца и зеленовато-голубых пятен обновленного солнцем неба.

Веером раскрылись первые, мечеобразные лучи, концы их ослепительно белы, и кажется, что слышишь, как с безграничных высот ниспадает на землю густой звон серебряных колоколов, торжественный звон встрече грядущему солнцу,— над лесом уже виден красный его край,— чаша, полная сока жизни, опрокинута над землею и щедро льет на нее свою творческую мощь, а с лугов в небо поднимается, точно дым кадильный, красноватый пар. С горного берега, мягко легли на реку зеленые тени прибрежных деревьев, ртутью блестит роса на траве, птицы проснулись, белая чайка летит над водою, белая тень ее скользит по цветной воде, а солнце жар-птицей всплывает всё выше в зеленовато-голубые небеса, где, угасая, серебряная Венера — тоже как птица.

По желтой полосе прибрежного песка бегают голенастые кулики; двое рыбаков, выбирая снасть, качаются в лодке на волне парохода; с берега плывут чуть слышные звуки утра — поют петухи, басовито мычит скот, слышны упрямые голоса людей.

Желтые ящики на корме парохода тоже покраснели, и красной стала сивая борода большого мужика, — распластав тяжелое тело по палубе, он спит с открытым ртом, гулко всхрапывая; брови его удивленно подняты, густые усы шевелятся.

В углублении, среди ящичков, кто-то завозился, вздохнул; заглянув туда, я встретил воспаленный взгляд узких маленьких глаз, мохнатое лицо-варежка было еще более худо и серо, чем вчера. Человеку, видимо, холодно, он скорчился, воткнул подбородок между колен, обнял ноги шершавыми руками и тоскливо, затравленно смотрит снизу вверх, прямо в глаза мне, устало, безжизненно говоря:

— Ну, напел? Ну — бей! Вали!.. Я — тебя, ты — меня, — ну!

Удивленный почти до испуга, я тихонько спросил:

— Это ты меня ударил?

— А где свидетели? — слыло и негромко крикнул он, разняв руки и вскидывая голову с оттопыренными ушами, точно раздавленную нахлобученным картузом, сунул руки в карманы пиджака и вызывающе повторил:

— Свидетели — есть? Пошел к чёрту!

Было в нем что-то беспомощное, лягушечье, — он вызывал чувство брезгливости. Говорить с ним не хотелось, и не было желания отомстить ему за дрянной удар. Я молча отвернулся.

А когда, через минуту, снова взглянул — он сидел в прежней позе, обняв руками колена, положив на них подбородок, и смотрел мертвым взглядом красных от бессонницы глаз на баржу, тянущуюся за пароходом, между двух широких лент вспененной воды, игравшей на солнце, как ядреная брага.

И праздничное, утреннее веселье, ясный блеск неба, ласковые краски берегов, певучие звуки юного дня, бодрая свежесть воздуха — всё вокруг еще более печально оттеняло глаза маленького человека, их неживой, чуждый всему взгляд...

Когда пароход отвалил от Сундыря, человек этот бросился в воду, — он прыгнул за борт на глазах людей, и тотчас же все на палубе заорали, заметались, толкая друг друга, жадно пробиваясь к бортам, быстро оглядывая спокойную реку, всю от берега до берега в ослепительном блеске.

Прерывисто и набатно гудел гудок, матросы бросали в воду спасательные круги, точно барабан, ухала палуба под прыжками и беготней людей, испуганно шипел пар, истерически кричала какая-то женщина, а на мостике дико орал капитан:

— Довольно бросать! Обалдел, подлец! Успокаивай публику, чёрт вас...

Немытый, нечесаный священник, придерживая обеими руками встрепанные волосы, толкал всех толстым плечом, подставляя ноги людям и, пугливо тараща глаза, спрашивал одно и то же:

— Мужик али баба? А? Мужик?

Когда я пробился на корму, человек был уже далеко

за кормой баржи, — на широком стекле воды чуть виднелась его голова, маленькая, словно муха. К ней быстро, как водяной жук, подплывала рыбацья лодка, качались два гребца — красный и серый, от лугового берега спешно мчалась еще одна, прыгая на волне веселым теленком.

В тревожный шум на пароходе вливался с реки тонкий, режущий сердце крик:

— А-а-а...

И в ответ ему остроносый чернобородый мужик в хорошем чапане бормотал, причмокивая:

— Ах, дурашка... экой несуразной, а?

А мужик с курчавой бородою убежденно и крепко говорил, заглушая все голоса:

— Не-е, совесть свое возьмет! Вы там судите, как назначено, а — совесть нельзя погасить...

Перебивая друг друга, они стали рассказывать публике тяжелую историю рыжеватого парня, а рыбаки уже подняли его из воды и, торопливо взмахивая веслами, везли к пароходу.

— Как увидали они, — трубил бородатый мужик, — что он около солдатки этой совсем завертелся...

— А имущество, после отца, неделенное, — смекни! — вставил мужик в чапане, и всё время, пока бородач с жаром рассказывал историю убийства человека братом, племянником и сыном, этот опрятный, сухой, солидно одетый мужик, ухмыляясь, вставлял в густую речь бодрым голосом бесчисленные острые слова и поговорки, точно колья в землю забивал, города плетень.

— Всякого туда тащит, иде еда слаще.

— В сладком-то — яд!

— А ты его не ешь, не любишь?

— Ну, так что? Я не праведник!

— Ага? То-то!

— Что — то-то?

— Ничего! Псу — не укор, коли цепь коротка.

И, нос к носу друг с другом, они начали возбужденно спорить, влагая в простые, но неожиданно ловко соединенные слова какие-то только им понятные мысли. Один — тонкий, весь вытянувшийся вверх, с холодным взглядом насмешливых глаз на темном костлявом

лице, говорил бойко, звонко и всё приподнимал плечи; другой — широкий и огромный, раньше казавшийся спокойным, уверенным в себе и всё решившим, теперь дышал тяжело, в его воловьих глазах горела тревожная злость, на лице выступили красные пятна, борода ощерилась.

— Стой! — уже рычал он, размахивая рукой, вращая мутными зрачками. — Как так? Али господь не знает, в чем надо стеснить людей?

— Господь ни при чем, коли ты бесу служишь...

— Врешь! Кто первый руку поднял?

— Каин, — ну?

— А кто впервой покаялся?

— Ну, — Адам?

— Ага-а!

— Привезли!

Публика хлынула с кормы, увлекая за собой спорщиков; худой мужик опустил плечи и плотно запахнул чапан, бородатый пошел за ним быком, паклоняя голову, беспокойно передвигая зимнюю шапку с уха на ухо.

Тяжело ворочая колесами, пароход старался удержаться на течении, и следя, чтоб баржа не навалилась на корму, капитан всё время орал в рупор:

— Лев-во клади, рябая морда! Лево-о-о!

Рыбачья лодка подобралась к борту, утопавшего подняли на палубу, — он был мягок, как неполный мешок, весь сочился водою, шершавое лицо его стало гладко и наивно.

Его положили на крышку багажного трюма, но он тотчас же сел, согнулся и, крепко приглаживая ладонями мокрые волосы, спросил глухо, ни на кого не глядя:

— Картуз поймали?

Из тесной кучи людей, окружившей его, кто-то посоветовал:

— Не про картуз, а про душу надоть бы вспомнить.

Он громко икнул, обильно, как верблюд, отрыгнув мутную струю воды, посмотрел на людей усталыми глазами и равнодушно проговорил:

— Убрали бы меня куда-нибудь...

Боцман строго сказал ему:

— Ляг!

Парень покорно опрокинулся на спину, заложил руки под голову и прикрыл глаза, а боцман стал вежливо уговаривать зрителей:

— Расходитесь, господа публика! Что тут глаза палить? Нисколько даже не забавно... Мужик, чего вылупился? Айда, пошел прочь!

Люди, не стесняясь, сообщали друг другу:

— Отцеубийца.

— Да что-о вы?

— Такой мозгляк?

Боцман, присев на корточки, строго допрашивал спасенного:

— Куда билет?

— До Пермы.

— Ну, брат, теперь и в Казани слезешь. Как зовут?

— Яков.

— А фамилья?

— Башкии. Мы же — Вуколовы.

— Двойная, стало быть, фамилья...

Бородатый мужик с явным ожесточением трубил во всю грудь:

— Дядю-то и брательника на каторгу осудили, тут они и едут, на барже, а он — вот он! — ему вышло оправдание. Ну, однако это только наличность: как ни суди, а убивать нельзя! Совесть этого не может поднять, крови, значит. Даже и близко быть к убийству — нельзя...

Всё больше собиралось публики, вышли разбуженные пассажиры первого и второго классов, между ними толкался черпоусый розовый помощник капитана и, конфузясь чего-то, спрашивал:

— Извините, вы не доктор?

Кто-то, удивленно, высоким голосом воскликнул:

— Я? Никогда!

Над рекою мощно разыгрался веселый летний день. Было воскресенье, на горе заманчиво звонили колокола, луговой сторопой около воды шли две пестро одетые бабы и, размахивая платками, звонко кричали что-то пароходу.

Парень, закрыв глаза, лежал неподвижно. Теперь, без пиджака, плотно облепленный мокрою одеждой, он

стал складнее, было видно, что грудь у него высокая, тело полное, и даже замученное лицо сделалось как будто красивей и круглей.

Люди смотрели на него жалостно, строго и со страхом, но — все одинаково бесцеремонно, точно это был не живой человек.

Тощий господин, в сером пальто, рассказывал даме с лиловым бантом на желтой соломенной шляпе:

— У нас, в Рязани, осенью, часовых дел мастер повесился на отдушнике. Остановил все часы в магазине и повесился. Спрашивается: зачем было останавливать часы?

Только чернобровая женщина, спрятав руки под шалью, разглядывала спасенного, стоя боком к нему, скосив глаза, и на серовато-синих глазах ее застыли слезы.

Пришли два матроса; один, наклонясь над парнем, тронул его за плечо:

— Эй, вставай-ко!

Он устало поднялся, и его увели куда-то...

Через некоторое время парень снова явился на палубе гладко причесанный, сухой, в коротенькой белой куртке повара, в синих нанковых штанах матроса. Заложив руки за спину, вздернув плечи, согнувшись, он быстро прошел на корму, а вслед за ним туда поползли скучающие люди — один, три, десять.

Там он уселся на канате; несколько раз — по-волчьему ворочая шеей — оглянул людей и, нахмурясь, подперев скулы руками в рыжей шерсти, уставил глаза на баржу.

Люди стояли и сидели под жарким солнцем молча, вожделенно разглядывая его, явно желая заговорить и еще не решаясь; пришел большой мужик, оглядел всех и, сняв шапку, вытер ею потное лицо.

Серенький красноносый старичок, с редкой ершистой бородкой и слезящимися глазами, откашлялся и заговорил первый слащавым голосом:

— Скажи ты, пожалуйста, как же это случилось?

— Зачем? — не двигаясь, сердито спросил парень.

Старичок вынул из-за пазухи красный платок, встряхнул его и, осторожно приложив к глазам, сказал сквозь платок спокойным тоном человека, решившего настоять на своем:

— Как — зачем? Случай такой, что все должны...

Бородатый мужик вылез вперед и загудел:

— А ты — говори! Легче будя! Грех надо знать...

И — точно эхо отозвалось — раздался насмешливый, бодрящий возглас:

— Поймать да связать...

Чуть приподняв брови, парень негромко сказал:

— Отстали бы вы от меня...

Старичок, аккуратно сложив платок, спрятал его, и, подняв сухую — точно петушинная нога — руку, усмехнулся остренькой усмешкой:

— Может, люди не из пустого интереса просят...

— Плевать мне на людей, — буркнул парень, а большой мужик, притопнув, заревел:

— Как так? А куда от них денешься?

Он долго и оглушительно кричал о людях, о боге и совести, дико выкатывая глаза, взмахивая руками, и, разъярясь всё больше, становился страшным.

Публика, тоже возбуждаясь, одобряла его, подкрикивая:

— Верно-о! Во-от...

Парень сначала слушал молча, неподвижно, потом разогнул спину, встал, спрятав руки в карманы штанов, и, покачивая туловище, начал оглядывать всех зло и ярко разгоревшимся взглядом зеленоватых глаз. И вдруг, выпятив грудь, закричал сипло:

— Куда пойду? В разбой пойду! Резать буду всех... Ну, вяжите! Сто человек зарежу! Всё одно, мне души не жаль, — кончено! Вяжите, ну?

Говорил он задыхаясь, плечи у него дрожали, ноги тряслись, серое лицо мучительно исказилось и тоже всё трепетало.

Люди угрюмо, обиженно и жутко загудели, отступая от него и уходя, некоторые стали похожи на парня — озлились так же, как он, и рычали, сверкая глазами. Было ясно, что сейчас кто-нибудь ударит его.

Но он вдруг весь стал мягкий и точно растаял на солнце, ноги его подогнулись, он рухнул на колени, наклонив голову, как под топор, едва не ударившись лицом об угол ящика, и, хлопая ладонями по груди, стал кричать не своим голосом, давясь словами:

— Разрешите,— как же я? Виноват я? Сидел в остроге, ну, после — судили, сказали — свободен.

Он хватал себя за уши, за щеки, раскачивая голову, точно пытаюсь оторвать ее.

— Ага-а? — рывкнул большой мужик. От его крика люди испуганно шарахнулись прочь, несколько человек поспешно ушли, остальные — с десятков — растерянно и угрюмо топтались на одном месте, невольно сбиваясь в тесную кучу, а парень падорванно говорил, болтая головою:

— Уснуť бы мне лет на десять! Всѣ пытаю себя, не знаю — виноват али нет? Ночью вон этого человека ударил полесом... Иду, спит неприятный человек, дай, думаю, ударю — могу? Ударил! Виноват, значит? А? И обо всем думаю — могу али нет? Пропал я!..

Должно быть, окончательно истомившись, он перевалился с колен на корточки, потом лег на бок, схватил голову руками и сказал последние слова:

— Убили бы меня сразу...

Было тихо. Все стояли понурившись, молча, все стали как-то серее, мельче и похожи друг на друга. Было очень тяжело, как будто в грудь ударило большим и мягким — глыбой сырой, вязкой земли. Потом кто-то сказал смущенно, негромко и дружески:

— Мы, брат милой, тебе не судьба...

Кто-то тихонько добавил:

— Сами, может, не лучше...

— Пожалеть — можем, а судить — нет! Пожалеть тебя — это можно! А боле ничего...

Мужик в чапане сказал звонко и торжествуя:

— Пусть господь судит, а люди — будет!

Еще один человек отошел прочь, говоря кому-то:

— Вот и разбери тут! А судья — он сразу, по книге — виноват, не виноват...

— Абы скорей мимо прошло...

— Всѣ торѣшимся, а — куда?

— То-то и оно.

Откуда-то выдвинулась чернобровая женщина; спустив шаль с головы на плечи, она заправила тропутые сединою волосы под синий выгоревший платок, деловито подогнув подол юбки, села рядом с парнем, заслонив его от людей дородной своею фигурой, и, приподняв мягкое лицо, сказала ласково, но владычно:

— Уйти бы вам отсюда...

Ее послушались, побрели прочь; большой мужик, уходя, говорил:

— Вот — на мое вышло! Совесть-то объявилась...

Но сказал он эти слова без удовольствия, задумчиво и скучно.

Красноносый старичок шел малой тенью сзади его, открыв табакерку, он смотрел в нее мокрыми глазами и, не торопясь, сеял по пути свои слова:

— А иной раз и совестью играет человек, он тоже шельма ведь, человек-от! Выставит ее, совесть, поперед всех хитростей своих, всех плапчиков-затеек, да тем и попрячет их в дымке словесном. Зна-аем! Люди заглядятся — эго, мол, сколь жарко душа горит, а он им той порой кою руку на сердце, кою — в карман...

Любитель поговорок широко распахнул чапан, спрятал под него руки и бойко пояснил:

— Стало быть: верю — всякому зверю, и лисе, и ежу, а шабру — погожу?

— В этом роде, почтенный! Уж очень исказился народишко...

— Н-да... нестройно растет...

— Тесно, братцы! — загудел большой мужик. — Некуда расти-то! Тесно же!

— И растем оттого в ус да в бороду, в сук да в болону...

Старик внимательно оглядел мужика, согласился:

— Тесновато!

Потом сунул в нос щепоть табаку и, остановясь, закинул голову в ожидании, когда придет время чихнуть. Не дождался и, сильно выдохнув ртом воздух, сказал, вновь измерив мужика глазами:

— А надолго ты сделан, дядя!

Мужик спокойно кивнул головой:

— Хватит еще...

Впереди уже видно Казань, главы церквей и мечетей в голубом небе, как бутоны странных цветов. Серая стена кремля опоясывает их. И выше всех церквей — грустная башня Сумбеки.

Здесь мне сходить на берег.

Я еще раз заглянул на корму парохода: черпобровая женщина разламывала над коленями сухую пшеничную лепешку, — разламывала и говорила:

— Чайку поьем! Мне с тобой — до Чистополя.

Парень притулился к ней и задумчиво смотрел на ее большие руки, мягкие, но, видимо, сильные, привычные к простой работе.

Он бормотал:

— Замаяли меня...

— Кто?

— Люди разные. Боюсь я их...

— Ну, чего бояться...

— Так бы всех и...

Женщина подула на кусок лепешки и, протягивая его парню, спокойно сказала:

— А ты полно-ка!.. Вот, я те скажу одну историю-случай, — али чайку прежде поьем, а?

По берегу тянется пестрое, богатое село Услоп, ярко одетые бабы и девки радужно плывут по улице; играет на солнце пенная вода; жарко, мутно, и всё как сон...

ЖЕНЩИНА

Летит степью ветер и бьет в степу Кавказских гор; горный хребет — точно огромный парус, и земля — со свистом — песется среди бездонных голубых пропастей, оставляя за собою изорванные ветром облака, а тени их скользят по земле, цепляются за нее, не могут удержаться и — плачут, стонут...

Деревья гнутся долу, словно бегут; кусты встряхивают ветвями, как собаки шерстью, и стелются по черной земле, — она дымится вся в пыли, течет, не умолкая, сухой шорох, свист и вой, щелкают аисты, крикают сытые вороны, немолчно трещат степные сверчки, и, словно командуя всем, раздаются крики солидных, крупнорослых станичников. С голой степи мчится перебитая молотилками золотая солома, на площади нарядной казачьей станицы крутятся серые вихри, летают птичьи перья и сожженный солнцем желтый лист.

Торопливо появляется солнце, быстро исчезает, точно оно гонится за бегущей землею и устало уже — отстает, тихо падая с неба в дымный хаос на западе, где тоже горы в снежных вершинах и краснеют сырые тучи, тяжелые, как вспаханная земля.

Порою между массаами туч ослепительно сверкает седло Эльбруса и хрустальные зубья других гор — они вцепились в облака и пытаются удержать их. Так ясно чувствуешь бег земли в пространстве, что трудно дышать от напряжения в груди, от восторга, что летишь вместе с нею, красивой и любимой. Смотришь на эти горы, окрыленные вечным снегом, и думается, что за ними бесконечно широкое синее море и в нем гордо простерты иные чудесные земли или просто — голубая пустота, а где-то далеко, чуть видные в ней, кру-

жаты разноцветные шары неведомых планет — родных сестер моей земли...

Со степи едут воза обмолоченного хлеба; в пыли, черной и жирной, как сажа, степенно и тяжело шагают круторогие сивые вола, глядя в землю терпеливым взглядом круглых глаз; на возу лежит казак, в серой от пыли рубахе, мохнатая папаха сдвинута на затылок, лицо черно от загара, глаза красны от ветра, а борода склеена потом, пылью — точно каменная. Иногда казак идет впереди воза, у ярма; ветер толкает его в спину, раздувая рубаху; человек так же гладок и солиден, как вол, и глаза у него такие же терпеливо-умные; движется он не торопясь, как будто зная всё, что ждет его впереди.

— Цоб... цобе...

У них хороший урожай в этом году, все они — здоровые, сытые, но — смотрят хмуро, говорят неохотно, сквозь зубы. Может быть, устали в работе...

Посреди станицы в небо поднялась краснокирпичная церковь о пяти главах, с колокольной над папертью; паличники окон оштукатурены и покрашены желтоватой краской — церковь как будто слеплена из мяса, обильно прослоенного жиром, тень ее тучна и тяжела: храм, созданный сытыми людьми большому спокойному богу.

Хороводом стоят приземистые белые хаты; точно дородные бабы, стоят они, опоясавшись кручеными поясами плетней, пышно окутанные шелками садов, покрытые выцветшей парчой камышевых крыш, а над крышами качаются серебристые тополя, вздрагивает кружевная листва акации, тархтят, как детские погремушки, сухие стручья, темные ладони капитанов треплются в воздухе, точно желая схватить быстро бегущие облака. Со двора на двор бегают казачки, высоко подоткнув подола юбок и рубах, обнажив до колен большие, крепкие ноги, — торопясь убраться к празднику, они озабоченно покрикивают друг на друга и на круглых ребятишек, которые — словно воробьи — купаются в пыли и, черная ее горстями, высоко подкидывают в воздух.

У церковной ограды, за ветром, развалились по

сухому рыжему бурьяну «шляющие за работой»; их десятка два, всё это — «никудышный народ», мечтатели, ожидающие счастливого случая, доброй улыбки судьбы, или — лентяи, опьяненные широким простором богатой земли, пленники русской страсти к бродяжеству. Они ходят группами в два-три человека из станицы в станицу, именно «за работой», — смотрят на нее, удивляются ее обилию, но работают только в крайней нужде, когда уже нет возможности утолить голод иными способами — попрошайничеством или воровством.

Завтра — Успеньев день, в богатой станице — праздник, и вот они собрались отовсюду, в надежде, что праздничный день напоит и накормит их досыта, без труда с их стороны.

Всё это «русские» — из центральных губерний, они дочерна сожжены непривычным солнцем юга, волосы их выгорели, ветер ершит и треплет их лохмотья, все они притворяются смиренными, благочестивыми — устали от трудов, от неудач жизни и вот — сошлись сюда.

Когда мимо них проплывает, охая и поскрипывая, тяжелый воз хлеба, проходит, жуя соломинку, казак, — они покорно, наявливо кланяются ему, а он смотрит на них косо, пренебрежительно, не ломая шапки, чаще же совсем не видит, как изгибаются перед ним серые лохматые фигуры чужих людей.

Ниже и вычурнее других кланяется казакам туляк Конёв, мужик сухой, обгорелый, точно головня, с черной бородкой, беспечно рассеянной по костлявому лицу, с ласковой улыбочкой темных глаз, глубоко спрятанных в орбиты.

Я только сегодня пристал к этим людям, но Конёв — старый знакомый мой, по пути из Курска до Терской области я неоднократно встречал его. Он — человек «артельный», любит держаться среди людей, но, кажется, лишь потому, что очень труслив. На всех точках земли вне своей деревни, прижавшейся где-то к пескам Алексинского уезда, он убежденно говорит всегда одно и то же:

— Действительно, земля тут богатая, а с людьми я не согласен... никак! В нашем краю народ куда те душевнее, настоящий русский народ, равенья нет со

здешним! Тут — кремни, тут души и на трешник нет!

Он любит тихо и задумчиво рассказать чудесный случай неожиданного обогащения:

— Вот — в подковы ты не веришь, а я те скажу — пашел один ефремовский мужик подкову, а недели через три за этим дядя его, лавошник в Ефремове — со всею семьею и сгори,— видал? Всё наследство — мужику этому попало,— да! Нет, ты не бай, чего не знаешь: судьба человека жалеет, она его часто с добром стережет...

Его черные, круто изогнутые брови всползают высоко на лоб, а глаза изумленно выкатываются из орбит, точно Конёв и сам не может поверить в то, что рассказал.

Когда казак пройдет, не ответив на поклон, Конёв смотрит в спину ему и ворчит:

— Заелся, не видит даже человека... Нет, я прямо скажу: суходушный народ!

С ним — две женщины; одна — лет двадцати, коротенькая, толстая, со стеклянными глазами и полуоткрытым ртом. У нее лицо дурочки: нижняя часть его, с обнаженными зубами, как будто смеется, а когда взглянешь в неподвижные глаза под низким лбом — кажется, что она сейчас заплачет, испуганно и визгливо, точно кликуша.

— Отпустил он меня сюды с чужими людьми,— жалуется она басом, засовывая коротким пальцем под зеленый и желтый платок выгоревшие волосы.

Толсторожий скуластый парень с маленькими глазками монгола толкает ее локтем в бок, сипло и лениво говоря:

— Бросил он тебя. Только ты его и видела...

— Да-а,— задумчиво тянет Конёв, разбираясь в своей котомке.— Теперь баб очень просто покидают, ни к чему они в этом годе, нипочем...

Баба морщится, испуганно мигая, растягивает рот,— ее подруга говорит бойко и внятно:

— А ты не слушай их, озорников...

Она постарше лет на пять, и лицо у нее не обычное: большие темные глаза всё время играют, почти каж-

дую минуту меня выражение; то они пристально и серьезно смотрят куда-то вдоль станичной улицы и в степь, где летает ветер, вдруг торопливо начинают искать чего-то на лицах людей, потом тревожно прищурятся, по красивым губам пробежит улыбка, — женщина, опустив голову, прячет лицо, а когда вновь поднимает его — глаза у нее новые: сердито расширены, между тонких бровей лежит угловатая складка, запекшиеся губы аккуратного рта плотно и упрямо сжаты, она шумно, как лошадь, втягивает воздух тонкими ноздрями прямого носа.

В ней чувствуется что-то не крестьянское: из-под синей юбки высунулись потрескавшиеся ступни ног — это не деревенские растоптанные ноги, подъем их высок, заметно, что они привыкли к башмакам. Она чинит голубую с белыми горошинами кофту, и видно, что работать иглой привычно ей, — небольшие загорелые руки мелькают над измятой материей ловко и быстро. Ветер хочет вырвать шитье из этих рук и не может. Сидит она согнувшись, в прореху холщовой рубахи я вижу небольшую крепкую грудь, — грудь девушки, но оттянутый сосок говорит, что предо мною — женщина, кормившая ребенка. Среди этих людей она — точно кусок меди в куче обломков старого, изъеденного ржавчиной железа.

Большинство людей, среди которых я иду по земле, — не то восходя, не то опускаясь куда-то, — серо, как пыль, мучительно поражает своей ненужностью. Не за что ухватиться в человеке, чтобы открыть его, заглянуть в глубину души, где живут еще незнакомые мне мысли, неслыханные мною слова. Хочется видеть всю жизнь красивой и гордой, хочется делать ее такою, а она всё показывает острые углы, темные ямы, жалких, раздавленных, изолгавшихся. Хочется бросить во тьму чужой души маленькую искру своего огня, — бросишь, она бесследно исчезает в немой пустоте...

А эта женщина будит фантазию, заставляя догадываться о ее прошлом, и невольно я создаю какую-то сложную историю человеческой жизни, раскрашивая эту жизнь красками своих желаний и надежд. Я знаю, что это ложь, и — знаю — худо будет мне со временем

за нее, но — грустно видеть действительность столь уродливой.

Большой рыжий мужик, спрятав глаза, с трудом подыскивая слова, медленно рассказывает голосом густым, как деготь:

— Ладно-о. Пошли. Дорогой я ему баю — хошь не хошь, Губин, а вор — ты, более некому...

Все «о» рассказчика крепкие, круглые, они катятся, точно колеса тяжелого воза по теплой пыли проселочной дороги.

Скуластый парень неподвижно остановил на молодой бабе в зеленом платке свищовые белки с мутными, точно у слепого, зрачками, срывает серые былинки, жует их, как теленок, и, засучив рукав рубахи по плечо, сгибает руку в локте, косясь на вздувшийся мускул.

Неожиданно он спрашивает Конёва:

— Хошь — дам раза?

Конёв задумчиво посмотрел на кулак — большой, как пудовая гиря и словно ржавчиной покрытый, — вздохнул и ответил:

— Ты себя по лбу вдарь, может, умней будешь...

Парень смотрит на него сычом, спрашивая:

— А почему я дурак?

— Наличность доказывает...

— Нет, постой, — тяжело поднявшись на колени, придирается парень. — Ты отколь знаешь, каков я?

— Губернатор ваш сказывал мне...

Парень помолчал, удивленно посмотрел на Конёва и спросил:

— А — какой я губернии?

— Отвяжись, коли забыл.

— Нет, погоди! Ежели я тебя вдарю...

Перестав шить, женщина повела круглым плечом, как будто ей холодно стало, и ласково осведомилась:

— А в сам-деле — какой ты губернии?

— Я? Пензенской, — ответил парень, торопливо перевалившись с колен на корточки. — Пензенской, а — что?

— Так...

Женщина помоложе странно засмеялась подавленным смехом.

— И я...

— А уезда?..

— А я и по уезду — Пензепская, — не без гордости сказала молодуха.

Сидя перед пею, точно перед костром, парень протягивал руки к ней и увещающим голосом говорил:

— У нас город — хорош! Трактиров, церквей, домов каменных... А в одном трактире — машина играет... всё, что хошь... все песни!

— И в дураки тоже играет, — тихонько бормочет Конёв, но, увлеченный рассказом о прелестях города, парень уже ничего не слышит, шлепает большими влажными губами и, как бы обсасывая слова, ворчит:

— Домов каменных...

Женщина, снова оставив шитье, спросила:

— И монастырь есть?

— Монастырь?

Свирепо почесав шею, парень молчит, потом сердито отвечает:

— Монастырь! Я дотошно не знаю... я один раз в городу-то был, когда нас, голодающих, железную дорогу строить гнали...

— Эхе-хе, — вздохнул Конёв, вставая и отходя.

Люди прижались к церковной ограде, как сор, согнанный степным ветром и готовый снова выкатиться в степь на волю его. Трое спят, некоторые чинят одежду, бьют паразитов, нехотя жуют черствый хлеб, собранный под окнами казачьих хат. Смотреть на них скучно, слушать беспомощную болтовню парня досадно. Старшая женщина, часто отрывая глаза от работы, чуть-чуть улыбается ему, и хотя улыбка скупенькая, она раздражает меня, и я иду за Конёвым.

У входа в церковную ограду стоят сторожами четыре тополя; ветер гнет их, они кланяются сухой пыльной земле и в мутную даль, где возвысились окованные снегом вершины гор. Рыжая степь облита золотым солнцем, гладка, пустынна и зовет к себе тихим свистом ветра, сладким шорохом сухих трав.

— Бабеночка-то? — мечтательно спрашивает Конёв, прислонясь к стволу тополя и обняв его рукою.

— Откуда она?

— Говорит — рязанская, а звать — Татьяной...

— Давно с тобой ходит?

— Не-е... кабы давно! Седни утром встрелась, верст за тридцать отсюда... с подругой с этой. Да я и ране видал ее, около Майкопу, на Лабе-реке, в косовицу. В ту пору был с ней мужик пожилой, бритый, вроде бы солдат, не то любовник ей, не то дядя. Пьяница, драчун. Там его за три дня дважды били. А теперь вот идет она с подругой этой. Дядю-то посадили в казачью тюрьму, как он шлею и вожжи пропил...

Конёв говорит охотно, но — как бы додумывая какую-то невеселую думу. Он смотрит в землю. Ветер треплет его рассеянную бородку и рваный пиджак, срывает с головы картуз — измятую тряпицу без козырька, с вырванной подкладкой, — картуз этот — точно чепчик и придает интересной голове Конёва смешной бабий вид.

— М-да-а, — сплюнув, сквозь зубы тянет он, — приметная бабеночка... рысак, просто сказать! Нанес чёрт толстомордого этого... у меня бы с ей, глядишь, дела наладились хорошие, а он... пожалуйста! Пес...

— Ты говорил — у тебя жена есть...

Конёв метнул в лицо мне сердитый взгляд и отвернулся, ворча:

— Али я жену в котомке ношу?

Площадью идет кособокий усатый казак, с большими ключами в руке, — в другой у него смятая фуражка вперед козырьком. За ним, всхлипывая и вытирая глаза кулаками, плетется кудрявый мальчик, лет восьми, и шершавая собака, — морда у нее унылая, хвост опущен, должно быть — тоже обижена. Когда мальчонка всхлипнет громче, казак останавливается, молча ждет его и, ударив по темени козырьком фуражки, идет дальше, качаясь, как пьяный, а мальчик и собака несколько секунд стоят на месте, один — визжит, другая, равнодушно нюхая воздух старым черным носом, встряхивает хвостом в репьях. Вид у нее ко всему привычный, и она похожа на Конёва, только старше.

— Ты вот сказал — жена, — тяжело вздыхая, говорит Конёв, — конечно... ну, — не всякая болезнь — до смерти!.. Женили меня девятнадцати лет...

Остальное я знаю, слышал эти рассказы неоднократно, но мне лень остановить Конёва, и в уши назойливо лезут знакомые жалобы.

— Девка сытая, на любовь охочая. Пошли-посыпались дети, вроде бы тараканы с полатей.

Ветер становится тише, уныло шепчет о чем-то...

— Оглянуться не успел, а их — семеро, и все живут, — на тебе! А всего заводу было тринадцать — к чему это? Теперь считай: ей сорок два, а мне сорок три, она — старуха, а я — вот оп! Я еще веселый. Одолела меня бедность-нищета, старшенькая девчоночка моя зиму эту в кусочки ходила — что поделаешь? А я — по городам шлялся, ну — там для нас одно дело: гляди да облизывайся! Прямо — вижу, не хватит меня, — плюнул на всё и — пошел...

Сухонький, стройный этот человек не позволяет думать, что он работал много и любит работать. Рассказывая, он не жалуется, говорит просто, как бы вспоминая о ком-то другом.

Казак поравнялся с нами, расправил усы и густо спросил:

— Откуда?

— Из России.

— Вы все оттуда, — сказал он и, отмахнувшись рукой от нас, пошел к паперти. Нос у него уродливо широк, круглые глазки заплыли жиром, лысая голова напоминает башку сома. Мальчик, вытирая нос, ушел за ним, собака обнюхала ноги наши, зевнула и свалилась под ограду.

— Видал? — ворчит Конёв. — Нет, в России народ обходительней, куда те! Стой-ко!

За углом ограды — бабий визг, глухие удары, мы бросаемся туда и видим: рыжий мужик, сидя верхом на пензенском парпе, побрякивая и со вкусом считая удары, бьет его тяжелыми ладонями по ушам, рязанская женщина безуспешно толкает рыжего в спину, ее подруга — визжит, а все остальные, вскочив на ноги, сбились в кучу, смеются, кричат...

— Так!

— П-ять! — считает рыжий.

— За что?

— Шесь!

— Буде! Эхма, — подпрыгивая на одном месте, волнуется Копёв.

Один за другим раздаются хлесткие, чмокающие удары; парень возится, лягается, ткнувшись лицом в землю, и раздувает пыль. Высокий сумрачный человек в соломенной шляпе, не торопясь, засучив рукава рубахи, встряхивает длинной рукою, вертлявый серый паренек воробьем наскакивает на всех и советует вполголоса:

— Прекратите! Заарестуют всех по скандалу...

А высокий подступил вплоть к рыжему, одним ударом по виску сшиб его со спицы парня и, обращаясь ко всем, поучительно сказал:

— Это — по-тамбовски!

— Бесстыдники, лиходеи, — кричала рязанская, наклонясь над парнем; щеки у нее были багровые, она отирала подолом юбки окровавленное лицо избитого, темные глаза ее блестели сухо и гневно, а губы болезненно дрожали, обнажая ровные ряды мелких зубов.

Копёв, прыгая вокруг нее, советовал:

— Ты — водой его, воды дай...

Рыжий, стоя на коленях, протягивал тамбовцу кулаки и кричал:

— А он чего силой хвастал?

— За это — бить?

— А ты кто таков?

— Я?

— Самый ты?!

— Я те вот шаркну еще раз...

Остальные горячо спорили о том, кого надо считать зачинщиком драки, а вертлявый паренек, всплескивая руками, умолял всех:

— Оставьте шум! Чужая сторона, строгости и всё... а, б-боже мой!

Уши у него странно оттопырены, кажется, что если он захочет, то может прикрыть ушами глаза.

Вдруг в красном небе гулко вздохнул колокол, заглушив все голоса, и в то же время среди толпы очутился молодой казак с палкой в руке, круглолицый, вихрастый, густо окропленный веснушками.

— Отчего шум, стерво? — добродушно спросил он.

— Избили человека, — сказала рязанка, сердитая и красивая.

Казак взглянул на нее, усмехнулся.

— Где спите?

Кто-то неуверенно сказал:

— Тут.

— Не можно. Ще церкву обворуете... Гайда до войсковой, тамо вас разведуть по хатам.

— Вот это — ничего! — говорил Конёв, идя рядом со мною. — Это все-таки...

— Ворами нас считают, — сказал я.

— Так — везде! Это и у нас тоже полагается. Осторожность: про чужого всегда лучше думать, что он вор...

А рязанка шла впереди нас рядом с толстомордым парнем; он раскис и бормотал что-то невнятное, а она, высоко подняв голову, четко говорила тоном матери:

— Ты — молоденький, тебе не надо с разбойниками якшаться...

Медленно бил колокол, и встречу нам со дворов выползали чисто одетые старики и старухи; пустынная улица оживала, коренастые хаты смотрели приветливее.

Звонкий девичий голос кричал:

— Ма-ам? Мамка! Ключ от зеленого сундука — где? Лепты взять...

Мычали воли, отвечая зову колокола глухим эхом.

Ветер стих; над станицей замедленно двигались красные облака, и вершины гор тоже рдяно покраснелись. Казалось — они тают и текут золотисто-огненными потоками на степь, где, точно из камня высеченный, стоит на одной ноге аист и слушает тихий шорох уставших за день трав.

На дворе войсковой хаты у нас отобрали паспорта, двое оказались беспаспортными, их отвели в угол двора и спрятали там в темный хлевушок. Всё делалось тихо и спокойно, как обычное, надоевшее. Конёв уныло поглядывал в темнеющее небо и ворчал:

— Удивительно даже...

— Что?

— Пачпорта, например. Хорошего, смирного человека можно бы и без пачпорта по земле пускать... Ежели я — безвредный...

— Ты — вредный, — сердито и уверенно сказала ряжанка.

— Почему так?

— Я знаю почему...

Конёв усмехнулся и замолчал, закрыв глаза.

Почти до конца всеобщей мы валялись по двору, как бараны на бойне, потом меня, Конёва, обеих женщин и моршанского парня отвели на окраину станицы в пустую хату, с проломленной стеною, с выбитыми стеклами в окнах.

— На улицу не выходить — заарестуем, — сказал казак, провожавший нас.

— Хлебушка бы, небольшой кусок, — заикнулся Конёв.

Казак спокойно спросил:

— Работал?

— Мало ли!

— А на меня?

— Не довелось...

— Когда доведется, то я тебе дам хлеба...

И, коротенький, толстый, — выкатился со двора, как бочка.

— Ка-ак он меня, а? — изумленно возводя брови на середину лба, бормотал Конёв. — Это, просто сказать, жох-народ... ну-ну!

Женщины ушли в самый темный угол хаты и точно сразу заснули там; парень, сопя, ощупывал стены, пол, исчез, вернулся с охапкой соломы в руках, постелил ее на глинобитный пол и молча разлегся, закинув руки под избитую голову.

— Смотрите, какое соображение выказал пензяк-то! — воскликнул Конёв завистливо. — Бабы, ой! Тут где-то солома есть...

Из угла сердито ответили:

— Поди да прищеси...

— Вам?

— Нам.

— Надо принести.

Сидя на подоконнике, он немножко поговорил о бедных людях, которым хотелось пойти в церковь помолиться богу, а их загнали в хлев.

— Да. А ты баешь, — народ — одна душа! Нет, браток, у нас в России люди праведниками считать себя очень стесняются...

И вдруг, перекинув ноги на улицу, он бесшумно исчез.

Парень уснул беспокойным сном, возился, раскидывая по полу толстые ноги и руки, стонал и всхрапывал, шуршала солома. В темноте шушукались бабы, шелестел сухой камыш на крыше хаты — ветер всё еще вздыхал. Щелкал по стене какой-то прут, и всё было как во сне.

За окном густо-черная ночь, без звезд, многими головами шептала о чем-то жалобно и грустном; с каждой минутой звуки становились всё слабее, а когда сторожевой колокол ударил десять раз и гул меди растаял — стало еще тише, точно многое живое испугалось звона ночного и спряталось — ушло в невидимую землю, в невидимое небо.

Я сидел у окна, глядя, как земля дышит тьмою и тьма давит, толит теплой черной духотой своей серые бугры хат. Церковь была тоже невидима, точно ее стерло. Ветер, многокрылый серафим, гнавший землю три дня кряду, внес ее в плотную тьму, и земля, задыхаясь от усталости, чуть движется в ней, готовая бессильно остановиться навсегда в этой тесной черноте, насквозь пропитавшей ее. И утомленный ветер тоже бессильно опустил тысячи своих крыльев — мне кажется, что голубые, белые, золотые перья их поломаны, окровавлены и покрыты тяжелой пылью.

Думалось о маленькой и грустной человеческой жизни, как о бессвязной игре пьяного на плохой гармонике, как о хорошей песне, обидно испорченной безголосым, глухим певцом. Стонет душа, нестерпимо хочется говорить кому-то речь, полную обиды за всех, жгучей любви ко всему на земле, — хочется говорить о красоте солнца, когда оно, обняв эту землю своими лучами, песет ее, любимую, в голубом пространстве, оплодотворяя и

лаская. Хочется сказать людям какие-то слова, которые подняли бы головы им, и, сами собою, слагаются юношеские стихи:

Все родной землю нашей
Мы для счастья рождены!
Для того, чтоб быть ей краше,
Солнцем мы земле даны!

В этом светлом солнца храме
Мы и боги и жрецы.
Нами жизнь творима, нами!..

Сквозь тьму, из угла, где спрятались женщины, тихою прерывистой струей просачивается шёпот,— я напряженно вслушиваюсь, стараясь поймать слова, различить голоса.

Вот твердо и уверенно говорит рязанка:

— А ты не показывай, что больно...

Ее подруга сморкается и гуняво тянет:

— Да-а, абы можно терпеть...

— Притворись, говорю. Он — бьет, а ты — ровно бы тебе ничего это, даже шутка...

— Тогда он забьет.

— Да еще посмейся ему, улыбнись ласковенько...

— Не били тебя, видно, не знаешь ты...

— Знаю! И — били, милая. Очень я это испытала.

А ты — не бойся, не забьет...

Где-то далеко глухо брехнул пес, прислушался и яростно залаял, ему тотчас отозвались другие, и минуты две я не слышал беседы баб; потом собаки задохнулись и снова потекла тихая речь.

— Мужикику тоже трудно жить, не забудь, милая. Всем нам, простым-то людям, трудно, вот и надо, чтоб кто-нибудь показывал, будто ему ничего... вовсе будто легко ему...

— Ой, богородица пречистая...

— Бабья ласка — великое дело; баба и мужу и любовнику вместо матери встает. Ты вот попробуй и увидишь: начнет он твоему характеру завидовать, станет мужикам хвастаться: у меня-де жена — что хошь с ей де-

лай — веселая, ласковая, вроде — месяц май!.. Ничему не поддается — хоть голову руби...

— Не-ет...

— А ты думаешь — как? Это, доченька, такая жизнь...

Мешая слушать, на улице досадно шаркают чьи-то неверные шаги.

— Сон богородицы — знаешь?

— Не-е...

— Спроси старух. Это — хорошо знать. Неграмотна?

— Нету. А какой сон-от?

— Вот — слушай...

Под окном раздаётся осторожный вопрос Конёва:

— Наши — тут? Ну, слава те господи! Заплутал я, брат, собак взбудил, еле на кулаки не попался... Накось держи!

Он подал мне большой арбуз, потом сам ввалился в окно, отряхиваясь и шумя.

— И хлеба добыл довольно. Думаешь — украл всё? Ни-ни! Почто красть, коли выпросить можно? Я ловок на это, умею подсыпаться к людям. Иду — вижу: в хате огонь, за столом люди ужинают, — а где много людей, там всегда один добрый есть! Вот — и поужинал, и выпил, и вам притащил... эй, бабоньки!

Они не отвечали.

— Дрыхнут, курвины дочери. Бабы?

— Чего надо? — сухо спросила рязанка.

— Арбузу хотите?

— Спасибо.

Конёв стал осторожно подвигаться на голос.

— А хлеба? Пшенисный хлеб, мягкий... просто как ты...

Подруга рязанки сказала голосом нищей:

— Дай мне хлеба...

— То-то же! Где вы тут?

— Мне и арбузу...

— Ты — которая?

— Ой! — болезненно вскрикнула рязанка. — Куда те несет, пострел?

— Не кричи... темно...

— Спичку бы зажег, чёрт.

— Сам-четверт. Спичек у меня мало. Ежели я схватился за тебя, не велика беда. Муж бил — больней было. Бил муж-то?

— А тебе что?

— Любопытно. Эдакую бабеночку...

— Ты — слушай... ты — не тронь... а то...

— А что?

Они спорили долго, бросая друг в друга какими-то короткими и всё более злыми словами, наконец рязанка глухо крикнула:

— О, чёрт паршивый... туда же...

Началась возня, раздались удары по мягкому, Конёв скверно хихикал, а пензенская промямлила:

— Не балуйте, бесстыжие...

Я зажег спичку, подошел к ним и молча оттащил Конёва прочь, это не обидело его, а как будто только охладило: сидя на полу в ногах у меня, отдуваясь и поплеывая, он говорил увещающим голосом:

— С тобой, дура, играют, а ты — эго, разошлась! Убудет тебя...

— Получил? — спокойно спросили из угла.

— Ну, так что? Губу разбила... важность!

— Подкатись-ка еще, я те и башку разобью...

— Лошадь! Глупость деревенская... И ты тоже, — обратился он ко мне, — тащишь за что попало в руки... одежду рвешь...

— Не обижай человека.

— Чудак, — не обижай! Разве бабу этим обидишь?

И со смешком, грязно, он начал рассказывать о том, как ловко бабы умеют грешить, как они любят обмануть мужика.

— Похабники, — сонно проворчала пензячка.

Скрипнув зубами, парень вскочил, сел и, схватившись за голову руками, угрюмо заговорил:

— Уйду завтра... домой пойду... Господи! Всё едино...

Снова свалился, как убитый, а Конёв сказал:

— Оглобля.

Во тьме поднялась черная фигура, бесшумно, как рыба в воде, поплыла к двери, исчезла.

— Ушла, — сообразил Конёв. — Здо-оровая бабица!

Ну, все-таки, ежели бы ты не помешал, я бы одолел ее, ей-богу!

— Иди за ней, попробуй...

— Нет, — сказал он, подумав, — там она палку какую найдет, кирпич али что другое. Ничего, я ее достигну! Это ты напрасно помешал... позавидовал мне...

Он снова стал скучно хвастать своими победами и вдруг умолк, точно проглотив язык.

Тихо. Всё остановилось, прижалось к неподвижной земле и спит. Меня тоже одолевает чуткий сон, я вспоминаю все подарки умершего дня, они растут, пухнут, становясь всё тяжелее, и — точно степная могила надо мною. Дребезжит колокол, крики меди надают во тьму неохотно, паузы между ними неровны.

Полночь.

На сухой камыш крыши и в пыль улицы шлепают тяжелые редкие капли дождя. Трещит сверчок, торопливо рассказывая что-то, и во тьме хаты снова плавает горячий, подавленный, всхлипывающий шёпот:

— Ты подумай, голубь, что так-то, без дела ходить, на чужих работать...

Слышен глухой ответ избитого парня:

— Я тебя не знаю...

— Тише...

— Чего тебе падоть?

— Ничего не надо. Жалко мне тебя — молодой ты, сильный, а живешь зряшно, я и говорю: идем-ка со мной!

— Куда?

— На морской берег, там — я знаю — есть хорошие места: ты гляди — вон какая земля здесь ласковая до человека, а там еще лучше...

— Врешь, поди...

— Тихонько, ты! А я женщина — хорошая, я всё умею, всякую работу, и заживем мы с тобой хорошо, тихо, на своем месте. Я те деток нарожу-выкормлю... ты гляди, какая годная я, пощупай груди-то...

Парень громко хрюкает; мне неловко, хочется дать им знать, что я не сплю, но любопытство мешает сделать это, я молчу и вслушиваюсь в странную, волнующую кровь беседу.

— Нет, погоди,— тяжело дыша, шепчет женщина,— не балуй... я ведь не для этого... пусти...

Грубо и громко парень ворчит:

— Тогда — не лезь! Сама лезет, а сама же ломается...

— Тише ты, услышат — стыдно будет мне...

— А приставать ко мне — не стыдно?

Молчание. Парень сердито сопит и возится; капли дождя падают всё так же неохотно, лениво, и сквозь их шум текут слова женщины:

— Ты думаешь, я мужика ищу? Мне мужа надо надежного, хорошего человека...

— Еще я те не хорош.

— Экой ты какой...

— Мужа ей! — фыркает парень.— Ловки вы тут... мужа! Ишь ты...

— Ты — послушай: шляться мне надоело...

— Ступай домой.

Помолчав, женщина ответила очень тихо:

— Нету у меня дома, и родни нет...

— Врешь, поди,— повторил парень.

— Ей-богу! Забудь меня богородица, коли вру...

Мне кажется, что в этих словах ее звучат слезы, мне — нестерпимо тяжело и тошно, хочется встать и вышвырнуть парня из хаты пинками, а потом долго говорить этой женщине какие-то сердечные слова. На руки бы взять ее, как покинутого ребенка...

А у них снова началась возня.

— Н-ну, не ломайся,— мычит парень.

— Нет, не надо... силом не дамся...

И вдруг она вскрикнула болезненно и удивленно:

— Ой... за что? За что же?

Я вскочил и тоже закричал, чувствуя, что зверею.

Стало тихо, кто-то осторожно пополз по полу, задел изломанную дверь, висевшую на одной петле.

— Это не я,— заворчал парень,— это вон паскуда пристаёт ко мне. Жулики здесь все, покою нет...

В стороне от него обиженно вздохнули.

— Дурак ты, дурак...

— Молчи... распутница!

Дождь перестал, в окно вливалась духота, тишина сделалась еще плотнее, тяжело давила грудь и, точно

паутина, оклеивала лицо, глаза. Я вышел на двор — на нем было как в погребе летом, когда лед уже растаял и черная яма полна теплой густой сыростью.

Где-то близко дышала, всхлипывая, женщина, я прислушался и подошел к ней: она сидела в углу двора, спрятав голову в ладонях, и качалась, словно кланяясь мне.

Сердясь на нее за что-то, я долго стоял перед ней, не зная, что сказать, потом спросил:

— Ты — сумасшедшая, что ли?

— Отстань, — не сразу отозвалась она.

— Слышал я твои речи к нему...

— Ну — так что? Тебе какое дело? Брат мне ты али кто?

Говорила она точно сквозь сон и не сердясь. Мутные пятна стены, точно безглазые лица, наблюдали за нами, а рядом тяжело дышал вол.

Я сел рядом с женщиной.

— Эдак ты очень скоро сломишь себе голову...

Не ответила.

— Мешаю я тебе?

— Нет, ничего. Сиди, — сказала она, опустив руки и присматриваясь ко мне.

— Ты — откуда?

— Нижегородский.

— Далё-око...

— Люб тебе парень этот?

Не сразу и как бы считая слова, сказала:

— Ничего. Здоровый такой... да вот — потерянный. Глупый еще, видно. А — жалко, хороший мужик был бы на хорошем месте.

Церковный колокол ударил дважды — она дважды прекрестилась, не прерывая речи.

— Жалко глядеть, когда молодое зря пропадает, жалко силушки, кабы можно — взяла бы всех и поставила на хорошие места.

— А себя — не жаль?

— Как — не жаль? И себя тоже...

— Что ж ты стелешься пред эдаким болваном?

— Я бы его выправила. Думаешь — нет? Не знаешь ты меня...

Она глубоко вздохнула.

— Он прибил тебя, что ли?

— Нет. Ты его не тронь уж...

— А крикнула?

Неожиданно прислонясь ко мне плечом, она тихопько созналась:

— В грудь он меня ударил... он бы одолел меня...

А я не хочу, не могу я так, без сердца, словно кошка... Экие вы все какие... несуразные...

Беседа оборвалась. В дверях хаты встал кто-то и тихонько свистнул, точно собаку позвал.

— Это он, — прошептала женщина.

— Уйти, что ли?

Она схватила меня за колено, торопливо сказав:

— Нет, не надо, не надо.

И вдруг подавленно застонала:

— Го-осподи — жалко всех... всю-то жизнь жалко, всю наскрозь, всех людей... Господи-батюшко...

Плечи ее тряслись, она плакала и шептала, жалобно всхлипывая.

— Вот ночью... как вспомнишь всё, что видела, всех людей, — тошно, тошно... закричала бы на всю землю... а — что? Не знаю... нечего сказать...

Это мне было глубоко знакомо и понятно — мою душу тоже давил этот крик без слов.

— Кто ты такая? — спрашивал я ее, поглаживая качавшуюся голову, трепетное плечо, и, успокоившись, она тихо рассказала мне сказку своей жизни: она — дочь столяра и пчеловода. По смерти матери отец женился на молодой девице, мачеха уговорила его отдать дочь в монастырь, там Татьяна и жила с девяти лет по невестин возраст. Выучилась грамоте, рукодельям, а потом отец выдал ее за приятеля, солдата, пожилого человека, лесника в монастырском лесу.

Мне досадно, что я не вижу лица ее, — предо мною круглое, тусклое пятно, и, должно быть, она закрыла глаза. Такая странная тишь, что женщина всё время говорит едва слышным шёпотом. Оба мы точно погружены глубоко в черную пустоту, где нет жизни, и наша доля — начать жизнь.

— Человек был нехороший и пьяница, у него в ка-

раулке монашки гуляли по ночам с охочими людьми, и меня он стал к этому склонять, я было не хотела поддаваться, а он — бить меня, ну — уступила я, да на ту пору поправился мне один человек... с ним, а не с мужем, я и узнала настоящее, женское. А любовник-то мой женат был, дозналась жена его про меня — тут мужа моего прогнали с должности. Богатая она была, и, конечно, обидно ей уступать место свое не знай кому. Красивая, толстая только очень. Потом вскоре муж мой помер — опился в день Фрола-Лавра, а батюшка еще раньше помер же. Я — к мачехе, а она говорит: «Зачем ты мне? Подумай». Подумала я — верно, незачем! Я было опять в монастырь, ну — вижу, не для меня это, да и мать Таисья, старушка, учительша моя, сказала мне: «Иди-ка ты, Татьяна, в мир, может, и найдешь себе счастье». Вот я и пошла... да и хожу...

— Неладно ты счастья ищешь...

— Уж как умею...

Теперь темнота не казалась туго натянутою тканью тяжелого занавеса, но поредела от напряжения, стала прозрачнее, а местами собралась в густые складки, в комья, набилась в окно хаты и смотрит оттуда слепым черным глазом.

Над буграми крыш всплыла в небо колокольня, поднялись тополя, по степе хаты расползлись трещины и вместе с язвами выкрошившейся известки сделали стену картой какой-то неведомой страны.

Я взглянул в темные глаза женщины, они блестели сухо, печально и показались мне наивными, как у девочки-подростка.

— Чудачка ты...

— Какая есть, — ответила она, облизывая губы топким, точно кошачьим языком.

— Чего ж ты ищешь?

— Это у меня — обдуманно, это я знаю! Вот погоди — встретится мне хороший мужик, и найдем мы с ним землю себе. Найдем мы ее около Нового Афона, я там места знаю, была. И вот начнем устраивать ее хорошо: сад будет, огород и пашня, как надобно для хозяйства.

Слова ее звучали всё увереннее и крепче.

— Устроимся мы по-хорошему-то, а к нам еще люди подойдут, а мы уж — старожилы, нам почет от них! Так — еще да еще, — и вот те новая деревня, хорошее место. Мужа, глядишь, в старосты выберут. Водила бы я его чисто, барином. А в саду — дети играют, беседка в саду-то выстроена... Беда как хорошо можно жить!

Действительно — будущее продумано у нее насквозь, она рисует новую деревню с такими мелкими подробностями, как будто долго жила в ней.

— Хорошего жительство хочется... Господи! Кабы удалось... Первое дело, конечно, мужик нужен...

Лицо у нее милое, глаза смотрят в тающую ночь, мягко лаская всё, на чем остановятся. А мне ее жалко, — жалко почти до слез, и, чтобы скрыть это, я шучу:

— Не гожусь ли я тебе?

Усмехнулась легонько.

— Нет... Ты — не годишься...

— Почему?

— Мысли другие у тебя...

— Ну, откуда тебе знать мои мысли?

Она отодвинулась от меня, сухо сказав:

— По глазам вижу... Нет, зря говорить я не согласна...

Мы сидим на дубовой суковатой колоде, почерневшей от сырости; женщина хлопает ладонью по ней.

— Богато живут казаки, а не нравится мне как...

— Что — не нравится?

— Скупно будто. Всего — много, а — скушно...

Не сдержав жалости к ней, я тихонько сказал:

— И тебе скучно будет — не найдешь ты, чего ищешь, я думаю...

Она отрицательно качает головой.

— Бабе скучать некогда. У ней такой оборот жизни: то — ребенка хочет, то — нянчит его... одного вынянчила — другой готов. Весна да осень, а зима с летом мимо идут.

Приятно было смотреть в ее задумчивое лицо; конечно, хотелось крепко обнять ее, но — лучше уйти поскорее в тихую пустынную степь и, унося с собою воспоминание об этой женщине, шагать одиноко по твердой дороге к серебряной стене утонувших в небе

гор, к черпым ущельям, разинувшим на степь свои глубокие прохладные пасти. А уйти — нельзя, паспорт отобрап казаками.

— Ты сам-то — чего ищешь? — вдруг спросила она, снова подвинувшись ко мне.

— Ничего. Просто смотрю, как люди живут.

— Одинокий?

— Да.

— Как я всё равно. Сколько на свете одиноких-то... господи!

Волы просыпаются и тихонько мычат, напоминая звук волюпки, на которой играет, где-то далеко, слепой старик. Сонный сторож неверной рукой четырежды ударил в колокол, два раза — тихо, один — очень громко и сердито, так, что медь взвизгнула, и снова — тихо, чуть коснувшись певучей меди железным языком.

— Как же люди-то живут?

— Плохо.

— Да-а. И я вижу это — плохо.

Мы долго молчим, потом она говорит тихонько:

— Вот — светает, а я — глаз не сомкнула, и — часто это со мной... Задумаюсь про всё, задумаюсь... будто я одна на земле, и всё надобно мне одной устроить по-новому-то.

— Недостойно себя живут люди, в безгласии и ничтожестве, в неисчислимых обидах нищеты и глупости, — говорю я, забываясь, и горячо исчисляю всё виденное мною темное, постыдное, мучительное. — Гляди — ты с добром идешь к человеку, свободу свою, силу готова ему за дружбу отдать, а он этого не понимает, и — как его обвинить? Кто показывал ему доброе?

Она положила руку на плечо мне и смотрит прямо в глаза, немножко приоткрыв красивый рот.

— Ой, — слышу я, — это правда! Милый человек — верно: нет добру цены!

Крепко прижавшись друг ко другу, мы точно плывем, а встречу нам выплывает, светлея, освобожденное ночью: белые хаты, посеребренные деревья, красная церковь, земля, обильно окропленная росой.

Восходит солнце; над нами — точно тысячи белых птиц — плывут стаи прозрачных облаков.

— Господи,— шепчет Татьяна, толкая меня,— ходишь одна, думаешь, а — о чем? Ну, милый же вы человек... всё это — правда! Никому ничего не жаль... ах, как верно!

И, вдруг вскочив на ноги, она приподняла меня и прижалась ко мне так крепко, что я отстранил ее, но она плачет, тянется ко мне и целует сухими, точно острыми губами — эти поцелуи доходят до сердца.

— Ну, добрый же вы мой,— всхлипывая, шепчет она, а у меня земля уходит из-под ног.

Оторвалась, оглянула двор и деловито пошла в угол его — там, под плетнем, густо разрослись незнакомые мне травы.

— Иди, идите-ко...

Потом, сидя в бурьяне, точно в маленькой пещере, смущенно улыбаясь, оправляя волосы, она тихонько шепчет:

— Вот, как случилось... Ну — ничего... господь мне простит...

Удивленный, чувствуя себя как во сне, я благодарно смотрю на нее. Мне как-то особенно легко: в груди у меня светлая пустота, а в ней, как ласточки в небе, мелькают какие-то неуловимые радостные мысли и слова.

— В большом горе и маленькая радость велика,— слышу я.

Я гляжу на грудь женщины, окропленную, как земля росой, каплями влаги, они краснеют, отражая солнечный луч,— точно кровь выступила сквозь кожу. И моя радость быстро тает — почти до слез, до тоски жалко эту грудь — я, почему-то, знаю, что бесплодно иссякнет живой ее сок.

Как будто извиняясь предо мною, она говорит немножко печально:

— Что сделаешь с собой? Иной раз так уж бывает — нахлынет что-то в душу до того, что даже больно в грудях, и так уж вся и открылась бы, как перед месяцем... али — в жару — пред рекою... право, ей-богу! После, конечно, стыдненько... не гляди-ко на меня! Что уставился, словно ребенок?

А я не могу отвести глаз от нее, думая о том, что потеряется она на запутанных дорогах.

— И лицо — будто у новорожденного...

— Глупое, что ли?

— Похоже, что глупое.

Застегнув кофту, она сказала:

— Скоро, чать, к обедне ударят... Пойду, надо помолиться богородице. Ты сегодня идешь?

— Как только паспорт получу...

— Куда путь?

— На Алагир. А — ты?

Встав на ноги, она оправляет юбку, — бедра у нее уже плеч, вся она осанистая, стройная.

— Я-то? Не знаю еще... Надобно мне в Нальчик... а может, не пойду. Не знаю.

И, протянув ко мне крепкие, ловкие руки, она предложила, краснея:

— Ну, давай поцелуемся еще на расстанье.

А обняв одной рукою и крестя другой — сказала:

— Прощай, дружок! Спаси тебя Христос за хорошее слово, за всю твою повадку...

— Пойдем вместе?

Вырвалась из рук моих, твердо и строго говоря:

— Не годится это мне... не согласна! Кабы ты крестьянин был, а так — что толку? Одним часом жизнь не меряют, а годами...

И ушла в хату, тихо улыбнувшись мне на прощанье. Я сел на колоду, думая об этой женщине: что найдет она?.. Увижу я ее еще когда-нибудь?

Заблаговестили к ранней обедне; станица давно уже проснулась и солидно, невесело шумела.

Когда я вошел в хату за котомкой — хата была уже пуста, должно быть, все вышли через разломанную стену прямо на улицу.

Сходил в войсковую избу, взял паспорт и отправил на площадь — нет ли попутчиков?

Как вчера, у ограды валялись люди из России, сидел, прислонясь спиною к бревну, толстомордый пензяк, — его разбитое лицо стало еще больше, уродливее, а глаза совсем заплыли в багровых опухолях.

Явился новый — седенький остробородый старичок, в бархатной выцветшей скуфейке, тощий и сухой.

Личико у него с кулак, нос хищно загнут и — красный, пористый, а глаза — сердито-вороватые.

Рыжий орловец и вертлявый паренек насаждают на него:

— Ты чего ради шляешься?

— А — ты? — тоненьким голосом спрашивает старик, прикручивая проволокой отломившуюся ручку закопченного железного чайника и ни на кого не глядя.

— Мы — за работой ходим!

— Мы живем, как велено...

— Кем?

— А — богом! Забыл?

Старик равнодушно и четко говорит:

— Плюет на вас бог песком да пылью, кою вы же сами поднимаете, шляясь по земле его зря...

— Стой! — кричит ушастый парень. — Как? А Христос с апостолами не ходил по земле?

— То — Христос! — значительно сказал старик, подняв на спорщика острые глаза. — Дураки! Что говорите, с кем в ряд ставитесь? Я вот крикну казака...

Много раз слышал я такие споры, и они так же противны мне, как беседы о душе.

Надобно идти.

Появился Конёв, растрепанный, потный и, тревожно мигая, спросил:

— Рязанку эту, Таньку, видал? Нет? Ах, ведьма, стало быть — ушла она в ночь! Дали мне вчера чего-то выпить, настойки, что ли! Спал я всю ночь, как медведь зимой... А она с этим, видно, с пензяком...

— Вот он, — указал я.

— Э... на-ко ты! Ну, как же расписали человека, а? Богомазы, просто сказать...

Он снова начал беспокойно оглядываться.

— Куда ж они обе пошли?

— За обедней, может...

— И верно! Конечно! За-адела, брат, меня баба эта — ух как!

Но и после ранней обедни, когда — под веселый звон колоколов — нарядное казачество, степенно выплыв из церкви, разлилось по станице яркими ручьями, — мы не нашли Татьяну.

— Ушла,— печально ворчал Конёв.— Ну, однако ж я ее найду... я — настигну...

Мне не верилось в это и не хотелось этого.

Лет через пять я шагал по двору Метехского замка в Тифлисе, безуспешно пытаюсь догадаться — за какие провинности посадили меня в эту тюрьму?

Картинно грозная извне, внутри она была наполнена веселыми и мрачными юмористами — мне казалось, что все люди в ней устроили «с разрешения начальства» любительский спектакль и, как подростки, охотно, усердно, но — неумело играют плохо понятые роли арестантов, надзирателей, жандармов.

Сегодня, например, пришли в камеру мою надзиратель и жандарм, чтобы вести меня на прогулку,— я заявил им:

— Можно мне не гулять? Нездоров я, и не хочется...

Большой русобородый красавец жандарм строго поднял палец вверх.

— Тебе хотеть не велено...

А надзиратель, черный, как трубочист, с большими синими белками глаз, подтвердил вывихнутым языком:

— Тута ныкому нэ вэлэно хотэтэ — знаишь?

И вот я — гуляю.

На дворе, мощенном камнем, жарко, точно в печи. Висит над ним плоский и мутный квадрат пыльного неба. С трех сторон двор замыкают высокие серые стены, с четвертой — ворота, с какой-то страховидной надстройкой над ними.

Сверху через крыши непрерывно вливается глухой шум бешеных волн рыжей Куры, воют торговцы на базаре Авлабара — азиатской части города; пересекая все звуки, ноет зурна, голуби воркуют где-то... Я чувствую себя внутри барабана, а по коже его бьют множеством палок.

Из двух линий окон вторых и третьих этажей смотрят сквозь решетки смуглые лица, курчавые головы туземцев,— один из них упрямо плюет во двор, явно стараясь доплюнуть до меня, но только напрасно истощает силы.

Другой раздраженно и упрекающе кричит:

— Послушэты! Зачэм ходышь таким курицам? Хады галава вэрх!

Поют странную песню — вся она запутанная, точно моток шерсти, которым долго играла кошка. Тоскливо тянется и дрожит, развиваясь, высокая воющая нота, уходит всё глубже и глубже в пыльное тусклое небо и вдруг, взвизгнув, порвется, спрячется куда-то, тихонько рыча, как зверь, побежденный страхом. Потом снова вьется змеею, выползая из-за решетки на жаркую свободу.

Внимая этой песне, отдаленно знакомой мне, — звуками своими она говорит что-то понятное сердцу, больно трогающее его, — я хожу в тени тюремного корпуса, поглядывая на окна, и вижу — в рамке одного из железных квадратов вклеено чье-то печально-удивленное голубоглазое лицо, обросшее беспечно растрепанной черной бородкой.

— Конёв? — вслух соображаю я.

Он, — на меня уставились, прищурясь, очень памятные мне глаза.

Оглядываюсь — мой надзиратель дремлет, сидя в тени на крыльце у входа в корпус, двое других играют в шашки, четвертый, усмехаясь, смотрит, как двое уголовных качают воду, приговаривая в такт движению рычага:

— Машкам, — Даншам, — Дашкам, — Машкам...

Я подхожу ближе к стене.

— Конёв — ты?

— Не могу признать, — бормочет он, втискивая голову в решетку, — а — верно: я — Конёв!

— За что?

— По фальшивой монете... только я совсем случайно, просто сказать — вовсе ни при чем я тут...

Надзиратель проснулся, гремят ключи, точно кандалы, он дремотно советует:

— Нэ стой... далши отходи, у стена — нэлза.

— Среди двора — жарко, дядя.

— Вэздэ жарко, — справедливо говорит он, снова опуская голову, а сверху падает тихий вопрос Конёва:

— Ты — кто?

— Татьяну рязанскую помнишь?

— Эко! — словно обидясь, тихонько воскликнул он. — Не помню! Чать, мы вместе судились...

— И она? По монете?

— А как же? Только она — тоже случаем попала, всё равно как и я...

Медленно шагаю вдоль стены, в душевной тени ее; из окон подвала тянет запахом прелой кожи, кислого хлеба, веет сыростью, мне вспоминаются Татьянины слова:

«В большом горе и маленькая радость велика...»

...Новую деревню хотела построить на земле, хотела создать какую-то новую, хорошую жизнь...

Вспоминаю ее лицо, ее доверчивую, жаждущую грудь, а сверху торопливо падают на голову мне тихие, серые, как пепел, слова:

— Главный-то затейщик — любовник ее — попов сын, он в деле этом машинист... На десять годов заторкали его...

— А ее?

— Татьяну Власьевну — на шесть и меня эдак же. Послезавтра отправляюсь я в Сибирь... попала мышь в подбойку! В Кутаисе судили, у нас бы, в России, лучше было... тут народишко дикбй, злой парод, злодейский...

— Дети у нее были?

— При распутной-то жизни? Нет, какие там дети... Да и попович-то чахоточный, куда ему...

— Жалко ее...

— Еще бы те! — шипит Конёв оживленно. — Женщина, конечно, глупая, однако — прекрасная... просто сказать — редкая... Так до людей жалостлива...

— Ты тогда нашел ее?

— Это — когда?

— После Успеньева дня?

— Зимой постиг я ее, за Покров уже повернуло время, она около Батума у офицера старенького при детях была — жена у него сбежала, пу...

Точно курок револьвера шелкает сзади меня — это надзиратель хлопнул крышкой больших серебряных часов, спрятал их и, потягиваясь, зеваает, широко распылив рот.

— Она, брат, деньги имела, она могла хорошо жить, кабы не распутство ее... да и распутство-то — по жалости...

Надзиратель говорит:

— Кончал гулять, эй...

— А ты — кто? Лицо я помню, а где видал...

Я иду в камеру, до ярости обиженный тем, что слышал, и, остановясь на ступени крыльца, кричу:

— Прощай, брат! Кланяйся ей...

— Чего кричишь? — сердится надзиратель.

В коридоре сумрачно, густо пахнет парашей; надзиратель размахивает ключами, и они звенят сухоньким, скудным звоном. Я поддразниваю его, чтобы заглушить скорбь в душе, но это не помогает, а он, отворив дверь камеры, говорит мне гневно:

— Сыды дэсять лэт!..

...Стою у окна. Через серые зубцы стены мне видно буйный бег Куры, сакли и дома, прилепленные на берегу ее, фигуры рабочих на крышах кожевенных заводов. Под окном ходит часовой, сдвинув фуражку на затылок.

...Память уныло считает десятки бесплодно и бессмысленно погибающих русских людей, и сердце угрюмо сжимается великой, неизбежной, на всю жизнь данной тоскою.

В УЩЕЛЬЕ

В горном ущелье, над маленькой речкой — притоком Сунжи — выстроили рабочий барак, — низенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба.

Он еще не докопчен; десяток плотников возится около него, сшивая из тонкого теса жиденькие двери, сколачивая столы, скамьи, прилаживая рамы в пустые квадраты маленьких окон.

В помощь плотникам и для охраны барака ночами от вороватых горцев молодой крикливый студент-путеец, заведующий постройкой, прислал в ущелье троих сторожей: отставного солдата Павла Ивановича, меня и еще какого-то вихрастого человека с казачьим лицом.

Мы трое — люди «худые», а плотники — солидны, сыты, все в крепкой одеже, все — пожилые, и есть в них что-то общее, тяжелое — кабанье. Они не ответили на приветствие наше, смотрят на нас неласково, подозрительно, и мы, обиженные холодной встречей, держимся в стороне от них: набросали в узкую речку камней и, устроив брод, перешли на другой берег, на солнце, в хаос серых обломков горы.

Старший у плотников — костлявый старичок, в белой рубахе и штанах. Точно к смерти оделся. Он ходит без шапки, у него желтая — во всю голову — лысина, широкий серый нос; старая кожа на лице и шее ноздревата, как пемза, глаза мутно-зелены. Но за темными губами — плотный ряд мелких зубов, серые волосы бороды, подстриженной по-татарски, густы и, видимо, мягки. Он не работает, а всё время неумоимо ходит около барака по золотой стружке, заткнув за пояс очень отогнутые большие пальцы рук. Измеряя барак, лю-

дей, работу неподвижным взглядом немых глаз, он поет гнусаво, подхалимисто, но внятно:

Боже, боже мой отец!
Дал мне тяжкий ты венц!
Буду я тебя просить:
Как же мне его носить?

Нам делать нечего, и мои товарищи маются-страдают в скуке безделья: один полез зачем-то на гору, слышно, как он там посвистывает и ломает тяжелыми ногами сухие ветви. Солдат устроил в щели, между камней, пышное ложе из мелких веток, лежит на животе и непрерывно курит крепкий горский табак из хорошей фарфоровой трубки, мутно-сонными глазами поглядывая на игру реки.

Я сижу над рекою на камне, опустив в холодную воду ступни ног, зашивая рубаху.

Гулкое эхо тревожно носит по ущелью чужие ему звуки: хряские удары топоров, плач пилы, всхлипывающие рубанка, говор людей.

Из туманно-сизой глубины ущелья тянет сыроватый ветер, на горе за бараком тихонько шумят стройные лиственницы.

С высоты густо льется пьяный, жирный запах гниющей хвои, смолы, прелой земли, там, в тихой мгле, всё время неясно звучит мягкий, усыпляющий шёпот.

На сажень ниже барака бежит по камню, торопливо и звонко, пепно-белая река, звуков — немного, но кажется, что всё вокруг поет и говорит, заставляя людей молчать.

Наш склон залит солнцем, всё выгорело на нем, он покрыт золотисто-рыжей парчой и дышит сладким запахом иссохших трав. Из темных щелей между камнями огненными копьями напряженно поднялись на длинных стеблях красные конусы странных цветов, — это бесстыдные цветы упрямого растения, которое зовут каменоломкой. Глядя на них, хочется громко петь, телом овладевает сладкая истома.

Хороша река, — вся в трепетном кружеве снежной пены, она бежит, играя, по цветным камням, округлен-

ным ею, камни шелковисто просвечивают сквозь янтарное, на солнце, стекло воды, точно пестрый ковер или дорогая шаль из Кашмира.

Устье ущелья выходит в долину Сунжи, там строят железную дорогу на Каспий, в Петровск; оттуда врывается в горы глухой гул, точно выстрелы из пушек, лязг железа о камень, свист рабочего паровоза, сердитые крики людей.

До выхода в долину не больше ста шагов, и когда, выйдя, взглянешь влево — видно ровную степь Предкавказья, огражденную стеною синих гор, над ними — среброкованное седло Эльбруса. Степь почти вся в сухом желтом свете, она кажется песчаной, кое-где среди нее вспухли сады, и от их темных пятен желтый свет еще горячий. Кусками сала или сахара разбросаны белые хаты хуторов, около них черные тополя, игрушечные люди, чуть передвигаются маленькие вола, и всё тает в струях знойного марева.

Степь точно шелками вышита; когда смотришь на нее и в синеву пад нею — невольно, сами собою напрягаются мускулы, хочется встать и, закрыв глаза, — идти, без конца идти, с тихой, о чем-то грустном, песней на устах.

С правой руки — извилистая долина Сунжи, снова горы, синее небо над ними, сизая мгла во впадинах гор и неутомный шум работы — глухие выстрелы, мощные взрывы освобожденной силы.

Но — пройдет минута, эхо нашего ущелья спрячет все звуки в лесу и морщинах камней — снова ущелье тихо и ласково поет свою песню.

Если смотреть в его глубину, оно, суживаясь, поднимается всё выше в сизый туман; туман, густея, закрывает его синим занавесом, а еще выше, под самым небом, тоже синим, тает-плавится на невидимом солнце ледяная вершина Карадага, а над нею — светлая, непоколебимая тишина небес.

Преобладает сизовато-синий странный цвет, и, должно быть, от него всё время волнует душу незнакомое еще беспокойство, что-то неясное тревожит сердце, горит в нем пьяным пламенем, будит непонятные мысли и куда-то зовет.

Старик в белом смотрит из-под руки в нашу сторону и тянет, скрипит надоедно:

Ай,— кто по лево стороне,
Идет прямо сатапе,
Кто ж по право стороне,
У того финик в руке...

— На-ко вот,— слышал? — сквозь зубы говорит солдат.— Финик, чу... Мнеманит, видать, а то — молокан. Хоша — это всё едино у них, разобрать нельзя. Баловники. Финик!..

Мне понятно раздражение солдата,— назойливое, однотоное пение старика не к месту здесь, где всё поет само для себя так славно, что не хочется слышать ничего, кроме мягкого шороха леса, звона реки. Но особенно неуместными кажутся слова: финик, мнеманит...

Солдат не нравится мне, он тоже чему-то мешает. Это человек средних лет, коренастый, квадратный, обесцвеченный солнцем. Его полинявшие глаза смотрят с плоского лица невесело, смущенно. Нельзя понять — что он любит, чего ищет? Обойдя весь Кавказ кругом от Хасав-Юрта до Новороссийска и от Батума до Дербента, трижды перевалив через хребет по Грузинской, Осетинской дорогам и по Дагестану, он говорит, неодобрительно усмехаясь:

— Нагромоздил господь...

— Не нравится?

— Да — на что это? Лишнее всё...

Медленно ворочая жилистой шеей, он оглядывается, добавляя:

— И леса не такие.

Калужанин, он служил в Ташкенте, дрался с текинцами, был ранен камнем в голову,— рассказывает он об этом, виновато усмехаясь, опустив стеклянные глаза:

— Досадно сказать — баба меня тянула,— там, брат, у них и бабы воюют завсяко-просто, не то ли что! Деревня эта ихняя — Ахал-Тяпа — взята была, перекололи их невесть числа сколько, прямо — гроздьями лежат, кровища везде — идти мокро! Ну, и мы,— наша

рота, — лезерв, тоже входим в улицу, вдруг как меня хватит по башке! Оказалось — баба с крыши камнем. Сейчас ее прикололи...

Он нахмурился и строго сказал:

— А что бабы у них бреются — это враки. Я — глядел: приподнимешь штыком подол у которой убитой — всё как следует. Баба всё больше — сухая и хоша козлом пахнет, ну — ничего все-таки...

— Страшно на войне?

— Не знаю. Другие, которые в сражениях бывали, говорят — страшно. Текинец — злой очень и — не дается. Ну, я этого тоже не знаю, я всё в лезерве был, наша рота в самую штурму не ходила, а, лежа на песочке, издаля пуцала. В лезерве — не страшно, а просто — тяжело очень. Там — сплошь песок, и — нельзя понять, из-за чего драка затеялась. Диви бы хорошая земля, ну, тогда, конечно, есть интерес отнять. А то — голым-голо! Рек — тоже не полагается, а — жарыща, и до смерти пить охота. Многие даже и помирали от жадыбы к воде. Растет там, братец мой, вроде проса, называется — джугара, пища противная на вкус и обманная, — сколько хочешь ешь, сыт не будешь.

Рассказывает он нудно и бесцветно, с большими паузами, как будто ему тяжело вспоминать пережитое или он думает всегда не о том, что говорит. И, рассказывая, он никогда не смотрит в лицо собеседника — глаза его виновато опущены.

Тяжелый, нездорово полный, он весь налит каким-то мутным недовольством, ленивым отрицанием.

— Это всё земли неудобные для жилья, — говорит он, оглядываясь вокруг, — это для безделья земли. Тут и делать ничего не охота, просто — живешь разинув глаза, вроде пьяного. Жара. Духи-запахи, всё одно как аптека або — лазарет...

В этой жаре он, как очарованный, бродит, кружится восьмой год.

— Ты бы шел домой, в Рязань, — сказал я ему однажды.

— Ну, там делать мне тоже печего осталось, — странно расставляя слова, сказал он сквозь зубы.

Я заметил его в Армавире, на станции, где он, багро-

вый с натуги, дико вытаращив глаза, топал ногами, как лошадь, и, взвизгивая, орал на двух греков:

— Ребра вырву с мясом!

Тощие, копченые, лохматые греки, оба — на одно лицо, испуганно оскаливая белые острые зубы, уговаривали его:

— Зито грисите?

Он бил себя кулаком в грудь, как в барабан, не слушая их, кричал всё яростней:

— Вы — где живете? В России? Кто вас кормит? Россия, сказано, — матушка! А вы — что говорите?

Потом он стоял рядом с толстым седым жандармом в медалях и уныло жаловался ему:

— Все нас, земляк, ругают, а все лезут к нам, — греки эти, немцы, серба всякая! Живут, пьют-едят, а ругают! Ну — не досада?

Третий из нас был человек лет за тридцать, в казачьей фуражке и с казачьим вихром над левым ухом, круглолицый, большеносый, с темными усами на вздернутой губе. Когда суетливый студент подвел его к нам и сказал: «Вот еще этот с вами», — он взглянул на меня сквозь ресницы быстрым взглядом неуловимых глаз и сунул руки в карманы гурийских шаровар, с широкой мотней; а когда мы пошли, он, вынув левую руку, медленно провел ею по темной щетине небритого лица и спросил звучно:

— Из России?

— Ну, а то откуда? — недружелюбно молвил солдат.

Человек молча закрутил правый ус и спрятал руку. Широкоплечий, сложенный ладно, он был, видимо, очень силен; шагал широко и легко, как человек, привыкший одолевать большие расстояния, но ни котомки, ни узелка не было у него. Брезгливо вздернутая губа его и глаза, прикрытые ресницами, стесняли меня, настраивая подозрительно, почти враждебно.

Но в ущелье, идя впереди нас по каменной тропе, вдоль речки, он вдруг обернулся к нам и, кивнув головой на веселую игру воды в реке, сказал:

— Сваха!

Солдат, приподняв белесые брови, подумал, поглядел вокруг, потом шепнул:

— Дурак!

А мне показалось, что человек сказал верно: эта бойкая, гибкая речка очень напомнила болтливую, веселую бабенку, которой нравится устраивать любовные дела, не только ради своих выгод, а больше для того, чтоб люди поскорей узнали великие радости любви, которыми она живет не уставая и весело торопит всех приобщиться к ним.

Придя к бараку, человек с казачьим лицом снова поглядел на реку, на горы, в небо и всё одобрил сочным, круглым словом:

— Славно!

Солдат, сняв со спины тяжелую котомку, выпрямился и спросил, упершись руками в бока:

— Что — славно?

Тот посмотрел на широкую фигуру, обвешанную серыми лохмотьями, точно камень мохом, усмехнулся, говоря:

— А ты не видишь? Гора, в горе — дыра, — али плохо?

Он отошел прочь, а солдат, глядя в спину ему, снова шепнул:

— Совсем дурак...

И громко, мрачно выговорил:

— Лихорадки, наверно, живут здесь здоровенные...

Под вечер две дородные бабы принесли плотникам ужин, шум работы тотчас оборвался, шорох леса и говор воды стали звучней.

Солдат, не торопясь и побрякивая, собрал большую кучу ветвей и щепы, зажег небольшой костер и, аккуратно прилаживая чайник над огнем, посоветовал мне:

— Ты бы тоже пособирали дров на ночь. Ночи здесь холодные, черные.

Собирая щепу, я наткнулся в камнях около барака на вихрастого человека: опершись на локоть, поддерживая голову ладонью, он читал лежавший на земле большой лист крупно исписанной бумаги. Подняв на меня широко открытые глаза, он задумчиво и вопросительно взглянул в лицо мне, — один глаз у него был больше, другой — меньше.

Он, должно быть, понял, что интересуется меня, улыбнулся, но я прошел мимо его, смущенный этой улыбкой.

Около барака молча ужинали плотники, усевшись в два кружка, в каждом — по женщине.

Ущелье зарастало мглою; становясь всё гуще и теплее, мгла размягчала склоны гор, камни как будто пухли, сливаясь в сплошную массу синеватой черноты; в глубине ущелья уже сплошь залилось ею, крутые склоны его оплыли и сомкнулись. Всё вокруг таяло, неуловимо быстро выравниваясь в единое-огромное.

Красные цветы тихонько гасят свой волнующий огонь; вместо них мягко вспыхнула вершина Карадага, осеянная багряной пылью заката, порозовела пена реки, но звон ее примолк, льется глуше, задумчивей, и онемел лес, спустившись ближе к воде.

Пьяные запахи стали крепче и слаще, сытно пахнет смолистым дымом костра.

Солдат, сидя на корточках перед маленьким огнем, поправляет угли под чайником.

— А где тот? Зови его... — тихо говорит он.

Я иду, как во сне. У барака кто-то вздохнул густо и певуче:

— Сколь велика сия дело...

Два женских голоса негромко и голодно тянут:

Тоску плоти смирю-у...

Тело духу покорю...

Душу вос-хва-лю-у...

Крепко плоть утолю...

Слова они выговаривают четко и в конце каждого стиха медленно опускают куда-то во тьму, в землю, волчий звук:

— У-у...

Когда я позвал ужинать человека с вихром, он гибко вскочил на ноги, смял письмо, сунул его в боковой карман истертого пиджака и сказал мне, улыбаясь:

— А я хотел к плотникам идти, — не дадут ли хлеба? Давно не ел...

И, подойдя к солдату, он повторил эти слова, как бы удивляясь их смыслу.

— Они — не дали бы! — убежденно сказал солдат, развязывая котомку. — Они нас не любят.

— Кого — нас?

— А вот — тебя, меня. Русских. Они вон поют про финики, — это значит, они — сехта, называемая менмониты...

— Просто — молококане, — сказал вихрастый, подсаживаясь к огню.

— Ну, хоть молококане, всё едино! Немецкая вера. Все они преданы немцу, а до нас — неприветливы.

Вихрастый взял краюху хлеба, отрезанную солдатом от каравая, луковицу, кусок сала и, оглядывая всё это добрыми глазами, взвешивая на ладони, говорил:

— У них тут недалеко, на Сунже, своя колонка, — был я там. Люди — черствые, это верно. А русских здесь никто не любит и — за дело, плохой всё народ валится сюда из России...

— А ты откуда? — строго спросил солдат.

— Я? Положим — курский.

— Из России, значит!

— Ну, так что? Я себя хорошим человеком не считаю...

Солдат недоверчиво поглядел на него и сказал:

— Это — словесность, это просто — езуитство! Таких людей, чтобы хорошими себя не считали, — таких, брат, нету!

Вихрастый не ответил, набивая рот хлебом, солдат подождал, хмуро окинул его глазами и начал снова:

— А вид у тебя — будто ты с Дона...

— Бывал и на Дону...

— А на службе был?

— Нет. Один сын.

— Из мещан?

— Из купцов.

— А как звать?

— Василий, — не сразу и неохотно ответил курянин.

Было ясно, что он не хочет говорить про себя, и солдат замолчал, снимая кипящий чайник с огня.

Молокане зажгли за углом барака костер; яркие отблески огня лизали желтый тес стены, она качалась,

таяла,— вот-вот польется золотым ручьем по темной земле.

Невидимые нами плотники всё громче пели; басы скучно вато выводят:

Возопой, андел свят...

Высокие голоса недружно и холодно откликались:

Возопой!..

— Христу славу, андел свят,

Возопой...

— Воспоем и мы с тобой,—

Андел свят...

Это пение, не мешая слышать плеск воды и шорох камня в мелком русле реки, было ненужно здесь и возбуждало досаду на людей, не умеющих найти песню, которая звучала бы в лад со всем живым, что вздыхает вокруг них.

В ущелье совсем темно, только устье еще не завешено черным пологом южной ночи, и синевато-светел блеск реки там, где она выбегает в долину, прикрытую густо-синим туманом.

Во тьме один из камней стал похож на монаха: стоя на коленях, согнув голову в острой скуфье, он молится, и лицо его закрыто руками.

Стволы деревьев, освещенные огнем костра, шевелятся и тоже напоминают монахов, когда они, медленно идя к заутрене, сквозь тьму ночи, всегда особенно густую в ограде монастыря, гуськом подходят к паперти храма.

Мне вспомнилось, как однажды в Задонске, на монастырском дворе, вот такой же темной и жаркой ночью, сидя у стены длинного здания келий, я рассказывал послушникам разные истории,— вдруг из окна, над моей головой, кто-то сказал ласково и молодо:

— Благослови вас мать божия на доброе миру!

Окно закрылось раньше, чем я успел увидеть, кто сказал эти слова, но там был хромой большеглазый монах, очень похожий лицом на Василия,— вероятно, это он пожелал добра людям: бывают такие минуты, когда

всех людей чувствуешь как свое тело, а себя — сердцем всех людей.

...Василий, не торопясь, ест хлеб; отломив от краюхи небольшой кусок, он расправляет им усы и аккуратно прячет в рот; около ушей под кожей у него катаются шарики.

Солдат — поел, он ест мало и лениво; бережно достал из-за пазухи трубку, насовал в нее табаку, достал пальцами уголь из костра, закурил и, прислушавшись к пению молокан, сказал:

— Сыты, а — воют! Всё с богом спорятся.

— А тебе что? — улыбнувшись, спросил Василий.

— Не уважаю я этот народ. Не столь они праведники, сколько привередники... бог у них — первое слово, а второе — целковый...

— Вот ты как? — удивленно воскликнул Василий и звучно засмеялся, со вкусом, сквозь смех, повторив:

— Бог — первое слово, второе — целковый! Это, земляк, очень верно! Ну, а все-таки, — ласково заговорил он, — стеснять людей не надо. Ты — их будешь стеснять, они — тебя, — что толку? У нас и так рта открыть нельзя — свое слово сказать, — сейчас все кулаки в твои зубы...

— Положим — так, — примирительно сказал солдат, взял в руку квадратный отрезок тесины и внимательно стал осматривать его.

— А какой ты народ уважаешь? — спросил Василий, помолчав.

Солдат, окутав лицо свое серым облаком дыма, сунул отрезок в огонь.

— Уважаю я, — начал он внушительно, — русский народ, настоящий, который работает на трудной земле. А которые здесь — что такое? Здесь жить просто: и всякого злаку больше, и земля легкая, благодущная, — копнул ее — она и родит, на — бери! Здесь земля — баловница! Прямо сказать — девка земля: раз ее коснулся, и ребенок готов...

— Так, — сказал Василий, прихлебывая чай из жестяной кружки. — А я бы вот всех из России сюда перевел.

— Это — для чего?

— Чтобы жить.

— А там — не умеют?

— Ты зачем сюда сошел?

— Я? Я человек одинокий.

— А отчего ты одинок?

— Ну... так мне положено! Судьба такая, стало быть...

— Тебе бы подумать, — зачем она такая...

Солдат вынул трубку изо рта, отнес руку с нею в сторону, а другою рукой удивленно огладил свое плоское лицо. Он — помолчал и вдруг ворчливо заговорил обиженным голосом, неуклюжими словами:

— Зачем, зачем! Причипов для того многое количество! Напримерно: которые люди живут-думают несогласно со мной, то они мне все неприятны, и я от них отхожу прочь. Я — не поп, не становой или, там, что... Подумал бы! Ты один думаешь? Умник...

Он вдруг рассердился, сунул трубку в рот и замолчал, нахмурясь, а Василий поглядел на красное пред огнем его лицо и тихонько сказал:

— Вот то-то и оно: ни с кем не согласны мы, а своего устава у нас нету. Живем без корней, ходим из стороны в сторону да всем мешаем, за то нас и не любят...

Солдат выпустил изо рта облако дыма и спрятался в нем. Хороший голос был у Василия — гибкий, ласковый, слова он выговаривал четко и кругло.

В лесу назойливо кричит горная сова — пышная рыжая птица с хитрым лицом кошки и острыми серыми ушами. Однажды я увидел эту птицу днем среди камней, над головою у себя, и очень испугался ее стеклянных глаз: круглые, как пуговицы, они были освещены изнутри каким-то угрожающим огнем; с минуту я стоял, обомлев от страха, не понимая — что это?

— Откуда у тебя трубка такая хорошая? — свертывая папиросу, неожиданно спросил Василий. — Старая немецкая трубка...

— Не бойсь, не украл! — ответил солдат, снова вынув трубку и с гордостью оглядывая ее. — Женщина одна подарила...

И, злодейски подмигнув, вздохнул.

— Рассказал бы — как? — тихоенько предложил Ва-

силий и вдруг, взмахнув руками, потягиваясь, с тоской пропел:

— Ночи же здесь... не дай бог какие злые ночи! Будто хочется спать, а — не спится, и гораздо лучше спишь днем, в тени где-нибудь. А ночами — просто с ума сходишь, всё думается не знай о чем. И сердце растет, поет...

Внимательно вслушиваясь, солдат удивленно открывал рот, белые брови его всползали всё выше.

— И у меня тоже! — тихо сказал он. — Всегда, почитай... Что такое?

Я хотел сказать:

«И у меня тоже, братцы!»

Но они так странно всматривались друг в друга, точно каждый только сейчас увидал другого против себя. И тотчас же озабоченно, наперебой стали опрашивать один другого — кто, где был, откуда и куда идет, — точно родственники, неожиданно встретившиеся и только сейчас узнавшие о своем родстве.

Над богатым огнем костра молокоан протянулись черные лохматые лапы сосен, — словно греются, ловят огонь, хотят обнять и погасить его. Иногда огонь потянет к реке, красные языки высунутся из-за угла барака, — кажется, что барак загорелся.

Ночь становится всё гуще, душистей, всё ласковее обнимает тело; в ней купаешься, как в море, и как морская волна смывает грязь кожи, так и эта тихо поющая тьма освежает душу. Такими ночами душа одета в свои лучшие ризы и, точно невеста, вся трепещет, напряженно ожидая: сейчас откроется пред нею нечто великое.

— Кривая? — тихо спрашивает Василий, а солдат, не торопясь, говорит:

— Сызмала, пяти годов упала с воза, ушибла глаз, вытек. Ну, это у нее не заметно: просто закрыт глазок. И вся она — аккуратная, круглая. Доброты в ней, гляжу, — как воды в ручье этом, неистребимо много! Ко всему свету добра: ко скоту, к нищему, ко мне. Защемило мне сердце: эх, думаю, чего с солдатом не бывало? Ну, пускай, хозяйская она любовница, а — попробую! Так, сяк — ничего! Выставит локоть супротив меня, и — кончено!..

Василий лежит на спине и, шевеля усами, жует былинку; глаза у него широко открыты, и ясно видно: левый глаз больше правого. Солдат сидит у его плеча, помешивая в костре обгорелым сучком, над костром летают золотые искры; какие-то серые мошки безмолвно выются над ним, тяжелыми хлопьями падают в огонь ночные бабочки и, потрескивая, сгорают. Я лежу и, слушая знакомую мне историю, вспоминаю людей, мимо которых когда-то прошел, слова, коснувшиеся сердца.

— Вот раз я собрался с духом, застиг ее в амбаре, прижал в угол и говорю: «Ну, говорю, так или нет? Как хошь, а я — солдат, человек петерпеливый!» Она — бьется: «Что ты, что ты?» И плачет, словно бы девица, и говорит сквозь слезы: «Не тронь меня, не гожусь я тебе; люблю, говорит, я другого человека — не хозяйина, а — другого», — тоже работником жил у них, ушел он, сказал: «Жди, найду хорошее для житья место — вернусь, уведу тебя туда». Семнадцатый месяц нет ни слуха ни духа о нем, может — забыл, может — пропал, убил кто. «Ты, говорит, сам мужчина и должен понимать, что надобно мне сохранить себя до времени!» Мне, конечно, обидно: чем я хуже другого-то? Обидно, а — и жаль ее и грустно тоже, вроде как обманула она меня: всегда показывала себя веселой, а у самой — вон что на сердце! И погас я, не могу ее тронуть, хоть и в руках она у меня. «Ну, говорю, тогда — прощай, уйду я». — «Уйди, говорит, Христа ради, пожалуйста». К вечеру на другой день заявил я хозяину расчет, а на заре, в воскресенье, собрался, ухожу, тут она мне и вынесла трубку эту: «Прими, говорит, Павл Иваныч, в память, ты, говорит, стал мне как брат родной, спасибо тебе!» Как пошел я — чуть не заплакал, ей-богу! Так, братец ты мой, сердце защемило — беда.

— Это — хорошо! — тихонько сказал Василий. — Вот так всегда и надо. Да? Да! Сошлись. Нет? Нет! Разошлись. А стеснять друг друга — зачем?

Попыхивая серым дымом, солдат задумчиво проговорил:

— Хорошо-то оно, брат, хорошо, да больно грустно...

— Это — бывает! — согласился Василий и, помол-

чав, добавил: — Это частенько бывает с хорошими людьми, в ком совесть жива. Кто себя ценит, он и людей ценит... У нас это — редко, чтобы умел человек себя ценить...

— У кого — у нас?

— Да вот — в России...

— Не уважаешь ты, брат, Россию-то, видать... Что это ты? — спросил солдат странным тоном, как бы удивляясь и сожалея.

Тот не ответил, и, подождав с минуту, солдат снова начал вполголоса:

— А то вот — еще была у меня история...

Люди за бараками угомонились, костер догорает, на стене барака дрожит красное, заревое пятно, с камней приподнимаются тени. Один из плотников, высокий мужик, с черной бородой, еще сидит у костра; в руке у него тяжелый сук, около правой ноги светится топор: это сторож, поставленный против нас, сторожей.

Не обидно.

Над ущельем, на изорванной по краям полосе неба сверкают синие звезды, кипит и звенит вода в реке, из плотной тьмы леса доносится тихий хруст — осторожно ходит ночной зверь, и всё кричит, уныло, сова. Единое-огромное насквозь пропитано затаенной жизнью, сладко дышит — будит в сердце неутолимую жажду хорошего.

Голос солдата напоминает отдаленный звук бубна, редкие вопросы Василия задумчиво певучи.

Мне нравятся эти двое людей, в тихой беседе их всё растет что-то славное, человечье. Суждения вихрастого человека о России возбуждают сложное чувство: хочется спорить с ним и хочется, чтоб он говорил о родине больше, яснее. Нравится мне этой ночью вся жизнь, — всё, что я видел в ней, теперь повторно идет предо мною, точно кто-то рассказывает, утешая, знакомую сказку.

...Жил в Казани студент, белобрысый вятч, — точно брат солдата и такой же аккуратный, — однажды я слышал, как он сказал:

— Прежде всего я узнаю: есть бог или нет? Начинать нужно с этого...

Там же была акушерка Велихова, женщина очень красивая и, — говорили, — распутная; однажды она стояла на горе, над рекой Казанкой, за Арским полем, глядя в луга и на синюю полосу Волги вдаль; смотрела туда долго, немо и вдруг, побледнев, радостно сверкая хорошими, в слезах, глазами, вскрикнула тихо:

— Нет, друзья мои! Поглядите же, какая земля наша милая, какая она прекрасная! Давайте поклянемся пред нею в том, что будем честно жить!

Поклялись: дьякон — студент духовной академии, мордвин из инородческой семинарии, ветеринар-студент и два учителя; после один из них сошел с ума и помер, разбив себе голову.

Вспомнился мне человек на пристани Пьяного Бора, на Каме, высокий, русский молодец с лицом озорника и хитрыми глазами. Было воскресенье, жаркий праздничный день, когда всё с земли смотрит на солнце своей лучшей стороной и точно говорит ему, что недаром оно потратило светлую силу, живое золото свое. Человек стоял у борта пристани, одет в новую, синего сукна поддевку, в новом картузе набекрень, в ярко начищенных сапогах, он смотрел на рыжую воду Камы, на изумрудное Закамье, в серебряной чешуе мелких озер, оставленных половодьем, — там, за Камой, солнце упало на луга и расколосось в куски. Человек улыбался; всё хмельней становилась улыбка молодого — в темной бороде — лица, всё ярче разгоралось оно радостью, и вдруг, сорвав картуз с головы, парень сильным размахом шлепнул его в воду золотой реки и закричал:

— Эх, Кама, матушка родная, — люблю! Не сдам! ...Много видел я хорошего!

Мне хочется пересказать товарищам всё, что вспомнилось, хочется, чтоб они порадовались, посмеялись, но — они оба уже спят.

Над горою поднялась, выщербленной секирой, половинка луны, слабый свет лег на темные вершины деревьев и, падая в реку, серебряной тканью полощется в ней, освещает круглый камень, похожий на синий, бритый череп горца.

Солдат уснул сидя, — привалился спиной к своей котомке и похрапывает, свесив голову на плечо, устало

положив руки на колена. Василий вытянулся струною; он лежит вверх лицом, руки под голову, его красиво очерченные темные брови чуть-чуть приподняты и усы тоже вздернулись. Он плачет во сне: по бурым его щекам текут слезы, в лунном свете они кажутся зеленоватыми, точно камень хризолит или горькая вода моря... Странно видеть слезы на этом мужественном лице.

Звенит река, потрескивает костер, перед ним согнулась, окаменев, темная фигура сторожа, красные отблески обнимают ее; топор на земле светится, как луна в небе.

Спит земля, и всё ближе к ней опускаются звезды.

В полусонном безделье медленно протек день, влажная теплынь, звон реки, пьяные запахи леса и цветов отравили нас ленью; с утра до вечера мы бесцельно шлялись по ущелью, почти не разговаривая друг с другом; ничего не хотелось и не думалось ни о чем.

Вечером, на закате солнца, когда пили чай у костра, солдат сказал:

— Вот бы на том свете эдакая жизнь, — тихо, смиренно, и никаких делов! Таешь вроде как масло, и ниоткуда тебе — ни обиды, ни беспокойства.

Осторожно вынув трубку, он добавил, вздыхая:

— Н-да, кабы на том свете эдак-то, я бы очень бога умолял: «Прими, господи, душеньку мою поскорей!»

— На тебе, боже, что мне не гоже, — задумчиво перебил его речь Василий. — А я бы вот не сумел так жить, — день, два, ну, ничего, можно, а долго — нельзя...

— Работал ты мало, — сказал солдат сквозь зубы.

Всё было как и вчера об эту пору: так же славно заливал ущелье сизоватый туман, сверкали в красном блеске солнца серебряные зубья гор, сонно покачивал мягкими вершинами лиственниц густо-темный лес на горе; таяли, во мгле, камни, рождая тени, цела свою песню сваха-река.

И так же, не торопясь, тяжело, точно кабаны, возились около барака большие гладкие плотники.

Не однажды — то один, то другой — мы пытались познакомиться с ними, потолковать у безделья, но они

отвечали нам неохотно, односложно, и каждый раз, когда затевался разговор, белый старичок ласково покрикивал своим:

— Эй, Павлуша-брат, поторапливайся, гляди!

Он заметнее других показывает, что не хочет знакомиться с нами; неустанно, однообразно, точно споря с рекою, он тихонько мурлыкал свои благочестивые песни, а иногда, поднимая гнусавый голос высоко и требовательно, пел их громко, наянливо; целый день они текли мутным ручейком, наводя тоску. И с утра до вечера, бережно переставляя с камня на камень свои тонкие ноги, он ходил около работы, описывая один и тот же круг, словно желал протоптать тропу, которая еще более заметно отделила бы нас от плотников.

С ним не хотелось говорить; его застывшие глаза холодно отталкивали еще издали. Однажды я подошел совсем близко к нему, но он, спрятав руки за спину, попятился назад и спросил негромко, строго:

— Ну, что?

И у меня пропала охота узнать — какие это песни поет он?

Солдат, обиженно следя за ним, ругался:

— Колдун. Снохач. Деньжищ, поди-ка, у него, благочестивца, накоплено...

И сейчас, раскуривая трубку, он, скосив пустой глаз в сторону плотников, сердито ворчал:

— Ведь какими благородиями держатся, сукины сыны, гляди-ко ты!

— Это у нас всегда так, — сказал Василий, тоже сердито, — чуть только человек сыт немножко — сейчас нос кверху — барин!

— Что ты всё говоришь — в нас да в нас!

— Ну, в русских...

— Того лучше! А ты — немец, татарин?

— Не татарин, а — недостатки вижу...

Они уже не первый раз за день начинали этот спор, он, видимо, надоел им, и теперь оба говорили лениво, без сердца.

— Недостатки, назад пятки, — попыхивая дымом, мямлил солдат. — Неладно ты говоришь, брат! Это — измена, твои слова...

— Кому?

— Русским...

— Еще что скажешь?

Новый звук долетел в ущелье, где-то в степи ударили в небольшой колокол: суббота была, звали ко всенощной. Солдат вынул трубку изо рта, замер, прислушался, а когда колокол крикнул третий раз — он, сняв картуз, истово перекрестился, говоря:

— Церквей здесь маловато...

И тотчас, взглянув через реку, сказал, словно завидя:

— Ишь ты, дьяволы, не крестятся, сехта окаянная... серба!

Василий покосился на него, шевеля усами, разгладил их левою рукой, взглянул вдоль ущелья, в небо, и опустил голову.

— Нет, — тихо заговорил он, — я ни в каком месте не могу долго жить, всё мерещится, что лучше есть. У меня в сердце птица поет — иди, иди!

— Это во всяком поет, — угрюмо отозвался солдат.

Поочередно глядя на нас, Василий негромко засмеялся:

— Во всяком? А ведь это неладно! Ведь это значит — бездельники мы и норовим на готовое. Сами-то, значит, ничего того лучше, что есть, не можем сделать, а — подай нам!

Он смеялся, но глаза у него были грустные, и пальцы правой руки, лежа на колене, шевелились судорожно, точно лова что-то невидимое.

Солдат нахмурился, замычал; мне стало тревожно и жалко Василия, а он встал и, тихонько насвистывая, пошел берегом вниз по течению реки.

— Голова у него — дурная! — подмигивая вслед ему, забормотал солдат. — Прямо — не в порядке голова, я это сразу увидал. Слова эти его против России — к чему они? Про Россию, брат, нельзя говорить что хочешь, от своего ума. Кто ее знает, что есть Россия? Каждая губерния — своя душа. Это никому не известно, которая божья мать ближе богу — Смоленская али Казанская...

Соскабливая щепкой жирную копоть со дна и боков чайника, он долго, точно жалуясь на что-то, ворчал под нос себе и вдруг насторожился, вытянул шею, вслушиваясь:

— Стой-ка...

Всё последующее было так же неожиданно, как вихрь в жаркий день, когда вдруг с края знойного неба налетит злою птицей черно-синяя туча и, обрушив на землю обильный ливень с градом, избьет всё, всё растопит в грязь.

С долины в ущелье шумно, со свистом и гамом, ввалилось человек двадцать рабочих; они вытянулись по тропе вдоль реки широкою темной полосой, в руках передних тускло светились четвертные бутылки водки, почти у каждого за спиною висела котомка, некоторые несли на плечах мешки хлеба и харчей, двое надели на головы большие черные котлы, это придало им сходство с грибами.

— Полтора ведра, — крикнув, сообразил солдат, вставая на ноги.

— Полтора! — повторил он и, высунув кончик языка, положил его на губу, приоткрыл рот. Лицо у него стало удивленно-глупое, жадное, он замер и с минуту стоял неподвижно; казалось, его чем-то ударило и вот он сейчас закричит.

Ущелье загудело, как бочка, когда на дно ее падают тяжести; кто-то бил кулаком в пустое железное ведро, кто-то пронзительно свистел, металось эхо, заглушая шум реки.

Всё ближе к бараку подходили отрепанные люди в темном, сером и красном, с засученными рукавами, многие без шапок, в лохматых космах волос, все изогнутые усталостью, пошатываясь на развинченных ногах.

Глухой разноголосый говор сердито вливался в трубу ущелья, кто-то хвастливо и надорванно кричал:

— Нет, говорю, шалишь! Разве мы ведро, говорю, пота-крови седня пролили?

— Озеро!

— Нет, поставь-ка полтора!

— Полтора, — третий раз сказал солдат вкусно и

с уважением; покачнулся вперед, точно его толкнуло в шею, пошел через реку наперерез людям и потерялся среди них.

У барака суетливо бегали плотники, собирая инструмент, мелькал белый старичок; ко мне подошел Василий, сунув правую руку в карман, держа фуражку в левой.

— Здорово напьются,— сказал он, прищурился глазами.— Эх, беда наша, водочка эта! Пьешь?

— Нет.

— Слава богу. Не пьешь — не пропадешь...

С минуту он молчал, невесело смотрел на ту сторону, потом заговорил, не шевелясь, не глядя на меня:

— Глаза у тебя примечательные, парень! Знакомые глаза, видал я их где-то. Может, во сне, не знаю. Ты — откуда?

Когда я ответил, он туманно взглянул в лицо мне, отрицательно качнув головою.

— Не бывал в тех краях! Далеко!

— Сюда — еще дальше.

— Откуда?

— От Курска.

Он усмехнулся.

— Я — не курский,— псковской. Это я при солдате сказал, что курский, так себе, нарочно. Не нравится мне солдат, не хочется правду ему говорить, этого он не стоит. И зовут меня — Павел, а не Василий. Павел Николаев Силантьев, сказано в пачпорте,— у меня и пачпорт есть... всё, как следует...

— Чего ты ходишь?

— Да... так как-то! Глядел-глядел, махнул рукой, а — ну вас! И пошел, пером по ветру...

— Молчать! Я сам староста! — грозно закричали у барака, и тотчас же стал слышен голос солдата:

— Какие они работники? Они — сехта, они всё песни поют...

И снова кто-то орал:

— Обязался ты, старый чёрт, к воскресенью копчить постройку?

— Побросать у них струмент в речку!..

— И начинается скандал,— равнодушно проговорил Силантьев, опускаясь на корточки пред углями костра.

Вокруг барака, четко выделяясь на светлой его полосе, суетились, как на пожаре, темные фигуры, ломали что-то, трещало и шаркало по камню дерево, звонкий голос весело командовал:

— Тихо-о! Сейчас я всё налажу...

— Плотники — вертись живо! Дай сюда пилу...

Командовали трое: рыжебородый мужик в матросской фуфайке, высокий, сутулый, на тонких ногах; длинной рукою он держал старика в белом за шиворот, встряхивал его и с яростным наслаждением орал:

— А где у тебя нары, а? Готовы, а?

Очень заметен был молодой широкоплечий парень в розовой рубахе, разорванной на спине от ворота до пояса: он совал в окно барака тесины, покрикивая звонко:

— Принимай! Настилай!

А третьим командиром был солдат, он толкался среди людей и злорадно пел, ядовито разделяя слога:

— Ага-а, са-во-ла-чи, сехта! Они на меня никакого вниманья, се-рба! Я говорю: ребята, торопись, пожалуйста! Прибудет усталый народ...

— Чего ему надо? — тихонько спросил Силантьев, закуривая папиросу.— Водки? Водки дадут... А что, брат, жалко тебе народ?..

Он смотрел сквозь синий дым табака на алые угли, они цвели на камнях, точно маки; заботливо сдвигая их обгоревшим сучком ближе друг к другу, пскович строил золотисто-красный холм, и в его красивых глазах светилась благочестивая любовь к огню. Должно быть, вот так же смотрел на огонь древний, кочевой человек, с такою же молитвенной лаской в сердце, играя благостным источником света и тепла.

— А мне народ жалко: бесчисленно много пропадает его зря! Глядишь-глядишь на это — просто беда, брат...

Еще на вершинах гор догорал день, но в ущелье уже отовсюду темно смотрела ночь, усыпляя нас. Говорить не хотелось, и не хотелось слышать тяжелый шум на

том берегу, — неприятный шум этот даже тихому звону реки придавал сердитый тон.

Там зажгли большой костер, потом вспыхнул другой; два огня, шипя и потрескивая, окружаясь синими облаками дыма, стали спорить друг с другом, бросив на белую пену реки красные кисейные ткани; между огнями метались почерневшие люди, сладкий голосок призывно покрикивал:

— Подходи, не задерживай, подходи!

Звенело стекло стакана, рыжий мужик внушительно и гулко сказал:

— Их учить надо!

Старичок-плотник отделился от людей, осторожно щупая ногами камни, брошенные нами в реку, перешел на нашу сторону, присел на корточки и стал, фыркая, плескать водой в лицо себе, весь розовый в густых отблесках огня.

— Ударили, должно быть, — тихо сказал Силантьев.

Да, ударили. Когда он подошел к нам, мы увидали, что по его усам и мокрой белой бороде текут из носа темные струйки крови, а на рубахе, на груди — тоже пятна и полосы.

— Мир беседе, — строгим голосом сказал он и поклонился, прижав левую руку к животу.

— Садись, милости просим, — сказал пскович.

Теперь старик напоминал изображение святого отшельника — маленький, сухой и чистый, несмотря на рубаху в крови. От боли и обиды или от углей костра его мертвые глаза как будто ожили, стали светлее. И еще строже. Смотреть на него было неловко, стыдно.

Покрякивая, шмыгая широким носом, он отер бороду ладонью, а ладонь — о колено, протянул над углами старые, темные руки и сказал:

— До чего вода в речке этой холодна — просто ледяная...

Силантьев спросил, взглянув из-под ресниц в лицо ему:

— Больно ушибли?

— Не-е... По переносице ткнул. Это место на кровь хлибкое. Господь с ним, ему с этого не прибудет, а мне страданье — в зачет перед духом святым...

Он поглядел на ту сторону реки: берегом шли двое людей, плотно прижавшись друг к другу, и тянули пьяными голосами:

Умру я те-омной ночью
Осеннею порой...

— Давно меня не били! — заговорил старик, приглядываясь к ним из-под руки. — Годов... годов с двадцать, поди-ка, не били уж! И сейчас — зря, никакой моей вины нет. Гвоздей мне недодают, деревянным колышком многое пришлось вязать. Тесу не хватает, того, сего... Ну, — не поспел я к сроку, а вина — не моя. Они — для экономности — воруют что попало, старшие — главные, я не отвечаю. Конечно, я признаю это; дело казенное, люди они — молодые, жадные, — сделай милость, воруй! Всякому хорошего охота взять задешево... А моей вины в этом нет. Озорники. Пилу порвали у старшего сына моего, новая пила. Мне, старику, кровушку пустили...

Его маленькое серое лицо сморщилось, стало еще меньше; он прикрыл глаза и всхлипнул сухим, скрипучим звуком.

Силантьев завозился, тяжело отдуваясь, — старик внимательно взглянул на него, высморкался, вытер руку о штаны и спокойно спросил:

— Будто видел я тебя где?

— Видел; весной был я у вас в станице... Молотилки чинил.

— Так, так! То-то я гляжу. Значит, это ты? Несогласный?..

Качая головою, старик усмехнулся:

— Помню я речи твои, да! Всё так и думаешь?

— С чего мне думать иначе?.. — хмуро спросил Силантьев.

— Так...

Старик снова протянул над углями темные руки; далеко отогнутые большие пальцы странно топырились, шевелясь не в лад с другими.

— Так и думаешь всё, — строго и насмешливо заговорил старик, — супроти богом установленного бо-

роться надо, а? Терпенье — зло, а боренье — добро, а? Эх, парень, слабая твоя душа. Токмо духом сатану победишь, духом, знай...

Не торопясь, Силантьев встал на ноги и сердито, грубо, не своим голосом сказал, тыкая рукою в сторону старика:

— Слышал я это, не от тебя одного слышал! Не люблю я вас, эдаких вот, духовных...

Он крепко выругался.

— И не с сатаной бороться надобно, а вот — с вами, вороньё чёртово! Мертвяки...

Отшвырнув ногою камень от костра, он тяжело пошел прочь, сунув руки в карманы, плотно прижав локти к бокам, а старик, усмехнувшись, сказал мне тихо:

— Гордый! Ну, это не на долгое время...

— Почему?

— Уж я знаю,— сказал он и замолчал, склонив голову на плечо, вслушиваясь в крики за рекою,— люди там всё пьянели, и кто-то вызывающе бухал:

— Хо-хо! Я? Ха!

Я посмотрел, как Силантьев, легко прыгая с камня на камень, перешел реку и вмешался в толпу, безрукий, издали заметный среди людей; мне стало скучно без него.

Шевеля пальцами, точно колдуя, старик всё держал пальцы над углями; переносье у него вспухло, под глазами вздулись желваки, он смотрел из-за них и беззвучно двигал двумя полосками темных губ, оттененных белыми усами и бородой. Уродливое лицо его, очень древнее, в крови, плохо смытой из морщин, снова напоминало великих грешников, уходивших от мира в леса и пустыни.

— Видал я гордых,— заговорил он, встряхивая головою без шапки, чуть покрытой жидкими волосами.— Большой огонь — скоро и горит, а вот эти угольки золотой, пеплом прикроются — до восхода солнца могут тлеть, уцелеть... Ты, паренек, подумай над этим! Это есть не простые слова, а — учение...

Надвинулась, налегла мягкой тяжестью черная ночь, такая же, как вчера,— душистая и теплая, ласковая, как мать. Ярко пылали огромные костры, их жар доходил до нас через золотую реку дымным теплом.

Старик сложил руки на груди, сунул ладони под мышку и уселся поудобней.

Я хотел положить на угли сучьев и стружек,— он строго сказал:

— Не надо!

— Отчего?

— Увидят они огонь — полезут сюда...

И отодвинул ногою наломанные мною сучья, повторив:

— Не надо!

Сквозь жидкий огонь в реке к нам, не спеша, перебрались двое плотников с ящиками за спиною, с топорами в руках.

— А те — ушли? — спросил старик.

— Все ушли,— ответил большой мужик без бороды, с обвисшими усами.

— Отыди ото зла — сотворишь благое.

— Нам бы тоже уйти...

— От неконченного дела — нельзя уходить. Посылал я в обед Олешу, сказывал — не пускали бы людей, а они — на-ко вот! Еще сожгут барак, напившись яду...

Я курил; усатый плотник потянул носом сладкий дым и сплюнул на угли. Другой, молодой и пухлый, точно пожилая баба-калачница, как сел, так и задремал тотчас же, опустив встрепанную голову на грудь.

Шум за рекою стал тише, а в центре его настойчиво возвышался пьяный воющий голос солдата:

— Стой, отвечай мне! Как ты можешь Россию не уважать? А-а, Рязань — не Россия? А кто — Россия?

— Кабак,— тихонько сказал старичок, но сейчас же добавил громче и обращаясь ко мне:

— Это я про них: кабак, мол... Чу, как надсаживаются, веселые...

Теперь кричал парень в розовой рубахе:

— Взы, солдат, кусай его за горло, взы!

Был слышен суровый возглас Силантьева:

— Ты что — собак травить?

— Нет, ты мне отвечай! — выл солдат.

Старичок спокойно заметил:

— Должна быть драка...

Я встал, пошел на ту сторону и слышал, как он негромко сказал своим:

— Ну вот, слава богу, и этот откатился...

Встречу мне с того берега черной кучей валились люди, ухая, гикая, кряхтя, точно они поднимали и волокли большую тяжесть; бабий тонкий голос визжал:

— Я — вша-а?

— Бро-осьте!

— Бей его!

— Бросьте-е!

Из толпы вырвался Силантьев, выпрямился, страшно и широко взмахнув правой рукою, снова прыгнул на людей; парень в розовой рубахе тоже замахнулся огромным кулаком, и тотчас раздался мягкий хряский удар, — Силантьев отпрянул назад и беззвучно осел в воду, под ноги мне.

— Так, — внушительно сказал кто-то.

На секунду шум оборвался, и в уши сладко влилось пение воды, потом кто-то бросил в реку большой камень, кто-то тупо захохотал.

На меня лезли люди; я наклонился к Силантьеву, пытаюсь поднять его, он лежал наполовину в воде, грудью и головой на камнях.

— Убили человека, — крикнул я, не веря в это, только для того, чтоб напугать, остановить людей, мешавших мне.

Кто-то трезвым голосом, недоверчиво спросил:

— Ну-у?

Парень в розовой рубахе пошел прочь, покрикивая с фальшивой обидой в голосе:

— А хоша бы? Он — не лай! Каковой я разоритель земли?

— Где солдат этот, который подзуживал, который сторож?

— Несите огня сюда...

Говорили всё трезвее, спокойней и тише. Маленький мужичок, с головой, повязанной красным платком, наклонился, приподнял голову Силантьева, но тотчас небрежно выпустил ее из рук, сунул руки в воду и четко сказал три слова:

— Верно, убили, помер...

Я не поверил словам, но, взглянув, как вода реки перекатывается через ноги Силантьева, поворачивает их и они шевелятся, словно пытаюсь сбросить истоптанные сапоги, вдруг всем телом почувствовал, что держу в руках руки мертвого, выпустил их, и они шлепнулись в воду, как мокрые тряпки.

На берегу стояло человек десять, но когда мужик сказал свои слова, они, все сразу, метнулись прочь, нелепо толкаясь, покрикивая озабоченно, устало:

— Который ударил?

— Погонят теперь с работы.

— Солдат волынку эту завел...

— Верно, он...

— На него и показывать!

Парень в розовой рубахе ныл:

— Братцы, я — по чести! Драка ведь...

— Колом бить — это, милый, не драка.

— Ох — камнем, а не колом...

Тонкий бабий голос искренно возопил:

— Ах ты, господи! Всегда у нас что-нибудь случается...

Я сидел на сырых камнях, отупевший, ушибленный, всё видя, ничего не понимая. В груди странно опустело, крики людей будили желание орать во всю силу, кричать, в ночи, медной трубою.

Подшло двое людей, передний нес в руках пылающую головню, помахивал ею, чтоб не погасла, и сеял на пути своем золотые искры. Он был маленький, лысый, узкий, как щука, поставленная на хвост, а из-за его плеча выглядывало чье-то серое, каменное лицо с открытым ртом и круглыми совиными глазами.

Подойдя к трупу, он наклонился, упираясь одной рукой в свое колено, и осветил измятое тело Силантьева, свернутую на плечо голову; я не узнал красивое казацкое лицо: задорный вихор исчез в большой шишке черпо-красной грязи, вздувшейся над левым ухом, скрыв его; усы и рот сдвинулись на сторону, обнажив зубы кривой, страшной улыбкой; еще страшней был левый глаз — он выкатился из орбиты и, безобразно огромный, напряженно смотрел на откинутую полу

пиджака, во внутренний карман, откуда высунулась белая каемка бумаги.

Осыпая искрами это искаженное и жалкое лицо в красных полосках влажно блестящей крови, человек рисовал головню в воздухе над ним огненный венец и, причмокивая, ворчал:

— Ну конечно... чего тут?

Искры падали на голову Силантьеву, на мокрую щеку и гасли, в яблоке глаза играл отблеск огня, от этого глаз казался еще мертвей.

Человек медленно расправил согнутую спину, швырнул головню в реку, сплюнул вслед ей и, поглаживая лысый череп, зеленоватый в темноте, сказал своему товарищу:

— Ну, ты ступай тихонько, бережком, до того барака, скажи там: человека, мол, прикончили...

— Я боюсь один...

— Бояться нечего, иди знай...

— Жуть...

— А ты — не дури-ко!..

Над моей головой раздался спокойный голосок старика-плотника:

— Я с тобой пойду, ничего...

Он натягивал на белую голову измятый картуз и брезгливо говорил, шаркая ногою о камень:

— Кровища-то до чего нехорошо пахнет! Ногой, видно, попал я в кровищу в эту...

Лысый, сощурившись, присматривался к нему; белый старик тоже озирал лысого неподвижными глазами, продолжая строго и холодно:

— Всё — водочка да табачок, сатанинское зелье...

Они оба были похожи друг на друга и на колдунов: оба маленькие, острые, как шилья, зеленоватые во тьме, как лишай.

— Идем, брат, со духом святым...

Не спросив, кто убитый, не взглянув на него и даже не поклонясь покойнику, как требует обычай, — старый плотник пошел по течению реки, осторожно переступая с камня на камень; за ним, нерешительно качаясь, стал шагать длинный серый человек, они уплывали во тьму беззвучно, как два облака.

Узкогрудый лысый пощупал меня острыми глазами, вынул папиросу из жестяной коробочки, звучно щелкнул крышкой ее, зажег спичку и сначала осветил лицо убитого, потом уже закурил, тихонько говоря:

— Это вот шестого убивает на моих глазах...

— Как это: убивает? Убивают!..

Помолчав, он спросил:

— Чего ты сказал? Не пойму...

Я объяснил:

— Убивают люди друг друга...

— Ну, это всё равно! Люди ли, машина ли, молонья али так что-нибудь. Одного земляка машина прихватила около Бахмача, одного — вот эдак же — в драке прирезали. Бадьей, в шахте, пришибло тоже...

Считал он спокойно, но ошибся: насчитал только пятерых. Стал озабоченно вспоминать снова — получилось семеро.

— Ну, всё едино, — сказал он, вздохнув и затягиваясь так сильно, что всё лицо его облилось красным отблеском огня папиросы. — Всех — не сосчитать, которые вот так — по случаю — пропадают. Не будь я старенький, то и я бы где-нибудь пропал, ну — старость зависти не порождает. И — живу. Ничего, слава те господи!

Кивнув головой на Силантьева, он продолжал:

— Родные его али жена будут теперь вестей, писем ждуть от него. Не пишет. Тут они подумают: загулял, дескать... Забыл своих...

Около барака становилось всё тише, костры догорали, люди таяли во тьме. С гладкой желтой стены пристально смотрели на реку темные круглые глаза сучьев. Одно окошко без рамы мутно светилось, из него вылетали на волю отрывистые, сердитые возгласы:

— Сдавай скорей!

— Хлюст в трэфях...

— А здесь — козырной с барданом!..

— Фу ты, дьявол! Вот — судьба...

— В картах — не судьба, а — ловкость, — сказал лысый, сдувая с папиросы пепел.

Неслышно перешел реку усатый плотник, остановился около нас и тяжело вздохнул.

— Что, землячок? — спросил его лысый.

— Да вот, — негромко, смущенно сказал плотник, такой огромный, мягкий в темноте, — дали бы вы мне курнуть разок.

— Можно! На папироску...

— Спаси Христос! А то — баба забыла табачку мне принесть, да и дедушка у нас насчет курева строгий...

— Это — который ушел?

— Ну да, он...

Закурив, плотник спросил:

— До смерти убили?

— Помер...

И оба замолчали, покуривая.

Перевалило уже за полночь. Изорванная полоса неба над ущельем была похожа на синюю реку, течет она тихонько над землей, окутанной ночью, и плывут в ее гладких волнах яркие звезды.

Становится всё тише, ночнее...

И как будто не случилось ничего особенного...

КАЛИНИН

Осень, осень — свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны, — в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и воздух насыщен влажной соленой пылью.

Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они качают вершинами, сгибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в горы, одетые тяжелой шубой темных облаков.

Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездонные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. Тени скользят по изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к острым бокам гор, тучи устало ползут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там.

Всё вокруг нахмурено, спорит друг с другом, сердито отемняется и холодно блестит, ослепляя глаза; по узкой дороге, прикрытой с моря грядой заласканных волнами камней, бегут, гонясь друг за другом, листья платанов, черноклена, дуба, алычи. Плеск, шорох, свист — всё скипелось в один непрерывный звук, его слушаешь, как песню, равномерные удары волн о камни звучат, точно рифмы.

— Разыгрался Змиулан, океанский царь! — кричит в ухо мне мой спутник, высокий сутулый человек, с круглым лицом ребенка и светлым взглядом прозрачных детских глаз.

— Кто?

— Царь Змиулан...

Молчу, — никогда не слышал про такого царя.

Ветер толкает нас, желая загнать в горы; его напор так силен, что иногда мы останавливаемся, повернувшись спинами к морю, широко расставив ноги, опираем-

ся на палки и с минуту стоим как бы на трех ногах, а мягкая тяжесть давит нас, срывая платье.

Мой спутник кряхтит, как в бане на полке, а мне — смешно: уши у него большие, вялые, точно у собаки, выгоревшая скуфейка не прикрывает их, и, загнутые ветром вперед, они придают его маленькой голове умерительное сходство с глиняным рукомошкой. Солидный длинный нос, словно чужой на мелком лице, — он еще более усиливает смешное сходство, являясь рыльцем рукомошки.

Странное у него лицо, и весь он — необычный, чем и пленил меня сразу же, как только я увидел его в церкви Ново-Афонского монастыря, за всеобщей. Выпрямив сухое, тонкое тело, склонив голову чуть-чуть набок, он смотрел на распятие и, шевеля тонкими губами, улыбаясь сияющей улыбочкой, казалось, беседовал со Христом, как с добрым другом. На круглом, гладком лице — без бороды, точно у скопца — с двумя светлыми кустиками в углах губ, светилося никогда не виданное мною выражение интимности, сознания исключительной близости с сыном Божиим. Это ясное отсутствие обычного — рабского, пугливого отношения к своему богу — заинтересовало меня, и всю службу я с великим любопытством наблюдал, как человек беседует с богом, не кланяясь ему, очень редко осеняя себя знаменем креста, без слез и вздохов.

После ужина в рабочей казарме я пошел в странноприимную и там, в светлом круге под лампой, опускавшейся с потолка, увидал его за столом, среди женщин и мужчин богомольцев, услышал негромкий, но какой-то светлый голос — внятную, полновесную речь проповедника, привыкшего говорить с людьми.

— Иное, конечно, надобно показать, иное — надо скрыть; ибо — ежели что бестолковое и вредное — зачем оно? Так же и напротив: хороший человек не должен высываться вперед — глядите-де, сколь я хорош! Есть люди, которые вроде как бы хвастаются своею горькой судьбой: поглядите, послушайте, добрые люди, как горька моя жизнь! Это тоже нехорошо...

Чернобородый человек в поддевке, с темными глазами разбойника на иссохшем лице аскета, встал из-за

стола, медленно расправил мощное тело и глухо спросил:

— А вот у меня жена и сынишко сожглись живьем в керосине — это как? Молчать об этом?

Несколько секунд все молчали. Потом кто-то негромко проворчал:

— Опять...

И тотчас в углу — в душном сумраке — родился уверенный ответ:

— Божие наказание за грехи...

— В три года — грехи? Ему три года было... это он и опрокинул лампу на себя, а она его схватила и загорелась сама... слабая была, на одиннадцатый день после родов...

— За грехи отца-матери, — по-прежнему уверенно выползли слова из угла. Чернобородый, должно быть, не слышал их, — разводя руками, рассекая ими воздух, он торопливо, без удержу, подробно сказывал о том, как сгорели жена и сын, — чувствовалось, что он говорит об этом часто и долго не кончит свой ужасный рассказ. Его мохнатые брови сошлись в одну черную полосу, под ними, налитые кровью, блестели белки глаз и тревожно перекатывались матовые черные зрачки.

Но вот в маленький промежуток его угрюмой речи втиснулся свободно и бодро светлый голос христолоубивого странника:

— Это неправильно, землячок, винить господа бога за неловкий случай или за ошибку и за глупость...

— Стой, — ежели — бог, то отвечает за всё!

— Нет, никак! Дан тебе разум...

— Что мне — разум, ежели я не могу понять?..

— Чего?

— А того... всего! Почему — моя жена сгорела, а — не соседова, ну?

Злой старушечий голос отчетливо проговорил:

— Ай-яй-яй! В монастырь пришел, а — воюет...

Чернобородый гневно сверкнул глазами, склонил голову, как бык, но вдруг, махнув рукой, быстрыми шагами, грузно топая, пошел к двери, — странник, не торопясь, встал, закачался и, всем кланяясь, тоже стал двигаться вон из странноприимной.

— Насквозь огорченное сердце,— сказал он, улыбаясь.

Мне показалось, что в улыбке этой нет сострадания.

А из угла кто-то снова и неодобрительно сказал:

— Любит он историю эту размазывать...

— И напрасно,— остановясь в дверях, заключил странник,— только ведь терзает себя и других. Про такие дела забывать надо...

Через минуту я выхожу на двор и слышу у ворот ограды его спокойный голос:

— Ничего, отец, не беспокойся...

— Гляди,— сердито говорит привратник, отец Серафим, здоровенный ветлужанин,— по ночам тут абхаз голодный бродит.

— Мне абхаз не вреден...

Я тоже иду к воротам.

— Куда? — спрашивает Серафим, приблизив ко мне свое волосатое, звериное и бесконечно доброе лицо.— Ага, это ты, нижегороцкой! Напрасно, поди-ка, беспокоишь себя — бабы-то все спать полегли...

И смеется,— рычит, как медведь.

За оградой великая тишина осенней ночи — усталая тишина земли, истощенной летом. Сладко пахнет увядшими травами и еще чем-то осенним, возбуждающим бодрость. Черные деревья висят в теплом и влажном воздухе, точно обрывки туч. Во тьме чуть слышно вздыхает, ластится к берегу полусонное море; небо окутано облаками, только в одном месте среди них опаловое пятно луны, и далеко на темной воде колышется другое, такое же...

Под деревьями — скамья и на ней человекья фигура, округленная тьмою; подхожу, сажусь рядом.

— Откуда, земляк?

Воронежский. А ты?

Русский человек всегда так охотно рассказывает о себе, точно не уверен, что он — это именно он, и хочет, чтобы его самоличность была подтверждена со стороны, извне. Рассеялись люди по большой земле, и чем более ясна им ее огромность, тем как будто меньше становятся они в своих глазах; плутают по тысячеверстным дорогам, теряя себя, а если встретится случай рассказать

о себе — расскажет подробно всё пережитое, виданное и выдуманное. И всего чаще в рассказах этих слышишь не утверждение:

«Вот — я!»,

а вопрос:

«Я ли это?..»

— Тебя как звать?

— Очень просто: Алексей Калинин!

— Ты мне — тезка.

— Ну?

И, дотронувшись рукою до моего колена, он говорит:

— Тезка, у меня — известка, у тебя — вода, айда — штукатурить города!

...Звонят в тишине невысокие, легкие волны; за спиною угасает хлопотливый шум хозяйственного монастыря, светлый голос Калинина немножко погашен ночью, звучит мягче, менее уверенно.

— Мать моя — была нянька, я у нее пригульный и с двенадцати лет — лакей, это — из-за высокого роста. Тут вышло так: поглядел на меня однажды генерал Степун — материн барин — и сказал: «Евгенья, скажи-ка Федору», — лакею же, старичку из солдат, — «чтобы он приучал сына твоего служить за столом, — он вполне вырос для этого!» И служил я у генерала девять лет, лето в лето. Потом случилось... потом — захворал я... У купца, градского головы, служил двадцать один месяц. В Харькове, в гостинице, с год... всё чаще приходилось менять места, хотя я слуга аккуратный, трезвый, да — осанки нет у меня настояще-должностной... Главное же — характер образовался гордый, не идущий к делу... я назначен служить самому себе, а не людям...

Сзади нас, по шоссе, в направлении к Сухуму, идут невидимые люди, сразу понятно, что они не привыкли ходить пешком, — шаркают ногами по земле тяжело. Красивый голос тихо запеваает:

Выхожу один я на дорогу...

Слово — один — громче других и, подчеркнутое, звучит печально.

Гулкий бас говорит лениво и внятно:

— Афон... Афония — потеря речи, до степени... до какой степени, мудрая Вера Васильевна?

— Почти до полной утраты членораздельности, — отвечает молодой женский голос.

Во тьме над землею призрачно плывут два черных пятна и между ними — белое.

— Странно!

— Что?

— Слова здесь какие-то... намекающие! Гора — Накопиоба. Они тут накопили достаточно... умеют копить!

— А я не могу запомнить: Симон Канонит, и всегда говорю — каинит...

— Знаете что, господа? — как-то нарочито громко говорит красивый голос. — Смотрю я на всю эту красоту, дышу тишиной и думаю: а что, если бросить всё, ко всем чертям, и — жить...

Монастырский колокол, сухо отбивая часы, заглушил речь. Потом издали тоскливо донеслось:

О, если б в единое слово-

Излить всё, что на сердце есть!..

Мой сосед, вслушиваясь, странно наклонился набок, точно слова гуляющих людей тянули его за собою, а когда голоса потерялись вдали, он выпрямился и сказал, вздыхая:

— Вот: видно, что образованные люди, говорят обо всем, а — однако то же самое...

— Что?

— Да — слышал? — не сразу ответил он. — Бросить, говорит, надобно всё...

Наклонился ко мне, всматриваясь, точно близорукый, продолжал полусшёпотом:

— Всё больше людей думают этак — бросить надо всё! И я тоже: долгие годы соображал — зачем служу, какая выгода? Ну — двенадцать, двадцать, хоша бы и пятьдесят рублей в месяц — что ж такое? А человек где? Может быть, для меня полезнее ничего не делать и в пустое место смотреть... сидеть вот так ночью и смотреть... и больше ничего!

— Ты что давеча говорил людям?

— Каким это?

— В странноприимной, бородатому?

— А! Не люблю я этого... людей этих, которые разносят по земле свое горе, бросают его под ноги всякому встречному... Что такое? Каждый сам по себе... Какая мне надобность в чужой слезе? Своя довольно солоная... К тому же всякий, свое-то горе любя, считает его самым замечательным и горьким на земле. Знаю я это...

Он неожиданно встал, длинный и тонкий.

— Надо поспать, завтра рано я ухожу...

— Куда?

— В Новороссийск...

Была суббота, перед всенощной я получил в монастырской конторе мой недельный заработок. В Новороссийск — мне не по дороге и уходить из монастыря неохота, но человек этот интересен, таких людей на земле всегда — только двое, и один из них — я.

— Я тоже завтра иду.

— Значит — вместе...

...Мы вышли из монастыря на рассвете и вот — шагаем. Мысленно я поднимаюсь вверх и смотрю оттуда: берегом моря, по узкой тропе, идет пара длинных людей; один — в серой солдатской шинели и шляпе с прорванным верхом; другой — в рыжем кафтане и плисовой скуфье. Под ноги им плещет белой пеной безграничное море, ползут по камню дороги высушенные солнцем ленты водорослей, кружатся золотые листья. Ветер шумит, качая и толкая путников, летят над ними облака, с правой руки вознеслись в небо горы, и облака жмутся к ним, устало и бессильно; слева — распростерлась пустыня, вся в белом кружеве; рыщет над нею ветер и гонит прозрачные столбы водной пыли.

В бурные осенние дни на берегу моря как-то особенно весело и бодро: песни ветра и волн, быстрый бег облаков, и в синих провалах неба купается солнце, как увядающий чудесный цветок, — в этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли — маленькое человеческое сердце объято мятежным пламенем и, стораая, кричит миру:

— Я тебя люблю!

Страшно хочется жить, — так жить, чтоб смеялись

рым холмом — смотришь на себя пред этой могилой и смеешься над собою.

Иду точно во сне и сквозь плеск волн, горячее шипение пены, слышу незнакомые слова:

— Гимант, Димонт, Игамонт, Змулант — это есть добрые бѣси...

— А Христос — какъ, съ ними?

— Христос — ничего!

— Во враждѣ?

— Онъ съ этими? Зачѣмъ? Это бѣси особеные, бѣси добрые... И, къ тому же, Христосъ ни съ кѣмъ не враждуетъ...

— А торговщи. Во храмѣ.

— Ну, один раз берегъ мой и обман, какъ выжираетъ! И, вѣдь, не по броду, а по к. н. и м. а. д. и з. порядку.

Тропа, точно испугавшись напора волн, круто изогнулась вправо въ кусты; предъ нами — горы въ облакахъ, облака темнѣютъ все болѣе сердито — навѣрное будетъ дождь.

Калининъ поучительно рассказываетъ, взмахами палки отбивая цѣпкіе вѣтви съ тропы.

— Это опасное мѣсто, тутъ малярная лихорадка живетъ — маляръ одинъ костромской наслалъ самую злую сестру — лихорадку сюда... Денегъ ему не додали, что ли, не помню причины случая...

На море плотно налегли тѣни и оно стало траурнымъ — черное съ блѣдыми. Вдали видны м. горькіе по руси.

старые камни и белые кони моря еще выше вставляли бы на дыбы; хочется петь хвалебную песню земле, чтоб она, опьянев от похвал, еще более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою, возбужденная любовью одного из своих созданий — человека, который любит землю, как женщину, и охвачен желанием оплодотворить ее новою красотой.

Но слова тяжелы, точно камни, убивая фантазию, они ложатся над трупом ее серым холмом, — смотришь на себя пред этой могилой и смеешься над собою.

Иду, точно во сне, и сквозь плеск волн, горячее шипение пены слышу незнакомые слова:

— Гиман, Димон, Игамон, Змиулан — это есть добрые беси...

— А Христос — как с ними?

— Христос — пичего!

— Во вражде?

— Он — с этими? Зачем? Это беси особые, беси добрые... И, к тому же, Христос ни с кем не враждует...

— А — торгаши во храме?

— Ну, один раз веревкой побил, эка важность! И ведь не по вражде к ним, а — для порядка.

Тропа, точно испугавшись напора волн, круто изогнулась вправо в кусты; пред нами — горы в облаках, облака темнеют всё более сердито — наверное будет дождь.

Калипин поучительно рассказывает, взмахами палки отбивая цепкие ветви с тропы.

— Это опасное место, тут малярная лихорадка живет, — маляр один костромской наслал самую злую сестру — лихорадку сюда... Денег ему недодали, что ли, не помню причины случая...

На море плотно налегли тени, и оно стало траурным — черное с белым. Вдали виден Гудаут, весь захлестанный пеной — точно сугробы снега ползут на него.

— Ты мне расскажи про этих бесов.

— Изволь! Что?

— Что знаешь.

— Я всё знаю!

Он весело подмигивает мне, повторяя:

— Всё! У меня, брат, мать замечательная была — заговоры, заклятия всякие, сказки, святые жития — всё знала! Лягу я спать в кухне, за печью, а она на печи — она уже на покое жила, без работы: выняпчила трех детей у генерала...

Он остановился, потыкал в землю палкой, оглянулся назад и пошел, шагая широко, твердо.

— Была еще у генерала племянница, Валентина Игнатьевна, — удивительная!

— Чем?

— Так уж. Всем.

В сыром воздухе над нами тяжело проплыл баклан — птица жадная и неумная. Перо сильных крыльев свистело в воздухе, вызывая какое-то темное воспоминание, недобрую мысль...

— Ну, рассказывай!

— Так вот — лежу я на полу, на печь не влезал — не люблю я печной жары, — а она сидит на печи, свеся ноги, мне и не видать ее в темноте, только то вижу, про что она говорит. Идет на меня сверху всё это — иной раз даже бывало жутко, так я кричу: «Мамка, не надо!» Я ведь страшного не люблю, я его и помню плохо... она сама была довольно страшная, умирала она тогда, внутренности гнили. Сорок три года ей, а вся седая и помирает, — запах от нее, все на кухне ругаются...

— Ну, а беси?

— Сейчас!

Всё плотней надвигается к тропе цепкий, причудливо запутанный кустарник; мы точно плывем среди шумных зеленых волн, нас легонько хлещут ветви, как бы внушая:

«Идите скорее, дождь захватит!»

Замедлив шаг, мой спутник мерно, немножко нарастив, рассказывает:

— Когда сыне божий Иисус Христос ушел в пустыню собраться с мыслями — послал сатана бесов к нему для искушения. Был в ту пору Христос молодой, веселый, сидит он среди пустыни на песке горячем, думает — как быть? — а сам набрал горсть камушков — играет. Вот подходят к нему беси: Гиман, Димон, Игамон, Змиулан — тоже всё молоденькие, и, еще издали,

видя Христа, пожалели они его: дескать — какой несчастной судьбе предан! Подходят: прими и нас поиграть! Христос улыбается им — ну, садитесь! Сели в кружок и начали они тут свое дело исполнять: кто из них камень вверх ни кинет — упадет камень на горячий песок ногой женщиной, лежит она вся свободная и, руки ко Христу простирая, манит его на грех. А он улыбнется ей, дунет духом уст своих, — тут она растает в парок и тотчас взлетит на воздух. Сам он кинет камушек — обернется камень шестикрылым голубем и затрепещется во храм ерусалимский. Долго бились неумеющие беси — видят: никак не может соблазниться Христос! И сказал ему старшой бес, Змиулан:

— Нет, господи, больше мы не станем соблазнять тебя — ничего у нас не выходит! Хоть мы и беси — а не удастся!

— Никогда не удастся, — сказал Христос, — уж коли я что задумал, так сделаю! А что беси вы — это я знаю, и что вы — еще издали видя — пожалели меня, тоже знаю. Вот вы теперь правду о себе не скрыли — будьте же за это на всю жизнь — добрыми, это легче будет для вас! Ты, Змиулан, будь океанским царем — отгоняй морским ветром гнилой дух от земли; ты, Димон, гляди, чтобы скот не ел ядовитых трав — пусть все ядовитые травы будут колючими; ты, Игамон, утешай по ночам безутешных вдов, которые бога обвиняют за смерть мужей; ты, Гимац, самый молодой, выбери себе что нравится!

— Я, господи, хохотать люблю!

— Вот и смеши людей, только — не в церкви.

— Я бы, господи, и в церкви тоже хотел!

— Усмехнулся тут Иисус Христос:

— Ну, бог с тобой, смеши и в церкви, только потихоньку!

— Так и обратил Христос злые беси в добрые.

...Над зеленым морем кустарника поднялись в небо древние дубы, желтый лист ярко трясется на них; могучее ореховое дерево сбрасывает увядшие одежды; мелкою дрожью дрожит алыча, и благодарно кланяется земле полуголый каштан.

— Хорошая история?

— Хорошая. Христос хорош.

— Он всегда такой, — с гордостью говорит Калинин. — Знаешь, как про него в Смоленской губернии одна старуха пела?

— Нет.

Этот чудной человек остановился и, притопывая ногою, запел нарочито дрожащим, старческим голосом:

У небеси расцвел цветок —
сыне божья!

Он всем радостям исток —
сыне божья!

Красным солнышком цветет —
сыне божья!

Благодать земле несет —
сыне божья!

С каждым стихом голос Калинина молодец, последний стих был пропет высоким, приятным тенором.

Всему миру он один...

Вдруг сверкнул ослепительно синий луч, в горах глухо бухнуло, над землею и морем раскатилось стоголосое эхо. Калинин открыл рот, обнажив красивые, ровные зубы, потом стал часто креститься и забормотал:

— Боже страшный, боже добрый, седяй в вышних, на престоле злате в золотой палате, казни сатану, да во гресех не потону!..

И, повернув ко мне маленькое, испуганное лицо, мигая светлыми глазами, деловито заговорил:

— Бежим, брат, я грозы боюсь... бежим скорее, куда ни есть!.. Дождик хлынет, гляди, а тут — лихорадка эта...

Побежали; ветер толкает в спины, гремят наши чайники и котелки, котомка бьет меня по пояснице большим мягким кулаком. До гор — далеко, вокруг — никакого жилья. Кусты хватают за полы, под ногами прыгают камни, стало темно, и кажется, что горы плывут встречу нам.

Снова из черных туч стремительно излился небесный огонь, и море, вспыхнув синими сапфирами, точно выплеснулось из берегов; дрогнула земля, а из горных ущелий посыпался громкий скрежет каменных зубов.

— Свят, свят, свят,— кричит Калинин, исчезая в кустах.

Сзади хлещут волны, догоняя бегущих, впереди, во тьме — скрип и шорох; чьи-то длинные черные руки машут над головами, на вершинах гор, за густым пологом туч оглушительно грохочет железная колесница грома; всё чаще сверкают молнии, гудит земля, и в разрывах тьмы, в голубом сиянии шумят, качаются, бегут огромные деревья, а их уже сечет косой холодный дождь.

Жутко, но — весело. Тонкие струны дождя бьют по лицу, тело охвачено хмельной бодростью, кажется, что можно бежать под дождем и громом бесконечно долго — вплоть до ясного дня.

— Стой,— гляди! — кричит Калинин.

На секунду озаренный молнией, пред нами ствол дуба и в нем — точно дверь — широкая черная щель; мы, смеясь, лезем в нее, как два мышонка.

— Тут места даже на троих довольно! — говорит мой спутник.— Выжжено дупло-то,— экие озорники! В живом дереве огонь разводят!

Тесно; пахнет гнилым листом и дымом; на голову и плечи шлепают тяжелые капли. При каждом ударе грома дерево, вздрагивая, гудит; среди воющего шума мы точно в море на узком челноке, и когда сверкнет молния — видно, как дождь убегает от нас,— он стелется в воздухе сетью синеватых лент, мелькает кусочками стекла.

Ветер свистит тише, словно удовлетворился тем, что нагнал на землю столь сильный дождь,— он способен размыть горы, размягчить камни.

— Уо-уу-уо! — кричит где-то невысоко над нами и близко от нас горный филин.

— Думает — ночь! — шёпотом сказал Калинин.

— Уо-уу-уо! — вторит птица.

— Ошибаешься, брат! — громко крикнул человек.

Холодновато. Торопливо струится светло-серая влага, занавешивая полупрозрачной тканью стволы деревьев, толстые, как бочки, корявые и ошетилившиеся молодой порослью, еще не потерявшей мелкого листа.

Однотонный звук широко течет над землею и гасит мысли. Невольно, со вниманием, которое становится

всё напряженнее, вслушиваешься, как дождь сечет опавший лист, бьет камни, хлещет о стволы деревьев, как журчат и всхлипывают ручьи, сбегая к морю, гудят в горах потоки, гремя камнями, скрипят деревья под ветром, равномерно бухает волна, — тысячи звуков сцепились в один тяжелый, сырой, и хочется разъединить их — разместить, как слова в песне.

Калинин возится, толкает меня и ворчит:

— Однако — тесно же! Не люблю я тесноты...

Он устроился удобнее меня: влез в дупло глубже, присел на корточки и как-то особенно ловко сложился в маленький комок. Дождь почти не мочит его. Вообще у него, видимо, очень хорошо развита ловкость привычного бродяги — умение быстро найти при всех неблагоприятных условиях самое выгодное положение.

— Вот — и дождь, и холод, и всё, — тихонько говорит он, — а хорошо ведь!

— Чем — хорошо?

— Никому, кроме бога, не обязан. Ежели сносить неприятности, так лучше от него, а не от себе подобного...

— Ты, видно, не очень любишь себе подобного-то?

— Возлюби ближнего твоего, яко собака палку, — ответил он, а помолчав, спросил: — За что его любить?

Я тогда тоже не знал — за что.

Не дождавшись моего ответа, Калинин снова спросил:

— Ты в лакеях не служил?

— Нет.

— То-то. Лакею ближнего любить трудно.

— Отчего?

— Послужи — узнаешь! Ежели кому служишь, так уж тут, братец мой, любить его не приходится... А дождь этот надо-олго!

Отсюда текут всхлипывания, плач — точно вся земля тихо и горестно рыдает, прощаясь с летом накануне зимних бурь.

— Как ты попал на Кавказ?

— Шел, шел и пришел! — отвечает Калинин. — На Кавказ попасть всякому хочется...

— Почему?

— А — как же? С малых лет слышишь: Кавказ, Кавказ! Бывало, генерал заговорит — даже ощети- нится весь и глаза выкатываются. Тоже и мать: она ведь тоже была здесь. На Кавказ, брат, всякого тянет: здесь жить просто — солнышка много, зима короткая, не злая, как у нас, фруктов множество... вообще — веселее!

— А — люди?

— А что — люди? Держись в стороне, они не по- мешают.

— Чему?

Калинин, снисходительно усмехаясь, взглянул на меня и сказал:

— Экой ты чудак — спрашиваешь, спрашиваешь о самом о простом!.. Ты — грамотный? Ну — должен сам всё понимать...

Изменив голос на сердитый и гнусавый, он пропел, точно молитву:

— Не попусти, господи, сглазить ни чернцу, ни чинцу, ни попу, ни дьяку, ни великому грамотнику... Это — мать моя часто говаривала...

Дождь стал тише, его линии истончились, сеть их стала прозрачней — яснее видны угрюмые стволы по- черневших дубов, ярче золото и зелень листвы. В дупле посветлело, обугленные стенки блестят, точно атлас, — Калинин ковыряет уголь пальцем и говорит:

— Это пастухи выжгли... Видишь — и сено натас- кано и сухой лист. Хорошая жизнь у пастуха здесь!..

Точно приготавливаясь уснуть, он обнял затылок ру- ками, воткнул подбородок между колен и замер.

Мимо нашего дерева, омывая его обнаженные корни, торопливо, светлой змеею, бежит ручей, унося крас- ный и рыжий лист. Хорош должен быть такой лист далеко среди моря: в небе только солнце, а на синем шелке моря — одна эта красная звезда...

Мой спутник мурлычет, точно кот, какую-то песню. Мелодия знакома — «Спрятался месяц за тучку», но — я слышу другие слова:

Удивительная Валентина —
Вы прекрасней всех цветов!
Горит сердце нянькина сына,
И на всё он для вас готов...

— Что это за песня?

Калинин разогнулся, завозился, гибкий, точно ящерица, крепко повел ладонями по лицу.

— Это — сочинение. Военный писарь один сочинил... помер он в чахотке. Дружок мой был, за всю жизнь — один, истинный! Тоже — удивительный человек!

— А — Валентина кто?

— Конечно — барышня, — неохотно ответил он.

— Писарь влюблен в нее был?

— Нисколько даже.

Видимо, он не хотел говорить об этом, снова съёжился, спрятал голову и проворчал:

— Костер бы развести... а всё мокрое...

Скучновато посвистывает ветер, встряхивая деревья; упорный мелкий дождь сечет землю.

Человек я маленький и бедный,
И другим не буду никогда

— снова тихонько запел Калинин и, взметнув голову быстрым, несвойственным ему движением, внушительно сказал:

— Это очень печальная песня... она может до слез взять за сердце. Ее только двое знали: я да он... ну, еще она, конечно... но она, конечно, и позабыла сразу...

И, улыбаясь светлыми глазами, он предложил снисходительно:

— Вот что: ты — человек молодой, и тебе надобно знать, где опасности для жизни, — расскажу я тебе историю одну...

Дождь тоже стал как бы прислушиваться: сквозь его шелковистый усыпляющий скукою шорох мирно потекла человечья речь:

— Это не Лукьянов влюбился, а я, — он только стихи писал, по моей просьбе. Шел мне девятнадцатый год, когда она появилась, и как я взглянул на нее — так и понял, что в ней моя судьба, — даже сердце замерло, и вся жизнь полетела, как пылинка в огонь. И весь я вроде бы окрылился: так себя почувствовал, как, примерно, часовой на страже пред начальством — подтянулся весь, окреп, и эдакая тревога в сердце: вот

сейчас что-нибудь случится! Лет ей — Валентине Игнатьевне — было двадцать пять, может — побольше... очень красивая! Просто — удивительная! Была она сирота: папашу турки убили, мамаша в Самарканде от оспы померла... Генералу она приходилась племянницей по жене. Барышня рыжеватая и белая, как фарфор с золотом, глаза — изумруды... Округлая такая вся... словно просвира... Заняла она угловую комнату, рядом с кухней, — у генерала, конечно, дом собственный, — и еще дали ей светлый чуланчик. Наставила она везде свои странные вещи: бутылочки, чашечки стеклянные, медную трубу и круг, тоже стеклянный в меди, она его вертит, а от него — огненные искры скачут, потрескивают, этого она нисколько не боится и поет:

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется,
И сердце радостью забьется
Не для меня, не для меня...

— Всегда она это пела. Блестит на меня глазками и говорит, очень просительно: «Вы, Алексей, ничего у меня не троньте, это вещи опасные!..»

— А у меня, действительно, всё при ней из рук падает, и эта ее песня... «Не для меня» — обидно мне за нее: как не для тебя? Всё — для тебя! Тянет сердце мое куда-то вверх. Купил гитару, а играть — не умею, на этом и познакомился с Лукьяновым, с писарем, — штаб дивизии находился в одной улице с нами. Был этот Лукьянов маленький, черноволосый, из крещеных евреев... лицо — желтое, а глаза — точно шилья. Отличный человек, и на гитаре играл — незабвенно... Говорит он мне: «В жизни всего возможно достичь... Нашему брату терять нечего. Откуда всё существующее? От простейших людей: человек не родится генералом, но достигает звания. А женщина — говорит — начало и конец; и нужно ее стихами брать; я тебе напишу стихи, а ты ей подложи...» Мысли у него были прямые, бесстрашные...

Калинин рассказывал быстро, воодушевленно и вдруг как бы погас: замолчал на несколько секунд и продолжал уже тише, медленнее, как-то недовольно:

— Сразу-то я ему поверил, а потом всё оказалось не так: и женщина — обман, и стихи — чепуха, и невозможно человеку ускользнуть от своей судьбы. А храбрость — это на войне удобно, в мирной жизни она просто — голое озорство! Тут, братец мой, надобно знать закон основания жизни: есть люди высокого звания и низкого звания, и пока они на своем месте — это хорошо; а как только кто полез сверху вниз или снизу вверх — кончено! Застревает человек на полудороге — ни туда ни сюда, и так — на всю жизнь! На всю жизнь, брат! Значит — сиди тихо при своем месте, как дозволено судьбою... Дождик, кажись, перестает?

Да, капли падают всё более редко и устало, сквозь мокрые сучья в сыром небе видны светлые пятна, они напоминают о солнце.

— Рассказывай!

Калинин усмехнулся.

— Интересно? Н-ну, хорошо, поверил я Павлу, — пиши стихи, сделай милость! Он на другой же день очень ловко и приготовил их... забыл я слова... как-то так, что-де и дни и недели ваши глазки сердце мне ели любовным огнем и — пожалейте о нем! Подсунул я ей стихи под бумагу на стол — дрожу, конечно. На другой день утром убираю комнату — вдруг она выходит в распашном таком капоте красном, папироса в зубах, улыбается ласково и говорит, показывая мне бумажку: «Это вы, Алексей, написали?» — «Так точно, говорю, простите, Христа ради!» — «У вас, говорит, есть фантазия, и это очень жалко, потому что я занята: дядя меня выдает за доктора Клячку, ничего невозможно сделать!»

— Обомлел я: так ласково и сожалительно она сказала. Клячка — доктор, — красный, угреватый, усищи до плеч, тяжелый такой человек и всё хохочет, кричит: «Нет ни начала, ни конца, а только одно удовольствие!»

— Генерал тоже хохочет над ним, трясется весь: «Вы, говорит, доктор — комик», — это значит — паяц, балаганщик. Я же в то время был как тростинка, лицо — румяное, волосы вьются, жил чисто. С девицами обращался осторожно, проституток вовсе презирал... вообще — берег себя для высшей ступени, имея в душе

направляющую мечту. И вина не пил, противно было мне... потом — пил. В бане мылся каждую субботу.

— Вечером все они — и Клячка — поехали в театр, — лошади у генерала, конечно, свои, — а я — к Лукьянову: так, мол, и так! «Ну, говорит, поздравляю, ставь пару пива, дело твое кругло, как шар! Давай трешницу, я тебе еще стихов накатаю. Стихи, говорит, это дело колдовское, вроде заклинания».

— И написал песню про удивительную Валентину — очень жалобно, и так понятно всё. О господи...

Калинин задумчиво тряхнул головою и уставился детскими глазами на голубые пятна неба, промытого дождем.

— Нашла она стихи, — нехотя, против воли говорил он, — кликнула меня к себе, спрашивает: «Как же нам быть, Алексей?»

— А сама — полуодета, чуть не всю грудь мне видно, и ноги голые, в одних туфельках; сидит в кресле, качает ножкой, дразнит.

«Как же нам быть?» — говорит.

— Разве я знаю? Меня словно и нет на земле.

«Вы умеете молчать?» — спрашивает она.

— Я — головой киваю, совсем онемевши. Нахмурилась она, встала, взяла какие-то две баночки, отсыпала из них порошка в конверт, дает мне и говорит: «Я, говорит, вижу один исход из мук наших египетских: вот — порошок, доктор сегодня обедает у нас, так всыпьте ему порошок этот в тарелку, и через несколько дней я буду свободна для вас!»

— Перекрестился я, взял конверт, а у меня туман в глазах и даже ноги ооченели. Не помню, что со мной было, обмер я изнутри и до самого прихода Клячки этого — ничего не понимал...

Калинин вздрогнул, стукнули его зубы, испуганно глядя на меня, он торопливо завозился.

— Обязательно надо костер — дрожу я! Ну-ко, вылезай...

По мокрой земле, светлым камням и траве, осеребренной дождем, устало влачили тени изорванных туч. На вершине горы они осели тяжелой лавиной, край ее курился белым дымом. Море, успокоенное дож-

дем, плескалось тише, печальнее, синие пятна неба стали мягче и теплей. Там и тут рассеянно касались земли и воды лучи солнца, упадет луч на траву — вспыхнет трава изумрудом и жемчугом, темно-синее море горит изменчивыми красками, отражая щедрый свет. Всё вокруг так хорошо, так много обещает, точно ветер и дождь прогнали осень и снова на землю возвращается благотворное лето.

Сквозь влажный шорох наших шагов и веселое падение дождевых капель я слушаю ворчливый, усталый рассказ:

— Ну... Открыл я ему дверь и не могу в глаза взглянуть, сама собою голова падает, а он поднял ее за подбородок и спросил: «Ты что это какой желтый, а? В чем дело?»

— Он был добрый... кроме того, что на чай жирно давал и вообще всегда как-то говорил со мной отлично... будто я не лакей...

«Нездоровится, говорю, мне...» — «Ну, говорит, я тебя после обеда осмотрю, не падай духом».

— Тут понял я, что не могу отравить его, а нужно самому мне принять порошок этот, да, самому! Вроде как молонья озарила сердце мне — вижу, что не той дорогой иду, которая указана мне судьбою, бросился в свою комнатку, налил стакан воды, всыпал порошок — замутилась вода, зашипела, пеною покрывшись. Страшно! Однако — выпил. Не обожгло. Прислушиваюсь ко внутренностям — ничего, а в голове даже светлее стало, хотя и жалко себя, чуть не до слез... Давай-ко, устроимся здесь!

Огромный камень в темно-зеленой шапке моха и ползучих растений добродушно наклонил над землею широкое, плоское лицо — точно Святогор-богатырь ушел в землю, увлеченный тягою ее, осталась над землею только голова и лицо, стертые вековыми думами. Со всех сторон тесно обросли, обступили его дубы, тоже как будто иссеченные из камня; ветви их касаются морщин старой скалы. Под навесом камня сухо и уютно, — сидя на корточках и ломая сучья, Калинин говорит:

— Вот где бы нам дождь-то переждать...

— Ну — продолжай историю...

— Да... Ты — запаливай...

Вдвинув тонкое тело глубоко под камень, он вытянулся на земле и вяло продолжал:

— Иду тихонько в буфетную, ноги у меня пляшут, в груди — холодно. Вдруг — в гостиной Валентина Игнатьевна очень весело смеется, и через столовую слышу я генераловы слова:

«Вот он — народ ваш, что-с? Он за пятак на всё согласен!»

— А возлюбленная мною — кричит:

«Дядя! Разве мне пятак цена?»

— И доктор тоже говорит:

«Ты чего ему дала?» — «Соды с кислотой. Господи, вот смешно будет...» Калинин замолчал, закрыл глаза.

Вздыхает влажный ветер, относя густой дым на черные ветви деревьев.

— Сначала обрадовался я, что не умру, — сода с кислотой — это не вредно, это с похмелья пьют. А потом вдруг ударило меня соображение: разве можно так шутить? Ведь я же — не кутенок!.. Все-таки стало легче мне. Начали обедать, подаю бульон в чашках, все молчат. Доктор первый отведал бульон, поднял чашку, сморщился и спрашивает: «Позвольте, что такое?» — «Ну, нет, думаю, не удалось вам, господа, пошутить!» Да и говорю вполне вежливо: «Не извольте беспокоиться, господин доктор, порошок я самолично принял...»

— Генерал с генеральшей не поняли, что шутка не состоялась, и — хохочут, а те двое — молчат, глаза у Валентины Игнатьевны большие-большие сделались, и тихонько так она спрашивает: «Вы знали, что это безвредно?» — «Нет, говорю, когда принимал — не знал...»

— И тут я свалился с ног, лишившись чувств своих окончательно.

Маленькое лицо его болезненно сморщилось, стало старым и жалким. Он повернулся грудью к неяркому костру, помахал рукою, отгоняя дым, озорниковато и лениво тянувшийся в угол.

— Хворал я семнадцать ден. Приходил доктор этот, Клячка, — фамилия же!.. Сядет около меня, спрашивает: «Значит — ты сам хотел отравиться, чудака-человек?»

— Так и зовет меня: чужак-человек. А что ему за дело? Я сам себя могу хоть собакам скормить... Валентина Игнатьевна ни одного разу не заглянула ко мне... так я ее никогда и не видал больше... Они вскорости повенчались и уехали в Харьков, Клячка место получил при чугуевском лагере. Остался я один с генералом, он — ничего был старик, с разумом, только, конечно, грубый. Выздоровел я — он меня призвал и внушает: «Ты-де совершенный дурак, и всё это подлые книжки испортили тебя!» — а я никаких книжек не читывал, не люблю этого. «Это, говорит, только в сказках дураки на царевнах женятся. Жизнь, говорит, шахматы, каждая фигура имеет свой собственный ход, а без этого — игры нет!»

Калинин простер над огнем руки — тонкие, перабочие — и усмехнулся, подмигивая мне.

— Эти его слова я принял очень серьезно: «Значит — вот как? — думаю себе. — А ежели я не желаю играть с вами и проигрывать мою жизнь неведомо для чего?»

Он торжественно поднял голос.

— И тогда стал я, братец ты мой, всматриваться в эту их игру, и увидал я, что живут все они в разных ненужностях, очень обременены ими, и всё это не имеет серьезной цены. Книжечки, рамочки, вазочки и всякая мелкая дребедень, а я — ходи промеж этого, стирай пыль и опасайся разбить, сломать. Не хочу! Разве для этих забот мать моя в муках родила меня и для этой жизни обречен я по гроб? Нет, не хочу, и позвольте мне наплевать на игру вашу, а жить я буду, как мне лучше, как нравится...

В его глазах вспыхнули зеленые искорки, пальцы рук судорожно сцепились, и он взмахнул ими над огнем, как бы отсекая красные кудри.

— Конечно, я не сразу понял это, а — исподволь дошел. Окончательно же утвердил меня в этих мыслях один старец в Баку — мудрейший человек! «Ничем, говорит, не надобно связывать душу свою: ни службой, ни имуществom, ни женщиной, ниже иным преклонением пред соблазном мира, живи один, только Христа любя. И это — единое, что навсегда верно, единое навеки крепкое»...

— Ух! — воодушевленно крикнул он, надув щеки и покраснев от какого-то внутреннего усилия. — Весьма много видел я и земли и людей, и уже много есть на Руси таких, которые понимают себя и пустякам предаваться не хотят. «Отойди ото зла и тем сотворишь благо», говорил мне старичок, а я уже до него понял это! Сам даже множеству людей говорил так, и говорю, и буду... Однако — солнце-то вон где! — вдруг оборвал он самодовольную речь восклицанием тревожным и жалобным.

Большое красное солнце тяжело опускалось в море; между ним и водою — невысокие темные холмы облаков со снеговыми вершинами.

— Пожалуй, захватит ночь, — ощупывая кафтан, ворчал Калинин. — А тут — чекалки по ночам рыщут. Чекалок — знаешь?

— Шакалов?

— Правильно называется — чекалка.

Три облака похожи на турок в темно-красных халатах и белых чалмах, они соткнулись головами, тайно беседуя о чем-то, у одного на спине вздулся горб, на чалме другого выросло бело-розовое перо, оторвалось и всплыло в небо, к задумчивому солнцу, без лучей и подобному луне. Третий турок выдвинулся вперед и, согнувшись над морем, закрыл собеседников своих, из-под чалмы его вспух большой красный нос и смешно нюхает море.

— Слепой старик лапоть ловчее плетет, чем многие умные люди составляют свою жизнь, — слышен сквозь треск и шипение костра ровный голос Калинина.

Мне уже не хочется слушать его; нити, привлекавшие меня к нему, как-то сразу перегорели, оборвались. Хочется молча смотреть в море и думать о чем-то, что, по-вечернему тихо и ласково, волнует душу. Запоздалыми каплями дождя падают его слова.

— Все суются, спрашивают друг друга: ты как живешь? Учат — ты не так живешь, вот как надобно! А кому известно, как надо жить для полного моего здоровья? Никто ничего не может знать — пускай каждый живет как хочет, без принуждения! Я ничего от тебя не хочу, и ты от меня ничего не требуй. И не жди. А отец Виталий

доказывает обратное: человек должен быть в мире ратником супротив зла...

В темной пустыне лежит кроваво-красная тропа — не по ней ли прошли и невидимо идут, теряя плодотворно горячую кровь, лучшие люди мира?

Справа и слева от этой живой полосы огня море странного, темно-малинового цвета, дальше оно — черное и мягкое, точно бархат, где-то далеко на востоке бесшумно вспыхивает молния, точно незримая рука зажигает о сырое небо спичку и не может зажечь.

Калинин обиженно говорит о старце Виталии, смотрителе за работами в Ново-Афонском монастыре, — вспоминается умное, веселое лицо монаха, с жемчужными зубами в шелке черной и серебряной бороды; прищутив красивые женские глаза, он говорит внушительным баском, подчеркивая «о»: «Когда мы, теперешние, прибыли сюда — был тут хаос довременный и бесово хозяйство: росло всякое ползучее растение, окаянное держидерево за ноги цапало и тому подобное! А ныне — глядите-ко, сколь великую красу и радость сотворили руки человечьи и благолепие какое!»

Он гордо очерчивает крепкой рукою и взглядом широкий круг в воздухе: в этот круг, как в раму, заключена гора, разработанная уступами под фруктовый сад, — земля, точно пух, взбита на ней; под ногами Виталия серебряная полоса водопада и лестница, высеченная в камне, — она ведет в пещеру Симона Канонита. А внизу горят на полуденном солнце золотые главы новой церкви, тают белые корпуса гостиниц и служб, зеркалом лежат рыбные пруды и всюду — царственно важные, холеные деревья.

«Братие, — когда захочет человек — дано ему одолеть всяческий хаос!» — торжественно говорит Виталий.

— Тут я его и прижал: «Христос наш, говорю, тоже был человек бездомный и надземный; он вашу земную заботливую жизнь отвергал!» — рассказывает Калинин, потряхивая головою, и уши у него тоже трясутся. — «Был он не для низких и не для высоких, а — как все великие справедливцы — ни туда ни сюда! А когда с Юрием да Николаю ходил по земле русской, по дерев-

ням, то даже и не вмешивался в дела их,— они спорят о человеке, а он — молчит!» Уел я его этим, рассердился Виталий, кричит: «Ах ты, невежа, еретик!»

Под камнем душно, дымно. Костер — точно охапка красных маков, азалий и еще каких-то желтых цветов; он живет своей красивой жизнью, сгорая и согревая, умно и весело смеясь ярким смехом.

С гор, из туч, тихо спускается сырой вечер, земля дышит тяжело и влажно, море густо поет неясную, задумчивую песню.

— Значит — здесь заночуем? — деловито спрашивает Калинин.

— Нет, я пойду.

— Ну что ж! Идем...

— Мне — не по дороге с тобой...

Он, сидя на корточках, вынимал из котомки хлеб и груши, но после моего ответа снова сунул в нее вынутое и захлестнул котомку, сердито спросив:

— Зачем же ты шел?

— Поговорить. Человек ты интересный...

— Конечно — интересный, — таких, как я, не много, брат!

Солнце, похожее на огромную чечевицу, тускло-красное, еще не скрылось, и волны не могут захлестнуть огненного пути к земле. Но скоро оно утонет в облаках, тогда тьма сразу выльется на землю, точно из опрокинутой чаши, и сразу в небе вспыхнут большие ласковые звезды. Земля во тьме станет маленькой, как человечье сердце.

— Прощай!

Яжимаю небольшую, без мускулов, кисть руки — человек детски ясно смотрит в глаза мне и говорит:

— А я скорей тебя дойду!

— До Гудаута?

— Ну да...

...Вот я и один, в ночи, на милой мне земле, всем одинаково чужой и всему равно близкий, щедро оплодотворяемый жизнью, по мере сил оплодотворяющий ее.

С каждым днем всё более неисчислимы нити, связующие мое сердце с миром, и сердце копит что-то, от чего всё растет в нем чувство любви к жизни.

Поет море ночной гимн; камни, заласканные волнами, глухо гудят в ответ. Неясное — белое носится стаями по черной пустыне; вдали над нею еще не погасла вечерняя заря, а в зените неба уже ярко пылают звезды.

Засыпая, вздрагивают вершины деревьев — на землю сыплются капли дождя. Всхлипывает вода под ногами — звук робкий и сонный.

Иду во тьме и сам себе свечу; мне кажется, что я живой фонарь, в груди моей красным огнем горит сердце, и так жарко хочется, чтобы кто-то боязливый, заплутавшийся в ночи — увидал этот маленький огонь...

ЕДУТ

Дует, порывами, мощный ветер из Хивы, бьется в черные горы Дагестана, отраженный, падает на холодную воду Каспия, развел, у берега, острую короткую волну.

Тысячи белых холмов высоко вздулись на море, кружатся, пляшут, — точно расплавленное стекло буйно кипит в огромном котле; рыбаки называют эту игру моря и ветра — «толчая».

Кисейными облаками летит над морем белая пыль, осыпая старую шкуну о двух мачтах, она идет из Персии, от реки Сефид-руда в Астрахань, гружена сухими фруктами — кишмишем, урюком, шепталой; на ней едут человек сто рыболовов с «божьего промысла», всё верхневолжские лесные мужики, здоровый, литой народ, обожженный жаркими ветрами, просолевший в горькой воде моря, бородатое, доброе зверье. Они хорошо заработали, рады, что едут домой, и возятся на палубе, как медведи.

Сквозь белые ризы волн просвечивает, дышит зеленое тело моря; шкуна режет его острым носом, как плуг землю, и, по борта зарываясь в снега кудрявой пены, мочит в холодной осенней воде косые кливера.

Паруса вздулись шарами, трещат на них заплаты, скрипят реи, туго натянутый такелаж струнно гудит, — всё вокруг напряжено в стремительном полете, по небу тоже мчатся облака, между ними купается серебряное солнце; море и небо странно похожи друг на друга — небо тоже кипит.

Сердито свистя, ветер разносит по морю голоса людей, густой смех, слова песни, — ее давно поют, но всё еще не могут наладить стройно, как следует, ветер

1
Бьетъ, порывами, эмоция и ветераны
Хиба, Бьетъ въ перхазъ пера Фогстана
огражденный, наводитъ на холмовую
воду Насейз и развелъ у берега
всплыву, каротку болну.

Итакъ блытыхъ холмовъ въ само
~~каротку~~ воду ^{слес}, на следъ,
кружится, иль муть, то то фрей
наблещное етакое буйно кипить
въ агрономии кейна: рѣбонки
назавонитъ эту кару екаръ и
вѣтра — "шопель"

Инейнаеи абнаеи елетитъ
на въ емеренъ блыаъ къ ес, аеи
наеи етару шкуну о двухъ енар
таеи, ена едетъ наъ Нерей, еи
рѣки Сеаридъ-руеи въ Астрахонс,
пруженъ ехкиеи ерритаси-ки
еи еи еи, уеи еи, шойто еи
на еи едуть еи еи еи еи
болъ еи еи Вѣтраго еи еи еи

верхне-волжские еи еи еи, здоровый, легкой нараве,
обожонный жаркимъ вѣтрами, просоливший въ горькой водѣ
моря, бородастое, доброе звѣрьё. Они хорошо заработали,
~~раде~~ ^{раде}, что едутъ домой и воз^{дтъ} на палубѣ какъ мед
вѣди.

Сквозе блыаъ рѣзавонитъ еи еи
еи еи, еи еи, еи еи еи еи
еи еи, шкуну рѣзавонитъ еи еи
еи еи еи еи еи еи еи еи

«ЕДУТЪ».

Страница автографа.

гонит в лица певцов соленую мелкую пыль, и лишь изредка слышен надорванный голос женщины, он тягуче и жалобно выкрикивает:

Змеем огненным...

Сладко и густо пахнет жирным урюком, даже сильный запах моря не может убить этот аромат.

Уже миновали Уч-косу, скоро будет Чечень-остров, места, издревле знакомые русским, — отсюда еще киевляне ходили грабить Табаристан. С левого борта в прозрачной синеве осени являются и исчезают темные горы Кавказа.

Около грот-мачты, прислонясь к ней широкой спиной, сидит богатырь-парень, в белой холщовой рубахе, в синих персидских портах, безбородый, безусый; пухлые красные губы, голубые детские глаза, очень ясные, пьяные молодой радостью. На коленях его ног, широко раскинутых по палубе, легла такая же, как он — большая и грузная, — молодая баба-резальщица, с красным от ветра и солнца, шершавым, в малежах, лицом; брови у нее черные, густые и велики, точно крылья ласточки, глаза сонно прикрыты, голова утомленно запрокинута через ногу парня, а из складок красной расстегнутой кофты поднялись твердые, как из кости резанные груди, с девственными сосками и голубым узором жилок вокруг них.

Парень положил на левую ее грудь широкую, черную, как чугун, лапу длинной узловатой руки, по локоть голой, и тяжко гладит добротное тело женщины, в другой руке у него жестяная кружка с густым вином, — лиловые капли вина падают на белую грудь его рубахи.

Около них завистливо кружатся люди, придерживая срываемые ветром шапки, запахивая одежду, и жадными глазами ощупывают распластавшуюся женщину; через борта — то справа, то слева — заглядывают косматые зеленые волны, в пестром небе несутся облака, кричат ненасытные чайки, осеннее солнце точно пляшет по вспененной воде — то оденет ее синеватыми тенями, то зажжет на ней самоцветные камни.

Люди на шкуне кричат, поют, смеются, на куче мешков шепталы лежит большой бурдюк кахетинского

вина, около него шумно трутся огромные бородатые мужики: всё имеет старинный, сказочный вид,— вспоминается возвращение Степана Разина из персидского похода.

Персы-матросы, одетые в синее, костлявые, как верблюды, дружелюбно оскалив жемчужные зубы, смотрят на веселую Русь,— в сонных глазах людей Востока тихонько тлеют непонятные улыбки.

Встрепанный ветром угрюмый старик с кривым носом на мохнатом лице колдуна, проходя мимо парня и женщины, запнулся о ее ногу, остановился, не по-старчески сильно взметнул головою, закричал:

— А, чтоб те рóзорвало! Чего на пути легла? Бесстыжка рожа, оголилась как,— тьфу!

Женщина и не пошевелилась, даже не открыла глаз, только губы ее чуть дрогнули, а парень потянулся вверх, поставил кружку на палубу, положил и другую руку на грудь женщины и крепко сказал:

— Что, Яким Петров, завидно? Ну, айда, беда, мимо! Не зарься, не страдай зря-то! Не твоему зубу сахар есть...

Приподнял лапы и, снова опустив их на грудь женщины, победно добавил:

— Всю Россию выкормим!

Тут женщина улыбнулась медленно, и всё вокруг словно глубоко вздохнуло, приподнялось, как одна грудь, вместе со шкуной, со всеми людьми, а потом о борт шумно ударилась волна, окропила всех солеными брызгами, окропила и женщину; тогда она, чуть приоткрыв темные глаза, посмотрела на старика, на парня — на всё — добрым взглядом и, не торопясь, прикрыла тело.

— Не падо! — сказал парень, отнимая ее руки. — Пускай глядят! Не жалей...

На корме мужики и бабы играют плясовую, охмеляющий молодой голос внятно частит:

Мне не нанно богатства твоего,
Не милее оно милого мово...

Стучат по палубе каблуки сапог, кто-то ухает, точно огромный филин, тонко звенит треугольник, поет кал-

мыцкая жалейка, и, восходя всё выше, женский голос задорно выводит:

Воют волки во поле —
С голодухи воют;
Вот бы свекра слопали —
Он этого стоит!

Хохочут люди, кто-то оглушительно кричит:

— Ладно ли, снохачи?!

Ветер сеет по морю праздничный смех.

Большой парень лениво накинул на грудь женщины полу армяка и, задумчиво выкатив круглые детские глаза, говорит, глядя вперед:

— Прибудем домой — развернем дела! Эх, Марья, сильно развернем!

Огненнокрылое солнце летит к западу, облака гонятся за ним и — не успевают, оседая снежными холмами на черных ребрах гор.

ПОКОЙНИК

...Я шагаю не торопясь по мягкой серой дороге между высоких — по грудь мне — хлебов; дорога так узка, что колосья опачканы дегтем, спутаны, поломаны и лежат в колеях, раздавленные.

Шуршат мыши, качается и никнет к сухой земле тяжелый колос; в небе мелькают стрижи и ласточки, значит — где-то близко река и жилье. Глаза, блуждая в золотом море, ищут колокольни, поднятой в небо, как мачта корабля, ищут деревьев, издали подобных темным парусам, но — вокруг ничего не видать, кроме парчовой степи: мягкими увалами она опускается к юго-западу, пустынна, как небо, и так же тиха.

В степи чувствуешь себя, как муха на блюде — в самом центре его, чувствуешь, что земля живет внутри неба в объятии солнца, в союзе звезд, ослепленных его красотой.

Вот оно — большое, рдяно-красное — далеко впереди на синем краю неба важно опускается в белоснежные бугры облаков; колосья осыпаны розовой пылью заката, васильки уже потемнели, и в предвечерней тишине ясно слышишь всё, о чем поет земля.

В небе веером раскинуты красные лучи, один из них касается моей груди и, точно жезл Моисея, вызывает к жизни горячий поток мирных чувств: хочется крепко обнять вечернюю землю и говорить ей певучие, большие, никем не сказанные слова.

Посеяны звезды в небе, и земля — звезда; посеяны люди на земле и я среди них, чтобы бесстрашно ходить по всем дорогам, видеть всякое горе, всю радость жизни и вместе с людьми пить мед и яд.

...Есть хочется, а в котомке с утра — ни кусочка, это мешает думать и несколько обидно. Такая богатая

земля, и так много сработал на ней человек, а кто-то голоден...

Вдруг дорога повернула в правую сторону — запахнулась стена хлебов и открыла степную балку, по дну ее вьется голубая река, новый мост висит над нею, отраженный в воде, — мост желтый, точно из репы вырезан. За мостом приникли к пологому угорью семь белых хат, на угорье — левада, высокие осоки бросают на деревню длинные пушистые тени, стреноженный конь ходит между серо-серебряных стволов, взмахивая хвостом; густо вьет дымом, дегтем, моченой коноплей, кудахчут куры и устало плачет ребенок — сейчас он заснет. Если бы не эти звуки, можно думать, что всё в балке наскоро, но умелою рукой написано ласковыми красками — они уже поблекли па солнце.

В полукруге хат — криница, рядом с нею — красная часовенка, узкая и высокая, она — точно одноглазый сторож. Наклоняется к земле, поскрипывая, длинный журавль; баба, вся белая, черпает воду, подняла вверх голые руки, вытянулась, и кажется, что сейчас взлетит па воздух, легкая, как облако.

Около криницы блестит черная грязь, точно измятый бархат; двое молодцов, лет пяти и трех, оба бесштаные, заголившись по пояс, молча тискают грязь желтыми ногами, точно желая вмесить во влажную массу красный блеск солнца. Эта добрая работа очень занимает меня, я смотрю на солидных мальцов сочувственно, с живым интересом — солнце и в грязи на своем месте, чем глубже в землю проникнет оно, тем лучше и земле и людям!

Сверху — всё словно на ладони. Семь хат на хуторе — не найдешь здесь никакой работы, но — приятно будет поболтать вечерок с добрыми людьми. Иду па мост, полный задорного и веселого желания рассказывать людям разные чудесные истории, — ведь это необходимо для них, как хлеб.

Из-под моста встречу мне — точно кусок земли ожил — поднялся крепкий, давно нечесанный, небритый человек в широких синих штанах, в раскрытой холщовой рубахе, серой от грязи.

— Добрый вечер!

- И вам. Где идете?
— Это какая река?
— Это? А Сагайдак же...

На его большой круглой голове буйно выются полу-седые кудри, усы коротко подстрижены. Маленькие глаза смотрят зорко, недоверчиво и, видимо, считают количество дыр и заплат на моей одежде. Вздыхнув глубоко, он вынул из кармана глиняную трубку на камышовом чубуке, прищурил глаз, внимательно посмотрел в черную ее дыру и спросил:

- Спички есть?
— Есть.
— А табак?
— И табаку есть немного.

Он подумал, глядя на солнце, утопающее в облаках, потом сказал:

- Дайте ж мне табаку! Спички я тоже имею.

Закурили. Положив локти на перила моста, он оперся спиной о брус, долго пускал в воздух голубые струйки дыма, принюхиваясь к ним. Сморщил нос, сплюнул.

- Московский табак?
— Роменский, Рыморенка.

— Ого, — сказал он, расправив морщины на носу, — добрый табак!

Неловко идти в хату прежде хозяина; я стоял рядом с этим человеком и, ожидая, когда он кончит свои неторопливые расспросы — кто я, откуда, куда, зачем, — немножко сердился на него: хотелось поскорее знать, чем встретит хутор.

— Работа? — цедил он сквозь усы. — Ни, работы нема. Какая ж теперь работа?

Отвернулся и сплюнул в реку.

На том берегу, важно качаясь, шла гусыня, за нею желтыми шариками пуха катились гусенята; две девочки провожали их, одна — в красном платке и с прутом в руке — побольше гусыни, другая — такая же, как птица, белая, толстая, косолапая и важная.

- Юфим! — надрывно кричал невидимый голос. Человек качнул головою и одобрительно сказал:
— Вот глотка!

Потом стал шевелить пальцами черной потрескав-

шейся ноги, долго разглядывал обломанные ногти и наконец спросил:

— Мабудь, вы — письменный?

— А что?

— То, коли письменный, може, почитали бы книгу по покойнику?

Видимо, ему понравилось это предложение — веселая рябь пошла по его плюшевому лицу.

— Разве ж это не работа? — говорил он, пряча карие зрачки. — Дали бы вам копиек десять, да еще и смертную рубаху покойникову.

— И — накормят, — вслух подумал я.

— А как же!

— Где покойник?

— У своей хате, — идемте?

Пошли встречу надсадному крику.

— Юфи-им... а, бо дай...

Встречу нам по мягкой дороге ползли тени, за кустами на реке шумела детвора, плескалась вода, кто-то строгал доску — в воздухе плавал всхлипывающий звук. Человек, не торопясь, сказал:

— Была читалка старушка — вот ведьма была! Сvezли ее до города, ноги у нее отнялись... а надо бы — языку! Такая была надобная, только лаялась очень...

Черный щенок, величиною в большую жабу, подкатился на трех лапах под ноги нам, поднял хвост и грозно зарычал, нюхая воздух розовым детским носом.

— Тю!

Выскочила откуда-то сбоку молодая голоногая баба и, гневно всплеснув руками, закричала:

— Юфим, да я ж тебя зову, зову...

— Хйба ж я не слышу...

— Где ж ты был?

Мой спутник молча показал ей дулю и ввел меня во двор хаты, соседней с тою, у которой осталась голоногая женщина, истекая крепкой руганью и нелюбезными пожеланиями.

Две старухи сидели в двери маленькой хатки, одна — круглая, встрепанная, как разбитый ударами кожаный мяч, другая — костлявая, переломленная в спине, с темным сердитым лицом; у ног их лежала, вы-

валив тряпичный язык, большая, как овца, собака, с вытертою шерстью и красными слезящимися глазами.

Юфим подробно рассказал, как он меня встретил и на что я годен, — две пары глаз молча смотрели на него, одна старуха дергала головой на тонкой черной шее, другая, послушав, предложила мне:

— Седайте, я соберу вам вечеряти...

Маленький дворик густо зарос просвирняком и розетками подорожника, посреди него — телега без колес, с черными, как головни, концами осей. Гонят стадо, на хутор медленно льется широкий поток мягких звуков; изо всех углов двора ползут серые тени и ложатся на траву, отемняя ее.

— Все помрем, ненько, — уверенно говорит Юфим, постукивая трубкой о стену, а в воротах стоит голоногая краснощекая баба и гониженным голосом спрашивает:

— Ты идешь или нет?

— Да надо ж сначала одно дело доделать, а потом...

Мне дали краюху хлеба, горшок молока — собака встала, положила на колени мои слюнявую, старую морду и, глядя в лицо мне тусклыми зрачками, словно спрашивает:

«Вкусно?»

Точно ветер вечерний шуршит сухою травой — стелется по двору хриплый голос горбатой старухи:

— Просишь-молишься: убави, боже, горя, а оно на тебя вдвое...

Темная, как судьба, она поводит длинной шеей, змеиная голова мерно, сонно качается, и вяло падают на землю, к ногам моим, однотонные, ветхие слова:

— Те работают сколько хотят, иншие — вовсе ничего не работают, а наши — больше сил своих, и нет им награды...

Слышен тихий шёпот маленькой старухи:

— Наградит мать божия... Она всех наградит...

Минута глубокого молчания.

Полновесное, оно кажется чреватым чем-то значительным: оно внушает уверенность, что сейчас рождаются какие-то важные мысли и скоро я услышу особенные слова.

— Я тебе скажу,— пытаюсь выпрямить спину, говорит старуха,— был у моего человека между многих недругов один друг, Андрием звали, и когда не стало нам силы жить там, в дедовщине, на Донце,— заторкали, загрызли люди моего, аж до слез и немоты,— то пришел до нас Андрий и говорит: «Не опускать бы тебе, Яков, рук, земля — велика и везде дана человеку. Если здесь люди злы — это они от глупости и тесноты, и ты их за то не суди, живи просто: они — свое, а ты — свое! Тихо живи, а не уступай никому ничего и тогда одолеешь всех».

— Так и мой Василь говаривал часто: они — свое, а мы — свое...

— Ну да, хорошее слово не помрет, где ни скажи его — оно летит по всей земле, как ласточка...

— Это верно,— сказал Юфим, согласно кивая головою.— Это как раз так! Так и говорится: хорошее слово — Христово, а дурное — попово...

Резко вскинув голову, старуха захрипела:

— Не попово, а — твое... Ой, Юфим, седой ты, а говоришь не думая...

Тут вступила Юфимова баба,— размахивая руками, точно держа в них решето, она начала торопливо сеять крикливые слова:

— Боже ж мой! Что это за человек? Ни сказать, ни послушать, а только всё лает, как та собака на месяц...

— Ну-у! — протянул Юфим.— Вот, уж начала, эх...

На западе растут и пухнут облака, похожие на сизый дым и кровавое пламя,— кажется, что вот сейчас вся степь вспыхнет. Тихий вечерний ветер гладит ее, хлеб сонно клонится к земле, красноватые волны ходят по степи. А на востоке уже темно, и наползает оттуда черная душная ночь.

Из окна хаты над моею головой струится теплый запах покойника — ноздри и седые усы собаки дрожат, глаза, жалобно мигая, косятся на окно. Юфим, глядя в небо, убеждает сам себя:

— Дождя не буде, ни...

— А у вас есть Псалтырь? — спрашиваю я.

— Чего?

— Книга, Псалтырь?

Все молчат.

Всё быстрее идет южная ночь, стирая с земли яркое, точно пыль. Хорошо бы закопаться в душистое сено и уснуть до восхода солнца.

— Мабудь, у Панка есть, — сконфуженно говорит Юфим. — У него аж с малюнками...

Потом они, пошептавшись, уходят со двора, а кругленькая старушка говорит мне, вздыхая:

— Пойдите, посмотрите на него, коли хотите...

Голова у нее маленькая, милая, покорно согнутая. Сложив руки на груди, старушка тихо шепчет:

— Пресвятая мати...

Покойник — строг и важен. Его густые седые брови сдвинуты над большим носом глубокой складкой, нос загнут в усы, ввалившиеся глаза прикрыты неплотно, рот тоже полуоткрыт — кажется, что человек этот упрямо думает о чем-то, думы его гневны и вот он сейчас жутко крикнет какое-то особенное, последнее свое слово.

Над головой его горит тонкая свеча; синий дымок пугливо дрожал, сея слабенкий свет, и не мог согнать мертвых теней под глазами усопшего и в глубоких морщинах щек. На сером пятне сорочки двумя буграми лежат темные кисти рук; пальцы — кривые, даже и смерть не расправила их. По хате, от окна к двери, струится воздух, насыщенный запахами полыни, мяты, чебреца и тления.

Всё горячее и яснее шёпот старухи; шепчет она и сухо всхлипывает, а за окном, на черном квадрате неба, грозно мигают зарницы, и когда в тесную, как гроб, хатку хлынет через окно синий свет — огонь оплившей свечи словно прячется, улетает, седые волосы на лице умершего блестят, как рыба чешуя, лицо сурово хмурится.

Шёпот старухи просачивается в грудь, сердцу горько и холодно, в памяти встают — не утоляя скорби — старые важные слова:

«Не рыдай мене, мати, зряца во гробе, восстану бо...»
Этот — не восстанет.

...Пришла костлявая старуха и объявила, что Псал-

тыря нет на хуторах, а вот есть другая книжка — не годится ли?

Другая книжка оказалась грамматикой церковнославянского языка, первые страницы ее были оторваны, и она начиналась словами: «друг», «друзи», «друзе».

— Что же будет? — горестно спросила маленькая старушка, когда я сказал, что грамматика не годится покойнику. Ее детское личико обиженно задрожало, опухшие глаза еще раз налились слезами.

— Жил человек, жил, — говорила она, всхлипывая, — а честного погребения себе не выжил!

Я сказал ей, что буду читать над мужем ее все молитвы и псалмы, какие знаю, только чтоб она вышла из хаты: мне это дело не привычно, и не вспомню я всех молитв, если меня будут слушать живые.

Она не поняла меня или не поверила мне и долго толкалась в дверях, шмыгая носом, отирая рукавом маленькое изношенное лицо.

Потом — ушла.

Пылают зарницы в черном небе на краю степном, там, где степь подходит к морю; хата наливается синим туманом, безмолвно мечется в ней тьма душной ночи, цветет робкий огонек свечи — человек лежит и смотрит полуоткрытыми глазами на трепет теней, скользящих по груди его, по белым стенам и потолку.

Я искоса, сторожко поглядываю на него — ведь неизвестно, на что способен покойник? — и добросовестно читаю вполголоса:

— «Прости вся, елико ти согреших, яко человек, паче же не яко человек, но горее скота...»

Рядом с этими словами идут мысли, отрицающие их: «Не грех труден и горек, а — праведность...»

— «...вольная моя грехи и невольная, ведомая и неведомая, яже от юности и от науки злы и яже суть от наглства и уныния...»

«Не идет всё это к тебе, брат...»

Голубые звезды сверкают в бездонной тьме небес, — кто еще — кроме меня — видит их в этот час?

Вдали гудит гром, и всё колыхнется в трепете зарниц.

Стуча когтями по глинобитному полу, вошла собака — она всё время шляется взад и вперед, понюхает ноги мои, тихонько заворчит и снова тащится вон. Должно быть, слишком стара, чтобы отпеть хозяина тоскливым воем, как это делают ее сородичи. Когда она выходит вон, мне кажется, что тени тоже хотят излиться вслед за нею, — они текут к дверям, овевая лицо мое прохладным веянием. Качается огонек свечи, точно желая сорваться со светильни и улететь к звездам, — среди них есть такие же маленькие и жалкие, как он. Мне не хочется, чтобы он исчез, я слежу за ним так напряженно, что больно глазам; мне душно, жутко, я стою у плеча покойника неподвижно и зачем-то усиленно вслушиваюсь в тишину...

Одолевают сон, бороться с ним трудно; с великими усилиями вспоминаются красивые песнопения Макария Великого, Златоуста, Дамаскина, а в голове, точно комары, гудят слова шестого правила «для отходящих на одр сна»:

«Аще обрящещи возглавицу мягку, остави ю, а камень подложи Христа ради. Аще ти зима будет спящу, потерпи, глаголя: яко инии отнюдь не спят».

Чтобы не уснуть, я тихонько пою кондак:

— «Душу мою, господи, во гресех всяческих люте расслаблену, воздвигни».

За дверью чуть слышно шелестит сухой шёпот:

— Владычица милосердная, прими и мою душеньку...

Мне кажется, что душа у нее серенькая, как чечетка, и пугливая такая же. Когда она прилетит к престолу богоматери и та протянет к ней свою белую, нежную, добрую руку, — эта маленькая душа встрепенется вся, взмахнет короткими крыльями и в радостном испуге умрет.

Тогда богоматерь тихо скажет сыну своему:

«Вот до чего запуганы люди твои на земле и как непривычна им радость! Хорошо ли это, сыне мой?»

А что он ответит ей?

Не знаю. Я бы на его месте отчаянно сконфузился.

С воли из густой тишины как будто отвечают мне — тоже поют. Тишина такая полная, глубокая — этот

отдаленный звук, утопающий в ней, кажется неестественным, призрачным эхом моего голоса. Я молчу, слушаю — звук ближе всё, яснее, кто-то идет, тяжело шаркая ногами, идет и бормочет:

— Н-нет... И не будет...

«Почему не лают собаки?» — думаю я, протирая глаза.

Мне кажется, что брови усопшего дрожат, в усах его шевелится хмурая улыбка.

На дворе гудит тяжелый хриплый голос:

— Что-о? Эх, старая... Я знал, что помрет, ну... молчи! Такие всегда стоят до последнего часа да сразу и лягут, чтоб не встать... Кто? Проходящий... ага!..

Что-то большое, бесформенное заткнуло дверь, потом, сопя и всхрапывая, ввалилось в хату, разрослось в ней почти до потолка; широко размахивая рукою, человечье перекрестился на огонь свечи, покачнулся вперед и, почти касаясь лбом ног умершего, спросил тихо:

— Что, Василь?

И — всхлипнул.

Крепко запахло водкой. В двери стояла старушка, умоляюще говоря:

— Вы, отец Демид, дайте им книгу...

— Зачем? Я сам буду читать...

Тяжелая рука легла мне на плечо, большое волосатое лицо наклонилось к моему.

— Молодой еще — э! Из духовных?

Голова у него огромная и — точно помело — вся в космах длинных волос, — даже при бедном мерцании одинокой свечи они отливали золотом. Он качается и покачивает меня, то приближая к себе, то отталкивая. Горячий запах водки густо обливает мне лицо.

— Вы, отец Демид... — настойчиво и плаксиво говорила старуха, — он грозно перебил ее речь:

— Я ж тебе сколько раз говорил, что дьячка не дозволяется называть отцом! Иди себе, спи, тут мое дело будет, иди!.. А ты зажги еще свечу — я ничего не вижу...

Сел на скамью и, хлопнув книгой по колену, спросил:

— Горилку пьешь?

— Здесь нет ее.

— Как же нет? — строго сказал он. — Да, — вот у меня в кармане бутылка — хо!

— Не подобает здесь пить.

— Это — верно! — забормотал он, подумав. — Нужно выйти на двор, — это верно!

— Что ж вы будете — сидя читать?

— Я? А я... не буду, читай ты... я — не в себе... да! «Попраша мя врази мои весь день яко мнози борюция мя с высоты» — а по сему я несколько выпил...

Он сунул книгу в живот мне и, наклонив голову, тяжело закачал ею.

— Умирают люди один за другим, а на земле всё ж таки тесно... умирают люди, не видя добра себе...

— Это не Псалтырь, — сказал я, посмотрев книгу.

— Врешь!

— Смотрите.

Он отмахнул крышку переплета и, водя свечою над страницей, прочитал красные буквы.

— Окто-их...

Очень удивился.

— Октоих? Это... как же? Ну-ну, вот что случилось... Ведь и величина другая — Псалтырь — коротенький, толстый, а это... это с того, что я торопился...

Ошибка словно отрезвила его, он встал, подвинулся к покойлику и, придерживая бороду, наклонился над ним.

— Извини, Василь... что ж делать?

Выпрямившись, откинул руками назад длинные космы, вынул из кармана бутылку и, воткнув горлышко в рот себе, долго сосал вино, свистя носом.

— Хошь?

— Я спать хочу, выпью — свалюсь.

— А и вались...

— А читать?

— Кому здесь нужно, чтоб ты бормотал слова, которых не понимаешь?

Сел на лавку, согнулся, взял голову в руки и замолчал.

Июльская ночь уже таяла, тьма ее тихо располза-

лась по углам, в окно веяло утренней росистой свежестью. Свет двух свеч стал еще более бледен, огни их были как глаза испуганного ребенка.

— Жив был ты, Василь,— ворчал дьячок,— было у меня куда ходить, а теперь — некуда мне идти, бо номер последний человек... Господи — где правда твоя?

Я сидел у окна, высунув голову на воздух, курил, подремывая, и слушал тяжелые жалобы.

— Сглодали жену мою они и меня сожрут, как свиньи капусту... Верно это, Василь...

Дьячок снова вынул бутылку, пососал вина, вытер бороду и, наклонясь над покойником, поцеловал его в лоб.

— Прощай, друже...

Обернулся ко мне, говоря с неожиданной ясностью и силой:

— Простой это был человек, незаметный в людях, как грач среди грачей, а был он не грач — белый голубь, и никто того не знал, только я... да!.. И вот — удалился он «от горькия работы фараони», а я — жив, по при смерти душа моя, «истягоша ю и оплеваша врази мои».

— Большое горе у вас?

Он ответил не сразу и глухо:

— Горя у всех больше, чем надо... и у меня столько ж! Твое дойдет до тебя.

Споткнувшись о свою же ногу, он навалился на меня, говоря:

— Петь мне хочется, а — нельзя того, побудишь людей, стапуг лаять. Ну, всё ж таки очень хочется петь!

И негромко загудел в ухо мне:

Кому повем печаль мою?

Кому я скорби воспою?

Кто р-рук-ку...

Жесткие волосы бороды щекотали мне шею, я отклонился.

— Не любишь? Ну, чёрт с тобой, дрыхни...

— Да вы же щекотите меня бородой...

— Что ж — обриться для тебя, сахар?

Он сел на пол, подумал, посопел и сердито приказал:
— Ну, читай, а я лягу спать. Да гляди не убеги с книгой, это книга церковная! Дорогая. Знаю я вас, голодращев! Что вы бегаετε везде, зачем ходите? А — в конце концов — ходите куда тянет! Иди и ты. И скажи — погиб дьячок, скажи кому-нибудь хорошему, кто пожалеет. Диомид Кубасов, дьячок, — это я, — совсем и без возврата...

Он заснул. Раскрыв книгу наугад, я читаю:

— «Невозделанная земле, возрастившая всех питателя, разверзающая руку и благоволением своим насыщающая всякое животное...»

«Всех питатель» лежит предо мною, обложенный сухими пахучими травами, я смотрю сквозь дрему в его темное загадочное лицо и думаю о человеке, который не одну тысячу раз прошел по своей полосе на этой земле, в заботе о том, чтобы мертвое претворилось в живое. Возникает странный образ: по степи, пустынной и голой, ходит кругами, всё шире охватывая землю, огромный, тысячерукий человек, и, следом за ним, оживает мертвая степь, покрываясь трепетными сочными злаками, и всё растут на ней села, города, а он всё дальше ко краям идет, идет, неустанно сея живое, свое, человечье. Уважительно и ласково думается обо всех людях земли: все призваны таинственной силой, в них живущей, победить смерть, вечно и необоримо претворяя мертвое в живое, все идут смертными путями к бессмертию, поглощает людей сень смертная и — не может поглотить.

Бьются в сердце разные мысли, радостно и холодно от веяния их крыльев, хочется о многом спросить кого-то, кто может ответить бесстрашно, честно и просто.

Около меня — мертвый и спящий, а в сенях — шуршит отжившая. Но — ничего! На земле людей много, не сегодня — завтра, а уж я найду совопросника душе моей...

Мысленно ухожу из хаты в степь и смотрю оттуда на это жильё, затерянное на огромной земле: прижались к ней хатки, окна их слепы и черны, а в одном чуть мерцает над головою умершего человека плененный им огонь...

Это сердце, переставшее жить, — всё ли, о чем думало оно при жизни, сказано им на земле, бедной мыслями сердца? Я знаю, что умер маленький, обычный человек, но — думаю обо всей работе его, и она мне кажется поражающе большой... Вспоминаются незрелые измятые колосья в колеях степной дороги, ласточки в синем небе, над золотой парчой хлебов, степной коршун, застывший в пустоте, над широким кругом земли...

Слышен свист крыльев — тень птицы мелькнула на светлой зелени двора, поседевшей от росы.

Перекликаются петухи — их пятеро, проснулись гуси, мычит корова, и уже где-то скрипит плетень.

Я думаю о том, как уйду в степь и буду спать там на меже, на земле, сухой и теплой; дьячок — спит у ног моих, лежа вверх грудью, широкой, точно у битья. Огненные волосы — как сияние вокруг головы, красное толстое лицо сердито надулось, рот открыт, и усы шевелятся. Руки у него длинные и в кистях — как лопаты.

Невольно думаешь о том, как этот мощный человек обнимает женщину, — вероятно, всё ее лицо тонет в бороде и она смеется от щекотки, закидывая голову назад. Сколько у него может быть детей?

И так неприятно, обидно знать, что этот человек носит горе в своей груди, — радостям надо бы жить в ней!

В дверь смотрит кроткое лицо старухи, а в окно — первый солнечный луч.

Над рекою, шелковой и светлой, курится прозрачный туман, деревья и травы переживают тот странный момент напряженной неподвижности, когда ждешь, что вот сейчас они, вздрогнув, запоют, заговорят понятными душе голосами о великих тайнах своей жизни.

— Такой хороший человек, — шепчет старуха, жалобно глядя на огромное тело дьячка.

И, точно читая книгу, невидимую мне, она тихо и просто рассказывает историю о жепе его.

— Согрешила она с одним человеком, а они заметили это да и навели его, мужа, на них, а после засмеяли ее да и Демиду, за то, что он ей простил грех.

Она, с того смеха над нею, удавилась в чулане, а он вот непробудно запил... Уже второй год это, и скоро его сгонят с места. Мой не пил много да всё уговаривал его: «Ой, Демиде, не поддавайся людям, живи просто, они — свое, а ты — свое...»

Из маленьких тусклых глаз текут мелкие слезы и тают в припухших морщинах оплаканных щек. Маленькая голова трясется, как увядший лист осенью, — нельзя смотреть в это кроткое лицо, измятое старостью и печалью! Я ищу в душе — что бы сказать утешительного этому человеку? Не нахожу ни слова и чувствую себя обиженным.

Вспоминаются давно прочитанные где-то странные слова:

«Слуги богов не должны стонать, но смеяться, ибо стоны причиняют скорбь людям и богам».

— Мне надобно идти, — говорю я, смущенный.

— О?

Ее восклицание торопливо, как будто она испугана моими словами, неверной рукою она шарит в юбке, и темные губы ее безмолвно шевелятся.

— Мне не надо денег, хозяйка, дайте хлеба, коли есть...

— Не треба — гроший? — переспрашивает она недоверчиво.

— А на что они мне?

— Ну, як хочете, — соглашается старуха, подумав. — Як хочете... Тоди — спасибі вам!

...Предо мною в синем небе улыбается солнце, хвастливо распустив над землею павлиний хвост своих лучей.

Я ему подмигиваю: знакомо оно мне — пройдет часа два времени, и его улыбки будут жечь, как огонь. Но пока мы друг другу нравимся; я иду меж хлебов и пою песнь ему, владыке жизни.

Неприступный естеством,
Приступен мне быв,
В мене облекохся,
Всё мое естество осветли
И своим вознесеннем возведе мя
Превыше всякого пачала и власти!

...Будем жить просто: они — свое, а мы — свое!..

ЕРАЛАШ

Прошла по полям весна, оставив за собою голубые следы — лужи талого снега; расковала речку Студенец, бежит речка мимо села Тулунги, закидывая на черный масляный берег цепкие волнишки, смывая сухие стебли подсолнухов, — в мутной воде кувыркаются мохнатые комья корней.

Тепло вздыхает ветер, стремясь за рекой, покрывая воду золотистой рябью; на берегу покачиваются таловые кусты, распуская почки, некоторые уже раскрылись, — на солнышке трепещут желтоватые мотыльки новорожденных листьев.

Над бархатом черных полей, над серебряными пятнами луж стоит голубоватый парок, — влажное дыхание оттаявшей земли. Круг земной свободен, широк, уютно накрыт шатром небес; над селом и полями царствует апрельское солнце, — небо расцвело огненным цветом. Полдень; тепло и радостно.

За рекою, на взгорье, празднично высветлилось богатое село; на одном его конце встала в небо колокольня, — плавится на солнце золоченый крест; на другом, красивой булавою, поднят минарет мечети. Вокруг колокольни выются белые голуби — точно веселый звон превратился в белых птиц. В селе тихо и пусто, — только голуби да колокольный звон, а люди ушли навстречу иконе богородицы, — ее несут в город из древнего монастыря за тридцать верст от Тулунги.

Трое рослых татар, с заступами в руках, молча уравнивают упругую землю — съезд к парому. Один возится на самом пароме, расковыривая ломом доски, еще один — мешая ему — метет паром измызганной метлой, ими тихо командует статный юноша в лиловой

тубетейке — у него очень белое лицо, большие грустные глаза и ярко-красные губы. Я сижу на скамье у ворот постоянного двора, люблюсь тихо-умной работой татар, голубями, — на душе у меня удивительно хорошо, точно я сам сделал всё это: солнце, небо, землю и всё, что на ней. Недурно сделал и тихонько радуюсь.

Постоялый двор держит Устин Сутырин, мещанин из Темрюка, маленький человечек, суетливый, как цыпленок; ему помогает сестра, грудастая мелкозубая баба с плутоватыми глазами, работница, рябая и огромная, и такой же огромный рыжебородый татарин; под этими двумя — земля гнется.

Все они начали шуметь и вертеться с рассвета: пекли, варили, ругались, устраивали столы на улице, под окнами широко развалившейся пятиконной избы. Я пришел сюда вчера днем, а вечером написал Устину ядовитое прошение на мужиков, которые украли у него жмыхи и убили борова, — прошение очень понравилось Сутырину, особенно пленился он словами: «А посему и принимая во внимание».

— Круто завинчено! — восхищался он, осматривая меня бойкими глазами веселого жулика. — Ты, парень, останься у нас на завтрее, — завтра веселый день у нас, владычицу встречаем, ералаш будет!

Теперь Устин, босой, в синем жилете поверх кумачной рубахи, оводом носится по двору, по улице и командует, сбивая с толка всех своих помощников.

— Ясан, — слепой ты али что? Как ты кóзлы уставил? Тыщу лет живете, шайтаны... Дарья, — стой, — куда весы, кто велел?

Со двора павой выходит сноха Устина, Марья, сицекая вдова, — муж ее два года тому назад, в день зимнего Николы, убит в честном бою с татарами на реке Студенце. Вдова одета празднично: на ней синий жакет, желтая, с зелеными цветами, юбка, козловые башмаки с подковами и пунцовый платок на светлых волосах. Устин, поперхнувшись словом, глядит на нее, открыв рот, точно впервые увидал, глядит и восхищенно бормочет:

— Выпялилась, — дама козырей!

И тотчас же неистово орет:

— Куда-те поманило, а?

Надвигаясь прямо на него, она спрашивает сочным голосом:

— Ну, а што?

— Ер-ралаш,— отмахнувшись от нее, кричит Устин и убегает во двор.

Юноша-татарин поправил тюбетейку и вынул из-за пазухи кожаный кисет; женщина, подняв сзади юбку на высоту спины, села рядом со мной, вздохнув:

— Тепло!

О том, кто я, откуда, куда иду,— она выспросила меня еще вчера, и теперь ей не о чем говорить. Сидит и дышит, равномерно приподнимая высокую грудь, синие глаза скошены на татарина, он поглядывает на нее и курит маленькую трубочку. Ласково плещется река, звенят невидимые жаворонки. На дворе непрерывно гудит басовитый голос сестры Устина, надывается его тонкий голосок. Среди грязной дороги, на сухом сером островке, сидит собака и, вывесив язык, смотрит, как в зеркало, в лужу. Жарко ей на солнце, а уйти, видимо, лень. Исступленно свистят скворцы, где-то далеко за селом щелкает плеть пастуха, а в селе тонко плачет ребенок. Легко, точно детскую коляску, Ясан выкатил со двора телегу на железном ходу, накрыл ее досками, разостлал на доски рядно и, подняв оглобли, пристраивает к ним весы. Юноша тихонько говорит ему что-то.

— Йок,— мрачно ответил Ясан.

— По-ихнему — ёк, а по-нашему — нет,— просвещает меня соседка и спрашивает работника:

— Чего он?

— Не снай.

— А сказал — нет?

— Ты сам снайт.

— Чего такое? — вдруг, точно с крыпи соскочил Устин.

— Нисява.

— Тыщу лет живете, а говорить по-человечьи не можете... Марья, что ж ты сидишь, побойся бога!

— Ну, а што?

— Да — сахар же надо колоть!

— Наколола уже.

— Наколола, наколола...

Передразнил и убежал, чмокая подошвами по сырой земле. Женщина, усмехнувшись, толкнула меня локтем.

— Ревнущий!

— Ну?

— Бяда!

И, вздохнув, говорит:

— Совсем окаянный. Полугодом не минуло, как сына схоронил, а уж говорит мне: хошь, говорит, жить у меня, дак ты и спи со мной, а нет — уходи... Вон какой!

— Лакомый. Ну, а вы?

— Чего?

— Не ушли?

— Куда?

— К родным?

— Сирота я.

— На работу!

— Из богатого-то дома? Ишь ты...

— Коли не стыдно, так — ладно!

— А чего еще? Иде ж стыд? Тут — скрозь они, снохари. Особо у казаков. У них жалнерки эти — все под свекром.

Молодой татарин идет на паром, женщина беспокойно двигается, толкая меня, хрупко шумит ситец. От ее волос крепко пахнет гнилым жиром, — это, должно быть, помада.

— Хорош молодец, — говорю я о татарине.

— Это который? — невинно спрашивает она.

— А вот, на которого вы смотрите.

— Али я на него гляжу? На что он мне, нехрись!

— Разве вы всегда только на то смотрите, что вам нужно?

— А ведь и то правда! — подумав, говорит она и почтительно заглядывает в лицо мне. — Ну, ну... что значит, когда грамотей! Гляди-ка ты, как...

Вдали, на краю степном, являются, одна за другой, какие-то пестренькие шишки и тихонько катятся по черному бархату земли, непонятно исчезая в светлом блеске луж. Татары кончили работать, пятеро собра-

лись на пароме, юноша незаметно, боком как-то, приблизился к нам.

— Его — Мустафой зовут, — бормочет женщина. — Богатый, у отца маслобойня, жмыхом торгуют, яйца скупают...

— Женат?

— Вдовый, с того года. Женили на малолетке, так она родами и померла.

Распустив толстые губы в улыбку, она говорит:

— Кабы не татарин...

— Что ж тогда?

— Сам знаешь...

Она белая, румяная, сытая. Ее томит весенний хмель, синие глаза подернуты влагой и смотрят жалобно. Весна зажгла в этом полнокровном теле свои жадные стремления — женщина тлеет на солнце, как сырое полено в костре. От нее исходит некий пьяный чад. Не очень ловко мне рядом с ней, но и уйти не хочется. Ей — жарко. Медленно расстегивая тугие крючки жакета, она смотрит на свою грудь в броне жесткого ситца и спрашивает меня:

— В твоей стороне татары есть?

— Живут.

— Везде они есть! Чать, наших-то все-таки больше, а?

— Побольше. А что?

Она сумрачно говорит:

— Уж крестились бы все в одну веру, без забот...

— Для вас какая вера приятнее?

— Своя. Спросил тоже!

— Какая — своя?

— Ну — наша! Христова!

Она смотрит на меня сердито и, видимо, хочет сказать что-то неприятное мне, но вдруг лицо ее изменило выражение, и она говорит невесело:

— Вера у нас — лучше, а мужики — хуже. Татаре вина совсем почти не пьют да и не дерутся.

— А — многоженство?

— Ну, это старики богатые жадуят, а молодые редко!

Помолчав, подумав — она решительно говорит:

— Бабам это очень мешает — разноверие: татаре, мордва, столоверы разные, штунда.

— Мешает?

— Конечно. Бабам всё мешает.

И, снова помолчав, родит еще мысль:

— Вот говорят: бог для всех один.

— Да?

— А люди — разные.

— Так что же?

Она сердито бормочет:

— Привязался! Что да что...

Молодой татарин кружится по берегу, глядя в землю, точно он деньги потерял и всё ищет их. Он — точно теленок, привязанный невидимой веревкой на невидимый кол. Женщина, исподлобья поглядывая на него, смешно облизывает губы.

На полях теплая черная земля неустанно и обильно родит людей; они являются, точно суслики из нор, и пестрой, рассеянной кучей ползут к селу. Сзади их, далеко, на мутно-синей полосе неба сверкает золото хоругвей, — точно вспыхнули какие-то дневные звезды. Течет над землей тихий сочный гул, — от него звон жаворонков становится еще задорнее и радостнее колокольный звон.

Поет земля.

Выскочил Устин, смазанный маслом, в ярко начищенных сапогах, по животу пущена серебряная кучерская цепочка; он смотрит из-под ладони в поле и, без всякой надобности, надрывно кричит:

— Идут! Марфа — идут! Марья, что же ты всё сидишь, а? Ясан, где ж ты? А, господи...

Он весь дрожит, точно лететь собрался, а сзади на него лезет испуганный Ясан и тоже кричит:

— Гирь бул по пуд четыр, бачка, стал — тыри! Куда девал — не снай!

— Бултыри, сталтыри, — орет Устин, топая ногами, — дьяволы! Тыщу лет живете... Прохожий, вот — гляди: тыщу лет живут!

Со двора вышел черный петух, приподнялся на ногах, взмахнул крыльями и возгласил:

— Реку-у...

- Марья, гони его, задавят!
- Гони сам...
- Отчего?
- Что мне — и в праздник отдыху нет?
- Пропаду я с вами!

К перевозу шариками катятся мальчишки, быстро идут девицы, подобрав юбки до колен, в черных башмаках жирной грязи.

— О всепетая мати,— глухо несется с поля; там, над мохнатыми головами людей, сверкает, ослепляя, квадратный кусок золота, весь облеплен солнцем. Впереди иконы едет седобородый урядник верхом на белом коне, обрызганном грязью.

Краснолицая веселая баба звонко кричит:

— Дядя Юстин, на степи, с версту от балки, мертвяк лежит, совсем раскис...

— А ты — ори больше, дура! Наш?

— Не знай...

— Ну — царство небесное, только и всего... О господи, владыка пресвятая... Марь, становись к весам, гляди в оба. Ясан — где сестра?

Тысячная толпа темным валом катится к речке, готовая запрудить ее, лезет на паром, толкаясь и шумя, над нею колеблется икона, реют хоругви и, золотом в куске черной руды, сверкают ризы священников. Марья стоит бок о бок со мною, крестится, вздыхает, шепчет красными губами:

— Милая, сердешная... спаси-помилуй-сохрани... Мати господня...

И деловито говорит мне:

— Постой у весов с Ясаном, постереги, пожалуйста, как бы гири не украли, — я отбегу на минутку па одну...

Икону внесли на паром, он дрогнул и отделился от берега, разукрашенный ярким ситцем, кумачом и золотом.

— Тиш-ше! — кричит урядник, а монахи, толстые, точно красы, стройно поют:

— О всепетая мати...

На реке, вокруг парома, полощутся яркие пятна отражений, по улице мечется, растопырив крылья, черный петух, дородная Марфа сладко распевает:

— Оладышки да пышки, покупай мальчишки, с па-
токой да медом...

Сзади меня кто-то говорит вполголоса:

— Лежит он верх грудью, знаш, голова-те по
ухи в земле затонула, а рот раззявил,— таково ли
страшно,— беда!

— Эй,— кричит Устин, хватая меня за плечо,—
где Марья?

— На пароме, кажись.

— На пароме?

Он смотрит из-под ладони на реку и бормочет:

— Ералаш... А посему...

Богомолы тесно окружают телегу, на которой Ясан
и Марфа торгуют хлебом, баранками, жареным мясом,
оладьями; на дворе за столом люди пьют чай, им слу-
жит работница, безмолвно, точно немая, а на улице
дудит в дудку слепой старик с ястребиным носом, и
поводырь его, черноволосый мальчик, звонко кричит:

Ой, дудка моя,

Ух, я!

Весялуха моя,

Ух, я!

Над землей стоит весенний гул, победно звучат го-
лоса девиц и женщин; задорен смех, бойки прибаутки,
благозвонно поют колокола, и надо всем радостно цар-
ит пресветлое солнце, родоначальниче людей и богов.

Сияет солнце, как бы внушая ласково:

«Прощается вам, людишки — земная тварь,— всё
прощается,— живите бойко!»

Вечер.

С реки веет холодом; мутноокие туманы вздыма-
ются на полях и белой толпою плывут к селу. Из-за края
степи выкатился в небо оранжевый жернов луны, заря
играет в зеркалах вешней воды. День промчался на
золотом коне, оставив в душе моей сладкое утомление,
насытив ее радостями,— я точно в бирюльки наиграл-
ся,— хорошо! Сижу во дворе, на телеге, сыт по горло,
в меру пьян.

Сутырин разлегся на соломе и говорит похмельно:
— Собираются бить меня мужики, а посему и тебя, наверно, вздуют! Уж спрашивали Степаху, работницу: «Который тут у вас прошение составлял?» Чуешь? Тебе бы, того... уйти от греха, к ночи-то...

Молчу, уходить не хочется.

— Дремлешь?

— Нет.

— Выпить мы с тобой можем, однако же! — хвастается Устин и шмыгает носом.— Лешие, положили мертвеца по эту сторону — перевезли бы на ту. Ему в селе место, около сборной, а не подле меня.

В сыром воздухе тошнотворно пахнет гнилым мясом. На селе девки водят хоровод, ясно слышны задорные слова песни:

А кто вдовушку полюбит —

Вечное спасенье!

А кто девушку полюбит —

Всем грехам прощенье!

— Ф-фу,— вздыхает Устин,— тяжело мне несколько...

Встретив икону, он немедленно и тяжело напился, отколотил сестру, укравшую из выручки два целковых, задавил черного петуха и уснул, но к вечеру проснулся, как встрепанный, опохмелился и снова беспокоится:

— Марью не видал?

— Нет.

— Врешь!

— Зачем?

— Мало ли зачем! Без вранья не прожить. Человечек безо лжи, как петух без перьев,— лысый!

Но, подумав, говорит:

— Лысых петухов — не бывает. Сманила меня баба эта, ей-богу! Конечно — грех, ну — она вдовая, я — тоже. Необыкновенная же до чего! Просто — смерть! А мне, всего-навсёе, сорок девять годов... Хороша баба?

— Хороша!

— То-то вот и оно! Дьявол! На село, видно, улиз-

пула. Тут есть один татарчонок... ноги ему перебить надо!

Он выскочил из телеги, точно уколотый, и побежал со двора к реке, растрепанный, печесанный, с соломой в волосах. Покурив, я тоже пошел за ним, но он уже колыхался посредине реки, в маленькой лодке, часто размахивая веслами.

У парома, на сырой, плотно утоптанной земле лежал мертвец, высунув из-под рогожи ноги в истоптанных лаптях и огромную, с отвалившимся большим пальцем руку; над ним сидел, покуривая трубку, маленький старичок, с палкой на коленях.

— Не признали — что за человек?

Старик помотал головою, указывая пальцами на свои уши. Глухонемой, видно. Паром — на той стороне, лодок нет, — не попадешь в село!

Я пошел берегом против течения реки, подальше от мертвеца, к остаткам моста, сорванного половодьем, сел на сухое место под кустами, думая о жизни. Забавно жить, и отличное удовольствие — жизнь, когда тебя извне никто не держит за горло, а изнутри ты дружески связан со всем вокруг тебя.

Село шумно ликует; слышно, как двое пьяных палаживаются петь; заливчато и звонко хохочет девица, надрывается гармоника, орут мальчишки. Благодушие до того одолевает, что даже спать хочется.

По реке неумело скользит челнок, — точно длинная черная рыба извивается вперед хвостом. Тихо булькает весло, опускаясь в масляную воду. Добравшись до берега, шагов на десять выше меня, челнок прячется в кусты, и сквозь шорох голых веток о борта я слышу знакомый голос Марьи:

— Иде загряз по сю пору? Я ждала, ждала...

Кто-то тихонько говорит непонятные слова, и вновь голос женщины:

— У, нехрись! Да постой, не тискай!

Целуются, и так смачно, что, наверно, в селе слышно.

— Ой, Мишенька... Ой, милый, увел бы ты меня куда-нибудь!

«Бедняга», — думаю я о Мустафе, полагая, что Мишенька — это не он, но женщина говорит:

- Хрестись ты, пожалуйста!
- Ныльза!
- А то — пришиби моего-то свинью...
- Гырех пришибать ему...

— Ну, еще... А вот эдак-то, со мной, не грех?

Тихо. Только кусты, колеблемые течением, шуршат о челнок. Тяжелая луна, поднявшись на сажень над землей, больше не может и снова опускается к степи, лениво, как Марья.

— Вон Марфа живет же с Ясашкой, а я — хуже ее, что ли? И ты его не хуже.

- Нисява!
- Тебе всё — ничего.

Плеснулась рыба, по звуку — лещ, он всегда шлепается о воду плашмя. Паром идет, как будто часть берега оторвалась и островом перегородила Студенец. В селе ударили собаку, она визжит отчаянно и жалобно.

— Кабы извести его, так и Марфа довольна будет, тогда всё хозяйство — ей!

- Турма будит, острог тебе!
- Эхма, ведь — как хочешь, а — не доскочишь!..
- Яса-ан,— кричит с парома Сутырин.

В кустах беспокойно завозились, зашептались, а я, повинувшись желанию созорничать, громко говорю:

— Не бойтесь, я его задержу...

— Ух,— испуганно вздыхает женщина, я вижу над кустами белое пятно ее лица.

- Прохожий, ты?
- Я.
- Ой... Господи!

Я иду прочь, но через несколько шагов она догоняет меня и, застегивая на ходу кофту, заправляя под платок волосы, горячо шепчет:

— Ты уж молчи, милый, я тебе за то полтинку дам, молчи, родной, а?.. Ты — молодой, должен понимать, какое это всё... А?..

Уверяю ее, что буду молчать, как мертвец, но говорю:

— Что ж ты, умница, не нашла другого места для эдаких разговоров?

— А ты — не стыди меня,— шепчет баба, прижи-

маясь ко мне.— Уж, конечно, грешница я... да — сам ты говорил — красивый он! А что татарин — так у нас вон попов сын, доктор, на французинке женат...

— Да я тебе не про это, бог с тобой! А вот уговаривала ты его, чтобы свекра пришибить...

— Да какой он мне свекор, коли у меня мужа-то нет? — угрюмо говорит она и вдруг предлагает просто, как работу:

— А может, ты возьмешься, пристукнешь его? Слушай-ко: чего тебе бояться? Сегодня ты здесь, а завтра — никто не знает где. А я бы тебя уж так-то ли поблагодарила! И он тоже, — он, гляди, богатый! А?

Смотрю в ее милое лицо, размалеванное природой самыми яркими красками, смотрю в синие глаза, большие, выпуклые, точно у куклы. Такая лубочная, но чистая красота, сильная и спокойная, как веселая земля, нагретая солнцем...

— Я такими делами не занимаюсь.

— Да ведь — один раз! — мягко убеждает она.— Стукнул да ушел, только и всего!

— Не подходит это дело для меня, нет!

— Ой, господи! Да ты — подумай...

— Мар-рь! — визжит Устин Сутырин, качаясь в сумраке впереди нас, смачно шлепая по грязи и размазывая руками.

— Это кто? Прохожий? А-а... Ты — чего? Ну — ладно! Я тебе, нижегородской, верю. Ха! А посему и — кончено! Дави их!

Он хорошо пьян, как раз в меру, — удали много, а на ногах крепок.

— Сейчас Коська Бичугин в ухо мне закатил: «Не жалуйся, кричит. Ты нас грабишь, мы не жалимся». Ты меня, прохожий, на пехорошее дело подбил, да! Это, брат, тебе даром не пройдет. Они тебе покажут — Коська с Петром, они тебя угостят тяжелым по мягкому.

— Стой-ка, — говорю я, — да ведь ты сам же просил меня жалобу написать. Просил али нет?

— Мало ли чего я, по глупости, прошу! А ты — не поддавайся. У тебя плачут, просят, а ты — реви, да не давай! Марь, — так ли?

Он обнял ее за плечи и, увлекая в грязь, на средину дороги, просит:

— Давай запоем, ну!

Закрыв глаза, закинул голову и тоненько начал пронзительным тенором:

Эх да и ой... и вот — а-а...

Марья, положив руку на плечо ему, выгнула кадык, уверенно подхватив хорошим альтом:

Да вот и по дороге — эх...

— Верно!

Эй, скрозь висо-okie хлеба...

— Поддерживай, нижегороцкой. Я татарам не верю!

Шла молодка-а

— поет Марья.

Он-на в спнем шушуне — а-э!

У ворот постоянного двора стоит Марфа, упираясь руками в крутые бока, похожая на огромный самовар.

— Эх,— кричит она,— загуляли наши!

На селе визжат, свистят, задорится гармоника, кто-то большой тяжко бьет землю,— гул идет через черную дорогу реки.

За плечом Марфы смущенно улыбается рыжебородый Ясан.

— Родные мои,— растроганно кричит Устин Сутырин,— люблю я вас до конца жизни! Марь,— действуй!

По-над полем, ох...

Золот месяц гуляе-э

— поет Марья,— хорошо поет, душевно!

В поле над туманами сверкают звезды, луна коснулась краем до черной степи и замерла, стоит недвижимо, точно слушая праздничный шум милой грешной земли.

Сутырин, захлебываясь воодушевлением, выводит:

Ай да молодка

Путь-дорогу не знае — э-эй!

ВЕЧЕР У ШАМОВА

По субботам у Максима Ильича Шамова собираются лучшие люди города и разные «интересные парни», — я причислен к последним и поэтому тоже охотно допускаюсь на субботы Шамова.

Эти вечера для меня, как всеобщая для верующего. Люди, которые служат ее, во многом чужды мне; мое отношение к ним — мучительно неясно: нравятся они мне и — нет, восхищают и — злят; иногда хочется сказать им слова сердечно-ласковые, а — через час — мною овладевает нестерпимое желание нагрубить этим красивым дамам, приятным кавалерам. Но я всегда отношусь благоговейно к мыслям и словам этих людей, их беседа для меня — богослужение.

Мне двадцать один год. Я чувствую себя на земле неуютно и непрочно. Я — точно телега, неумело перегруженная всяким хламом; тащит меня куда-то, неизвестным путем, невидимая сила, и вот-вот опрокинусь я на следующем повороте дороги.

Я очень много и упрямо вожусь сам с собою, стараясь поставить себя возможно тверже среди нелепых и обидных противоречий, которые отовсюду бьют и толкают меня, часто доводя до болезненного состояния, близкого буйному безумию. Года полтора тому назад я до того устал от этой возни, что пытался покончить с собою — всадил себе в грудь пулю из отвратительного, неуклюжего тульского револьвера, — такими револьверами в свое время вооружали барабанщиков. Эта глупая и нечистоплотная выходка вызвала у меня к себе самому чувство некоторого недоверия и почти презрения.

Теперь я живу в саду у пьяного попа, в хижине над грязным оврагом; эта хижина раньше была баней.

В двух низеньких комнатах ее стоит запах мыла и прелых веников,— гнилой запах, отравляющий кровь. Углы комнат промерзают насквозь,— в этом жилище даже мышам холодно и плохо,— ногами они залезают ко мне на постель.

Вокруг бани густо разросся одичавший малинник, в непогоду его цепкие прутья стучат в окно, царапают черные кривые бревна стены. Я живу бедно и дико, в неясных мечтах о какой-то другой, светлой и легкой жизни, о рыцарской любви, о высоких подвигах самоотвержения. Печатаю в плохонькой местной газете коспоязычные рассказы и убежден, что печатать их — не следует, что ими я оскорбляю литературу, которую люблю страстно, как женщину. Но — печатаю. Нужно есть.

В гостиной Шамова я забываю о себе; сижу где-нибудь в углу, в тени, и жадно слушаю, весь — одно большое, чуткое ухо. Здесь всё — от мебели до людей — как-то особенно интересно, красноречиво, и всё обито ласковым, почти солнечным светом ярких ламп, затененных оранжевыми абажурами.

Со стен, тепло-светлых, смотрят глаза Герцена, Белинского, я вижу нечеловечье лицо Бетховена, мне улыбается улыбкой озорника бронзовый Вольтер, и всех заметнее, всего милей — детская головка Сикстинской Мадонны. В углу, за пальмой, возвышается — точно в воздухе стоя — Венера. Всюду — масса каких-то бесполезных вещей, но все они, в этой большой, уютной комнате, являются необходимыми; каждая — точно слово в песне. Драпировки на окнах и дверях пропитаны запахом духов и хорошего табака. Кое-где поблескивает золото рам, напоминая о церкви, и все люди, скромно одетые в темное, точно сектанты в тайной молельне.

Говорят они легко и ловко, как будто бегают на коньках, капризно рисуя замысловатые узоры слов; всех громче и увереннее звучит баритон адвоката Ляхова,— это высокий, стройный человек с острой бородкой, излишне удлиняющей его бледное светлоглазое лицо. Говорят, что он — великий распутник, мне кажется, это так и есть: он смотрит на женщин глазами

хозяина, как будто каждая из них была или будет горничной его.

Уже все собрались и сообщили друг другу городские новости,— новостей мало, и они ничтожны: губернаторша сказала дерзость прокурору, супруг ее снова, по привычке, превысил пределы своей власти, купцы в думе наговорили чепухи по школьному вопросу, богатый мельник Самородов избил сноху, застрелился земский статистик, доктор Дубков снова развелся с женой.

Теперь философствуют о народе, государстве; начальственно звучит голос самоуверенного Ляхова:

— Когда пред нами откроется свободный путь к сердцу народа...

— Кто же откроет вам этот путь?— насмешливо перебивает речь Асеев, маленький, горбатый инженер с глазами великомученика.

— История!

Дама, изящная, как статуэтка на подзеркальнике, спрашивает Ляхова:

— Вы читали «Скучную историю»?

Я смотрю на нее с досадой и думаю:

«У вас, сударыня, слова рождают мысли, а не мысли слова...»

Асеев, закуривая папироску, говорит тихонько:

— История — это мы, люди...

Как у всех горбатых, лицо у него неправильное, некрасивое, в профиль оно кажется злым. Но великолепные глаза скрашивают уродство тела,— в этих глазах неисчерпаемо много тоскливого внимания к людям.

— Странное произведение!— хрипло кричит Шамов, веселый холостяк, сытый, круглый, с лицом монгола и жадным взглядом крошечных глаз, спрятанных в мешочках жирной кожи.— Можете вы представить себе на месте чеховского профессора — Пирогова, Боткина, Сеченова?

Он выпячивает живот, победоносно взмахивая пухлой дамской ручкой, с изумрудом на пальце. Он уверен, что всегда говорит нечто неоспоримое, убийственное. Беседуют они — точно битую птицу щиплют. Ощи-

пав Чехова, живо ощипали Бурже и выдергивают перья из Толстого.

— Все эти «скучные истории» современных писателей вызваны «Смертью Ивана Ильича»...

— Совершенно верно!

— Толстой первый поставил ценность личного бытия выше ценности бытия мира...

— Положим, — индивидуализм утверждён ещё Кантом...

— У Герцена мы тоже встречаем нечто очень близкое «арзамасскому ужасу» Толстого...

— Резиньяция?

Спор разгорается, напоминая игру в карты; у Асеева больше козырей, чем у всех других.

В углу, около меня, изящная дама убеждает толстую, в золотом пенсне на глазах совы:

— Некрасов так же устарел, как Державин...

— О господи!..

— Да, да! Теперь нужно читать Фофанова.

Мне жутко и приятно, что эти люди так легко снимают ризы с моих икон, хотя я не совсем понимаю — почему они делают это с таким удовольствием? И мне почти больно, когда о Чехове говорят слишком громко, неуважительно. После «Припадка» я считаю Чехова писателем, который в совершенстве обладает «талантом человеческим, тонким, великолепным чутьем к боли» и обиде за людей. Хотя мне странно видеть, что у него нет чутья к радостям жизни. Слишком стремительно мечутся мысли в этой светлой, уютной комнате, и порою кажется, что не тревога за жизнь, за людей родит их, а — иное чувство, неясное мне.

Меня особенно удивляет инженер Асеев, — он так богат знаниями. Но иногда он напоминает мне тех зажиточных деревенских парней, которые и в хорошую погоду — в солнечный день — выходят гулять на улицу с дождевым зонтиком и в галошах. Я знаю, что они делают это не из осторожности, а ради хвастовства.

Октябрь. Слезятся стекла в окнах, снаружи дробно стучит дождь, посвистывает ветер. С громом проехала пожарная команда, кто-то сказал:

— Опять пожар!

На маленьком, капризно изогнутом диване сидит студент, новенький, блестящий, как только что отчеканенный гривенник; он вполголоса читает изящной даме сладкие стихи:

Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то.

— Позвольте, — густо кричит Тулун, огромный седой человек с длинными усами. — Хосударство требует з нас усю энергию, усю волю и совэсть, а шо воно дае нам?

Тулун — татарин, он долго служил членом окружного суда в Литве, потом — в Сибири. Теперь — не служит, купил маленький дом на окраине города, занимается цветоводством и живет со своей кухаркой, толстой косоглазой сибирячкой. Он не скрывает своих отношений к ней и зовет кухарку «сибирской язвой». Глаза у него черные, неподвижные, остановились на чем-то и не могут оторваться, а когда он спорит — белки глаз густо наливаются кровью, и тогда глаза удивительно похожи на раскаленные угли. Он объехал всю Русь, бывал за границей, но рассказать ничего не может; говорит он странно, ломая язык, и очень похоже, что он делает это нарочно. Печатает хорошие рассказы в охотничьих журналах. Ему лет шестьдесят. Так странно, что он не нашел в жизни ничего лучше косоглазой кухарки.

Да, прошентала, а что — неизвестно,

— громко читает студент и спрашивает даму:

— Это получше Надсона, не правда ли?

Эти люди всё знают, они — точно кожаные мешки, туго набитые золотом слов и мыслей. Они, видимо, чувствуют себя творцами и хозяевами всех идей.

А вот я — не могу чувствовать себя так, для меня слова и мысли, как живые, я знаю много идей, враждебных мне, они стремятся к власти надо мною, и необходимо бороться с ними.

Я и двигаться не могу так легко и ловко, как умеют эти люди; длинное жилистое тело мое удивительно неуклюже, а руки — враждебны мне, они всегда ненужно задевают кого-нибудь или что-нибудь. Особенно боюсь я женщин, эта боязнь усиливает мою неловкость, и я толкаю бедных дам локтями, коленями, плечом. Лицо у меня — неудобное, на нем видно всё, о чем я думаю; чтобы скрыть этот недостаток, я морщусь, делаю злые и суровые гримасы. И вообще я — неудобный человек среди благовоспитанных людей.

К тому же мне всегда хочется рассказать им о том, что я видел, что знаю о другой жизни, которая как-то особенно ядовито похожа и не похожа на их жизнь. Но рассказываю я грубо, неумело. Трудно мне на субботах у Шамова...

Резво, точно ласточка, по гостинной летают острые, красивые слова. Звучит смех, но — смеются мало, меньше, чем хотел бы я слышать.

Пришел адвокат Спешнев, сухой, длинный, как Дон-Кихот рисунка Дорэ; он стоит среди гостинной и, нервно размахивая сухими руками, надорванным голосом поносит губернатора:

— Дутый герой, палач, выпоровший мужиков Александровки...

Лицо Спешнева землистое, болезненное, ноги его дрожат, кажется, что он сейчас упадет. Тесно и жарко. Разноцветно, разнозвучно играют умы. Ляхов громко читает стихи Барбье, Спешнев кричит, перебивая его:

— А знаете, с какой песней шли французы против пруссаков в семидесятом году?

И, притопывая ногою, болезненно нахмурясь, он распевает в темп марша загробным голосом:

Nous aimons pourtant la vie,
Mais nous partons — ton-ton,
Comme les moutons,
Comme les moutons,
Pour la boucherie!
On nous massacrera — ra-ra,
Comme les rats,

Comme les rats.

Ah! Que Bismarque rira! ¹

— Вы понимаете?— спрашивает он, улыбаясь насмешливо и горько.— Идти на смерть с такой песней, а? Мы любим жизнь...

— Хосударство,— пожимая плечами, говорит Тулун, а горбатый инженер начинает рассказывать о «Левиафане» Гоббса.

Пришла m-me Локтева, она в гладком платье серого шелка, гибкая, как рыба. Она очень красива и хорошо знает это. От любви к ней застрелился поручик, спился до нищенства купец Конёв; о ней говорят много злого и грязного. Она прекрасно играет в шахматы, увлекается фантазиями Радда-Бай и говорит непонятные мне речи об индусах. Я считаю ее необыкновенным человеком и чего-то боюсь в ней. Иногда она смотрит в глаза мне так пристально, что у меня кружится голова, но я не могу опустить глаз под ее взглядом. Как-то раз она неожиданно спросила меня:

— Вы верите в чудеса?

— Нет.

— Напрасно. Надо верить! Жизнь есть чудо, человек — тоже чудо...

В другой раз, так же внезапно, она подошла ко мне и деловито осведомилась:

— Как вы думаете жить?

— Не знаю.

— Вам нужно уехать отсюда.

— Куда?

— Всё равно. В Индию...

Положив красивую руку на острое плечо Спешнева, она просит побеждающим голосом:

¹ Мы хотя и любим жизнь,

Но идем,

Как бараны,

Как бараны,

На бойню!

Перебьют нас,

Как крыс,

Как крыс.

Ах! И посмеется же Бисмарк! (Франц.)

— Пожалуйста — «Три смерти»!

И обращается к хозяину:

— Милый эпикуреец, — да?

Шамов ласково мычит, целуя ладонь обаятельной женщины, Ляхов смотрит на нее сумрачно, он стоит, напряженно вытянувшись, точно солдат; глаза Асеева становятся еще прекраснее, а женщины — улыбаются. Не очень охотно. Локтева смотрит на всех темным, притягивающим взглядом, рот ее как-то особенно полуоткрыт, точно она готова радостно целоваться со всем миром. Ясно, что она чувствует себя добрым владыкой всех людей, — самая красивая и радостная среди них. Зачем ей «Три смерти»?

Шумно двигают креслами и стульями, усаживаясь в тесный полукруг. Шамов, Спешнев и Асеев отходят в угол к маленькому круглому столу.

— Безумно люблю эту поэму, — заявляет изящная дама.

— Внимание! — командует Локтева.

Положив пухлые руки на край стола, Шамов странно улыбается, и в тишину лениво падает его сытый голос:

Мудрец отличен от глупца

Тем, что он мыслит до конца...

Я — изумлен. Этот рыхлый, всегда и всё примиряющий человек, масляный и обидно самодовольный, — глубоко несимпатичен мне. Но сейчас его круглое, калмыцкое лицо удивительно облагородилось священным сиянием иронии; слова поэмы изменяют его липкий, сладкий голос, и весь он стал не похож на себя. Или он — вполне и до конца стал самим собою?

В час смерти шутки неприличны!

— говорит Спешнев, негодуя, взмахнув растрепанными волосами.

Великолепные глаза Асеева задумчиво прищурены. Все слушают чтение серьезно, сосредоточенно, только Локтева улыбается, как мать, наблюдающая забавную игру детей. В тишине, изредка нарушаемой шелестом

шелка юбок, властно плавают слова Люция-Шамова:

Прошу покорно — верь поэтам!
...Вы все на колокол похожи,
В который может зазвонить
На площади любой прохожий!
То — смерть зовет, то — хочет жить..

Оставьте спор!

— говорит Асеев, подняв прозрачную на огне руку.
Его измученное лицо спокойно; с глубоким убежде-
нием он читает:

В душе за сим земным пределом
Проснутся, выглянут на свет
Иные чувства, роем целым,
Которым органа здесь нет...

И снова лениво идут иронические слова Люция:

Я спорить не хочу, Сенека...
...Твое, как молот, сильно слово,—
Но — убеждаюсь я в ином,
Существовании другого —
Не постигаю я умом!..

Горячо звучит надорванный голос Спешнева:

Нет, не страшат меня загадки
Того, что будет впереди,—
Жаль бросить славных дел зачатки!

Землистое лицо его краснеет, глаза горят, и он всё
громче, отчаяннее жалуется на гнусную обиду Смерти:

Титан, грозивший небесам,
Ужели станет горстью пепла?..
...И это — цель
Трудов, великих начинаний?

Тихо. Все замерли.

Встал Ляхов и, глядя на Локтеву, торжественно
говорит:

Декрет сената!

Захлебываясь гневом и тоскою, Спешнев кричит:

Певец у Рима умирает!
Сенека гибнет! А народ —
Молчит!

Эти крики гасит холодный, иронический голос Шамова:

Себя нетрудно умертвить.
Но, жизнь поняв, остаться жить —
Клянусь — не малое геройство!

Все эти слова падают на душу мне раскаленными углями. Я тоже хочу писать стихи и — буду писать!

Теперь эти люди странно близки мне, небывало приятны. Меня трогает задумчивая сосредоточенность одних, восторженное внимание других; мне нравятся нахмуренные лица, печальные улыбки людей, нравятся их приобщение к идеям умной поэмы. Я крепко уверен, что, испытав столь глубокие волнения духа, все они уже не в силах будут жить, как жили вчера.

В задумчивом молчании гостиной медленно текут слова Люция:

Для дел великих отдых нужен,
Веселый дух и — добрый ужин...

Шамов обводит всех маленькими глазками, включает и меня в невидимый круг и, легонько вздохнув, говорит, улыбаясь:

И что за счастье, что когда-то
Укажет ритор бородатый
В тебе для школьников урок!

Он произносит слова всё более неохотно и тихо, точно засыпает, утомленный беседой с друзьями.

В дверях, прячась за темной портьерой, стоит тоненькая, стройная горничная, с золотой, змеиной головкой, в кружевной наколке на рыжих волосах, на ее белом лице остро блестят зеленоватые глаза.

И я умру шутя...

— мечтает Шамов, тонко улыбаясь.

Он кончил, слушатели дружно рукоплещут, а Локтева целует его в лысину.

— Вы очаровательно читаете, Макс. Ах, боже мой...

— Польщен. Но, — «как истый сибарит», — приглашаю кушать! Вашу лапку, дорогая...

Стало шумно и очень весело. Люди парами идут в столовую, сзади всех — горбатый Асеев. Он качается на ногах, точно пьяный, одной рукой он потирает высокий лоб, исписанный морщинами, в другой — папироса; он мнет ее пальцами, посыпая ковер табаком.

— Волшебница, — английской или хинной? — громко спрашивает Шамов.

В столовой, под яркой люстрой, на огромном столе сверкает хрусталь, светится серебро, три вазы с фруктами, как три огромных цветка. Дама в пенсне рассказывает Ляхову:

— В воскресенье у Ещепуховых меня угощали медвежьим окороком. Я не нашла в нем ничего особенного.

А Тулун басом внушает кому-то:

— Возьмите перцу — так! Теперь — укусу! Ага?

Я незаметно пробираюсь в прихожую, — я уж научился уходить незаметно. В прихожей, на диване, сидит и дремлет, раскрыв рыбий рот, младшая горничная Дуня, круглая, как бочонок, и пестрая, как маляр. Шамов рассказывает про нее, что в первые дни службы эта рабыня съела у него кусок туалетного мыла.

— Ой! — вскрикивает она, просыпаясь. — Извините. Которое ваше?

Но, видя, что я уже надел пальто, спрашивает:

— Сели есть?

— Да.

— Ну, слава богу!.. Прощайте!..

Ветер гоняет по улице тучи мокрого пепла; в черной сети ветвей дерева странным желтым цветом расцвел огонь фонаря. Ночь прижала дома к земле, и город кажется маленьким в мокром кулаке ночи.

Я шагаю по жидкой грязи, сквозь тяжелую сырую тишину, в голове у меня горит костер новых слов, мыслей, я благодатно взволнован.

В памяти звучат слова эпикурейца:

Когда ж насыщусь до избытка,
Она смертельного напитка,
Умильно улыбаясь, мне,
Сама не зная, даст в вине...

Само собою слагаются в стихи другие слова:

Душа, одинокая и слепая,
Бредет по улице грязной.

Едет ночной извозчик, сгорбившись на козлах разбитой, гремящей пролетки. Качает головою черная мохнатая лошадь. В конце улицы трещит трещотка сторожа.

Со мною что-то случилось,— такая тоска сжимает сердце, такая тоска...

ВЕЧЕР У ПАНАШКИНА

Насытись вкусной духовной пищей у Шамова, — в воскресенье, вечером, я иду к Панашкину; у него тоже поучительно.

Панашкин торгует на балчуге старой рухлядью — обломками, обносками. Ему за пятьдесят лет, он болен чахоткой. Руки у него беспокойные, длинные, ноги — тонкие, шея искривлена, и на ней тревожно болтается маленькая головка с рыжими бровями ужа. Он похож на выдернутый из земли сухой корень. Сморщенная кожа его щек поросла кустиками волос мочального цвета. Фигура очень унылая, а глаза — веселые, точно Панашкин всегда видит пред собой что-то неожиданно приятное и внутренне восклицает:

«Вот так штука!»

Очень любит смеяться тихим, слезно всхлипывающим смехом и, так как жизнь не удалась ему, любит философствовать.

— Всякий человек, каков он ни есть, должен есть, — вот те и вся премудрость! Значится: разумеете языцы и покоряйтесь! — говорит он. — В этом — и математика...

— Один умный человек сказал: «Любовь и голод правят миром», — вспоминаю я.

— Это — Дюма, что ли?

Дюма-отец — для Панашкина величайший ум. Дмитрий Павлович прочитал все его романы по два и по три раза. А когда я уговорил его прочитать «Записки охотника», — он возвратил мне книгу, недоуменно посмеиваясь и говоря:

— Чего тебе тут нравится? Это, брат, неинтересно, как настоящая жизнь...

Настоящая жизнь обращалась с ним капризно и неласково: двенадцати лет, после смерти отца, пьяного чиновника казенной палаты, Панашкин поступил мальчиком к нотариусу, через два года перешел в табачный магазин, потом стал парикмахером, двадцати лет решил уйти в монахи, года три шлялся по монастырям, наконец свел из одного монастыря послушницу и воротился с нею на родину. Захлебываясь плачевным смехом, бессильно взмахивая локтями, точно недорезанный петух, он рассказывал:

— Пять лет жил я с нею незаконным браком, но — в сияющей любви. Это был даже не человек, а — хрусталь необыкновенной прозрачности. Умирала — взяла меня за руку, — шепчет: «Митя, добрый друг, спасибо же тебе, завяла бы я без твоей любви, как без солнца цветов». Это она, видите ли, потому, что была старше меня на двенадцать лет, да и миловидностью не отличалась, — ряба, курноса и... вообще... Однако душа у нее была — воистину — цветок! Замечательная душа! А красота — не для всех закон. Всякая женщина любви достойна; женщина, брат, самое лучшее божье сочинение...

Когда он говорил о жене, о женщинах, о любви, — его веселые глаза становились грустно-серьезны, а веки краснели, пабухая. Раза два-три он даже бесстыдно плакал, вспоминая жену; говорит, а из глаз бегут одна за другой мелкие желтоватые слезы.

Жена оставила ему дочь, и с той поры Панашкин, по его словам, бегал вдоль и поперек жизни туда-сюда.

— Всё, брат, искал случая приспособиться к делу, чтобы воспитать дочонку, однако — случая не нашел...

Рассказывал он мне свою жизнь июльской ночью, в лесу, на поляне, под одинокой сосной, — я шел с ним на богомолье, отдыха ради. Он сидел, прислонясь спиной к медному стволу сосны, раздвинув длинные ноги, точно ножницы; перед ним на маленьком костре закипала вода в походном чайнике. Было душно, собиралась гроза. Меня, в ту пору, очень интересовали кроткие, много и бесполезно думающие русские люди, — правилом мне, что они не в ладу с жизнью.

— Человек я мягкий, — пу, меня и протирали сквозь

сито, — сказывал Панашкин, посмеиваясь. — Сдал экзамен на сельского учителя, — оказался неспособен к делу: играть с детишками могу, а учить — не умею! Нанялся к татарину яйца скупать по деревням, татарин меня в Швецию отправил для расширения дела; приехал я в Петербург, а в гостинице, где мне случилось остановиться, офицер со штатским поссорился, начал стрелять из пистолета да и закатил мне пульку в бок. Пролежал я в больнице полтора месяца, а у раненого у меня татариновы-то деньги и вытащили! Воротился к своему месту — хватъ, — ан татарин в одночасье помер! Я — к наследникам: так и так, говорю, пропали ваши деньги. А они — хороший народ! — ничего, говорят, не беда! Замечательно! Поступил в окружный суд регистратором, — у меня документ важный украли. Незадача! Из суда — под суд... Оправдали, но прокурор сказал мне: «Вы — ротозей!» Есть это у меня и по сей день: вдруг задумаюсь неизвестно о чем, и никаких возгласов не слышу, ничего не понимаю...

— А — о чем думы?

— Да так, знаешь... пустяки всё, вообще, — ответил он, глядя в огонь. — Думаешь примерно: неужели и завтра ничего не случится, всё то же будет? Глупые мысли. Ждать нечего, архиереем не сделают. Так вот и верчусь всю жизнь, словно заколдованный и окаянный. Всё пробовал, даже за укрывательство краденого судился и полгода в тюрьме сидел. Оправдали. За вольномыслие в трактире арестован был на девяносто два дня. Жандарм спрашивает: «Говорил ты, Панашкин, эти самые слова?» А я — забыл какие! «Ваше благородие, говорю, извините дерзость, но — чего же я не могу сказать при моей столь запутанной жизни?» И рассказал ему всю жизнь. Он — добрый человек, — согласился: «Да, говорит, жизнь у вас безрадостна. Считаю вас свободным». — «Покорнейше благодарю, отвечаю, но собака, которая на цепи сидит, больше моего свободна, потому что она при своем месте». — «Что же, говорит, делать. Такова жизнь!» — «Так точно, говорю, живем для украшения земли несчастиями!» Смеется он.

Рассказывая, Панашкин часто спотыкался на словах и, закрыв глаза, молчал секунду-две. Казалось,

он скрывает многое испытанное им, как скрывает дурную болезнь. Я заметил, что о приятном он говорит многословно, а дурное и тяжелое старается обежать скорее. Это очень понравилось мне.

— Чего вы искали? — спросил я.

Он удивленно поглядел на меня сквозь синий дымок костра.

— Как это — чего? Чего все ищут, — сытости, покоя... принадлежности к чему-нибудь. Человек должен принадлежать туда или сюда. Была жива Капочка, то есть жена, я осязал себя ей принадлежащим, а после нее — ничего не нашлось. Конечно, — птица небесная не жнет, не сеет, так ведь она — летать умеет, одежда у нее — на всю жизнь, сапог не требуется...

Очень понравился мне Панашкин в эту ночь, и с того началась наша добрая дружба. Он живет на окраине города, в слободе, над крутым съездом к Волге, в маленькой пристройке, подпирающей бок старого, споткнувшегося дома, хозяином которого является лавочник Брундуков. Дом — в два окна, посреди их истоптанное, покосившееся крыльцо — вход в бакалейную лавку; над крыльцом нахлобучена мохнатая крыша. Стекла окон зацвели на солнце, засижены мухами, на одном окне — банки с монпансье, пряниками и другими соблазнами, в другом — торчит голова дочери Панашкина.

А на ступеньках крыльца идиолом сидит сам Брундуков, по глаза налитый жиром, квасом, чаем. Он выпаривает себя на солнце и думает о разных премудростях. Его рыжие глазки смотрят вниз по съезду на синеватый кусок реки, следят, как по атласу воды снуют лодки, плывут белые пароходы, тащатся баржи.

Я и Панашкин помещаемся у ног его; мой друг ушивает какую-то рухлядь; на его сером носу большие очки. Праздник. На слободе тихо и пустынно, людишки отдыхают пред вечерним чаем. Дочь Панашкина тоненьким голоском поет:

Люблю ять...

— А еры — не любишь? — спрашивает отец, покашливая.

Вечеръ у Панашкина.

Насытись вкусной духовной пищей у Шамова, — въ воскресенье, вечеромъ, я иду къ Панашкину; у него тоже поучительно.

Панашкинъ торгуетъ на Балчугѣ старой рухлядью — обломками, обносками. Ему за пятьдесятъ лѣтъ, онъ боленъ чахоткой. Руки у него безпокойныя, длинныя; ноги — тонкя, шея искривлена, и на ней тревожно болтается маленькая головка съ рыжими бровями ужа. Онъ похожъ на выдернутый изъ земли сухой корень. ~~Сморщенная~~ ^{Сморщенная} кожа его щекъ ~~поросла а~~ ^{поросла а} кустикъ ~~ами~~ ^{ами} волосъ мочальнаго цвѣта. Фигура очень унылая, а глаза — веселые, точно Панашкинъ всегда видитъ предъ собой что-то неожиданно-приятное и внутренне восклицаетъ:

— Вотъ такъ штука!

Очень любитъ смеяться тихимъ, слезно всхлипывающимъ смѣхомъ, и, такъ какъ жизнь не удалась ему, любитъ философствовать.

— Всякій человекъ, каковъ онъ ни есть, долженъ быть, — вотъ-те и вся ~~премудростъ~~ ^{премудростъ}! Значится: разумите языцы и покоряйтеся! — говоритъ онъ. — Въ этомъ — ~~математика~~ ^{математика}...

— Одинъ умный человекъ сказала: „Любовь и голодь правятъ миромъ“ — вспоминаю я.

— Это — Дюма, что ли?

Дюма-отецъ — для Панашкина величайшій умъ. Дмитрій Павловичъ прочиталъ все его романы по два

— Отстаньте, папаша...

Люблю я т-тебя бесконечно-о...

— Дурочка бесконечная! Ты лучше упражняйся в добродетели, а любовью себя не беспокой...

— Ах, да убирайтесь вы, папаша!

Дочери Панашкина уже под тридцать лет. Она желтая, рыхлая, как творог. Правый глаз у нее погашен бельмом, левый бесстыдно любопытен. Когда она спит — ее большое лицо наливается синеватой кровью, а открытый глаз похож на слепое, зловещее око совы. Лиза шьет на базар ситцевые рубахи, тиковые подштанники и мечтает о страстном романе с военным, не ниже поручика. Она тоже прочитала всего Дюма, но лучшей книгой в мире ей кажется «Новейший, самый полный песенник». Романа у нее не было и нет, а пока ее телом пользуется Брундуков — от скуки, а может быть, из милосердия к уродливой девице.

— Н-да,— говорит Панашкин, толкая меня в бок острым локтем,— вот тоже любовь,— сколько люди бьются около нее, да — как!

— А как? — интересуется Брундуков, раздергивая склеенные чем-то волосы седой бороды.

Небеса на западе в крови и огне. Проедет извозчик — дорожная пыль встает с земли красным облаком.

— А — вот так, что даже до смерти!

— Это — глупость...

— Нисколько не глупость, но — самое обыкновенное... Дружок мой парикмахер Мозжухин — в еврейку влюбился...

— Парикмахеры народ бессмысленный, они всегда либо картежники, либо — еще что-нибудь...

— Конечно,— еврейка тут ни при чем, всё едино — женщина, любовь с верою не считается.

— Это — плохо...

— Да, нехорошо вышло: утопился он...

— Парикмахер?

— Ну да...

— Болван.

Оборвав песнь о бесконечной любви, Лиза задумчиво тычет:

Там, где море вечно плещет
И-на гранитные скалы...

И спрашивает меня:

— Максимыч, — есть какая-нибудь разница между морем и океаном?

Я отвечаю:

— В океане рыба крупней.

Я не люблю эту девицу, и мне неприятно разговаривать с нею, — ее живой глаз всегда скрывает какую-то липкую усмешку, от этой усмешки неловко, как от зазорного слова.

Панашкин скоблит ногтем свой длинный нос, расшитый красными жилками, и рассказывает, не интересуясь, слушают ли его:

— Была она вдовая, торговала вразнос чернилами да ваксой, — сама составляла... Лет тридцати женщина, и ничего особенного, — так себе: обыкновенная еврейка...

— Они все на одно лицо, — уверенно говорит Брундуков и вдруг спрашивает сам себя: — Почему это табак курить не выучился я?

— А его звали Пантелеймон, и в ту пору было ему лет... двадцать пять, что ли...

— А ты — ври без счета.

— Да, — вздыхает Панашкин, — это верно сказано: «Топор не рубит — наточишь, баба не любит — делай, что хочешь»...

— Глупость...

— Хорошая женщина, однако. Они через меня разговор вели. Говорит она мне: «Слушайте, Митя, — меня все Митей звали, — это, говорит, невозможное! Скажите, говорит, ему, что жалею его, как брата, ну, а больше ничего не может быть!» Я ему сказал, а он в ту же ночь и утопился.

— Всё это — от безделья, от воображения, — упрямо твердит Брундуков, видимо, обиженный невниманием Панашкина к нему.

Отоспавшись после праздничного отдыха и выпивки, вылезают из маленьких конурок своих слобожане — девицы и молодухи, пестрые, точно пряники, боголюбивые, злые старушки и старички. Смотрят вниз на

Волгу из-под ладони заспанные речные воры, лодочники и рыбаки. В лугах — яркая заря; небо, расписанное жирными пятнами золота и багрянца, оскорбительно великолепно по сравнению с темными растрепанными людьми. Где-то, в саду, хнычет гармоника, и хриплый, но задорный голос слободской прелестницы Соньки Сапожниковой чеканит плясовую, назло всем степенным людям.

Позабыла я, как батюшку зовут,
Позабыла имя матушкино,
Помню только мило имячко одно —
За-абавушка Егорушко!

К лавке подходит глухой старик Монахов, распутник и ростовщик.

— Гуляешь, дедушка Василий? — орет Брундуков, а ростовщик, удивленно подняв колючие брови, спрашивает недоверчиво:

— За што — спасибо?

— Я говорю — Василий!

— О!.. Дай-кошь табачку...

— Вот погляди на него, — говорит мне Панашкин. — Пришла к нему девчонка-подросток заклад выкупать, а он ее неистово истерзал всю. За что? Сам не может объяснить. Язык, говорит, показала. Не понимаю злобы человеческой.

— Папаша, — тоном королевы приказывает Лиза, — возьмите в лавке бутылку кислых щей и подайте мне в окно.

— Умирает? — спрашивает лавочник старушку, похожую на крысу.

Она отвечает ему тоном ниже:

— Умирает.

— Умрет — легче тебе станет.

— И ему, поди, легче.

— Очень просто всё, — говорит Панашкин, покашливая. — Просто, как кирпич...

А Брундуков, провожая покупательницу, спрашивает:

— Мишка-то — сидит?

— Сидит, пес.

— Для него — тюрьмы не жалко...

Темнеют сады, возвышаясь над забором густою тучей, в небе догорают красные клочья облаков; мягче звуки, тише, задумчивее жизнь. Внизу, на берегу реки, тает шум дневной работы, с поля плывет осенняя грусть, наполняя сердце странными желаниями. Хочется спросить кого-то, спросить гневно: «Зачем всё это? Кто смеется над людьми, искажая их?» Хочется сгореть от какого-то невыносимого, мучительного стыда. И становится еще тяжелее, когда вспомнишь вечера у Шамова...

К лавке один за другим подходят слобожане, привыкшие в праздничные вечера слушать мудрость Брундукова. Против крыльца на земле растянулся слободской вор и гуляка Ровягин, добрый, всеми любимый парень. Ему лет тридцать, но он кажется юношей, — такой стройный, свежий, кудрявый; глаза у него ясные и глупые, точно у ребенка.

— В Америке, — рассказывает Брундуков, — даже машина для занятых людей есть особая — пищу жует! Там — так работают, что и есть некогда; положат в машину всякой пищи, а она — жует.

— Вот — черти! — изумляется Ровягин, покуривая щегольскую трубку.

— А от машины везде резиновые трубки проведены, взял трубку, пососал, и — готово! — сыт!

Публика смеется. Верят? Кажется, верят.

Только Ровягин спрашивает:

— Поди — не скусно?

— Там на то не глядят. Там повара по десять тысяч в год получают! Казенные повара...

Панашкин говорит мне вполголоса:

— Опровергни ты его, пожалуйста!

А лавочник рассказывает, точно читая невидимую книгу:

— Американский ученый Фукот даже землю взвесил, — тридцать два миллиона пуд потянула земля! Надул воздушный шар, агромадной величины, окружил землю цепями и поднял, а она качается, вроде маятника...

Свисток парохода заглушает голос мудреца, а мне всё вспоминаются вечера у Шамова. Там люди играют знаниями, точно ловкие дети мячами. Истины там отменно хороши — такие круглые, ясные, без устрашающих фантазий Брундукова, вроде жевательной машины. Там люди — гордо, как павлины, распускают пестрые хвосты своих знаний.

А здесь они облепили крыльцо лавки, точно тараканы корку хлеба. Стоят, сидят, лежат и жадно, молча питаются странной чепухой Брундукова, человека, который обладает чудесным свойством украшать всякую истину ослиными ушами.

— А бог в Америке называется Озарис...

Подталкиваемый Панашкиным, я начинаю опровергать:

— Не Озарис, а — Озирис, и это не в Америке, а — в Африке, в Египте...

— Чего? — иронически прищурясь, спрашивает Брундуков.

Я повторяю, он прерывает меня:

— Стой! Первое — в Египте живут ефиопы, и бога у них нет! Это — раз! Второе — Озирис — слово без смысла, а — Озарис значит — сияй! Это — два! И третье — тебе рано поправлять меня, господин ни то ни се! Ты «Ниву» читал?

— Позвольте, — говорю я, но Брундуков не терпит, когда сомневаются в его знаниях, не доверяют его мудрости, — в этих случаях он иронически прищуривает рыжие глаза и, пронзая невера двумя острыми иглочками, истязует его пусторечием:

— Ты ефиопскую историю знаешь? Так я тебе скажу, что сами ефиопы языка своего не понимают, потому что у них было несколько языков, как у магометанских татар...

— Всякое сословие врет по-своему, — неожиданно вставляет Панашкин, и его слова очень веселят публику.

Но я уничтожен, а Брундуков торжествует, и снова тянутся его слова:

— Египет действительно был, но разрушен Бонапартом.

— Так-то, — тихонько говорит Панашкин, — у вся-

кого свое умосклонение: один бредит Америкой, другой — неизвестно чем, а каждому хочется сладенького: хоть патоки, лишь бы — все-таки!

По заходе солнца Панашкин кашляет чаще и злее; он зябнет, кутается в поддевку, потертую на швах и украшенную заплатами.

Я спрашиваю его:

— А вы о чем мечтаете?

Он медленно распускает сухие губы в улыбку.

— Было бы у меня три пятиалтынных, пошел бы я в трактир, заказал бы рыблю селянку на сковородке, с перчиком да с лучком, а потом бы — пивка, эх!

— Больше ничего?

— А чего же еще на три-то пятиалтынных?

— Ну, а — кроме этого, вообще, — ничего не хочется?

Подумав немного, он отвечает спокойно:

— Поздно мне хотеть, умру скоро... Да, брат, умру!

Я молчу. Неловко мне. И не верится, что человек, прожив больше половины столетия в разной трудной работе, много испытав, умея любить и думать, — этот добрый и кроткий человек не нажил никаких желаний, освещающих жизнь, а только вот селянки с перцем хочет...

В окне, точно в раме, торчит большое лицо с опаловым глазом. Лениво двигая вялыми губами, Лиза лепечет:

— Скоро месяц взойдет, — какая прекрасная ночь для прогулки в лес...

— А рожают они ежегодно двойни, — поучает Брундуков.

Публика расплзлась; перед лавочником только Ровягин, задумчивый, как баран.

Становится темно, с востока наползает черная туча. Звезды в небе — точно шляпки медных гвоздей, — это от того, что воздух влажен. В воде реки трепещут красные факелы — отражения огней берега и судов.

— А между прочим, для чего дается нам жизнь? — спрашивает Папашкин и отвечает сам себе: — Чёрт знает для чего, если подумаешь...

Меня занимает другой вопрос: кому нужна, кого веселит эта злая карикатура на жизнь?

— Ночуй у меня! — предлагает Панашкин.

— Спасибо, я иду гулять...

— Ну, валяй, иди, бродяга...

Молча прощаюсь с лавочником.

Готовясь запирать лавку, Брундуков стоит на крыльце, почесывая шею, и спрашивает сам себя:

— Отчего это у меня зубы давно не болят?

ВЕЧЕР У СУХОМЯТКИНА

Зимою, раз в месяц, а иногда и дважды,— я получаю от купца Сухомяткина записочку такого содержания:

«Уважаемый, покорнейше прошу пожаловать завтра к нам на трехэтажное удовольствие».

Записочка остроумно подписана: «С Ухом», а росчерк изображает летящую птицу.

На другой день, вечером, я стою на одной из солидных улиц города, у крыльца большого особняка, обильно украшенного гипсовой лепкой; под мышкой у меня узелок с чистым бельем. Тяжелую дубовую дверь отворяет горничная, раскормленная, как лошадь.

— Пожалуйте,— говорит она, приподнимая любезной улыбкой румяные щеки так высоко, что ее глаза совершенно скрываются в румяных подушечках жира.

В прихожей меня встречает хозяйка Екатерина Герасимовна, пышнотелая, ласковая, с огромной косой, сложенной на голове в четыре яруса.

— Пожалуйте! — радостно поет она.— Очень рада, пожалуйте!

И заботливо спрашивает:

— Белье не забыли? Ньюта, скажи Егору, чтоб снес белье в предбанник!

Выкатывается сам Сухомяткин, сияющий и как бы маринованный в добродушии; подскакивая на коротких упругих ножках, он потрясает своими округлостями и кричит:

— Пожалуйте, дорогой! Вот — спасибо! Просветитель наш, Кирилл-Мефодий! Как здоровье?

На щеках у него светленькие бачки, голова похожа на глиняный горшок с двумя ручками. Входим в го-

стиную, — она похожа на мебельный магазин среднего качества; в ней тесно, много жирного блеска золота, много зеркал, всё очень новое, грузное, и от всех вещей исходит нежилой запах.

В гостиной меня встречает Матвей Иванович Лохов, кум хозяина, человек небольшого роста, стройный, горбоносый, с французской бородкой и задумчивыми глазами. Он — председатель местного биржевого комитета, но осанкой и манерами напоминает благовоспитанного жулика из Варшавы.

— Бонсуар, — говорит он приятным баском. — Ко-ман ву порте ву? Тре бьен! Же осси...¹

И, быстро шевеля пальцами, обращается к хозяину:

— Продолжаю про осетра: эта рыба шуток не любит...

Я здороваюсь с его женой Зиночкой, дамой среднего веса, в рыженьких кудрях, бойкой и синеокой.

— Вы слышали? — спрашивает она. — Поехала я сегодня новых лошадей пробовать, а они вдруг и понесли...

Хозяин шутит:

— Тебе бы самой понести пора!

— То есть как это? — невинно спрашивает она.

— Н-ну, будто не понимаешь...

— Алор, — говорит Лохов. — Нузаллон? ²

Сухомяткин кричит жене:

— Катюк — готово?

Хозяйка тревожно зовет:

— Анна — готово?

— Кума, — предлагает хозяин Зиночке, — айда с нами!

Но она отвечает с необоримой невинностью:

— Да ведь я же с Катей мылась!

Сухомяткин неистово хохочет, всхлипывая и крича:

— Ну и — актриса! Ф-фу ты...

Мы, трое мужчин, идем в кухню. Там у раскаленной плиты тяжело возится огромная старуха с седыми

¹ Добрый вечер. Как поживаете? Прекрасно! Я также... (Искаж. франц.).

² Ну что же? Идем? (Франц.).

усами. Она рычит, размахивая шумовкой над головою мальчишки, одетого в саван со взрослого покойника. Мальчишка плачет.

— Это внук ее! — объясняет хозяин. — Гляди, Ефимовна, не перевари!

— Ну, что это вы, о господи! — глухим басом тревожно отзывается старуха и трижды плюет к порогу:

— Тьфу, тьфу, тьфу!

— Марфа Посадница в своем деле! — говорит хозяин, идя по двору. — В Нижний на ярмарку приглашали ее за триста рублей, — не пошла!

Вот мы в бане, освещенной двумя запотевшими фонарями, в горячем облаке пара, насыщенного запахом мяты. По липовому полу ходит на четвереньках волосатый, докрасна распаренный кучер Панфил и, задыхаясь, бормочет:

— Святы боже, святы крепки...

Сухомяткин шлепается на пол, испуганно вытаращив глаза, дергая себя за уши, и орет плачевно:

— Что же ты, чёртова голова, уморить меня хочешь? Ишь, до чего накалил, дурак, — сам лягушкой пошел...

— Же при... прие... ¹, — глухо бормочет Лохов, задыхаясь. — Это я просил...

— Это они приказали, — говорит кучер неожиданно тонким голоском. — А я — крест ищу...

Лохов, вытянув руки, как слепой, идет к полку, а кум его катается по полу и визжит:

— Уй-юй-юй... Задохнешься, Матвей!

— Р-р-ен! ² Панфил, — поддай квасом!

— Да погоди, дай отдышаться.

— Р-ен! — орет с полка председатель биржевого комитета и барабанит кулаками по липовым доскам.

Зверовидный Панфил плеснул на каменку ковш квасу, — из черного зева вырвалась палящая струя, белое облако пара окутало потолок, баня наполнилась спиртным запахом горячего хлеба.

¹ Я прошу... просил... (Франц.).

² Ничего! (Франц.).

— Изверг! — визжит Сухомяткин, растягиваясь на полу.

Кучер, присев на корточки, ухаает, точно филин, а с полка раздаётся сладостный возглас:

— Ж'адор! ¹

Но тотчас же Лохов громко зашипел и скатился на пол, широко открыв рот, испуганно вытаращив глаза.

— Что — задохся? — кричит его кум и колотит кулаками по спине Лохова.

— Мы — отроки в печи огненной, — радостно сообщает он мне.

Лохов смотрит на него безумным взглядом, бормочет:

— Снегу... скорее!

Кучер исчезает в предбаннике, потом является с большим тазом снега, — Лохов хватает горстями снег и яростно трет свою лысоватую голову, мускулистую грудь.

Он точно пьяный. Сухомяткин тоже ослабел, размяк и тает, поглаживая коротенькими ручками свое багровое мясо, исписанное на груди тонкими черточками волос, покрытое жемчужинами пота.

— Сердце я себе ожег, — говорит Лохов, постепенно приходя в себя.

Панфил сбивает в шайках душистое мыло, я влезаю на полок, а купцы, растянувшись на лавках, начинают философский разговор.

— Чего я не понимаю — так это стыда! Например: при одной женщине можно ходить голым, а отчего же при трех — стыдно?

Кучер фыркает в шайку, разбрызгивая мыльную пену, а Лохов солидно замечает:

— Татары да турки, наверное, и при трех не стесняются...

И приятным баском напевает:

Сюр вотр жюп бланш
Брилье ля ганш...²

¹ Обожаю! (*Франц.*).

² На вашей белой юбке
Сверкает бедро... (*Искаж. франц.*).

Они оба «придышались» и чувствуют себя так, словно рождены в этой адовой жаре. Сухомяткин, весь в мыльной пене, похож на цыпленка. Лохов неумоимо двигает пальцами, отжимая свою бородку. Пар разошелся, в бане светлее, потолок густо украшен опаловыми каплями влаги. Мигают заплаканные фонари, потрескивает булыжник в каменке.

— Жизнь, как бабу, обмануть надо, надобно уметь зубы заговорить ей, — поучает хозяин кучера. — Ты сколько девиц обманул?

— Х-хы, — хрипит Панфил, растирая ему мягкую грудь.

А Лохов ведет умную беседу со мной.

— Неправильность, какую я вижу в газете вашей та, что вы делаете из нее окружной суд, — внушает он мне. — Вы всё — судите, а это — лишнее! Как церква должна поучать нас, так газета обязана рассказывать нам обо всем, что и где случилось. А судить — не дело попов, того меньше — газетчиков.

— Верно, — скрепил Сухомяткин речь кума.

Тот продолжает, но уже не внушительно, а — с обидой:

— Газета для удовольствия жителей, а не для скандала. Утром сядешь чай пить, лежит она тут же, на столе, а ты не решаешься в руки взять ее, — в ней, может быть, такое про тебя сказано, что она тебе весь день испортит. А деловой человек нуждается в душевном спокойствии.

Я молчу. Этот человек имеет основания жаловаться: о нем пишут часто, но хорошо — никогда!

Стекла окна дымятся белым дымом. Липовая баня — точно восковая, тает.

— Я готов! — возглашает Сухомяткин. — Теперь — париться!

Он весь в мыле, как в страусовых перьях, лезет на полок, кучер снова поддает в каменку квасом, Сухомяткин визжит, а Лохов мрачно поощряет кучера:

— Жарь его! Пеки! Дьябль ан порт а люн...¹

¹ К чёрту на рога... (Искаж. франц.).

— Не ломайся в бане! — строго кричит ему кум. — Чертей в бане не поминают!

Наконец — вымылись, разваренные, одеваемся не торопясь, отдыхая от пережитых потрясений.

— Н-ну, теперь — поедим! — возвещает Сухомяткин, расправляя влажные бачки на кумачных округлых щеках.

В столовой, хорошо освещенной огнями люстры, огромный стол тесно завален хрусталем, серебром и тарелками разноцветных закусок, — это похоже на буфет вокзала. В центре стола — четвертная бутылка желтоватой водки, настоек на сорока травах.

Дамы переделались в какие-то очень свободные платья, точно капоты, Зиночка — в оранжевом с зелеными лентами, хозяйка — в мантии цвета бордо. Они уже сидят за столом и встречают нас радостными улыбками, поздравлениями:

— С легким паром!

— Катюк, — озабоченно говорит хозяин, подкатываясь к столу, — ты смотри, чтоб Ефимовна сама подала!

И объясняет мне:

— Когда повариха сама на стол подает — пельмени вкуснее!

Зиночка налила пять больших рюмок золотой водки.

Выпили, закусив ядовитой редькой со сметаной и горчицей, — торжественно вошла повариха с огромной кастрюлей в руках.

— Во-от они! — сладко щурясь, поет Сухомяткин, спешно подвязывая салфетку. — Сколько, Ефимовна?

— Шесть сотен с половиной, — басом говорит старуха, отирая усы ладошью.

— Благословясь, — приступим!

Они, все четверо, истово крестятся в угол, усаживаются за стол, и начинается пир.

Хозяева едят молча, пристально глядя в тарелки и как бы духовно купаясь в жирном, вкусном бульоне, но иногда Сухомяткин, не в силах сдержать восторга плоти, томно стоет. Его круглое лицо радостно расстрогано, кажется, что он сейчас заплачет от умиления.

Хозяйка ест, нахмурив брови, серьезно, как будто решая сложную задачу, но в глазах ее горит огонек уверенности, что задача будет решена. Ее доброе, миловидное лицо покрыто мелким потом, она поспешно оттирает его батистовым, в кружевах, платочком.

Лохов не жует пельмени, а глотает их, как устрицы, ожигается и глухо мычит.

— Еще десяточек, Катя,— часто просит он.

— Который? — завистливо осведомляется хозяйин.

— Пятый. Налей, Зинаида!

Зиночка, жеманно оттопырив мизинец, выковыривает вилкой шарики мяса из теста и болтает:

— Самое вкусенькое — всегда в серединке!

Обращается к мужу:

— Тебе подло жить?

Сухомяткин хохочет, наливая водку в рюмки, трясется, льет на скатерть и, задыхаясь, восхищается:

— Ах, кума, ну и язычок у тебя!

Тогда рыжая женщина спокойно говорит нечто такое, от чего даже ее солидный муж начинает смеяться сухим, икающим смехом, а хозяйин, бросив ложку, багрово надувшись от восторга, качается вместе со стулом.

— Упадешь, хохотун,— предупреждает его жена.

Тоже немного посмеявшись, она стерла смех с лица платочком и снова деловито склонилась над тарелкой, сказав:

— Бесстыдница ты, Зинка! Да еще при чужом человеке...

— Тю парль, ком кошон¹,— вдруг становясь серьезным, говорит Лохов жене.

Она косится на него бойким глазом и тихонько поет:

Скажу тебе словечко —

Погаснет свечка!

И снова все чавкают, сосут, схлебывают, утопая в наслаждении. Водки в четвертной бутылке осталось немного, а хозяйка снова наливает рюмки.

¹ Ты выражаешься, как свинья (*искаж. франц.*).

Лохов, опьяневший от еды и водки, обращается ко мне, тщетно пытаюсь сделать внушительным осоловелое лицо:

— Жена у меня — казачка, из Уральска взята. Казачья кровь веселая, густая...

Зиночка напилась. Она сидит, откинувшись на спинку стула, жмурится, возведя глаза на огни люстры, и, сложив губы сердечком, пытается свистеть. Это не выходит у нее.

— Ассе ¹, — говорит ей муж, вставая из-за стола.

Хозяйка тоже сильно под хмельком. Она стала развязнее, беспричинно смеется и всё ищет чего-то глазами по углам пустынной столовой.

— Еще немножко, — предлагает она.

Все отказываются, а Зиночка превращает мерси в русский глагол, но это никого уже не смешит — все устали.

— Ну, Петр, — пошатываясь, говорит Лохов, — идем, нам пора!

Они уходят, взяв друг друга под руки, я остаюсь с дамами.

— Дети, — ласково говорит хозяйка, провожая их смеющимися глазами.

Потом она интересуется, почему я не женат, а Зиночка, покачиваясь на стуле, мурлычет:

В шестом эта́же
Мой друг живет.
Ах, я всё та же,
Но он — не тот!

— Послушайте, — обращается она ко мне, — вы знаете какие-нибудь стихи... этакие, с перцем!

— Зинка! — предупреждает ее хозяйка. — Ты с ума сходишь!

Я не знаю стихов с перцем.

Рыженькая женщина встряхивает кудрями, щелкает пальцами и снова поет:

¹ Перестань (*франц.*).

Стал вроде мужа
Ленив и вял,
Меня всё ту же...

И, оборвав песенку, снова спрашивает меня:

— Послушайте, почему вы не напишете какой-нибудь смешной рассказ?..

— О чем же?

— Ну,— вообще смешной. О том, как жена изменяет мужу или что-нибудь такое. А вы знаете стихи о Ное?

— Нет.

В двери встала горничная и, улыбаясь, возвестила:

— Петр Иванович велели сказать, что всё готово и можно пожаловать к ним...

— Пожалуйте! — пригласила меня хозяйка, плывя к двери.

Зиночка, обняв ее за талию, спрашивает:

— Почему мне делается скучно, когда я выпью?

В большой, ярко освещенной комнате, у стола, покрытого черным сукном, стоят Лохов и Сухомяткин, оба во фраках, с цилиндрами в руках. На столе перед ними какие-то коробки, вазы. Темное лицо Лохова серьезно, как лицо человека, который приготовился к чему-то очень важному. Сухомяткин дремотно улыбается, прищутив веселые глазки.

Дамы садятся в кресла у стены, я — рядом с ними. Председатель биржевого комитета церемонно кланяется нам и говорит:

— Почтэний публикум! Ми есть два маги з Индия и Америке, ми имеем показывать вам несколько чудесни явлений.

— Дурачок,— шепчет Зиночка своей соседке.

Муж ее напряженно ломает слова, это плохо удается ему, и когда он произнесет слово правильно,— та сердится и притоцывает ногами.

— Мое имя... наш имья — Гарри; мой друг зовут... звать... Джемес!

Джемс-Сухомяткин пошевелился и вдруг — икнул. Это очень рассмешило его, он закрыл лицо локтем и

стал фыркать, Гарри-Лохов неодобрительно покосился на него, взял со стола черную магическую палочку, взмахнул ею и крикнул:

— Ан, райс!

— Вайс! — ответил кум-Джемс.

В руке Лохова явился серебряный рубль, — он схватил его где-то в воздухе и торжественно показал нам. Затем он вытащил рубль из носа Сухомяткина, другой снял с его лысой макушки и, быстро бросая монеты в цилиндр, стоявший на столе, стал ловко хватать их из воздуха, из своей бородки, из уха кума, снимал с колена своего, а один рубль даже выковырял из своего глаза.

— Сегодня ты ловко делаешь, — сказала ему Зиночка, но он строго крикнул ей:

— Силянс ¹. Прошу публикум — нет разговор!

Джемс, расставляя по столу какие-то странные предметы, показал Зиночке язык.

Кончив фокус с монетами, Гарри-Лохов заставил исчезать со стола разные вещи, — они тотчас являлись там, где нельзя было ожидать их. Он очень увлекался, работал, как настоящий артист, и всё покрикивал куму командные слова:

— Ан, вайс! Дайс ваз! Райс! Живее!

Степа сзади фокусников была заставлена какими-то мрачными шкафами, Сухомяткин отворил дверцу одного из них, — в нем, на полке, торчала отрубленная голова с черными усами и — смешно, фарфоровым глазом — смотрела прямо на меня. Лицо Лохова было неприятно напряжено, кожа на скулах туго натянута, — он, видимо, крепко стиснул зубы. Его подбородок выдавался вперед, французская бородка казалась жесткой, точно из проволоки. Но каждый раз, когда он удачно заканчивал фокус, лицо его расплывалось в улыбку, и недоверчивые, холодные глаза блестели радостно, точно глаза ребенка.

Я никогда не видел человека, который обманывал бы сам себя с таким увлечением, с таким удовольствием. Джемс-Сухомяткин только сплеходительно принимал

¹ Молчанье. (Франц.).

участие в забавной игре, а Гарри-Лохов трепетно творил чудеса. Это было ясно.

Иногда фокусы не удавались ему,— добывая из кармана фрака блюдце, наполненное водою, он преждевременно сорвал с него гуттаперчевую пленку и вынул блюдце пустым, а вода осталась в кармане. На минуту он растерялся и, следя одним глазом, как стекает вода на пол, сердито крикнул:

— Первому отделению конец!

Снял фрак, заглянул в карман, качая головой, потом объяснил публике:

— У ремесленников-фокусников, которые работают в балаганах,— карманы непромокаемые. Кум, позови горничную, пусть высушит фрак, да — не испортила бы!

Вздохнув, он добавил:

— А я — пиджак надену.

Второе отделение началось с того, что кругленький Сухомяткин вошел в пустой шкаф, Лохов закрыл шкаф черным занавесом, крикнул:

— Раймс! Эйп, цвей, дрей! — и отдернул занавес, — шкаф был пуст, Сухомяткин исчез.

— Вот уж это я не люблю,— сказала мне хозяйка, зябко поводя плечами.— И знаю, что фокус, а все-таки боязно.

Занавес снова задернут, открыт.

— Вайс!

И снова в шкафу стоит, улыбаясь, Джемс-Сухомяткин.

Потом Гарри прикрутил его веревкой к стулу, закрыл ширмой, а Джемс в минуту освободился от пут и даже успел снять ботинки со своих ног.

Потом я почувствовал, что мне скучно и как-то особенно неловко. Хотя проходившее предо мной было не страшно и даже не очень неприятно, а однако напоминало кошмар. Дамы тоже устали, хозяйка осторожно дремала и, взмахивая тяжелой головою, виновато улыбалась, а Зиночка откровенно позевывала и всё пыталась засвистеть.

Сухомяткин тоже, видимо, устал, его белесые бачки обиженно оттопырились, он двигался лениво, не глядя

на публику и товарища, а Лохов, вспотевший, увлеченный, магически изменял цвета платков и всё прикрикивал:

— Эх, цвей, дрей,— котово!

Вдруг он замолчал на минуту и, укоризненно глядя на публику, спросил:

— Ты, что же, кума, спишь?

Мне стало жалко его.

Зиночка засмеялась, Сухомяткин начал шуточно издеваться над женой, а непонятый, обиженный артист, спрятав руки за спину, быстрыми шагами ходил по комнате и говорил:

— Забава для меня — дело серьезное, а не пустяки. Нельзя же всё только есть да чай распивать...

— Я понимаю, Матвей Иванович,— жалобно встала сконфуженная хозяйка, но он не слушал ее:

— Забава — это для того, чтобы забыться от забот! Вы женщины, конечно, не можете понять... Зинаида, идем домой.

— Погоди, кум! Сейчас чай будет...

— Пора!

— Да не сердитесь вы...

— Домой рано еще,— сказала Зиночка.

— Рано? — крикнул Лохов.— Тогда я один уйду...

Он вел себя, совсем как обиженное дитя: мне казалось, что еще немного, и этот человек может заплакать. Но все-таки удалось успокоить его, и, не скрывая своей обиды, Лохов остался.

Перешли в столовую, там уже бурлил большой серебряный самовар, окуривая люстру струей пара, раскачивая хрустальные подвески.

Лохов сидел рядом со мною, рассказывая:

— Мне эта забава свыше десяти тысяч обошлась! У нас есть редкие аппараты, из Гамбурга выписаны. Я очень слежу за новостями в этом деле.

Он тяжело вздохнул и покосился на кума, который, прислонясь к Зиночке, нашептывал ей что-то.

— Над нами смеются, то есть — больше надо мной! Дескать — фокусник. Очень хорошо, пожалуйста...

— Налить еще стаканчик? — спросила его хозяйка.

— Да, пожалуйста! Благодарю за внимание ваше,—

сказал Лохов, обиженно усмехаясь, и так, что нельзя было понять — хозяйке или мне говорит он.

— Все люди фокусничают, и весьма многие — вредно. А мы с кумом — безвредные! Мы, так скажу, меценаты для себя...

— Не люблю это слово, точно бесеняты, — вновь вставила хозяйка, подвигая Лохову стакан.

Он принял чай, не поблагодарив ее, продолжал:

— Иные занимаются петушиным боем, собачьей травлей или, например, содержат газеты, как ваш хозяин; некоторые стараются выказать себя с лучшей стороны, по филантропической части, чтобы получить орден, а я люблю благородную забаву, хотя она и обман.

Он говорит непрерывно, нудно, с явной обидой в голосе и всё шевелит пальцами.

Хозяйка перестала обращать на него внимание. Она с мужем слушают шёпот Зиночки, и оба, красные от смеха, фыркают, не в силах сдержать его.

— Жизнь никому не в радость, — зудит Гарри Лохов, барабанив пальцами по моему локтю. — Жизнь требует воображения. Находясь в церкви, воображаешь себя первым грешником, может быть, самым поганым человеком, и это — приятно для души. Это — обжигает нас. В театре воображаешь себя играющим влюбленного злодея или вообще героем. Но — каждый день в театр или в церковь не пойдешь, и остается жизнь, нуждающаяся... так скажу, в пополнении.

Он закручивает свою бородку винтом и на минуту умолкает, прищулив глаза.

Я встаю, прощаюсь и ухожу... На улице лунно и морозно, под ногами сухо скрипит снег, испачканный тенями больших купеческих домов.

Иду и грустно думаю о русском человеке, — артистически умеет играть роль несчастного этот человек!

СВЕТЛО-СЕРОЕ С ГОЛУБЫМ

Сухой холодный день осени. По двору тоскливо мечется пыльный ветер, летают крупные перья, прыгает ком белой бумаги; воздух наполнен шорохом и свистом, а под окном моей комнаты торчит нищий и равнодушно тянет:

— Господи, Иисусе Христе, сыне божию, поми-илуй нас...

Лицо у него заржавело, стерто, съедено язвой, голый череп в грязных стружьях; он очень под стать и грязному двору и больному дню.

Ветер треплет его лохмотья, вздувает пазуху, бьет его пылью по ржавой щеке, по уху. Нищий мотает головою и гнусаво выводит, с упорством шарманки, унылый мотив:

— Благодетели и кормилицы, милостынку, Христа ради, подайте...

— Пошел к чёрту! — кричит из окна моя соседка, девица веселой жизни, маленькая, с подведенными глазами и румянцем от ушей до зубов.

Нищий что-то урчит, ветер относит его слова, но я слышу медный звон большой монеты, упавшей на камень двора, и сердитый голос девицы:

— На, подавись, подлец!..

Странно, — в голосе ее звучит обида, хотя обижают сама она. Я живу рядом с нею третьи сутки и уже дважды слышал, как эта веселая девушка днем поет трогательные песни, а по ночам плачет пьяными слезами.

Сегодня она пришла домой на рассвете и тотчас разбудила меня возней, хриплыми рыданиями.

— Эй, сударыня! — крикнул я в щель переборки между нею и мной. — Вы мне мешаете спать...

Помолчав с минуту, она снова стала всхлипывать и трубить носом, толкая в переборку локтями и пятками, а потом начала ругать меня, тщательно выбирая самые неудобные слова.

— За что? — спросил я.

Она убежденно ответила:

— Вы все — собаки!

Но, удовлетворив себя этим, позвала меня:

— Иди ко мне!

Я не успел поблагодарить ее за любезность, ибо она тотчас же добавила:

— Нет, не ходи, не надо, а то поутру Мишка придет, так он и тебе и мне...

— Это кто — Мишка?

— Мой кредитный. Тоже сыщик.

— А почему тоже?

— Да ты — кто?

— Газетчик, писатель...

— Письмоводитель? Тоже, поди-ка, из полиции...

После этого она уснула, а утром, проснувшись, долго вздыхала, потом безуспешно училась свистать, что-то грызла — сахар или сухарь, — наконец постучала в стену:

— Сосед!

— Доброе утро...

— Чего-о?

— С добрым утром, говорю...

Она фыркнула:

— Скажите, пожалуйста, какой вежливый!.. У вас нет... ваксы?

— Нет.

— Ну, не надо... Ах, господи!

— Что вы?

— Скучно. Вас как зовут?

— Иегудиил.

— Вы разве жид?

— Нет, русский...

— Ну, значит, врите...

Поговорив в этом тоне еще несколько минут, она снова захрапела, точно ее схватили за горло, и проснулась уже незадолго до появления нищего... Про-

снулась и, вскочив с постели, запела веселым голосом:

Самара, ты — город богатый,
А я между тем сирота.
Самара, тобою, проклятой,
Разбита о счастье мечта...

Было интересно: почему она, подав милостыню, обругала нищего? Я спросил ее об этом сквозь переборку, — она ответила, подумав:

— Захотела, вот и обругала! А что еще?

Ветер за окном бесится всё яростнее, катает по двору соломенный чехол с бутылки, перебрасывает по камням нитяный носок, гоняет почтовый конверт, солит пылью стекла окна. Над окном, на карнизе, уныло воркует голубь; раздражая, трещит какая-то щепочка; кажется, что сердце умирает под мелкой холодной пылью.

Стена против окошка скупно оштукатурена грязноватой известью; кое-где известь отвалилась, обнажив красный кирпич. Небо над крышей тоже небрежно оштукатурено сероватыми облаками, между ними — глубокие синие ямы, и оттуда льется в душу тоска.

— Сосед, — кричат из-за переборки, — идите чай пить!

— Благодарю вас, иду...

Комната — меньше моей, и хозяйка ее — наполовину меньше меня. Но она — бойчее гостя, смотрит на него смело; глаза у нее действительно веселые, голубенькие, а рожица, с которой она чисто смыла румяна и прочие краски, — миленькая, чистая, только очень бледная.

— Какой у вас смешной нос! — говорит она, присматриваясь ко мне.

Молчу, улыбаясь, и не нахожу ответа, потом догадываюсь: сама она — курносая и, должно быть, завидует мне.

Одета она ослепительно: на ней красная кофточка, зеленый галстук с рыжими подковами, юбка цвета бордо; это великолепие увенчано серебряным кавказским поясом, а пад ушами, на гладких волосах — бантики оранжевого цвета.

— Садитесь, пожалуйста,— говорит она солидно.—
Внакладку пьете или вприкуску?

— Всё равно.

Она поучительно замечает:

— Кабы было всё равно, так бы люди не женились!

В окна стучит пыль.

Беседуем.

— Вы — сердитая?

— Я-то? Как придется. А что?

— Да вот — нищий!.. Интересно знать: за какую
вину вы его обругали? Милостыню подали, а обругали...

Ее полудетское, простенькое лицо искажается сердитой, брезгливой гримасой; девушка смотрит на меня в упор,— брови ее дрожат, и она говорит звенящим голосом:

— Его бы надо кирпичом по башке,— вот как!

— За что?

— За то!

— А все-таки?

Стукнув рукою по столу, она сердито говорит:

— Не приставайте! Это даже невежливо — прийти в гости и приставать! Я вас вовсе не знаю, а вы спрашиваете — про что не надо...

С минуту она молчит, а я очень смущен и желал бы уйти из этого чулана, но хозяйка его, заметив мое смущение, примирительно улыбается:

— Ага, испугался... Нет, ей-богу же... Спрашиваете вы, а это вовсе и не интересно мне. Я его видеть не могу, жулика! Он ведь тот самый подлец, который сосватал меня одному тут судье... Мне тогда еще пятнадцати не было... без четырех месяцев пятнадцать лет, а он уж... Разве это хорошо? А еще товарищ папашин, вместе лакеями служили, в одной гостинице. Хорошо, что папаша помер, ничего не зная, а то бы убил он меня. Мамаша белье стирала на гостиницу, а я носила... Ну, конечно,— девчонка! Пригласили меня в номер, напоили,— ничего не помню! Проснулась — господи! — как раздавленная! Всё этот виноват: он устраивал... «Двадцать пять рублей, говорит, дадут тебе, жить весело будешь». Видеть не могу его,— честное слово! А он — хоть бы что! Ходит ко мне, просит; будто хорошо сде-

мал, а я должна всегда его благодарить. Удивительно даже — какое бесстыдство в человеке! Раньше, когда я у судьи на содержании жила, так этот ко мне каждый день почти шлялся: то рубль дай ему, то полтинник. В карты играет, жулябия несчастная, даже в тюрьму сажали за карты, в тюрьме он и захворал, подлый. Я, бывало, говорю ему: «Ах ты, бесстыдный злодей, что ты ко мне ходишь? Ведь это через тебя я несчастна и даже совсем погибшая!» А он — ничего! «Полно-ка, говорит, Таня, не сердись, мало ли кто в чем виноват, — всех не накажешь!» Подумаю я — а ведь и верно: разве всех накажешь, которые виноваты? Ну, и завью горе веревочкой...

Виновато улыбаясь, она смотрит в лицо мне; потом как-то вдруг из ее светлых глаз выкатываются частые, мелкие слезинки, и, продолжая улыбаться, она говорит сконфуженно:

— Вот видите! Вогнали меня в слезы... Давайте лучше о другом о чем-нибудь поговорим...

Беседуем о другом. Свистит ветер, бросая в стекла окна пыль. Спрятав руки в карманы, сжимая кулаки, я думаю:

«Всех не накажешь, чёрт вас возьми! Ловко устроено — не накажешь...»

А девушка мечтательно говорит:

— Красный цвет не к лицу мне, я знаю, а вот светло-серый или бы голубенький...

КНИГА

В парке, у стены маленькой старой дачи, среди сора, выметенного из комнат, я увидел растрепанную книгу; видимо, она лежала тут давно, под дождями осени, под снегом зимы, прикрытая рыжей хвоей и жухлым прошлогодним листом. Теперь, когда весеннее солнце высушило ее страницы, склеенные грязью, уже нельзя было прочитать, о чем говорят поблекшие линии букв.

Я пошевелил ее носком сапога и пошел дальше, думая о том, что, может быть, это — хорошая, сердечно написанная книга и немало людей, читая ее, волновались, спорили, учились думать; может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью и многих, в холодные часы одиночества, согрела своим теплом.

Мне вспомнилось, каким добрым другом была для меня книга во дни отрочества и юности, и особенно ярко встала в памяти жизнь на маленькой железнодорожной станции между Волгой и Доном.

Станция стояла в степи, скудно покрытой серыми былинками, в пустоте и тишине, нарушаемой зимою унылым пением снежных вьюг. Летом на станции ныли комары, в рыжей степи насмешливо и тихо свистели суслики, в небе, мутном от зноя, молча кружились коршуны и белые луни.

Бывало, смотришь с перрона в степь: над пустою землей, в свинцовой дали струится марево, на бугорках, около своих нор, стоят суслики, приложив к остреньким мордочкам ловкие передние лапки, точно молятся. А больше никого нет,— дышишь пустотою, и сердце жалобно сжимается от скуки.

Лишь изредка мохнатые чабаны, похожие на святых отшельников с картин, проведут с юга на север отару

овец и в тишине степной взвиваются их странные крики:

— Р-ря-о! Р-ря-у...

Подует ветер, осыплет станцию мелким горячим песком, принесет печальное клохтанье дрофы, свист грызунов,— и снова тихо, и жизнь кажется бесконечным сном.

Где-то, в степных балках, прятались казачьи хутора; позади станции, верст за пять, к Волге, прикурнула на неплодной земле деревня — Пески; оттуда к нам зимою приходили бойкие девицы очищать от снега станционные пути, а по яочам на станцию являлись их братья и отцы воровать щиты на топливо и товар из вагонов.

Особенно тяжело жилось в жаркие летние ночи: в тесных комнатах — нечем дышать, духота и комары не позволяют уснуть; всё население станции вылезало на перрон и неприкаянно шлялось повсюду, заводя от скуки ссоры, раздражая дежурных воющими зевками, жалобами на бессонницу и нездоровье, нелепыми вопросами. По двору, точно лунатики, ходят женщины в белых одеждах, босые, с растрепанными волосами; курится костер, прикрытый сырым тальником; в безветренные ночи дым костра встает к небу серым столбом, не отгоняя комаров,— они рождаются в мертвых заводях Волги и тучами летят сюда, в сухую степь, на муку людям и на свою гибель.

В глухой тишине, далеко где-то и точно под землею, рождается тяжелый шорох, растет, окутывает станцию железным гулом; поют рельсы, трясутся лампы; кто-нибудь дремотно говорит:

— Тринадцатый идет...

На краю степи в черную кожу тьмы вонзился красный луч, ранил ночь, и по земле растекается влажное пятно света, напоминая кровь. Медленно приближаясь, луч двоится, и вот он стал похож на чьи-то желтые жуткие глаза, они дрожат в гневном возбуждении,— к трем домикам станции ползет из глубины ночи некое злое чудовище, угрожая гибелью. Знаешь, что это — товарный поезд, но хочется представить себе другое, хотя бы страшное, но другое.

Пассажирские поезда, пробегая мимо станции, толь-

ко усиливают впечатление неподвижности жизни, углубляют сознание отрезанности от нее. Остановится поезд на минуту — из окон вагонов, как портреты из рам, смотрят на тебя какие-то люди; вспыхивают, точно искры в темноте, загадочные глаза женщин, трогая сердце теплыми лучами мимолетных улыбок.

Сердитый свисток — и в облаке пара поезд скользит дальше, лица людей в окнах вагонов странно искажаются, вытягиваясь вбок, все в одну сторону.

К этому мельканию жизни быстро привыкаешь; мимо тебя ежедневно проезжают одни и те же машинисты, кочегары, кондуктора; кажется, что и люди всегда одни и те же, — они стали неразличимы, точно комары.

На станции служило одиннадцать человек, четверо семейных. Все жили точно под стеклянным колпаком, о каждом было известно всё, чего не нужно знать о человеке, и каждый знал обо всех остальных всё, что хотел и не хотел знать. Все ходили друг перед другом словно голые; человек при первом удобном случае публично выворачивался наизнанку, понуждаемый скукой к нечистоплотным откровенностям и покаяниям.

Играли в карты, страшно пили водку, порою, обезумев от пьянства и тоски, поражали друг друга дикими выходками.

Однажды вечером сторож Крамаренко, молодой, красивый мужик, подошел под окно квартиры смазчика Егоршина, лысенького и богомольного старика, женатого на сироте-казачке, женщине большой и молчаливой, — подошел, разделся донага и стал орать в окно:

— Егоршин, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть жена твоя видит: который лучше!

Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковш кипятку; он завыл и убежал в степь, а Егоршин начал бить жену гаечным ключом. Люди отняли женщину, хотели отправить ее в город, в больницу, но казачка отказалась.

— Не надо, сама вишовата, зачем ласково смотрела на него, — говорила она, лежа на дворе, обмотанная кровавыми тряпками, широко открыв синие глаза и облизывая губы маленьким языком.

И дважды спросила тихонько:

— Больно я его обварила?

— Ой, бесстыжая,— шептались женщины и девицы.

Егоршин заперся в квартире и молился, стоя на коленях в луже мыльной воды. Люди смотрели на него в окно и ругали старика.

Утром на другой день Крамаренко взял расчет и пешком ушел со станции куда-то к Дону; шел он вдоль линии дороги странно прямо, высоко подняв голову, как солдат на параде.

А через несколько дней и Егоршин перевелся на другую станцию.

— Это, брат, не поможет тебе,— сказал ему Колтунов, помощник начальника станции, прощаясь с ним.— Тебе в землю надобно переводиться; от горя никуда, кроме как в землю!..

Это был странный человек — Петр Игнатьевич Колтунов. Всегда полупьяненький, болтливый, он, должно быть, имел какие-то свои догадки о жизни, но выражал их неясно, и даже казалось, что он не хочет быть понятым.

Сухонький, тощий, он постоянно встряхивал вихрастой рыжей головой и, прикрывая серые глаза золотистыми ресницами, опрашивал нас — меня, весовщика станции, и товарища моего, телеграфиста Юдина, горбатого и злого:

— Какому богу служите, ребята, а? Потеха!

Или вопрошал сам себя:

— Разве я для того родился, чтобы меня комары ели?

Мы, я и телеграфист, часто и горячо говорили о будущем, он смеялся над нами:

— Потеха! Вы спросите меня: что будет через десять лет, в сей день и час? Я вам верно скажу: то же самое! А через двадцать пять? И тогда — то же самое...

Когда я с Юдиным начали читать Спенсера, он, послушав, спросил:

— Англичанин?

— Да.

— Ну, значит, врет! Англичанин правду никогда не скажет.

И не стал слушать Спенсера.

Иногда Колтунова одолевали припадки нелепого упрямства: он крутил пальцами обгрызенные усы и тоненьким, нервным голосом настойчиво старался убедить нас, что «Пан Твардовский» написан лучше «Фауста», а Тургенев — барышничал лошадьми. Или кричал, высоко взмахивая правой рукою:

— Все наши писатели — не русские: Пушкин — сын араба, Жуковский — турчанки, Лермонтов — англичанин! А которые русские, так они все — незаконно-рожденные...

Он был сын священника из Тургайской области, учился в Тамбовской семинарии.

— Выучился водку пить, — пошел в университет, в Казань, — рассказывал он, и его серые глаза уныло зеленели. — В нетрезвом состоянии души надел профессору шубу, шапку и пропил сию арматуру. Потеха! Ну, мне предложили освободить университет. Ушел, лет пять присматривался к разным делам и незаметно очутился женат. С того времени — стоп машина!

Жена ушла от него; он жил с дочерью, шестилетней рыженькой девочкой, спокойной и серьезной, как взрослый человек. Ее бледное, неподвижное личико словно пряталось в золоте кудрей, темные глазки смотрели на всё сосредоточенно, улыбалась она редко. Всё население станции любило ее какую-то особенной любовью, боязливой и осторожной; мужчины при ней тише ругались, женщины ставили ее в пример своим детям.

— Смотри, вон какая Верочка смирененькая да аккуратная...

Отец звал дочь по имени и отчеству — Вера Петровна; он относился к ней непонятно — с любопытством и как будто с боязнью, за которою скрывалась враждебность.

...По тесным путям станции маневрирует локомотив, входит поезд с Дона или Волги, а Вера Петровна, в белом платочке на золотых кудрях, не спеша идет через рельсы; между локомотивами мелькают ее тонкие ножки в красных нитяных чулках. Она идет в

скудную степь собирать бедные цветы, бегать за сусликами с таловым прутом в руке.

Отец следит за нею из окна станции или с перрона и кусает усы, прикрыв золотыми ресницами воспаленные глаза.

— Запретить бы ей ходить по путям,— говорят ему.

Но он равнодушно отвечает:

— Ничего, она — осторожная...

Смотришь, бывало, как она одиноко расхаживает по пустой земле, за версту от станции, кланяясь редким цветам и травам, и всё больше не нравятся ее отец, станция, люди — вся эта скучная, полусонная жизнь.

Не раз по ночам она прибегала ко мне, окутанная с головы до ног большой серой шалью, похожая на летучую мышь, и говорила торопливо, но спокойно:

— Иди, отец опять назююкался до смерти!

Схватив ее на руки, я бежал на квартиру Колтунова.

Он валялся на полу синий, со вздувшимся лицом, вытаращенными глазами, похожий на утопленника. Несколько капель нашатырного спирта с водою, влитые ему в горло, оживляли его, он мычал, а девочка убийственно спокойно спрашивала:

— Еще не до смерти?

И, садясь на пол, у головы отца, гладила его рукою по шершавой щеке, приговаривая:

— Ах, какая пьяница несчастная!..

Юдин, любивший девочку больше, чем другие, мечтал:

— Если бы у меня была мать или какая-нибудь дуреха согласилась бы выйти замуж за горбатого, я бы выпросил Верочку себе. Зачем она Колтунову?

Он был зол, дерзок, склонен к пессимизму, но где-то в глубине его души теплились тоска о лучшей жизни и нежное сострадание к людям.

— Как жалко всех! — вздыхал он иногда, ночью, во время дежурства, когда мы, прочитав какую-нибудь книгу, говорили о ней. — Как жалко людей!..

Это чувство он бесплодно тратил на уход за пьяными и больными, на примирение семейных ссор и на убед-

тельные письма товарищам своим, телеграфистам линии. Одному он советовал жениться, другому — играть на скрипке, третьего уговаривал идти в колонию толстовцев.

Когда я немножко смеялся над ним за это, он резко возражал:

— А что делать? Что можно делать в этой рыбьей жизни?!

Мы оба были страстными любителями чтения, мы читали книги с ненасытной жадностью, день и ночь, в свободные часы. Книги были для нас просветами в мир действительной жизни из мира мертвой пустоты.

Но очень быстро мы проглотили все книги, какие нашлись на шести станциях между Волгой и Доном, и вот наступила для нас полоса духовного голода, — муки его знакомы только тем, кто жил в пустотах нашей страны, задыхался в густой скуке ее равнин. Нечем жить, — это, кажется, самое жуткое ощущение, испытанное мною.

Долго маялись мы в поисках хороших книг, но не находили ничего, кроме романов Окрейца, старой «Нивы» и тому подобной нищеты.

Колтунов издевался над нами:

— Что, ребята, издыхаете? Потеха!

И однажды, сжалившись, предложил:

— У меня в Калаче знакомый есть, он выписывает журнал. Хотите — попрошу?

Мы стали умолять его; он, посмеявшись, согласился, и через несколько дней кондуктор пассажирского поезда вручил Колтунову пакет и письмо.

— Вот он, журнал! — сказал Колтунов, победоносно взмахнув пакетом, но, прочитав письмо, закусил усы, оглянулся и, сунув пакет под мышку, плотно прижал его локтем.

— Ну, давай сюда, — попросил Юдин, радостно улыбаясь большим ртом.

Колтунов приподнял плечи и тоном начальника заявил:

— Успеешь, не лезь!

Юдин удивился, отступил на шаг; они были приятелями, и Колтунов никогда не говорил так грубо.

— Я схлопотал — мне и читать первому, а вы — после! — добавил Колтунов сухо и сердито.

Это и меня обидело: раньше читали вслух, все вместе, или читал тот, у кого было свободное время. Книгу держали всегда на виду, в телеграфной.

— Ты что форсишь? — спросил Юдин, а Колтунов ответил еще более сердито:

— Отстань! Я хочу читать для отдыха души, а не для спора да вздора. Читать надо молча, а вы рассуждаете: отчего так, зачем не этак! Надоело мне это! Я хочу один читать,— и убирайтесь к чёрту!

Он запер книгу в ящик своего стола и до конца дежурства не разговаривал с нами, гневно озираясь, словно испуганный чем-то. Когда он, кончив дежурство, уходил к себе, Юдин сказал ему:

— Ляжешь спать, положи книгу на видном месте, я зайду, возьму ее...

Он не ответил, только усмехнулся.

Около полуночи Юдин предложил мне:

— Пойди-ка, возьми книжку, он, наверное, дрыхнет уже.

Днем часа полтора непрерывно хлестал землю обильный дождь, затем снова на вымытом небе явилось знойное солнце, щедро согрело землю,— теперь в степи было темно и душно, как в бане. Среди черных туч, в глубоких синих ямах, тускло светились золотые звезды,— в эту ночь все они казались угасающими. Предо мною, как бы указывая путь, прыгала лягушка; вдали гудел поезд; с водокачки доносилась тихая песня кочегара-еврея, косоглазого человека, с печальной улыбкой на красных губах,— кажется, ничто не могло стереть эту улыбку с его острого смуглого лица. Из окна квартиры Колтунова изливался желтый свет, падал на землю, показывал в темноте штабель шпал и тонкий ствол тополя. Сквозь кисею, натянутую в раме окна, я видел Колтунова: он сидел за столом в ночном белье, облокотясь, согнувшись, запустив пальцы в рыжие волосы. Его острый небритый подбородок судорожно вздрагивал, и на книгу, лежавшую между локтями, капали

слезы, — при свете лампы было хорошо видно, как они падали одна за другою, — мне казалось, что я слышу мокрые удары о бумагу. Нехорошо видеть человека, когда он плачет...

Кроме лампы, на столе стояла едва початая бутылка водки и тарелка с куском соленого арбуза. В плетеном кресле спала девочка, свернувшись калачиком; лицо ее было сплошь закрыто кудрями, виден только рот, удивленно открытый. Глубже в комнате было так же темно, как в степи, а освещенное пространство напоминало пещеру в черной горе.

Колтунов выпрямился, посмотрел в окно. Его незначительное лицо, обтаяв в слезах, казалось еще меньше и незначительнее. Вот он поднял книгу над лампой и стал сушить слезы; посушив и потрогав пальцем страницу, снова качает книгу над огнем, а из глаз его всё катятся слезы, застревая в усах.

Я ушел встречать поезд и, встретив, сказал Юдину: — Не спит, всё еще читает...

— Скотина! — ворчал телеграфист, выстукивая отправление. — Приятель! Все мы приятели до первого вкусного куска.

Перед рассветом я снова стоял под окном, разглядывая сквозь кисею маленького рыжего человечка. Он, должно быть, спал: голова опустилась на грудь, руки бессильно лежали на коленях. Лампа погашена, но горит свеча в медном подсвечнике, золотое копые огня двукратно отражается в стекле бутылки, — водки не убавилось. Комната еще темнее, чем была прежде, девочки нет в кресле, а закрытая книга лежит на углу стола, близко к подоконнику.

Я тихонько прорвал кисею, просунул руку в дыру. Колтунов вскочил на ноги, схватил подсвечник, размахнулся и заорал диким голосом:

— Прочь! Убью!

Свеча погасла, но я все-таки видел незнакомое, искаженное лицо, тотчас утонувшее во мраке.

Через минуту он спокойно и грубо спросил:

— Это кто?

— Я. За книгой.

— Не дам...

Я постоял под окном еще минуту, глядя в степь, на восток. Там, за тучами, восходило солнце; на желтом пятне зари маячил маленький черный всадник; по земле за ним серым облаком ползла отара овец.

Всё это — знакомо, всё это было. Как хорошо смотреть в книгу и видеть перед собою другую жизнь!..

Дня четыре Колтунов дразнил нас книгой: принесет ее на станцию и читает один, а когда мы попросим — издевается:

— Встаньте на колени — дам!

Юдин увещевал его:

— Дурак, вспомни, сколько мы давали тебе книг!

— Ну, так что?

— Ты читал же с нами?

— Вставай на колени!

Он был противен и жалок, он сам, видимо, чувствовал это и, наперекор себе, всё более упрямо дразнил нас. Читает и время от времени издаёт разные восклицания.

— Потеха! Вот как!

Эти словечки еще более распалили наше любопытство, нашу жажду познакомиться с книгой. Мы так невзлюбили его, что даже па девочку перенесли чувство, вызванное ее отцом. И, когда она, любимая, подбегала к нам, мы холодно отстраняли ее, надеясь хоть этим досадить ее отцу.

Я до сего дня помню, с каким недоумением смотрели на меня и Юдина темные глазки девочки, как вздрагивал, в улыбке огорчения, ее алый рот, похожий на цветок.

И Колтунов видел это. Но он только усмехался и дергал себя за усы нервным движением руки.

— Хочется почитать, мальчишки? — спрашивал он, пряча книгу в стол.— А я не дам...

— Ударю я его,— грозил Юдин, задыхаясь и бледнея.— Вот что: книгу эту не брать у него, хоть и даст,— не брать! Ладно?

Я соглашался:

— Ладно.

— Даешь слово?

— Даю.

Смешно вспомнить об этом теперь, но в те дни я искренно страдал и боялся чего-то, потому что в груди порою вскипала такая ненависть к человеку, что от нее кружилась голова и перед глазами мелькали красные пятна.

Вся станция видела, что мы, трое друзей, поссорились, все слышали, как Колтунов издевался над нами, все чего-то ждали от нас и что-то внушали нам, безмолвно, пытливыми взглядами, усмешками.

Кончилось это очень просто: утром Колтунов пришел на дежурство, бросил журнал Юдину и сказал:

— На, читай...

Телеграфист схватил книгу на лету и тотчас молча воткнул большой нос в оглавление.

Ночью я читал вслух Юдину незначительный рассказ о том, как хорошая женщина ушла от дурного мужа на работу для общества, для мира,— читал и думал:

«Над этим, что ли, плакал Колтунов?»

Вдруг он ввалился в дверь и заорал, цепляясь руками за косяки:

— Н-не смей читать!

Ноги у него подгибались, он был безобразно пьян и дико таращил красные, мокрые глаза.

— Н-не смей... Никто не понимает ничего... и те, кто пишут, и все...

Опустился на пол, протягивая нам руки и вскрикивая:

— Молчать!.. Не читать!..

А в двери, за его спиною, стояла маленькая девочка, Вера Петровна, в расстегнутом платьице, сползавшем с плеч, босая и встрепанная,— ее рыжие кудри поднимались вверх, как пламя,— стояла и тусклым голосом спрашивала:

— Зачем вы его обидели?

КАК СЛОЖИЛИ ПЕСНЮ

Вот как две женщины сложили песню, под грустный звон колоколов монастыря, летним днем. Это было в тихой улице Арзамаса, пред вечерней, на лавочке у ворот дома, в котором я жил. Город дремал в жаркой тишине июньских будней. Я, сидя у окна с книгой в руках, слушал, как моя кухарка, дородная рябая Устинья, тихонько беседует с горничной моего шабра, земского начальника.

— А еще чего пишут? — выспрашивает она мужским, но очень гибким голосом.

— Да ничего еще-то, — задумчиво и тихонько отвечает горничная, худенькая девица, с темным лицом и маленькими испуганно-неподвижными глазами.

— Значит, — получи поклоны да пришли деньжонки, — так ли?

— Вот...

— А кто как живет — сама догадайся... эхе-хе...

В пруду, за садом нашей улицы, квакают лягушки странно стеклянным звуком; назойливо плещется в жаркой тишине звон колоколов; где-то на задворках всхрапывает пила, а кажется, что это храпит, уснув и задыхаясь зноем, старый дом соседа.

— Родные, — грустно и сердито говорит Устинья, — а отойди от них на три версты — и нет тебя, и отломилась, как сучок! Я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала. Будто не вся живешь — не вся вместе, — а половина души в деревне осталась, и всё думается день-ночь: как там, что там?..

Ее слова словно вторят звону колоколов, как будто она нарочно говорит в тон им. Горничная, держась за острые свои колени, покачивает головою в белом платке

и, закусив губы, печально прислушивается к чему-то. Густой голос Устиньи звучит насмешливо и сердито, звучит мягко и печально.

— Бывало — глоснешь, слепнешь в злой тоске по своей-то стороне; а у меня и нет никого там: батюшка в пожаре сторел пьяный, дядя — холерой помер, были братья — один в солдатах остался, ундером сделали, другой — каменщик, в Бойгороде живет. Всех будто половодьем смыло с земли...

Склоняясь к западу, в мутном небе висит на золотых лучах красноватое солнце. Тихий голос женщины, медный плеск колоколов и стеклянное кваканье лягушек — все звуки, которыми жив город в эти минуты. Звуки плывут низко над землею, точно ласточки перед дождем. Над ними, вокруг их — тишина, поглощающая всё, как смерть.

Рождается нелепое сравнение: точно город посажен в большую бутылку, лежащую на боку, заткнутую огненной пробкой, и кто-то лениво, тихоенько бьет извне по ее нагретому стеклу.

Вдруг Устинья говорит бойко, по деловито:

— Ну-кось, Машутка, подсказывай...

— Чего это?

— Песню сложим...

И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает:

Эх, да белым днем, при ясном солнышке,
Светлой ноченькой, при месяце...

Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, вполголоса поет:

Беспокойно мне, девице молодой...

А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца:

Всё тоскою сердце мается...

Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо:

— Вот она и началась, песня! Я те, милая, научу песни складывать, как нитку сучить... Ну-ко...

Помолчав, точно прислушавшись к заунывным стонам лягушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла словами и звуками:

Ой, да ни зимою вьюги лютые,
Ни весной ручьи веселые...

Горничная, плотно придвинувшись к ней, положив белую голову на круглое плечо ее, закрыла глаза и уже смелее, тонким вздрагивающим голоском продолжает:

Не доносят со родной стороны
Сердцу весточку утешную...

— Так-то вот! — сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по колену. — А была я моложе — того лучше песни складывала! Бывало, подруги пристают: «Устюша, научи песенке!» Эх, и зальюсь же я!.. Ну, как дальше-то будет?

— Я не знаю, — сказала горничная, открыв глаза, улыбаясь.

Я смотрю на них сквозь цветы в окне; певицы меня не замечают, а мне хорошо видно глубоко изрытую оспой, шершавую щеку Устиньи, ее маленькое ухо, не закрытое желтым платком, серый бойкий глаз, нос прямой, точно у сороки, и тупой подбородок мужчины. Это баба хитрая, болтливая; она очень любит выпить и послушать чтение святых житий. Симетница она на всю улицу, и больше того: кажется, все тайны города в кармане у нее. Рядом с нею, крепкой и сытой, костлявая, угловатая горничная — подросток. Да и рот у горничной детский; маленькие, пухлые губы надуты, точно она обижена, боится, что сейчас еще больше обидят, и вот-вот заплачет.

Над мостовой мелькают ласточки, почти касаясь земли изогнутыми крыльями: значит, мошкара опустилась низко, — признак, что к ночи соберется дождь. На заборе, против моего окна, сидит ворона неподвижно, точно из дерева вырезана, и черными глазами следит за мельканием ласточек. Звонить перестали, а стоны лягушек еще звучней, и тишина гуще, жарче.

Жаворонок над полями поет,
Васильки-цветы в полях зацвели,

— задумчиво поет Устинья, сложив руки на груди, глядя в небо, а горничная вторит складно и смело:

Поглядеть бы на родные-то поля!

И Устинья, умело поддерживая высокий, качающийся голос, стелет бархатом душевные слова:

Погулять бы, с милым другом, по лесам!..

Кончив петь, они длительно молчат, тесно прижавшись друг ко другу; потом женщина говорит негромко, задумчиво:

— Али плохо сложили песню? Вовсе хорошо ведь...

— Гляди-ко,— тихо остановила ее горничная.

Они смотрят в правую сторону, наискось от себя: там, щедро облитый солнцем, важно шагает большой священник в лиловой рясе, мерно переставляя длинный посох; блестит серебряный набалдашник, сверкает золоченый крест на широкой груди.

Ворона покосилась на него черной бусиной глаза и, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, взлетела на сушок рябины, а оттуда серым комом упала в сад.

Женщины встали, молча, в пояс, поклонились священнику. Он не заметил их. Не садясь, они проводили его глазами, пока он не свернул в переулок.

— Охо-хо, девушка,— сказала Устинья, поправляя платок на голове,— была бы я помоложе да с другой рожей...

Кто-то крикнул сердито, сонным голосом:

— Марья!.. Машка!..

— Ой, зовут...

Горничная пугливо убежала, а Устинья, снова усевшись на лавку, задумалась, разглаживая на коленях пестрый ситец платья.

Стонут лягушки. Душный воздух неподвижен, как вода лесного озера. Цветисто догорает день. На полях, за отравленной рекой Тёшей, сердитый гул,— дальший гром рычит медведем.

ПТИЧИЙ ГРЕХ

Осенняя пámорха повисла над землею, закрыв дали. Земля сжалась в небольшой мокрый круг; отовсюду на него давит плотная, мутностеклянная мгла, и круг земной становился всё меньше, словно таял, как уже растаяло в серую сырость небо, еще вчера голубое. В центре земли — три желтые шишки, три новеньких избы, — очевидно, выселки из какой-то деревни, невидимой во мгле.

Я направляюсь к ним по разбухшему суглинку исковерканной дороги. Меня сопровождают невеселым бульканьем осенние ручьи, они текут по глубоким колеям тоже на выселки; а в ямах межколесицы стоят лужи свинцовой воды, украшенные пузырями. Иду точно дном реки, в какой-то особенно неприятно жидкой липкой воде; по сторонам дороги мерещатся кусты, печально повисли седые прутья; на всем, что видит глаз, — холодный налет ртути. Грязь сосет мои ноги, заглатывая их по щиколотки; она жалобно чмокает, когда я отнимаю у нее ступни одну за другою, и снова жадно хватает их толстыми губами. Холодно на земле, холодно и грязно; в душе тоже — холодное безразличие; всё равно куда идти — в море этой неподвижной мглы, под ослепшим небом.

Выселки строились с расчетом образовать когда-то улицу: две избы стоят рядом, связаны крытым соломою двором, третья — побольше — напротив них. Между домами большая лужа, в ней плавает щепка и деревянное ведро с выбитым дном, а на краю ее, у ворот и под окнами одинокого дома, мнут грязь десятка полтора мужиков, баб и, конечно, ребятишек. Это странно: непогода, будни, — чего же ради мокнут жители и по-

чему они говорят так необычно тихо? Покойник в доме? Мужика смерть не удивляет... Ворота дома открыты настежь, посреди двора стоит телега, под задними колесами ее валяется куча тряпья; где-то обиженно хрюкает свинья, лошадь жует сено, слышен вкусный хруст. Крепко пахнет навозом и еще чем-то, напоминающим жирный запах бойни.

Здороваюсь с людьми, сняв мокрый картуз. Они смотрят на меня молча, неприязненно, без обычного в деревне интереса к дальнему страннику.

— Что это вы собрались?

Большой чернобородый мужик, надвигаясь на меня животом, сурово спрашивает:

— А тебе чего надо? Откуда таков?

Он не в духе, но не настолько, чтобы драться; он, видимо, еще настраивает себя на боевой лад.

— Паспорт! — требует он, протянув руку, похожую на вилы о пяти зубьях.

Но когда я подал ему паспорт, он сказал, ткнув рукою в лужу:

— Ступай себе...

Из-за его широкой спины вывернулся старичок с лицом колдуна и секретно, вполголоса, заговорил, пришепетывая, быстро шлепая темными губами:

— Ты, мил человек, вали, иди дальше с богом! Тут тебе, промежду нас, — не рука, прямо скажу, — ты иди-кось!

Я пошел, но он, поймав меня за котомку, потянул к себе, продолжая выбрасывать изо рта мятые слова.

— Тут у нас история сделана...

Черный мужик сердито окрикнул его:

— Дядя Иван!

— Ась?

— Придержи язык-то! Что, ей-богу!..

— Да ведь всё едино, дойдет до деревни — там узнает, скажут...

Кто-то повторил эхом:

— Скажут...

— Али такую историю можно прикрыть?! — радостно воскликнул дядя Иван. — Ведь кабы что другое, а то — отец...

И, сдвинув шапку на ухо, спросил меня:

— Ты — как, — грамотен? Чу, Никола, грамотный он...

Чернобородый поглядел на меня, на него и сказал с досадой:

— Да ну его ко псам и с тобой вместе! Эка суета...

Старик, вздохнув, беспомощно махнул рукой, всё придерживая меня. Мужики молчали, вставляя в грязь; бабы, заглядывая во двор и в окна, шептались о чем-то; я слышал отдельные слова:

— Сидит?

— Сидит, не шелохнется...

— А она?

— Да она в сенях, не видно ее...

Старик, подмигнув мне добрым, светлым глазом, отвел меня за угол избы, оглянулся, поправил шапку и деловито заговорил, поблескивая глазами, морщась:

— Тут, видишь ты, сын отца топором укокал, да и жену повредил; баба-то еще жива, а старичок, тезка мне — Иван Матвеев, — он кончился, упокой господи...

— Снохач? — спросил я.

— Вот, это самое, за сноху потерпел убиенную смерть от руки сына. Через бабу, да... Видал, — за телегой лежит, у задних-то колес?

— Нет...

— А ты поди, взгляни, — воодушевленно и даже с укором посоветовал дядя Иван, дергая меня за рукав. — Кто не пустит? Ты — со мной, я тут вроде за старосту, меня слушают, как же!

Он усмехнулся, снова подмигнул, а ведя меня сквозь народ, поучительно сказал:

— Грехи — учат...

Остановясь у телеги, он снял шапку и приподнял рваный армяк с земли у колес: под армяком распластался такой же, как дядя Иван, небольшой, милый и сухонький старичок. Лежал он, словно споткнувшись на бегу, подогнув правую ногу под живот, вытянув левую и неестественно упираясь плечом в землю. Одна рука заброшена на поясницу, другая — смята под боком; жилистая шея перекрутилась, правая щека утонула в навозе. Голова его была разрублена от уха

до уха,— из трещины грибом вылез серо-красный мозг, отвалившийся лоб закрыл ему глаза. Рот, полный мелких зубов, был искривлен и широко разинут,— казалось, что старик этот, крепко зажмурясь от страха, кричит в землю криком, не слышным никому, кроме ее, может быть.

— Вот такая история сделана,— поучительно сказал живой старичок и, надев шапку, предложил:

— Айда в избу!..

На полу сеней, в полосе света из открытой в избу двери, лежала на спине, в луже застывшей и лоснившейся крови, молодуха, глядя в потолок круглыми глазами, закусив толстую нижнюю губу, болезненно приподняв верхнюю. Из-под разорванного подола ее рубахи высывались грязные ноги, и на обеих оттопыренные большие пальцы тихонько, равномерно шевелились. Это было страшно видеть, но еще страшнее была тишина в избе и согнутая этой тишиной фигура мужика, сидевшего на лавке у стола со связанными за спиною руками, затылком к маленьким окнам, лицом в сени.

Он сидел, наклонясь вперед, высунув голову, точно под топор; на его темном лице по-волчьи блестели большие глаза; встрепанные рыжеватые волосы головы и бороды тоже блестели на стекле окна, гудевшем под ударами большой черной мухи.

— Вот это и есть самый мастер,— громко и негодуя сказал старик, кивнув головою в дверь избы.

Я смотрел, ожидая, что мужик вырвет руки из-за спины, бросится на пол и на четвереньках побежит в сени, во двор и дальше, в поля, прикрытые серой пámорхой.

— Нарошно посадили его эдак-то: пускай глядит, чего надделал,— объяснил мне старик, и тогда я увидел, что мужика почти сплошь по всему телу опутали вожжами и веревками, прикрутив его к столу и скамье.

Услыхав последние слова старика, он покачнулся, тряхнул спутанными волосами,— всё вокруг него заскрипело, заскрежетало.

— Рабочник был — золото, а вот она, дерзость руки, к чему привела...

Женщина у наших ног простонала коротенько и сказала медленно, страшно громко:

— Дедушка Иван, уди-и... уйдитя, Христа ради... Ты жа добрый...

— Ага-а,— протянул дедушка Иван сердито и печально,— наделала делов, а теперь стонешь!..

Махнув рукою, он пошел из сеней, натягивая шапку на серебряную голову и говоря:

— Бабеночку жаль! Внучатная мне, брата моего внука. Жаль, хороша в девках ходила...

Вышли за ворота, где по-прежнему мял грязь, должно быть, весь народ выселков.

— Ну, что? Как? — стали спрашивать бабы, толкая старика.

Он успокоительно ответил им:

— Сидит, зверь ожесточенная, сидит...

Предо мною, в густом, влажном воздухе, кто-то невидимый нес труп старика. Я смотрел на разрубленную голову, на серо-красный гребень мозга, дряблый язык, лежавший на нижних зубах, и загнутые вверх, ко рту, жесткие волосы бороды. Дождь сыпался пуще, настойчивее, земля стала еще меньше и грязней. По жести чайника за моей спиною дробно барабанят капли, точно острые гвоздики сыплются на жесть. На крыше овина галдят галки, слышна трескотня сороки.

Дядя Иван, шагая рядом со мною, повествует спокойным голосом многоопытного мудреца:

— В наших местах это зовется — птичий грех, когда свекорь со снохой соймется али отец с дочерью... Как птица, значит, небесная, ни родства, ни свойства не признает она, вот и говорят: птичий грех... Да...

В стеклянном сумраке, как две звезды, улыбаются мне детские глаза, такие светлые, полные кротости.

— Ни в чем ноне старикам не уважают! А бывало!.. Чу, колокольчик,— стало, едут! Ну, прощевай, мил человек!

Иду в мокром шорохе дождя, и снова грязь сосет мои босые ноги. Сердце тоже жадно и больно сосут чьи-то холодные толстые губы...

ГРИВЕННИК

В тринадцать лет, среди тяжелых людей, в кругу которых я жил, сердце мое властно привлекала сестра хозяйки — женщина лет тридцати, стройная, как девушка, с кроткими глазами богоматери, — они освещали лицо, удивительно правильное и нежное. Эти голубые глаза смотрели на всё ласково, внимательно, но когда говорилось что-нибудь грубое или злое, — светлый взгляд странно напрягался, как это бывает у людей, которые плохо слышат.

Была она молчалива, — говорила только самое необходимое: о здоровье, о муже и погоде, о прислуге, священниках и портнихах; я никогда не слышал из ее уст дурного слова о человеке. Что-то осторожное и неуверенное было в ее движениях, точно она всегда боялась споткнуться или задеть кого-либо. Порой мне казалось, что она близорука, иногда я думал, что эта тихая женщина живет во сне.

Над ней посмеивались. Бывало, соберутся у хозяйки женщины, подобные ей — такие же толстые, сытые, бесстыдные на словах, — распарят себя чаем, размянут от наливок, мадеры и начнут рассказывать друг другу анекдоты о мужьях, — сестра хозяйки слушает нагие слова, и тонкая кожа ее щек горит румянцем смущения, длинные ресницы тихонько прикрывают глаза, и вся она сгибается, точно травинка, на которую плеснули жирными помоями.

Заметив это, хозяйка радостно кричит:

— Глядите-ка, Лица-то зарделась... Ой, смешная! А бабы ласково укоряли ее:

— Что это вы, словцо девушка!..

В такие минуты я очень жалел эту чистенькую женщину, — мне тоже было стыдно слышать банные разговоры баб. Рассказывали не только голыми словами, но и улыбочками, жирненьким смехом, красноречивыми подмигиваниями, это возбуждало у меня отвращение и страх. Хмельные женщины казались похожими на пиявок. Особенно страшна была вдова подрядчика-маляра, тяжелая баба лет под сорок, с двойным подбородком, огромной грудью и глазами коровы. Улыбаясь, она высоко поднимала толстую верхнюю губу с усами, оскаливала тесный ряд острых зубов, а мутно-зеленые глаза ее как будто вскипали, покрываясь светящейся влагой.

— Муж любит, чтобы жена была бесстыдна с ним, — говорила она голосом пьяного дьякона.

— Не всякий, — возражали ей.

— Ан — всякий! Конечно, — ежели слабый, ему это не надобно, а хороший мужчина — стыда не любит. Отчего мужики с гулящими валандаются? Оттого, что гулящие умнее нас — бесстыжи. Стыд — для девиц, а женщине он только помеха.

Не все соглашались с ней, но все хвалили ее:

— Ну и смелая же вы, Марья Игнатовна!

Прислуживая за столом, я слушаю эти речи и вижу, как гнется лебединая шея милой женщины, вижу ее маленькие пылающие уши, запутанные в русых локонах, вижу, как ее пальцы ломают и крошат печенье. Мне до слез, до бешенства жаль ее, а бабы хохочут:

— Нет, вы глядите-ка, Лиана-то!..

Я был уверен, что этой женщине невыносимо тяжело среди подруг и для меня было ясно, что я должен помочь ей. Но — как?

Хотя я прочитал уже немало книг, однако ни в одной из них не было указано, чем может тринадцатилетний мальчик помочь женщине, вдвое старшей его. А в одной книге, на мое несчастье, было сказано: «Любовь не щадит ни попа, ни дьявола, она не различает возраста, мы все — ее рабы».

Я слишком хорошо для своих лет знал, каково не книжное отношение мужчин и женщин, но книги дали мне спасительную силу верить в возможность каких-то

иных отношений, и я упрямо мечтал о них, воображая нечто величественное и трогательное. Не может же быть, чтоб для всех женщин и мужчин любовь являлась в тех же формах, в каких ее знают дикий бык, солдат Ерофеев и всегда пьяная, растерзанная, хвастливо бесстыдная прачка Орина.

Я упорно думал — как же мне помочь милой женщине, которая явно не хочет слышать и видеть грубостей жизни, не годится для них? Мне снились героические сны: вот я — атаман разбойников, здоровый молодец в красном кафтане, с ножом за поясом и в меховой шапке набекрень. Мои товарищи подожгли дом, где жила она, а я, схватив ее на руки, бегу по двору, к моему коню. Снилось, что я — колдун и мне подвластны все черти, они сделали невидимыми меня и ее; вот мы оба, легкие, как снежинки, плывем с ней по воздуху, над пустынным полем, синим от синего неба, а впереди, между пирамид елей, стоит снежно-белый дом, из окон его, открытых настежь, в поле, встречу нам, рекой течет удивительная музыка — от нее замирает сердце, и всё тело поет, напитанное ею.

Были сны менее счастливые, были и противные кошмары подростка, фантазия которого слишком возбуждена.

А наяву возлюбленная проходила мимо меня так же осторожно, как мимо всех; мне казалось, что она боится выпачкать себя о человека и первая забота ее — не коснуться бы кого-нибудь. Но, видимо, она заметила, что я слишком упорно слежу за ней, всё чаще ее глаза стали встречаться с моими, и наконец, когда я отпирал ей двери крыльца, она, раньше проходившая мимо меня молча, стала говорить мне:

— Здравствуй!

Разумеется, я расширил это приветствие, — оно звучало, как приказание мне:

«Здравствуй для меня!»

Я ликовал. Конечно — для тебя, царица! Это предрешено мне судьбой моей, всеми силами жизни и всеми книгами, — для тебя!

Однажды она спросила меня:

— Ты что — невеселый?

Я не мог ответить, — у меня сердце замерло: ведь если она видит, что мне невесело, значит, она уже заметила, что вообще я — веселый, и, значит, она меня любит. Заключение не совсем правильное, но — приятное, и я был до того обрадован им, что, вбежав в кухню, расцеловал кошку — старое, облезлое животное, не любимое мною за бессердечие и подхалимство.

Озорниковатый март капризничал, как балованное дитя, — то сеет на землю густой тучей тяжелые пушинки снега, то вдруг зажжет в небе яркое солнце и в час растопит пуховые цветы на темных сучьях деревьев. Журчат ручьи, выбиваясь из-под сугробов, и слышно, как вздыхает, оседая к земле, подмытый снег. Всё глубже и шире с каждым днем голубые прорези неба между серой массой встревоженных облаков, — и когда смотришь в эти бездонные ямы небес — жизнь становится легче, праздничней. Первые весенние цветы расцветают в душе, а потом уже — в полях.

Моей хозяйке сильно пездоровилось, сестра посещала ее почти каждый день, и при ней в доме всё становилось благообразнее, тише и лучше. Покачиваясь, точно скользя на коньках по крашеному полу, она бесшумно переходила из комнаты в кухню с полотенцами, смоченными водой и уксусом, с графинами клюквенного морса в белых руках, а я любовался ею.

Однажды, умывая руки и увидав меня за книгой, она спросила:

— Что это читаешь?

Я назвал книгу.

— Ты бы лучше житие Варвары Великомученицы прочитал, — посоветовала она. — Ведь это твоей мамаше ангел.

— А вы — мой ангел, — сказал я, и даже, помнится, басом сказал.

И тотчас испугался дерзости своей — рассердится? Но она, не взглянув на меня, попросила:

— Налей-ко в рукомойник воды...

Вымыла свои тонкие пальчики, аккуратно вытерла их один за другим, и, взглянув в окно, сказала:

— Тает как!

Да, на припеке таяло сильно, с крыш непрерывно лились струйки воды, точно серебряные шнурки, унизанные радугой самоцветных камней. Сердце у меня тоже горело радугой и таяло.

Через некоторое время в кухню пришел хозяин и, строго взмахнув длинными волосами, погрозил мне пальцем:

— Ты, зверь! Ты что сказал Олимпиаде?

— Что она похожа на ангела,— сознался я.

— Разве можно говорить эдакое замужней женщине?

— Говорят же в книгах...

— Замужним? По башке тебя книгами надо. Ты — гляди! Она и без тебя знает, на что похожа...

Хозяин ухмыльнулся до ушей и исчез, а мне стало немножко грустно,— зачем она пожаловалась на меня? Не следовало бы...

Дня через два, приготавливая в кухне клюквенный морс, она сказала мне:

— Жалуются, что дерзок ты и упрям,— это нехорошо!

Я ждал от нее иного, вспыхнул и спросил:

— Почему — нехорошо?

— Сам должен знать.

Тогда я начал говорить всё, что думалось: а хорошо ли, что она молчит, когда при ней рассказывают пакости?

— Ведь я вижу, что вам стыдно слушать,— разве вы такая, как они? Они — халды, хуже пьяных прачек...

Говорил я много и сердито, а она, стоя у стола над решетом, сквозь которое протирала клюкву, смотрела на меня круглыми глазами, приоткрыв рот, точно собираясь закричать. Лицо у нее было совсем детское, в руке она держала деревянную ложку, с которой капал на стол розовый сок.

— Шш...— вдруг зашипела она, махнув на меня ложкой,— молчи! Ах, какой... да ведь если я пожалуюсь на тебя...

— Не надо жаловаться, лучше давайте убежим на Волгу! — предложил я ей.

— Что-о? Куда?

— За Волгу, в леса. Теперь — весна скоро, — прокормимся!

Она присела на лавку, спросив:

— Зачем?

— А что вам с ними жить?

И я объяснил, как умел, что готов служить ей до старости и до смерти и что со мною ей будет великолепно, — уж я позабочусь об этом!

Она засмеялась, хотя и негромко, но совершенно неуместно; засмеялась и сквозь смех сказала мне:

— Ой, господи, какой ты смешной, и как ты это... всё видишь! Что выдумал, господи... За Волгу — ох!

Вздрагивая от смеха, она ушла, а я пошел в сарай колоть дрова. Через полчаса ко мне явился хозяин и сказал мне:

— Вот что, брат: если эти твои глупости и всякая болтовня дойдут до жены, — я тебе не защита, понял?.. Ты с ума сходишь, что ли?

Оставшись один, я подумал:

«Как она доверчива — всё рассказывает чужим людям!»

Наступила Пасха. Синий воздух налит весенним — гулом меди, треском пролеток по сухому камню мостовой, хмельным шумом весеннего праздника.

Отворяя дверь визитерам, я с великим трепетом ждал, когда явится она, и я скажу ей:

«Христос воскрес!»

«Воистину», — ответит она и трижды поцелует меня розовыми губами. Может быть, после этого я умру тут же, на месте, но — только бы поцеловала!

Никогда еще праздничные подачки пьяных гостей не оскорбляли меня так больно, как этот раз. Отказываться от них нельзя было. Потные двугривенные жгли мне ладонь и казались тяжелыми, как фунтовые гири.

Я был настроен, как верующий перед причастием, я чувствовал себя способным и готовым на какой-то великий подвиг, да ведь оно — так и есть: первый поцелуй женщины — величайшее событие жизни.

Вот, наконец, приехала она. Она в синем шелковом платье, в черной тальме со множеством стекляруса, вся в каком-то тихом шелесте и блеске.

Задыхаясь, я сказал:

— Христос воскрес!

— Воистину, — ответила она и, не останавливаясь, сунула в руку мне монету величиной с крупную слезу.

Это был гривенник, старенький, стертый и с дырочкой под орлом.

Прижавшись к стене, я ошалело смотрел, как женщина, синяя и черная, подымается вверх со ступеньки на ступеньку. Я сразу разлюбил ее, — этот гривенник, как холодная секира, отсекает любовь от моего сердца.

Вечером я швырнул монету, цену любви моей, в овраг, в мутную лужу снеговой воды.

...После этого я еще много любил и много получил гривенников, — стареньких и новых.

СЧАСТЬЕ

...Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал в его мягкие лапы.

Это случилось на прогулке; большая компания молодежи собралась знойной летней ночью в лугах, за Волгой, у ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку и пиво, сидя вокруг костра; спорили о том, как скорее и получше перестроить мир, потом, устав телесно и духовно, разбрелись по скошенному лугу, кто куда хотел.

Я отошел прочь от костра с девушкой, которая казалась мне умной и чуткой. У нее были хорошие темные глаза, в ее речах всегда звучала простая, понятная правда. Эта девушка смотрела на всех людей ласково.

Мы шли тихонько, бок о бок; под ногами у нас скрипели, ломаясь, срезанные косою стебли травы, из хрустальной чаши неба, опрокинутой над землею, изливалась хмельная влага лунного света.

Глубоко вздыхая, девушка говорила:

— Как хорошо! Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды. И жарко...

Потом она предложила сесть под стог сена, в круглую тепь, густую, как днем. Звенели кузнечики, вдали кто-то заунывно спрашивал:

Эх, зачем ты изменила мне?

Я стал горячо рассказывать девушке о жизни, знакомой мне, о том, чего я не понимал, но — вдруг она, тихонько вскрикнув, опрокинулась на спину.

Это был, кажется, первый обморок, который я видел, и на минуту я растерялся, хотел кричать, звать на помощь, но тотчас вспомнил, что делают в таких случаях благовоспитанные герои романов, знакомых мне, — разорвал пояс ее юбки, кофточку, тесемки лифа.

Когда я увидел груди ее, точно две маленькие чаши из серебра, полные сгущенного света луны и опрокинутые в сердце ее, — мне жадно, до огненного удара в голову, захотелось поцеловать ее. Но, сломив это желание, я стремглав бросился к реке за водой, ибо — по писанию — герои всегда, в подобных случаях, убегали за водой, если только на месте катастрофы не было ручья, заранее приготовленного догадливым автором романа.

А когда я вернулся, прыгая по лугу, точно бешеный конь, со шляпой, полной воды, — большая стояла прислонясь к стогу, в полном порядке, исправив все разрушения туалета, совершенные мною.

— Не надо, — сказала она утомленно и тихо, отводя рукою мокрую шляпу мою...

И пошла прочь от меня на огонь костра, где два студента и статистик завывали всё ту же надоевшую песню:

Ах, зачем ты изменила мне?

— Я не сделал вам больно? — осведомился я, смущенный молчанием девушки.

Она кратко ответила:

— Нет. Вы — не очень ловкий. Все-таки я — разумеется — благодарю вас...

Мне показалось, что она не искренно благодарит.

Я не часто встречал ее, но, после этого случая, встречи наши стали еще реже, — вскоре она и совсем исчезла из города, и уже спустя года четыре я увидел ее на пароходе.

Она ехала из приволжской деревни, где жила на даче, в город к мужу, была беременна, хорошо и удобно одета, — на шее у нее длинная золотая цепь часов и большая брошь, точно орден. Она очень похорошела,

пополнила и была похожа на бурдюк густого кавказского вина, которое веселые грузины продают на жарких площадях Тифлиса.

— Вот,— сказала она, когда мы дружески разговорились, вспоминая прошлое,— вот я и замужем, и всё...

Был вечер, на реке блестело отражение зари; пенный след парохода уплывал в синюю даль севера широкой полосой красного кружева.

— У меня уже есть двое ребят, жду третьего,— говорила она гордым тоном мастера, который любит свое дело.

На коленях ее лежали апельсины в желтом бумажном мешке.

— А — сказать вам? — спросила она, ласково улыбаясь темными глазами.— Если б тогда, у стога,— помните,— вы были смелее... ну — поцеловали бы меня... была бы я вашей женой... Ведь я — нравилась вам? Чудак, помчался за водой... Эх вы!

Я рассказал ей, что вел себя, как показано в книгах, и что — по писанию, священному для меня в ту пору, — нужно сначала угостить девицу в обмороке водою, а целовать ее можно только после того, когда она, открыв глаза, воскликнет: «Ах, — где я?»

Она немножко посмеялась, а потом задумчиво сказала:

— Вот в том-то и беда наша, что мы всё хотим жить по писанию... Жизнь — шире, умнее книг, сударь мой... жизнь вовсе не похожа на книги... Да...

Достав из мешка оранжевый плод, она внимательно осмотрела его и сморщилась, говоря:

— Негодяй, подложил-таки гнилой...

Неумелым жестом она бросила апельсин за борт,— я видел, как он закружился, исчезая в красной пене.

— Ну, а теперь — как? Всё еще живете по писанию, а?

Я промолчал, глядя на песок берега, окрашенный пламенем заката, и дальше — в пустоту рыжеватозолотых лугов.

Опрокинутые лодки валялись на песке, как большие

мертвые рыбы. На золоте песка лежали тени печальных ветел. В дали лугов стоят холмами стога сена, и мне вспомнилось ее сравнение: «Точно африканская пустыня, а стога — пирамиды...»

Очищая другой апельсин, женщина повторила тоном старшей и как бы наказывая меня:

— Да, была бы я вашей женой...

— Благодарю вас, — сказал я, — благодарю.

Я благодарил ее — искренно.

ГЕРОЙ

...Уже в газетах было напечатано несколько моих рассказов. Знакомые люди снисходительно похваливали меня, предрекая мне судьбу писателя, но я не верил в эти пророчества, да, кажется, и сами пророки не обладали достаточной верой в предсказания свои.

Быть писателем,— об этом я тогда еще не мечтал. Писатель в моем представлении — чародей, которому открыты все тайны жизни, все сердца. Хорошая книга, точно смычок великого артиста, касается моего сердца, и оно поет, стонет от гнева и скорби, радуется,— если этого хочет писатель.

Нет, о счастье быть писателем я не думал, а то, что мои рассказы напечатаны, казалось мне такой же случайностью, как случайно можно прыгнуть вверх на высоту своего роста.

В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно. Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь. Я жил в горячем тумане разноречивых мыслей, желаний, ощущений; все тропинки жизни спутались предо мною, и я не мог понять, которая моя. Я бился, как птица, попавшая в комнату, где окна светлые, но путь на волю загражден стеклами и трудно отличить их от воздуха.

В детстве и отрочестве я, должно быть, слишком много испытал горечи обид, слишком много видел жестокости, злой глупости, бессмысленной лжи. Этот преждевременный груз на сердце угнетал меня. Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто, способное уравновесить тяжесть на сердце, пужно было выпрямить себя.

Надо быть Самсоном и — сильнее, чтобы не заели азиатские мелочи жизни. Они пьют кровь человека,

точно комары; пьют и отравляют, прививая лихорадку злости, недоверие к людям, презрение к ним. Надо быть слепым Самсоном, чтобы пройти сквозь тучи ядовитой мерзости, не отравляясь ею, не подчиняясь силе ее...

Я шел босым сердцем по мелкой злобе и гадостям жизни, как по острым гвоздям, по толченому стеклу. Иногда казалось, что я живу второй раз, — когда-то, раньше, жил, всё знаю, и ждать мне — нечего, ничего нового не увижу.

А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое: оно существует, как говорили книги лучших писателей мира, — оно существует, и я должен найти его.

Когда жизнь неприглядна и грязна, как старое, засоренное пожарище, приходится чистить и украшать ее на средства своей души, своей волей, силами своего воображения, — вот к чему я пришел наконец.

Если бы вы знали, как восторженно делал я это и как, порою, смешно мне вспоминать о бесплодности попыток моих украсить жизнь, о лучеиспускании света души в пустоту!

Вот одна из комических попыток моих найти человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги.

Однажды в тихом городе Тамбове, — городе, похожем на скучный сон, — сидя у окна, в маленькой комнатке грязной гостиницы, я услышал в соседней комнате тихий голос, странные слова:

— Горе — вода, счастье — огонь; воды больше — тонут чаще, огня меньше — горят реже...

Кто-то резко прервал печальную речь:

— Не люблю людей умней меня! Нет, я, брат, умников не уважаю... Что-о?.. А чёрт с ним! Я это — я!

— Подожди же...

— Я не дешевле ее...

Мне показалось, что так говорить может только очень интересный и значительный человек.

Через некоторое время он вышел в коридор, и, заранее открыв дверь моей комнаты, я увидал его. Это был сухонький и стройный мужчина, брюнет, с толстыми

губами и пристальным взглядом темных глаз. Одетый в чесучовую поддевку и белую фуражку с дворянским околышком, он напоминал выцветшую акварель.

Я вышел вслед за ним: может быть, удастся подсмотреть, как и чем он живет?

Ясно, что он был хорошо известен в городе: почти каждый встречный кланялся ему. Сам он приподнимал фуражку перед мужчинами не торопясь и невысоко, иногда же только касался рукою козырька, но когда видел женщин в окнах домов или в трясках пролетках, кланялся им быстро и размашисто, как, вероятно, кланялся в старину корнет Отлетаев.

Шел он, как человек, которому некуда торопиться, держал в левой руке ременный хлыст с черной рукояткой и тихонько бил им по лаковому голенищу сапога. Я шагал за ним по другой стороне улицы и сочинял ему интересную жизнь, создавал из него праведника, духом которого жив этот пыльный, деревянный город, тихий лагерь безличных людей...

Мне думалось также, что этот выцветший человек много желал и добивался и ничто не удалось ему, но он все-таки мужественно упорствует, достигая желаемого, неустанно идет к своей мечте, всем чужой, может быть, грубо осмеянный, — идет один сквозь терния завистливой злобы, глупых подозрений, сквозь пыль дряненьких насмешек.

А может быть, он любит слепой и мучительной любовью женщину — ту, о которой рассказывают романы? На земле много подобных ей, но сама она неуловима, — это ее всю жизнь и везде искал Дон-Жуан.

Много красивого можно выдумать о человеке. Генрих Гейне превосходно доказал это...

...Мы пришли в глухую улицу, где маленькие домики были небрежно вставлены в зелень садов, как разноцветные заплатки, уже выгоревшие на солнце. Человек остановился под открытым окном рыжего дома, громко постучал ручкой хлыста о подоконник, и, когда сквозь темную зелень герани высунулось густо напудренное лицо женщины с толстой папироской в зубах, он строго спросил:

— Ну что, продала?

Торопливо выдыхая дым, женщина ответила тихо и невнятно.

— Э, д-дура,— сердито крикнул он.— Я ж тебе сказал, отдавай за семнадцать! Что ж ты, дрянь, борова жалеешь, а меня нет? — спросил он так же громко, но ласковее.

И, ударив хлыстом по сапогу, приказал:

— Чтобы к шести часам деньги были!

Он пошел прочь, дальше по немой улице, насвистывая что-то знакомое мне, а женщина, выплюнув на улицу дымный окурок, исчезла.

Было около трех часов дня, но тихо, как глубокой ночью. В зное, полном гнилых запахов города, дремали деревянные домики на горячей, сухой земле. Под жгучим солнцем трещало дерево крыш. Деревья стояли неподвижно, и листва их казалась вырезанной из зеленого железа.

Человек шел, насвистывая любимый романс шарма-нок:

В небесах торжественно и чудно...

Я сопровождал его, немного охлажденный в мечтах моих, но всё еще не теряя какой-то надежды.

Вышли на площадь, к церкви, окруженной небольшим тенистым садом в каменной ограде. Человек вынул золотые часы, взглянул на них и решительно направился в маленький ресторан, почти против церковной паперти. Войдя и не ответив на поклоны двух лакеев, он сел к столу под окном, приказав властно:

— Мишка, шнапс!

Мишке было лет семьдесят. Маленький, лысый, длиннорукий, он напоминал обезьяну,— двигался согнувшись, странно развертывая колени и держа руки так, точно он только недавно отвык ходить на четвереньках.

Поглядывая в окно, человек всё насвистывал, и невольно вспоминались слова романса:

Что же мне так больно и так трудно?..

«Мишка» открыл бутылку лимонада, вылил шипучую влагу в большой бокал, добавил туда две рюмки конья-

ку и, раскачиваясь, подал на стол. Человек мельком взглянул на лакея и спросил:

— Жив еще?

— Так точно, — с радостью ответил старик, растянув темные губы до ушей, показывая два желтых клыка.

Человек стал пить лимонад маленькими глотками, не отрывая губ от бокала, скосив глаза в окно. Через площадь к церкви важно плыла большая полная дама в голубом платье, под белым зонтиком в кружевах. Он быстро допил, взглянул в зеркало, поправил усы, фуражку, сделал строгое лицо и пошел к двери, сказав:

— Я вернусь...

Ага! Вот, наконец, то, что мне нужно!

Когда человек с хлыстом скрылся в ограде церкви, куда прошла голубая дама, я тоже отправился вслед за ним и через несколько минут встретил его за церковью, в тени старых лип. Он шел рядом с дамой и, заглядывая под зонтик, низким голосом убежденно говорил:

— У греков даже боги имели любовниц...

— Это вы к чему? — спросила дама тоже почти басом.

— Никто не протестовал...

Обойдя кругом церкви, я воротился в ресторан, чувствуя себя обокраденным, униженным.

Спросил пива и стал смотреть в окно, а из-за колокольни на меня смотрело мутно-красное солнце. Где-то звучал рояль. Играли гаммы. У двери ресторана стоял на подогнутых ногах старенький Мишка и дремал, уронив салфетку на пол. Тихо. Даже мухи не летают.

Незаметно для меня в ресторане снова явился выцветший человек, сел на свое место и негромко, угрюмо сказал:

— Мишка, пнапс! Не видишь?..

Он глубоко вздохнул, отирая платком лицо, такое же мутно-красное, как тамбовское солнце.

А когда на площади снова явилась голубая дама под кружевным зонтиком, человек привстал со стула, опираясь на стол сжатыми кулаками, и тихонько, сквозь зубы, сказал в окно:

— Др-янь, свинья!..

Вот одно из тех маленьких приключений, которые имели для меня большой и грустный смысл, грубо срывая с души моей светлые покровы юношеского романтизма.

Много испытал я подобных разочарований. Знаю, что в этих мелких брызгах грязи немало смешного, но я и по сей день люблю одеть человека более празднично, чем он одет.

Допустимо, что в этом добром занятии я несправедлив и жесток к людям. Я понимаю, что если осла непосильно нагрузить даже драгоценными камнями, — всё равно ослу будет тяжело.

КЛОУН

Однажды, проходя коридором цирка, я заглянул в открытую дверь уборной клоуна и остановился, заинтересованный им: в длинном сюртуке, в цилиндре и перчатках, с тростью под мышкой, он стоял перед зеркалом и, ловкою рукой красиво приподнимая цилиндр, раскланивался со своим отражением на стекле.

Заметив в зеркале мое удивленное лицо, он быстро обернулся ко мне и сказал, улыбаясь, указывая пальцем на свое лицо и в зеркало:

— Я — я! Да?

Потом отодвинулся в сторону, его отражение в зеркале исчезло, он медленно провел рукою по воздуху и снова сказал:

— Ньэт я! Понимайт?

Я не понял этой игры, смутился и ушел, сопровождаемый его тихим смехом, но с этого момента клоун стал необычно и тревожно интересен для меня.

Был он англичанин, средних лет, с темными глазами, очень ловкий и забавный на арене, посреди черной воронки цирка. Его гладкое сухое лицо казалось мне значительным и умным, а звонкий глос всегда звучал для меня насмешливо, почти неприятно, когда клоун, играя на опилках арены, точно большой кот, выкрикивал искаженные русские слова.

После поклонов перед зеркалом я начал следить за ним, вертелся в антрактах перед узенькой дверью его уборной, наблюдая, как он мажет белилами свое лицо или стирает краски с него, сидя перед зеркалом. Что бы он ни делал — он всегда разговаривал сам с собою или напевал, присвистывая, какую-то песню, всегда одну и ту же,

Я видел, как он в буфете пил водку маленькими глотками, и слышал, как спрашивает буфетчика:

— Кторри шас?

— Двенадцатого десять.

— О, этот трудни. Ньэт трудни — оддин, дува, тири, чертири! Сами лёкки — чертири!

Он бросил на цинк стойки серебряную монету и пошел на улицу, напевая:

— Тири — чертири, тири — чертири...

Гулял он всегда один, а я ходил за ним, как сыщик, и мне казалось, что этот человек живет особенной, таинственной жизнью и смотрит на всё так, как я никогда не сумею. Иногда я пробовал представить себя в Англии; никем не понимаемый, страшно чужой всему, оглушенный могучим шумом незнакомой жизни, — сумел бы я жить, так же спокойно улыбаясь, в дружбе только с самим собою, как живет этот крепкий, стройный щеголь?

Я выдумывал разные истории, в которых англичанин играл роль благородного героя, уснащал его всеми известными мне достоинствами и любовался им. Он напоминал мне людей Диккенса, упрямых в злом и добром.

Как-то днем, проходя по мосту через Оку, я увидал, что он, сидя на краю одного из плашкоутов, удит рыбу; я остановился и смотрел на него до поры, пока он не кончил ловлю. Вытаскивая на крючке ерша или окуня, он брал его в руку, подносил к своему лицу и свистел тихонько в нос рыбе, а потом, осторожно сняв ее с крючка, бросал в воду. Надевая червяка, он что-то говорил ему, а когда из-под моста выплывала лодка, клоун снимал шапочку без козырька и любезно кланялся незнакомым людям, а когда ему отвечали — делал страшно удивленное лицо, раскрыв рот, высоко приподнимая брови. Вообще он умел и, видимо, любил забавлять себя.

Другой раз я видел его на горе, в садике около церкви Успенья; он смотрел на ярмарку, клином врезанную между Волгой и Окой, держал в руках трость и, перебирая по ней пальцами, как по флейте, тихонько насвистывал. С ярмарки и с Волги всплывал в жаркое небо глухой, спутанный шум чужой жизни. По грязной

воде, по радужным пятнам нефти тяжело ползали пароходы, баржи, лодки, доносился свист и скрежет железа, чьи-то широкие ладони мощно и часто хлопали по воде, а вдаль, за лугами, горели леса и в дымном небе неподвижно стояло тускло-красное солнце, лишенное лучей, плешивое.

Постукивая палкой по стволу дерева, клоун запел, тихонько и молитвенно:

— Оун, доун, лоун, дир...

Лицо его было грустно и серьезно, брови сдвинулись; странные звуки песни вызвали у меня какое-то боязливое настроение,— мне захотелось проводить этого человека домой, на ярмарку.

Вдруг откуда-то явилась сердитая шершавая собака. Она прошла мимо клоуна, села в двух шагах от него на пыльной траве и, протяжно зевнув, покосилась на него,— клоун выпрямился и, приложив трость к плечу, прицелился в собаку, как из ружья.

— Урр,— тихонько зарычала собака.

— Рр — гау! — ответил клоун на хорошем собачьем языке. Собака встала и обиженно ушла, а он оглянулся и, заметив меня под деревом, дружески подмигнул мне.

Он был одет щегольски, как всегда, — в длинный серый сюртук и такие же брюки, на голове блестящий цилиндр, на ногах красивые ботинки. Я подумал, что только клоун, одевшись по-барски, может вести себя на улице, как мальчишка. И вообще мне казалось, что этот человек, чужой всем, лишенный языка, чувствует себя так свободно в суете города и ярмарки лишь потому, что он — клоун.

Он ходил по панелям, как важная персона, никому не уступая дороги, сторонясь только перед женщинами. И я видел, что, когда кто-либо в толпе касался его локтем или плечом, он всегда, спокойно и брезгливо, что-то смахивал рукою в перчатке с того места, которого коснулся чужой. Серьезные русские и иные люди толкались беззаботно и, даже наскакивая на нос друг другу, — не извинялись, не приподнимали картузов и шляп вежливым жестом. В походке серьезных людей было нечто слепое, обреченное, — всякий ясно видел,

что люди торопятся и у них нет времени уступить дорогу другим.

А клоун гуляет беззаботно, как сытый ворон на поле битвы, и мне кажется, что он своей вежливостью хочет смутить и уничтожить всех на своем пути. Это — или, может быть, нечто другое в нем — неприятно заделало меня.

Разумеется, он видел, что люди грубы, понимал, что они походя оскорбляют друг друга грязной бранью, — не мог он не видеть и не понимать этого. Но он проходил сквозь потоки людей на панелях, как будто ничего не видя, не понимая, и я сердито думал:

«Притворяешься, не верю я тебе...»

Но я считал себя положительно обиженным, заметив однажды, как этот щеголь помог встать пьяному, которого опрокинула лошадь, поставил его на ноги и тотчас, сняв осторожными движениями пальцев свои желтые перчатки, бросил их в грязь.

Парадное представление в цирке кончилось позднее полуночи. Был конец августа; из черной пустоты над однообразными рядами зданий ярмарки сыпался мелкой стеклянной пылью осенний дождь. Мутные пятна фонарей таяли в сыром воздухе. По избитой мостовой гремели колеса пролеток, орала толпа дешевой публики, вытекая из боковых дверей цирка.

Клоун вышел на улицу одетый в длинное мохнатое пальто, в такой же мохнатой фуражке на голове, с тростью под мышкой. Взглянув вверх, в темноту, он вынул руки из карманов, поднял воротник пальто и, как всегда, не торопясь, но спорными шагами пошел через площадь.

Я знал, что он живет в номерах недалеко от цирка, но он шел в сторону от своей квартиры.

Я шагал за ним, слушая, как он насвистывает.

В лужах, среди камней мостовой, тонули отблески огня, нас обгоняли черные лошади, хлюпала вода под шинами колес, из окон тракторов буйными потоками лилась музыка, во тьме визжали женщины. Начиналась беспутная ночь ярмарки.

По панелям уточками плыли девицы, заговаривая с мужчинами, — голоса хриплые, отсыревшие.

Вот одна из них остановила клоуна; басом, точно дьякон, позвала его с собой, — он отступил, выдернул трость из-под мышки и, держа ее, как шпагу, молча направил в лицо женщины. Ругаясь, она отскочила в сторону, а он, не ускоряя походки, свернул за угол, в пустынную улицу, прямую, как струна. Где-то далеко впереди нас хохотали, шаркали ногами по кирпичу тротуара, болезненно взвизгивал женский голос.

Два десятка шагов — и я увидел при тусклом свете фонаря, что на панели возятся, играя с женщиной, трое рядских сторожей, — обнимают ее, мнут и тискают, передавая с рук на руки друг другу. Женщина взвизгивает, точно маленькая собачка, спотыкается, качаясь под толчками здоровых лап, и панель во всю ширину занята возней этих темных, сырых людей.

Когда клоун подошел вплоть к ним, он снова вынул трость из-под мышки и снова стал действовать ею, как шпагой, быстро и ловко направляя в лица сторожей.

Они — зарычали, тяжело топя ногами по кирпичу, но не давая дороги клоуну, потом один из них бросился ему под ноги, глухо крикнув:

— Хватай!

Клоун упал; мимо меня стремглав пронеслась растрепанная женщина, одергивая на бегу юбки и хрипя:

— Псы... Сво-очь...

— Вяжи, — командовал кто-то свирепым голосом. — Аг-га, ты палкой?

Клоун звонко крикнул какое-то чужое слово, — он лежал на панели вниз лицом и бил каблуками по спине человека, который сидел верхом на его пояснице, скручивая ему руки.

— О-о, дьявол! Поднимай его! Веди!

Прислонясь к чугунной колонне, поддерживавшей крышу галереи, я видел, как три фигуры, плотно сомкнувшись во тьме, уходят в сырую тьму улицы, уходят медленно и покачиваясь, точно ветер толкал их.

Оставшийся сторож, присев на корточки, зажег спичку и осматривал панель.

— Тиша! — сказал он, когда я подошел, — не наступи на свисток, свисток я потерял...

Я спросил:

— Кого это повели?

— Так, какого-то...

— А за что?

— Стало быть — надо...

Мне было неприятно, обидно, а все-таки, помню, я подумал, торжествуя:

«Ага?»

Через неделю я снова увидел клоуна, — он катался по арене пестрым котом, кричал, прыгал.

Но мне показалось, что он «представляет» хуже, скучнее, чем раньше.

И, глядя на него, я чувствовал себя в чем-то виноватым.

ЗРИТЕЛИ

Июльский день начался очень интересно — хоронили генерала. Ослепительно сияя, гудели медные трубы военного оркестра, маленький ловкий солдатик, скосив в сторону зрителей кокетливые глаза, чудесно играл на корнет-а-пистоне, и под синим безоблачным небом похоронный марш звучал, точно гимн солнцу.

Гроб, покрытый венками, везли огромные вороные лошади, они били копытами по булыжнику мостовой, почти в такт гулким вздохам большого барабана. Медленно шагали солдаты, в белых рубахах, в ярко начищенных сапогах, новенькие, точно вчера сделанные для этих похорон; над их темными лицами сверкали лучи штыков. Раскаленная солнцем, горела позолоченная медь пуговиц на мундирах офицерства, ордена на выпуклых грудях — точно цветы. За стройною массой белых солдат густо текла пестрая толпа горожан, кисейное облако пыли колебалось в воздухе, и всё было покрыто медным пением светлых труб.

Обыватели Прядыльной улицы высунулись в окна, выскочили за ворота, повисли на заборах, жадно любясь великолепным отъездом генерала в жизнь бесконечную. Они наслаждались даровым зрелищем в том настроении, которое всегда и невольно внушает наблюдающему за ними невеселую мысль о том, что все события мира совершаются для удовольствия бездельников.

Всё шло прекрасно, стройно и торжественно, вполне соответствуя праздничному ликованию июльского дня, и хотя хоронили человека, но в Прядыльной улице смерть была слишком привычным явлением, она не возбуждала ни грусти, ни страха, ни философических

размышлений; бедные похороны не являлись зрелищем увлекательным, а только углубляли скуку жизни, эти же, генеральские, подняли на ноги всех людей, от подвалов до чердаков.

Всё шло прекрасно, но — вдруг откуда-то выскочил дико растрепанный дурачок Игоша Смерть в Кармане, его растрепанная фигура испугала рыжую монументальную лошадь жандарма, — лошадь метнулась в сторону, опрокинула даму в лиловом платье и, наступив железным копытом на ногу сироты Ключарева, раздавила ему пальцы.

Суматоха развеселила зрителей, особенно смешно было видеть, как лиловая дама, солидного купеческого сложения, шлепнулась в пыль, навзничь, и, запутавшись в пышных юбках, повизгивая, безуспешно пытаясь встать, дергала толстыми ногами. Она, видимо, сильно испугалась и ушиблась, ее большое лицо побелело, глаза болезненно выкатились. Конечно, смех зрителей был неуместен, жесток, но — уж так издревле ведется — смешон упавший ближний людям, для которых весь мир — только зрелище.

Но смех умолк, когда увидали, что сирота Ключарев ползет к забору, волоча за собою раздавленную ногу, а из нее в серенькую пыль улицы течет ручей ярко-алой крови.

Кровь имеет свойство привлекать особенно напряженное внимание вечных зрителей, они всегда смотрят на нее особенным, молчаливо-жадным взглядом — это у них тоже древнее пристрастие.

И вот, позабыв об усопшем генерале, о купчихе, поверженной во прах улицы, зрители живо сгрудились тесным кругом около сироты, прижавшегося к забору, и, глядя, как он истекает кровью, как адова боль в раздавленных костях искажает его маленькое посившее лицо, они спрашивали его:

— Больно, Коська?

Морщась, то подгибая, то вытягивая изуродованную ногу, мальчик бормочет:

— Ух... Вот те — и раз! Вот и пошел на богомолье...

Он храбрился, перемогаясь, а зрители предвещали ему:

— Задаст тебе Гуськов...

— Ах ты, рбзиня чёртова! Чего тебе хозяин сделает за это, а?

И кто-то замечательно разумно сказал:

— Брось перед ним в пыль копейку, сразу увидит, а лошадь — не видал, прохвост!

Мальчик обиженно возразил:

— Я видел, да я упал, она ведь меня в живот лягнула...

Его окружили мальчишки, внимательно разглядывая окровавленную ногу; один из них — худенький, с голубыми глазами — кошачьим движением ноги забрасывал пылью темные влажные пятна крови. Стараясь спрятать кровь, он робко оглядывался, точно ожидал, что его побьют за это. Его товарищи хвастливо вспоминали о своих ранах — о порезах, ссадинах, ушибах и других молодецких увечьях, которые они получили в играх, драках и от внимания старших.

Сердобольные люди советовали Ключареву:

— Присыпь землей ногу!

— Надо паутиной, а не землей.

— Паутина — это от пореза.

Подошел хозяин сироты, переплетчик Гуськов, прозванный Биллиардмастером, человек небрежно и наскоро сшитый из неуклюжих костей и старой вытертой кожи, лысый, с прищуренными в даль глазами на пестром от веснушек лице, словно мухами засиженном.

— Так,— сказал он, спрятав руки за спину и глядя в забор над головою ученика.— Я тебя, сукин сын, куда послал? Я тебя за кожей послал али нет?

— Дяденька,— со слезами воскликнул Коська, прикрывая руками голову.

Кто-то посоветовал переплетчику:

— Ты с него и сними кожу-то!

Но другой зритель заметил:

— Не годится, тонка!

— Ну, что ж мне теперь делать с тобой? — вслух соображал Гуськов, задумчиво растирая волосатой рукой веснушки на щеке.— На что ты мне без ноги?

— Дяденька! — слезно взмолился сирота.— Я завтра выздоровлею...

— Давай деньги!

Коська извлек из кармана штанов смятую зеленую бумажку.

— Жевал ты ее, дьяволенок? — спросил переплетчик, расправляя бумажку, покачнулся, вонзил свое длинное тело в толпу зрителей и исчез.

Старушка Смурьгина, моя квартирная хозяйка, торговка семечками и пряниками, громко вздохнула:

— Вот они, хозяева-то!

Трусов, скорняк, человек серьезный и благочестивый, оборвал ее:

— А ты — помалкивай, старая халява!

Буян, пес Трусова, такой же солидный, как его хозяин, понюхал окровавленную ногу мальчика, поднял свой толстый хвост, оскалив зубы, задумался.

— Гляди, не цапнул бы он! — предупредил некий зритель толпу.

— Пшел!

Пса прогнали. Похоронная процессия уплыла за угол улицы, оттуда доносилась сухая дробь барабанов. Пыль улеглась. Кругленькое личико ребенка было измазано кровью, мокрые от слез, вылинявшие от боли глаза его уныло смотрели на изуродованную ногу, он трогал пальцами руки раздавленные косточки и, вздрагивая, шмыгал носом.

— В четверг, — бормотал он, — я бы на богомолье ушел, на Баранов ключ... Отпускал хозяин-то... Ах ты, господи...

— Завязать бы надо ногу-то, — посоветовала старушка Смурьгина и ушла.

Сирота, цапаясь за доски забора, попробовал встать на ноги, но, вскрикнув и схватившись за живот, упал.

— Ишь как! — сочувственно заметил один из толпы, а мальчик выл:

— Что я буду делать?

— Хромать будешь, — утешили его.

Становилось скучно. Первыми разбежались мальчишки, потом, один за другим, разошлись взрослые зрители, улица опустела, оголилась — Ключарев остался у забора один, маленькой кучкой пыльного тряпья.

На мостовую слетелись воробьи, голуби, со дворов

вышли, кудахтая, наседки и важные петухи, в домах застучали молотки жестяников, забарабанили тонкие палочки скорняков, сапожник Дрягин, солдат на деревянной ноге, угрожающим басом запел единственную песню, знакомую ему:

В семьдесят семом году
Объявил турок войну
На Россюшку на всю,
На матушку на Москву...

Скука стала гуще, тяжелее.

Я наблюдал и слушал всё это из окна подвала, из темной норы, где жила старушка Смурьгина. Утром, накануне этого дня, работая на пристани, я упал в трюм, вывихнул себе правую руку и разбил колено. Всю ночь не спал от боли, а теперь, сидя на подоконнике, смотрел на похороны, на зрителей и на сироту Ключарева — он лежал на другой стороне улицы, как раз против моего окна.

Когда зрители разошлись, я крикнул ему:

— Костя, ползи сюда!

Он сумрачно оглянулся, увидал мою голову над землей и, сморщившись, ответил:

— Больно — смерть как!

— Не можешь?

Он наклонился вперед и, упираясь руками в землю, попробовал ползти, но тотчас со стоном свалился на бок. Поплакал минуту, потом сказал, размазав слезы по лицу:

— Живот она мне... В больницу бы меня...

— Городового нет на углу?

— Городовой на кладбище ушел...

Он замолчал, подергиваясь.

Чьи-то толстые ноги в рыжих истоптанных сапогах поравнялись с моим окном, я крикнул:

— Эй!

Ноги остановились, ко мне молча наклонилось большое лицо в бороде из овчины.

— Мальчонка-то в больницу надо свезти.

— Ну? Вези!

— Не могу, сам болен.

— А я не с этой улицы...

Человек влажно закашлялся и ушел. Следующий обыватель отнесся к моему предложению несколько иначе — он подошел к мальчику и напутственно сказал:

— Добаловался, подлец? Тебя не в больницу надо, а в пруд, куда дохлых кошек кидают.

И, в сознании исполненного долга, не торопясь, исчез.

Было уже около полудня, июльская жара сгущалась; под прямыми лучами солнца трещал тес крыш, воробьи и голуби прятались в тень, а мальчик лежал на солнечной стороне на припеке, и, ярко облитый зноем, становился всё серее. Вытянув раздавленную ногу, подогнув здоровую, он плотно прижался к забору, перекладывая голову с ладони на ладонь и бормотал, как в бреду.

— Ты что, Костя?

— Так.

Но, помолчав, жалобно сказал:

— Когда Мишке Третьему кирпичом разбило палец на ноге, так он уж через день ходил. На пятке, а — ходил все-таки...

— И ты пойдешь...

Раза два он попробовал подняться, его маленькие пальчики втыкались в щели забора, но руки бессильно падали. Мне казалось, что я вижу, как распухает его нога, — вся ступня у него какая-то рыжая, точно кусок ржавого железа.

Он попросил пить, но улица была пустыня, даже дети куда-то попрятались от жары. Со дворов, из окон непрерывно истекал скучный, слишком знакомый шум трудового дня. Редкие прохожие солнечной стороны не обращали внимания на мальчика, думая, видимо, что он спит; к моим окрикам они относились равнодушно, считая их озорством бездельника. Те, которые шли моей стороной, тоже не внимали мне — большинство, очевидно, было «не с этой улицы», а остальные — слишком заняты своими делами. А мальчик всё жарился на солнце.

Мне тоже было не очень хорошо, мучила боль в плече и колене, и невыразимо терзало сознание бессилия. Так странно: в пятнадцати шагах от меня лежит человек, нуждаясь в немедленной помощи, мимо него ходят подобные ему и — не хотят помочь. Не хотят...

Несколько сотен людей живет в улице, все дома тесно набиты ими, над моей головой неумолчно возятся переплетчики, вся улица предо мною засорена признаками обилия людей. А я чувствую себя в пустыне и, несмотря на душную жару, в сердце у меня злой, раздражающий холод.

Маленький замызганный солдатик с медной кастрюлей в руке остановился около Ключарева, подробно расспросил его — что с ним случилось, сколько лет мальчику, кто и где его родители, посоветовал приложить к ноге лист лопуха и ушел, обещая мне:

— Я бутаря пришлю — он расстарается, это его дело!

Но, должно быть, он не нашел бутаря, а солнце накаливало улицу всё сильнее, мальчик лежал неподвижно и тихонько стонал.

Тощий боровак остановился у моего окна, похрюкал и, точно получив от меня спешное поручение, убежал, встряхивая ушами, повизгивая.

Проехал водовоз, расплескивая воду из бочки, покрытой мокрым мешком, я попросил его дать мальчику воды, но он ни слова не ответил, сидя на бочке деревянным идиолом.

Тогда я сердито, не щадя голоса, стал звать на помощь — это подействовало: за ворота выбежали люди, спрашивая друг друга:

— Кто орет? Где это?

Перед моим окном присел молодой скорняк с папирсой в зубах.

— Ты чего орешь?

Я объяснил, а он, выслушав меня, сообщил публике:

— Это Смурьгиной постоялец, крючник, видно — пьяный, лаетса: чего, говорит, мальчишку не свезете в больницу!

— А ему какое дело?

— Пьяный...

Сначала они говорили добродушно, но узнав причину крика — рассердились. Скорняк развеселил их, он незаметно для меня подошел сбоку и высыпал мне на голову пригоршню пыли, это очень рассмешило зрителей.

Сдержав желание изругать их, я начал убедительно доказывать, что нельзя бросать людей на улице, как собак, и что каждый человек, даже маленький, заслуживает сострадания.

— Верно говорит! — согласился со мной некто невидимый.

— Верно? Так сам бы и сбегал за полицией.

— Больной он, видишь ты!

— Больной, а — орет!

— В сам-деле, надо убрать мальчонка, а то придет полиция, потащит нас в свидетели...

— Против лошади — какой же свидетель?

— Тут — жандар!

— И против жандара — не полагается...

Я мотал головой, стряхивая пыль, и вдруг меня мягко ушибла струя холодной воды — это скорняк, увлеченный успехом шутки своей, вылил на голову мне целое ведро. Снова грянул смех.

— Ловко-о!

— Смотрите, как осердился!

— Ой, батюшки...

Я крепко обругал веселых зрителей, это не обидело их, а кто-то примирительно заметил:

— Чего твякаешь? Тебя не помоями облили, а чистой водой...

Это меня не утешило, ругаясь, я продолжал убеждать их:

— Черти клетчатые — ведь вы же понимаете, что мальчонку надо в больницу свезти? Ведь антонов огонь может прикинуться!

Мне возражали:

— Ну — понимаем! А ты что за начальство? Морда!

И снова кто-то, незаметно подкравшись, высыпал на мою мокрую голову горсть пыли, и снова все смеялись весело, как дети, притопывая, всплескивая руками,

а я сполз с подоконника и свалился на койку, чувствуя себя раздавленным шутками.

За окном говорили, успокаиваясь:

— Горяч больно!

— Из пожарной бы кишки полить его...

— Кто бы свел мальчонку в участок?

— В аптеку?

— И то! Положить на крыльце, а уж аптекарь распорядится.

— Эй, Коська, вставай! Можешь идти?

— Обмер...

— Надо нести его.

— Это тебе, Саша, надо!

— Отчего — мне?

— Там кабак рядом...

Засмеялись.

— Ну, ладно, я снесу, — согласился Саша и заговорил ласково:

— Эх ты, кусок... Ну, ничего, не пищи! То-то вот, — озоруете вы, материны дети, а я возись с вами ни за что ни про что...

Словно он каждый день таскал в аптеки изуродованных мальчиков.

Зрители разошлись, и снова на улице стало тихо, точно на дне глубокого оврага.

Воскресный вечер. Красноватые отсветы блестят на стеклах окон единственного дома, видного мне из подвала. Дом — в два окна, старенький, осевший к земле, он похож на нищего, который утомленно присел между двух растрепанных заборов. На лице его застыло сердитое уныние.

По улице бегают дети, поднимая облака розовой пыли; где-то близко играют на гармонике, рычит пьяный ломовой извозчик, костлявый великан, по прозвищу Сушеный Бык.

Примостившись на подоконнике, я слушаю чью-то ленивую речь:

— От запоя молятся ему потому, что он сам пьяница был...

— Ну-у,— недоверчиво тянет другой голос,— это не резон для святости; эдак-то у нас половина улицы святых...

Первый голос сердито прерывает невера:

— А ты — слушай! Идет он, пьяненький, рано утречком домой, а солдаты христианам головы рубят...

— Чьи солдаты?

— Ихние...

Голоса звучат тягуче, в каждом слове чувствуется клейкая русская ленца. И солнце заходит лениво, как будто ему известно, что завтра оно будет светить тем же людям, услышит те же речи.

Маленькая девочка идет мимо моего окна и, отирая слезы, шепчет громко:

— Ведьма... погоди!

— Рубят, значит. Поглядел Вонифантий, поглядел, а был он доброй души человек, хотя и богач...

— Что ж, и между богачами добряки есть, примерно — Троеруков, Петр Иванов...

Какая-то женщина просит:

— А ты не перебива-ай!

— Я — к слову.

— Да. Поглядел да и говорит: «Ах вы, говорит, та-кой-сякой народ! За что вы этих избиваете насмерть? Я, говорит, сам во Христа верую!» Тут его сейчас схватили и — р-раз! — тоже голову напрочь. А он преспокойно взял ее за волосья, положил под мышку себе и пошел по улице и пошел!

— Т-га? Пошел?..

— Так и в житии написано?

— А то сам, что ли, я придумал!

— Н-да! Эдак — не выдумать. Ах ты, боже мой! Поглядеть бы раз в жизни на эдакое чудо, а то — живешь, живешь...

Рассказчик продолжает:

— Тут солдаты эти и все зрители, испугавшись до смерти, бросились бежать кто куда и тоже уверовали!..

— Уверуешь!

— А он идет и поет — Христос воскрес!

— В нашу бы пору что-нибудь эдакое...

— Наша пора — что? Слава те господи! А тогда — чихнул не так — башку долой! Строгость была.

— Человек — нипочем, дешевле дров...

— Дай-кошь покурить...

Замолчали. Над криками детей грянул бас Сушеного Быка:

— И я те дам пудовку в маковку!

За моим окном снова начинается беседа, знатока римской жизни спрашивают:

— А как тогда — богаче жили люди?

— Ровнее. Особенных богачей не было, ну, и бедность не позволялась.

— Не позволялась? Как же это?

— Такой закон был.

— Умный народ...

Женщина спрашивает:

— А сказывается — христиане бедные были?

— Это — после.

— После чего?

— После турецкого разорения. Как турки Царьград забрали, тут пошло разорение... разорился весь народ и принял нашу веру...

— Ага! Так-так-так...

Веселый женский голос крикнул:

— Смотрите-ко, — кого это Гуштин везет?

По улице шагала пегая лошадь, влача за собой разбитую телегу, на телеге сидел пьяненький ломовик Гуштин, весело помахивая вожжами, спиной к нему торчал полицейский, а между ними помещался тесовый, окрашенный охрой небольшой гроб.

— Гуштин — кого везешь? — спросил голос, рассказывавший о мученике Вонифатии.

Старичок извозчик охотно отозвался:

— Вашего... этого — сиротку...

— Коську?

— Его.

— Неужели — помер?

— А — как же? Живого не схороним, не бойсь!

Телега проехала. Откуда-то выскочил Буян, понюхал землю, фыркнул и, поджав хвост, скрылся в щель забора. Мальчишка кричал:

— Братцы — это Коську Ключарева хоронючь!..
— Н-да-а,— говорили у ворот,— помер, значит, мальчонко...
— А ведь смиренный был!..
— Больница!..
— Туда — только попади, а уж на кладбище они сами отвезут...
— Дешевы люди...
— Им что, докторам? Им бы жалованье в срок получить...
И снова раздался мерный голос:
— А то еще есть житие Кирика-Улиты...
Солнце скрылось, красные отсветы в стеклах поблекли, и потемнела бесконечная голубая печаль небес.

ТИМКА

За окном моего чердака в нежных красках утренней зари прощально сверкает зеленоватая Венера.

Тихо. Старый, тесно набитый жильцами дом огородника Хлебникова мертво спит; это жалкий дом — серая развалина в два этажа, со множеством пристроек. Деловитый, купеческий город выгнал его на окраину, к полям орошения, он торчит среди отбросов города безобразной кучей дерева, одиноко и печально. В нем живут люди, никому — да и себе самим — не нужные, жизнь измяла их, высосала и выплюнула в поле, вместе с содержимым выгребных ям.

Все они ворчат, ноют, жалуются; ругают полицию, городскую управу, купечество, а всего больше и злее — друг друга. Чем они живут — нельзя понять, но кажется, что они высасывают друг из друга остатки жизненных сил и — этим сыты. Все они — безличны, их безличие особенно подчеркнуто тем, что многие женщины ходят в мужских пиджаках, а мужчины — в женских кофтах и кацавейках. Молодежи среди них — нет, и нет детей старше пяти, шести лет, — семилетние уже отправлены куда-то в город, «в работу», а маленькие — незаметны в доме, они, точно крысы, прячутся по углам, пугливые и всегда голодные. Только бывшая актриса Орлова, нищая и ростовщица, не отдала «в работу» своих внучат-погодков Зинку и Сашку, сорванцов, которые совершенно одичали и возбуждают у жителей Хлебникова скрытую ненависть и явный страх. Их с наслаждением избивали бы, но — нельзя: почти все должны старухе Орловой, в кабале у нее.

Смеются квартиранты Хлебникова редко и всегда злобно; смеются над парализным чиновником Ворон-

цовым, который девять лет хлопочет о восстановлении его в правах наследства к имуществу двоюродной сестры баронессы Торшоу; над чистенькой и аккуратной, точно кошка, старушкой Бердниковой, дочерью интенданта, умершего под судом, — она считается полуумной, потому что тоже всё хлопочет о восстановлении честного имени своего отца; смеются над большим дьяконом Любомировым, расстриженным «за незаконную любовь» — как он говорит, «за убийство в драке» — как утверждают другие.

Дьякон — огромный человек, очень волосатый, с маленькими глазками кабана и зубами лошади; он молчалив, задумчив и кажется смиренным человеком, но если при нем нарушается то, что он считает «порядком жизни», — он говорит могильным голосом:

— Взбучку дать!

В доме Хлебникова только один человек живет всем слышной и всеми видимой работой, — это бондарь Кешин, маленький крепкий человечек лет пятидесяти. Он такой же чистый и порядочный, как старушка Бердникова, головка у него маленькая, круглая, светло-желтой кости, ее красиво окружает венчик седых кудрей, лицо — розовое, точно яблоко анис, и на нем серьезно блестят спокойные, разумные глаза. Говорит он мало, высоким бабьим голосом, и носит жиденькие, длинные китайские усы, концами вниз, — это делает его розовую мордочку умильной. Он просыпается раньше всех в доме и тотчас начинает колотить деревянным молотком по бочкам, кадкам, лоханям, — точно бьет в большой барабан.

Вот и сегодня — еще не погасла Венера, а уж меня разбудил непрерывный, назойливый звук: пам-пам-пам; пам-пам!

Недавно бондарь Кешин нанял подручного, двадцатилетнего хромого парня, с комической маской вместо лица; скуластый, как монгол, он был не курнос, как бы следовало, а украшен прямым и длинным носом, мягким, точно хобот, и смешно подвижным. На смуглой коже его лица ярко, точно рана, выделялись крас-

ные, всегда влажные губы, глаза у него овечьи, цвета бутылочного стекла. Угловатая голова густо заросла черной жесткой щетиной, ремешок на лбу вздымает ее дыбом. Лицо смешное и неприятное, тело — изломанное, левое бедро перебито, он ходит падающей походкой, закидывая левую ногу далеко в сторону.

Он одет в кумачную рубаху и синие нанковые штаны. Зовут его — Тимка.

На другой же день своей работы у бондаря Тимка привлек к себе общее внимание всех жителей хлебниковского дома, — утром, как только в огороде появились бабы-работницы и запели модную песню:

Некрасива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это!

— на дворе Хлебникова зазвенел высокий тенор, передразнивая огородниц:

У верблюда есть гнездо,
У коровы — дети,
У меня нет никого,
Никого на свете!

Сначала бабы, согнувшись в три погибели и ползая между гряд, пели жалобную песню, не обращая внимания на ядовитые четверостишия бондаря, но он надоедал им, точно овод.

Я с пятнадцати лет
По людям ходила

— тянут они свою панихиду, а Тимка, постукивая молотком, дразнит:

Мне, девице, сорок лет,
Я вполне невинна...

Чистенький старичок Кешин, бросив работать, присел на обрубок дерева и засмеялся мелким, всхлипывающим смехом, восклицая:

— Ах ты, шутило, глядите-ко, ловко как!

Из окон дома высунулись серые измятые рожи, на

двор вышли встрепанные, полуодетые люди, все улыбались, разглядывая Тимку, вслушиваясь в его пение, а он покачивался, ковыляя вокруг большой дубовой бочки, и пел, ловко и гулко постукивая молотком:

Я курноса и ряба,
Маленького расту...

— Чтоб те разорвало, окаянный! — крикнула какая-то огородница.

Это искреннее восклицание вызвало всеобщий восторг слушателей, все захохотали, и на грязном дворе стало необычайно весело. А тут еще из-за Панинской рощи над полями орошения взошло солнце и зажгло ярким огнем выгоревшие стекла окон дома и парников.

В воздухе повеяло праздником; на дворе оживленно заговорили, и, вероятно, кое-кому показалось, что родился новый день, приятно непохожий на все прожитые.

— Вот — жулик! — говорит дьякон, с восхищением разглядывая Тимку. — Кешин! Где ты достал такого?

— Сам пришел, — сказал старый бондарь, усмехаясь и поглаживая усы.

А с крыльца раздался сердитый хозяйский вопрос: — Чего это вы ржете?

Там стоял Хлебников, маленький, толстый, в сером пальто, похожем на арестантский халат. Его рыжеватые брови вздрагивали, как всегда, когда он был не в духе, пальцы рук, сложенных на животе, быстро шевелились.

Тимка разогнулся, взглянул на него овечьими глазами и дерзко запел:

Посмеялся мой подлец
Над клятвами своими!
Он — с одной мне изменил,
Я ему — с троицы!

Снова все дружно захохотали, даже огородницы ответили на этот хохот слабеньким, смущенным эхом.

А Хлебников круто повернулся и ушел в сени, громко сказав:

— Урод.

Вскоре стало ясно, что Тимка привлек к себе внимание всех жителей дома Хлебникова, — внимание, за которым чувствовалась даже как будто симпатия к некрасивому певцу.

Вечерами, когда жители, по обыкновению, собирались у ворот посплетничать до ужина и до сна, дьякон просил Тимку:

— Ну-ко, спой чего-нить сурьезное!

— Какое — сурьезное? — спрашивал Тимка.

— Ну, сам знаешь, — пояснял дьякон.

Хромой, прикрыв глаза, запевал удивительно чистым и высоким голосом:

Два разбойничка вдоль Волги идут,
С камня на камень попрыгивают...

Это выходило у него очень хорошо, как-то так, что все понимали: разбойники — хорошие, веселые ребята!

А навстречу им — молоденький бурлак,
Он идет, горюн, прихрамывает.

Бурлак — замученный такой, лицо тупое, глаза сонные, — без надежд парень.

— Хорошо поет, — говорит актриса Орлова, опускающая долу свою седую лохматую голову.

— Молчи, — советует дьякон, и все слушают безмолвно, неподвижно.

Заходит солнце, в поле, на холмах мусора, лежат красивые отсветы зари, раскаленно сверкают куски жести, стекла. Висят над полем пурпуровые клочья облаков, вдали синей тучей приникла к земле роща. Тихо.

Хромой стоит, прижавшись спиной к веревке ворот, его смешное лицо как-то вытянулось, расправилось, стало приятнее; его глаза прикрыты, он закинул длинные свои руки за шею, выставив локти, выгнув грудь; он поет удивительно легко, точно жаворонок.

Бурлак говорит разбойникам:

В белом свете — ни души у меня,
Только две сестрицы родные,
Одна сестра — моя горькая Нужда,
А другая — Недоля моя!

— Ишь ты,— вздыхает дьякон, а Орлиха снова бормочет:

— Хорошо, очень хорошо!

Тимка не обращает внимания на сочувственный шёпот, он, кажется, готов петь до утра.

Когда он кончил песню, дьякон сказал, почему-то очень сурово:

— Что же ты, дурачина, обручи набиваешь? Тебе надобно в хор поступать...

Тимка позевнул и отозвался:

— Сопьешься там. Певчие пьют завсегда.

— Имей характер! С таким голосом нельзя дурака валять. Учиться надо.

— Так я — учусь,— равнодушно сказал Тимка.— В воскресную школу хожу по праздникам. Там нас барыня учит, Марья Тимофеевна, так у нее голосище — куда лучше моего. Я перед ней — котенок!

Он говорил о барыне с оживлением, которое трудно было предполагать в нем, но его никто не слушал, кроме старика Кешина,— старый бондарь, сидя на лавке, разглядывал подмастерья озабоченно и серьезно, точно вещь, которую собирался купить. Вдруг над головою Кешина распахнулось окно, и раздался голос Хлебникова:

— Вы что же, братия, забыли, что теперь идет час всенощной службы, ведь ныне — суббота. Невежи, бесстыжие рожи! Я молиться встал, а у вас тут... а ты, парень, ая-яй! Не зря тебя господь наказал, болвана...

Окно с треском захлопнулось, все молчали.

— Хозяин? — спросил Тимка.

— Хозяин,— сказал дьякон, а Орлиха прибавила, искривив суровое свое лицо:

— Богомолец наш.

— Пойду спать,— объявил Тимка и спокойно, не спеша, ушел во двор.

— Талант,— тихонько сказала Орлиха вслед ему и шумно вздохнула.

Вокруг — очень грустно; поле, засоренное разным хламом, вонючий овраг, вдали — черная роща и неф-

тяные цистерны, всюду протянулись бесконечные заборы. Кое-где сиротливо торчат ветлы и березы.

Ни одного яркого пятна, всё выцвело, слиняло, небо испачкано дымом химического завода, а в центре этой бескрасочной жизни — грязный, полусгнивший дом Хлебникова; у ворот его молча сбились тесной кучей отжившие люди.

Тимка быстро подружился с огородницами, и бойкие, бесстыжие бабы, окружая его, точно овцы пастуха, относились к нему с чувством, близким почтению. Забавно было видеть, с какой завистью они заглядывали в рот ему, когда он пел свои хорошие песни. Их старшая, костромичка лет пятидесяти, крупная и сильная, с кумачным лицом и наглыми глазами, просила его певуче, слащаво:

— Ну-ко, спой-ко ты нам, соловеюшко наш хроменький!

Он охотно пел, и огородницы наперерыв предлагали ему свои бабьи услуги — починить рубаху, выстирать ее. Он даром чинил квартирантам Хлебникова лохани, кадки, ведра, но во всем, что делалось им, не было заметно увлечения, он относился ко всему — удивительно равнодушно и жил точно во сне.

Говорил мало, неохотно и неумело, — всегда что-то не то, чего ждешь. В общем Тимка был фигура невеселая, но всё же до него люди в доме Хлебникова жили сердито и мрачно, а теперь — с утра Тимка передразнивает огородниц, целый день около него вертятся и орут внучата Орловой, хохочут жители, а Кешин, неутомимо набивая обручи, как бы руководит всеми звуками, но остается недосягаем волнениям, вносимым Тимкой.

По вечерам, во дни плохой погоды, Тимка является ко мне на чердак пить крепкий калмыцкий чай с баранками и слушать чтение стихов. Стихи он любит, но читать их сам не репается, хотя и хорошо знает грамоту.

— А ловко складено,— говорит он, выслушав стихотворения.

— Возьми, почитай!

— Нет, не надо...

— Почему же?

— Больно много написано, до середины дочтешь — начало забудешь.

— Да ведь здесь почти на каждой странице особое напечатано.

— Нет, не надо,— упрямо твердит Тимка.

У него в зеленом сундучке, расписанном пунцовыми цветами, накоплено много «песенников» — листовок, но они ему не нравятся.

— Не те песни,— говорит он.

— А тебе какие нужно?

— Получше.

Он сам довольно легко и ловко подбирает рифмы для сатирических четверостиший, которыми дразнит огородниц; бабы уныло поют:

Куплю на копейку я спичек,
В горячей воде разведу.

А Тимка тотчас сочиняет:

Купи мне на кофтычку ситчик,
С тобой куда хошь я пойду...

— Зачем ты их дразнишь? — спрашиваю я.

— Так себе,— лениво говорит он.

— Ну, а все-таки?

— Ничего, съедят. Не люблю песен ихних, воют, воют, а всё врут. Песнями врать не надо, на то — сказка есть.

Покачивая щетинистой головою, он ухмыляется, в его овечьих глазах блестит насмешливая нежность.

— Вот я — некрасивый, да еще и хромой, а бабы — любят меня, будто я самый красавец. Ей-богу! Мне даже стыдно бывает через это. Один раз я спросил одну такую: «Чего ты ко мне жмешься, коли я некрасивый?» А она говорит: «Некрасив, да по сердцу!»

И, ухмыляясь еще более широко, он уверенно говорит:

— Это они меня — за песни. Только — врут они всё: я — такая, я — эдакая, судьба моя горькая, а все — одинаковы, все одного ищут. Я знаю.

Он — не хвастает, огородницы любят его, уже не раз я видел, как они обнимают его за крышами парников и в группе ветел, битых громом, я знаю, что они ловят его наперебой и мучаются, ссорятся от ревности.

— Видал ты, — спрашивает он, шмыгая длинным, смешным носом, — к хозяину моему ярославка приходит, полотнами торгует? Старик живет с ней, блудня, а она уж мне подмигивает, подлая! Я ее отобью у него.

— Зачем?

— Так.

— Обидишь старика.

— Ничего, съест, — равнодушно говорит Тимка.

— Тебе чего хочется? — спрашиваю я.

Он осматривает стол сытыми глазами.

— Спасибо, ничего не хочу.

— Нет, ты не понял меня! Тебе чего от жизни хочется?

— То есть — как это?

— Ну — в другой город уехать, богатым быть, жениться на красивой, учиться?

— А тебе на что это знать? — спрашивает он, подумав.

— Просто — интересуюсь.

— Ну... Чего я в другом городе найду? Бондари богато не живут. Девушка и здесь найдется в свой час.

Иногда он холодно рассудителен, точно старик, но чаще кажется мне человеком, душа которого еще слепая, не прозрела да к тому же и заперта, как птица, в тесной клетке.

В школе его интересует больше всего барыня, у которой «голосище».

— Вроде — как бас, возьмет низко, так даже гул по горнице!

— Она чему учит?

— Как — чему? Петь. Она, брат, говорит мне, что если я выучусь по нотам, так мне тыщи дадут.

— А еще чему учат там?

— Ну... разному. Писать, читать. Всего скушнее —

география. Всё — города разные, народы. Один город называется — Тумбукту. Ей-богу! Поди-ка — врут, нет такого города...

В сумраке вечернем его лицо становится благообразнее, одухотворенней. Говорит он со мною охотно, но у него нет слов, которые надолго запали бы в память сердца.

Когда я прошу его спеть, он садится к окну и, глядя в поле широко раскрытыми глазами, поет особенно старательно, особенно четко, рисуя гибким голосом всё, о чем говорит песня.

И в этот час мне почему-то бывало очень жаль его.

Прекрасно чувствуя всё, о чем поет, Тимка не видит, не понимает горя людей, окружающих его, и когда я, с трудом, навожу его на беседу о жильцах Хлебникова, он равнодушно отталкивает меня ленивыми словами:

— Ну, какие они люди! Мусор. Не работают. Тут только Кешин... он хоть около бога живет, четьк-ми-нею читает.

И, покачивая длинным носом, облизывая губы тонким языком, говорит уверенно:

— А бабу эту я у него отобью! Не больно молода, а хорошая баба. Отобью.

Потом снова начинает песню. В его песнях всегда кто-то куда-то идет, кого-то любит, тоскует, и все люди песен — разбойники, девицы, бурлаки — такие хорошие, вдумчивые. А сам Тимка — никуда не хочет идти, ни о чем не тоскует и, кажется, не думает ни о чем.

Иван Лукич Хлебников возненавидел Тимку упрямой, необъяснимой ненавистью старого козла.

Хлебников — человек толстенный, но нездоровый, дыхание у него тяжелое, со свистом, лицо землистое, точно у покойника на второй день смерти, но — это очень бойкий и деятельный человек.

Тревожно благочестивый и всегда озабоченный несчастиями дома, города, мира, он находит десятки причин, по силе которых — нельзя петь песни.

— Эй ты, хромой прохвост,— орет он сильным голо-
сом, выскакивая по утрам на крыльцо нечесаный, не-
мытый, в сером пальтишке, заменяющем халат.— Ты
чего орешь? Ночью в городе пожар был, три дома сго-
рело, люди в слезах, а ты распустил глотку...

— Отстань,— говорит Тимка.

— Как это — отстань? Я что говорю,— пустяки,
шутки?

И Хлебников набрасывается на Кешина:

— Семен Петров — ты что же? Ты человек разум-
ный, ты его учи.

— Я не могу учить чужого человека,— говорит
Кешин кротко, но как-то подзадоривающе.— Кабы он
мне сын был, а то — племянник и прочее, пятое, седь-
мое...

— Ах, господи! — горестно изумляется огородник,
закатывая под лоб маленькие беспокойные глазки.

Он, к сожалению, читает по утрам местный «Лис-
ток», и у него, кроме канунов праздников, всегда
имеется множество оснований запрещать пение: похоро-
ны известных людей, крушение поездов, слухи о пло-
хом урожае хлеба, болезни высоких особ и разные
песчатья на суше и на воде.

— Тимка, окаянная душа! — неистово орет он, вы-
сунувшись из окна и размахивая газетой.— Третьего
дня Исая Петров Никодимов скончался, первейший
благодетель города и кавалер орденов, его сейчас от-
певают в соборе в присутствии всех именитых людей
и губернатора,— не стыдно тебе, лубочная рожка?

Тимка — поет.

— Ты бы, Тимоха, тово, уступил бы и прочее, пя-
тое, седьмое...— осторожно говорит Кешин, когда вой
домохозяина надоест ему.

— Ничего, съест,— бормочет Тимка.

Хлебников трясется, топает ногами, лицо у него
синее, глаза выкатились. Он доходит в гневе до того,
что начинает швырять в хромого кусками обручей,
палками, но это не возмущает Тимку; бросив работу,
певец удивленно смотрит на огородника и потом, сог-
нувшись, хлопнув себя по коленям ладонями,— смеет-
ся, говоря:

— Вот — домовой!

— Не дразни,— советует Кешин негромко и — кажется — неохотно.

— Да я его не трогаю,— спокойно говорит Тимка, принимаясь за работу.

А Хлебников, еще более раздраженный этим спокойствием, крикливо жалуется дьякону, задыхаясь, размахивая руками:

— Отец,— ты что же глядишь, ты должен унять его...

— Взбучку дать надо,— рычит дьякон гробовым басом, но когда Хлебников уходит, он грозит вслед ему волосатым кулаком и говорит:

— Фарисей.

И советует Тимке:

— Ты ему, другой раз, повеселее спой!

Все жители Хлебникова с величайшим интересом наблюдают, как, день за днем, растет ненависть огородника к хрому бондарю,— чуть только на дворе зазвучит сильный голос хозяина — отовсюду из углов, из окон высовываются встрепанные головы, напряженные, измятые рожи.

Никто не осуждает Хлебникова, никто не спрашивает его о причинах ненависти к Тимке, все только любят ее как забавным представлением, а некоторые поощряют хромого, науськивая его, как собаку:

— Ты про него спой!

— Чего про него споешь!

— А ты — придумай!

Только дьякон спросил однажды Орлиху, подругу своей жизни:

— Что это он воюет против мальчишки?

Умная и злая актриса объяснила, пожевывая:

— Пришел срок,— он, может, всю жизнь ждал случая, на ком зло сорвать, а по плечу ему — никого не было. Теперь нашел подходящего человека и утешается...

Дьякон промолчал, видимо, не поняв старуху, а мне

ее слова показались верными. Тимка же как будто хвастался отношением Хлебникова к нему:

— Здорово не любит он меня, видно — встал я ему поперек сердца!

— А что он за человек, по-твоему? — спросил я.

— Дурак человек, — ответил Тимка, не раздумывая.

— Как ты думаешь — за что он тебя не любит?

— Больно мне нужно думать о нем, — равнодушно сказал Тимка и звонко запел:

Метель-вьюга-а...

Кешин поглядел на него, на меня, усмехнулся и погладил усы.

Эх, — метель-вьюга в поле стелется

— поет Тимка, —

Идет Дуня за околицу,
На дороге на проезжую,
Под березы, под столетняя-а!

— Завыл, волк! — кричит Хлебников из двери сарая.

Отовсюду на голос Тимки выползают оборванные бездельники, забытые люди, а огородник — неистовствует, кричит Кешину:

— Семен Петров, ты человек благочестивый, — как же ты греха не боишься? Василиса Яхонтова вторые сутки разродиться не может, а он...

— Перестал бы, Тимоха, — говорит Кешин. — Что сердись зря?

— Никто, кроме его, не сердится, — правильно замечает подмастерье и — поет, а мне кажется, что если б его только хвалили, он пел бы хуже. В воротах явилась и стоит избочась торговка полотном, за спиною у нее тяжелый узел, в руке железный аршин. Ее лыковое лицо без бровей напряжено, губы приоткрыты, точно у птицы, которая хочет пить.

— Сапог нет у подлеца, — кричит Хлебников, — штаны завтра сваятся...

Тимка задорно поет:

Эх, ждала я тебя сорок ночей,
Ожидала — не дремала, не спала,
Черны думы горько думала,
Истомила свою душеньку!

Кешин, помахивая молотком, идет к воротам, говоря:

— Здорово, Прасковья Филипповна! Каковы дела?

Торговка полотном приходила к бондарю аккуратно каждое воскресенье, а иногда и в будни; они запирались в комнате Кешина, Тимка кипятил им самовар и отправлялся в огород, к бабам,— они жили там в дощатом сарае.

Иногда торговка выглядывала из окна, поправляя ловкими руками встрепанные волосы и прислушиваясь к чему-то. Ее круглые вороватые глаза смотрели на всех и на всё нагло и бесстыдно.

Нередко Кешин приглашал Хлебникова, и тогда на двор из открытого окна падали обрывки солидных речей.

— Ефрем-от Сирин до Златоуста жил али после?

— Точно — не знаю этого.

И всё у них шло хорошо, скромно, аккуратно, но однажды поздно вечером, когда все жители Хлебникова улеглись спать, а я еще сидел у ворот, ко мне подошел Тимка и сказал, немножко хвастливо:

— Уговорился с ней.

— С кем?

— С ярославской. Завтра ночью у нее.

— Узнает Кешин — рассчитает тебя.

— Ну, так что!

Помолчал, покачал головой и вздохнул:

— Беда!

— Какая?

— Так.

И с явным удивлением заговорил тихонько:

— На что мне она, торговка эта? Ведь сыт я,— огородницы меня любят, которая хошь. А — не нра-

вится мне хозяин: зачем он с Хлебниковым в дружбе? За глаза — поносит его, ругает, а сам в гости зовет... Ну, так я его тоже обману!

— Зря ты делаешь это.

— Конечно — зря! — согласился Тимка.

Над полем висели черные клочья облаков, между ними, в синих просветах, блестят круглые звезды. Где-то отвратительно воет собака. Тихонько просвистела шелковыми крыльями ночная птица.

— Скушно, — сказал Тимка. — Пойду спать...

На дворе послышался голос Кешина:

— Ты — съезди.

— Надо, — кратко молвила торговка.

— Дом — хороший. Прямо над рекой. И сад. Двенадцать яблонь.

— Ну, прощай.

За ворота вышла торговка, кутаясь в шаль; Тимка встал и пошел рядом с ней, спрашивая:

— Венчаться уговаривает?

Она не ответила, поглядев на меня и не останавливаясь.

— Старый чёрт, — сказал Тимка, погружаясь в сумрак.

— Тише, — внятно отозвалась женщина. — Ты этим — не шути, это дело серьезное для меня...

Над моей головой открылось окно, высунулся Хлебников в белой рубахе и забормотал:

— Это кто пошел, а? Кто?

Он сейчас же исчез, а через минуту выскочил за ворота в одном белье и, приложив ладонь ко лбу, наклонившись, стал смотреть вслед паре, тихонько уходившей вдоль забора, по медным пятнам луны. Я встал и пошел во двор, но огородник обогнал меня, трусцой подбежал к окну Кешина и застучал в стекло.

— Семен Петров — выдь-ка!

Потом оба они снова побежали за ворота, и Хлебников говорил, захлебываясь словами:

— То-то! У эдаких совести нет...

Кешин на бегу спотыкался и мычал.

Они долго стояли у ворот, глядя вдаль и разговаривая шёпотом, только Кешин дважды громко сказал:

— Так...

Потом он же внятно и спокойно выговорил:

— А пожалуй, дождик будет ночью.

Хлебников ушел первый; проходя мимо крыльца, за которым я стоял, он бормотал:

— Дурак...

Потом, не спеша, прошел к себе чистенький бондарь, вздыхая по пути:

— О господи... господи!

Я нашел работу и, уходя из дома на рассвете, возвращаясь усталый поздно вечером, потерял возможность наблюдать ленивенькое течение жизни в доме Хлебникова. Мне даже казалось, что она стоит на одном и том же месте, как вода в омуте, где не водятся никаких чертей и нельзя ожидать значительных событий.

Но вдруг эта жизнь разрешилась темной драмой.

В августе, когда на огородах копали свеклу, брюкву и репу, суток двое непрерывно, днем и ночью, шел дождь, то — ливнем лил, то — сыпался по-осеннему настойчиво, мелкий и холодный. К утру третьих суток дождь снова хлынул потоками, оглушительно бил гром, сверкали страшные синие молнии, а на рассвете тучи точно рукою смахнуло, и на чисто вымытом небе празднично расцвело удивительно яркое солнце.

В огород вышли голоногие бабы, подобрав юбки до колен; из окна моего чердака я слышал их веселый хохот, визг, стук железных лопат, отвратительный скрип несмазанного колеса тачки.

Но вдруг все звуки исчезли, точно утонув в серебряных лужах, между гряд. Я шел по двору, на работу в город, когда меня ударило это неожиданно наступившее молчание и затем, через несколько секунд, пронзительный бабий визг:

— Девоньки-и — кричите-е!

И десяток голосов сразу создал целый вихрь испуганных криков; по грядам из огорода на двор бросились две девушки, одна кричала:

— Иван Лукич!

А другая:

— Батюшки!

Я бросился в огород,— там, у забора, около парников, в раскисшей земле лежал вниз лицом Тимка, плотно облепленный мокрой рубахой. Солнце, освещая влажный кумач на его костлявой спине, придавало материи жирный блеск свежесодранной кожи. Левая его рука, странно изогнувшись, пряталась под грудью, закрывая ладонью лицо, правая откинута прочь и утонула в грязи, торчал только мизинец, удивительно белый.

За спиной у меня раздался густой голос дьякона:

— Это — не молнией, а — лопатой, вот она, лопата!

Босою отекшей ногой он трогал замытую в грязь лопату и, мрачно надувшись, смотрел на Хлебникова, который стоял рядом с ним в пиджаке, в подштанниках и одной галоше.

— Не тронь,— крикнул Хлебников.— До полиции ничего нельзя трогать!

Дьякон поднес к его лицу огромный красный кулак и громко сказал:

— Это твое дело!

— Чего-о? — взвизгнул огородник, подпрыгнув. — А ты понимаешь, что сказал, а?

Дьякон угрюмо отошел в сторону, а бабы, наваливаясь одна на другую, бормотали:

— Кто же это, кто?

Старостиха, всхлипывая, крестилась и точно молитву читала, повторяя:

— Ему не надо — кто. Ему ничего не надо!

Влажный ветер, стряхивая с деревьев листья, осыпал ими живых и мертвого.

Хлебников сишло ругался, а дьякон гудел:

— Это всё из-за вас, бабы...

День разгорался ярче, сырой воздух, становясь теплее, обдавал запахом бани, укропа. Я смотрел на мизинец Тимофея, жалобно высунувшийся из грязи, на его вспухший затылок,— дождь гладко причесал жесткие волосы, и под ними было видно синюю кожу.

— А где Кешин? — вдруг закричал огородник. — Зовите его!

— Сейчас я схожу,— услужливо предложил дьякон и пошел, тяжело шлепая по лужам босыми ногами. Я отправился за ним. На дворе дьякон тихонько сказал мне:

— Конечно,— это Хлебников... верно?

Я промолчал.

— Ты как думаешь?

— Не знаю кто...

— И я не знаю, конечно. Кто-нибудь убил же! Без озлобления — не убьешь. А кто злобился на него? Ага!

Дверь в квартиру Кешина была не заперта, мы вошли, оглянулись,— в полутемной комнате было тихо, пусто.

— Где же он? — бормотал дьякон.— Эй, Кешин!

На столе у окна, освещенная солнцем, лежала маленькая книжка, я взглянул в нее и прочитал на чистой странице крупные угловатые слова:

Обупокоеніи

новопреставлиннаго раба Семенна.

— Смотри-ко,— сказал я дьякону.

Он взял книжку в руки, приблизил к лицу, прочитал запись вслух и бросил книжку на стол.

— Обыкновенное поминанье...

— Его тоже Семеном зовут.

— Ну, так что? — спросил дьякон и вдруг посерел, вздрогнул, говоря:

— Стой — новопреставленного? Ново...

Он выбежал в сени, на что-то наткнулся там, загремел и дико зарычал:

— У-у...

Потом в двери явилось его туловище,— он, сидя на полу, протягивал руку куда-то в сторону, пытался выговорить какое-то слово и — не мог, дико выкатывая обезумевшие глаза.

Я, испуганный, выглянул за дверь,— в темном углу сеней, около кадки с водою, стоял Кешин, склонив голову на левое плечо, и, высунув язык, дразнился. Его китайские усы опускались неровно, один торчал

выше другого, и черное лицо его иронически улыбалось. Несколько секунд я присматривался к нему, догадываясь, что он повесился, но не желая убедиться в этом. Потом меня вышибло из сеней, точно пробку из бутылки, за мною вылез дьякон, сел на ступенях крыльца и жалобно забормотал:

— Вот,— а я на Хлебникова подумал... ах, господи!

По двору бегали бабы, на огороде кто-то выл.

— Скорей!

Шел Хлебников, держа в руке грязную галошу, и пророчески, громко говорил:

— Живущие беззаконно так же и умрут!

— Да будет тебе, Иван Лукич! — заорал дьякон.— Кешин-то повесился...

Какая-то баба охнула, и стало тихо. Хлебников остановился среди двора, уронил галошу, потом подошел к дьякону и строго сказал:

— А ты, зверь, меня оклеветал вслух, при всех! Меня!

Не заглянув в сени, он сел на крыльцо рядом с дьяконом, успокоительно говоря:

— Сейчас полиция придет!

Но, высморкавшись, добавил с грустью и благочестиво:

— О господи, вскую оставил нас еси?

Потом спросил, косясь в темную дыру сеней:

— На поясе удавился, на шелковом?

Дьякон пробормотал:

— Отстань Христа ради...

ЛЕГКИЙ ЧЕЛОВЕК

Утром, часов в шесть, ко мне на постель валится некая живая тяжесть, тормозит меня и орет прямо в ухо:

— Вставай!

Это — Сашка, наборщик, забавный мой товарищ, парень лет девятнадцати, рыжий, вихрастый, с зелеными глазами ящерицы и лицом, испачканным свинцовой пылью.

— Айда гулять! — кричит он, стаскивая меня с постели. — Кутнем сегодня, у меня — деньги, шесть двадцать, и — Степаха именинница! Где у тебя мыло?

Он идет в угол, к рукомойнику, ожесточенно моется, фыркает и, не умолкая говорит:

— Слушай, — звезда — по-немецки — астра?

— Это, кажется, по-гречески.

— По-гречески? У нас, в газете, новая корректорша стихи печатает, подписывается — Астра. Фамилия у ней — Трушеникова, а зовут — Авдотья Васильевна. Хорошая дамочка, — красивая, только — очень толстая... Дай-ка гребенку...

Раздирая гребнем густую рыжую паклю на голове, он морщится, ругается и неожиданно, на полуслове, умолкает, внимательно рассматривая отражение своего лица в мутном стекле окна.

За окном, на кирпичной стене, мокрой от ночного дождя, играет солнце, красит стену. На воронке водосточной трубы сидит галка, чистит перья.

— Рожка у меня плохо выдуманна, — говорит Сашка. — Гляди, какая галка нарядная! Дай-ка мне иглу с ниткой, я пуговицу пришью...

Он вертится, точно обожженный, так вертится, что ветер ходит, сдувая клочья бумаги со стола.

Потом, стоя у окна и неумело работая иглой,— спрашивает:

— Был такой король — Лодырь?

— Лотарь. Зачем он тебе?

— Смешно! Я думал — Лодырь, от него и пошли все лодыри! Сначала — пойдем в трактир, чаю напьемся, потом — к поздней обедне в монастырь, на монахинек поглядим — люблю монахинек! А — перспектива — это что?

Он набит вопросами, как погремушка горохом. Объясняю ему, что такое перспектива, и он, не дослушав, рассказывает:

— Ночью в типографию ввалился этот — фельетонист,— Красное Домино, конечно — пьяненький, как баба, и — пристал ко мне: какие у тебя перспективы?

Пришив к пиджаку пуговицу выше, чем следовало, он перекусывает нитку белыми зубами, облизывает красные пухлые губы и жалобно бормочет:

— Лизочка верно говорит,— надобно читать книжки, а то — так и умрешь мужиком, ничего не зная. А — когда читать? Вот и некогда!

— Ты поменьше бегай за девицами...

— Али я — мертвый? Не старик же я! Погоди,— женюсь — перестану!

И, потягиваясь, он сладко мечтает:

— Женюсь на Лизочке. Эх, и модница же! У нее, брат, платье есть эдакое — бережевое, что ли,— ух! До того она хороша в нем, что у меня даже ноги трясутся. Так бы всю и съел!

Играя роль солидного человека, я замечаю:

— Смотри, тебя не съели бы!

Он самонадеянно ухмыляется, встряхнув кудрями.

— Намедни у нас в газете студенты спорили: один говорит — любовь дело опасное, а другой — нет, безопасное! Ловкачи! Девицы студентов любят, всё равно как военных.

Выходим на улицу,— булыжники мостовой, омытые дождем, блестят, как черепа лысых чиновников. Небо загромождено клочьями снежно-белых облаков, среди

облачных сугробов гуляет солнце. Крепкий осенний ветер гонит людей по улице, точно увядшие листья, толкает нас, свистит в ушах. Сашка ежится, засунув руки глубоко в карманы промасленных штанов, на нем легкий летний пиджачок, синяя рубаха, истоптанные рыжие сапоги.

По небу полуночи ангел летел

— читает он в такт шагам.— Люблю эту штуку! Который написал?

— Лермонтов.

— Я его всё с Некрасовым путаю.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна.

Прищурив зеленые глаза, он повторяет вполголоса, раздумчиво:

Желанием чудным полна...

— Ах ты, господи! Как я это понимаю хорошо! До того даже, что сам бы полетел... «желанием чудным»...

Из ворот угрюмого дома выходит девушка, празднично одетая, в юбке цвета «бордо», в черненькой кофточке со стеклярусом, в золотисто-шелковом платке.

Сашка, сорвав с головы измятый картуз, почтительно кланяется ей:

— С ангелом, барышня!

Милое круглое лицо девушки ласково улыбается, но тотчас же тонкие брови строго нахмурились и сердитый голосок полуиспуганно говорит:

— Я вас вовсе не знаю!

— Так это — ничего! — весело отвечает Сашка.— И всегда так: сначала не знают, потом — познакомятся и влюбятся...

— Если вы хотите озорничать...— говорит барышня, оглядываясь; улица пустынна, только далеко, в конце ее, едет воз капусты.

— Мы — смиренные! — уверяет Сашка, идя обок с девушкой и заглядывая в лицо ей.— Вижу я, что вы именинница.

— Пожалуйста, отстаньте!

Четко щелкая каблуками по кирпичу панели, барышня идет быстрее, — Сашка приостановился и бормочет:

— Можно, отстал. Гордая какая! Эх, костюма нет у меня подходящего к характеру! Кабы другой костюм, так небойсь заинтересовалась бы.

— Ты почему узнал, что она именинница?

— А — как же? Выпялилась в самое лучшее свое и в церковь идет. Бедный я очень! Эхма, кабы денег тьма! Купил бы деревепьку да и жил помаленьку... Гляди-ко!

Четверо бородатых мужиков вынесли из переулка некрашенный гроб, впереди их, с крышкой на голове, шагает мальчик, а сзади — высокий нищий, с посохом в руке; лицо у него суровое, каменное, идет он и, не отрываясь, смотрит красными глазами на серый нос покойника, высунутый из гроба.

— Плотник помер, — умозаключает Сашка, сняв картуз. — Упокой господи подальше от родных и знакомых!

И, улыбаясь во всю рожу, весело поблескивая неугасимыми глазами, Сашка объясняет:

— Покойника встретить — удачу сулит. Сворачивай!

Мы входим в трактир «Москва», в маленькую комнату, тесно заставленную стульями и столами; на столах — розовые скатерти, на окнах — голубые выцветшие занавески и много цветов в горшках, над цветами — канарейки в клетках. Пестро, тепло и уютно.

Заказав жареной колбасы, чаю, полбутылки водки и десяток папирос «Персичан», — Сашка барином усаживается за стол у окна и рассуждает:

— Люблю жить вежливо, с уважением. Ты вот всё рассуждаешь: то — не так, это — не так, а — почему? Всё — как надо. У тебя характер не человеческий, несогласный. Ты, брат, какой-то ер, — слово и без ера понятно, ну — для порядка, для красоты, что ли, — ставят ер в конце.

Пока он пробирает меня, я, глядя на него, думаю: «Сколько жизни вмещено в этом царне! Человек,

вместивший так много, не пройдет жизнь не замечен людьми».

А ему уже надоела проповедь, он взял нож и, шаркая им по тарелке, раздражает птиц. Комната оглашается пронзительными трелями канареек.

— Заорали! — удовлетворенно говорит Сашка, бросая нож, и, запустив пальцы в рыжие свои волосы, думает вслух:

— На Лизочке — не женишься, где там! Может, — так как-нибудь выйдет, — влюбится она в меня? Я ее — без ума люблю!

— А Зина как же?

— Ну, — Зинка — простеха, а Лизочка — модница, — объясняет Сашка.

Он — сирота, подкидыш; семи лет он уже работал у скорняка, потом у водопроводчика, два года жил подручным на мельнице у монахов и уже второй год — наборщик. Работать в газете ему очень нравится. Грамоте он научился между делом, незаметно для себя, и грамота сильно тянет его к своим тайнам. Особенно любит он читать стихи и даже сам пишет, — иногда он приносит мне испачканные свинцом клочья бумаги, на ней вытянуты в правильные строчки каракули карандаша. Стихи всегда одного содержания и такой, приблизительно, формы:

Я полюбил тебя с первого разу,
Как только увидал на Черном озере,
И всё теперь думаю про твою красу,
Радость моя и мое горе!

Когда я говорю ему, что это еще не стихи, — он удивляется:

— Отчего? Видишь — у, и здесь — у; здесь — е, и тут — е!

— А ты вспомни, как звучат стихи Лермонтова...

— Ну, так он долго учился, а я — только начал! Погоди, я тоже привыкну.

Его самонадеянность уморительна, но — в ней нет ничего неприятного. Просто он уверен, что жизнь влюблена в него, как прачка Степаха, он может делать всё, что хочет, и всюду его ждет успех.

Монастырский колокол неуверенно зовет к поздней обедне. Канарейки замолчали, прислушиваясь к звону, от которого дребезжат стекла в рамах.

Сашка бормочет:

— Идти к обедне али нет?

И решает:

— Идем!

Дорогой он жалобно возмущается:

— Скажи, пожалуйста, что за диво? Всегда в монастыре скучно мне, а ходить я туда все-таки люблю! Монахиньки эти, молоденькие, — жалко их!

В храме он становится у притвора, где стоят нищие и разные мытари; его зеленоватые глаза широко, удивленно раскрыты и смотрят на клирос, где стоит толпа белолицых клирошанок в острых шлячках. Все они — прямые и точно вырублены из черного камня. Поют согласно, и что-то удивительно чистое звучит в серебряных голосах. Блестит золото иконостаса, стекла киотов отражают огоньки свеч, похожие на золотых мух.

Вздыхают мытари и шепчут свои скромные молитвы, поднимая выцветшие глаза в купол храма. Будни, народа немного, пришли только те, кому нечего делать, некуда девать себя.

Впереди Сашки стоит, перебирая четки, большая монахиня в клобуке; Сашка — по плечо ей и привстает на цыпочки, чтоб заглянуть в ее круглое лицо, в невидимые ему глаза, — привстал и нахально заглядывает, полуоткрыв рот, как для поцелуя.

Монахиня, чуть наклонив голову, двигает шеей и смотрит на него, как сытая кошка на мышшь; он сразу осел, дернул меня за рукав и вышел на паперть.

— Ух, как она поглядела на меня! — говорит он, испуганно закрыв глаза. Потом, вытащив картуз из кармана пиджака, оттирает им потное лицо и морщится.

— Уй, как она... словно я — чёрт! Даже сердце у меня екнуло!

И смеется:

— Должно быть, солон ей пришелся наш брат!

Он — добрый, Сашка, но жалости к людям у него нет. Он может дать денег нищему больше и дает охотнее,

чем богатый, но он дает потому, что не любит нищету. Маленькие драмы буден не вызывают его сочувствия, он рассказывает о них — смеясь:

— Знаешь, — Мишка Сизов в тюрьму попал! — говорит он оживленно. — Ходил-ходил, искал-искал работы да и украл зонтик, его схватили, — не умеет воровать! К мировому. Я иду, — глядь, а его, как барана, будочник ведет. Морда бледная, губы распустил. Кричу: «Мишка!» А он молчит, будто не узнал меня.

Мы заходим в лавку, где Сашка покупает фунт мармеладу, объясняя мне:

— Надо бы Степахе кондитерский пирог купить, да я не люблю этих пирогов, мармалад — лучше!

Купив еще пряников и орехов, он заходит в винный погребок и покупает две бутылки наливок; одна цвета сурика, а другая — купоросного масла. Затем, шагая по улице с кульком под мышкой, он, на ходу, сочиняет историю монахини:

— Здоровенная женщина! Наверное — лавочницей была, обличье — бакалейное. Вот, наверное, мужа-то обманывала! А он, поди, жиденский был... До чего эти бабы ловкие! Например — Степаха...

Но мы уже подошли к воротам коричневого домика с зелеными ставнями. Сашка, хозяйским пинком ноги, открывает калитку и, ухарски сдвинув картуз набекрень, шествует по двору, засыпанному желтым листом березы, липы и бузины. В глубине двора, приткнувшись к забору сада, торчит баня, обложенная дерном до высоты окон. На крыше ее желто-зеленый мох, над крышей качаются ветви деревьев, неохотно роняя листья. Баня, похожая на жабу, смотрит на нас двумя окнами угрюмо и недоверчиво.

Нам открывает дверь дородная женщина лет сорока, с большим рябым лицом и веселыми глазами, ее крупные красные губы ласково улыбаются.

— Какие дорогие гости, — поет она, а Сашка, взяв ее за толстые плечи, говорит в лицо ей:

— Со днем ангела, Степанида Якимовна, и принявши святых тайн!

— Да я не причащалась!

— Ну, всё едино!

Он троекратно целует ее в губы, потом оба они оттирают следы поцелуев, она — ладонью, а Сашка — тульей картуза.

В темном передбаннике, заставленном корчагами, корзинами и корытами, возится около самовара дочь Степаха, Паша, подросток; у нее большие, тупо изумленные глаза рахитика и чудесная толстая коса, нежно-золотистого цвета.

— С именишницей, Паня!

— Ладно,— отвечает девочка.

— Чучело!— внушает ей Степаха.— Надо сказать — благодарствую!

— Да — ладно! — с сердцем повторяет девочка.

Треть жилища прачки занимает большая печь; там, где когда-то был полук, стоит широкая кровать, в углу, под образами, стол, покрытый к чаю, у стены — широкая скамья, на нее удобно поставить корыто. В открытое окно смотрит глазами нищей мохнатая собака, положив на подоконник тяжелые лапы со сломанными когтями; на окнах — горшки герани и фуксии.

— Умеет жить,— говорит Сашка, оглядывая убогую комнату, и подмигивает мне: дескать — это я шучу!

Хозяйка озабоченно вынимает из печи пирог и щелкает ногтем по его румяной корке. Паша вносит самовар, светлый, как солнце, и угрюмо косится в сторону Сашки, а он говорит, облизывая губы:

— Чёрт! Надо мне жениться — люблю пироги!

— Женятся не ради пирогов,— разумно замечает Степаха.

— Я понимаю!

Полногрудая прачка весело смеется, но глаза ее смотрят серьезно, когда она говорит:

— Успеешь жениться, и меня забыть успеешь.

— А ты скольких забыла? — спрашивает Сашка, ухмыляясь.

Степаха тоже улыбается; одетая пестро не по годам, она похожа не на прачку, а на сваху, на гадалку.

Дочь же ее, точно тихий гномик грустной сказки, лишняя среди нас да, кажется, и вообще лишняя на земле. Ест она осторожно, точно это не пирог, а кости-

стая рыба. И почти каждую минуту ее большущие глаза медленно передвигаются в сторону Сашки; на его тонкое, подвижное лицо девочка смотрит странно, как слепая.

Под окном просительно и тихо ноет собака, с улицы доносится медная военная музыка, мерный, тяжелый топот сотен ног, большой барабан глухо отбивает такт марша.

Степаха говорит дочери:

— Что не бежишь на солдат глядеть?

— Не хочу.

— Славно! — восклицает Сашка, бросая собаке корку пирога. — Как будто ничего больше и не надо мне!

Степаха смотрит на него глазами матери, оправляя кофту на высокой груди.

— Ну, и — врешь, — говорит она, вздохнув. — Тебе много надо...

— Я — не вру, это я про сейчас сказал, — сейчас мне ничего не надо; вот только Папья не ковыряла бы меня глазами.

— Больно нужно мне, — тихо и презрительно заметила девочка; мать ее сердито сдвигает брови, но — молчит, поджав губы.

Сашка беспокожно передернулся, искоса поглядел на девочку и заговорил горячо:

— Есть у меня какая-то дыра в душе, ей-богу! Хочется, чтоб душа была полна, спокойна, а я ничем не могу ее набить! Ты понимаешь, Максимыч, — когда мне нехорошо, так я хочу, чтоб было хорошо, а добьюсь хорошего часа, — так мне делается скушно! Отчего это?

Ему уже «сделалось скушно», я вижу это: живые глаза его беспокожно бегают по комнате, щупая ее убожество, в них горят едкие критические огоньки. Ясно, что он чувствует себя человеком, который попал не на свое место, но только сейчас догадался об этом.

Он пламенно говорит о беспорядке жизни, о слепоте людей, которые не видят этого обидного беспорядка, привыкли к нему. Мысли его мечутся, как испуганные мыши, и трудно следить за их быстрой путаницей.

— Неправильно поставлено всё, — вот что я вижу!

Стоит церковь, а рядом — пес знает что! Иннокентий Васильевич Земсков стихи печатает, пишет:

Благодарю за те мгновенья,
Что освещают сердца тьму,
За сладкий миг прикосновенья
К святому телу твоему,

— а сам у сестры неправильно дом отсудил и намедни горничную свою, Настю, за косу драл...

— За что? — спрашивает Степаха, разглядывая свои стертые руки, красные, как лапы гусыни; лицо у нее каменное, глаза она прячет.

— Не знаю за что... Та хотела даже к мировому подать, ну — он дал ей три рубля, — отказалась. Дура! Сашка неожиданно вскакивает со стула.

— Ну, нам пора идти!

— Куда? — спрашивает хозяйка.

— Дело есть, — врет Сашка. — Вечером я приду...

Он протягивает руку Паше, та смотрит на его пальцы, несколько секунд не решается коснуться их, потом пожимает руку Саше так, точно отталкивает ее.

Уходим. На дворе Сашка бормочет, туго натягивая картуз:

— Чёрт... Не любит меня девчужка... Да и мне стыдно пред нею. Не приду я вечером...

Неприятные мысли точно сыпью выходят на его лицо, он краснеет.

— Надобно бросить Степаху, — это нехорошее ба-ловство! И вдвое старше она меня, и всё...

Но, свернув за угол улицы, он уже ухмыляется и размышляет тепло, без тени хвастовства:

— Любит она меня, как цветок холит, ей-богу, право! Даже — совестно. До того иной раз хорошо с ней... лучше матери родной! Замечательно. Эх, бабы, — знаешь, брат, трудно с ними! Хороший народ, между прочим... Очень много надо любить их... а — разве угодишь на всех?

— Так ты бы хоть одну хорошо полюбил, — предлагаю я.

— Одну, одну, — задумчиво ворчит он. — Попробуй-ка одну-то...

Он смотрит в даль, за синюю полосу реки, на рыжие луга, на черный, встрепанный осенним ветром кустарник, бедненько одетый золотом листьев. Лицо Сашки — мило-задумчивое, видно, что он по горло сыт приятными воспоминаниями и они играют на душе его, как лучи солнца на воде ручья.

— Сядем,— предлагает он, остановясь у глинистого обрыва, за стеною монастыря.

Ветер гонит клочья облаков, по лугам летят тени; на реке стучит рыбак, конопатит лодку.

— Слушай,— говорит Сашка,— давай поедем в Астрахань?

— Зачем?

— Так. А то — в Москву?

— А как же — Лиза?

— Лиза... н-да-а...

И, в упор глядя на меня, спрашивает:

— Влюбился я в нее али нет еще?

— Ты бы околоточного спросил об этом.

Он хохочет; смех у него легкий, ребячий. Взглянул на солнце, на тени и вскакивает на ноги.

— Сейчас конфетчицы выйдут,— айда!

Он быстро шагает в улицу, озабоченный, засунув руки в карманы, нахлобучив картуз на глаза. Из ворот одноэтажного, казарменной постройки, дома одна за другою шумно выбегают девицы в платочках и серых передниках. Вот и Зина, стройная брюнетка с монгольским лицом и раскосыми глазами, в красной кофте, туго охватывающей ее бюст.

— Идем кофей пить,— говорит Сашка, хватая ее за руку, и сразу же торопливо начинает:

— Неужто ты все-таки выйдешь за эту плешивую собаку? Ведь он тебя ревновать будет...

— Всякий муж должен ревновать,— серьезно говорит Зина.— А что — за тебя идти?

— И за меня — не надо!

— Брось,— говорит девица, хмурясь.— Что не работаешь?

— Гуляю.

— Эх ты... Не хочу я кофю.

— Вот еще! — восклицает Сашка, увлекая ее за

собою в дверь булочной; там, сидя у окна за маленьким столиком, он спрашивает Зину:

— Ты мне веришь?

— Верю всякому зверю, лисе и ежу, а тебе — по-гожу! — медленно отвечает конфетчица.

— Ну, тогда я пропал через тебя!

Сашка уверен, что в эту минуту он переживает сердечную драму, — губы у него дрожат, глаза увлажнены, он — искренно взволнован.

— Ну, — пропал я, утопился в своих слезах, ладно, туда мне и дорога, если я не умею счастья поймать. Только и тебе сладко не будет! Уж я тебе покою не дам. Пускай он — домохозяин и лошади у него, ну, а ты — ни куска не съешь, меня не вспомнив! Так и знай...

— Пора перестать мне в куклы играть, — тихо и сердито говорит конфетчица.

— Я для тебя — кукла, да?

— Не про тебя сказано.

— Вот, Максимыч, гляди на них! Змеиная порода, никакого чувства нет. Ужалит в сердце, ты — страдаешь, а она говорит: ах ты, кукла!

Сашка возмущен, у него даже руки дрожат, а глаза гневно потемнели.

— Как жить с эдакими? — спрашивает он.

«Хороший актер», — думаю я, наблюдая за ним почти с восхищением.

Его игра явно подкупает конфетчицу, трогает ее; вытерев губы уголком платка, она ласково спрашивает:

— В воскресенье ты свободен?

— От — чего? От тебя?

— Не дури... Поди-ка сюда...

Они отходят в сторону, и Сашка, сверкая глазами, вполголоса, пламенно и долго говорит что-то, а девица восклицает раздраженно и тоскливо:

— Господи! Да какой же ты муж?

— Я? — кричит Сашка. — Вот какой!

И, не стесняясь соседней булочницы, быстро и крепко обняв девушку, он целует ее в губы.

— Что ты? — пугливо и сконфуженно вскакивает она, вырываясь. — Сумасшедший...

Она птицей вылетела за дверь, а Сашка, устало присаживаясь к столу, говорит, неодобрительно качая головой:

— Ну — характер! Зверь, а не девица.

— Чего тебе надо от нее?

— Не хочу, чтобы она выходила за плешивого кучера! Безобразие какое... Не могу, не люблю я этого!

Допив остывший кофе, он, видимо, уже забыл пережитую драму и лирически рассуждает:

— Знаешь,— в праздник ли или в будни, когда девицы кучей идут куда-нибудь,— гуляют или с работы, из гимназий,— так у меня даже сердце дрожит! Господи боже, думаю, сколько их! И ведь каждая кого-нибудь любит, ну — еще не любит, так завтра полюбит, через месяц — всё едино! Тут я понимаю: это жизнь! Разве есть что лучше любви? Ты только подумай — что такое ночь? Все обнимаются, целуются,— эх ты, брат! Это — такое, знаешь... этого даже и не назовешь никак! Действительно — послал нам бог радость...

Вскочив со стула, он говорит:

— Айда, пошляемся по городу!

Небо затянуто серой тучей, моросит дождь, мелкий, точно пыль. Холодно, сыро и печально. Но Сашка, ничего не видя, кутается в свой легкий, летний пиджачок и, не умолкая, говорит обо всем, что схватывают его жадные глаза в окнах магазинов,— о галстуках, револьверах, детских игрушках и дамских платьях, о машинах, конфектах и церковной утвари. Крупные черные буквы театральной афиши бросаются в глаза ему.

— «Уриель Акоста» — это я видел! А — ты? Ловко говорит еврей,— помнишь? Только — всё это неправда: в театре они — один народ, а на улице, на базаре — другой. Я люблю веселых людей — евреев, татар, ты гляди, как хорошо татары смеются... Хорошо, когда в театре не настоящее показывают, а что-нибудь изда-лека — бояр, иностранцев. А за настоящее — покорно благодарю, у самих много! Ну, а если настоящее, так уже во всей правде и без жалости! В театре надо бы детям играть, уж они когда играют, так по-настоящему!

— Да ведь ты настоящего не любишь?

— Почему? Ежели интересно, так люблю...

Снова выглянуло солнце, неохотно освещая мокрый город. Мы бродим по улицам до вечерен, а в час, когда монастырский колокол зовет к службе, — Сашка тащит меня на пустырь, к забору сада, который принадлежит строгому чиновнику Ренкину, отцу прекрасной девицы Лизы.

— Погоди меня — ладно? — просит он, вскакивая на забор, точно кошка; уселся на столбе и тихонько свистит; потом, радостно и вежливо сорвав картуз с головы, беседует с девицей, невидимой мне, извиваясь и рискуя свалиться.

— Здравсте, Лизавета Яковлевна!

Мне не слышно, чем отвечают с той стороны забора, но в щель между досками я вижу сиреневую юбку и тонкую кисть белой руки с большими садовыми ножницами в ней.

— Нет, — грустно врет Сашка, — не успел, не прочитал, у меня ведь работа каторжная, ночная, а днем выспаться надо, и — товарищи одолевают. Набираешь букву за буквой и всё думаешь про вас... Да, конечно. Только — я не очень люблю сплошной шрифт, вот — стихи гораздо легче читать... Можно спрыгнуть к вам? Почему — нельзя? Некрасов? Да... очень, только у него про любовь мало говорится... Зачем же вы сердитесь? Подождите, — разве это обидно? Вы спросили — что мне нравится, а я сказал, что больше всего — любовь, — она всем нравится... Лизавета же Яковлевна, — постойте...

Он замолчал, свисая в сад, как пустой мешок, потом, выпрямившись, несколько секунд сидит на заборе унылой вороной, похлопывая козырьком картуза по колену. Заходящее солнце красиво освещает его рыжие вихры, ветер ласково треплет их.

— Ушла, — сердито говорит он, спрыгнув на землю. — Обиделась, что я книгу не прочитал, — чёрт ее дери, книгу! Дала какой-то уют, — книга! Полтора вершка толщины... Идем!

— Куда?

— Всё равно.

Сашка идет медленно, нога за ногу, лицо у него усталое, глаза обиженно заглядывают в окна, освещенные косыми лучами солнца.

— Ведь — полюбит же кого-нибудь, — жалуется он. — Вот и полюбила бы меня. А ей надо, чтоб я книжки читал. Нашла дурака! У нее такие глаза, что свету божьего не видишь, а она — читайте книжки! Даже — глупо. Конечно, — я не пара ей... Ну, так ведь — господи! Не всегда же свой своего любит!

Помолчав минуту, он тихонько бормочет:

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна...

— Да и осталась старой девой, дура!

Я смеюсь, а он, удивленно посмотрев на меня, спрашивает:

— Чепуху говорю? Эх, брат, Максимыч, — сердце у меня растет и растет без конца, и будто я весь — только одно сердце!

Мы снова на краю города, но уже на другом, противоположном краю; пред нами — поле, вдали институт благородных девиц, большой белый дом, за высокой кирпичной решеткой в каменных столбах. Черные деревья окружают дом.

— Книжку я ей прочитаю, это меня не убьет, — рассуждает Сашка. — Перспектива... чёрта с два! Вот что, брат, — пойду к Степахе... пойду, положу голову на коленки ей и буду спать. Потом — проснусь, выпьем и опять спать. У ней и ночую. А не плохо день сожгли мы с тобой?

Он крепко тискает мою руку, ласково смотрит в глаза мне.

— Люблю я гулять с тобой; и рядом ты и будто нет тебя. Ничему не мешаешь. Это и есть — настоящий товарищ!

Сказав столь сомнительный комплимент, Сашка повертывается и быстро идет назад в город. Руки у него засунуты в карманы, картуз едва держится на затылке, он посвистывает. Такой тонкий, острый, точно гвоздь с золотой шляпкой.

Мне жалко, что он идет к Степахе, но я понимаю — надо же Сашке отдать себя кому-нибудь, надо же ему растратить богатства души своей!

В спину ему уперлись красные лучи солнца и точно толкают парня.

На земле холодновато, в поле — пусто, город тихонько рычит; Сашка наклонился, поднял камень и, размахнувшись, далеко бросает его.

Потом кричит мне:

— До увиданья!

«СТРАСТИ-МОРДАСТИ»

Душной летней почью, в глухом переулке окраины города, я увидел странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, — топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом ёмка.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась, — пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

— Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

— Дьявол, — бормотала она. — Не пойду! Проживу без тебя... поживи без меня... Краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

— Кто скандалит?

Я сказал ему, что — боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот хочу вытащить ее; сторож прищелкнул к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

— Машка — вылазь!

— Не хочу.

— А я те говорю — вылазь!

— А я не вылезу.

— Вздую, подлая,— не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне:— Это — здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

— Начальники! Я сама себе начальница... Захочу — купаться буду...

— Я те покупаюсь,— предупредил ее сторож, бородастый крепкий старик.— Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней — сын безногой...

— Далеко живет?..

— Убить ее надо,— сказал сторож, не ответив мне.

— Отвести бы ее домой,— предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжело топая сапогами по липкой земле.

— Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

Как по-о мор-рю...

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью — отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певичку под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня:

— Ну — бей, бей! Ничего,— бей... Ах ты, зверь... ах ты, ирод... ну — бей!

Приставив ее к забору, я спросил — где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидел, что переносье у нее провалилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

— Ладно, идем,— сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

— Идем, милый,— ворчала она, как будто трезвея.— Я тебя приму... Я те дам утешеньице...

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленниц дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

— Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая расплывшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

— Мамка,— ты? — спросил во тьме тихий голос.

— Я-а...

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

— А кто же придет к тебе? Я-а,— говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

— Утешеньишко мое,— сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол,— там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами,— личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

— Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

— Ее надо раздеть,— сказал я.

— Так раздевай,— отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки — он спросил тихо и деловито:

— Огонь-то — погасить?

— Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной — печатными буквами — надписью:

О С Т О Р О Ж Н О

Т-во Н. Р. и К^о

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из глиняного рукомыльника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

— Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

— Теперь — гасить лампу?

— Как хочешь.

— А ты — уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

— С ней.

— Зачем? — спросил я глупо и удивленно.

— Сам знаешь, — сказал он страшно просто и, потянувшись, добавил:

— Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня — чело уродливой печки, на шестке — грязная посуда, в углу — за ящиком — куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

— Можно посидеть с тобой? — спросил я мальчика.

Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

— Она ведь до утра уж не проснется.

— Да мне ее не падо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

— Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет...

Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

— Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая всё равно...

Теперь я рассмотрел его глаза,— они действительно мохнаты, ресницы их удивительно длинные, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых рыжеватых волос. Неописуемо выражение его глаз — внимательных и спокойных,— я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

— У тебя — что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

— Вот какие ноги. Обе такие, с роду. Не ходят, не живут, а — так себе...

— А что это в коробочках?

— Зверильница,— ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил:

— Хошь — покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

— Гляди,— не открывай, а то — убегут! Прислоняй к уху, послушай. Что?

— Шевелится кто-то...

— Ага! Это — паучишка там сидит, подлец! Его зовут — Барабанщик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он спинал коробки с полок, прикладывая их к

своему уху, потом — к моему и оживленно рассказывал:

— А тут — таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это — муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а — чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это — черный таракан, большущий, — Хозяин; он — ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь — жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он — странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его — Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников — сколько хочешь, как мух, даром что безноса.

— Она тебя не бьет?

— Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну, — на нашей улице — все пьяницы. Она — красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глотать, богатая будешь», — а она хохочет. Баба, ну и — глупая! А она — хорошая, вот проспится — увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза всё более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

— Хорошая зверильница? — спросил мальчик с гордостью.

— Очень.

— Бабочков нету вот у меня, — бабочков и мотыльков!

— Тебя как зовут?

— Ленька.

- Тетка мне.
— Ну? А ты — какой человек?
— Так себе. Никакой.
— Ну, уж врешь! Всякий человек — какой-нибудь, я ведь знаю. Ты — добрый.
— Может быть.
— Уж я вижу! Ты — робкий, тоже.
— Почему — робкий?
— Уж я знаю!
Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.
— А почему все-таки робкий?
— Вот — сидишь со мной, значит — боишься ночью-то идти!
— Да ведь уж — светает.
— Ну, и уйдешь.
— Я опять приду к тебе.
Он не поверил, прикрыл милые мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:
— Зачем?
— Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?
— Валяй! К нам все ходят...
Вздохнув, он сказал:
— Обманешь.
— Ей-богу — приду!
— Тогда — приходи. Ты уж — ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты — давай дружить со мной, — ладно?
— Ладно.
— Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе — сколько годов?
— Двадцать первый.
— А мне — двенадцатый. У меня — нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит... Ты — вор?
— Нет. Почему — вор?
— У тебя очень рожка страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один — Сашка, дурак и злой, а другой — Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя корбочки есть?

— Пришесу.

— Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь...

— Почему?

— Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, — любит мужчин, шкуреха, — просто беда! Она — смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась — родила меня и сама не знает — как! Ты — когда придешь?

— Завтра вечером.

— Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруеть?

— Баварским квасом торгую.

— Ой ли? Принеси бутылку, а?

— Конечно — пришесу! Ну, я пошел.

— Валяй. Придешь?

— Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая жесткая борода — в ней светились белые зубы, — казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо — голубое и розовое, — эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребятшек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Ленке, захватив с собою

две бутылки квасу, пряников, конфет и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза, — при дневном свете они были еще чудесней.

— У-ю-юй, — заговорил он низким, не ребячьим голосом, — сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это, — богатый, а плохо одетый и, говоришь, — не вор? Вот так коробочки! Ую-юй, — даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там — кто? Юх, — жучишко-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, чёрт... А — выбегут да улетят? Ну уж...

И вдруг весело крикнул:

— Мамк! Слезь, вымой руки мне, — ты погляди, курятина, чего он принес! Это — он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник, — это он всё! Его тоже Ленька зовут...

— Спасибо надо сказать ему, — услышал я сзади себя негромкий странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

— Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, — невольную, нестираемую улыбку.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но — бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки, — ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

— Убег, стой, — убег! — закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

— Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

— Эдаких — много!

— Не задави, — строго предупредил ее сын. — Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

— А ты забудь про то, утешеньице мое.

— Уж я хоронил-хоронил...

— Я же тебе сама и наловила их после.

— Наловила! Те были — ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище... Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый...

— Ах ты, утешеньишко мое милое, — сказала женщина, поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами:

— Хорош сынок? Глазки-то, а?

— Ты возьми один глаз, а ноги — отдай, — предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. — Какой... железный! Толстый. Мам, он — на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, — помнишь?

— Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

— Это, видишь, ввалился снова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я — сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» — «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено, — длинная веревка да крепкая! Научил, Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и всё поглаживая его.

— Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это — через стену перелезть; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет,— поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с пим, хохотали...

— Уж ты у меня хохотать любишь,— сказал мальчик тоном старшего.— А вот самовар бы поставила...

— Так сахару же нету у нас.

— Купи поди...

— Да и денег нету.

— Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

— У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый, и скрылась за дверью, напевая в нос.

— Мамка! — крикнул сын вслед ей.— Выймай окошко, пичего не видать мне! — Ловкая бабенка, я тебе скажу! — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми,— полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены.— Работница... как начнет паклю щипать,— хоть задохнись, такую пылицу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и всё! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орпина на перине лежит...

Послушав немножко, я сказал:

— Очень похабная песня.

— Они все такие,— уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся.— Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня...

Я поднял его легкие косточки, заключенные в ме-

шок серой тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака,— Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла невытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

— Р-рвань!

— Сними,— сказал Ленька, вздыхая,— прогнали...

Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

— Болит грудиска у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай,— ты чертей видал?

— Нет.

— И я тоже. Я, ночью, всё в подпечек гляжу — не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

— А на что тебе их?

— Интересно. Вдруг один чёрт — добрый? Водовозова Катька видела чёртика в погребке,— испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

— Я люблю даже — страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло,— листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то — мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то — дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по ули-

це, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновница кошка бежит...

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

— Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то — Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и всё. А — слушай-ка: если таракана всё кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

— Если хорошо кормить — вырастет!

— Ну да! — радостно вскричал он. — А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

— Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади — верно?

— А что ж? Можно!

— Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

— Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, — если он — с лошадь, так он сильный! Верно?

— Только вот усы у них...

— Усы не мешают, они — как вожжи будут, усы! Или — паук ползет — огромный, как — кто? Паук — не боле котенка, а то — страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

— Бывал, как же!

— Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротик открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи — бутылка водки.

— Вот она — я!

— Ло-овко,— вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза.— Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да сvezла меня в чистое поле! А то — издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! — обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

— А ты — не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

— «Не ругайся!» Тебе — хорошо, ходишь куда хошь, как собака всё равно. Ты — счастливая... Слушай-ка, — обратился он ко мне, — это бог сделал поле?

— Наверное.

— А зачем?

— Чтобы гулять людям.

— Чистое поле! — сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая.— Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их,— гуляй, домашние! А — слушай-ка! — бога делают где — в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха,— опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

— О,— чтоб те... о господи! Утешеньшко ты мое! Да, чай, бога-то — богомазы... ой, смехота моя, чудашка...

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

— Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

— Пускай смеется,— сказал я,— это тебе не обидно!

— Нет, не обидно,— согласился Ленька.— Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она всё забывает...

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

— Хорошо утешеньце у меня? Кабы не он — утупилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы...

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

— Ты — дурак?

— Не знаю. А что?

— Мамка говорит — дурак!

— Так ведь я — почему? — воскликнула женщина, нимало не смущаясь.— Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а — сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у — какой...

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые,— тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и — веселая насмешка.

— Ну, давайте чай пить, — предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром,— мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

— Вырасту большой,— говорил он,— сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.

— Охо-хо,— вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась.— Раем видит поле-то, милый! А там — лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

— Врешь,— остановил ее Ленька, нахмурясь.— Спроси-ка его, какое оно, он видел.

— А я — не видала?

— Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

— Наелся, напился,— даже спать захотелось, ей-богу...

— И усни,— посоветовала мать.

— А он — уйдет! Ты уйдешь?

— Не бойсь, я его не пущу,— сказала женщина, толкнув меня коленом.

— Не уходи,— попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:

— Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы,— а то валандаешься зря со всяким... только бьют... А он — добрый...

— Спи знай,— тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

— Он — богатый...

С минуту женщина сидела молча, склебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

— Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе — распутная! А — что ж? Мне стыдиться некого. К этому же — видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

— Да. Очень!

— Не налюбуюсь. Умница ведь?

— Мудрец.

— То-то! Отец у него — барин был, старичок; этот — как их зовут? Конторы у них,— ах ты! Бумаги пишут?

— Нотариус?

— Вот, он самый! Милый был старичок... Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

— Вдруг — помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол,— только и житья! Вы — квасом торгуете?

— Квасом.

— От себя?

— От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

— Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь

уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

— Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

— Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы...

— Надобно мне идти,— сказал я.

— Куда? — удивленно спросила она.

— Дело есть.

— Оставайтесь!

— Не могу...

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

— А то — оставайтесь. Я рожу-то платком прикрою... Хочется мне за сына поблагодарить вас... Я — закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи,— так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее — детские глаза на безобразном лице — улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

— Мамка,— вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись,— ползут! Мамка же... иди-и...

— Приснилось,— сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился,— из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

НА ЧАНГУЛЕ

... Степь раскалена солнцем, как огромная сковорода, посредине этой рыжей сковороды жарюсь я, несчастный ерш.

Выскакивают из нор суслики и, стоя на задних лапках, чистят передними свои хитрые мордочки, тонко пересвистываясь друг с другом. В них есть что-то общее с монастырскими послушниками.

По солончаку ползают заботливые букашки, трещат кузнечики и прыгают пред лицом моим маленькими серыми сучками.

В пустом синем небе, немного правее и чуть-чуть пониже солнца, распластался коршун, такой же одинокий, как я на земле. Больше нет ничего живого ни в знойной высоте, ни на рыжем круге горячей земли, видимой мне; эту землю — бесплодную, иссохшую, как старая дева, — простые люди зовут «Дикое поле», ученые — «Малая Тартария».

Унылая земля...

Я прижался голой грудью к прохладному инею солончака; земля источает прямо в сердце мне острую, жгучую тоску, но это не та тоска, которая, разъедая душу ржавчиной желаний, неясных и больших, убивает ее, это — давняя моя подруга и законная дочь моей веры в силу жизни.

Я — человек лет двадцати двух, но уже успевший испить из огромной чаши жизни множество ядовитой горечи, — это приучило меня рассуждать больше, чем следует.

Моя тоска, должно быть, то самое, что именуют душою человека, это — существо, живущее в моей гру-

ди, оно всегда с неустанной силой толкает меня куда-то вперед, всё дальше, неугасимо разжигая сердце огнем желаний лучшего, мучая надеждой на сказочное счастье, взятое с боя.

Кроме этой тоски — со мной моя жадная юность; издыхая от голода, одиночества, она готова всё принять, всех любить; она любит смеяться надо всем — и над моей незрелой мудростью. Моя юность — самая милая и опасная половина существа моего, ибо — слишком ненасытная — она недостаточно брезглива и, как молодой козленок, плохо отличает жгучую крапиву от вкусных, душистых трав.

Это, неясно показанное, раздвоение личности переживалось мною весьма мучительно и нередко заставляло меня создавать драмы там, где можно бы ограничиться веселой игрою в легкой комедии.

Впрочем, — всё это мало интересно и едва ли относится к истории, которую я хочу рассказать вам, единственному человеку, с которым — заочно — я умею говорить так же легко и просто, как беседую с самим собою в минуты грусти.

Так вот, — я лежу в «Диком поле» и, положив подбородок на кулаки, смотрю в даль, к югу, где струится марево; в его прозрачном серебре качаются, маячат какие-то окаянные серые былинки, — такую же окаянной былинкой и я чувствую себя в окружении жаркой пустоты под синим небом, в сухом зное степного солнца. Там, на юге, где колышется над пустою землей серебряная кисея марева, верст за пять от меня, лениво течет речка Чангул, по берегу ее стройно вытянулись белые хаты валахов, версты на две ниже их, у крутого изгиба реки, приютилась мельница, какая бывает только в сказках.

Я прожил на этой мельнице несколько часов, меня выгнали оттуда, и уже четвертые сутки я кружусь около нее, вспоминая пережитое, как скупец вспоминает о кошеле золота, отнятом у него.

Я наткнулся на эту мельницу неожиданно, поздно вечером; уже солнце опустилось за край степи, и с востока быстро шла душная ночь юга, но в темной воде Чангула еще отражался пожар вечерней зари, камышо-

вая крыша мельницы блестела, как парча, в степь, навстречу мне, сердито смотрели красные глаза двух окон.

С восхода солнца по закат я прошел «Диким полем» верст сорок и не видел ничего живого, кроме бесчисленных сусликов, стаи голенастых дрохв, убежавших от меня, да белого луня, который обедал, сидя на камне, высунувшемся из земли, расклеывая головку суслика.

Целый день в небе — солнце, а на земле — только я; под раскаленным почти добела куполом небес — необоримая тишина пустоты; запоешь песню, звуки ее испаряются, как роса, а эха — нет.

Пустота, обладая способностью высасывать из человека мысли и чувства, делает его подобным себе, — несомненно, что именно это ее свойство всегда привлекало и привлекает людей, стремившихся опустошить свое сердце, свой разум — достигнуть святости путем убийства своей души.

Я тоже был глуп, как пустынный, и голоден, как зимний волк, когда увидал мельницу, ласково раскрашенную вечерней зарей, красиво приподнятую над лиловатой водою реки на трех больших камнях. Она не работала, заснув в духоте вечера, но был слышен тонкий звон падения тяжелых капель, и, точно сказку рассказывая, тепло журчала под колесом вода Чангула.

Две овчарки молча выкатились со двора под ноги мне; высокий сутулый человек чесал спину о вереву, равнодушно поглядывая, как я отбиваюсь палкой от собак, похожих на медведей; я крикнул, чтоб он отозвал их, — человек сунул в рот два пальца и пронзительно засвистал.

Собаки подбежали к нему, встряхивая побитыми башками, он строго спросил меня:

— Зачем бьете?

— А если б они разорвали меня?

— Н-ну... великое горе!

— Вы — хозяин?

— Зачем? Я — работник.

— Ночевать у вас можно?

— Хорошему человеку — можно.

У меня имелись некоторые основания считать себя

хорошим человеком — я был беден, не глуп и умел работать.

Я снял с плеч котомку, но человек строго предупредил меня:

— Погоди, спрошу...

И ушел, оставив меня при собаках, а они снова начали угрожающе рычать, оскаливая волчьи зубы, захлебываясь жирной злобой. Им вторил угрюмый звук струн кобзы, за углом мельницы глухой голос бормотал что-то на неведомом языке. Хотелось взглянуть за угол, но собаки не позволяли.

Красноватая вода реки, густая, точно кровь, медленно текла в темном теле степи; за рекою, точно ожившая земля, двигалась отара овец, заря окрасила их шерсть в рыжий цвет. Над ними верхом на конях качались две черных фигуры.

Кричали чабаны, один — суровым басом, другой — певуче и звонко, как женщина. Далеко в степи, в синем сумраке ночи, крепко обнявшей пустую землю, цвел красным цветом златокудрый огонь. Тихий шум множества копыт, усталое блеяние, звериный крик чабанов и всё вокруг — вызывало такое впечатление, как будто я зашел куда-то глубоко в прошлое жизни, к истокам древних сказок.

Душное молчание скудной пустыни втекало в сердце песней без слов, а за углом всё скрипели, неприятно и непрерывно, эти сухие струны, безуспешно споря с тишиной. Звук странный, точно кто-то нехотя разрывал шёлк разной плотности.

Старая мельница, обожженная солнцем, омытая многими дождями, напоминала пряничный домик сказки, из темной ямы открытого окна вытекал запах горячего хлеба, возбуждая голод.

Со двора вышла маленькая старушка, с лицом в кулачок, в странном наряде, посмотрела на меня, приложив ко лбу ладонь, и шёпотом сказала, дважды кивнув головою:

— Мошно, мошно...

Собаки подошли к ней покорно, как и следовало; человек, стоя рядом с нею, служебно изогнулся, она что-то говорила ему по-валашски, глядя рукою мохна-

тые морды собак. Глаза у нее без белков, темные, как вишни, дряблые щеки опали вниз, маленький нос загнулся клювом, — всё в порядке, настоящая баба-яга.

— Тако, — сказала она, уходя за угол мельницы, а собаки, как привязанные невидимую цепью, пошли рядом с нею, потираясь боками о ноги ее.

— Гэх, гэх, — ворчала она, отталкивая их.

Работник, пожевнув, спросил:

— Есть хочешь?

И крикнул во двор:

— Ганна, дай хлеба, молока...

Со двора ответили сердито:

— Сам достань, я легла...

— Ну, ну...

— Кому это?

— Прохожий.

— Черти его принесли!..

— Жена? — спросил я.

— А как же?

Работник, не торопясь, вынул из кармана трубку, кисет, опустил на скамью у крыльца.

— Садись. Издалека?

— Из России. А вы — русский?

— Не, я черниговский...

— Давно здесь?

— Пятое лето.

— Скучно?

— А что же?

— Хозяева — царане?

— Ну да!

— Богатые?

Человек раскурпл трубку, сплюнул, поглядел на огонь ее и, прижав его пальцем, тоже спросил:

— Обокрасть хочешь?..

Южная ночь плотно покрыла землю теплой черной шапкой, в траурном небе вспыхнули синие звезды и серебряным маревом наметился звездный путь.

Тугая тишина вдруг лопнула, и, словно из какой-то светлой щели, брызнул и потек ручей густых звуков — струны кобзы согласно запели странную мелодию, потом все звуки слились в одну низкую тоскливую ноту,

и, прежде чем она иссякла, к ней приник, обнял ее сочный женский голос, — внятно и напряженно он пропел незнакомые слова:

Оэ, Мара, рэабулэ, Мара-а...

Инструмент повторил мелодию слов с настойчивой точностью, женщина снова запела, и вновь голос ее подхватили струны и опять слились в одну ноту, бесконечную, как степная дорога.

Так, чередуясь, женщина и кобза разносили песню по гладкому безмолвию ночи, как лунный свет по морю; было в этой песне глухое отчаяние, сжимавшее сердце, было в ней всё, чем бедна и богата степная ночь.

Женщина в белом, высокая и босая, неслышно подошла ко мне, поставила на край скамьи кувшин, положила краюху хлеба, спросила меня о чем-то и, тихонько засмеявшись, бесшумно ушла за ворота.

— Ешь, — сказал работник.

— Кто это поет?

— Хозяйка.

— Молодая?

— Ну да. А как же? Внука...

Он постучал трубкой о ноготь, наступил ногою на искры, высыпавшиеся под ноги мне, и спросил:

— Знатно играет?

— Да.

— Она — не в своем уме. Убитый человек.

Наскоро выпив молока, я сунул хлеб за пазуху, предлагая:

— Пойдем за ворота!

— Не-е...

— Пожалуйста!

Я долго упрашивал его, а он всё посмеивался, отрицательно кивая головою, но наконец согласился нехотя:

— Ну, что ж...

За углом к стене хаты прислонился невысокий шалаш, покрытый камышом и заплетенный с двух сторон камышовым же плетнем, а третья сторона была открыта на реку и в степь. Посреди шалаша в маленькой тележ-

ке сидела пестро одетая женщина; было видно белое пятно ее лица, ленты на груди и голове, густые брови под шапкой встрепанных волос. На коленях у нее лежал инструмент, формой похожий на кобзу, а больше — на отрубленную голову с тонкой шеей. Над его верхней декой, на месте голосника, возвышался деревянный круг, до половины углубленный в кузов, над кругом было натянуто шесть тонких струн, а две басовых касались его с боков. В боку овального кузова торчала ручка, над черным грифом, на полоске поверх его, помещались лады; вращая одною рукою ручку, женщина прижимала лады пальцами другой, и струны, касаясь вращавшегося круга, давали звук кларнета, гнусавый, неяркий.

Женщина сидела неподвижно, напряженно прямо, глаза ее были закрыты, кварта, прижатая к кругу, трепетно дрожала, рождая длительный негромкий стон; женщина, крепко сжав губы, вторила ему носовым звуком. Это было некрасиво, раздражало.

Передние колеса тележки игрушечно малы, а задние значительно выше, — тележка похожа на кресло. Женщина была окутана пестрыми тряпками, полосатое одеяло, прикрывая ее ноги, спускалось концами на землю, за спиной ее — тугая красная подушка.

Маленькая темная фигурка старухи сидела у передних колес на бочке, перерезанной поперек, — сидела, поставив локти на острые колени свои, подпирая детскую головку темными ладонями, и, точно ожидая кого-то, смотрела в степь. У ног ее лежали собаки. Сзади тележки стояла, пригорюнясь, большая белая Ганна.

Когда я вошел под крышу шалаша, старуха, отняв от лица левую руку, погрозила мне пальцем.

— Стань тут, — сказал работник, толкнув меня плечом к стене хаты.

Я присел на корточки, он прислонился к стене рядом со мною и заворчал, почесывая грудь:

— Это — на всю ночь. Как месяц полный, так она уж не спит, не пьет, не ест...

Женщина в тележке покачнулась, точно кто-то толкнул ее, открыла глаза и, прищурясь, устала их на меня. Потом она тихонько засмеялась и, сказав несколь-

ко слов по-валашски, резко повернула ручку инструмента.

— Ой, матоньки,— вздохнула Ганна.

Старуха забеспокоилась, быстро заговорила с работником, помахивая рукою; он дважды кратко ответил ей, затем строго сказал мне:

— Недовольна, что ты пришел, не уважают они русских, боятся,— так я сказал — татарин ты...

В синей пустоте степи, влево от красной полосы зари, всё еще не догоревшей, тяжело поднималась над землей большая, точно колесо, тускло-медная луна. Стрекотали кузнечики, храпела собака; в черной воде Чангула сверкали золотые иглы звезд. Издали донеслось десять ударов чугунного била.

— Врет,— сказал работник, глядя на луну.— Нет еще десяти... Спать хочет и врёт...

Женщина смотрела в мою сторону, не мигая, точно ослепшая, и вдруг очень громко, так, что все вздрогнули, проговорила что-то, указав на меня рукой.

— Выгоняет?

— Подойди к ней,— приказал работник, толкнув меня коленом в плечо.

Я подошел; всё так же, не мигнув, она ощупала лицо мое большими темными глазами без блеска и выражения, точно у старухи. У нее лицо было сборное, из разных кусков, странно не связанных между собою: рот — маленький, по-детски пухлый, а брови — густые, точно усы, горбатый сухой нос и нежный крупный подбородок. Волнистые непричесанные волосы тяжелой шапкой спускались на затылок, натягивая кожу высокого лба. Ей можно было дать лет тридцать, но, закрыв глаза, она становилась моложе.

Смотрела она на меня, точно сквозь сон, и всё время ее маленькие, нерабочие руки гладили гриф и кузов кобзы, а на левой щеке, около уха, судорожно сокращался какой-то мускул, дергая ноздрю.

Когда она, опустив глаза, тихонько сказала что-то, работник дернул меня за рукав:

— Сиди, можно...

Женщина поправила инструмент и вдруг, низким голосом, очень грустно запела, качая головою, медлен-

но подыгрывая. Мелодия песни была неуловима, как полет ласточки; она так же нервно и слепо металась в тишине, неожиданно опускаясь до тихого стога и тотчас взлетая высоко, звонким криком отчаяния, испуга или страсти. Струны, напоминая звуками своими волюнку и кларнет, вторили песне внушительно и громко, точно уговаривая страдающего человека, обнимая жалобы его спокойным потоком иной печали. Иногда казалось, что они передразнивают печаль песни.

Это было некрасиво и чуждо мне, но все-таки властно хватало за сердце, возбуждая желание убежать в степь...

Я не заметил, когда ушла Ганна и как муж ее, растянувшись на земле, уснул; старушка покачивалась сухой былинкой, ворчали во сне собаки, а незнакомые мягкие слова всё еще звучали, догоняя друг друга, и казалось, конца не будет им.

За рекою, берегом, у самой реки, кто-то шел; вот он закрыл своей черной головою низко висевшую луну; на воду реки,— на медный отсвет луны,— легла его тень; он остановился на секунду, тоже ответно запел и вдруг исчез.

Женщина перестала играть, точно у нее сразу отнялись руки, и завопила диким голосом кликуши, нагибаясь вперед, вытягивая шею. И старуха, вскочив, закричала плачущим голосом, обнимая больную, лоя ее руки, летавшие в воздухе; зарычали собаки, нюхая воздух. Проснулся работник, побежал в угол шалаша, принес оттуда ведро воды, ковш и крикнул:

— Ганна, куда тебя черти...

Он оглушительно свистнул, и вдруг суета, печаль и крик — всё прекратилось, убитое свистом; женщина тихонько плакала или смеялась, закрыв лицо руками, старушка, оправляя ее кофту, ленты и волосы, бормотала, точно молясь, работник сказал мне:

— Ничего, спи знай...

Мне показалось, что я давно уже заснул и вижу странный, беспокойный сон...

— Вот так — всегда,— тихонько говорил работник, усаживаясь на землю,— услышит голос и забьется, завопит, видно, мерещится ей, будто он зовет...

- Кто?
- Жених.
- А где он?
- Помер. Убили.

Старуха торопливо сказала что-то,— он почесал небритую скулу.

— Говорит — не уходи! Видно — боится тебя. Зря ты здесь...

Подумав, он сказал, кивнув головой в угол шалаша:

— Ступай, ложись там, на глазах у меня будешь. Ходите вы, эдакие вон, неприкаянно... Кто вас гонит?

Он вышел из шалаша, тотчас вернулся с толстой палкой в руках, лег рядом со мною, а палку положил под ноги себе так, что я в любую секунду мог схватить ее.

Женщина всхлипывала, точно обиженный ребенок, старуха всё бормотала незнакомые слова. Синие воды ночи заливали степь, черная фигура старухи шевелилась в темном сумраке, точно большая рыба на дне морском.

— Что же здесь случилось? — спросил я.

— Не здесь, а верстах в двадцати...— неохотно поправил меня работник.— Ехали они с ярмарки — она с женихом,— да запоздали. А тут — шахтеры кругом. Его «забили», а над нею — снасильничали и хребет сломали ей,— ноги-то ее вовсе отнялись из-за этого. Убитый человек...

Набивая трубку табаком, он рассказывал о насилии и убийстве так просто, как говорят о воровстве арбузов с бахчи.

Огонек спички осветил на секунду круглое лицо в серой щетине, сонные, тупо задумавшиеся глазки, утиный нос.

— Боятся они теперь, особо — русских, как мыши кошек. Богатым боязно жить. Да и этот, который шахтеров на убийство подкупил, тоже русский. Он сам хотел жениться на ней, ну, вот и придумал. Человек суровый. Засудили его в Сибирь, а с ним еще двух. Старуха всё ждет,— сбежит он из Сибири и прирежет их. Продает мельницу-то, хотит за Дунай к себе ехать, в румыны...

Было неприятно слушать его полусонные слова. Струны кобзы снова запели, к ним короткими восклицаниями присоединялся голос женщины.

— О чем она поет?

— Разное. До этого случая она сама складывала песни. Тут ее все царане почитали. Да и теперь... Хоша есть сукины сыны, — как давешний, — придут на тот бок реки и затанут, заведут ее любимые, ну, а она — не терпит этого, ей всё мерещится, что жених зовет. И сейчас — закликает, затрепыхается. А им — забава. Дразнят, значит...

— Вы понимаете ее песни?

Он усмехнулся.

— А что ж! Я всякую песню по сотне раз слышал. Известно — девица, ну, и — поет о своем. Без ума живет, а свое помнит...

Нужно было долго просить его, чтобы он перевел слова песни, он согласился на это только тогда, когда я обещал подарить ему рубаху.

— Ну, вот, — начал он, прихмутив брови и вслушиваясь в тихое течение печальной мелодии, — ну, поет она так:

— Боже мой, боже! страшная дорога ночью в степи, а я — сирота, как луна в небе. Будь что будет, устала я ждать счастья, боже мой, господи!.. Сожгут луну зарницы, а меня тоска сожжет. Боже мой, — лукавая девица я! Буду счастливой, посею цветы на твоей земле...

Он, видимо, увлеклся: вынул трубку изо рта, вытянул шею и напряженно мигал, вслушиваясь...

Кто скачет на белом коне, — не за мною ли счастье мое?

Над степью — луна, как золотой леток, в синем небе тихонько кружатся звезды — золотые пчелы, гудят струны, вздыхает негромкий мягкий голос, и слова работника сами собою слагаются в странные стихи:

Темная дорога ночью среди степи
— Боже мой, о боже! — так страшна!
Я одна на свете, сиротой росла я,
Степь и солнце знают — я одна!

Красные зарницы жгут ночное небо,—
Страшно в синем небе маленькой луне!
Господи! На счастье иль на злое горе
Сердце мое тоже всё в огне?

Больше я не в сплах ждать того, что будет...
Боже мой, как сладко дышат травы!
О, скорей бы зорю тьма ночная скрыла!
Боже, как лукавы мысли у меня...

Буду я счастливой,— я цветы посею,
Много их посею, всюду, где хочу!
Боже мой,— прости мне! Я сказать не смею
То, на что надеюсь... нет, я промолчу...

Крепко знойным телом я к земле приникла,
Не видна и звездам в жаркой тьме ночной,
Кто там степью скачет на коне на белом?
Боже мой, о боже! Это — он, за мной?

Что ему скажу я, чем ему отвечу,
Если остановит он белого коня?
Господи, дай силу для приветной речи,
Ласковому слову научи меня!

Он промчался мимо встречу злым зарницам.
Боже мой, о боже! Почему?
Господи, пошли скорее серафима
Белой, вещей птицей вслед ему!

Антон заснул, открыв мохнатый рот. Ночная птица, козодой, металась в застывшей тишине над бесплодной степью, над черной сталью реки; посвистывали мягкие крылья, точно шёлк, когда его гладит ветер. Ночная тоска маяла душу, возбуждая тревогу разных желаний,— хотелось петь, говорить, идти куда-то, прикоснуться к живому, хотя бы собаку погладить или, поймав мышь, ласково сжать в горсти ее теплое, трепетное тело.

Я не шевелился, боясь испугать старуху,— сидя у ног больной, она всё тихонько покачивалась, но вдруг, согнувшись пополам, стала неподвижна, точно

в ней сломалось что-то. Непрерывно гудели басовые струны, время от времени девушка подсказывала им непонятные слова. Одиночество, неисчерпаемое, как море, обняло степь, потопило ее, в сердце росла едкая жалость к земле, ко всему, что на ней. По синей тверди небес ослепительно черкнула серебряная звезда.

Дрожащим от напряжения голосом девушка вскричала знакомые слова:

— Оэ, Мара...

Это ударило меня в сердце такой острой тоскою, что я вскочил на ноги, подошел к больной и встал рядом, заглядывая в лицо ее. Она не испугалась, а только кивнула мне головою, не переставая петь; в ямах под ее бровями блестели глаза. В этом мерцающем блеске была неведомая, не испытанная мною сила, точно магнит притягивал сердце мое, — если б степь была зрячей, она, наверное, смотрела бы на человека вот так же, — медленно, с тихой и почти сладкой болью высасывая его сердце.

Слова песни стали еще более убедительными, насытились щемящей грустью, били по душе мягкими ударами. Кружилась белая кисть правой руки, связывая меня невидимой крепкой нитью; обессиленный, я всё склонялся к плечу девушки, а когда она перестала играть, поправляя волосы, упавшие на глаза ей, я взял ее руку и поцеловал.

И это не испугало ее, — она даже улыбнулась полусонно, как будто издали видя меня, потом брови ее низко опустились и прямо в лицо мне она густо вздохнула:

— Оэ, Мара-а...

— Оо-ó, — угрюмо запели струны на терцию ниже голоса.

Мучительно было слушать эту песню, а глаза девушки неотрывно смотрели в лицо мне, было в них что-то повелительное; следя за ними, я боялся мигнуть, и казалось, что в душу мою переливается темное безумие этих глаз.

Помню, мне хотелось сесть на землю у ног больной, зажмуриться и сидеть всю ночь, день, годы. Непонятная тяжесть наваливалась на меня, пригибая к земле; сердце билось медленно, сильными толчками, точно

весь шероховатый шар земной вкатывался на спину мне. Покачиваясь от мягких толчков в такт песне, прижавшись плечом к плечу девушки, не отрывая глаз от ее лица, я, кажется, тоже что-то пел, говорил, а ее голос звучал всё сильнее, растекаясь в ночной восприимчивой тишине. И дьявольское однообразие песни жутко сливалось в единый стон с пустотой нищей земли.

Вот и я тихо обезумел и уж навсегда останусь таким, буду ходить по земле, немой бродяга, слушать ее грустные песни, мучиться ими, не умея ответить ее стонам своей песней, не имея сил сказать свое слово.

Наконец девушка замолчала, глубоко вздохнув; что-то горячее коснулось моей щеки: это она гладила меня ладонью по лицу, как слепая.

Я покорно подчинялся ее ласке; мне чудилось, что больная что-то вспоминает, хотелось, чтоб она вспомнила, и я ждал, что вот еще немного — к ней вернется разум.

Тележка закрипела, подвинулась назад; тотчас вскочила на ноги старуха, крикнула и метнулась ко мне, взмахивая руками, точно отгоняя птицу.

Девушка засмеялась.

— Да не бойтесь вы, — сказал я старухе, она снова крикнула и, прыгая предо мной, точно курица, стала звать:

— Антонэ, Антонэ...

Работника разбудил я сам. Он встал на ноги, грубо сказал что-то старухе, прервав ее гневное шипение, потом спросил меня обиженно:

— Что же мне — не спать из-за тебя?

И ткнул рукой в степь, добавив:

— Ступай, уходи...

Я пытался уговорить его гнев, но он взял палку и, тыкая ею в землю под ноги мне, решительно лез на меня, заставляя пятиться перед ним. Очень хотелось ударить его по тупой голове, — он уже дважды и больно ткнул палкой в ступню моей ноги, заставив меня танцевать.

— Слушай, — сказал я ему, когда он вытеснил меня из шалаша, — чёрт с тобой, я уйду, Только ты Расскажи — что она пела,

Сначала я просил грубо, потом униженно, как нищий; он мычал, ругался, кривил пустое лицо, стараясь сделать его грозным, но наконец что-то рассмешило его в моих словах, и, смеясь, он сказал:

— А ты тоже сумасшедший!

Девушка снова цела тихонько:

— Оэ, Мара...

На темном ее лице лежали медные полоски лунного света...

Антон, стоя против меня грудь с грудью, объяснял, усмехаясь:

— Пришел под окно к девице разбойник и говорит: «Ой, Мара, значит — Марина, — скоро я умру, полюби меня». Больше ничего! Уходи ты, сделай милость! Нехорошо беспокоить людей. Что еще? Я же сказал: принес он ей награбленное и просит — полюби, я хоть старик... Вот, — кричат меня! Иди...

Я пошел берегом реки против течения; на плотине журчала вода, рассказывая серебряную сказку, надсадно звучали струны, плыла в безмолвии ночи суровая и жалобная песня.

Ой, Мара!

К тебе под оконце

Пришел я недаром сегодня,
Вглянись на меня, мое солнце,
Я дам тебе, радость господня,
Монисто и талеры, Мара!

Ой, Мара!

Пусть красные шрамы

Лицо мое старое режут, —
Верь — старые любят упрямо
И знают, как женщину нежить,
Поверь сердцу старому, Мара!
Ой, Мара!

Ты знаешь, — быть может,

Бог дал эту ночь мне последней.

А завтра меня уничтожит, —

Так пусть отслужу я обедню
Святой красоте твоей, Мара!..

Ой, Мара!

Двое суток бродил я по степи вокруг мельницы, — нестерпимо хотелось послушать еще раз песни девушки. Подходил близко, смотрел издали на камышовую крышу, седую от дождей, на сухое колесо и реку, подмывающую камни, — на мельнице было тихо и мертво и днем и по ночам.

Уходил в степь верст за десять и дальше, потом — снова возвращался, видел, как по двору шагает Антон с трубкой в зубах, а у ворот в тени лежат собаки.

Ни старуху, ни девушку я не видал больше, точно они в землю ушли.

— Оэ, Мара!..

Вероятно — давно уже умерла девица...

ВЕСЕЛЬЧАК

В зеленоватую воду моря брошена — как желтый лоскут атласа — маленькая песчаная отмель; перед нею — на юг — безбрежная стеклянная гладь, сзади нее — полоса ослепительно светлой воды, дальше — низенькие медные холмы берега, на холмах убогая поросль каких-то безымянных прутьев, а еще дальше, среди горячих песков, — грязные пятна строений рыбного завода.

День такой яркий, что даже отсюда, с отмели, видно, как там, за версту, на холмах, сверкает серебряными искрами рыба чешуя.

Жарко — точно в бане; чайки, разморенные зноем, похожи на куриц; они бродят по отмели, раскрыв клювы, лениво распутив кривые крылья, и лишь изредка хрипло вскрикивают, задыхаясь. Едва слышно шумит и плещется вода, облизывая отмель низенькими, в четверть аршина, волнишками.

Тихо, точно после великого несчастья, тихо и пусто.

Изнывая от жары, на влажном песке растянулся, закрыв белесые глаза, сергачский человек Баринов, он ворчит, дремотно поучая меня:

— В думах моих я все земли прошел, все моря переплыл; в думах моих я все грехи изведаль...

Я слушаю и не верю ему, — он человек робкий, на людях ведет себя подхалимом, а когда говорит с приказчиком завода, то у него дрожат ноги и голос ласково взвизгивает. Он мужчина ленивый, как буйвол, неустанно рассуждающий и чрезвычайно волосат; его плоское курносое лицо — в шерстяной маске песочного цвета, из широких, точно у верблюда, ноздрей торчат рыжие шерстинки, из ушей — тоже, голая, медная от загара

грудь заросла, как у медведя, даже на суставах пальцев растут густые кустики волос. Ноги у него кривые, портновские, руки — длинные и толсты, как ноги; ему, должно быть, очень удобно ходить на четвереньках.

Но это очень добродушный, очень смиренный зверь; когда товарищи бьют его за лень и ротозейство, он, перекатываясь бочонком под ногами у них, только просит, не сердясь и не жалуясь:

— Да будя, братцы, будя! Ну, побили, ну и ладно...

Его лысая голова туго повязана красным; издали кажется, что череп его лишен кожи.

— А в жизни я — пустой человек, — справедливо говорит он, не интересуясь, слушаю ли я его. — Пустой, как бубен, ударят — отвечаю, не трогают — молчу...

Он как будто бредит, я тоже в полусне. Над нами очень синее небо, вокруг — зеленоватое море, как будто и под нами небо. А мы, на атласном куске отмели, висим в бездонной пустоте, точно на самолете-ковре.

Но ковер-самолет неподвижен. И в душе тоже всё неподвижно.

Версты за полторы впереди такая же отмель, как наша; ее было бы не видно в массе расплавленного, горячо сверкающего стекла, но по ней ходит темная фигура, будто плавающая в воздухе. Это — наш третий товарищ, какой-то восточный человек, перс или армянин из Персии, его зовут Изет. По-русски он почти не говорит, но прекрасно понимает всё, что ему приказывают, — очень удобный человек.

Нас, троих, послали с завода на отмель, чтобы снять с нее оставленные утром снасти, но Баринову и мне лень было ехать так далеко по жаре, мы залегли на ближайшую к берегу мель, а Изету приказали ехать за снастью; послушный, как смиренная лошадь, он поехал.

— Мне сорок пять годов минуло, — бредит Баринов, потягиваясь, — я столько всякой всячины видал, что иному губернатору и то хватит. А спроси меня — к чему всё? Так я тебе этого не скажу. Томаша одна. А ты говоришь — народ...

Не на чем остановиться глазу в этой сверкающей пустоте; мозг растекается в ней, точно клок белой пены на теплой воде моря. И думать не о чем.

Баринов? То, что он говорит, я уже слышал от него и от других. Все эти размышления о жизни только мертвят ее, вызывая в сердце досаду и тоску.

Если, закрыв глаза, пролежать несколько минут неподвижно, то в каждом мускуле тела, в каждой точке его, начинаешь чувствовать неприятное расширение, таяние и как будто погружаешься в горячую бездонную пропасть. Так, должно быть, чувствует себя маленький кусочек крутого теста, брошенный в котел нагретой воды.

Надув седые щеки, противно кричит старая чайка, две подруги косятся на нее злыми глазами и, тяжело расправив крылья, медленно летят в море, — их отражения влачатся по воде, как два лоскута шёлка.

Там, в воздухе, над водою возится толстый, круглый Изет, подталкивая к лодке бочку.

— У нас, на селе, был писарь Колобашкин, — рассказывает Баринов сам себе, — добрый человек, хоша заливной пьяница. Так он, бывало, говорил: «Надобно жить всем одинаково. Порите, говорит, мужики, друг друга чаще, когда все перепоретесь и будет вам друг дружку стыдно, начнете вы дружнее жить. Надо, говорит, всем в одном жить, хоть в стыде, лишь бы единодушно. А когда всякая крупинка сама по себе — каши не сварить». Гляди-ка, кто идет?

Он смотрит на берег, приложив ко лбу мохнатую лапу, — вдоль берега ходит, качается у самой воды какой-то человек и гасит ногами искры рыбьей чешуи.

— Броду ищет. Крикни ему, правее бы шел, там гряда...

Я молчу, не хочется кричать; молчит и Баринов. Становится всё жарче; теплый, крепко соленый воздух тяжел и влажен, трудно дышать. На губах — соль, хочется пить, а баклажка с простой водою в лодке. В море, у самой отмели, поблескивают серебряные сельди, они кажутся отражениями бескрылых птиц, плавающих в воздухе, невольно смотришь вверх, где, в синем зное, остановилось и плавится солнце.

Человек нашел путь к нам — песчаную гриву, намытую весенними бурями; эта грива изогнулась, как фран-

цузское S, ее нижний конец — островок, на котором мы лежим. В самом низком месте воды над нею — только под мышки.

— Не наш,— говорит Баринов.

Я верю ему, зрение у него морское.

Человек вошел в воду и медленно двигается вперед, поднимая локти, уходя всё глубже с каждым шагом, смешно расталкивая воду животом.

— Персюк,— решает Баринов.

Я вижу над водой темное бритое лицо, серые, коротко подстриженные усы, белые зубы, обнаженные улыбкой. На голове человека круглая валяная шапка, похожая на глиняный горшок, на плече у него висят синие штаны. Куртка тоже синяя, а под нею белая рубашка, раскрытая на груди. Вода становится ниже, из нее вырастают медные ноги, блестя на солнце.

— Здырясты! — еще издали кричит он, многократно кивая круглой головою.

— Веселый,— заметил Баринов, улыбаясь.— Персюки — все эдакие, веселый народ, добряк. Глупые довольно, глупее ребенка. Обмануть персюка — легче всего!

Человек вышел на мель, надел штаны, сдвинул шапку на затылок, обнаружив синий бритый лоб, и пошел к нам, вскрикивая:

— Здырясты, здырясты!

Он сухой, тощий, его черное лицо сплошь исписано мелкими морщинами, среди них весело сверкают в синеватых белках золотистые зрачки, глаза большие, миндалинами. Молодой он, должно быть, был очень красив. Гибко подогнув длинные ноги, он ловко присел на корточки, спрашивая:

— Табака иесть?

Вынул из-за пазухи пахучий кисет, черную трубку и протянул Баринову.

Тот благосклонно принял угощение и, туго набивая трубку волокнистым влажным табаком, заговорил:

— Зачем пришла перса?

Человек посмотрел, как Баринов тискает табак большим пальцем, усмехнулся и отнял у него трубку.

— Не будит кури!

Выковырял ком табаку и, снова набив трубку, подал Баринову.

— Так будит.

— Перса работа нанялась?

— Работа, — кивнул головою гость. — Работа будит — чик!

— Я говорю — веселый, — сказал Баринов, тоже усмехаясь.

А перс посмотрел в море, где Изет возился у лодки, и, протянув туда руку, спросил:

— Это — какой?

— Ваша, вроде тебя.

— Наша, — не то согласился, не то переспросил перс.

— Изет зовут.

Перс отрицательно мотнул головой.

— Ему зовут Хасан.

— Ну, как хошь.

— Дыруг моя...

— Друг? Так.

Баринов усердно и неумело курил, заглатывая целые облака дыма и выпуская их длинной синей струей. Перс, улыбаясь, смотрел на него, тихонько напевал странную песню и зачем-то сгибал и разгибал правую руку. Тишина вокруг всё уплотнялась.

— Сладкий табак, а крепок, — пробормотал Баринов, глядя на меня осовелыми глазами. — Индо в голову ударило...

Он опрокинулся на спину и закрыл глаза.

Несколько минут перс сидел неподвижно, точно уснув, только в его прищуренных глазах светились золотые искорки. Потом он сморщился, крепко вытер лицо свое ладонями, сложив их в пригоршни, посмотрел на ладони, точно в книгу, пошевелил губами и снова вытер лицо.

И вдруг, закинув голову, выгнув кадык, он завыл негромко, но очень высоким, почти женским голосом:

— Ай, яй, яй-ай-и!

— Эк тебя прорвало, — дремотно сказал Баринов, перевернувшись спиной к солнцу, а перс, обняв колени

руками, покачивался и выл, наполняя тишину тонким воплем.

Там, на отмели, Изет, стоя по колени в воде, сталкивал лодку с песка, — когда перс завыл, он взмахнул рукою и, выпрямившись, стал из-под локтя смотреть в нашу сторону.

Перс толкнул меня плечом, говоря:

— Слышите!

И, оскалив зубы, весело добавил:

— Ему будет — чик!

— Что такое чик?

— Такой, — сказал перс, закатил глаза под лоб и всхрапнул, как лошадь.

Это было смешно.

Изет постоял, посмотрел, столкнул лодку, не торопясь, влез в нее с кормы, — стало видно, как лодка закачалась на гладкой воде, неотделимой от воздуха.

А перс, прищурив глаза, снова тихонько запел воющую песнь; пел он горлом, с неожиданными повышениями до визга, странно захлебываясь звуком, капризно прерывая его ленивое течение. Эта песня еще более усугубляла знойную тоску пустого дня; ничему не мешая, ничего не будя, звуки и слова, чуждые мне, плыли, как стая мелкой рыбы. Казалось, что песня давно уже звучит в тишине, всегда звучала в ней, — мелодия ее была неуловима и ускользала из памяти, не поддаваясь усилиям схватить ее. В светлой пустоте дергалась лодка, точно неуклюжая рыба с тонкими длинными плавниками; Изет едва греб, медленно опускающая и поднимая весла.

— Что ты поешь, о чем? — спросил я перса, когда мне надоело слушать его вой.

Он тотчас же замолчал, оскалил зубы и охотно начал рассказывать:

— Такой веселы пэсня — тасниф, наша зовут, тасниф!

Но слов у него не хватило, он закрыл глаза, закачался и снова начал вопить:

Ай-яй-яй-ай-и!

Минэ нады пэхать Фарсиста-аи!

Прервал пение, подмигнул мне и заговорил:
— Нады, не нады, кто знайт? Алла знайт, человек-ка нэт знайт! Молодой баба остался дома, другой муж взял — не взял,— кто знайт? Скажи, добрый Джин, который моя друг, жены новый муж? Так поем тасниф. Шайтан шутит — человека плачит...

Баринов пошевелился и сказал осуждающим тоном:
— У них все песни про баб, больше ничего не знают, псы...

А перс всё говорил, весело и бойко поблескивая глазами, путая незнакомые мне слова с изломанными русскими.

— Нады ихать Фарсистан,— не нады ихать? Буду пить вино, буду обмануть дыруга и все люди,— такой тасниф! Дома человека — умны, дорога — глупы!

Он засмеялся, крепко потирая руки, и вдруг, потемнев, задумался, замер, глядя в сверкающее зеркало моря. И я задумался, слагая его смешные слова в незатейливую песню.

Я хочу делать хорошие дела...
Ах, надо ехать в Фарсистан!
Скажи, мой добрый Джин,
Сколько беды и зла
Готовит мне шайтан?

У меня молодая жена...
Люблю ее мягкие колени!
А мне надо ехать в Фарсистан!
Скажи, добрый Джин,
С кем жена мне изменит?

У меня есть два друга,—
Скучно мне без них стапет!
Мне ведь надо ехать в Фарсистан.
Скажи, добрый Джин,
Который друг меня обманет?

Ах, я человек смирный,
А дорога мне не знакома...
Как тут ехать в Фарсистан?
Скажи, добрый Джин,
Не умнее ли буду я дома?

А не послать ли к шайтану
Дела, друзей и жену?
Не надо ехать в Фарсистан!
Лучше я сам всех обману,
А потом — напьюсь пьяный...

Лодка подвинулась близко к мели, я вижу круглое красное лицо угрюмого Изета, он сидит прямо, гребет, не сгибая спины. Перс гибко встал на ноги, пощупал рукою пазуху и легко пошел навстречу лодке.

— Ну, надо и нам садиться да ехать, — сказал Баринов, потягиваясь так, что у него захрустели сухожилия. — А то погодим, пускай дружки поговорят...

Изет выпрыгнул из лодки в воду и пошел на берег, изогнувшись, спрятав руки за спину, а перс вдруг присел на корточки. Тогда Изет, остановясь на секунду, поправил шапку, провел ладонью по лицу и, стряхнув с нее пот, тоже смешно подогнул колени.

— Эй, эй, дьяволы! — испуганно заорал Баринов, вскакивая на ноги, и торопливо бросил мне:

— Драться хотят, негодяи! Эй, вы, — нельзя! Они ведь ножами!

Да, в руках друзей, точно живые сельди, сверкали длинные тонкие ножи. Присев на корточки, напоминая тетеревей на току, они переступали с ноги на ногу, подпрыгивали, а Баринов, оглядываясь, тревожно бормотал:

— Эх, палки нет — палкой бы их по башкам.

Вдруг перс быстро сунулся всем телом вперед, а Изет крикнул, размахнул руками и упал на спину.

— Куда? Зарежут! — крикнул Баринов, когда я побежал к лодке.

Стоя на коленях, перс совал левой рукою нож в песок — сунет, вытащит и, вытерев лезвие полою куртки, снова сунет.

— Что ты сделал? — спросил я.

Он ответил, оскалив зубы, глядя нож пальцами:

— Мы ему, собаку, давно искал.

По правой руке его из-под рукава стекали алые струйки крови, кровь тяжелыми каплями падала на песок и исчезала, оставляя за собою ржавые пятна.

Изет лежал на спине, спустив ноги в воду, плотно прижавшись щекою к влажному песку. Лицо у него побурело, тусклые глаза пристально смотрели на разжатый кулак откинутой руки и на нож около нее. Пальцы другой руки вцепились в песок, а толстые губы сердито надуты.

— Серсэ нашол,— сказал перс, подмигнув мне.— Чик!

Баринов осторожно, стороной, подобрался к лодке, влез в нее и закричал мне:

— Едем, чёрт!

Когда я, столкнув лодку, сел на весла, он, перевалившись на корму, начал злобно орать:

— Погоди, свинья, вот мы сейчас тебя, злодея...

Перс, стоя на коленях, весело кивал нам головой и вдруг звонко крикнул:

— Прочай!

Стянул с плеч куртку, рубаху и обнаружил длинную руку, красную по плечо,— она так ярко загорелась на солнце, точно была выкована из металла цвета крови.

А всё кругом — снова как сон...

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Архив Г_{IV}* — Архив А. М. Горького, т. IV. Письма к К. П. Пятницкому. М., Гослитиздат, 1954.
- Архив Г_{VII}* — Архив А. М. Горького, т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959.
- Архив Г_{IX} — XIII* — Архив А. М. Горького, т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., «Наука», кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки, 1969; т. XIII. М. Горький и сын. Письма. Воспоминания. 1970.
- ВС* — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.
- Г и его время* — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.
- Г и Короленко* — М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов. Переписка, статьи, высказывания. М., Гослитиздат. 1957.
- Г, Материалы* — М. Горький. Материалы и исследования, т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1934; т. III, 1941.
- Горький* — М. Горький. Собрание сочинений, т. VIII. М.— Л., ГИХЛ, 1947.
- Г-30* — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.
- Г Чтения*, 1959—1966 — Горьковские чтения, 1953—1957. М., Изд-во АН СССР, 1959; Горьковские чтения, 1964—1965, «Наука», 1966.
- ЖЗ* — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. XVIII, XIX, 1915.
- К* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag „Kniga“, 1923—1928.

- Калинин* — Н. Калинин. Горький в Казани в 1884—1888 гг. Спутник по горьковским местам. Казань, 1940.
- Коцюбинский* — М. М. Коцюбинский. Собрание сочинений в 4 томах. М., «Художественная литература», 1965.
- Кудрявцев* — В. Ф. Кудрявцев. Историческое описание города Васнля Нижегородской губернии. Нижний Новгород, 1877.
- Л* — Издательство И. П. Ладыжншкова в Берлине.
- ЛБГ* — Личная библиотека М. Горького.
- ЛЖТ_I — IV* — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.
- Лит Насл* — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963.
- Луначарский* — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.
- Муратова* — К. Д. Муратова. М. Горький на Капри. 1911—1913. Л., «Наука», 1971.
- ПТ* — первопечатный текст.
- Сб Зн* — Сборник товарищества «Знание».
- Суриков* — Стихотворения И. З. Сурикова. М., 1875 и 1877.

В четырнадцатый том настоящего издания вошли повесть «Хозяин», рассказ «Случай из жизни Макара» и цикл «По Руси» — произведения, написанные Горьким с начала 1912 по 1917 г. После первой публикации вышли отдельными книгами в издании Л: повесть «Хозяин»; «Случай из жизни Макара» и «Рождение человека»; девять рассказов под общим названием «Записки проходящего», части I и II.

Повесть «Хозяин» и рассказ «Случай из жизни Макара» включались в собрания сочинений ЖЗ и К.

Рассказы, составившие книгу «Записки проходящего», а также рассказы «Рождение человека» и «Едут...» вышли в ЖЗ под общим заглавием «По Руси». Восемнадцать рассказов, после первой публикации, были изданы отдельной книгой «Ералаш и другие рассказы». При подготовке всех рассказов к изданию К автор объединил их в цикл под общим названием «По Руси».

Тексты включенных в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *Т. Б. Дмитриева* («Хозяин», «Случай из жизни Макара») и *Е. А. Тенишева* («По Руси»).

Тексты рассмотрены и утверждены специальной Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*, в технической и организационной работе, связанной с подготовкой тома к печати, участвовала *И. И. Соколова*.

ХОЗЯИН

(Стр. 5)

Впервые, с подзаголовком «Повесть», напечатано в журнале «Современник», 1913, №№ 3, 4 и 5. Одновременно — отдельной книгой: М. Горький. Хозяин. Повесть. Berlin, I. Ladschnikow Verlag, <1913>, стр. 5—126.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинописный текст с авторской правкой и подписью, а также правкой неизвестного лица (АМ) — оригинал набора для Л (ХПГ-47-10-1).

2. Текст т. XVIII ЖЗ, правленный автором для К (ХПГ-47-10-2). Рукой Горького здесь зачеркнуто печатное заглавие «Хозяин» и написано новое: «Хозяин. Страница автобиографии».

Печатается по тексту т. XVIII ЖЗ, правленному автором для К, со следующими исправлениями:

Стр. 45, строка 11: «простудившись» вместо «простудившись» (по АМ и ПТ).

Стр. 57, строка 24: «на печи лежали» вместо «на печи» (по тем же источникам).

Стр. 66, строка 22: «найти свое пристрастие» вместо «найти новое свое пристрастие» (по тем же источникам).

Стр. 73, строка 26: «жмурясь» вместо «хмурясь» (по тем же источникам).

Стр. 88, строка 14: «Сашка» вместо «Герасим» (по ПТ).

Стр. 88, строка 21: «в уровень с его головой» вместо «с его головой» (по АМ, ПТ, Л).

Стр. 90, строка 20: «зарычал» вместо «закричал» (по тем же источникам).

Стр. 91, строки 31—32: «внес самовар» вместо «вынес самовар» (по тем же источникам).

Стр. 93, строка 23: «ощущение бессилия» вместо «ощущение» (по АМ и ПТ).

Стр. 97, строка 29: «не осержусь» вместо «не сержусь» (по ПТ).

Стр. 104, строки 9—10: «несчастных банкротств» вместо «несчастных банкротов» (по АМ).

Стр. 105, строка 19: «странное» вместо «страстное» (Ред.).

Замысел произведения относится, по-видимому, к 1901 г. 23—24 октября (5—6 ноября) 1901 г. Горький уведомил К. П. Пятницкого, что на предложение Н. К. Михайловского напечатать пьесу «Мещане» в «Русском богатстве» он ответил: «...драму — не могу дать, а дам на январь, декабрь очерк „Хозяин“, который еще не написан» (*Архив ГГУ*, стр. 48). Но только через 11 лет писатель осуществил свой замысел. 24—27 февраля (8—11 марта) 1912 г. он сообщал Е. П. Пешковой: «Я приеду скоро, сейчас вот кончаю рассказ для „Знания“ <...> Месяца два, как живу в прошлом: пишу рассказ „Мой хозяин“ — о булочнице Семенове, и „Самоубийство“ — о себе» (*Архив ГГХ*, стр. 136). В декабре 1912 г. произведение было завершено. Об этом писатель сообщил редактору журнала «Современник» Е. А. Ляцкому: «Повесть — окончена, скоро я ее пришлю, называется она „Хозяин“» (*Архив А. М. Горького*, ПГ-рл-24-9-30).

24 декабря 1912 г. (6 января 1913 г.) Горький писал Ляцкому: «...посылаю повесть, хорошо бы поместить ее в двух книгах: февраль — март» (там же, ПГ-рл-24-9-31). Ляцкий ответил 9 (22) января 1913 г.: «Рукопись Бунина и Ваша повесть „Хозяин“ мною получены <...> Половину Вашей повести я прочел с захватывающим интересом» (там же, КГ-п-47-8-18).

По просьбе Горького, печатание повести в «Современнике» было отложено на март-апрель (письма Горького к Ляцкому — там же, ПГ-рл-24-9-39 и 42).

В издании *Л* «Хозяин» вышел в марте 1913 г. Об этом можно судить по письму сотрудника издательства Б. Н. Рубинштейна Горькому от 4 (17) марта 1913 г.: «„Записки проходящего“ и „Хозяин“ уже набраны, и первые экземпляры придут из типографии в начале следующей недели» (там же, КГ-п-66-14-4).

При публикации повести в т. XVIII *ЖЗ* из ее текста при невыясненных обстоятельствах выпал следующий эпизод (изображение начала бунта крендельщиков); в «Современнике» и в издании *Л* он следовал после слов «...сыпались из него слова одно другого грязнее» (см. стр. 87 наст. тома):

« — Шестой час, а вы дрыхнете! Обрадовались, что хозяин не в себе? Насосались крови мой?»

Крендельная урчала, топала и шаркала ногами, шлепались лубки, гремели дрова.

— Я вас подтяну! Семь мешков работы!..

Это всегда так было: после запоя хозяин взваливал на всех чуть не вдвое больше работы, так что мастерская только охала, и в неделю все рабочие выматывались почти до полного бессилия, — тогда хозяин сбавлял мешок, два. Во время запоя работали мало и скверно, то — не допекая товар, и он быстро загнивал, то — пересушивая, тогда он терял в весе. Поэтому все чувствовали себя виноватыми пред хозяином, никто не протестовал против его сквернословия, а истязание работой принималось как должное, заслуженное. Отругавшись, хозяин подкатился ко мне:

— Понесешь товар Соньке, — останься там, дождись меня... Где Сашка?

— Не знаю.

— Знаешь! — дико заорал он. — Гляди, честный, хорошо ли жуликов прикрывать?

И, сгорбившись, приподняв плечи, подвывая, он быстро ушел к себе.

Прибежал Цыган, неумытый, измятый, серый от испуга, и зашептал:

— Ой, ой, ой! — чего будет? Наварили мы тут, напекли... и всё — Сашка! Такого жадного вора — нигде не было! Вот что, — буде хозяин спросит, где три мешка конфетной муки, — ты объясни: подбавляли, мол, второму сорту, как он — солоделый. Сашка, мол, велел... будь верен друг — топи его! Он — наобался, его ежели и в шею выгонят — что ему? Он уж — на ногах... ему — всё едино!

И, схватившись руками за голову — не его жест, и вышло фальшиво, — Цыган зашипел сквозь зубы:

— Работищи он взвалил, — чисто каторжникам!..

— А вы — откажитесь.

— Мы — чего?

— Откажитесь.

— От хлеба — не откажешься.

— Весна на дворе.

— Это — так... Рабочих теперь — не пабрать... домой народ уходит...

Пашка быстро и смешно начал чесаться сразу в нескольких местах и, подмигивая мне хитрым глазом, шептал:

— Это — как ты говорил, а? Как у этого... как его? На фабриках, а? Чёрт те подери... а что, в самом-то деле, а? В случае, ежели что... так и скажу — это твоя наука, ладно? Тебе ведь всё равно!

Он рванулся в крендельную, и там тотчас раздался его высокий, звонкий голос:

— Ребята! Артюша, Осип... стой! Долго ли нам терпеть, братцы родные...

Я вынимал из печи хлеб, а за шорохом лопаты мне не слышны были слова его речи, — звучал только опьяняющий, певучий голос, а его обнимал и глушил сердитый, слитный шум и ропот всей мастерской.

Взбрасывая на полки румяные караваи, обжигавшие мои руки, я невольно и невесело думал:

— Сашка учит воровать, я — бунтовать, а Павел думает, что нам обоим — всё равно...

Потрескивали корки хлебов, в крендельной шумели всё сильнее, и в комнате хозяина тоже начинался деловитый шум, сыпалась медная пыль, были слышны визгливые возгласы хозяина, и растекалась слащавая речь приказчика.

Прибежал Артем и громким шёпотом объявил:

— Решили...»

Редактируя повесть для *К*, Горький провел большую стилистическую правку, а также исключил из текста разговор о различии между «прохожим» и «проходящим» (см. варианты).

Повесть «Хозяин» автобиографична. Об этом свидетельствует подзаголовок, сделанный писателем при подготовке текста для К. На автобиографический характер произведения Горький указывал и в письмах. В ответ на просьбу И. А. Груздева рассказывал о казанском периоде жизни и о булочнике Семенове он сообщал ему 15 августа 1926 г., что этот период «довольно подробно описан в рассказах: „Мои университеты“, „Хозяин“, „Коновалов“, „Бывшие люди“ <...> О Василии Семеновиче Семенове смотри рассказ „Хозяин“, автобиографически верный» (Архив ГХИ, стр. 66—67). В письме к французской читательнице Рене Гриффон писатель сообщал о произведениях «Детство» и «Хозяин», что «обе эти вещи имеют характер автобиографии» (Архив А. М. Горького, ПГ-ин-59-12-1). О достоверности фактов, лежащих в основе повести, Горький писал также А. А. Белозерову (Г-30, т. 30, стр. 22), И. В. Галанту (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-10-3-7). В «Беседах о ремесле» упоминаются как реальные лица «благочестивый старпчок Кузин, хозяйский наушник, прозванный в артели Иудой», Осип Шатунов и сам «хозяин» (Г-30, т. 25, стр. 336—339).

События, изображенные в «Хозяине», происходили в Казани, во второй половине 80-х годов. В конце 1885 года, в течение которого А. Пешков работал главным образом на поденщине, он нанялся за 3 рубля в месяц в крендельное заведение В. С. Семенова, куда его рекомендовал А. С. Деренков (см. цитированное выше письмо Горького к Груздеву.— Архив ГХИ, стр. 67). Сам Деренков вспоминал: «У Семенова Алексей Максимович работал много. Много перенес оскорблений от этого самодура. Но рабочне-семеновцы удивлялись гордой независимости Алексея Максимовича и считали его ученым, бывшим студентом» (ВС, стр. 81).

В 1912 г. Горький в письме к Р. В. Иванову-Разумнику, подвергая критике его философские и социологические взгляды, в частности, его попытку доказать «внеклассовый» характер интеллигенции, заметил: «Вы скажете — марксист! Да, но марксист не по Марксу, а потому, что так выдублена кожа. Меня марксизму обучали лучше и больше книг казанский булочник Семенов и русская интеллигенция, которая наиболее поучительна со стороны своей духовной шаткости» (Г-30, т. 29, стр. 218).

Реальность «хозяина» подтверждается и документами. В «Списке ремесленных заведений» Казани за 1886 г. значится булочное заведение В. С. Семенова на Рыбнорядской улице, в доме Андреева, с одним мастером, 14 работниками, 6 учениками, годовым денежным оборотом в 31 000 руб.; год основания — 1872 (см.: Калинин, стр. 35).

В 1901 г. Семенов, обанкротившись, бежал из Казани от кредиторов. Казанская газета поместила следующую заметку: «На первый день Пасхи, около 10 часов утра, из своей квартиры (на Рыбнорядской улице) отправился на легковом извозчике известный казанским обывателям булочник-кондитер В. С. Семенов и до сих пор домой не возвращался. Несмотря на тщательные розыски, не удалось узнать ни об его местопребывании и ни о

том, что могло с ним случиться. При исчезновении Семенова выяснилось, что долгов у него разным лицам и учреждениям на сумму 40 000 р., а исчезновению предшествовали следующие обстоятельства. В конце страстной недели всю выручку от торговли Семенов употребил на расплату с некоторыми кредиторами, всего 2800 р., а в первый день Пасхи некоторые из его хороших знакомых видели его сидящим с сильно наклоненною головою на легковом извозчике и горько плачущим» («Воляжский вестник», 1901, № 81, 11 апреля).

Буржуазные критики как охранительно-консервативного, так и либерального направления сошлись на том, что повесть «Хозяин» является односторонней, слишком мрачной. В неподписанной рецензии реакционного «Московского листка» утверждалось, что новое произведение Горького «не блистает ни новизною типов, ни содержательностью творческого замысла (...) на повествовании Горького лежит печать какой-то унылой безнадежности» («Московский листок», 1913, № 143, 22 июня). Ф. Ямниковский упрекал Горького в том, что повесть написана «тоном холодного, почти безучастного наблюдателя (...) Кошмарные, гнетущие сцены из жизни рабочих хлебопекарни и крендельной и отвратительная личность хозяина производят всё же недостаточно сильное впечатление ввиду безучастности автора» («Россия», 1913, № 2332, 23 июня).

«На другую дорогу свернул в 1913 году М. Горький», — утверждалось в неподписанной статье, подводившей итоги литературных достижений за 1913 год («Россия», 1914, № 2494, 1 января). А. А. Измайлов заявлял, что повесть страдает недостатком движения, в ней много разговоров, затягивающих рассказ, а поэтому она не может сильно захватить читателя. «Это умно, — заключал он, — но это скучно» («Биржевые ведомости», 1913, № 13606, 20 июня).

По существу, с мнением этих критиков солидаризировались В. Ф. Боцяновский и Ал. Ожигов (Н. П. Ашешов). В статье с характерным названием «Пессимизм Горького», опубликованной под псевдонимом Анчар, Боцяновский утверждал, что повесть лишена «бодрящего луча солнца» («Биржевые ведомости», 1913, № 13559, 21 мая). Ожигов, развивая подобную точку зрения, пытался доказать, что Горький, который «в прошлом был пророком и предтечей демократического буйства», теперь разочаровался в революционных взглядах («Современное слово», 1913, № 1929, 24 мая).

Как бы отвечая буржуазным критикам, положительно оценил повесть «Хозяин» А. Кратов (И. С. Книжник) в демократическом «Новом журнале для всех»: «„Хозяин“ — это рассказ о русском кулаке, вышедшем из рабочей среды и прижимающем рабочих. Есть в этом рассказе намеки, что рабочий-пекарь, один противостоящий произволу хозяина, есть сам автор. С привычным мастерством рисуется здесь быт рабочих, хозяина, его любовниц, его ближайших помощников» («Новый журнал для всех», 1915, № 10, стр. 62).

С буржуазными критиками пытался полемизировать и И. Н. Кубиков (псевдоним — Квадрат), выступивший в двух номерах «Новой рабочей газеты» со статьей «Новая повесть М. Горького». Он назвал повесть Горького «одним из крупных произведений русской литературы последнего периода» («Новая рабочая газета», 1913, № 4, 11 августа). Горький выступил в «Хозяине», писал Кубиков, «правдивым бытописателем рабочей жизни, которого так жаждет богатая материалом жизнь и рабочая демократия» (там же).

В другой статье Кубиков слова дал положительную оценку повести «Хозяин», а Горького назвал «не только большим художником, но и блестящим бытописцем, помогающим разобраться в сложности жизни» («Рабочее утро», 1915, № 5, 19 ноября).

Однако подлинного смысла повести Кубиков так и не понял. «Делая два шага вперед как бытописатель рабочей среды,— писал он,— Горький делает шаг назад в сторону сентиментального отношения к такому хищнику и цинику, каковым является,— несмотря на ряд смягчающих черт,— хозяин Семенов» («Новая рабочая газета», 1913, № 4, 11 августа).

Позднее, порвав с меньшевизмом, И. Н. Кубиков во многом пересмотрел и уточнил свои взгляды и на творчество Горького. В частности, критически оценивая в одной из своих работ повесть «Исповедь», он писал: «Но необходимо сказать, что там, где Горький описывает рабочую среду, которую он знал близко, там он сразу становится необычайно интересен. Такова среда пекарей — этих полупролетариев, связанных с деревней и вечных кандидатов в босяки,— в прекрасной повести „Хозяин“» (И. Н. Кубиков в Великие писатели России. Изд-во «Пролетарий», 1925, стр. 82—83).

Развернутую характеристику повесть нашла в другой работе Кубикова, где говорится:

«В повести „Хозяин“, написанной в 1913 г., перед нами те же самые пекаря, но уже не в романтическом ореоле поэмы первого периода, а в свете жуткой жизненной правды.

Мы считаем эту повесть М. Горького одним из его замечательных созданий: в ней изумительно сочетание подлинного лика жизни с лирической настроенностью писателя. Перед нами люди несчастные, слабые, неспособные к борьбе. Но взором проникновенной любви смотрит художник на их темную жизнь <...> в повести „Хозяин“ Горький не хочет быть романтиком: он не желает скрывать от читателя всей скорбной правды жизни. Слой пролетариата, который изображает писатель, играл самую второстепенную роль в рабочем движении. Для того, чтобы он изжил в себе полукрестьянскую психологию покорности, одной проповеди было недостаточно. Необходимо было развитие движения фабрично-заводских рабочих. Только этот авангард революции мог увлечь за собой полурабочие и ремесленные слои пролетариата <...> В этой повести Горький положил на чашку весов свое знание жизни полудеревенских пролетариев — пекарей, свою чуткость и большую любовь к страдающим людям, свое стремление, в данном случае, избежать прикрас жизни,—

и дал в результате одно из прекрасных произведений русской литературы» (И. Н. К у б и к о в. Рабочий класс в русской литературе. Иванаово-Вознесенск, 1924, стр. 125, 129).

Повесть «Хозяин» в советское время была иллюстрирована художником-графиком Б. А. Дехтеревым (см.: М. Г о р ь к и й. Хозяин. Двадцать шесть и одна. Мальва. М., 1933). Горькому понравились иллюстрации. «...среди Ваших рисунков, — писал он художнику 11 сентября 1933 г., — меня очень удивили три: портрет бывшего моего хозяина В. С. Семенова, кормление свиной и плач хозяина над тушами отравленных свиной; удивили меня эти рисунки точностью воспроизведения Вами „натуры“, с которой Вы ознакомились только по описанию <...> поражен сходством портрета „хозяина“ с „натурой“. Замечательно!» (Г-30, т. 30, стр. 323).

Повесть нашла сценическое воплощение. По мотивам «Хозяина» и других автобиографических произведений Горького в 1933 г. П. С. Сухотиным был написан текст инсценировки «В людях». 29 сентября 1933 г., присутствуя на спектакле «В людях» в филиале МХАТа, Горький был потрясен блестящей игрой М. М. Тарханова, исполнявшего роль «хозяина». Писатель даже спросил артиста: «Скажите, а вы лично не были знакомы с булочником Семеновым?» («Театр», 1948, № 10, стр. 18).

Стр. 7. *Что ты, суженец, не весел...* — Из песни «Суженец» (см. «Сборник либретто для пластинок зонофон». Вильна, 1910, стр. 238).

Стр. 10. *...от Покрова до Пасхи...* — с 1 (14) октября до апреля — мая.

Стр. 13—14. *Разнесча-астная девица-а...* — Возможно, вариант песни «Карие глазки», героиня которой также идет со своим горем в поле, но обращается не к ветру, а к «зверям лютым»: «Растерзайте тело бело, / Выньте сердце из меня, — / Отнесите мое сердце / К другу милу моему!» (сб. «Маруся отравилась». Одесса, <год издания не указан>, стр. 10).

Стр. 15. *Ка-ак на улице Проломной...* — Возможно, что это «цензура» переделка песни «Касьян-именинник»: Как на улице Варваринской / Спит Касьян мужик камаринский... («Песни матушки Волги». СПб., 1899, стр. 90). Проломная улица — в Казани, Варваринская (Варварка) — в Москве.

Стр. 16. *Сказку о трех братьях Толстого...* — Сказка об Иване-дураке и его двух братьях.

Стр. 20. *...солнце — затмится в августе месяце совсем...* — 7 августа 1887 г. в средней полосе России наблюдалось полное солнечное затмение (см. очерк «На затмении» В. Г. Короленко).

Стр. 23. *«Пресвятая матушка владычица Варвара, спаси печальную смерть»* — молитва, обращенная к Варваре Велико-мученице; считалось, что она спасает от пожаров, кораблекрушений и от всякой неожиданной опасности.

Стр. 25. *Ой — да, что-й-то мне сегодня белый свет не по душе...* — Ср. текст песни «Ай, да мне не спится, не ложится»

(«Великорусские народные песни», изданы А. И. Соболевским, т. IV. СПб., 1898, стр. 540).

Стр. 27. *«Земля же бе невидима...»* — Цитата из Библии (Первая книга Моисеева, гл. 1, стих 2).

Стр. 39. *Деревя наша — Егильдеево...* — В «Беседах о ремесле» Горький, вспоминая о своей работе в крепдельной, писал: «Крепдельщики почти все одного уезда, забыл — какого; кажется, и одной волости — Едильгеевской, из деревень Каргузы, Собакина, Клетней» (Г-30, т. 25, стр. 336).

Стр. 39—40. *Эй, вот по улице козел идет...* — Ср. текст песни «Вдоль по улице молодчик идет...» («Текст к 130 русским народным песням», собранным и положенным для фортепиано А. И. Дюбюком. М., 1866, стр. 25).

Стр. 53. *...про святого Варлаамия зазорно поют...* — Речь идет о студенческой песне «Где в Казанкой-рекой» (см.: «Песни казанских студентов. 1840—1868». Собрал А. П. Аристов. СПб., 1904, стр. 34—35). Текст ее приводит Горький в письме к И. А. Груздеву (*Архив ГХИ*, стр. 245).

Стр. 54. *...чудах сундырский!* — Сундырь — распространенное название сел и деревень в Чувашии (см. примеч. стр. 256).

Стр. 57. *Как высоко твое, о человек, призванье...* — Из стихотворения Н. Щербины (1821—1869) «Человеку» (см.: Стихотворения Н. Щербины в двух томах, т. 2. СПб., 1857, стр. 81).

Стр. 58. *Мне жизнь в удел дала нужду...* — Из стихотворения И. Сурикова «На мосту» (см.: Суриков, 1877, стр. 73).

Стр. 58. *Чума ветлянская.* — В 1878 г. в станице Ветлянской, Астраханской губернии, разразилась эпидемия чумы.

Стр. 58. *«За городом»* — см.: Суриков, 1877, стр. 129.

Стр. 69. *Баронск* — ныне город Маркс, Саратовской области.

Стр. 79. *Стра-аннички божии мимо-тко идут...* — Сходная запись о странниках есть у В. Г. Короленко (см. в кн.: Русский фольклор, т. II. М.—Л., АН СССР, 1957, стр. 210).

Стр. 79. *Ты л-лежишь... в гробу тесовом...* — см.: Суриков, 1875, стр. 176.

Стр. 81. *Всякое дыхание хвалит господа?* — Псалтырь, псалом 150, стих 6.

Стр. 82—83. *Егор! Волос — не упадет?.. О За всё — спросится...* — Рассуждения булочника Семенова и его слуги о «волосе» основаны на нескольких евангельских текстах (Евангелие от Матфея, гл. 10, стихи 29, 30; Евангелие от Луки, гл. 12, стихи 6, 7, и гл. 21, стих 18).

Стр. 83. *Вота донские...* — Ср.: «Удалые молодцы, всё донские казаки / Да еще же гребенские, запорожские» («Песни русского народа», ч. IV. СПб., 1838, стр. 228).

Стр. 86. *Хлысты верно понимают, что богородица — не одна...* — Одна из основных «идей» хлыстовства — вера в постоянное земное перевоплощение как всех ипостасей «троицы», так и «божьей матери». Например, во времена Ивана Грозного в Кержаче пророчествовали «Христос» Иван Якимов и «богородица» Марья Якимова (см.: Ф. Федоренко. Секты,

их вера и дела. М., Госполитиздат, 1965, стр. 49). Согласно хлыстовскому преданию, в XVII веке бог Саваоф вселился в «пречистую плоть» некоего костромского мужика Даниила Филиппыча (там же, стр. 51).

Стр. 89. *Муэдзин* — служитель мечети, созывающий с минарета верующих на молитву.

Стр. 103. ...*тюремный надзиратель принес мне...* — В ночь с 16 (29) на 17 (30) апреля 1901 г. Горький был арестован за революционную деятельность и до 17 (30) мая 1901 г. содержался в Нижегородской тюрьме.

Стр. 103. *В страстную субботу* — в субботу «страстной недели», в которую, по евангельской легенде, Христос был подвергнут мучениям («страстям»). «Страстная неделя» предшествует Пасхе.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МАКАРА

(Стр. 106)

Впервые напечатано в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1912 год», книга тридцать девятая. СПб., 1912, стр. 3—38. Одновременно в книге: Максим Горький. Случай из жизни Макара. Рождение человека. (Два рассказа). Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1912>, стр. 5—42.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинописный текст с авторской правкой и подписью (АМ), оригинал набора для Л (ХПГ-46-1-1).

2. Текст Л, правленный автором для К (ХПГ-46-1-2).

Печатается по тексту К со следующими исправлениями:

Стр. 127, строка 28: «двумя мутными пятнами» вместо «двумя мутными» (по всем другим источникам).

Стр. 135, строки 6—7: «словно плющем оклеенное лицо» вместо «словно плющем оклеенное лицо» (по АМ и Сб Зн₃₉).

Стр. 136, строка 7: «в палате учитель» вместо «в палате ли учитель» (по АМ, Сб Зн₃₉, ЖЭ).

Стр. 138, строка 11: «чаю осьмуха» вместо «осьмуха» (по всем другим источникам).

Рассказ написан в начале 1912 г., на Капри. См. письмо Горького к Е. П. Пешковой от 24—27 февраля (8—11 марта) в наст. томе, стр. 565. 29 февраля (13 марта) Горький передал рукопись К. П. Пятницкому, который в этот день отметил в дневнике: «У Горького <...> Дает для XXXIX сборника „Случай из жизни Макара“» (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1912, л. 863).

До 3(16) марта 1912 г. Горький отправил рассказ в издательство И. П. Ладыжникова в Берлин. «Посылаю рукопись нового рассказа, — писал он сотруднику издательства Б. Н. Рубинштейну, — он пойдет в 39-м № сборников „Знания“, этот номер уже печатается в России...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-15).

В другом письме Рубинштейну, полученном адресатом 15(28) мая, Горький сообщал: «„Случай из жизни Макара“ выходит на днях в 39-м сборнике „Знация“. Я думаю, что Вы можете выпускать в продажу эти вещи» (там же, ПГ-рл-37-19-21).

Хотя повествование в рассказе «Случай из жизни Макара» ведется в третьем лице, это — автобиографическое произведение. Позднее, в повести «Мои университеты», Горький писал: «В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе „Случай из жизни Макара“» (Г-30, т. 13, стр. 585). О. Ю. Камнистая свидетельствовала в мемуарах, что о своем покушении на самоубийство Горький рассказал в «Случае из жизни Макара» «буквально так», как он рассказывал об этом ей (Архив А. М. Горького, МоГ-5-5-1, л. 27).

События, о которых повествуется в рассказе, относятся к декабрю 1887 г. Будущий писатель жил в Казани. Это был один из самых трудных периодов его жизни. Страшные контрасты и противоречия социальной действительности, в которых ему тогда еще было трудно разобраться, мучительные идейные искания, личная неустроенность — всё это привело юношу в состояние временной душевной депрессии. Купив на базаре старый револьвер, он 12(24) декабря 1887 г. выстрелил себе в грудь. Рана оказалась не смертельной. Юношу подобрали и отвезли в земскую больницу, где ему была сделана операция. На девятый день его уже выписали. В «скорбном листе» № 1688 мужского хирургического отделения была сделана запись:

«Алексей Максимович Пешков, возраст 19, русский, цеховой нижегородский, занятие — булочник, грамотный, холост; местожительство — по Бассейной улице в доме Степанова... Время поступления в больницу 12 декабря 1887 года в 8½ часов вечера. Болезнь — огнестрельная рана в грудь. Входное отверстие на поперечный палец ниже левого соска, круглой формы, в окружности раны кожа обожжена. На задней поверхности груди на три поперечных пальца ниже нижнего угла лопатки в толще кожи прощупывается пуля. Пуля вырезана. На рану наложена антисептическая повязка. Выписан 21 декабря 1887 года, выздоровел... Ординатор Ив. Плюшков. Старший врач д-р Малиновский» (Калинин, стр. 58).

Газета «Волжский вестник» 14 декабря 1887 г. (№ 325) поместила в хронике следующую заметку: «12-го декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков <...> выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни <...> В пайденной записке Пешков просит никого не винить в его смерти».

31 декабря 1887 г. члены Казанской духовной консистории рассмотрели дело о покушении на свою жизнь цехового Пешкова. В материалах, которыми они располагали, находилась записка: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу

взрезать и рассмотреть, какой чёрт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно. Нахожусь в здравом уме и полной памяти. А. Пешков. За доставленные хлопоты прошу извинить» (Н. Ф. К а л и н и н. Горький в Казани. Опыт литературно-биографической экскурсии. Казань, 1928, стр. 40).

Эта записка была включена членами консистории в протокол: «1887 года декабря 31 дня. По указу его императорского величества Казанская духовная консистория в следующем составе: члены консистории: протоиерей Богородицкого собора В. Братолюбов, протоиерей Вознесенской церкви Ф. Васильев, священник Богоявленской церкви А. Скворцов и священник Николо-низской церкви Н. Варушкин при и. д. секретаря А. Звереве слушали: 1) Присланный при отношении пристава 3 части г. Казани, от 16 сего декабря за № 4868-м акт дознания о покушении на самоубийство нижегородского цехового Алексея Максимова Пешкова, проживавшего по Бассейной улице в д. Степанова. Из акта видно, что Пешков, с целью лишить себя жизни, выстрелил себе в бок из револьвера и для подаяния медицинкой помощи отправлен в земскую больницу, где при нем найдена написанная им, Пешковым, записка следующего содержания... (см. выше.— *Ред.*). 2) Отношение смотрителя казанских земских заведений общественного призрения, от 30 сего декабря за № 723, коим он уведомил Консисторию, на отношение ее от 24 декабря за № 9946, что цеховой Алексей Максимов Пешков из больницы выпущен 21 декабря <...> почти уже здоровым и ходит в больницу на перевязку. Во время пребывания его в больнице никакого психического расстройства замечено не было. *Закон:* 14 правило св. Тимофея, архиепископа Александрийского. *Приказали:* цехового Алексея Максимова Пешкова за покушение на самоубийство на основ. 14 прав. св. Тимофея, арх. Александрийского, предать приватному суду его приходского священника, с тем, чтобы он объяснил ему значение и назначение здешней жизни, убедил его на будущее время дорожить ею, как величайшим даром Божиим, и вести себя достойно христианского звания, о чем к исполнению и послать указ». Подписи и дата: 13 января 1888 г. (там же, стр. 39—41).

Это решение было передано протоиерею Петру Малову. Он дважды вызывал к себе Пешкова, но тот отказался явиться (см. письмо Горького к Груздеву.— *Архив ГХИ*, стр. 208—209).

В ответ на постановление Казанской духовной консистории о временном отлучении Пешкова от церкви за попытку самоубийства, им было написано весной 1888 г. стихотворение (сохранилось начало: «Только я было избавился от бед...» — см. т. I част. изд., стр. 431).

В письме к Груздеву (конец ноября 1934 г.) Горький уточнял: «Правильнее, пожалуй, будет сказать, что меня не судили, а только допрашивали, и было это не <в> духовной консистории, а в Феодоровском монастыре. Допрашивал иеромонах, „белый“ священник, а третий — Гусев, проф. Казанск(ой) дух(овной) академии. Он молчал, иеромонах сердился, поп уговаривал.

Я заявил, чтоб оставили меня в покое, а иначе я повешусь на воротах монастырской ограды. Малов — вызывал дважды, но я не пошел к нему и вскоре уехал в Красновидово <...> В 96 г. протоиерей Самарского собора Лаврский, — „друг Добролюбова“, называл он себя, — сообщил мне, пред тем, как венчать с Е^ккатериной П^авловной, что срок отлучения давно истек, ибо отлучен я был на четыре года» (Архив ГХГ, стр. 339).

Горький не раз вспоминал о своем покушении на самоубийство и всегда сурово осуждал этот свой поступок. Так, отвечая на письмо Э. Фильваровой, которая решила покончить жизнь самоубийством, он писал в 1910 г.:

«Да, я тоже покушался на самоубийство, мне очень стыдно вспоминать об этом, и оправданий этой глупости я не нахожу до сей поры, хотя это случилось со мной 23 года тому назад. Стрелялся я потому, что признал себя неспособным к жизни, но людей — ни в чем не обвинял, хотя они обращались со мной весьма целасково. Когда я лежал, раненый, в больнице, ко мне пришли товарищи мои, рабочие, и укоризненно сказали мне: — Дурак.

Стало мучительно стыдно, и я, с той поры, не думаю о самоубийстве, а когда читаю о самоубийцах — не испытываю к ним ни жалости, ни сострадания» (Г-30, т. 29, стр. 121).

Писатель не случайно обратился к этому эпизоду из своей жизни в период, когда в России свирепствовала эпидемия самоубийств. 7 (20) марта 1912 г. Пятницкий писал А. С. Черемнову: «Для ХХХІХ сборника Ал^{ексей} М^{аксимович} дал последний свой рассказ „Случай из жизни Макара“ <...> Передавая мне рукопись, Ал^{ексей} М^{аксимович} сказал: „Об этой вещи будут много говорить...“ Думаю, что он прав» (Архив А. М. Горького, П-ка «Эп», 37-58-1). И это было понято как читателями, так и критиками, увидевшими в «Случае из жизни Макара» отклик Горького на «злобу дня», полемическое выступление против декадентской литературы, которая пропагандировала уход из жизни. Публикуя под заглавием «Горький о самоубийстве» отрывок из рассказа, «Нижегородский листок» писал: «М. Горький отозвался на роковую болезнь нашего времени — эпидемию самоубийств» («Нижегородский листок», 1912, № 124, 7 мая). Злободневность поднятой Горьким темы подчеркивалась и «Волгарем», также опубликовавшим отрывки из рассказа («Волгарь», 1912, № 127, 10 мая).

Старый знакомый Горького А. А. Дробыш-Дробышевский (в середине 90-х годов он редактировал «Самарскую газету») рассматривал «Случай из жизни Макара» как произведение сугубо автобиографическое и вместе с тем злободневное. В статье, напечатанной под псевдонимом Перо, он писал: «Конечно, нельзя утверждать, чтобы здесь были переданы точно все подробности действительного случая. Из единичного случая Горький в рассказе постарался сделать типический, чтобы выяснить вопрос о самоубийствах, занимающий теперь общество» («Нижегородский листок», 1912, № 131, 15 мая).

Е. А. Колтоновская, признавая, что в рассказе есть живые, хорошие страницы, утверждала, что в образе Макара «нет цельности, много надуманного, точно так же, как во всем замысле Горького нет цельности...» («Новая жизнь», 1912, № 7, стлб. 259). А. Б. Дерман полагал, что «Горький больше рассказывает о своем герое, чем показывает его», и что рассказ оживает только «к моменту возрождения Макара» («Заветы», 1912, № 5, стр. 160).

Отрицательно отозвался о рассказе Ю. И. Айхенвальд. «...„Случай из жизни Макара“, — писал он, — ничего к Горькому не прибавляет, пожалуй, ничего и не отнимает. Всё то же нескладное соединение художника и резонера...» По мнению критика, рассказ «в его внутреннем смысле остается неясным <...> Психологический анализ подменен фразами, а они не возбуждают доверия» («Речь», 1912, № 171, 25 июня).

Айхенвальду решительно возражал либеральный критик Н. И. Коробка. Анализируя рассказ, он пришел к выводу, что Айхенвальд, ничего не видя в произведении, «кроме удачного избрания сцены самоубийства», тенденциозен, что «душу» рассказа он проглядел, а «в ней вся суть». Коробка утверждал, что Горькому «несомненно, хотелось сказать нужное и важное для людей, в особенности для несчастной молодежи, охваченной пессимизмом, приводящим к самоубийствам, и он сказал это просто, бесхитростно, что не могло, конечно, понравиться любителю „словечек“» («Запросы жизни», 1912, № 29, 20 июля, стлб. 1702).

Социальную сущность рассказа пытался раскрыть К. И. Чуковский в статье «Самоубийцы (Очерки современной словесности)». Он писал, что на первых же страницах рассказа Горький выявляет основную причину разочарования Макара в жизни, причина эта — в отрыве от людей. «Это весьма показательно для нашего раздробленного общества, — заключал Чуковский, — что чуть только Горький стал петь соборность, слиянность, коллектив, — все тотчас же отвернулось от него и создали даже легенду, будто его дарование иссякло: никому оказалась не нужна его „религия человечества“!» («Речь», 1912, № 353, 24 декабря).

Рассказ высоко оценил В. А. Поссе в письме к Горькому от 8 (21) июля 1912 г. «Дорогой Алексей Максимович, — писал он, — спасибо за ту радость, которую Вы доставили нам, Вашим читателям, своим рассказом „Случай из жизни Макара“. Так искренно, просто и значительно! Удивляюсь тупоумию критиков вроде Айхенвальда, которые отнеслись к „Случаю“ и к Макару так пренебрежительно <...> Рекомендовал прочесть „Случай из жизни Макара“ В. Г. Короленко. Тот заинтересовался и заметил: „Рано собрался хоронить Горького“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-60-1-39).

Отвечая Поссе, Горький писал ему 16 (29) июля 1912 г.:

«Те, кто находит, что „Горького хоронят рано“, — на мой взгляд — не ошибаются, — я тоже полагаю, что рано <...> Любят на Руси похоронить человека, — не оттого ли так мало у нас живых-то людей?» (Г-30, т. 29, стр. 247—248).

Стр. 110. ...он почувствовал себя влюбленным, но — не мог понять, в кого именно: в Таню или в Настю... — Прототипом Тапи явилась сестра А. С. Деренкова — Маша, а Настя — ее подруга по гимназии Надя Щербатова. Обе они работали в булочной Деренкова. В первый свой приход к Деренкову Горький познакомился с Машей, которая произвела на него большое впечатление. В 1931 г. Горький писал Груздеву: «Тут же письмо о Марии Степановне Деренковой, некогда поразившей воображение мое сначала и — затем — сердце» (*Архив ГХІ*, стр. 262). См. подробнее в «Монх университетах» и примечаниях к ним (т. XVI наст. изд.).

Стр. 111. ...атлас Гиртля... — Иосиф Гиртль. Руководство к анатомии человека. М., 1879.

Стр. 112. ...старинная литография — Юлия Рекамье... — Жюли Рекамье (1777—1849) — хозяйка знаменитого парижского салона времен Директории, империи Наполеона I и Реставрации. Видимо, речь идет о литографии с ее портрета работы Франсуа Жерара (1802) или Жака Луи Давида (1800).

Стр. 113. ...Стрельский играет Гамлета... — М. К. Стрельский (1844—1902) — русский драматический актер; состоял в труппе Александринского театра. В сентябре — ноябре 1887 г. выступал в Казани в Русском драматическом театре, но роль Гамлета не исполнял (см.: «Казанские губернские ведомости», 1887, 12 сентября — 29 октября; «Волжский вестник», 1887, 11 ноября).

Стр. 121. Барабус — ломовой извозчик (тат.).

Стр. 122. ...ординатора Плюшкова... — И. П. Плюшков (1860—1899) в 1884—1891 годах работал врачом-ординатором клиники при Казанском университете, впоследствии доктор медицинских наук. 13 апреля 1933 г. Горький писал Груздеву: «Пулю вырезал мне из-под кожи спины ординатор Плюшков тотчас же, как только меня привезли в больницу» (*Архив ГХІ*, стр. 318).

Стр. 124. Ныне время делательное... — Цитата из книги церковных песнопений «Постная триодь», воскресная и субботняя вечерняя служба во вторую неделю великого поста, кондак (песнь), глас 4.

Стр. 126. «Наши разногласия» — книга Г. В. Плеханова (1885).

Стр. 126. Циттель — Карл Альфред Циттель (1839—1904), немецкий палеонтолог, автор книги: Первобытный мир. Очерки из истории мироздания. СПб., 1873.

Стр. 127. Профессор Студентский — Н. И. Студентский (1844—1891), хирург, доктор медицины, профессор Казанского университета; работал в земской больнице г. Казани. О нем Горький писал 13 апреля 1933 г. Груздеву: «Студентский явился на третий день, с группой студентов, обошелся со мной очень грубо и сказал, что я — „к утру буду готов“, — что-то в этом роде. Оскорбленный его отношением, я выпил хлорал-гидрат, большую склянку, стоявшую на столпке около койки, после чего мне, кажется, промывали желудок» (*Архив ГХІ*, стр. 318).

П О Р У С И

(Стр. 141)

Произведения, составившие цикл «По Руси», первоначально печатались в журналах и газетах (см. ниже). Первые одиннадцать рассказов появились в печати в апреле 1912 — июле 1913 г. Почти одновременно с первыми публикациями они вышли отдельными книгами: М а к с и м Г о р ь к и й. Случай из жизни Макара. Рождение человека. (Два рассказа). Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1912>; М. Г о р ь к и й. Записки проходящего. Очерки. Часть первая. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1913> (в книгу вошли: «Ледоход», «Покойник», «Женщина», «Губин», «Калинин», «Кладбище»); М. Г о р ь к и й. Записки проходящего. Очерки. Часть вторая. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1913> (в книгу вошли: «Нилушка», «На пароходе», «В ущелье»). В 1915 г. Горький переиздал их под общим заглавием «По Руси. Очерки» (т. XIX, ЖЗ).

Остальные восемнадцать произведений появились в печати в ноябре 1915 — октябре 1917 г., а затем были выпущены отдельной книгой: М. Г о р ь к и й. Ералаш и другие рассказы. Пг., «Парус», 1918.

При подготовке *K* автор объединил произведения, вошедшие в сборники «По Руси» и «Ералаш...», в цикл под заглавием «По Руси» (т. 12, *K*, 1923).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинопис (АМ) рассказов: «Рождение человека» (ХПГ-45-5-1), «Ледоход» (ХПГ-36-3-1), «Кладбище» (ХПГ-35-7-1), «На пароходе» (ХПГ-40-1-2), «Женщина» (ХПГ-13-2-1), «Покойник» (ХПГ-42-17-1), «Губин» (ХПГ-7-5), «Калинин» (ХПГ-35-3-1), «Нилушка» (ХПГ-40-2-1), «В ущелье» (ХПГ-4-4).

Все эти машинописи — частью с правкой Горького, а большей частью с авторской правкой, перешенной рукой псустановленного лица, — служили наборным экземпляром для издания *L*.

2. Черновой автограф начала рассказа «На пароходе», посланный Ладыжникову (ХПГ-40-1-1).

3. Автограф рассказа «Едут...» (ХПГ-12-1-1) с вклейками части текста из машинописи рассказа «В ущелье» — наборный экземпляр для публикации в газете «Русское слово», 1913, № 162, 14 июля.

4. Машинопись того же рассказа (ХПГ-12-1-2) с небольшой авторской правкой — наборный экземпляр для т. XIX ЖЗ.

5. Печатный текст изданий *Л* — оригинал набора для т. XIX *ЖЗ* (ХПГ-42-15-2), с машинописным перечнем произведений, исправленным и перенумерованным рукой Горького (им же от руки написаны заголовки всех произведений в тексте, кроме первого).

6. Правленный автором печатный текст всех 29 произведений цикла, послуживший оригиналом набора для т. 12 *К*. Печатная основа: текст т. XIX *ЖЗ* (ХПГ-42-15-1) и текст сборника «Ералаш и другие рассказы» (ХПГ-12-5-1).

В настоящем издании цикл «По Руси» печатается по тексту, подготовленному Горьким для *К* (с восстановлением по другим источникам цензурных купюр, сделанных в *ЖЗ*) со следующими исправлениями:

Стр. 144, строка 9: «спесли» вместо «несли» (по *ПТ*).

Стр. 150, строка 22: «точно выпитая» вместо «точно вылитая» (по *ПТ* и *АМ*).

Стр. 152, строка 7: «ползает» вместо «ползет» (по *ПТ*, *АМ*, *Л*).

Стр. 155, строка 41: «крышка с пещера — хлобысь» вместо «в пещере хлобысь» (по *ПТ* и *АМ*).

Стр. 159, строка 4: «умеет читать» вместо «умеет писать» (по *ПТ*).

Стр. 160, строка 2: «в сам-деле» вместо «в самом деле» (по *ПТ*, *АМ*, *Л*).

Стр. 171, строка 11: «вздутые» вместо «надутые» (по *ПТ*).

Стр. 176, строки 15—16: «лениво вползала» вместо «вползала» (по *ПТ*, *АМ*, *Л*).

Стр. 178, строка 2: «дела делать» вместо «дело делать» (по тем же источникам).

Стр. 178, строки 9—10: «хоть бы снова» вместо «хоть снова» (по тем же источникам).

Стр. 179, строка 25: «все эти» вместо «все» (по тем же источникам).

Стр. 180, строка 11: «Ежели» вместо «Если» (по тем же источникам).

Стр. 185, строка 38: «светится» вместо «светит» (по тем же источникам).

Стр. 196, строка 4: «ползли» вместо «поползли» (по тем же источникам).

Стр. 197, строка 30: «зачалось» вместо «началось» (по *ПТ* и *АМ*).

Стр. 199, строка 20: «у безделья» вместо «от безделья» (по *ПТ*, *АМ*, *Л*).

Стр. 199, строка 21: «надумал» вместо «вздумал» (по *ПТ* и *АМ*).

Стр. 200, строка 29: «на нее все» вместо «на нее» (по *ПТ*, *АМ*, *Л*).

Стр. 206, строка 25: «изрытое» вместо «взрытое» (по тем же источникам).

Стр. 208, строка 34: «это мненпе» вместо «это» (по тем же источникам).

- Стр. 214, строка 27: «пришепетывая» вместо «пришептывая» (по ПТ и АМ).
- Стр. 225, строка 30: «чего хотеть» вместо «чего хотел» (по ПТ, АМ, Л).
- Стр. 234, строка 35: «кладбищами» вместо «кладбищем» (по ПТ).
- Стр. 235, строки 28—29: «прижизненного» вместо «жизненного» (по ПТ).
- Стр. 248, строка 7: «иде» вместо «где» (по АМ и Л).
- Стр. 251, строка 35: «тебе-то» вместо «тебе» (по ПТ, АМ, Л).
- Стр. 261, строка 12: «отстали бы вы» вместо «отстали бы» (по тем же источникам).
- Стр. 270, строка 9: «точно колеса» вместо «точно колесо» (по тем же источникам).
- Стр. 285, строки 22—23: «слепым черным глазом» вместо «слепым глазом» (по ПТ и АМ).
- Стр. 293, строка 20: «Власьевну» вместо «Васильевну» (по ПТ, АМ, Л).
- Стр. 298, строка 21: «чего ищет» вместо «чего он ищет» (по тем же источникам).
- Стр. 299, строка 13: «лежа» вместо «лежала» (по тем же источникам).
- Стр. 302, строка 14: «осеянная» вместо «осененная» (по тем же источникам).
- Стр. 302, строка 16: «спустившись» вместо «опустившись» (по тем же источникам).
- Стр. 305, строки 29—30: восстановлен пропуск «Солдат, окутав лицо свое серым облаком дыма, сунул отрезок в огонь» (по тем же источникам).
- Стр. 307, строка 9: «всползали» вместо «вползали» (по смыслу).
- Стр. 313, строка 39: «губерния» вместо «губерния» (по ПТ, АМ, Л).
- Стр. 315, строки 4—5: «инструмент» вместо «инструменты» (по ПТ и АМ).
- Стр. 322, строка 23: «на сырых камнях» вместо «на камнях» (по ПТ, АМ, Л).
- Стр. 324, строка 32: «светилось» вместо «осветилось» (по тем же источникам).
- Стр. 327, строка 30: «и мужчин богомольцев» вместо «и богомольцев» (по тем же источникам).
- Стр. 330, строка 29: «настояще-должностной» вместо «настоящей — должностной» (по ПТ и АМ).
- Стр. 331, строка 23: «гуляющих» вместо «гулящих» (по ПТ, АМ, Л).
- Стр. 335, строка 28: «к тропе» вместо «к траве» (по ПТ и АМ).
- Стр. 342, строка 21: «это вещи» вместо «эти вещи» (по ПТ, АМ, Л).
- Стр. 347, строка 40: «это — единое» вместо «это — едино» (по ПТ).

Стр. 354, строка 37: «оденет се» вместо «оденет» (по ПТ, АМ, Л).

Стр. 362, строка 1: «Я тебе скажу» вместо «Тебе скажу» (по тем же источникам).

Стр. 364, строка 5: «друзи» вместо «други» (по ПТ).

Стр. 373, строка 25: «поверх» вместо «сверху» (по ПТ).

Стр. 418, строка 30: «напряжено» вместо «поражено» (по смыслу).

Стр. 482, строка 13: «нюют» вместо «пьют» (по ПТ).

Стр. 520, строка 13: «шолочки» вместо «палочки» (по ПТ).

Стр. 526, строка 39: «окручепо» вместо «окружено» (по ПТ).

Стр. 528, строка 40: «выкусит и» вместо «выкусит кусочек и» (по ПТ).

Стр. 535, строка 27: «под синим небом» вместо «над синим небом» (по смыслу).

Стр. 542, строка 27: «в воздухе» вместо «в воздух» (по ПТ).

Цикл «По Руси» был, по-видимому, задуман одновременно с другими автобиографическими произведениями («Хозяин», «Детство», «В людях»).

Для понимания общей концепции цикла «По Руси» большое значение имеет письмо Горького редактору «Вестника Европы» Д. Н. Овсяннико-Куликовскому от 10 или 11 (23 или 24) сентября 1912 г.:

«Не знаю, как озаглавить мне очерки, посланные Вам. Я имел дерзкое намерение дать общий заголовок „Русь. Впечатления проходящего“, — но это будет, пожалуй, слишком громко.

Я намеренно говорю „проходящий“, а не „прохожий“: мне кажется, что прохожий не оставляет по себе следов, тогда как проходящий — до некоторой степени лицо деятельное и не только почерпывающее впечатления бытия, но и сознательно творящее нечто определенное.

Может быть, Вы согласитесь дать заголовок „Впечатления проходящего“, — откинув слишком широкое и требовательное слово „Русь“? ¹

Я затеял ряд очерков, подобных посланным, — мне хотелось бы очертить ими некоторые свойства русской психики и наиболее типичные настроения русских людей, как я понял их» (Г-30, т. 29, стр. 251—252).

На замысел Горького проливают свет и некоторые другие его высказывания. «Мы живем во дни чрезвычайно трудные, требующие настоятельно упорной, организационной работы, — говорил Горький в одном из писем 1913 г. — Мы должны заняться

¹ Первый рассказ был озаглавлен «Из впечатлений проходящего», два последующие — «По Руси (Из впечатлений проходящего)». Впоследствии они получили новые заглавия: «Ледоход», «Женщина», «Покойник». Первоначальное понимание образа «проходящего» раскрывалось Горьким в одной из сцен повести «Хозяин» (см. варианты).

духовным „собранием Руси“, делом, которого никто еще не делал упрямо и серьезно...» (*Г, Материалы*, т. I, стр. 271). В декабре 1911 г. он писал М. Неведомскому (М. П. Миклашевскому): «Никогда еще пред честными людьми России не стояло столь много грандиозных задач, и очень своевременно было бы хорошее изображение прошлого, в целях освещения путей к будущему» (там же, стр. 298).

Художественный анализ прошлого Горький связывал с революционно-воспитательным воздействием литературы, с поисками и формированием положительного идеала. «Русь надо любить, — писал он в 1911 г. Л. Андрееву, — надо будить в ней энергию, сознание ее красоты, силы, чувство собственного достоинства, надо прививать ей ощущения радости бытия...» (*Г-30*, т. 29, стр. 192). Эта созидательная работа, по убеждению Горького, была неотделима от острой полемики и идеологической борьбы. В том же письме Л. Андрееву он замечал: «...наша очередная задача и работа: собрать рассеянную энергию, освободить ее из сети и цепей различных недоумений, испугов, неверий...» (там же, стр. 194).

Первое упоминание о замысле цикла «По Руси» содержится в письме Горького к А. В. Амфитеатрову, датированном ноябрем 1910 г.: «Работы у меня — леса. Одних „жалоб“, должно быть, три будет, да еще о „мимо идущих“ людях рассказывать намерен» (*Г-30*, т. 29, стр. 142).

Начало работы над произведениями, составившими цикл «По Руси», относится к 1912 г.: в марте был написан рассказ «Рождение человека» (письмо Горького Е. П. Пешковой от 6 (19) марта 1912 г. — *Архив ГИХ*, стр. 137); в августе закончены — «Ледоход», «Покойник», «Женщина» (см. письмо Овсяннико-Куликовского Горькому от 4 (17) сентября 1912 г. — *Г, Материалы*, т. III, стр. 150—151). А 20 октября (2 ноября) 1912 г. Горький сообщал М. М. Коцюбинскому: «Написал пять маленьких рассказов из прошлого — Вы знаете сюжеты почти всех их» (*Г-30*, т. 29, стр. 279). Вероятно, кроме рассказов «Ледоход», «Покойник» и «Женщина», имелись в виду — «Калинин» и «Губин». В январе—апреле 1913 г. были написаны «Кладбище», «Нилушка», «На пароходе», «В ущелье» (см. ниже примечания к отдельным произведениям).

Ознакомившись с произведениями «Ледоход», «Покойник», «Женщина», Овсяннико-Куликовский писал автору 19 сентября (2 октября) 1912 г.: «Их художественное достоинство весьма значительно, а в совокупности эти — на первый взгляд — претенциозные „картинки“ дадут живую и многоговорящую картину Руси. В этом сомневаться нельзя. Что касается заглавия „Русь“, то я не нахожу его ни громким, ни неловким: это в самом деле Русь, подлинная, настоящая, метко схваченная, живая Русь. Если хотите, можно бы взять заглавие: „По Руси“ — с подзаголовком: „Записки (или впечатления) проходящего“» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 153). В сознании Горького закрепляется обобщенное название цикла. В конце декабря 1912 г. (начале января 1913 г.) он пишет Ладьяжникову: «Мне кажется, мы могли бы в

первую же голову издать „Кожмякипа“ <...> Затем — кипгу, очерков „Русь“, — эти очерки частью написаны, частью же — в работе» (*Архив Г VII*, стр. 214).

Некоторые произведения, позднее объединенные в цикл «По Руси», сопровождалась авторским жанровым определением, сохраненным и в ранних отдельных изданиях (*Л*, *ЖЗ*). Горький называл эти произведения очерками. В их основе и на самом деле лежат конкретные факты, свидетелем которых был автор. Но сила художественного обобщения оказалась настолько большой, что превратила эти «очерки» в художественные социально-философские исследования российской действительности и народного характера. Впрочем, об условности своих жанровых определений позднее говорил сам Горький. В мае 1930 г. он сообщил А. Камегулову: «Об очерке писать — не буду. Пробовал, но — оказалось, что это не моя тема. Тут нужен литературовед-специалист. Мне же трудно писать потому, что у меня целые книги, напр.: „По Русь“, „Ералаш“, написаны в смешанной форме очерка-рассказа. И это не только потому, что они ведутся от „первого лица“. Мне трудно расчлнить у самого себя очерк и рассказ...» (*Архив Г X*, кн. 2, стр. 286).

Посылая произведения из цикла «По Руси» для публикации в русские журналы, Горький почти одновременно отправлял машинописные копии Ладыжникову в Берлин. В издании Ладыжникова рассказы впервые вышли как единый цикл под общим заглавием: «Записки проходящего»: I часть появилась в конце февраля или начале марта 1913 г. (письмо Б. Н. Рубинштейна к Горькому от 12 (25) марта 1913 г. — *Архив А. М. Горького*, КГ-п-66-14-6); II часть вышла в свет до 7 (20) июля того же года (см. *Г и Короленко*, стр. 191).

Как в первой, так и во второй частях рассказы не имели названий и обозначались порядковыми номерами.

При подготовке произведений для *ЖЗ* Горький воспользовался изданием Ладыжникова. Оставив текст без изменения, писатель заменил цифровые обозначения заглавиями, четыре из которых были новыми по сравнению с журнальными публикациями: «Ледоход», «Нилушка», «Женщина» и «Покойник». Изменился порядок размещения произведений. Циклу было дано общее название: «По Руси. Очерки».

Цикл «По Руси» в издании *ЖЗ* подвергся строгому цензурскому просмотру. В рассказах «Нилушка», «Губин», «Калинин» и «Покойник» были сделаны купюры — в основном церковной цензурой.

В рассказе «Губин» исключен текст:

Стр. 200, строки 8—11: «Господь Саваоф ∞ все — сверен, так-то!»

В «Нилушке» вычеркнуты слова:

Стр. 203—204, строки 32—1: «царем Николаем Павловичем»¹.

В «Калинине» — фразы и слова:

¹ Здесь — текст, восстановленный Горьким после цензуры; раньше было: «строгим до порядка Николаем Павловичем».

Стр. 334, строки 20—22: «А — торгаши во храме? ∞ для порядка».

Стр. 335, строки 37—38: «веселый».

Стр. 335—336, строки 41 и 1—2: «и, еще издали ∞ судьбе предан»¹.

Стр. 336, строки 6—9: «нагой женщиной ∞ взлетит на воздух».

В рассказе «Покойник» изъята фраза:

Стр. 365, строка 39: «Я бы на его месте отчаянно сконфузился».

В 1915—1917 гг. Горький работал над очерками и рассказами, которые впоследствии вошли также в цикл «По Руси». «В 1915 году Горький пишет, — свидетельствовал Ладыхинков, — ряд рассказов из цикла „Воспоминаний“» (И. П. Ладыхинков. Горький в Мустамяках. — Архив А. М. Горького, фонд И. П. Ладыхинкова).

В декабрьском номере журнала «Летопись» под общим заголовком «Воспоминания» были напечатаны: «Светло-серое с голубым», «Книга», «Как сложили песню», «Птичий грех». В «Киевской мысли» под таким же заголовком печатались: «Вечер у Шамова», «Вечер у Панашкина» и «Вечер у Сухомяткина». В 1918 г. новые произведения были объединены автором и выпущены отдельной книгой «Ералаш и другие рассказы».

Готовя издание *К*, Горький подверг стилистической правке текст всех произведений, восстановил (за исключением трех случаев) цензурные изъятия, иногда в полном стилистическом варианте. Но при издании цикла был допущен недосмотр. Дело в том, что в сборник «Ералаш и другие рассказы» включалось не 18, а 20 произведений, два из которых — «Девушка и Смерть» и «Баллада о графине Элен де Курси»², завершавшие сборник, механически оказались и в цикле «По Руси» в изданиях *К* и *ГИЗ* (1924—1928). На это обратил внимание Груздев, приступая в 1927 г. к подготовке нового собрания сочинений Горького. Недоумение Груздева отразилось в его переписке с Горьким (см.: *Архив ГХУ*, стр. 170, 173 и др.). Не исключена возможность, что вопрос этот обсуждался с Горьким во время его пребывания в СССР в 1928 г. Во всяком случае, в рабочем экземпляре Груздева эти произведения изъяты из цикла, а начало поэмы «Девушка и Смерть» (на обороте страницы «Весельчака») зачеркнуто синим карандашом (Архив А. М. Горького. Материалы И. А. Груздева).

Литературная критика рассматривала новые произведения Горького в свете начавшегося общественного подъема и борьбы за возрождение реализма.

¹ Здесь текст, восстановленный Горьким после цензуры; раньше было: «и еще, когда они шли, так издали, видя Христа, пожалели его: молодой-де, а какой несчастной судьбе предан».

² См. в наст. изд. т. I, стр. 27—33, и т. III, стр. 160—165.

Рецензент, выступивший под псевдонимом О. Д., писал в заметке, озаглавленной «На повороте»: «На днях видные московские писатели, объединившиеся в Товарищеское издательство с В. В. Вересаевым во главе, в своих редакционных заседаниях оживленно дебатировали вопрос, какой характер должны иметь подготавливаемые ими к выпуску сборники. И всеми ими единогласно был принят принцип, сформулированный В. В. Вересаевым: „ничего аптжизненного, ничего, призывающего к смерти и тлению“. И далее: «Возврат к старым „заветам“, к идеям былого „Современника“, повышенный интерес к Максиму Горькому, давшему „солнечное“ „Рождение человека“ <...> — факты, характеризующие поворот в современной литературе» («Московская газета», 1912, № 222, 22 ноября).

«В наши дни беспричинной тоски и старческой дряблости, — отмечал С. Недолин (С. А. Поперек), — бодрое творчество Максима Горького как нельзя более отрадно» («Русская Ривьера». Ялта, 1913, № 32, 8 февраля). Этот же критик писал самому Горькому 3 (16) февраля 1913 г.: «„К жизни!“ — вот клич, который я чувствую в каждой Вашей строке и который ныне всего более нужен России...» (Архив А. М. Горького; КГ-п-58-11-9).

Прочитав первые рассказы цикла, Овсянко-Куликовский писал Горькому 4 (17) марта 1913 г.: «Вопреки толкам об „упадке“ Вашего таланта и „чутья“ русской жизни, я всегда думал и думаю, что Ваш талант, помимо его яркости, отличается большой *крепостью*, *прочностью*, а „чутье“ ко всему русскому у Вас приращенное и неистребимое. Я убежден, что по-прежнему Вы дороги всей прогрессивной Руси и по-прежнему Ваши произведения являются высоко ценным вкладом и в художественную литературу и в общественную мысль» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 154).

В связи с рассказом «Покойник» Гаррис (М. А. Каллаш) констатировала: «Сгущенная атмосфера разряжается, повеяло струей чистого, свежего воздуха. Эта свежесть — в возвращении к здоровому художественному реализму» («Утро России», 1913, № 69, 23 марта).

В возрождении и развитии реализма видел заслугу Горького и критик В. Г. Голиков. Он писал: «Не с фантазмагориями, как в „Заложниках жизни“¹, не со сказочными грезами о жизни, воплощенными в видимость реальности, как в „Романе Царевича“², не с отражениями ее через призму религиозных исканий, как в „Александре I“³, а с подлинными неискаженными ликами жизни мы имеем дело в очерке Максима Горького „Из впечатлений проходящего“⁴» («Вестник знания», 1913, № 1, стр. 128).

Критики признавали, что новые произведения Горького свидетельствуют о росте таланта писателя, являются более высоким этапом в его творчестве. Н. Глебов писал: «...теперь герои Горь-

¹ Повесть Ф. Сологуба («Шиповник», 1912, № 18).

² Роман З. Н. Гиппиус («Русская мысль», 1912, №№ 9—12).

³ Роман Д. С. Мережковского («Русская мысль», 1911, №№ 5—6, 10—12; 1912, №№ 1, 3—4, 10—12).

⁴ Рассказ «Ледоход».

кого не изъясняются афоризмами, не служат рупорами для изложения взглядов автора. Это просто живые и настоящие люди <...> Люди не представляют собой более у Горького носителей той или иной формулы своей правды. Они не спорят, не размышляют о жизни, а *живут*, и это — огромное завоевание горьковского таланта...» («Журнал журналов», 1915, № 13, стр. 18). По признанию П. П. Перцова, Горький «продолжал развиваться и, как писатель, положительно усовершенствовался», что и отразилось в рассказе «Рождение человека» (см.: «Голос Москвы», 1912, № 105, 9 мая).

Но характерно, что новый этап литературной деятельности Горького многие буржуазные критики пытались истолковать как результат перехода его на позиции примирения с действительностью. О преодолении Горьким «„эсдековской“ схематичности» говорил упоминаемый критик Н. Глебов (см. «Журнал журналов», 1915, № 13, стр. 18).

На страницах «Вестника Европы» М. Королицкий, в статье «На рубеже. Творчество Горького последних лет», утверждал, что с «Городка Окурова» начался новый расцвет писателя. Появились «черты некоего нового настроения, в большей или меньшей степени окрасившего собою все вообще писания Горького последних лет. Настроение это — чувство известной как бы умиротворенности в противоположность к тому острому протестующему чувству, какое звучало в произведениях первого периода». Именно эту «умиротворенность» ищет критик в цикле «По Руси». «Тяжелы набрасываемые Горьким картины, — пишет Королицкий, — неподделен трагизм, с каким он рисует свои живые и непосредственные наблюдения. Писатель страстно ищет жизни высокой и светлой, он, по крайней мере, хочет видеть ее такою; но вместо того он натывается на одни провалы, зияющие мраком и непроглядной тьмой <...> Но и здесь, в этих несомненно минорных очерках, мы находим зовущие, умиротворяющие ноты». Критику «Вестника Европы» хотелось бы слышать в новых произведениях писателя «песнь примирения» («Вестник Европы», 1916, кн. 5, стр. 403 и 407—408).

Лирическую тональность рассказов, их жизнеутверждающий пафос, поиски положительного идеала критик из другого либерально-буржуазного органа И. Н. Игнатов также истолковывал как примирение автора с действительностью. По мнению Игнатова, Горький в своих очерках о путевых встречах с людьми проявился с новой стороны — это «примиренный и ободряющий философ» (И. И г н а т о в. Литературные отголоски. — «Русские ведомости», 1913, № 38, 15 февраля).

Некоторые критики того же направления связывали художественные достоинства цикла «По Руси» с якобы отказом Горького вообще от какой-либо социальной проблематики. В цитированной выше статье Гаррис писала: «Не будет преувеличением назвать Горького гениальным пейзажистом. Недаром, когда он отходит от земли, пытается решать вопросы общественно-философские, его перо теряет свою силу. Но здесь, в степи, в деревне, среди людей природы, он — несравненный художник»

(«Утро России», 1913, № 69, 23 марта). По поводу рассказа «Ледоход» З. Гиппиус (А. Крайний) утверждала: «Горький проваливается, когда силится что-то сказать, выразить „идею“, думает о „смысле“; а ежели просто говорить, пишет о зрительном, — остается приятным художником» (А. Крайний и й. Наши журналы. — «Новая жизнь», 1912, № 12, стр. 207).

Против такого понимания творчества Горького возражал критик прогрессивного направления Не-Буква (И. М. Василевский). В статье «Радость жить» он отмечал две неразрывно связанные друг с другом особенности писателя: жизнеутверждающее настроение и социальный протест. «„Детство“, „По Руси“... Каждая страница в этих огромных, еще не оцененных современностью книгах так и кричит о расцвете сил, о новом подъеме сил этого огромного писателя <...> Радостным, утверждающим жизнь является его творчество, согретое беспокойным стремлением исправить, перестроить, переделать всё окружающее...» («Журнал журналов», 1915, № 12, стр. 20—21).

Видная деятельница социалистического движения А. М. Коллонтай писала Горькому в начале мая 1913 г.: «Прочла Ваши „Зап(иски) прохождения“ <ч. 1> и точно наполнилась живой водой из источника свежего, истинного вдохновения. Какой отдых, какое наслаждение читать Вас после всего, что пишут и печатают <...> А язык Ваш, несравненный язык, где каждое слово — точность и образность. Хочется поблагодарить Вас за то наслаждение, какое дает Ваше творчество, и пожелать Вам бодрого, творческого настроения и всего, всего хорошего!» (Архив А. М. Горького, КГ-од-1-20-2).

Горький ответил Коллонтай 9 (22) мая 1913 г.:

«Сердечно благодарю Вас за лестный Ваш отзыв о моих очерках. Скоро выйдут еще три, один из них, кажется, удачен. Вообще же все эти очерки многословны и скучны. Поверьте, что я говорю это не ради кокетства, а со зла, которое я, русский читатель, испытываю, читая русского писателя, хотя бы он и был столь близок мне, как Горький. Ибо не это сейчас нужно, не об этом надобно писать, и не так!

Очень жаль, что я лишен таланта публициста — сейчас Русь нуждается прежде и больше всего именно в даровитых публицистах, в людях, которые, вырвав из своих груди сердца, хлестали бы ими по харям моих земляков <...> Извините, если это покажется Вам сердито написанным. Вы взгляните — какое время переживает весь мир! А — мы? У нас нет людей, — Вы чувствуете это? Страна как бы утратила мозг, это ужасно!» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-19-10-1, а также: *Муратова*, стр. 141).

Характерная для Горького суровость в оценке своих прозведений здесь усугубляется чувством горечи революционного борца, ставшего свидетелем мрачной полосы реакции, с трудом преодолеваемой русской общественностью. О том же писал Горький несколько раньше — между 26 августа и 18 сентября (8 сентября и 1 октября) 1910 г. — В. Г. Короленко: «...болею мучительной жалостью к родине, но жалость эта перекипает у меня в злость» (Г-30, т. 29, стр. 119).

Сохранилась и другая, более «спокойная» оценка автором произведений данного цикла. Б. Н. Юрковский рассказывал: «Кати <дочь М. Ф. Андреевой> попросила Алексея Максимовича послать одному знакомому офицеру „Детство“. Алексей Максимович сказал: „Пошли лучше «По Руси». Это более интересная и удавшаяся мне книга“» (Б. Н. Ю р к о в с к и й. Отрывки из дневника 1916 г.— Архив А. М. Горького, МоГ-14-6-1).

На экземпляре «По Руси», подаренном Вс. Рождественскому, Горький сделал следующую надпись:

«О правде красивой тоскуя,
Так жадно душой ее ждешь,
Что любишь безумно, как правду,
Тобой же рожденную ложь».

К этому Горький добавил: «Ложь — в смысле „мечта“, юноша! Надо мечтать, обязательно надо мечтать. Без мечты и до правды далеко. Разумею, правды для всех, а не только для самого себя» (В с е в о л о д Р о ж д е с т в е н с к и й. Страницы жизни. Из литературных воспоминаний. М.— Л., 1962, стр. 162).

В 1919 г. писатель включил, наряду с другими рассказами, 10 произведений¹ из этого цикла в книгу: М. Г о р ь к и й. Избранные рассказы 1893—1915 гг. Пб., Изд-во З. И. Гржебина, 1921.

«Среди всего, что написано мною за двадцать пять лет,— указывал Горький в предисловии, — рассказы, собранные в этой книге, кажутся мне наиболее удачными».

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

(Стр. 143)

Впервые, с подзаголовком «Из воспоминаний „проходящего“», напечатано в журнале «Заветы», 1912, № 1, апрель, стр. 5—15.

Рассказ автобиографичен. Летом 1892 г. А. Пешков работал вместе с голодающими на постройке шоссе Сухум — Новороссийск. После окончания работ на пути в Очамчиры ему пришлось выполнить обязанности акушера. «...„Рождение человека“? Да, был такой день...», — вспоминал Горький в 1927 г. (А. М е й н <А. И. Цветаева>. Из книги о Горьком.— «Новый мир», 1930, № 8-9, стр. 108). К. Тренев также свидетельствовал, что Горький подтвердил автобиографический характер этого рассказа: «Как-то <...> в тесном кругу <...> Алексей Максимович рассказал о случае, который он описал в своем знаменитом рассказе <...> Увидев, что его спутники равнодушно проходят мимо родящей женщины, Горький возмущенно набросился на них. Через

¹ «Калинин», «Покойник», «Нилушка», «Женщина», «Страсти-мордасти», «Книга», «Весельчак», «На Чангуле», «Рождение человека», «Едут...».

много лет он с жаром повторил брошенные им по адресу равнодушных слова:

— Скоты вы этакие! Может, здесь Шекспир родится!» (К. Т р е н е в. Рождение человека.— «Известия», 1941, № 142, 18 июня).

Первые упоминания о замысле рассказа «Рождение человека» относятся к весне 1912 г. 4 (17) марта Горький рассказал И. А. Бунину историю своего акушерства. Позднее, в июле 1912 г., Бунин писал Горькому: «Горжусь, что уговорил Вас когда-то рассказать о рождении человека. Помните, когда это было? Мы ходили комету смотреть — поздно, поздно, по дороге к Анакапри» (*Г Чтения*, 1961, стр. 64). Горький отвечал: «...конечно, я помню, что это Вы внушили мне мысль написать „Рождение“, и очень жалею, что не догадался посвятить рассказ Вам» (там же, стр. 65).

Работу над рассказом Горький начал через два дня после беседы с Буниным. 6 (19) марта 1912 г. он сообщал Е. П. Пешковой: «Уже стал собираться к вам (в Париж) — вдруг телеграмма! „Заветы“ выходят в апреле. Всё бросил, сел писать, завтра кончу и пошлю» (*Архив ГГХ*, стр. 137). Отвечая в 1930 г. на анкету «Как мы пишем?», Горький сообщил, что «Старуху Изергиль» он написал в течение суток. «А „Рождение человека“ — в три часа. Даже, кажется, меньше» (*Г-30*, т. 26, стр. 224). Рассказ был срочно отправлен редактору «Заветов» В. С. Миролубову: «Посылаю рассказ <...> Сообщите, когда — приблизительно — выйдет первая книга?» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 90). 8 (21) марта Миролубов отвечал из итальянского местечка Каве-ди-Лаванья: «Рассказ получил, прочел и сижу над ним со слезами на глазах» (Архив А. М. Горького, КГ-п-51-6-13).

Первый (апрельский) номер «Заветов» вышел 1 (14) мая 1912 г., но на него был наложен арест. В мае до 15 (28) Горький сообщил Б. Н. Рубинштейну: «„Рождение человека“ напечатано в первой книге „Заветов“, но книга конфискована тотчас же в день выпуска...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-21). Однако журнал все-таки вскоре вышел после переброшюровки, как 2-е издание первого номера (С. П о с т н и к о в. Воспоминания.— Архив А. М. Горького, МоГ-11-25-1, стр. 10). 10 (23) мая писатель И. А. Белоусов сообщал Горькому: «Сегодня только прочитал первую часть „Заветов“. Рассказ „Рождение человека“ — волнует душу, облагораживает — в нем есть великое чувство — любовь, которая передается читателю и он перенесет ее на автора» (Архив А. М. Горького, КГ-п-8-7-15).

Одновременно с отсылкой рукописи Миролубову Горький выслал машинописный текст «Рождения человека» в Берлин. «Вот еще одна рукопись, — писал он Рубинштейну, — в России она будет напечатана в журнале „Заветы“ за апрель. Было бы хорошо, если бы Вы могли соединить ее в одну книжку с рассказом о самоубийстве Макара — буде это удобно для Вас» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-16). А 1 (14) апреля он просил Рубинштейна выслать на адрес Е. П. Пешковой «...„Случай из жизни Макара“ и „Рождение человека“ — если <...>

эти вещи напечатаны» (там же, ПГ-рл-87-19-17). 17 (30) мая 1912 г. книга вышла в свет.

До появления рассказа в печати Горький читал его 2 (15) апреля 1912 г. в Париже, в зале Ваграм, на многотысячном митинге в честь столетия со дня рождения А. И. Герцена, устроенном русскими эмигрантами. Митинг проходил под председательством В. Н. Фигнер, в нем участвовали рабочие, студенты, французские социалисты. В программе митинга значилось: «Максим Горький прочтет свой неизданный рассказ» (Музей А. М. Горького. Отдел фондов). Об этом чтении в кратком репортаже сообщила французская газета «L'Humanité» (1912, № 2922, 17 апреля).

Рассказ «Рождение человека» вызвал много откликов.

Литератор С. Недолин (С. А. Поперек) 13 (26) сентября 1912 г. сообщал Горькому, что он и С. Н. Сергеев-Ценский «восхищались <...> „Рождением человека“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-58-11-7). Восторженный отзыв прислал Горькому П. А. Кропоткин: «Позвольте <...> поблагодарить Вас за дивный, чудный рассказ „Рождение человека“. Я не мастер расписывать свои впечатления от чтения, но знаю, что по художественной стройности и тонкости черт, подмеченных в крестьянской русской женщине, этот рассказ — жемчужина» (там же, КГ-п-40-5-2).

Буржуазная критика тоже вынуждена была признать исключительную художественную силу нового произведения Горького.

В рецензии П. П. Перцова отмечалось: рассказ убедил всех, что Горький «продолжал развиваться и как писатель положительно усовершенствовался» («Голос Москвы», 1912, № 105, 9 мая). «Радостным восприятием жизни, горячею жадностью к ней, высоким уважением к праву личности, к „гордо звучащему“ слову „человек“ веет от этого рассказа <...> Физический акт, уже решительно не содержащий в себе ничего поэтического, акт, внушающий отвращение, когда его живописали такие натуралисты, как Золя, и тот — под рукою Горького обратился в какую-то радостную светлую картинку, составил строфу в том гимне Земле, который он поет от первых своих рассказов...», писал Аякс (А. А. Измайлов) в «Биржевых ведомостях» (1912, № 12970, 4 июня).

Сам Горький придавал большое значение рассказу «Рождение человека» — именно как программному произведению. 12 (25) ноября 1912 г. руководитель книгоиздательства «Прометей» Н. Н. Михайлов обратился к нему с предложением перепечатать рассказ в сборнике избранных произведений русских писателей (Архив А. М. Горького, КГ-п-52-2-2). Горький ответил запросом: «Предполагаете ли Вы включить в „Хрестоматию избранных произведений изящной литературы“ произведения мистиков и пессимистов или думаете посвятить их вновь возрождающемуся реализму с его верой в светлое и радостное существование жизни, с ненавистью к тому, что ее искажает, мешая ее росту? <...> я должен знать, в соседство с какими именно „другими

произведениями“ Вы предполагаете поставить „Рождение человека“?» (там же, ПГ-рл-26-5-2).

С. П. Постников свидетельствовал, что Горький «считал „Рождение человека“ самым удачным своим рассказом» (там же, МоГ-11-25-1, стр. 8). «Из всех своих вещей Горький больше всего любит „Рождение человека“,» — записала А. И. Цветаева после встречи с Горьким в 1927 г. (там же, МоГ-13-42-1, стр. 70). В 1928 г. в беседе с итальянской писательницей Сибиллой Алерамо Горький сказал, что, пожалуй, больше других написанных им произведений ему нравится «Рождение человека» (Sibilla Aleramo. Con Gorki a Sorrento. — «Il corriere della sera». Milano, 1928, № 120, 21 maggio). Об этом же позднее писал К. Тренев: «Как-то Алексей Максимович в тесном кругу задал вопрос одной из женщин, какое из его произведений ей ближе других. Вместо ответа она задала ему встречный вопрос:

— А какое, Алексей Максимович, вы сами больше других любите?

— „Рождение человека“, — сразу сказал Алексей Максимович» (К. Тренев. Рождение человека. — «Известия», 1941, № 142, 18 июня).

Стр. 143. *Это было в 92-м, голодном году...* — Голод 1891—1892 годов охватил тогда почти половину губерний России.

Стр. 143. *Кодор — река в Абхазии.*

Стр. 143. *...«пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого...* — Римский полководец Гней Помпей Великий (106—48 гг. до н. э.) предпринял во время войны Рима с Понтийским государством поход к берегам Черного моря (66—63 гг. до н. э.). Эпизод, о котором упоминает Горький, описан греческим географом Страбоном: «Гептакометы (племена, живущие на территории Понтийского царства) истребили три Помпеевых отряда при переходе последних через <...> горы, потому что они приготовили на дорогах чаши одуряющего меду, который доставляют оконечности древесных ветвей; потом, напавши на людей, напившихся меду и потерявших сознание, они легко одолели их» (География Страбона в семнадцати книгах, кн. XII. М., 1879, стр. 559). Это издание Страбона было подарено Горькому и сохранилось в ЛБГ с пометой рукою писателя: «Подарок Христофора Вуколовича Сербулова, нотариуса г. Самары. 1895, март 17».

Стр. 145. *И вспоминали о Кобыльем ложе, Сухом гоне, Мокреньком...* — Горький использует распространенные в средней полосе названия деревень и селений: Кобылий лог (Курская губ., Львовский уезд), Кобылино (Орловская губ., Болховской уезд), Суходол (Орловская губ., Елецкий уезд), Суходол — верхний, нижний и средний (Тульская губ., Алексинский уезд), Мокрое (Орловская губ., Брянский уезд) и т. д. (см.: «Списки населенных мест Российской империи», составленные Комитетом министерства внутренних дел. СПб., 1871).

ЛЕДОХОД

(Стр. 154)

Впервые, под заглавием «Из впечатлений „проходящего“», напечатано в журнале «Вестник Европы», 1912, кн. 12, стр. 75—95. Новое название произведению дано было автором при подготовке его для ЖЗ.

Действие относится к 1883—84 годам, когда А. Пешков работал в Нижнем Новгороде десятником у В. С. Сергеева. «В. С. Сергеев — дядя мой по бабушке, — сообщал Горький И. А. Груздеву, — т. е. сын сестры моей бабушки, был домовладелец, подрядчик по строительным работам, человек весьма зажиточный» (*Архив ГХИ*, стр. 62).

Произведение в конце августа (начале сентября) 1912 г. было послано Горьким вместе с рассказами «Женщина» и «Покойник» в редакцию журнала «Вестник Европы». О получении их Горькому сообщал 4 (17) сентября Д. Н. Овсяннико-Куликовский: «Ваши три рассказа пойдут в ноябре, декабре (сего 1912) и январе 1913 г.» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 150).

Вероятно, одновременно текст был послан в издательство И. П. Ладыжникова. В письме к Б. Н. Рубинштейну Горький сообщал: «Посылаю рукописи трех рассказов в жанре „Рождения человека“ <...> На днях сообщу Вам, когда можно печатать, и дам заглавие» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-27).

Первым откликом на «Ледоход» явилась следующая аннотация:

«В этом рассказе почти без фабулы, таком простом и непритязательном, как всегда у Горького, есть определенная мысль, но есть и нечто, что важнее, дороже фабулы, занимательности и определенной мысли.

В рассказе есть жизнь, есть волшебное претворение обыденного в художество, в искусство. И дорог этот рассказ особенно тем, что он свидетельствует о живом неоскудевающем таланте» (С. Л ю б о ш. Журнальные заметки. — «Современное слово», 1912, № 1770, 9 декабря).

Рецензент прогрессивного журнала «Вестник знания» В. Голиков писал: «...с подлинными, неискаженными ликами жизни мы имеем дело в очерке Максима Горького <...> Впрочем, — продолжал критик, — в хорошем очерке Горького впечатление несколько двоятся: из-за лика жизни выставляется „учительный“ лик самого автора. Горький ведь всегда был моралистом <...> Переход через плавучий лед изображен просто, реально и красиво. Это — жизнь, а не творимая легенда. Все фигуры плотников — художественно колоритны, не тени, а живые люди. И только в лице <...> Осипа проскальзывают черты Максима Горького. Временами перестает эта фигура быть жизненной и делается книжной, отражением хороших чувств и назидательных мыслей самого автора» («Вестник знания», 1913, № 1, стр. 128—129).

Писатель И. Сургучев заметил в письме Горькому: «А рассказ у Вас в „Вестнике Европы“ чудесный, молодой» (*Г, Материалы*, т. I, стр. 307).

Сложная и актуальная проблематика этого произведения была отмечена М. Пришвиным в письме Горькому от 4 (17) июня 1915 г.: «А больше всего мне понравился из второй Вашей книги рассказ „Ледоход“. Там уж весь Горький высказался. Прочитав рассказ, я вспомнил один период своей петербургской жизни, переполненный необычайными впечатлениями от первой встречи со всей литературной средой. Помню, в Р(елигиозно-)ф(илософском) о(бществ)е обсуждалось, как один из героев Горького поклонялся народушке, и чего-чего только не говорилось по поводу этого. Так вот „Ледоход“ служит хорошим ответом на все эти толки» (*Лит Насл.*, т. 70, стр. 324).

Стр. 155. *Пёщер* — котомка, лубяная корзинка.

Стр. 156. *Галман* — грубиян, невежа.

Стр. 159. ...пишет тоже печатными буквами церковного устава — гражданская пропись непонятна ему. — Церковный устав — старославянское письмо, так называемая кириллица. Гражданский шрифт был введен Петром I в 1708—1710 годах вместо старославянского, употреблявшегося с этого времени только в церковных книгах.

Стр. 171. ...напоминая о ките из «Конька-Горбунка»... — «Конек-Горбунок» — сказка П. П. Ершова (1815—1869), созданная по фольклорным мотивам.

Стр. 172. *Ча* — плавучая льдина.

ГУБИН

(Стр. 179)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в журнале «Современник», 1912, № 12, стр. 3—24.

В «Губине» отразились впечатления, связанные с пребыванием Пешкова в Муроме, по-видимому, в 1889 г. (см.: *Г Чтения*, 1966, стр. 378—379).

Первое упоминание о произведении находим в письме Горького редактору «Современника» Е. А. Ляцкому от 26 октября (8 ноября) 1912 г.: «На декабрь и январь дам два очерка: „Губин“, „Калинин“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-9-17; см. также: *Муратова*, стр. 132). А 18 ноября (1 декабря) 1912 г. писатель уведомлял своего редактора: «Вместе с этим письмом я послал заказной бандеролью <...> два мои очерка...» (там же, ПГ-рл-24-9-20). Несколько раньше машинописные тексты этих произведений были отосланы в издательство Ладыжникова (письмо Горького Б. Н. Рубинштейну с датой получения письма адресатом — 14 ноября (н. ст.) 1912 г. — там же, ПГ-рл-37-19-26).

Получив рассказы, Ляцкий сообщал Горькому 8 (21) декабря: «Идущий в декабрьской книжке „Губин“ произвел на меня гро-

мадно впечатление. Вы стали осторожнее в выборе красок и тоньше в отделке деталей, но то новое, что Вы приобрели в Италии, представляется мне громадным шагом вперед в Вашей писательской технике. Это — необыкновенная задушевность, с которой Вы говорите о природе, и любовное сочувствие, я бы сказал, сочувствие причастное, с каким Вы вкрапливаете в природу нелепые куски человеческой жизни. Мне показалось, но я не отвечаю всецело за свое впечатление, что люди, изображенные Вами, живая ткань коренной русской жизни, раскинувшейся над Окой и далеко вокруг нее, а в природе, где всё русское, и лес, и река, и купеческая усадьба, всё верно себе, — есть что-то каприйское, каприйский воздух, какая-то упоительная теплота, но без русской дремы» (там же, КГ-п-47-8-14; см. также: Муратова, стр. 145).

На это письмо Горький ответил: «Очень обрадовал Вашим отзывом о „Губине“...» (Горький, т. VIII, стр. 671).

В своем дневнике К. П. Пятницкий записал: «Шаляпину нравится „Губин“» (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1913, л. 49).

Стр. 182. *Петр Великий с Николаем Павловичем несколько умней тебя были, так они — кто бороду носит — тому нос резать и сто целковых штрафа!* — Указ Петра I «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, и о взятии пошлины с тех, которые сего исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков» был опубликован 16 января 1705 г. Пошлины взимались «с царедворцев и с дворовых, и с городских, и всяких чинов служилых и приказных людей по 60 рублей с человека; с гостей и с гостиной сотни первой статьи по 100 рублей с человека; средней и меньшей статьи <...> меньше 100 рублей...» («Полное собрание законов Российской империи с 1649 года», т. IV. 1700—1712 гг. СПб., 1830, стр. 282). В царствование Николая I указов о бритье бороды не издавалось. «Контаминация» двух царей в памяти Губина, очевидно, объясняется тем, что при Николае I усилилось гонение против старообрядчества.

Стр. 182. *А между тем из этого раскол церковный вышел, из-за бороды...* — Раскол — религиозно-общественное движение против официальной церкви в России, оформившееся в связи с церковной реформой патриарха Никона в 1653 г. Староверы — раскольники — выступали против исправления церковных книг по греческим образцам и признавали лишь исправления, сделанные до Никона. В «старых» церковных книгах в степень догмата был возведен ряд обычаев, в том числе говорилось «о небритии бороды и усов».

«Учение о небритии бороды <...> стоит наряду с общими основаниями раскола <...> С таким же упорством и фанатизмом, с такою же энергиею и самопожертвованием, с какими отстаивает <...> раскольник неприкосновенность своей старопечатной книги, двуперстного сложения или седмипросфория — он готов защищать неприкосновенность своей бороды и усов» («Каким образом образовалась в русских людях особенная любовь к бо-

роде». — «Нижегородские епархиальные ведомости», 1869, № 12, стр. 429—430).

Стр. 184. ...*под Плевной сражался*... — Плевна (Плевен) — город на севере Болгарии. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов под Плевной происходили упорные бои, которые закончились 28 ноября (10 декабря) 1877 г. освобождением этого города от турецкого ига. В память о русских воинах в Плевне сооружен Мавзолей. В Москве, в сквере у Ильинских ворот, поставлен памятник русским гренадерам, павшим в боях под Плевной.

Стр. 188. ...*в городском гербе нашем три калача*... — Имеется в виду герб города Муром Владимирской губернии. В верхней части — герб г. Владимира — на красном поле стоящий на задних лапах лев с золотой короной. Правой лапой держит длинный серебряный крест. Внизу — «три крупитчатые калача, которыми сей город отменно славится» («Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649 по 1900 гг.». Составил П. П. Винклер. СПб., <б.г.>, стр. 97).

Стр. 189—190. ...*в ней лежат мощи благоверных князей города, мужа и жены; в житии сказано, что они всю жизнь прожили «в добросердечной, нерушимой любви»*. — Речь идет, вероятно, о муромском князе Петре и его жене Февронии. Московский церковный собор 1547 г. канонизировал их как святых. «Мощи» Петра и Февронии находились в Богородице-Рождественском соборе города Мурома (см.: Н. П. Травчев. Город Муром и его достопримечательности. Владимир, 1903, стр. 19—20 и 71). На основе народных легенд, которые начали складываться вокруг Петра и Февронии вскоре после их смерти (1228 г.), была создана в середине XVI века «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Слов «в добросердечной, нерушимой любви» там нет; однако они вполне соответствуют содержанию повести (см. три ее варианта в кн.: «Памятники старинной русской литературы», вып. I. СПб., 1860, стр. 27—52).

НИЛУШКА

(Стр. 203)

Впервые, под заглавием «Слобода Толмачиха», напечатано в газете «Русское слово», 1913, № 87, 14 апреля.

В «Беседах о ремесле» Горький вспоминал: «К двадцати, к двадцати двум годам мое представление о людях сложилось так: подавляющее большинство — племя мечан, проклятое племя „нормальных“...» (Г-30, т. 25, стр. 304). Там же он свидетельствовал, что все, не похожие на это «проклятое племя», вызывали у него исключительный интерес. «Дурачки и блаженненькие казались мне интереснее „нормальных“ людей <...> Романтизм, олимпийский юности, позволял мне насыщать ненормальных какими-то никому не доступными знаниями и чувствами, которых никто не испытал» (там же, стр. 297—298).

Хотя мир «блаженненьких» и давал пищу для фантазии, будущий писатель вскоре понял, что само по себе это явление — патологическое, социально уродливое. Понял он и причину покровительственного отношения мещанства к «блаженненьким». В статье «О дураках», опубликованной в 1917 г., но написанной раньше, Горький пронизировал:

«Я должен напомнить рассказ о дурачке Нилушке и хитром Антипе Вологонове, который хотел создать дурачку славу праведника; на мой взгляд, Антипа выдал истинный мотив пристрастия нашего к праведникам, извиняюсь — он сказал это словами грубыми: „Утешеньишко людишкам,— жили-были стервы и подлцы, а нажили праведника“.

Да, да, это очень грубые слова, но они — правда, обидная правда, конечно <...> Нам пужен „праведник“ затем, чтобы мы могли возложить на его плечи всю тяжесть ответственности за наше бессилие, за нашу лень жить и работать, за все наши личные и общественные грехи» (М. Г о р ь к и й. Статьи 1905—1916 гг., изд. 2. Пг., 1918, стр. 204, 205).

Установить более или менее точно время написания «Нилушки» пока не удалось. В издании Гржебина рассказ датирован 1909 годом. Возможно, что Горький писал его параллельно с работой над «Городком Окуровом». Но не исключено, что, датируя его в 1919 г. по памяти, автор ошибся.

11 (24) февраля 1913 г. Горький сообщал издателю «Русского слова» И. Д. Сытину: «Согласно желанию Вашему иметь рукопись мою поскорее, посылаю рассказ „Слобода Толмачиха“. Рассказ, вероятно, велик для „Рус<ского> слова“, но сейчас ничего иного готового нет» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-42-12-8).

В «Русском слове» рассказ долго не появлялся. 17 (30) марта 1913 г. Горький писал сотруднику газеты Ф. И. Благову: «...может быть, ранее присланный мною рассказ „Нилушка“ велик для вас, а потому вы затрудняетесь напечатать его?» (там же, ПГ-рл-4-17-3). Это письмо привело в недоумение Благова, который сделал на нем пометку: «Такого рассказа не получали. М. б., это „Слобода Толмачиха“?». А 24 марта (6 апреля) телеграммой он сообщил Горькому: «„Слобода Толмачиха“ выйдет на пасхальной неделе» (там же, КГ-п-9-2-2).

Название «Нилушка», как видим, возникло у Горького почти одновременно с первым — «Слобода Толмачиха», но было закреплено за рассказом лишь при подготовке его для ЖЗ.

С т р. 203. *Деревянный город Буев...* — «Прототипом» города Буева мог послужить город Васильсурск Нижегородской губ., в котором Горький не раз бывал и до начала своей литературной деятельности и позднее. В «Заметке к „Городку Окурову“» он писал: «...сколько уездных городков известно мне? Оказалось — 49. В этом числе были <...> и такие мещанские гнезда, как Василь-Сурск...» (т. X наст. изд., стр. 701). Васильсурск «находится при Волге и Суре, на правом их берегу». Весь берег Суры «состоит из гор, прорытых оврагами». Город деревянный, не раз выгорал во время частых пожаров (*Кудрявцев*, стр. 1).

Стр. 203. ...к сосновому бору Михаил-Архангельского монастыря...— Михаило-Архангельский Черемисский мужской монастырь, расположенный «в Цебибековской казенной лесной даче при р. Суре, в 7 верстах от г. Василь-Сурска», основан в 1868 г. («Православные монастыри Российской империи». Составил Л. И. Денисов. М., 1908, стр. 244).

Стр. 203. ...кельи слободы Толмачихи...— Ср.: «Направо—раскинулась слободка, частью состоящая из поселенцев-пришельцев, а частью из пригородных васпльевских жителей» (Г р о н о в. Василь-Сурск и Черемисский монастырь (Из дорожных воспоминаний).— «Волжский вестник», 1887, № 50, 24 февраля). Слободка вплотную примыкала к городу. Другая слобода — Хмелевская — была расположена «в трех верстах от Василь-Сурска» (там же).

Стр. 203. ...помещика Толмачева, который раскрепостил своих рабов за тринадцать лет до законной воли и за это был обижен царем...— Как свидетельствует историк В. И. Семеновский, случаи безвозмездного освобождения крестьян в конце 40-х — начале 50-х годов были редки: «...из 250 случаев освобождения только в 9 крестьяне получили волю без всякой платы» (В. И. Семеновский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века, т. II. СПб., 1888, стр. 211). Такие действия отдельных либеральных помещиков вызывали подозрения и недовольство в правительственных кругах. А когда на Западе началась революция 1848 года, влияния которой опасался паризм, то «самая мысль об освобождении крепостных приводилась в связь с революционными идеями...» (И. Энгельман. История крепостного права в России. М., 1900, стр. 263).

Стр. 204. ...Жандармский ключ, славный во всем Буге вкусом кристальной студеной воды...— Такие ключи часто встречались в районе Нижнего Новгорода. В самом Нижнем Новгороде был ключ с таким названием (см. «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода в двух частях», составленные Н. Храмовским, ч. II. М., 1859, стр. 25). В слободе Хмелевке, близ Васильсурска, имелось два ключа, вода которых была «...отличного вкуса»; окрестные жители «даже приписывают обоим ключам целебную силу» (Кудрявцев, стр. 91).

Стр. 204. Мужчины слободы занимаются рыбной ловлей / Бабы — зимою шьют и чинят мешки на мельницу Зиммеля, щиплют паклю...— Рыбным промыслом «занимались в Василе и его слободе». «Главное занятие женщин в Василе — пряха льна и ткань холста <...> они с давнего уже времени занимаются щипанием пакли из ветхих капатов» (Кудрявцев, стр. 43, 81).

Стр. 208. Сладкою стрелою...— Ср. с записью М. Д. Чулкова: «Любовью распалена, / Любви дала я власть, / Сама вошла в напасть / Я, страстью воспалена» («Собрание разных песен М. Д. Чулкова». СПб., 1770, стр. 3).

Стр. 210. А читывал ты «Потерянный и возвращенный рай»? — Поэмы английского поэта Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671) в первых русских изданиях выходили не только в одной книге,

по порою и объединялись общим названием: «Потерянный и возвращенный рай». СПб., 1878 (пер. А. Шульговской); «Потерянный и возвращенный рай». М., 1882; изд. 2, 1884 (пер. Н. М. Бородина).

Стр. 210. ...из-за любовной страсти к сестре Александра Павловича Наполеон на Русь приходил.— Наполеон, после расторжения своего брака с Жозефиной Богарне, предполагал заключить брак с сестрой Александра I — Екатериной Павловной. После того, как она была выдана замуж за принца Ольденбургского, начались переговоры о браке Наполеона с другой сестрой Александра I — Анной Павловной; однако французский двор не сумел договориться с русским двором (см.: Альберт Вандаль. Наполеон и Александр I, т. I. СПб., 1910, стр. 464—477; т. II, 1911, стр. 281—289).

Стр. 210. ...женщину держат в полном затмении...— В Коране говорится: «Мужчина выше их <женщин> степенью своего достоинства» (гл. 2, стих 228). По мусульманскому преданию, пророк Мухаммед, ревнуя молодую третью жену Айшу к своему приемному сыну, велел ей и всем женщинам находиться только в той части дома, которая была запретна для других («харем»), а при появлении посторонних лиц или выходе на улицу закрывать лицо плотным покрывалом. Иудаизм хотя и не заходил так далеко по пути внешних ограничений, но также духовно унижал женщину. В Талмуде говорится: «...всё, что человек хочет делать с женой, он делает, — вроде как мясо с боини, хочет есть с солью — ест; жареным — ест; вареным — ест».

Стр. 210. ...дозволено им лекарихами быть...— В 1872 г. при Медико-хирургической академии в Петербурге были открыты женские врачебные курсы, которые существовали на частные средства. За 15 лет было выпущено до 600 женщин-врачей *de facto*, но не *de jure*, так как они не имели ни прав, ни звания. Однако земства широко привлекали их к работе (см.: А. Шабанова. Женское врачебное образование в России.— «Исторический вестник», 1913, т. 131, март, стр. 952—961). Курсы были закрыты в 1887 г. и только в 1897 г. открылся первый медицинский женский институт.

Стр. 210. ...«неискусобрачная невесто»...— «Октоих, спречь осмогласник», ч. II. М., 1898, л. 4 об.

Стр. 211. «В дому Давидовом страшная совершаются»...— «Октоих...», ч. II, л. 11.

Стр. 211. ...«терноносный еврейский сонм».— «Октоих...», ч. II, л. 12.

Стр. 212. ...«мертвыми показа!»— «Октоих...», ч. II, л. 96.

Стр. 213. Один убит в сражении при Кушке...— В марте 1885 г. на реке Кушке (приток р. Мургаба на юге Туркмении) произошло столкновение с афганскими войсками; в 1887 г. протоколом была точно определена граница России с Афганистаном.

Стр. 216. Оче нас неси с Неси на небеси...— искаженная молитва «Отче наш, иже еси на небесех...» (Евангелие от Матфея, гл. 6, стих 9).

Стр. 219. ...*круговращение Велиалово!* — Велиал, или Веллар — библейское название темной космической силы, олицетворяющей всякое зло и беззаконие; позднее отождествлялось с дьяволом (Псалтырь, псалом 40, стих 9).

Стр. 220. ...*песнь об Алексии, божьем человеке...* — Легенда об Алексее — «человеке божьем» была распространена и литературно обработана во многих странах, в том числе и в России. Русский духовный стих об Алексее рассказывает о его жизни, о том, как он ушел из дома отца, жил в пустыне, стал добровольно нищим и, вернувшись к отцу и живя там неизвестным, подвергался унижениям (см. «Калеки переходящие»). Сборник стихов и исследование П. Бессонова, вып. I. М., 1861, стр. 97—154).

КЛАДВИЩЕ

(Стр. 228)

Впервые напечатано в журнале «Современник», 1913, № 2, стр. 4—18.

5 января н. ст. 1913 г. Горький сообщал редактору «Современника» Е. А. Ляцкому: «Очень может быть, что к февральской книге я дам небольшой очерк, весьма сенсационный по теме, и „Хозяина“ придется отложить до марта. Этот вопрос будет решен на протяжении недели...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-9-39, а также: *Муратова*, стр. 132).

На следующий день в письме к тому же Ляцкому писатель более подробно рассказал о своей работе: «Пишу очерк на тему — чем должно быть кладбище в жизни? Вот какая тема! Европейцу — это в голову не придет: они свои кладбища прячут, а у нас — пожалуйте! — в центре города красуются могилки предков, совершенно не уважаемых нами. Хорошо водку пить на кладбище, закусывая каменными яйцами. Не дурно также целовать — на Пасхе — толстеньких мешанок: — „Христос воскрес!“ — а она, вытянув губы вперед вершка на два, скромненько отвечает: „Ах, я не христосуюсь“. На русских кладбищах — в провинции — растут чудесные березы, всегда — почему-то — очень пышные, веселые и наивные, как институтки» (там же, ПГ-рл-24-9-31; *Муратова*, стр. 132). А 10 (23) января он просит его: «...„Хозяина“ отложите на март, апрель, а в феврале пускайте „Кладбище“ — рукопись передаст Вам Ив. Павлович. Я очень прошу Вас поместить вслед за этой вещичкой стихи Астрова, весь цикл, — они, по настроению, сливаются с психологией „проходящего“. В них ценно именно бодрое настроение, нам оно должно быть дорого» (*Горький*, т. VIII, стр. 672). Журнал выполнил просьбу и поместил цикл стихов Семена Астрова, начинающийся стихотворением:

Дорога моя до конца не изведена.
Быть может, я тьму повстречаю в пути.
Но свету — я знаю — душа моя предана,
И дальше мне надо идти.

Всё дальше и дальше. Просторы безгранично,
 О, светлые шири, ведите вперед!
 Не тщетно душа моя, волею пьяная,
 О будущих даях поет.
 Напрасно ли сила дана мне кипучая
 Быть пламенной вестью идущих времен!
 Напрасно ли жизнью лучистой, жгучею,
 Как влагою, я напоен.
 И слишком исполнен я солнечной верою,
 Чтоб тьмы я боялся в широком пути.
 Ведите, просторы... О, жажду без меры я
 Всё дальше, всё выше идти!

(«Современник», 1913, № 2, стр. 19).

Текст рассказа «Кладбище» был отослан И. П. Ладыжникову для берлинского издания «Записок проходящего». 12 (25) марта 1913 г. Б. Н. Рубинштейн сообщал Горькому: «Посылаю Вам сегодня 10 экз(емпляров) „Записки проходящего“ <...> Всего напечатано 6 очерков, между прочим и „Кладбище“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-66-14-6).

Ознакомившись с рассказом, поэт Саша Черный (А. М. Гликиберг) писал Горькому: «Вашим „Кладбищем“ особенно наслаждался: какая хорошая мысль и какой удивительный рисунок! А в какой-то газете один разъяснитель только и нашел, что фигура офицера „схематична, суха“ и пр. и пр. Когда-нибудь за такие отзывы будут предавать уголовному суду...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-85-5-4).

Вероятно, Саша Черный имел в виду отзыв Е. Скифа (В. А. Егорова): «Прелестное в смысле красивых, лирических описаний и тихих, созерцательных настроений „Кладбище“ Горького <...> отравлено трескучей риторикой <...> поручика Хорвата. Плохую услугу оказал Горькому этот поручик, ввязавшись в его героическую задачу увидеть даже на кладбище больше красоты и жизни, чем в городе — скучном и сером» (Е в е н и й С к и ф. Экскурсы в литературу. Новые герои. — «Живое слово», 1913, № 11. стр. 10).

Стр. 234. *Смертию смерть всеконечне погублена бысть... — «Октоих, сиречь Осмогласник учебный». М., <б. г.>, л. 82 об. (книга находится в ЛБГ; цитата подчеркнута Горьким).*

Стр. 235. *Вси в житии крест яко ярем вземшии... — Там же, л. 90 (также подчеркнута Горьким).*

Стр. 238. *«Книга живота» — «Книга жизни».*

НА ПАРОХОДЕ

(Стр. 244)

Впервые, с подзаголовком «Из воспоминаний „проходящего“», напечатано в журнале «Вестник Европы», 1913, кн. 5, стр. 5—25.

Горький в примечаниях к статье Б. Н. Николаевского «„Первое преступление“ М. Горького» писал: «С 80-го по 85-й год. За эти пять лет я две навигации служил „посудником“ на пароходах, сначала „Добром“ Курбатова, потом „Пермь“ Любимова» («Былое», 1921, № 16, стр. 184). В 1881 г. А. Пешков поступил на пароход «Добрый», который курсировал между Нижним Новгородом и Пермью, перевоза пассажиров и грузы, а также буксируя баржу с арестантами. Об этом периоде рассказывается в повести «В людях» (Г-30, т. 13, стр. 281—283). Почти текстуальные совпадения описания парохода в повести и очерке свидетельствуют о том, что в основу очерка «На пароходе» положены личные впечатления автора начала 80-х годов. Но описанный случай, вероятно, относится к более позднему времени — к началу странствия Пешкова по Руси, когда он 30 апреля 1891 г. прибыл пароходом в Казань из Нижнего Новгорода.

Судя по сохранившемуся началу черновой рукописи, перешедшей Горьким И. П. Ладыжникову, работа над рассказом относится к марту 1913 г. Штемпель на письме: «Саргі, 1.4.13» (Архив А. М. Горького, ХПГ-40-1-1). Стало быть, рукопись была послана Ладыжникову 19 марта (1 апреля) 1913 г. и, судя по петербургскому штампу и пометке Ладыжникова, получена 25 марта (7 апреля). 29 марта (11 апреля) он сообщил Горькому: «Письмо к М<арии> Ф<едоровне> передал. Вчера переслал ей также подлинник рукописи „На пароходе“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-16).

Одновременно с черновой рукописью или вскоре после того Горький высылает Ладыжникову текст законченного произведения. Рассказ был отправлен Ладыжниковым в Берлин Б. Н. Рубинштейну. Последний уведомлял Горького 10 (23) апреля: «Иван Павлович прислал мне <...> „На пароходе“» (там же, КГ-п-66-17-7).

В марте же Горький выслал рассказ в редакцию «Вестника Европы». Редакция долго не отвечала. Поэтому 19 апреля (2 мая) Горький просил Ладыжникова: «Почти месяц тому назад я послал Овсяннико-Куликовскому рукопись очерка „На пароходе“, но до сего дня не имею сведений — получена ли она? Безпокойно. Не справитесь ли Вы у него — получил он рукопись?» (Архив ГҮП, стр. 220). В тот же день он сам запросил Овсяннико-Куликовского: «Послал Вам очерк „На пароходе“ — получили?» (Г-30, т. 29, стр. 301). 2 (15) мая сотрудник Главной конторы журнала Блинов уведомил Горького: «...в майской кн<ижке> журнала напечатан Ваш рассказ „На пароходе“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-9-4-1).

Стр. 244. Се-ем... се-ем... шесть... — «Каждому проезжавшему по Волге наверное не раз приходилось слышать раздаю-

щиеся по временам на носу парохода однообразные восклицания: „три с половиной“, „три“, „пять с половиной“, „шесть“, „табак“ и пр. Подобным образом докладываются матросом шкиперу результаты измерения глубины русла шестом на мелких местах. Это называется „*плавание с наметкой*“» («Россия. Полное географическое описание нашего отечества», под ред. В. П. Семенова, т. I. СПб., 1899, стр. 198).

Стр. 246. *Кашинской* — из г. Кашина Тверской губернии (теперь Калининская обл.), расположенного на р. Кашинке — притоке Волги.

Стр. 250. *Труш-ша* — вероятно, чувашское «Тӑрӑшна!» в значении «живее».

Стр. 256. ...*пароход отвалил от Сундыря*... — Село Сундырь (переименовано в 1856 г. в Мариинский Посад) Чебоксарского уезда, Казанской губ., расположено на правом берегу реки Волги при впадении в нее реки Сундырки. В настоящее время — город, центр Мариинско-Посадского района Чувашской АССР.

Стр. 264. ...*грустная башня Сумбеки*. — Башня Казанского кремля, памятник архитектуры, оставшийся от Казанского ханства. По одному из татарских преданий — это мавзолей, воздвигнутый ханшей Сумбекой в память второго мужа ее Сафа-Гирея, умершего в 1549 г. «По имени этой ханши башня и получила свое название. Народные легенды рисуют Сумбеку очаровательной и добродетельной женщиной, на долю которой досталась жизнь, исполненная горя и страданий» (Иллюстрированный путеводитель «Казань в кармане». Составили Н. и М. Перевощиковы. Казань, 1904, стр. 47).

ЖЕНЩИНА

(Стр. 265)

Впервые, под названием «По Руси (Из впечатлений „проходящего“», напечатано в журнале «Вестник Европы», 1913, кн. 1, стр. 5—32.

Новое название рассказ получил при подготовке его для ЖЗ.

В Архиве А. М. Горького хранятся две заметки, которые можно рассматривать как наброски к данному рассказу:

1. «Я так хорошо знаю всё [это], что уж будто и не знаю». На обороте написано и затем построчно зачеркнуто синим карандашом:

2. [Одна я очень. Нет человека душе моей,— мне подходящего. Мужиков — много, а людей вот нет. А если б] (*Архив ГХИ*, стр. 57).

В основе рассказа, по всей вероятности, лежат впечатления, связанные с тем периодом странствий, о котором Горький вспоминал в письме к И. А. Груздеву от 7 июля 1926 г.: «... из Беслана еще ходил в Алагир и вдоль хребта в сторону Черного моря, а потом снова возвратился ко Владикавказу, потому что не попал на Военно-Осетинскую дорогу» (*Архив ГХИ*, стр. 62). Из Беслана в Алагир А. Пешков ходил в сентябре—октябре 1891 г.

Он «шел по предгорьям Северного Кавказа через казацки, осетинские и кабардинские селения» (В. Б. К о р з у н. М. Горький на Северном Кавказе.— «Известия Грозненского областного краеведческого музея», вып. 5, 1953, стр. 106).

Рассказ «Женщина» написан летом 1912 г. В конце августа (начале сентября) Горький выслал текст его в редакцию «Вестника Европы» вместе с другими рассказами — «Ледоход» и «Покойник». О получении их Горькому сообщал Овсяннико-Куликовский 4 (17) сентября: «Ваши три рассказа пойдут в ноябре, декабре (сего 1912) и январе 1913 г.» (Г, *Материалы*, т. III, стр. 150). Одновременно машинописи названных произведений были отправлены в издательство И. П. Ладыжникова (см. примечания к рассказу «Ледоход»).

Еще до появления в печати рассказ «Женщина» добродетельно анонсировался «Московской газетой»: «В январской книжке „Вестн<ика> Европ<ы>“ будет напечатан превосходный новый рассказ М. Горького, и по содержанию и по форме напоминающий лучшие произведения писателя» («Новый» Горький». — «Московская газета», 1913, № 230, 2 января).

Однако наиболее вдумчивыми критиками рассказ был воспринят не только как произведение, «шапоминающее» лучшие творения Горького, но и как шаг вперед, как новое яркое выражение исторического оптимизма художника.

С. Недолин (С. А. Поперек) подчеркивал оптимистическую тональность произведения: «...прелесть рассказа, — писал он, — не в фабуле, а в том ослепительно бодром настроении, которым он насковзь пропитан» («Русская Ривьера». Ялта, 1913, № 32, 8 февраля).

В своем восторженном отзыве о «Записках проходящего» А. М. Коллонтай особенно выделила образ героини рассказа «Женщина»: «А Ваша Татьяна — это такая красота. Живая, яркая, трогательная» (там же, КГ-од-1-20-2). Несколько позднее в статье «Новая женщина» Коллонтай рассматривала Татьяну как новое общественное явление, как тип героинь, «утверждающих свою личность, героинь, протестующих против всестороннего порабощения женщины в государстве, в семье, в обществе, героинь, борющихся за свои права...» («Современный мир», 1913, № 9, стр. 153).

Статья Коллонтай вызвала раздраженные отклики реакционных критиков. Л. Мишин на страницах газеты «Россия» заявлял, что основная черта таких женщин, как Татьяна, — «полная безнравственность». Особенно возмущался Мишин тем, что разговоры о «новой женщине», объявившей «войну старому миру», приобретают «характер яростной политической агитации» («Россия», 1914, № 2549, 8 марта). К рецензенту «России» примкнул анонимный критик из «Нового времени». В обзоре литературы за 1913 год он иронически называл «проходящего человека», изображенного в цикле «По Руси», «современным Руссо», будто бы проповедующим такую «простоту», которая «хуже воровства». Героиню рассказа «Женщина» с ее исканиями и метаниями, с ее

тоской по человеческой жизни, повременский критик пытался представить «гулящей бабенкой» («Новое время», 1914, № 13580, 1 января).

В отличие от консервативной критики, либерально-буржуазные газеты и журналы, оценивая произведение положительно, старались вместе с тем затушевать его «беспокойный» характер, ввести его в привычные, традиционные рамки.

Характерна в этом отношении статья А. А. Измайлова. Не отрицая, что в «Женщине» затрагиваются острые социальные проблемы, критик утверждал, что Горький решает их в русле сложившихся традиций. Он писал:

«Открывающий январскую книжку „Вестника Европы“ очерк <...> „По Руси. Из записок проходящего“ — не рассказ в собственном смысле, а именно та беллетристическая публицистика, которую полны книги Успенского <...> Все разговоры, как принято говорить, „с начинкой“. И мужики, и бабы, и сам „проходящий“ в сущности иллюстрируют этими речами определенную философию.

Эта философия довольно обща. Не первый и не последний, Горький задумывается над той распутицей русской жизни, той рознью ее, тем хаосом ее, какой приводит к гибельному концу существа, по-видимому, созданного для разумного бытия, для крепкой любви, для смысла и порядка <...> Целый ряд вариантов этой темки о женской доле в русской деревне прошел у наших пародников. Горький целиком притмыкает к ним» (А. А. Измайлов. Погибающие силы. — «Новое слово», 1913, № 2, стр. 123—126).

Мнение прогрессивных читателей о новом произведении Горького выразил профессиональный революционер-большевик Ф. И. Калинин.

В январе 1913 г. он писал Горькому: «В один из вечеров как-то был у Луначарского. Он мне предложил прочитать вслух Ваш новый рассказ: „По Руси“ в первой книжке „Вестника Европы“. Слушал с большим наслаждением. Рассказ написан с той же силой, как самые лучшие Ваши рассказы, но средства и способы образительности еще гораздо выше и совершеннее. Настоящая художественная простота стиля гармонично объединяется со смелостью нового образного выражения. Стилль не выходит за пределы соответствия изображаемого быта и в то же время импрессионистски образно выражено. Изображение босяков совершенно новое, чуждое того романтизма, который был свойствен Вам в первых рассказах. Типы зарисованы крайне выпукло и в то же время сжато. Весь рассказ дышит художественной правдивостью <...> Меня охватило чувство радости, вернее чувство гордости, что Вы, вопреки каркающим воронам буржуазных писак, неуклонно идете вперед» (Архив А. М. Горького, КГ-п-33-8-5).

Стр. 267. *Завтра — Успенев день...* — 15 августа ст. ст.

Стр. 267. *...по пути из Курска до Терской области...* — В Курске Пешков был в июне 1891 г. (см.: И. Баскевич).

Горький в Курске. Курск, 1959, стр. 7); из Курска отправился через Задонск в Бессарабию; оттуда через Крым пришел на Кавказ, пройдя Кубанскую и Терскую области (см.: *Г Чтения*, 1966, стр. 381—386).

Стр. 267. ...к пескам Алексинского уезда...— Уезд Тульской губернии, расположен на правом берегу Оки; уездный город — Алексин.

Стр. 279. *Сон богородицы* — духовный стих о вещем сне «богородицы», в котором предсказывалось распятие Иисуса Христа и его «воскресение» (см.: «Калеки переходные», вып. 6. М., 1864, стр. 175—235).

Стр. 285. *День Фрола-Лавра* — 18 августа ст. ст.

Стр. 289. *На Алагир*.— Алагир расположен в долине реки Ардон (приток Терека).

Стр. 291. *Лет через пять я шагал по двору Метехского замка в Тифлисе...*— 6 (18) мая 1898 г. Горький был арестован в Нижнем Новгороде по делу Ф. Е. Афанасьева и других членов социал-демократической организации Тифлиса. 12 (24) мая писателя под конвоем доставили в Тифлис и заключили в Метехский замок (см.: «Даты жизни и деятельности А. М. Горького». — «Красный архив», 1936, № 5, стр. 32 и 34).

Стр. 291. *Авлабар* — часть старого города в Тифлисе.

Стр. 293. *Покров* — 1 октября ст. ст.

В УЩЕЛЬЕ

(Стр. 295)

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1913, №№ 156, 157, 158 — 7, 9 и 10 июля. Одновременно — в книге: М. Горький. Записки проходящего. Очерки. Часть вторая. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1913>.

В сентябре-октябре 1891 г. А. Пешков работал почным сторожем на постройке рабочего барака в горном ущелье, неподалеку от станции Беслан на Северном Кавказе. Позднее, 7 июля 1926 г., он писал И. А. Груздеву: «На ж. д. Беслан — Петровск работал после Майкопа» (*Архив ГХД*, стр. 62). Подробно об этом периоде своей жизни писатель рассказал в цикле «Заметки из дневника. Воспоминания» (*Г-30*, т. 15, стр. 184—192).

Рассказ «В ущелье» написан, по всей вероятности, весной 1913 г. 19 апреля (2 мая) Горький уведомил Ладыжникова: «Посылаю рукопись рассказа, этот рассказ еще никуда не назначен мною, со временем я, вероятно, попрошу Вас передать его „Вест(нику) Евр(опы)“ <...>, озаглавить ее можно „В ущелье“ <...> Для „Русс(кого) слова“ „Ущелье“ — велико, хотя, конечно, выгоднее поместить в нем <...> Известите меня о получении рукописи <...> Рукопись дайте прочитать М(арию) Ф(едоровне) — я еще не могу послать ей черновик, он мне пужен пока» (*Архив ГЧД*, стр. 220). 1 (14) мая Ладыжников отвечал: «Рукопись „В ущелье“ <...> получил» (*Архив А. М. Горького*, КГ-п-42-1-22).

В издательство Ладыжникова Горький выслал вариант произведения, включающий воспоминание о плавании на шхуне по Каспийскому морю. Готовя произведение для газетной публикации, автор изъясил этот эпизод¹, заменив его фразой «...Много видел я хорошего!» (см. наст. том, стр. 310). Сокращенный вариант рассказа был предложен газете «Русское слово». 17(30) мая автор писал Ф. Благову: «Посылаю бандеролью рукопись рассказа „В ущелье“; Вы, вероятно, напечатаете его в два, три приема, а я тем временем напишу для Вас пару рассказов поменьше размером» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-7).

В первоначальном варианте рассказ печатался в издании *Л* и *ЖЗ*. Правя его для *К*, Горький снова вычеркнул упомянутый эпизод.

Через несколько дней после выхода рассказа А. В. Амфи-театров писал (17/30 июля 1913 г.) Горькому: «Читал „В ущелье“ в „Рус(ском) слове“, и очень мне понравилось. От Василия Немирова получил по этому поводу тоже восторженное письмо» (Архив А. М. Горького, КГ-п-3-1-174).

Стр. 297. ...там строят железную дорогу на Каспий, в Петровск...— Строительство отрезка Владикавказской магистрали (теперь Северо-Кавказская ж. д.) от станции Беслан до Петровска-порта (теперь Махачкала) было завершено в 1894 г.

Стр. 298. *Мнеманит, видать, а то — молокан.*— Меннониты — христианская секта, возникшая в первой половине XVI века в Северной Германии и получившая название по имени основателя — Менно Симонса (1496—1561). Секта проповедовала непротивление. В России меннониты появились вместе с немецкими колонистами в конце XVIII века. Молокане — христианская секта, возникшая в конце XVII — начале XVIII в.; основателем считается Семен Уклеин. Молокане отрицают церковь с ее обрядами; богослужение у них выражается в чтении Библии.

Стр. 298. ...он служил в Ташкенте, дрался с текинцами...— Ташкент с 1865 г. был центром Туркестанской области, охватывавшей большую часть Средней Азии. Племя текинцев нередко нападало на русские гарнизоны. В 1880—1881 гг. военная экспедиция, возглавлявшаяся генералом М. Д. Скобелевым, заняла оазис-крепость Денгиль-Тепе (близ Геок-Тепе), а затем и Ашхабад.

Стр. 298. *Деревня эти изняя — Ахал-Тяпа...*— Ахал-Текке, крупный населенный пункт в Южном Туркестане (на территории теперешней Туркмении).

Стр. 299. *Джугара* — злаковое, съедобное растение; в Средней Азии возделывается с глубокой древности.

Стр. 299. *Я заметил его в Армавире...*— В 1891 г., по дороге из Майкопа в Беслан А. Пешков посетил город Армавир (*Г Чтения*, 1966, стр. 386).

¹ Он стал самостоятельным произведением: «Едут...»

Стр. 304. ...однажды в Задонске, на монастырском дворе... — Задонск, уездный город Воронежской губ. (ныне — в Орловской обл.). В июне 1891 г. — вероятно, в конце месяца — А. Пешков посетил монастырь Тихона Задонского (см.: *Г Чтения*, 1966, стр. 381).

Стр. 320. *Отыди ото зла — сотворишь благое.* — Псалтырь, псалом 36, стих 27.

Стр. 324. *Хлюст в тrefях с козырной с барданом!*... — Хлюст — сдача, в которой все карты одной масти, в данном случае — одна тrefовая масть. Бардан (бардадым) — король черной масти.

КАЛИНИН

(Стр. 326)

Впервые напечатано, с подзаголовком «Очерк», в журнале «Современник», 1913, № 1, стр. 3—25.

Написан рассказ, по всей вероятности, осенью 1912 г. Об этом свидетельствует письмо Горького редактору «Современника» Е. А. Ляцкому от 26 октября (8 ноября) 1912 г., в котором Горький обещает в ближайшие дни выслать рассказ «Калинин» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-9-17).

В рассказе отразились впечатления, относящиеся к лету 1892 г., когда А. Пешков путешествовал по Грузии и по Черноморскому побережью, а также работал на строительстве Сухумо-Новороссийского шоссе.

Первый отзыв о «Калинине» был дан в печати несколько раньше публикации произведения: «В январской книжке „Современник“ появится новый очерк М. Горького „Калинин“. Это всё тот же тип человека, не мирящегося с рамками обыденной жизни и потому бродящего по России» («Московская газета», 1913, № 233, 21 января).

Характерно, что и в последующих отзывах образ Калинина рассматривался как положительный, сугубо традиционный для творчества Горького; критическое отношение художника к босячко-сектантскому анархизму, наметившееся уже в ранних рассказах о «босяках», не было раскрыто рецензентами. Так, Е. Скиф (В. А. Егоров) писал: «„Калинин“ Максима Горького, это — перепев, вариация его старых героев <...> Если что неподражаемо хорошо в этом рассказе, то это тщательно и художественно выписанная картина дождя. Этот дождь Горького найдет себе соперника только разве в дожде Тургенева („Свидание“ — Записки охотника)» (Е. С к и ф. Эскурсы в литературу. Новые герон. — «Живое слово», 1913, № 11, стр. 9—10).

А. А. Измайлов считал рассказ вершиной художественного творчества Горького, но Калинина рассматривал как образ дорогого Горькому босяка. «В последней книжке „Современника“ Горький напечатал очень красивый рассказ „Калинин“, — писал Измайлов. — Чеховское построение, мягкое, ласковое, веет над ним. В нем нет чеховского уныния, паборот, он весь светел,

полон веры, исполнен примирения и звучит бодро». В Калинине критик усматривал носителя своеобразной «лирической тоски», в которой Горький, по мнению критика, «очень метко и красиво, зарисовал типично русское простецкое настроение, и зарисовал любовно и нежно, как оно того заслуживало <...> Чеховский лаконизм, его прекрасная художественная сжатость, к сожалению, не унаследованы Горьким, но серьезный, благородный и гуманный рассказ его о Калинине — чистый продукт чеховской школы» (А. А. И з м а й л о в. Одна из драм бродячей Руси.— «Новое слово», 1913, № 3, стр. 113—116).

Стр. 327. ...я увидел его в церкви Ново-Афонского монастыря...— Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь имел странноприимную и гостиницы для богомольцев (см. «Православные монастыри Российской империи». Составил Л. И. Денисов. М., 1908, стр. 367—369).

Стр. 330. «Выхожу один я на дорогу»...— Стихотворение М. Ю. Лермонтова. Переключивалось на музыку композиторами: П. П. Булаховым (1854), Ю. Л. Вейнбергом (1911), К. Ю. Давыдовым (1878) и др. («Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года)». Составитель Г. К. Иванов. Вып. 1. М., 1966, стр. 182). Наиболее широкое распространение получила музыка Е. С. Шапиной (1861).

Стр. 331. *Афония* (αφῆνια — греч.) — отсутствие звука, потеря голоса.

Стр. 331. ...Симон Канонит...— Симон Кананит, по преданию, один из 12 учеников Христа (Евангелие от Матфея, гл. 10), проповедовавший христианство в Абхазии (А. Г. Сказание о святом апостоле Симоне Кананите — он же Зилот, — об основании Ново-Афонской Симоно-Кананитской обители в Абхазии... изд. 5. Одесса, 1896, стр. 6).

Стр. 331. «О, если б в единое слово-о...» — Стихотворение Г. Гейне из 3-й части цикла «Книга песен». Неоднократно переводилось на русский язык различными поэтами и переводчиками (см.: Г е н р и х Г е й н е. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. М., 1958, стр. 241—242). Вариант, данный Горьким, не совпадает с вышеуказанными переводами. Наиболее известен перевод А. А. Мей: «Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль...», который лег в основу романа П. И. Чайковского.

Стр. 334. *А — торгоши во храме?* — Имеется в виду свангельский эпизод: изгнание Иисусом торгошай из храма (Евангелие от Иоанна, гл. 2, стихи 13—16).

Стр. 335. *Когда сыне божий Иисус Христос ушел в пустыню...*— Рассказ Калинина является христианским апокрифом, т. е. легендой о Христе и других персонажах Евангелия, не вошедшей в Евангелие. Сюжетная основа данного апокрифа (уход Иисуса в пустыню и искушения, которым подверг его дьявол) содержится в Евангелии от Матфея, гл. 4, стихи 1—11.

Стр. 339. *Возлюби ближнего твоего, яко собака палку...*— Пародирование одной из христианских заповедей — «Возлюби

ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея, гл. 22, стих 39).

Стр. 340. *Спрятался месяц за тучку...*— Популярная песня, входила в репертуар цыганских хоров (см. «Спрятался месяц за тучку», с цыганского. М., 1879, серия «Любимые песни московских цыган»).

Стр. 342. *Не для меня придет весна...*— Популярный в конце прошлого века вальс («Грамофонное либретто опер, опереток, романсов, песен, хоров и куплетов». СПб., 1901, стр. 151).

Стр. 344. *...один исход из мук наших египетских...*— Художественный образ, заимствованный из библейской легенды о пребывании еврейского народа в Египте (Библия, Исход).

Стр. 345. *Святогор-богатырь* — герой русского былинного эпоса, один из «старших» богатырей. Обладал непомерной силой, но, пытаясь поднять сумочку с тягой земной, ушел по колену в землю («Песни», собранные П. Н. Рыбниковым, ч. I. М., 1861, стр. 32—33, № 7).

Стр. 347. *...при чугуевском лагере.*— Чугуев — город в Харьковской губернии; приписанный при Аракчееве к ведомству военных поселений, оставался и впоследствии средоточием военных сил.

Стр. 348. *«Отойди ото зла и тем сотворишь благо»...*— См. примечание к стр. 320.

Стр. 349. *...с Юрием да Николою ходил по земле русской...*— Имеется в виду одна из многочисленных сказок, использующих библейские мотивы. В юные годы Алеша Пешков слышал их от бабушки (см. повесть «Детство», гл. 7).

ЕДУТ...

(Стр. 352)

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1913, № 162, 14 июля. Перепечатывалось под заглавием «По душе» в журнале «Просвещение», 1913, № 11, стр. 3—6.

Изображенный в этом произведении эпизод относится, очевидно, ко времени возвращения будущего писателя с Кавказа в Нижний Новгород (осень 1892 г.). Первоначально эпизод входил в рассказ «В ущелье» (см. выше примечания к рассказу «В ущелье»).

Стр. 352. *...мощный ветер из Хивы...*— Хива — древний город на левобережье Аму-Дарьи (теперь — центр Хивинского р-на Хорезмской обл. Узбекской ССР), отделенный от Каспийского моря песчаной пустыней Каракумы.

Стр. 352. *...от реки Сефид-руда...*— Сефид-руд (Белая река), впадает в Каспийское море.

Стр. 354. *Уже миновали Уч-косу с Чечень-остров...* — Расположены у западного побережья Каспийского моря, недалеко от устья реки Терек.

Стр. 354. *Табаристан* — средневековое название провинции Ирана (Персии), лежащей на южном побережье Каспия. Известно о нескольких походах русских отрядов в Табаристан в IX—X веках (см.: Б. Дорн. Каспий. О походах древних русских в Табаристан.— Приложения к XXVI тому Записок императорской Академии наук. СПб., 1875, стр. 28). В 1668—1669 годах поход в Табаристан предпринял Степан Разин.

Стр. 354. *Малези* (диалектизм) — пятна на теле.

ПОКОЙНИК

(Стр. 357)

Впервые, под заглавием «По Руси (Из впечатлений „проходящего“», напечатано в журнале «Вестник Европы», 1913, кн. 2, стр. 6—18. Новое название произведению было дано автором при подготовке его для ЖЗ. Действие можно отнести к августу 1891 г., когда будущий писатель, пройдя «Дикое поле», речку Чапгул, направился вдоль реки Сагайдак в Николаевский уезд Херсонской губернии (см.: *Г Чтения*, 1966, стр. 385).

Произведение написано в 1912 г., не позднее 31 августа (13 сентября); вместе с «Ледоходом» и «Женщиной» послано в редакцию «Вестника Европы» и одновременно в Берлин—в издательство Ладыжникова (см. примечания к рассказу «Ледоход»).

После появления рассказа в печати И. А. Бунин, обычно сдержанный и скупой на похвалы, 2 (15) июля 1913 г. писал автору: «Перечитал „По Руси“, о чтении над покойником. Ах, хорошо! Крупный конь и поэт шагает!» (*Г Чтения*, 1961, стр. 74).

Представители либерально-буржуазной литературной критики пытались истолковать это произведение как проявление якобы новой идейной позиции Горького — позиции примирения и всепрощения (рецензии Гаррис в газете «Утро России», 1913, № 69, 23 марта; И. Н. Игнатова в «Русских ведомостях», 1913, № 38, 15 февраля). «Идиллические, примирительные тона», — писал А. А. Измайлов, — обвеяли картинку Горького. Здесь нет никакого обычного его протеста. И смерть, и человеческое зложелательство, и горе старого пьянчужки он принимает с кротостью, умягченный и растроганный вечною и не омрачающею красотой солнца и синего неба...» (А. А. Измайлов. *Идиллия бродячей Руси*. — «Новое слово», 1913, № 4, стр. 124).

Стр. 357. ...точно жезл Моисея... — По библейской легенде, пророк Моисей прикоснулся жезлом своим к скале, и из нее пошла вода, утолившая мучительную жажду идущего с ним народа (Библия, Исход, гл. 17, стихи 5—6).

Стр. 359. *Сагайдак* — приток реки Ингул; протекает северо-восточнее г. Николаева (б. Херсонская губ.).

Стр. 359. *Московский табак?* — *Роменский, Рыморенка*. — В Роменском уезде Полтавской губ. в 80—90-е годы XIX века табаководство являлось развитой областью хозяйства. В 80-х —

начале 90-х годов «в г. Ромнах <работала> одна табачная махорочная фабрика братьев Рыморенко» («Адрес-календарь и справочная книга Полтавской губернии на 1890 г.». Полтава, 1890, стр. 130). В 1894 г. была открыта вторая табачная фабрика.

Стр. 362. ...они — свое, а мы — свое... — Одна из любимых формул Горького. В письме к революционеру С. В. Малышеву он писал: «...духа бодрого Вы не теряете, а это — главное. „Они — свое, а мы — свое“, — вот хороший лозунг для упрямых людей» (Г-90, т. 29, стр. 329).

Стр. 363. «Не рыдай мене, мати, зряща во гробе, восстану бо...» — «Октоих...», ч. II, л. 147.

Стр. 364. «Прости вся, елико ти согреших...»; «...вольная моя грехи ѿ нагстава и уныния...» — 3-я молитва на сон грядущим (Следованная псалтирь. М., 1771, л. 497).

Стр. 365. Красивые песнопения Макария Великого, Златоуста, Дамаскина... — Макарий Великий (301—391), Иоанн Златоуст (347—407), Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 754) — богословы, авторы нравоучительных бесед, изречений, проповедей, песнопений, вошедших в церковные богослужения.

Стр. 365. «Аще обрящеши ѿ отнюдь не спят». — Шестое правило для «отходящих на одр сна» (Следованная псалтирь, л. 501 и об.).

Стр. 365. «Душу мою ѿ воздвигни». — Кондак (краткая песнь) о Расслабленном («Цветная триодь», 1762, л. 94 об.).

Стр. 367. «Попраша мя врази мои...» — Псалтирь, псалом 55, стих 3.

Стр. 367. *Октоих, или Осьмогласник* — богослужебная книга православной церкви.

Стр. 368. ...удалился он «от горькия работы фараони»... — По библейской легенде, фараон делал жизнь израильтян «горькою от тяжкой работы...» (Библия, Исход, гл. 1, стих 14).

Стр. 368. *Кому повем печаль мою?..* — Ср. духовные стихи из «Плача Иосифа»: «Кому повем печаль мою, кого призову ко рыданию?» («Сборник русских духовных стихов», составленный В. Варенцовым. СПб., 1860, стр. 136).

Стр. 371. «Неприступный естеством...» — Вероятно, стихотворное переложение церковного песнопения (Миней служебная, сентябрь. М., 1799, л. 175).

ЕРАЛАШ

(Стр. 372)

Впервые, с подзаголовком «Из „Воспоминаний“», напечатано в газете «Русское слово», 1916, № 298, 25 декабря. В 1918 г. этим произведением автор открыл сборник «Ералаш и другие рассказы».

24 марта 1919 г. Горький читал рассказ в театре «Гротеск» на вечере «Союза деятелей художественной литературы» («Жизнь искусства», 1919, № 105, 27 марта).

Стр. 372. *Студенец* — река в Буинском уезде Симбирской губернии, приток Свияги. Для Буинского уезда характерно смешанное население — русские, татары, мордва, чуваш.

Стр. 372. ...из древнего монастыря... — Вероятно, имеется в виду Жадовская Казанско-Богородицкая мужская пустынь (Карсунский уезд Симбирской губ.), где находилась Казанская икона богородицы. Пустынь основана в XVII веке. С 1848 г. икона ежегодно около 15 мая торжественно выносилась из пустыни в город Симбирск на один месяц (см.: «Православные монастыри Российской империи», стр. 765).

Стр. 373. ...в день зимнего Николы... — 6 декабря ст. ст.

Стр. 377. ...разноверие: татары, мордва, столоверы разные, штунда. — Татары исповедовали ислам. У мордвы официальной религией было христианство, но повсеместно бытовали остатки древних языческих верований. «Столоверы» — имеются в виду староверы (см. примечание к стр. 182). Штунда — секта, возникшая в середине XIX века в немецких колониях в России.

Стр. 378. *О всепетая мати...* — Обращение к «богородице» — традиционная формула духовных стихов (ср. стих «О страшном суде» в «Сборнике русских духовных стихов», составленном В. Варенцовым, стр. 162).

Стр. 380. *А кто вдовушку полюбит...* — Наиболее близкий вариант см. в сб.: «Великорусские народные песни», изданы А. И. Соболевским, т. IV. СПб., 1898, стр. 85, № 119.

ВЕЧЕР У ШАМОВА

(Стр. 385)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, № 244, 2 сентября, как первое произведение серии «Воспоминания».

Указание на то, что рассказчику 21 год и что полтора года тому назад он пытался покончить жизнь самоубийством, казалось бы, дает основание отнести действие рассказа к 1889 г. Однако в произведении говорится и о том, что автор живет в саду у «пьяного попа» и печатает в местной газете рассказы. Это уже относится к 1893—94 годам. Сам писатель позднее отмечал, что действие рассказа «Вечер у Шамова» «относится ко времени 93—4 года» (*Горький*, т. VIII, стр. 675).

С широкими кругами интеллигенции А. Пешков общался и в конце 80-х, и в начале 90-х годов.

В 80-е годы он был близок к народнической интеллигенции, но проявлял самобытность суждений. Описывая одно из собраний «радикалов» в связи с приездом в Нижний Новгород «нелегального народника», О. Волжанин вспоминал:

«Пешков тоже оказался здесь и слушал внимательно заезжего „нелегального“. А когда „нелегальный“ кончил и началась „дискуссия“, то Пешков, дождавшись своего черед, тоже заговорил,

и опять посыпались с его языка яркие, сочные мазки и краски. Он говорил как-то совсем не так, как все другие. Те заполняли свою речь сухими, отвлеченными рассуждениями, от которых клонило ко сну, а Пешков говорил живыми образами. В его разговоре, оснащенном крепкими, пахнувшими жизнью словечками и меткими характеристиками, всё жило, трепетало, дышало.

Не всем эта речь молодого человека как будто нравилась; „радикально“ настроенная публика находила ее отчасти даже сретической, но все, однако, его со вниманием слушали» (*Г и его время*, т. I, изд. 2, 1948, стр. 326—327).

Большой интерес к различным кругам интеллигенции, к идейным, научным, литературным спорам в ее среде проявлял А. Пешков и в последующие годы, когда возвратился в Нижний Новгород из странствий по Руси. С. И. Мицкевич, видный революционер, совершивший в конце 80-х — начале 90-х годов эволюцию от народничества к марксизму, вспоминал: «За этот период его жизни в Нижнем (1892—1893) я видел его, помнится, только один раз. Как-то, встретив Чекина, я спросил его об А. М. Он махнул рукой и сказал: „...отошел от нас А. М., знается теперь больше с культуртрегерами...“» (С. И. Мицкевич. Революционная Москва. 1888—1905. М., 1940, стр. 73). Но А. Пешков, скорее, изучал либеральную интеллигенцию, нежели искал у нее ответов на мучившие его вопросы. Уже в конце 80-х годов он весьма критически отзывался об этих кругах: «Пешков, — говорит в воспоминаниях Мицкевича, — давал реплики, из которых видно было, что он вполне разделяет отрицательное отношение Чекина к вновь объявившимся культуртрегерам. Реплики Пешкова были резки и характерны: они выражали пренебрежение к поустойчивости интеллигенции» (там же, стр. 71).

Всё это нашло отражение в рассказе «Вечер у Шамова». По сообщению Е. П. Пешковой, «„Вечер у Шамова“ можно рассматривать как „Вечер у Баршева“». С. С. Баршев — председатель Нижегородского общества взаимопомощи учителей и учительниц» (*Г и его время*, стр. 434). Об одном из вечеров 1893 г. в доме Баршева позднее вспоминал Мицкевич: «В этот приезд в Нижний я был на встрече Нового года на вечеринке в квартире либерального адвоката С. С. Баршева. На вечеринке присутствовало большое количество нижегородской интеллигенции и учащейся молодежи. Развернулись горячие бои между марксистами и народниками» (С. И. Мицкевич. Революционная Москва, стр. 153—154).

Стр. 385. ...пытался покончить с собою...— См. примечания к рассказу «Случай из жизни Макара» (наст. том, стр. 572).

Стр. 385. ...я живу в саду у пьяного попа...— В декабре 1893 г. Горький поселился на Полевой улице в доме священника Прилежаева, в бывшей бане (см.: А. В. Сигорский. По горьковским местам, изд. 2. Горький, 1953, стр. 91—92).

Стр. 386. Печатаю в плохонькой местной газете косноязычные рассказы...— В 1893—1894 гг. Горький систематически печатался в нижегородской газете «Волгарь» («Нищенка», «Сон Ко-

ли», «Убежал», «Пробуждение», «Исключительный факт», «Дед Архип и Ленька», «Горемыка Павел»). Вспоминая об этом, он писал 23 октября 1926 г. И. А. Груздеву: «В 93 г. я много печатал рассказов — плохих — в „Волгаре“, дряненькой газете, которую именовали „Волдырем“» (*Архив ГХГ*, стр. 365).

Стр. 387. *Вы читали «Скучную историю»?* — Повесть А. П. Чехова «Скучная история» появилась в журнале «Северный вестник», 1889, № 4, ноябрь.

Стр. 388. *Бурже Поль (1852—1935)* — французский писатель; особенную известность приобрел его роман «Ученик» (1889).

Стр. 388. *...вызваны «Смертью Ивана Ильича»...* — Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» вышла отдельным изданием в 1886 г. Литературные критики 80—90-х годов неоднократно сопоставляли ее со «Скучной историей». При этом одни из них рассматривали произведение Чехова как эпигонское (А р и с т а р х о в <Арс. Введенский>. Журнальные отголоски. — «Русские ведомости», 1889, № 335, 4 декабря), другие объясняли сходство героев Чехова и Толстого родственностью изображаемых социальных явлений (Д. Струни н. Выдающийся литературный тип. — «Русское богатство», 1890, № 4, стр. 106—125).

Стр. 388. *У Герцена мы тоже встречаем нечто очень близкое «арзамасскому ужасу» Толстого...* — Об «арзамасском ужасе» Толстого см. т. XI наст. изд., стр. 591—592.

А. И. Герцен 29 ноября 1844 г. писал о подобном душевном состоянии в своем дневнике: «Нет человека, который был бы менее меня подвержен всякого рода Grübeleien <раздумья, бесплодные мечтания — нем.>; но подчас душа вдруг стесняется каким-то ужасом, трепещет перед грозными возможностями, и за этими минутами следует печальная полоса, от которой долго не отделяешься, черные грезы с какой-то подробностью втекаются одна хуже другой» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. I. Genève, 1875, стр. 246).

Стр. 388. *Резиньяция* (от франц. *résignation*) — покорность судьбе.

Стр. 388. «*Припадок*» — рассказ А. П. Чехова; опубликован в литературно-художественном сборнике «Памяти В. М. Гаршина». СПб., 1889.

Стр. 388. *...«талантом человеческим со чутьем к боли»...* — Неточная цитата из рассказа «Припадок»: «...у него особый талант — человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч., т. 7. М., 1947, стр. 190).

Стр. 389. *Что ты сказала мне — я не расслышал...* — Стихотворение К. Фофанова «Тени и тайны» (Стихотворения Константина Фофанова. СПб., 1892, стр. 114).

Стр. 390. *...как Дон-Кихот рисунка Дорэ...* — Французский скульптор, график и гравер Гюстав Доре иллюстрировал «Дон-Кихота» Сервантеса в 1862—1863 гг. (гравюры на дереве).

Стр. 390. *Дутый герой, палач, выпоровший мужиков Александровки...* — Вероятно, намек на Н. М. Баранова (1837—1901), генерал-лейтенанта, с 1883 по 1897 г. — нижегородского губер-

натора. Проявил жестокость при подавлении крестьянских волнений. См. рассказ Горького «Экзекуция» (*Г-30*, т. 17, стр. 384).

Стр. 390. *Барбье* Анри Огюст (1805—1882) — французский поэт-романтик. В стихах, вошедших в 1831 г. в сборник «Ямбы», воспел героев революционных баррикад в Париже 1830 г. и заклеймил предательство и алчность буржуазии.

Стр. 390. ...*в семидесятом году*... — Во время франко-прусской войны 1870—1871 годов.

Стр. 391. «*Левиафан*» — сочинение английского философа-материалиста Томаса Гоббса (1588—1679), посвященное вопросам государственного и общественного устройства. Левиафан — библейское чудовище, которое символизирует у Гоббса государство.

Стр. 391. ...*увлекается фантазиями Радда-Бай и говорит непонятные мне речи об индусах*. — Радда Бай — псевдоним писательницы Е. П. Блаватской (1831—1891). Блаватская родилась в России, но в 1873 г., после десятилетних путешествий по Индии, Египту, Цейлону и Северной Америке, приняла американское подданство и поселилась в Нью-Йорке. Печталась на страницах «Русского вестника». В Америке основала в 1875 г. «теософическое общество», распространявшее мистицизм в его самых крайних формах. Сочинения Блаватской — «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина», «Из пещер и дебрей Индостана» и другие, в которых она рекламировала себя как «наследницу» древних индийских мудрецов и выступала против научного познания (см.: И. Н. Немаинов, М. А. Рожнова, В. Е. Романов. Когда духи показывают когти... М., Политиздат, 1969, стр. 143—168).

Стр. 392. «*Три смерти*» — лирическая драма А. Н. Майкова; написана в 1852 г. Герои поэмы — Люций, Лукан, Сенека.

ВЕЧЕР У ПАНАШКИНА

(Стр. 397)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, № 270, 28 сентября, как второе произведение серии «Воспоминания».

Стр. 397. ...*на балчуге* (или балчуге) — на рышке.

Стр. 397. ...*разумейте языцы и покоряйтесь*... — Молитва, входящая в повседневные церковные службы (Часослов. М., 1769, л. 110).

Стр. 397. «*Любовь и голод правят миром*» — строка из стихотворения Шиллера «Мировая мудрость» (1795).

Стр. 402. «*Новейший, самый полный песенник*». — В 70—80-х годах издавались песенники под названиями: «Новый полный песенник. Собрание лучших песен, русских, цыганских романсов...». М., 1874; «Полный русский песенник, содержащий в себе 700 ... песен и романсов». М., 1879, и другие.

Стр. 403. *Там, где море вечно плещет...*— Стихотворение А. С. Пушкина «Талисман» (1827). У Пушкина: «на пустынные скалы...» Неоднократно переключивалось на музыку. Наиболее известен романс Н. С. Тимова «Талисман» («Русская поэзия в отечественной музыке...», стр. 295). Стихотворение получило широкую известность как народная песня.

Стр. 404. *...бутылку кислых щей...*— Кислые щи — напиток типа кваса.

Стр. 405. *Американский ученый Фуко...*— Фуко Жан Бернар Леон (1819—1868) — французский физик; опытом с маятником доказал вращение земли вокруг своей оси («Маятник Фуко»).

Стр. 406. *...в Египте живут эфиопы...*— Эфиопы (абиссинцы) — жители Абиссинского нагорья. Племена Эфиопии исповедуют различные религии: христианство, ислам, иудаизм; широко распространен культ предков.

Стр. 406. *Египет действительно был, но разрушен Наполеоном.*— Так трансформируется реальное событие — поход Наполеона Бонапарта в Египет в 1798—1799 годах.

ВЕЧЕР У СУХОМЯТКИНА

(Стр. 409)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, № 293, 21 октября, как третье произведение серии «Воспоминания».

Стр. 409. *Просветитель наш, Кирилл-Мефодий!* — Кирилл (827—869) и Мефодий (ум. 883) — братья, выдающиеся славянские просветители, проповедники христианства. Кирилл — создатель одной из славянских азбук — кириллицы, — соответствующей звуковому составу старославянского языка. Кирилл и Мефодий, переводя богослужебные книги на язык славян, способствовали развитию просвещения. В России кириллица легла в основу алфавита русского языка.

Стр. 411. *Марфа Посадница* — Марфа Борецкая, жена новгородского посадника. В период объединения русских земель великим князем Иваном III (2-я половина XV в.) Марфа стояла во главе антимосковской боярской партии в Новгороде, ориентированной на союз с Литвой. Известна под именем Марфы Посадницы; отличалась большой энергией и умом.

Стр. 411. *Святы боже, святы крепки...*— Часослов. М., 1796, л. 3.

Стр. 412. *...отроки в пещи огненной...*— Согласно библейской легенде, трое еврейских отроков — Седрах, Мисах и Авданаго, отказавшиеся поклониться языческому идолу, были брошены вавилонским царем Навуходоносором в огненную печь; однако посланный богом ангел спас их от гибели (Библия, Книга пророка Даниила, гл. 3).

СВЕТЛО-СЕРОЕ С ГОЛУБЫМ

(Стр. 422)

Впервые напечатано в журнале «Летопись», 1915, декабрь, стр. 4—8, в серии из четырех произведений. Серия имела общий заголовок «Воспоминания». Кроме «Светло-серого с голубым», в нее входили: «Книга», «Как сложили песню» и «Птичий грех».

В произведении угадываются самарские впечатления Горького. В Самару он приехал в начале 1895 г. А. Треплев (А. А. Смирнов), тогда же познакомившийся с писателем и вместе с ним работавший в «Самарской газете», вспоминал: «...первая квартира Горького в Самаре состояла из одной комнаты „окнами во двор“» (сб.: «Максим Горький и Самара». Куйбышев, 1968, стр. 36).

Стр. 423. *Газетчик, писатель...* — С февраля 1895 г. по апрель 1896 г. Горький работал в «Самарской газете», где вел серии «Очерки и наброски», «Между прочим» (фельетоны), печатал литературно-критические статьи и рецензии; здесь же были опубликованы рассказы «Старуха Изергиль», «Два босяка», «На плотях», «Однажды осенью», «В Черноморье», «Вывод», «Дело с застужками» и другие. Свои фельетоны он подписывал псевдонимом Иегудиил Хламида.

КНИГА

(Стр. 427)

Впервые напечатано в журнале «Летопись», 1915, декабрь, стр. 8—17, как второе произведение серии «Воспоминания».

В рассказе отражены впечатления, связанные со службой Алексея Пепкова на Грязе-Царицынской железной дороге (осень 1888 г. — апрель 1889 г.).

Прототипами героев рассказа явились его сослуживцы по станции Крутая. В письме к И. А. Груздеву от 7 декабря 1926 г. Горький указал, что Колтунов — это «Ковшов, пом. нач. ст. „Крутая“» (*Архив ГХД*, стр. 98). О нем писатель подробно рассказал в очерке «Из прошлого» (см. *Г-30*, т. 17, стр. 97 и 110). Юдин из рассказа «Книга» — это друг будущего писателя Д. С. Юрин. «Телеграфист Юрин, — писал Груздев, — изображен в рассказе „Книга“ с фамилией Юдина. Когда я в беседе с Алексеем Максимовичем упомянул о различии этих фамилий, он несколько удивился и дважды в разговоре указал мне на то, что в рассказе, очевидно, опечатка и что нужно читать: Юрин. Но вернее, что в свое время, когда писался рассказ, он сам изменил фамилию, подобно тому как изменил в этом же рассказе фамилию Ковшова на Колтунова» (*Г и его время*, стр. 634). У сторожа Краморенко был прототип — сторож Черногоров. В очерке «Из прошлого» Горький писал: «Это с ним, с Черногоровым, произошел случай, описанный мною в рассказике „Книга“» (*Г-30*, т. 17, стр. 105).

Стр. 430. ...начали читать Спенсера...— В годы юности Горького среди русской интеллигенции, особенно либеральной и либерально-народнической, пользовались значительной популярностью сочинения Герберта Спенсера (1820—1903), английского философа, одного из родоначальников позитивизма. В 1866—1869 годах в России вышло собрание сочинений Спенсера в 7 томах.

Стр. 431. «Пан Твардовский» — литературная обработка польских народных легенд о «Колдуне» — пане Твардовском, осуществленная в 1839 г. польским писателем Ю. И. Крашевским. Вторая редакция этого произведения была переведена на русский язык: Ю. Крашевский. Пан Твардовский. Повесть, основанная на народных преданиях. СПб., 1884.

Стр. 431. ...из Тургайской области...— Область между южным Уралом и Аральским морем (теперь север Казахской ССР — часть Актюбинской и Кустанайской областей).

Стр. 433. ...уговаривал идти в колонию толстовцев.— В апреле 1889 г. А. Пешков, ища личной встречи с Л. Н. Толстым, отправился к нему со станции Крутая в Ясную Поляну, а оттуда в Москву. Не застав Толстого, он оставил ему письмо:

«Дело вот в чем: несколько человек, служащих на Г.-Ц. ж. д., — в том числе и пишущий к Вам, — увлеченные идеей самостоятельного личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством <...> И вот мы решились прибегнуть к Вашей помощи, у Вас много земли, к(ото)рая, говорят, не обрабатывается. Мы просим Вас дать нам кусок этой земли» (Г-30, т. 28, стр. 5). Мысль о «хлебопашестве» не оставляла Пешкова и по возвращении в Нижний Новгород. Он приехал туда с рекомендательным письмом писателя В. Я. Старостина-Маненкова к Н. Е. Каронину-Петропавловскому, надеясь получить поддержку со стороны последнего в устройстве земледельческой колонии. Но несколькими словами Каронин разрушил эту иллюзию (см. об этом в т. XI наст. изд., стр. 63—69). Позднее, в очерке «Время Короленко», Горький писал, что увлекался в 1888—1889 годах «толстовством», «видя в нем, однако, не что иное, как только возможность <...> временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое...» (Г-30, т. 15, стр. 9).

Стр. 433. Окрейц — С. С. Окрейц (псевдоним — С. Орлицкий), публицист, критик, писатель, автор романов «Во мраке» (СПб., 1881—1883), «Преступник» (СПб., 1888), «В Сибири. Уголовный роман» (1889) и др.

КАК СЛОЖИЛИ ПЕСНЮ

(Стр. 438)

Впервые напечатано в журнале «Летопись», 1915, декабрь, стр. 17—21, как третье произведение серии «Воспоминания».

В 1901 г. за революционные связи с сормовскими рабочими Горький был выслан под надзор полиции в Арзамас. Как явствует

из доклада нижегородского полицмейстера, писатель выехал на жительство в г. Арзамас 5 (18) мая 1902 г. и поселился там в доме Подсосова по Сальниковой улице (П. П л е т н е в. М. Горький в Арзамасе. Горький, 1933, стр. 44—45). В письмах к К. П. Пятницкому и А. П. Чехову он подробно описал этот захолустный в то время городок (Г-30, т. 28, стр. 242—246).

15 февраля 1929 г. Горький писал И. А. Груздеву: «...у меня есть рассказ „О том, как сложили песню“, это сделано с „натуры“ в Арзамасе, песню сложила прислуга соседа моего Хотьинцева, председ<ателя> Арз<амасской> земской управы, черносотенца и воспитателя Зверева, бывшего главноуправляющим по делам печати» (Архив ГХИ, стр. 191).

О том, как сложили песню, Горький до написания очерка рассказывал своим знакомым, Е. В. Шмидт вспоминала: «В 1903—1904 гг. <...>, на одной из вечеринок школы Художественного театра, Алексей Максимович много рассказывал нам о Волге, о босяках, о создании песни (по-видимому, позднее отражено в рассказе „Как сложили песню“)» (Архив А. М. Горького, МоГ-13-23-1).

В августе 1915 г. Горький прочел «Как сложили песню» на даче в Мустамяках. Рассказывая об этом чтении, гостивший в то время у писателя Дм. Семеновский писал:

«Слушая Алексея Максимовича, я вспомнил недавний разговор с ним о фольклоре.

Я сказал тогда, что книга, письменность вытесняют устное народное творчество — былину, песню.

Горький возразил:

— А стихи, напечатанные в книге, разве не народное творчество?

Он утверждал, что творчество народа продолжается непрерывно и никогда не иссякнет.

Рассказ о том, как две прислуги в наше время сложили песню, был для меня как бы художественным подтверждением мысли, высказанной Горьким в разговоре» (Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, изд. 2. Иваново, 1961, стр. 68).

Стр. 438. ...под зрелый звон колоколов монастыря... — На главной городской площади, неподалеку от дома, в котором поселился Горький, находился Арзамасский Николаевский женский монастырь.

ПТИЧИЙ ГРЕХ

(Стр. 442)

Впервые напечатано в журнале «Летопись», 1915, декабрь, стр. 21—25, как четвертое произведение серии «Воспоминания».

Стр. 442. *Пáморха* (северное, диалектное) — пасмурная погода.

ГРИВЕННИК

(Стр. 447)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, № 101, 10 апреля, под рубрикой «Воспоминания».

Действие рассказа относится к одному из периодов жизни будущего писателя в Нижнем Новгороде у В. С. Сергеева. Жил Алеша Пешков у него в доме с осени 1880 г. до весны 1881 г. (см. «В людях» — Г-30, т. 13, стр. 248—276), с осени 1881 до весны 1882 (там же, стр. 314—363) и с весны 1883 до конца лета 1884 г. (там же, стр. 441—510).

Стр. 450. ...*житие Варвары Великомученицы с это твоей мамаше ангел.* — По церковному преданию, святая великомученица Варвара жила в г. Илиополе (восточная часть Римской империи). Отрекшись от языческих богов и уверовав в Иисуса Христа, она приняла имя «Христовой невесты». Преследуемая отцом — язычником Диоскором и римским правителем Илиополя — Мартианом, подверглась жестоким пыткам и была казнена в 306 г.

По церковному обычаю, святой, имя которого давалось новорожденному, рассматривался как «ангел-хранитель» этого человека.

СЧАСТЬЕ

(Стр. 454)

Впервые, с подзаголовком «Из рассказов встречных людей», напечатано в газете «Волжско-Камский вестник», 1915, № 286, 25 декабря, а затем в газете «Борисоглебское эхо», 1915, № 103, 27 декабря.

ГЕРОЙ

(Стр. 458)

Впервые напечатано — без заглавия, в ряду отрывков из повести «В людях», — в газете «Русское слово», 1915, № 286, 13 декабря.

В архивных материалах нет каких-либо следов принадлежности данного эпизода к повести «В людях». Да и по времени действия он не может быть отнесен к повести (в «Герое» рассказчик уже является автором ряда напечатанных произведений). В первопечатном тексте рассказа «Герой» содержится фраза: «Года за три до этого я уже покушался на самоубийство, потом тяжело пережил яростный взрыв религиозного настроения, шлялся по монастырям, беседовал со схимниками, — не помогло...»

В очерке «Время Короленко» Горький вспоминает, что, уйдя со станции Крутая в 1889 г., он «гулял (<...> в Тамбовской

и Рязанской губерниях» (Г-30, т. 15, стр. 5). Через Тамбов он проходил в июне 1891 г. Таким образом, в рассказе нашли свое отражение наблюдения и обстоятельства жизни писателя, относящиеся к концу 80-х — началу 90-х годов. По всей вероятности, редакция газеты «Русское слово», где в конце 1915 г. печаталась серия отрывков из повести «В людях», по ошибке отнесла к ним также рассказ «Герой».

Рассказ написан в 1915 г., не позднее августа. В конце августа Горький читал его вслух, о чем вспоминал впоследствии Дм. Семеновский, гостивший в 1915 г. у Горького в Мустамьяках: «...Алексей Максимович сел к столу, перевел взгляд на рукопись и приступил к чтению: „...В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно <...>“. Горький читал просто, очень внятно и по-своему выразительно. Рассказ о неудачной попытке молодого романтика найти „человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги“, брал за сердце силой своих невольно запоминавшихся образов и своеобразным, несколько грустным юмором» (Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, стр. 67—68).

Стр. 459. *Самсон* — библейский герой, обладавший необыкновенной физической силой.

Стр. 460. *Корнет Отлетаев* — герой одноименной повести Г. В. Кугушева (ум. 1871), прочитанной Алешей Пешковым в детстве (см.: Г-30, т. 13, стр. 378).

Стр. 461. *В небесах торжественно и чудно...* — Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841). Стихотворение неоднократно перекладывалось на музыку (см. в наст. томе примечания к рассказу «Калинин»).

КЛОУН

(Стр. 464)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1917, № 33, 2 февраля.

Работая у двоюродного дяди В. С. Сергеева десятником строительных работ на Нижегородской ярмарке в 1883 г., А. Пешков часто бывал в ярмарочном театре и цирке. О своем увлечении цирком он рассказывал в очерках «В театре и цирке» и «Театральное» (Г-30, т. 14, стр. 138—142 и 180—186). Увлечение цирком продолжалось и позднее — в 1884 и 1896 годах. Вспоминая об этом, Горький писал 13 сентября 1926 г. И. А. Груздеву: «С цирковыми артистами познакомился в Казани же через конюхов, которым помогал чистить конюшни. Затем — в Нижнем, на ярмарке. С Акимом Никитиным был в дружбе, обожал клоунов бр(атьев) Джеретти, наездника Нони Бедипи и вообще — итальянцев» (Архив ГХИ, стр. 80). Частично текст очерка «В театре и цирке» использован в данном рассказе.

ЗРИТЕЛИ

(Стр. 470)

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь», 1917, № 160, 22 октября, и № 162, 25 октября.

Действие относится к нижегородскому периоду жизни будущего писателя, скорее всего к 1889 г.

Стр. 471. ...*дурачок Игоша Смерть в Кармане...*— См. «Детство» (Г-30, т. 13, стр. 90—91), «Беседы о ремесле» (Г-30, т. 25, стр. 294—295).

Стр. 474. *В семьдесят семом году...*— Ср.: А. Листопалов. Песни донских казаков, т. II, 1950, стр. 194—199.

Стр. 476. *Бутарь* — будочник, т. е. полицейский низшего чина, дежуривший у будки и следивший за порядком на улице.

Стр. 479. *Вонифантий*.— По преданию, Вонифатий жил в Риме и предавался разврату, но, желая искупить свои грехи, отправился в г. Тарс за мощами христианских мучеников. Увидя их мучения и стойкость, громогласно объявил себя христианином, за что был казнен в 290 г. По легенде, после «усечения головы» он ласковым взглядом приветствовал тех, кто пришел за его телом. День святого Вонифатия — 19 декабря ст. ст. («Жития святых, изложенные по руководству Четых-Миней св. Димитрия Ростовского», кн. IV. М., 1903, стр. 505—514).

Стр. 480. *Как турки Царь-град забрали...*— В 1453 г. Константинополь был взят турками; так кончилось существование Византийской империи.

Стр. 481. ...*еще есть житие Кирика-Улиты...*— Согласно церковной легенде, некая христианка Иулитта (Улита) бежала из родного города с трехлетним сыном Кириком, опасаясь преследования со стороны паместников императора Диоклетиана — гонителя христианства. В городе Тарсе она была опознана и подверглась пыткам; на ее глазах был убит Кирик, после чего ее казнили («Жития святых...», кн. XI. М., 1910, стр. 359—363).

ТИМКА

(Стр. 482)

Впервые, под заглавием «Случай», напечатано в газете «Русское слово», 1917, № 105, 11 мая. Название «Тимка» дано автором при подготовке произведения для сборника «Ералаш и другие рассказы».

Стр. 484. *Некрасива я, бедна...*— Ср. стихотворение И. З. Сурикова «Сиротой я росла» (Суриков, 1875, стр. 63—64), которое в качестве песни приобрело большую известность в дореволюционное время. У Сурикова: «Ох, бедна я, бедна, / Плохо я одета — / Никто замуж меня / И не взял за это!»

Стр. 489. ...много «песенников» — листовок... — Во второй половине XIX века выходили многочисленные песенники-листовки, распространяемые среди фабрично-заводского населения и крестьянства. В них преобладали «жестокие романсы». В 90-е годы листовки-песенники издавал И. Д. Сытин.

Стр. 489. *Куплю на копейку я спичек...* — См. песню «Любила меня моя мать, обожала»: «Десяток коробочек спичек / Я в теплой воде разведу» (Сборник новейших русских песен «Бродяга». М., 1909, стр. 92).

Стр. 491. *Тумбукту* — Тимбукту, город в Африке, на территории бывшей французской колонии Сенегал (ныне — государство Мали).

Стр. 495. *Ефрем-от Сириин до Златоуста жил али после?* — Христианский проповедник Ефрем Сириин родился в Сирии в самом начале IV века. Проповедник Иоанн Златоуст, объявленный церковниками святым, жил в 347—407 годах.

Стр. 500. *О господи, вскую оставил нас еси?* — Псалтырь, псалом 21, стих 1.

ЛЕГКИЙ ЧЕЛОВЕК

(Стр. 501)

Впервые, с подзаголовком «Воспоминания», напечатано в журнале «Летопись», 1917, № 5-6, май-июнь, стр. 9—24.

В основе произведения лежат впечатления казанского периода жизни А. Пешкова (1884—1888). Возможно, что прототипом героя в какой-то мере является Гурий Плетнев, корректор «Волжского вестника», с которым будущий писатель жил в «Марусовке» (см. «Мои университеты» — *Г-30*, т. 13, стр. 520—522).

По свидетельству самого автора, первоначально этот набросок был связан с продолжением повести «Мать». 10 апреля 1933 г. Горький писал А. В. Десницкому: «Предполагалось после „Матери“ написать „Сын“ <...>. „Лето“, „Мордовка“, „Романтик“, „Сашка“ — можно считать набросками к „Сыну“...» (*Г-30*, т. 30, стр. 298). Упоминаемый здесь «Сашка» и есть «Легкий человек». После первой его публикации Горький правил текст для сборника «Ералаш». Правка носила в основном стилистический характер (см. варианты).

Стр. 502. *Лотарь* — История знает несколько Лотарей. Из них наиболее известны: Лотарь I (795—855) — римский император; Лотарь III (941—986) — король Франции; Лотарь II (1060—1137) — германский император.

Стр. 502. ...*фельетонист*, — *Красное Домино*... — Под этим псевдонимом в «Волжском вестнике» появлялись сатирические фельетоны, в которых осмеивались нравы казанского общества (см., например, «Волжский вестник», 1884, № 133, 11 ноября, и № 161, 25 декабря).

Стр. 503. *По небу полуночи ангел летел...* — Строка из стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831).

Стр. 513. «Уриель Акоста» (1847) — пьеса немецкого писателя Карла Гуцкова. Герой драмы — историческая личность, вольнодумец XVI века, жертва фанатизма раввинов.

СТРАСТИ-МОРДАСТИ

(Стр. 517)

Впервые напечатано, с цензурными изъятиями, в журнале «Летопись», 1917, № 1, стр. 12—28.

Произведение автобиографично. Повествователю 21 год, и он торгует баварским квасом. В 1889 г., живя в Нижнем Новгороде, А. Пешков работал на пивном складе и развозил баварский квас по лавкам, квартирам, торговал на рынках и площадях. В замечаниях к статье Н. Я. Быковского «Булочник Алексей Максимович Пешков и казанская революционная молодежь конца 80-х годов» Горький уточнил время своей работы на складе: «Это было до поступления к Ланину» («Былое», 1925, № 4, стр. 221). На службу к адвокату А. И. Ланину он поступил в октябре 1889 г.

Время написания рассказа «Страсти-мордасти» указано самим автором. К воспоминаниям А. Демидова «Из встреч с Максимом Горьким» Горький сделал следующее примечание: «„Страсти-мордасти“ написаны были еще на Капри в 13 году» (Архив А. М. Горького, МоГ-4-5-1, стр. 9).

В первой публикации произведения цензор сделал следующие вычерки (изъятые набрано курсивом):

Стр. 526, строки 29—30: *на монаха похожий;*

Стр. 526, строка 33: *ввалился однава к нам монашище;*

Стр. 526, строки 37—38: *распахнул рясу-то...*

Стр. 530, строка 19: *бога делают где — в богадельне?*

Стр. 530, строки 24—25: *Да, чай, бога-то — богомазы... ой, смехота моя, чудашка...*

Стр. 531, строка 28: *да охальники солдаты.*

При подготовке текста для сборника «Ералаш и другие рассказы» автор восстановил эти цензурские изъятия.

Горький считал рассказ «Страсти-мордасти» своей творческой удачей (см.: А. Мейн <А. И. Цветаева>). Из книги о Горьком. — «Новый мир», 1930, № 8-9, стр. 108).

Как свидетельствовала Н. К. Крупская, рассказ «Страсти-мордасти» принадлежал к числу произведений Горького, которые любил В. И. Ленин. В статье «Ленин и Горький» Н. К. Крупская писала: «Владимир Ильич очень ценил Алексея Максимовича Горького как писателя. Особенно нравились ему „Мать“, статьи в „Новой жизни“ о мещанстве, — сам Владимир Ильич ненавидел всякое мещанство, — нравилось „На дне“, нравились песни о Соколе и Буревестнике, их настрой, любил он такие вещи Горького, как „Страсти-мордасти“, как „Двадцать

шесть и одна» («Комсомольская правда», 1932, № 222, 25 сентября. См. также: В. И. Ленин о литературе и искусстве. Изд. 3, доп. М., 1967, стр. 633).

Рассказ «Страсти-мордасти» неоднократно инсценировался. Об инсценировке его в Студии им. М. Горького при МХАТ вспоминала В. Е. Беклемишева:

«„Страсти-мордасти“ — один из лучших рассказов Горького. Я с большим удовольствием присутствовала на репетициях и с нетерпением ждала спектакля <...> Я попала на спектакль, на котором присутствовал Алексей Максимович. Из трех рассказов¹ наиболее сценичным оказался рассказ „Страсти-мордасти“. В нем тоже, конечно, не было подлинного драматургического действия, но он был так насыщен психологически, что вы забывали обо всем и следили только за душевными переживаниями трех действующих лиц.

Алексей Максимович в середине спектакля неожиданно поднялся и вышел из зрительного зала. Я подумала, что ему сделалось плохо, и спросила сидевшую рядом Н. Лазареву:

— Что с ним?.. Может быть, ему дурно?

— Он и на предыдущем спектакле не мог удержаться от слез и тоже вышел, — ответила она мне.

Потом в фойе, когда мы разговаривали, Горький сказал:

— Не могу спокойно смотреть, всё так ярко, как будто происходило только вчера» (В. Е. Б е к л е м и ш е в а. Литературные встречи. А. М. Горький (1902—1928). — Архив А. М. Горького, МоГ-1-16-1, стр. 8—9).

Стр. 518. *Как по-о мор-рю...* — См. народную песню: «Ах по морю, ах по морю, / Ах по морю, морю синему, / По синему, по Хвалынскому, / Плыла лебедь...» («Чудный месяц». Новейший песенник. Изд. Е. И. Кополовой. М., 1895).

НА ЧАНГУЛЕ

(Стр. 534)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1915, № 343, 11 декабря, и № 345, 13 декабря.

Горький локализует действие рассказа районом реки Чангул, протекающей по территории бывшей Таврической губернии. Советский исследователь творчества Горького Г. Богач, пешком пройдя вдоль реки Чангул, не обнаружил в этих местах никаких остатков валашских селений. Но, исследуя территорию «Дикого поля» — придонских степей, входивших в бывшую Екатеринославскую губ. (теперь Ворошиловградская обл.), нашел следы

¹ Еще инсценировались «Челкаш» и «Товарищ».

валашских поселений на безымянной речке близ села Троицкого Попаснянского района Ворошиловградской области (см.: Г. Б о г а ч. Горький и молдавский фольклор. Кишинев, 1966, стр. 19—21). В этом районе А. Пешков находился летом 1891 г. во время странствия по Руси (см.: Г Чтения, 1966, стр. 384—385).

Стр. 534. ...люди зовут «Дикое поле», ученые — «Малая Тартария». — Старое название территории придонских степей между владениями Русского государства и Крымского ханства. Освоена русскими в XVI—XVII веках.

Стр. 535. ...лениво течет речка Чангул... — Река Чингул (в XIX в. — Чангул) — приток реки Молочной, впадающей в Азовское море.

Стр. 538. Царан — крестьянин («цэран» — молд.).

Стр. 539 и 546, 548. Оз, Мара ∞ Ой, Мара! — свободная, творческая обработка Горьким мотивов молдавского фольклора (Г. Б о г а ч. Указ. соч., стр. 23—48).

ВЕСЕЛЬЧАК

(Стр. 550)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, № 52, 21 февраля.

Произведение автобиографично. В его основе — впечатления будущего писателя, связанные с пребыванием в 1888 г. на Каспийских рыбных промыслах.

В конце сентября 1888 г. или несколько раньше А. Пешков выехал из села Красновидово (см.: Революционный путь Горького. По материалам департамента полиции. М., 1933, стр. 21, и Н. Т р а в у ш к и н. Горький у Каспия. Астрахань, 1963, стр. 22). Вместе с сергачским крестьянином Баринным он отправился вниз по Волге к Каспийскому морю. Там они «пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай» (Г-30; т. 13, стр. 638). Спускались и к юго-западу дельты Волги, где ловили рыбу «около Бирючьей косы» (Г-30, т. 30, стр. 67), находящейся примерно в 100 км от Кабанкул-бая. Попытались пробраться в Персию. В конце октября — начале ноября 1888 г., поссорившись, разошлись. Вспомнивая об этом, Горький писал 13 сентября 1926 г. Груздеву: «В Моздок я ушел потому, что мне надоел Бариннов (см. рас(сказ) „Весельчак“)» (Архив ГХИ, стр. 80).

В середине 1920-х годов, в связи с приближавшимся юбилеем писателя, в печати всё чаще появлялись воспоминания современников о встречах с ним. Были опубликованы и воспоминания некоего В. Ф. Баландина в записи фольклориста Н. М. Хадзинского (см.: Г и его время, стр. 176—180, 626—627). Опровергая достоверность этих воспоминаний, Горький писал 26 февраля

1927 г.: «Рассказы Баладина о многообразии моих „специальностей“ позволяют мне думать, что Баладин встречал некоего Баринова, крестьянина Сергачского уезда Нижегородской губ. <...> О Баринове я писал в книге „Мои университеты“, в рассказе „Весельчак“» (Г-30, т. 30, стр. 10).

Странствия с Бариновым по каспийским рыбным промыслам послужили Горькому материалом для рассказа «У моря», написанного в начале 1890-х годов. 17 октября 1894 г. писатель сообщал В. Г. Короленко: «Я послал в редакцию „Русского б<огатства“ рассказ „У моря“. Если вы найдете свободное время, — пожалуйста, посмотрите» (Г и Короленко, стр. 26). Но рассказ был отвергнут редакцией. Н. К. Михайловский не принял его, о чем Короленко сообщил Горькому в письме от 23 апреля 1895 г. Впоследствии, отвечая на запрос Груздева, Горький писал ему 10 апреля 1933 г.:

«Рассказ „У моря“ — занимал, вероятно, листа два <...> В 15 г. или 16? я нашел несколько черновых страничек этого рассказа, из них получился „Весельчак“. Барипов — один из „действующих лиц“ рассказа. В нем я изобразил изумительно противную семью ловцов Кадочкиных, крестьян Сергачского уезда, Нижегород<ской> губ<ернии>. Во главе семьи — хромой старик 83 лет, ханжа и деспот; он гордился тем, что: „мы, Кадочкины, ловцы здесь от годов матушки царицы Елисаветы“. Он уже лет 10 не работал, но ежегодно „спускался“ на Каспий, с ним — четверо сыновей, все — великаны, силачи и до идиотизма запуганы отцом; три снохи, дочь — вдова с откушенным кончиком языка и мятой, почти непопной речью, двое внучат и внучка лет 20-ти, полудиотка, совершенно лишенная чувства стыда. Старик „спускался“ потому, что „Исус Христос со апостолами у моря жил“, а теперь „вера пошатнулась“ и живут у морей „черномазые персюки, калмыки да проклятые махмутки — чечня“. Инородцев он ненавидел, всегда плевал вслед им, и вся его семья не допускала инородцев в свою артель. Меня старичок тоже возненавидел зверски. Он был сектант, вроде „пашковца“, по воскресеньям заставлял всех своих петь какую-нибудь унылую дичь. На «заводе» у него были поклонники — человек 20. Баринов, лентяй, любитель дарового хлеба, — тоже „примостился“ к нему, но скоро был „разоблачен“ и позорно изгнал прочь.

О старике можно бы много сказать. Я так хорошо помню его, что мог бы сейчас написать рассказ о нем и его семье. Старший сын — точная копия отца, даже говорил гусаво, параспев и бородищу гладил двумя пальцами, как отец. А один из сыновей — иезуит, шпион, доносчик. Бабы — снохи — все красавицы, все суровые, „замоленные“ до отупения. Казалось мне, что каждый из этой семьи боится другого, точно каждый совершил преступление, и что если б не общий всем страх пред стариком — они брызнули бы во все стороны так далеко друг от друга, чтоб никогда уже не встретиться» (Архив ГХГ, стр. 315—316).

Стр. 550. ...сергачский человек — крестьянин Сергачского уезда. Из уездов Нижегородской губернии Сергачский

отличался слабым местным промыслом и широким развитием отхожего промысла в летний период («Кустарные промыслы Нижегородской губернии». Составлено М. А. Плотниковым. Н.-Новгород, 1894, стр. 19, 32).

Стр. 551. *Томаш* (tomaşa — перс.) — суета, суматоха, свалка.

Стр. 555. *Таснйф* (tasnif или tesnif — араб.) — сочинение, литературное произведение, в персидском языке также — романс.

Стр. 555. *Фарсистан* — Персия, от слова «фарси», в русской огласовке «парс», «персы».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

| | |
|--|------------|
| А. М. Горький. Капри, 1913 г. | 4 |
| «Хозяин». Страница печатного текста с правкой М. Горького | 95 |
| «Случай из жизни Макара». Страница печатного текста с правкой М. Горького | 109 |
| «Ледоход». Первая страница рассказа с авторским за- головком | 157 |
| «Каливин». Страница печатного текста с правкой М. Горького | 333 |
| «Едут». Страница автографа | 353 |
| «Вечер у Панашкина». Страница печатного текста с поправками автора | 401 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | Текст | Примечания |
|---|-------|------------|
| Хозяин. <i>Страница автобиографии</i> | 5 | 564 |
| Случай из жизни Макара | 106 | 572 |
| По Руси | 141 | 578 |
| Рождение человека | 143 | 588 |
| Ледоход | 154 | 592 |
| Губин | 179 | 593 |
| Нилушка | 203 | 595 |
| Кладбище | 228 | 599 |
| На пароходе | 244 | 601 |
| Женщина | 265 | 602 |
| В ущелье | 295 | 605 |
| Калинин | 326 | 607 |
| Едут | 352 | 609 |
| Покойник | 357 | 610 |
| Ералаш | 372 | 611 |
| Вечер у Шамова | 385 | 612 |
| Вечер у Панапкина | 397 | 615 |
| Вечер у Сухомяткина | 409 | 616 |
| Светло-серое с голубым | 422 | 617 |
| Книга | 427 | 617 |
| Как сложили песню | 438 | 618 |
| Птичий грех | 442 | 619 |
| Гривенник | 447 | 620 |
| Счастье | 454 | 620 |

| | Текст | Примечания |
|---------------------------------|----------------|------------|
| Герой | 458 | 620 |
| Клоун | 464 | 621 |
| Зрители | 470 | 622 |
| Тимка | 482 | 622 |
| Легкий человек | 501 | 623 |
| «Страсти-мордасти» | 517 | 624 |
| На Чангуле | 534 | 625 |
| Весельчак | 550 | 626 |
| ПРИМЕЧАНИЯ | 559—628 | |
| Условные сокращения | 561 | |
| Вступительная заметка | 563 | |
| Список иллюстраций | 629 | |

*Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР*

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, **В. А. БЯЛИК**, **С. С. ЗИМИНА**,
Г. М. МАРКОВ, **А. И. МЕТЧЕНКО**, **А. С. МЯСНИКОВ**,
В. С. НЕЧАЕВА, **В. В. НОВИКОВ**,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, **Б. Л. СУЧКОВ**, **Е. Б. ТАГЕР**,
К. А. ФЕДИН, **М. В. ХРАПЧЕНКО**, **В. Р. ЩЕРБИНА**

Тексты подготовили и комментарии составили

Т. Б. Дмитриева и Е. А. Тенишева

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор четырнадцатого тома *С. Г. Бочаров*

*

Редакторы издательства *А. И. Корчагин* и *М. Б. Покровская*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технические редакторы *А. П. Ефимова* и *О. М. Гуськова*
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 26/XI 1971 г. Подписано к печати 26/VII 1972 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Усл. печ. л. 33,28.
Уч.-изд. л. 32,7. Тираж 298 500 экз.
Тип. зак. № 2520. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука»

Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

*Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28*

12506

BRITISH MUSEUM